

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й М И Р

|| 2 ||

Н О В Ы Й
М И Р

|| 1991 ||

2



1991



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 2(794)

Февраль, 1991 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
МАРИНА ТАРАСОВА — Се пустыня, как белая скатерть..., стихотворение	3
АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ — Из книги «День благодарения», стихи	4
ЕВГЕНИЯ КИСЕЛЕВА — Кишарева, Киселева, Тюричева. Публикация и послесловие Елены Ольшанской. Вступление Олега Чухонцева	9
ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ — Путешествие души, повесть. Окончание	28
ГЕННАДИЙ СТУПИН — Холм, стихи	102
ИВАН МАКАРОВ — Эхо, стихотворение	104
АНДРЕЙ БЫЧКОВ — Наши за границей, рассказ	105
ВЛАДИМИР ЛОБАС — Желтые короли. Записки нью-йоркского таксиста. Продолжение	110
ЧЕСЛАВ МИЛОШ — Стихи разных лет. Перевел с польского Владимир Британишский	147

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ИОСИФ БРОДСКИЙ — О Марине Цветаевой	151
-------------------------------------	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Ю. СТЕПАНЧУК — В ожидании чуда. Наше развитие — в японских координатах	181
АЛЕКСАНДР ШМЕЛЕВ — Открытое общество и конкуренция	200

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Н. ЛЕБЕДЕВА — Катыньские голоса	208
---------------------------------	-----

РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

АННА ВИЧИНИ — Центр исследований «Христианская Россия». Перевела с итальянского Т. Д. Вентцель	223
--	-----

(См. на обороте)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ** — Между свободой и равенством.
Общественное сознание в зеркале «Огонька» и «Нашего современника»: 1986—1990 225

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 242

- Юрий Кублановский.** Поэзия нового измерения.
Галина Гордеева. Собеседница и наследница.
В. Непомнящий. Вне суеты.

Политика и наука 252

- Андрей Василевский.** Разорение. IV.

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ 256

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ. Год великого перелома. Хроника девяти месяцев. Часть вторая. Начало.

МАРИНА ПАЛЕЙ. Кабиря с Обводного канала. Повесть.

В. ЛОБАС. Желтые короли. Записки нью-йоркского таксиста. Окончание.

МИХАИЛ ЗЕНКЕВИЧ. Невидимая свирель. Стихи. Публикация и подготовка текста С. Е. Зенкевича.

С. И. ФУДЕЛЬ. Воспоминания. Вступительное слово протоиерея Владимира Воробьева. Публикация и подготовка текста Н. Плотникова. Начало.

ПЕРЕПИСКА В. В. РОЗАНОВА и М. О. ГЕРШЕНЗОНА. 1909—1918. Вступительная статья, публикация и комментарии В. Прокуриной.

ВЛ. НОВИКОВ. Освобождение классики.

С. Н. НОСОВ. Сны культуры.

ВИКТОР ЯРОШЕНКО. Энергия распада. Очерки политических обстоятельств 1989—1990 гг.

МАРИНА ТАРАСОВА

* *
*

Се пустыня, как белая скатерть,
как церковная голая паперть,
где стоит одинокая мать
и о сыне кричит в темноту:

— Что за сила его погубила,
на чужую войну снарядила?
Сердце грело мне грудь и остыло,
а теперь замерзает слеза.

Нас с молитвой святой разлучили.
Мы слова поминанья забыли.
Разве жили мы? Нет, мы не жили,
наша память — расшатанный мост

через белое слезное поле,
где мерцают кристаллами соли
птицы вьюги, разлуки и боли,
молчаливые птицы судьбы.

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

*

ИЗ КНИГИ «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ»

ДИПТИХ

I. Анна, друг мой...

Анна, друг мой, маленькое чудо,
У любви так мало слов.
Хорошо, что ты еще покуда
И шести не прожила годов.

Мы идем с тобою мимо, мимо
Ужасов земли, всегда вдвоем.
И тебе приятно быть любимой
Старым стариком.

Ты — туда, а я уже оттуда,—
И другой дороги нет.
Ты еще не прожила покуда
Предвоенных лет.

Анна, друг мой, на плечах усталых,
На моих плечах,
На аэродромах, и вокзалах,
И в очередях

Я несу тебя, не опуская,
Через предстоящую войну,
Постоянно в сердце ощущая
Счастье и вину.

Сентябрь 1978.

II. Птаха

В Крыму, на полустанке, были щеки
Подкрашены чуть грубо. И лицо
Чуть бледное. Надменный и высокий
Взгляд. И на пальце бедное кольцо.

След мятежа в отсутствующем взгляде,
Не уследишь за ним, как ни следи,
Мрак Салалак и школ вечерних — сзади,
И смутное пространство — впереди,
И годы переходные, страстные.
Не склеилась беседа. Возрастные

Настороженность, отчужденье, страх,
Весь бесконечный перечень явлений,
Когда, равно ничтожество и гений,
Блуждает человек вполупотьмах.

В каких она перебивала безднах
Противоборства, длящегося в ней,
Боренья двух истоков несовместных,
Различных оснований и корней.

Но я не сомневался, что в итоге
Преджизненных метаний и обид
Еще в начале жизни и дороги
В ней доброе начало победит.

Была жара. И воздух раскаленный
В салоне захламлённом «Жигулей»,
Татарским солнцем выжженные склоны
Гор невысоких и нагих полей.

И дней наедине прошло немало —
На берегу, то вместе, то поврозь.
В ней все насторожилось и молчало,
Бук волной бессмысленно качало,
И пианино старое бренчало,
И ничего еще не началось.

Казалось — далеко, а вышло — близко,
Так близко, что и года не прошло.
Вослед за Вашингтоном Сан-Франциско
Легло под серебристое крыло.

И, через Рино, вниз, туда, где Тахо,
Еще не оперенная, спорхнуть
По воле рока умудрилась птаха,
Случайно повторив мой давний путь.

И, совершеннолетняя едва лишь,
Ночами душу старую мою
Разлукой неожиданно печалишь
В России, у дороги на краю.

И вот подарок с Тахо — сразу две
Рубахи, первый заработок птахи.
И ночью в лихорадящей Москве
Разглядываю их в тоске и страхе.

Одна рубаха — светло-голубая,
Другая — не умею рассказать,
И варварской фантазии под стать
Леонтьева и Зайцева — любая.

Мы вместе с ней по улице ночной
Когда-то шли, где лишь один слепой
Фонарь над ней качался, надо мной.
Мы вместе с ней гуляли редко-редко,
Когда все дети спать должны давно,
Как вдруг она сказала (малолетка):
— Смотри-ка, Саша! Видишь? Не темно!
Какая люминация! — сказала.
Четыре года было ей без мала...

А через десять с лишком лет ее
 Я выбросил за океан, спасая.
 Была таможня пьяная, блатная
 И что-то вроде визы. Вот и все.
 И больше ничего. И путь неблизкий
 На взлетной начинался полосе.
 Что знала птаха? Лишь язык английский.
 Но там язык английский знают все.

Что было с ней потом? Сиял потом
 Благопристойный знойный Вашингтон.
 Мои полужнакомые приятели
 Все, что имели, не жалея тратили,
 Транжирили впазд и невпазд,
 Чтоб сгладить ей хоть как-то перепад
 Во времени и месте. С интересом
 К ней отнеслись. Их голос на волне
 Короткой, финансируем конгрессом,
 И по ночам невнятно слышен мне.
 Зато родной и близкий на звонок
 Ответил, что принять ее не сможет,
 И даже добрым словом не помог:
 — Тебе — в борьбе — ВКП(бе) поможет.
 — В борьбе?! — В борьбе. — За что?! — За выживанье,
 За мани-мани. Ты не в Теплом Стане.

Ей не помог никто. Она сама
 При помощи усердья, и ума,
 И милого акцента в шоп курортный,
 Полупустой, просторный, первосортный,
 Устроилась, мечтая об одном:
 Чтоб мама, как во времени ином,
 Присев на край постели, перед сном
 Ей руку хоть немножко подержала,
 А может быть, и рядом полежала
 Хотя бы три минуты или пять,
 Ну а потом спокойно можно спать.
 Есть кукла у нее — коал сонливый,
 А перспектива... нету перспективы,
 Надежды даже самой слабой нет,
 И по ночам, дневной завесив свет,
 Все пишет, пишет, пишет птаха деду:
 Ты, Саша, не болей, а в октябре
 В столицу нашей родины к тебе
 Я, Саша, обязательно приеду.

Я не хочу, чтобы она вернулась,
 Чтоб в этот смрад крошечный окунулась,
 Чтоб в эту милосердную страну
 Попала на гражданскую войну.

Октябрь 1990.

* *
 *

Жизнь у некоторых длинна,
 Бесконечно долг срок.
 На окраине Берлина
 Дом для тех, кто одинок.

Утвердился прочный мир
 На незыблемых основах
 Однокомнатных квартир
 Двадцатипятиметровых.

В каждой — кто-нибудь один,
 Завершающий колено,
 Сам себе и господин
 И слуга одновременно.

В одиночестве огромном,
 В обиталище укромном,
 В изолированных норах,
 Там, где вмятен каждый шорох,
 Искажаемые тиком,
 Судорогами лица,
 В беспощадном и великом
 Одиночестве конца,
 В результате всех идей
 Благородных и высоких
 Дом в Берлине для людей —
 Совершенно одиноких.

* *
 *

Все то, о чем прошу, осуществимо, —
 Прошу, во-первых, не оповещать
 О том, что умер я и струйкой дыма
 И горсткой пепла возвращаюсь вспять.

Прошу людей об этом, а не бога, —
 Не веря в смерть и не страшась огня,
 От пошлости гражданской некролога
 И панихиды убережь меня.

Когда я стану тонкой струйкой дыма
 И горсткой пепла, вспомните, что мной
 Ваганьковское кладбище любимо,
 Друзья окружены его стеной.

А если там уже не будет места,
 В каком лежать кладбищенском саду —
 Мне все равно. Не выражу протеста
 И тяжбы никакой не заведу.

Мне чужды упования на бессмертье,
 Равно как вера в смерть, и потому
 Всю процедуру похорон доверьте
 Моей семье. И больше никому.

* *
 *

Мише.

К вулкану карадагскому спиной,
 В последний раз по некрутому склону
 Иду сквозь дождь весенний, проливной

К последнему волошинскому лону,
И младший друг и брат идет со мной.

Там на могиле новая плита
Весенним ливнем густо залита,
Но и могила на холме не та,
Которая запомнилась когда-то,
Когда из халцедона, из агата,
Из принесенных с берега камней
Пришлец бесстрашный выложил на ней
Бесстрашные слова *memento mori*.

А под холмом все так же плещет море,
Свидетель прошлых и грядущих дней.

Дыханья моего осталось мало.
Дождем прибило пыль. Прохладней стало,
И сделалось чуть легче и видней.

В последний раз по склону некрутому
К последнему волошинскому дому.

* *
*

Бере Феоновой.

Маршрутное такси,
Ненастье дождевое.
В обнимку от тоски
На остановке — двое.

Бедой порождены
И выращены смутой,
Они еще должны
Счет предъявить кому-то.

Как хороша она!
А в нем — такая сила!
Гражданская война
Вплотную подступила.

Уже видны едва
Сквозь дымку-невидимку
Два юных существа,
Стоящие в обнимку.

В обнимку от дождя
Два юных человека,
Без Бога, без Вождя
И даже без генсека.



ЕВГЕНИЯ КИСЕЛЕВА

*

КИШМАРЕВА, КИСЕЛЕВА, ТЮРИЧЕВА

Не перестаю удивляться: сочинителям нравится одно, а читателям, как правило, совсем другое. Авторитеты одних непонятны и чужды другим, и наоборот.

«Что розь портрет портретику, что книга книге розь», еще и некрасовские офени знали, когда носили по деревням писания с картинками про генералов и фальшивомонетчиков, сановников и шутов, взять хоть «Английского милорда», сочинение Матвея Комарова, а чтоб про свою жизнь да своим мужиком написанное — это ни-ни, чего зря таскать: тут нужен был другой читатель, высокообразованный, дока, одним словом, не иначе как Лев Николаевич Толстой, который именно народную, а не лубочную литературу поставил во главу всей словесности, но на то он и граф был, барин, что Шекспиру мог предпочесть крестьянина Семенова.

Не то наши потребители культуры, простой труженик: ему про себя читать неохота, он эту жизнь и так знает, подавай ему такие книги, «чтоб были настоящие — потолще, погрозней». Так что выхваченные из самой гущи народной жизни записки Евгении Киселевой, написанные не литературным, а разговорным, часто малограмотным, но почти всегда обжигающим языком, заинтересуют, боюсь, немногих, а жаль. Это — настоящее.

Необычна сама судьба этой рукописи. В 1976 году на Студию детских и юношеских фильмов в Москве поступила по почте зашита в наволочку обшая тетрадь, исписанная разбегающимся почерком, без пробелов и знаков препинания, трудночитаемая настолько, что любой редактор имел бы полное моральное право отправить ее в корзину. Елена Ольшанская, к которой попала эта тетрадь, не только разобрала каракули, но и перепечатала их на машинке, списалась с неведомым автором, получила через несколько лет из Ворошиловградской области вторую тетрадь, продолжение, по сути дела, самостоятельную рукопись, то же самое проделала и с ней и в конце концов свела их в одну, произведя необходимый в таких случаях монтаж. И вот перед вами эти воспоминания — «Кишмарева, Киселева, Тюричева» (название авторское), горький и поэтический рассказ о своей жизни и жизни близких, написанный безыскусным и искуснейшим пером.

Много повидала эта женщина на своем веку, многое пережила, но не в том дело даже, что пережила много, а в том, что с м о г л а рассказать, не потеряла ни памяти, ни присутствия духа. Я не хочу говорить об этом подробнее — желающие прочтут. Скажу только, что самый склад ее речи, богатейший в своей простоте, фольклорно-мифологический способ мышления, который используют по большей части в комических целях, для «оживляжа», здесь, в этом повествовании, ценны сами по себе как свидетельства внутренней красоты. То, что в «нормальной» прозе выглядело бы нелепо, в этих записках уместно и до дерзости свежо. Даже знаки препинания, а они, как уже сказано, в оригинале отсутствовали, минимальны и условны (в основном запятые, в редких случаях тире, сразу выдающие «литературу»), бессильны передать эту живую, пульсирующую речь.

О природном даре уж и не говорю: интонационное богатство, энергия и лаконизм поразительны. Вот о смерти отца, например: «Я его везу, а он кончается, положили на пол, а он скончался». В одной фразе — целая картина. Или несколькими абзацами ниже: «Сидим, идет бой, ни куска хлеба, ни воды, ребенок тянет грудь, а в ней ничего, да еще и страсть какая. Самолеты снаряды кидают, танки, минометы, автоматы, страсть господняя». Местами в речь рассказы вклиниваются фразы и целые куски штамповой пропагандистской канонады, которые только усиливают впечатление подлинности. Можно подумать — китч, если б не серьезность авторских намерений: никакой ухмылки и скепсиса. Это документальное, к концу почти склеротическое письмо аутентично, потому художественно: подлинному — верить.

Впрочем, и в похвале важно не переусердствовать, а я уже, кажется, пересказываю то, что лучше прочесть самому, мое же дело — вовремя поставить точку.

Олег ЧУХОНЦЕВ.

В детстве я жила не весьма матерьяльно хорошо, семья моя была большая. Отец, мать, сестры Нюся, Вера и два брата — Ваня, Витя, и я. 17-ти лет я вышла замуж. Это было в 1933 году.

Был у меня муж Киселев Гавриил Дмитриевич, жили мы с ним 9 лет, и

было у нас два сына, Витя и Толя, рожденные в 1935 году 5.IV, Виктор и Анатолий с 1941 года, 22 июня.

Жили мы с мужем очень хорошо, но когда началась война в 1941 году, она нас разлучила навсегда и начались мои страдания.

Мой муж Киселев Г. Д. работал до войны 1941 года в пожарной команде ровно десять лет. Когда началась война, его эвакуировали с машинами, он был партийный и авторитетный командир в пожарной части, которому можно доверить все социалистическое имущество. Когда началась война, меня он с детками отправил до мамы и отца в хутор Новозвановку Попаснянского р/на, где проходило мое детство, а сам эвакуировался с машинами в г. Саратов. И в скором времени хутор Новозвановку захватили немцы, это было в сентябре 1941 года, у меня на руках был маленький, грудной ребенок Толя, ему было 4 месяца, и второй, 6 лет, сын Витя. Была холодная осень, дождливая, сырая. Мы сидели в подвале, а в это время упал снаряд в хату, и стен не осталось. Моя мама до этого пошла подтянуть часы стенные, и тут ее накрыло. Разорвался снаряд прямо в доме, упал потолок и стены на нее, и ее раздавило, не вернулась она в подвал, погибла. Был и отец в доме, его ранило в ногу, вынесло, выкинуло до сарая; совсем не отбило, а на чашечке телепаласы нога, я его оттащила к соседке в комнату и завязала ногу полотенцем. Сын Витя прибежал ко мне слепым, засыпало ему глаза, но через два дня отошло, он стал видеть. Я думала, мой мальчик будет слепым, но нет, есть бог на свете, но тут идет бой, что мне с ними делать?

Ребенок в подвале на бурьяках лежит, нас тут гонят из хутора, немцы, говорят, здесь будут сейчас, уходите, тогда я взяла ребенка, стала бежать в Калиноопасную, Витя за юбку держится: мамочка, я ничего не вижу, не бросай меня. Отец остался в соседской комнате, а нас гонят из хутора Новозвановки, а он больной, с больной ногой. Через три дня, когда мы вернулись, в ноге завелись черви, и получилось заражение, а помощи никакой немцы не дают, потому что стояла передовая и все люди были выгнаны из хутора, и мы пришли спасать отца обратно домой вечером, на риск, либо жив, либо пропал. Но чудом остались живы, прекратился бой, а мы этим моментом прокрались домой к отцу. Мы залезли в подвал, но я после боя отвезла отца в Попасную, в госпиталь немецкий. Врач немецкий с трудом принял моего отца в госпиталь оказать помощь. Это, говорит, только немецкие солдаты, русских нельзя, русским здесь нет места. Я говорю, это мой папа, это не солдат, старый человек, плачу, прошу, упала ему в ноги, пожалуйста, спасите его, но плохо разговор можно было разобрать, и закрывает дверь, не хочет разговаривать. Прощу, плачу, еле взяли, другой говорит, — мы ему отрежем ногу, она негодная, черная. Но сделайте что-нибудь, лишь бы жив был. Занесли его в госпиталь, а на стационар не ложат, отрезали ногу и выносят на носилках, забирай, забинтована нога выше колена. Я побежала по улице искать место, чтобы положить, а ребенка положила возле него. Носилки дали, на носилках лежат отец и ребенок, а я ищущу квартиру, но никто не соглашается забрать его в комнату. Одна женщина, спасибо, согласилась ненадолго, я прибежала, и понесли его и ребенка до этой женщины с посторонним человеком. А немцы нести его не взяли, гонят от госпиталя. Я на второй день прихожу, а хозяйка не хочет держать больного человека, я сама больная, не хочу, он всю ночь стонет, забирай куда хочешь. Что делать?

Я пошла к родственнице, которая жила недалеко от госпиталя, попросила тачку и взяла отца, положила на тачку и повезла до тети Ирины. Я его везла на тачке, а на дворе были такие кочки на дороге, куда там везти такого человека больного, но везу. Сколько я слез вылила, привезла к тете Ирине Кишмаревой на ул. Артема 35. Я его везу, а он кончается, положили на пол, а он скончался. Хоронить отца было нечем и некому, надо ж яму копать, а кто будет копать? Тетя Ирина настаивает: смотри, хорони, не оставь его у меня, а сама уйдешь, я говорю, да нет, не оставлю, взяла лопату и ребенка и пошла до школы, под школой начала копать яму. Спасибо, пришли две женщины худые, истощавшие, помогли копать, как-нибудь вырыли, нас хоть самих закапывай в яму, толь что ходим — худые, голодные, одна на нас шкура да кости, но выкопали, захоронили отца с горем пополам под школой г. Попасная. Кормить

женщин нечем было, отблагодарить нечем, я сама голодная как волк ходила, да еще ребенок на руках грудной. Еле ходила по свету, силком везла отца в город Попасную, чтобы спасти, да не спасла. Пришла в Новозвановку, а мама лежит в хате накрыта глиной уже несколько дней, мертвая. Я откопала — что-то бою не было, но еще немцы в нашем хуторе стояли, — выгатила из глины, откидала палки, крышу, один немец тоже помогал, солдат. Там ихние были офицеры, был немецкий штаб, а потом пришел второй немец-солдат и говорит я-я, война, надо помочь. Похоронила маму в саду, в огороде, еще хорошо не накрыла, как тут завязался бой. Бросили и кто куда, нас обратно выгоняют из хутора. Я побежала в подвал, забрала ребенка и за руку взяла старшего и побежала до Дамаскиной Ефросиньи, давайте уходить, а то нас тут побьют. Мы с ней и с детьми побежали до Бондаревских в блиндаж в огороде. Еле успели сховаться, как Русские войска наступать начали. Завязался бой, сидим в окопе, идет бой, слышно, немецкие офицеры кричат айн цвай, айн цвай, руководят, ну а остальное не понимаю, что кричит немец. И вдруг открывает блиндаж немецкий офицер, меня так жаром и обдало. Я уже приготовилась к смерти, прижала детей к себе и закрыла глаза. Но он залез на третью ступеньку в окопе и кричал, кричал на войска что-то, а потом закрыл окоп и побежал. А я никогда не знала молитву «Отче наш», а в окопе выучила, меня Ефросинья-тетя учила, дай бог ей здоровья, может, это и спасло нас от смерти. Сидим, идет бой, ни куска хлеба, ни воды, ребенок тянет грудь, а в ней нет ничего, да еще и страсть какая. Самолеты снаряды кидают, танки, минометы, автоматы, страсть господня. Идет бой целый день, аж под вечер пришли русские, кричат не отступай, давай, давай, за мной, вперед. Слава богу, говорим, наши пришли, хоть будет с кем поговорить на нашем русском языке. А то ничего не поймешь, бельмочит немецкая морда, гады проклятые, напали на нашу страну, да еще и разоряются, как дома. Слышим, наши говорят, но еще мы в окопе. Подошел солдат молодой и кричит, здесь немцы в окопе, и выстрелил, только в землю, а мы кричим, это мы, жители. Солдат открыл блиндаж, а мы ни живые, ни мертвые, как говорится. А солдат говорит, чего вы молчите, я думал, здесь ховаются немцы, а у нас сил нету кричать. Сколько вы здесь сидите — два дня и ночь — ой боже, вылазте, вылезли мы, а мама все лежит в яме недозарыта. Кончился бой, и я начала хоронить маму, а то не дали закопать, да еще и солдата положили убитого вместе с мамой — замотала в шинель, больше нечем было накрыть и надеть, без гроба. Бой притих на некоторое время, но сражались долго, то русские, то немцы захватывали хутор Новозвановку, в общем четыре раза переходил он из рук в руки. Я в погребке сидела с детьми то в окопе, на огороде был выкопан блиндаж для спасения души, и я с детками сидела сорок пять суток на передовой линии. Ребенок чуть не сгнил в пеленках, ни высушить, ни погреть, ни искупать, да где тут думать о купели, голодные и холодные. В последнюю ночь, когда готовились немцы наступать на нас, русские тоже знали и готовились. Я с детками добежала ночью в огород в окоп сохраниться от страха снарядов. Мы с соседкой Ефросиньей Дамаскиной влезли в окоп с детьми — у них тоже было двое детей, побольше моих, — одному 13 лет, а второй девочке десять.

Шел бой, и шел дождь, два дня и ночь, а наутро не видно было прекращения боя. Аж на вечер в полдень прекратился бой, и нас чуть не съели вошки — как горох по нам ползали.

Русские отбили и заняли Новозвановку. Мы вылезли из окопа. К вечеру солдаты лежали как снопы, негде было ступать ногой. Сколько набитых было солдат, побитые и немцы, и русские. Война есть война — чистит всех подряд.

В ночное время после двух дней я пришла к командующему фронтом, говорю, я хочу поехать в с. Калиново спасти детей, и самой уже сил нету здесь быть на войне. А он меня сильно поругал: «Мне тут не до вас, иди в любую хату и живи!» У меня нету хаты, разбита снарядам, но я исхитрилась и поговорила с сержантом, и он сказал старшине: «Вот возьми эту женщину с детьми, когда будешь ехать за снарядами в Калиново... И пусть садится на бричку осторожно, чтобы не видел командующий». И я села на бричку с детьми в час ночи 1942 г.

Январь-месяц, было морозно, и кусали воши — нечисть нам не давала

покоя, так же, как немцы напали на Советский Союз и не давали покоя людям. Когда я приехала среди ночи с детьми в Калиново, слезла с брочки и пошла до первой попавшейся хаты, постучала к людям. Эти люди оказались знакомыми моего мужа Киселева Гавриила Дмитриевича по работе. Телефонистка Сорокина Валя — встретила она меня хорошо, взяла ребенка из рук и скупала, отчего мой ребенок сразу и уснул, как после лекарства уснул сладким сном. Была рождественская ночь. У них горела возле образа лампадка, а вот сегодня, вернее завтра, рождество твое, Христе, боже наш. А я удивилась, что у них стоят стены белые. Я уже так одичала в подвале, что мне чудно было смотреть на белые стены: как так у вас здесь нету войны, а мы мучаемся с самого сентября-месяца или июля 1941 года? А они говорят: «Да мы слышим, где-то рвутся снаряды, и гудит там, в ту сторону, откуда ты приехала». «Ой, боже, какие вы удачливые», — я говорю. У нас на Красном озере и в Новозвановке идут бои. Они посочувствовали мне и накормили меня и деток. Наутро я ушла искать свою сестру Веру Колесникову — она была замужем и имела сына Николая, 3 года, и был у нее муж — Колесников Александр Григорьевич, он был на фронте. Жила она здесь, в г. Первомайск, ул. Микояна, дом 23, кв. 4 на шахте Крупская. Когда я шла по Калиновой в порванном платке, вырванная пола у платья, люди обращали на меня внимание, чего эта женщина идет в порванном платье, один бок есть у платья, а другого нету. Я всем не могла рассказать, откуда иду, но одна женщина остановила меня, я ей рассказала. Я была в Новозвановке и ночью пробралась в Калиново, а юбку сняла, на время выкинула, чтобы воши померзли, и когда войска готовились обратно в бой, то я испугалась и собралась с детьми. Спешила, а была в этом платье с оторванной полкой, так и поехала, а юбка вымерзает и до сих пор от вошей. Пришла до квартиры сестричкиной, а ее и дома нету. Может, где-то тут снаряд разорвался поблизости, и вынесло ей окно, а она пошла до мужа сестры Гаши. Ну, я ее нашла все же, она жива, хотя было до кого притулиться. Пришли домой, вставили окно, ну как женщины без мужей — известно: цементом обмазали окна, и живем. Два дня пожили — душа не на месте, что-то чувствует, какое-то горе. Приносят из горсовета извещение: погиб брат Иван Григорьевич Кишмарев. Был танкистом в армии. Вот в октябре 1941 года должен был прийти домой демобилизоваться, а тут война — и погиб. Служил действительную службу, а война сгубила ему жизнь — сгорел в танке. Одно горе и страдание. Когда была в живых моя мама, говорила: «Вот когда придет Ваня из армии, буду женить. Весь хутор созову, сделаю такую свадьбу, что и курей напою! Сделаю пир на весь мир!» И вот не пришлось ей встретить сына Ваню. Погибла. Был еще мамин сын Витя шестнадцатилетний. Когда война началась, их, малолеток, эвакуировали в тыл. Она его выпроводила с сумкой за плечами, но он вернулся и был при немцах дома. Говорит, что, мол, я буду им коней кормить, они меня не тронут — я ж малолетка, кому я нужен, неужели немцы меня убьют? Я ж ни к чему! Но когда мама была жива, то его ругала: «Зачем ты вернулся!» Мама, когда провожала Виктора в тыл, сильно плакала, падала ему на плечи и на сумку, которую она наготовила ему в дорогу. «Мама, куда я пойду, кому я нужен, кто меня там ждет?» — он ей говорил, а маме жалко было его — чуть в обморок не падает, кричит: «Ты ж мой сыночек, ну если эти изверги немцы убьют тебя на моих глазах, как ты думаешь, легко мне будет?» Она с ним ругалась и плакала, и обратно посылала, но он упрямился. «Пока нету здесь, в Новозвановке, немцев, уходи», но он не слушался. И вот, когда немцы заняли наш хутор Новозвановку, начался бой, и снаряд упал в хату, и разнесло стены, убило маму, и отца ранило, а я с детками и братом Витей сидели во время боя в погребе. Завязался бой — мы сильно испугались, просто неживые — такой страх точил нас. Снаряды рвутся, танки гудят, такое стрельбище, что самолеты бомбят, Страшный суд! Я ему говорю: «Вот, Витя, дорогой братик, если б ты поехал в тыл, ты бы этого ничего не видел. Пусть я с детьми, меня муж Гавриил привез к маме — что будет, то будет! Но ты мне говорил: «Давай, езжай в тыл, а я только к маме». А теперь видишь, как это все перенести — такой страх! В Первомайке мне оставаться нельзя было, потому что Гавриил был партийным, немцы если узнают, что мой муж партийный, меня изжарят на сковородке — ну, я и поехала к маме.

Когда немцы захватили Новозвановку и пошли дальше на восток, то я вылезла из погребца и говорю брату: «Надевай побольше одежды на себя!» А у нас были чемоданы с одеждой, закопанные в сене, — может, придется разлучиться и будем снимать с себя одежду и менять на кусок хлеба, чтобы не умерли с голоду.

Вот и настало это время. Мы с ним разлучились. Немцы забрали его в Попасную кормить лошадей, потом прогнали, и он ходил по Попасной — опух от голода, просил милостыню, несмотря на то, что в Попасной жила родная тетя по отцу. Она во время войны, когда немцы стояли восемь месяцев на месте, вышла замуж за церковного регента и наела задницу как откормленная свинья, а Вите, брату, не дала и 100 грамм хлеба. Брат опух от голода и кричал не своим голосом, был голодный и пухлый, а потом немцы забрали его в Германию, и он там служил у помещика — пас скот. Мы с ним расстались, и он не знал, где я с детьми. И когда немцы стояли в Попасной около девяти месяцев, я уже была в Первомайке.

В 1942 году Красная Армия погнала немцев из Попасной назад на Запад, и я пришла в Попасную узнать за него к этой Ирине, нельзя назвать такую скотину тетей. Она мне все рассказала. Я ее сильно ругала, но все равно у нее был адрес моего брата Вити в Германии, и он ей писал. Я взяла адрес и написала ему письмо туда. Были из Новозвановки хлопцы с ним в Германии. Бондаревский Саша рассказал в письме, что Витю Кишмарева повесили. Как я уже говорила, он был упрямый — наверное, он и там считал себя как дома вольным и вообще в Советском Союзе, а оно не тут-то было. Когда получил от меня письмо, то не загнавши коров во двор, получил на улице письмо, сел читать, а скот пошел в школу. Хозяйка его ударила, а он ее, и она пошла заявила на него в комендатуру, и его взяли и повесили. С ним там не цацкались. Жестокие кроважандые фашисты русских людей ненавидели, плевали им в глаза и говорили: «Черти с рогами из Союза, а не люди!» В особенности старики немцы — кормили наших людей брюквой, да и то не вволю давали.

Живу с сестрой Верой, потом поссорились, и я ушла в пустую хату. Взяла в пустой хате себе кровать, стол, а из камня сделала табуретки, нарвала травы на кровать и стулья, наложила вместо постели — и живу с детьми.

Сама в одно прекрасное время получаю письмо. Незнакомый почерк. За моего мужа пишет мне неизвестная женщина — «Ваш муж стоит у меня на квартире». А сама она директор школы. «Здравствуйте, неизвестная жена! Ваш муж, Киселев Гаврил Дмитриевич, женился на молодой жене Вере и купил себе сапоги за 400 руб. и купил патефон за 300 руб.». Вернее, тогда все считалось на тысячи — развлекать свою шлюху. Как мне было обидно! Я так плакала и призывала к себе своих детей. Что мне делать? Куда деваться? Ни одеться, ни обуться и голодные!

Пишу я ему письмо. А он мне отвечает: «Вышли развод мне». Я ему обратно пишу: «Для развода нужны деньги — 500 рублей, пришли мне».

Я купила одеяло и Вите костюмчик («Сыночек, от папы подарок!»), а маленькому рубашечку, денег не хватило на штанишки, но он был еще маленький. А мужу написала: «Хороший муж и отец, что выслал денег нам». В общем обманула его. А он рад стараться — на развод денег выслал. Я хотя прикрылась немного, а развода не выслала. Я начала ходатайствовать на детей аттестат, так как он был офицер, и я стала получать деньги на деток. Но недолго я их получала. Он начал скрываться от алиментов. Благодаря моей сестре Нюсе — она его разыскала — подала в бюро розысков. Но прошло много времени, пока она его разыскала — у него оказалось три жены. Вера, у которой родилась дочь, и Валя, у которой родился сын, да у меня двое, три брачных — что мне делать? Я посоветовалась с сестрой Нюсей, и решили найти его, где бы он ни был, поговорить с ним глаз на глаз, и я решила ехать к нему, но когда было написано письмо Гавриилом, «вышли развод», то мне нечего было ждать. Война окончилась, и люди приходили с фронта, мужчины, а моего домой нету. Поехала искать своего мужа Гавриила. Села на станции Попасное и поехала в Святошино, по розыску дали мне адрес. Приехала в Святошино. Правду сказать, я не знала до войны, как ехать, сроду нигде далеко не ездила, но паровоз довел. Встаю из поезда, нашла часть, где он был, да сплыл, нету его там. В

этом штабе открыла дверь, зашла, а там за столом сидит женщина, бухгалтер. — Вы Киселева Гавриила Дмитриевича жена? Я говорю, да — ну как мое сердце подсказало, что это вы его жена, а он же женился на Вале, и родился сын у них. Я сказала, что да, очень скорбно, что мой муж не воюет, а детей по свету разбросал, но что сделаешь, думаю, чего меня не убило, там, на передовой, да хоть когда я ехала в Калиново ночью и встала из брички и вернулась к бричке за табаком (мне дал один боец две пачки табаку, на, говорит, поменяешь на хлеб детям, а я у брички забыла и отошла, а потом вернулась, стала шукать у брички, а солдаты погоняют лошадей и не видят, как я подошла, и один чуть не выстрелил в меня, оно ж ночь, не видно, кто лазит в бричку). Я говорю, это я забыла табак. Вот молодича, я было тебя застрелил, да быстро ты откликнулась, надо покричать, мол, остановитесь. — Ой, боже мой, тут сил нету говорить, кушать хочется. Ну тут начали шутить, терпи, мол, молодича, атаманом будешь.

Гавриила его третья жена на днях чуть не сожгла бензином, спасали все гуртом, облила и кинула спичку. Я спрашиваю, где он. — Его здесь нету, на днях он уехал неизвестно куда, я адрес его не знаю, но я сейчас вызову полковника, поговорите вы с ним. И пошла вызывать. Приходит полковник Вайнштейн и пригласил меня в свой кабинет, хороший человек, и мы с ним поговорили, и он дал мне адрес в киевский военный округ, там должны были быть офицерские сборы. Дал мне машину, но машина была в рейсе, пришлось подождать немного, но я от усталости с дороги уснула на траве. Такой там воздух, трава, леса все в зелени, в общем, часть стояла в Святошино в лесу. Я сплю, а на меня, как на зверя, идут солдаты смотреть: какую ему надо жену, какая хорошенькая — я услышала и проснулась. И тут же шофер заехал за мной. Мерзавец этот офицер Киселев, сколько у вас детей? Я сказала — двое. Поехала в Киев. Подъехала к этому дому, я сроду не видела такого большого дома, куда заходить, не знаю, дверей много, этажей много, комнат много, черт его знает, что делать и куда заходить, в какие двери. Висит телефон, что с ним делать, не знаю, как набирать, когда я сроду не держала телефонную трубку в руках. Заходит солдат, а я стою и плачу. — Что вы плачете? — Я не знаю, как обращаться с телефоном и куда звонить. — Что вы хотите? Я ему подробно рассказала, он взял у меня адрес военной части и стал звонить. Было шесть часов вечера. Когда я ехала искать мужа, то сестра Нюся дала мне адрес своей подруги, они были вместе эвакуированы в Казахстане, обе были жены офицеров, а когда кончилась война, муж Галку забрал в город Киев, по месту службы. Вот захожу в коридор и открыла чужую квартиру, хотела спросить, где живет Галя, так мне гаркнула незнакомая женщина: «Чего спрашиваешь, вон трафаретка и читай, где кто живет». Испугалась я, читаю, читать я знаю, конечно, но только недопоняла, что надо искать по трафаретке, в доме или в подъезде. Читаю, есть такая, слава богу, открывает пожилая женщина, оказывается, ее мама. Я спрашиваю, здесь живет Галя, такая по фамилии, — здесь, заходите, пожалуйста, — зашла. Галя сразу узнала меня по сестричке: «Как ты похожа на Аню!» Рассказала я все свое, а она говорит, давай одевайся, и прихорашивает меня, пудрит, срывает кожу с лица загорелую, и губы красит, а платье у меня было сестрино, красивое. Поехали мы искать сборы. Поехали в одну часть, в другую, и звонили, конечно, она знает там в Киеве все, но нигде не нашли сборы офицерские. А потом на Соломянку поехали, зашла Галя в помещение, ей сказал генерал Мизников: «Здесь сборы, а что вы хотите, подождите, будет перерыв». — «Приехала жена офицера Киселева Гавриила Дмитриевича». — «Ну подождите, будет перерыв». Начался перерыв, я зашла, так он на меня как гаркнул, не хотел смотреть — чего приехала! — кричит. Я ему даю записку от полковника Вайнштейна, он ему пишет, что приехала первая и законная жена Киселева Гавриила Дмитриевича, ищет его. Когда он прочитал записку, сразу помягчел и пригласил сесть. Я начала плакать, он говорит: «Вы извините, что я голос на вас поднял, я думал, что вы современная юбка, а я их ненавижу». — «Я приехала к нему, он мне на детей не платит уже четыре месяца, а мне жить нечем, да и ребенок маленький». «Понятно, — он говорит, — так вот, вашего мужа Киселева здесь нету на сборах, он в Киевской Полтаве на сборах». —

«Как же я буду его искать там?» — «А вот как, — он говорит, — когда приедете на станцию, то станете идти — смотрите вправо, там будет большой бурьян, а в бурьяне стоят самолеты, вот вы и идите туда». Поблагодарила я генерала и пошла к Гале ночевать, всю ночь не спала, все думала, как я буду ехать, да как он меня будет встречать. Да, когда я еще вышла из помещения, подошел офицер и говорит: «Слушайте, Киселева, я сам из Полтавы, буду ехать туда же завтра, я зайду к вам, дайте мне свой здешний адрес». Я дала, и пошли мы с Галкой к ней домой. На второй день я утром уехала, не дождав-шись того офицера. Приезжаю на станцию, иду, посмотрела вправо — правда, там такой бурьян, что еле заметны самолеты. Идет солдат, я спросила у него, как пройти в часть. «А зачем?» — он меня спрашивает. А я говорю, что приехала к мужу. «А кто ваш муж?» Я сказала, что мой муж Киселев Гавриил Дмитриевич, офицер, а он сразу сказал, что «это ж мой офицер, я у него служу», сразу взял мой чемодан из рук и сказал: «Вот я отведу вас к нему, но он же женат, у него что, две жены?» — «А я не знаю, у меня двое детей». — «Ну и у него ребенок, мальчик». «Что он думает, — говорю, — он же офицер, ему можно и три жены иметь, дураку. Ехал, клялся, нигде не останусь, не забуду тебя, а теперь женился не один раз, это уже третья, Валя». Пришли в часть, стою, жду машину, когда он приедет. Приехала машина, вылез из машины мой муж и не подходит ко мне, а я стою поодаль, и смотрим друг на друга. Иди сюда! Я говорю: иди ты сюда, он подошел ко мне, говорит: «Чего ты приехала, я же женился». — «А черти тебя знают, в городе Грозном женатый был и здесь женился, там Верка, здесь Валька, поскольку я узнала в Святошино. Что ты думаешь, а куда будем девать детей наших, а я замуж выйду? — Я же плачу на детей. — А чтобы за тебя черти платили, вот уже четыре месяца я ничего не получаю и не слышу, где ты, все женишься», — а сама за слезами ничего не вижу. Собрались солдаты у машины, смотрят на нас как на дураков, все подмигивают да подшучивают, вот те-то офицер, надел погоны, да все женится, чтобы девки бегали побольше, а он не теряется, что будет дальше в жизни. «Спасибо, бюро розысков разыскало, сообщило за тебя, что ты жив и здоров, одно женишься. Ты же скрываешься, дурак, от своих кровных детей, от сынов, которых прижили любя, они же на тебя похожи, Витя и Толя, я хоть напомним их имена, а то ты забыл. Они растут и спрашивают, где наш отец, я говорю, женился, а нас бросил, вот и все». — «Ну, давай не будем ссориться, пошли в кабинет, поговорим, а то тут много слушают». — «Пошли», — говорю, и так мы сидели-разговаривали до двух часов ночи, после этого он уехал домой, а я осталась на диване спать в части. Наутро приезжают вдвоем с мамадой — ну что же, познакомьтесь. Мы познакомились — куда денешься, и забрали они меня домой, где они жили на квартире, и шли через базар до ихней квартиры. Она купила мне груши — крупные, вкусные, свежие — «Угощайся, Женя!». «Спасибо», — сказала я. Пришли домой. Ребенок лазит по полу — точный Гавриил, похожий на него. Она наварила борща, вареники с творогом, и, когда ребенок капризничал, я брала на руки и забавляла его, но Гавриил не видел, как я держала на руках. Он уходил чего-то в часть, а когда он подходил к квартире, я бросала ребенка на пол и делала вид, что на черта мне ваш ребенок нужен, как у меня самой двое. А ребенок невиноватый, я знаю, что вы дураки. Пришел Гавриил, да он уже не Гавриил, а Гриша — переименовала. Сели обедать, а она говорит, замазывает глаза: ну и как, мол, ты мог бросить такую жену! А он говорит: «А, дураку все равно, я же вас жалею». Я сказала ей: но я, Валя, с такой красотой и молодостью никогда бы не позволила карман делить на три части. — Как на три части? — А так. У него на Кавказе еще одна жена Вера, у той девочка родилась, и так же расписался, а теперь у него три брачных. — А он мне не говорил. — А, не говорил? Вот как он с нами будет теперь расплачиваться за детей — целый год скрывается то от одной жены, то от другой. Сейчас идет тысяча девятьсот сорок шестой год, а он думает, скроется навеки от детей и алиментов, нет, в Союзе нигде не скроешься, все равно найдут и накажут, не сейчас, так позже. Покушали и так до вечера, а положились спать, ну, конечно, Гавриил лег с женой молодой, а мне предложили лечь одной на кровать рядом, ну какой мне сон, когда мой муж лежит с любовницей, а я

рядом. Мне, конечно, была всюночная, я не сомкнула глаз, мне так было обидно, но я молчала, в двенадцать часов ночи я встала и пошла в коридор, а из коридора зашла в кухню, но точно не знала, сколько было времени. Когда я зашла в кухню, то сама хозяйка испугалась, откуда взялась женщина, я говорю, я приехала к мужу, а она смотрит на меня, я хочу знать, сколько время сейчас, мне надо на поезд, чтобы не опоздать. Я сейчас спрошу у соседей — пошла, спросила, — два часа ночи. Она говорит, ложитесь и спите; я говорю, мне не спится. Да, — она сказала, — этого не пережить, как вам тяжело на сердце, но вы еще терпеливая, я бы расколотила тут все, если бы мой муж так сделал. Вот видите, я в два часа ночи только пришла с работы, колхозные тыквы накрала и варю детям ночью, чтобы никто не видел, и задержалась попозже придти из колхоза, чтобы накормить деток, а он женится, ой боже мой, у меня разболелось сердце за вас, какая вы выдержанная женщина. — Да, будешь выдержанная в чужой стороне, тут могут и убить меня, а у меня двое детей останутся сиротами, надо терпеть. Лежала, не лежала, встаю, бужу мужа, вставай, пойдем на поезд. Собрались и пошли ночью, не зная, сколько времени, приблизительно угадываем утро, идем по дороге, он меня взял под руку, говорит, давай сойдемся и будем жить, у нас двое детей. Но я не вижу дороги, плачу, говорю ему, как же мы будем жить, ты будешь работать на незаконных детей, кормить их, а я буду тебя и своих детей кормить! Ты запутался, ты паук в паутине с этими брачными листьями, зачем ты расписывался? Гулял бы без росписи, а война кончилась — домой приехал и все: «Милая моя, милое мое создание», — взял чемодан, сказал «до свидания», как в песне поется... Эх ты, дурак — больше нельзя тебе сказать ничего!

Пришли на станцию, еще долго стояли, пока было утро, рассветало. Дождались восьми часов утра — поезд подошел. Расцеловал меня мой милый, и я поехала — за мной и деньги, алименты пришли, выслал финансист. Приехала домой, а дети спрашивают: «А папу почему не привезла?» — У папы есть сыночек, а вы ему не нужны! Поплакали все и ничего не сделали — так и остались без родного отца.

Я выхожу замуж по его завету, как он мне раньше писал, за инвалида Отечественной войны — на ногу прихрамывал, был ранен в ногу в боях. Тюричев Дмитрий Иванович, работал после войны в шахте имени Крупской десятником, водочку любил попить и женщин чужих любил, от которых у меня волнувалось сердце от ревности.

Приходил чуть не каждый день пьяный и поднимал дебош в комнате: не так открыла дверь, не так глянула на него, а разве не скажешь, когда надо придти в одиннадцать часов вечера, а он приходит в три часа ночи и позже, а то и на рассвете, со второй смены. Почему не так смотришь, нецензурными словами меня кроет, оскорбляет как захочет, за кочережку — и меня бить.

Но дети уже подросли. Вите было семнадцать лет, он уже начал сражаться с ним: за что ты, эгоист, бьешь маму, ведь она не виновата, она же тебя ждет всю ночь, а ты где-то волочился, а теперь подымаешь кочергу на нее.

— Ты, сынок, заступаешься за нее?

— Да, я заступаюсь, потому что она мне мать и ни в чем не виновата, она же не тетка чужая: если б она пришла так поздно, как ты, пьяная, то я бы тебе помог дать ей чертей, а за что ты ее бьешь? Ты сам маскируешься, надеваешь очки, вроде ни в чем не виноват, хамлюга ты. Не подымай на мою маму руки, гад проклятый, но не отец!

Был еще такой случай в тысячу девятьсот сорок девятом или в пятидесятом году. Пришла соседка, сидим, разговариваем то о сем, то о том, и она говорит, что дают зарплату на шахте имени Менжинского, где работал мой второй муж, Дмитрий Иванович. Я сказала: «А я думаю, почему так долго нету нашего отца, это, так и знай, придет пьяный». И вот в одиннадцать часов дня постучала девочка, я вышла, оказалось, дочь Цыкалова, говорит, что отец получил ваши деньги, пошли, заберете аванс, он у нас дома. — Так Дмитрия Ивановича нету еще из ночной. Ну идите, тетя Женя, получите, какая разница, что вы, что он. А тогда были сильные очереди за зарплатой в кассу, а Цыкалов Максим Степанович оберегал в ночное время кассу и ездил за деньгами в банк с кассиром, вот ему и дали наши деньги. Цыкалова Дмитрий Иванович

учил десятникову делу. Разница оказалась большая, что он или я забрала деньги у Цыкалова. Он меня приревновал к нему. Пошла я, взяла деньги и иду домой. Смотрю, с другой стороны идет мой муж Дмитрий Иванович с работы, пьяный в дымину. Пришла во двор, дохожу до дома, а он тоже молча стоит, а потом берет коромысло и размахивается на меня и промахнулся, потому что я сразу посторонилась. И попал он не в меня, а в стенку, так и разлетелось коромысло. Я спрашиваю: «Чего тебя черти бьют?» — А ты бегаешь на шахту мои деньги получаешь? — «Чего ты? Я деньги взяла у Цыкалова, мне они сказали, приходили домой, чтоб забрать деньги». — А-а-а! Ты с ним волочишься?! А сам пил у любовницы и очки надевает мне, чтобы я не сказала — где ты волочилась до этого времени! «Так он тебе и деньги дает, получает мои деньги, распоряжается ими?» — Ну, значит, вы, наверное, договорились, чтоб он получал твои деньги, чтоб ты не стоял в очереди. А он оскорбляет нецензурными словами, не дает и слова сказать. Заскочил в комнату, вырвал фикус и розу из цветочников и выбежал на двор и кричит нецензурными словами. В комнате перебил все что называется. Даже и провода порвал в комнате. Перину перерезал всю: перья по комнате, весь в перьях сам, как черт. Крупа по комнате — поразрывал сумки с крупами, побил стол, стулья, табуретки. В комнате одни щепки. И заскочила коза — мы держали коз. Нечаянно раскрывлся сарай, и выскочили козы. В комнату забежала коза, так он схватил вилку и встроил козе в шею вилку, а она бегала, бекала, бекала, пока не упала и сдохла в комнате. Пришел он к соседям и спрашивает, где Женя? Но соседка сказала, что не знает. Ну и пошел, все ругался нецензурными словами: «Я сейчас приду, ей дам, а где она?» — покрикивал на меня. А я убежала аж на третью улицу, только спрашиваю, где дети? Вот какой у меня был второй муж — эгоист, деспот Тюричев. В начале моего знакомства с ним он работал начальником ЖКО в 1945 году. Я пошла туда исправить погреб и выгнать корову из него, куда та провалилась. Сарай строился на погребё когда-то, не на моей памяти. И я хотела, чтобы мне ЖКО помогло. Ну и там мы с ним познакомились. Приняла я его в мужья в 1945 году; сначала я держала корову, а потом продала и поступила на работу. Он меня снял с работы. Я работала в 1947 году на шахте имени Крупской в качестве грузчика, в стройцехе поверхности. Ревновал чуть не до столба, когда меня поставили бригадиром. Возили на шахту Сокологоровку щебенку и камень, строили пекарню в 1947 году, так он увидел меня в кабине машины и рвал и метал, бесился. Говорил: «Я не хочу, чтоб ты работала». Пошел к завшахтой и просил, чтоб меня уволили. «Я сам обеспечу ее и детей, не хочу, чтоб она работала с людьми, тем более с мужчинами!» И уволил меня с работы. А когда я просидела дома двадцать один год, то когда разошлись мы, он мне сказал и вообще говорил: «Я себе пенсию заработал, а ты как хочешь. А теперь не протягивай руки за моими деньгами, за моей пенсией». Так я и осталась, как говорится, как гамно на цедилке, когда мы разошлись. Невозможно было жить с ним, такой дерзкий, что и земля не родит таких дураков, он получал пенсию сто двадцать рублей, а я ничего: ни как жена, ни как служанка. Был у меня брачный с ним. Но он был фиктивный, потому что я не развелась с Киселевым. У меня было два брачных с Киселевым и с Тюричевым. Но поскольку такая жизнь мне была с Дмитрием Ивановичем невозможна, я терялась взять развод с Киселевым. Сегодня-завтра, и так дотянулось, что ни того, ни другого браки не действительны. Прожила я с Тюричевым двадцать один год, и из них расходились семнадцать раз, а на восемнадцатый раз разошлись навсегда. Набралась силы воли и отрубила раз и навсегда. Было и так — он работал на Полтавской шахте, подменял завшахтой Ковригу. Шахтенка была маленькая, а в то время была карточная система. В 1947 году получил на рабочих хлебные карточки трехразовки, одноразовки талоны и аванс свой и товарища, Каракулина Дмитрия, десять тысяч облигаций, все получил и пошел в пивнушку отвести душу с аванса, и все это было вытянуто в пивнушке на Первомайке, а рядом жила его первая жена, Нюрка. Думали всяко: напился до бессознания и валялся возле пивнушки под забором, пока не проспался, протрезвился, пришел домой — гол как сокол, всё товарищи повьтаскивали — те, которые с ним пили. Но не признались. Зашел в комнату и плачет: «Что я буду делать! Я повешусь!»

Я пошла на шахту, начала просить рабочих: «Простите, пожалуйста, его, дурака, пьяницу. Ну что если его заберут и посадят в тюрьму, дадут ему срок, а того, что утеряю, не вернешь». «Не умрем, — говорят люди, — хотя и голодные, но простим ему, дураку, алкоголику».

Я получила алименты на детей и отнесла этому товарищу должок, а сами как-нибудь пережили, уладили это дело. В 1948 году я приехала из Попасной, как-то опоздала сварить обед, выбрала из печки и вынесла жужжалку на улицу на кучу, где была и раньше, но сосед вырвал у меня ведро и швырнул прочь, ну мы с ним повздорили сильно, он говорит, чтобы не сыпать уже на это место, мол, каждый себе под двором сыпьте. «Я же не знала, — говорю, — ты что, по-человечески сказать не можешь?» Он кричит, я плачу, а его подтрунила Паша Жулябина — соседка. Он меня ударил. Об этом узнал Дмитрий Иванович, ему сказали Витя и Толя, мои сыновья, они были еще маленькие. А Дмитрий Иванович был на работе. Пришел с работы и пошел до Коржова, а был пьяный. И побил Коржова. Повыбивал зубы. Тот подал на Дмитрия в суд, а он же мне муж, черт бы его побрал. Я давай ходить просить: «Ваня, Поля, простите ему, пожалуйста, он был пьяный, дурной». Ни в какую не хотят ему простить. Тогда Дмитрий Иванович уже на работе начал просить начальство. Они оба работали на шахте Первомайской — и Коржов, и Тюричев. Ну начальник движения, Селин Иван Захарович, уговорил Коржова Ивана помириться. Иван согласился и забрал из суда документы. Я ему говорю: «Бери что хочешь, хоть сапоги, хоть гармошку!» — у нас была. — «Или пальто». Он сказал, что хочет сто рублей. Ну мы согласились — черт с ними, со ста рублями, лишь бы простил. Я говорю: «Туда дверь широкая, а оттуда узкая — из тюрьмы». Я пошла в контору, выписала сто рублей, тогда была тысяча, все было на тысячи, принесла, а он взял только 800 рублей. Ну и Коржов не вставил зубы себе, а пропили все до копейки, и помирились — как сто пудов с плеч сняли. Ой, господа, сколько пережила я с этим мужем, Дмитрием Ивановичем Тюричевым! В 1947 году муж приходит с работы. Были у нас два поросенка. И говорит: «Я уйду от тебя, я нашел себе женщину, и давай делиться. Конечно, корову, кур я не буду делить». Это была моей мамы корова, а кур я купила сама, без него. А потом нажили поросят двоих. «Ну что ж, давай делиться». А он пьяный, нецензурными словами называет меня. Ты саяка, ты такая. Забирает одного поросенка, гармошку, узел с одеждой, через плечо тащит поросенка в мешке. Как дурак с писаной торбой! Поделились — и пошел ночью на Семафорную, а я говорю: «Будь ты проклят, иди!» Пожил он там у Наташки, любовницы, четыре дня. Приходит. «Я перейду домой». «Нет, не надо!» — говорю. Пожил еще пять дней, приходит, плачет: «Я больше не буду этого делать, прими!» Детей просит, родных моих просит, все пропил, прожил на Семафорной. Всего за девять дней. Вернулся гол как сокол, просится, в ноги падает, целует ноги — «я больше не буду изменять тебе, клянуся, дорогая, я дурак, на кого я тебя променял, что я сделал, я глупый дурачок!» Ну я ему простила, начали жить продолжать, вот я понесла кушать на шахту Первомайскую, и черт меня гадал пойти в ламповую, посмотреть на эту проститутку, которая таскалась с моим мужем.

Когда я зашла в ламповую, то не знаю, стою или иду, я так расстроилась, нервничала, что чуть не упала там на крыльце в дверях у ламповой. Эта шлюха была настолько некрасивая, зубастая, рот до ушей, кривоногая. Я набрала полный рот слюны и как плюнула ей прямо в лицо! «Так Дмитрий до тебя уходил на Семафорную, проститутка ты!» — так я ругалась, но все равно его приняла, назло проституткам. Пожили мы зиму, а он на лето обратно взбесился и пошел до Наташки второй раз, пожил четыре дня — вот идиот! Ну я и ходила забирать от нее — назло — что будет, то будет — уже не владела сама собой. Прошло немалое время, он женился на Зинке Кузьменковой, уже забыл, что лизал ноги мне, через четыре месяца он скрутился с Зинкой, ушел опять, пожил четыре дня с ней, раскидал вещи, пропил и пришел, плачет: «Я больше не буду, прости меня, дорогая», я обратно простила и приняла. Думаю, самой тоже плохо жить, с детками трудно, да в то время. Пожили еще, наверное, около шести месяцев, как он скрутился с Нюркой Надзирательской, придирается к каждому слову — не так сказала, не так глянула на него, называет

меня нецензурными словами. «Чего ты до меня придираешься? Нашел себе сучку, так иди (я уже его изучила), уходи, не придирайся, не делай скандал». Заскандалит и уходит. Ушел до Нюрки Надзирателевой, пожди там неделю, пропил, что брал, и пришел, плачет крокодиловыми слезами и просится: «Прими меня, я больше не буду этого делать». Я обратно приняла — может, правда, больше не будет этого делать? Но горбатого могила исправит, как говорится в пословице. Стоит на дворе хорошая, солнечная погода, но на душе никогда не было хорошо, всегда грусть да слезы. Смотришь, люди его стороны веселые, смеются, жизнерадостные, но я никогда не засмеялась, никогда. А если засмеюсь, то это будет большое горе для меня, какая-нибудь беда, я это уже знала, заметила.

Пошла я в контору Менжинскую деньги получать, тогда были очереди большие, мне говорят работницы, которые работают у моего мужа по движению, что Дмитрий Иванович таскается с Маруськой. Думаю, давно плакал, просился, что больше не буду? Вот тварь неисправимая, однажды ходит по нашей улице, но по другой стороне, выжидает его, пока он выйдет из двора, — мне говорит Наташка Запасная, — Мария ходит по вашей улице и возле вашего двора и дома, дорогая соседочка. А что я сделаю? Я сейчас, Наташа, беру говна в ведро и воды, вылью ей на голову. — «Нет, ты не сделаешь этого, я бы тебе помогла, но боюсь, что он мне тогда на работе будет мстить, я ж у него на движении работаю, будь она проклята, не трогай ее!» Ну я подошла, спросила ее: что вам, Мария, надо на нашей улице? Вы выжидаете его, так пошли — беру ее за руку — пошли, заберите его, этого счастья. Она говорит: «На хрен он мне нужен!» — Ну, — говорю, — смотри, если только увижу я тебя с ним, не обижайся тогда, а то пошли, забирай, если только он с тобой пойдет, я не возражаю, но прощения не проси, если я тебя с ним увижу, я тогда тебе устрою картибалет. — «Он мне не нужен». — А чего ты здесь ходишь возле дома? Я только отошла от нее, а она женщинам говорит нецензурные слова: подумаешь, заимела мужа, он ей такой же муж, как и мне. В выходной день мой муж, Дмитрий Иванович, собирается уходить гулять. Я его спрашиваю: куда ты идешь? Он мне отвечает: а какое твое дело? — Как какое мое дело? — Не хочет разговаривать, собрался и пошел, я решила за ним проследить и пошла, дошла до магазина Менжинского, недалеко от магазина столовая, контора, парикмахерская. Встретилась мне женщина, Надя Солдатенкова.

— Женя, здравствуй! Ты что, следишь?

— А разве заметно?

— Да, заметно, — она говорит, и я ей долго не признавалась, а потом сказала. — Что ты думаешь, все верно, так вот, иди к нам во двор и сиди, а я выследю все за ним и расскажу тебе. Я пошла, села во дворе, приходит она, говорит: «Смотри, Женя, вон он пошел, зашел в контору, выписал денег, зашел в парикмахерскую, побрился, пошел в столовую, выпил двести грамм и взял бутылку и пошел вон куда — где она, эта Мария, живет на квартире». Я пошла за ним, он даже не ожидал, что я слежу за ним, прихожу к бараку, где она жила, там женщина привезла на тачке дрыны из породы на дрова. Я подбегаю и спрашиваю, а коридор был длинный, в какой комнате живет Нинка, а у Нинки жила на квартире эта Мария, любовница моего мужа. «Вот, — показала эта женщина, — в первой комнате». Я хватаю из тачки дрын, ударила в дверь ногой, она растворилась, а там уже стол накрытый и бутылка на столе, я как ударю по столу дрынком и разбила все, что было на столе. А он замухрышку за пальто и хода из комнаты, но я не вышла, а схватила эту любовницу за волосы и ногой бью в живот и в грешное место, рву волосы, да еще тачку, даю ей дрозды, сделалась как змея, а потом думаю, с кем еще подраться, где он, идиот, я бы и ему дала чертей. Конечно, знаю, что я неправильно делаю, но я сама собой не владею, так расстроилась. Прихожу домой, а его нету. Через некоторое время он приходит, я вцепилась и на него кинулась, как змея, а он меня схватил за волосы и об чистелку голову, свалил, пошла у нас потасовка, подрались, я его выгоняю, он забирает вещи и уходит к ней, ходят по улице пьяные оба и появляются на нашей улице Микояна под ручку. Проходит девять дней, является, начинает проситься, ах ты, кобель, до каких пор ты будешь жениться от меня, идиот проклятый!

Принимаю обратно, как заколдована — на чертей бы он мне нужен, колотится, сама знаю, что не надо сходиться, — схожуся. Начинаем жить, обратно такой хороший сделался, печку растопляет, воду носит, меня без конца целует. «Женечка, моя дорогая, там мне все чужое, тут дома мне так хорошо...» — а чего ты так делаешь, говорю, будь ты хороший, а мы вся семья хорошая, мы любим ласку, но не разврат.

И вот был дождливый день, мы пошли к его сыну Андрею. В общем гуляли, пили водку. — Митя, идем домой, нас дома ждут дети, — а он все не хотел, ругался, выражался пьяный, ну с горем пополам пошли по дороге, он лег в калюжу, чтоб я отцепилась, а я его тяну, как мне было трудно с пьяным бороться — то идет, то не хочет. Дошли до путей через яр, а он упал и не хочет идти, оказывается, он надумал пойти к любовнице, а я мешаю ему. «Идиот проклятый, чего ты бьешься в живот ногой, я не хочу, чтоб ты промок до костей!» — а он напомнил ее имя, тогда я догадалась, чего он не хочет идти. — Я тебе жизнь сохраняю, смотри, какой дождь идет. «Иди, такая-сякая, от меня...» — Нет, я не уйду, идиот ты такой, еще бьешься! Ну дошли как-нибудь, выпачкался, как свинья, падал в калюжи, а потом на второй день он открыто сказал: — Я хотел пойти до Наташки, а ты мне помешала. — Ты б так и сказал вчера, я бы ушла домой спокойно, будь ты проклят, я бы тебя бросила в калюже, идиота...

На душе грусть и вечные слезы. Одно время мы вдвоем пошли в Первомайку на рынок, и я упала — у меня был первый приступ. Люди обступили, смотрят, как на зверя какого, а некоторые женщины сказали ему: «Пригорни к себе, она потеряла сознание, а ты, негодяй, смотришь». От хорошей жизни упала, и начались у меня приступы, и стала я припадочной. Эпилепсия. Но он не сдерживался со своими похождениями, все равно пил, гулял, дебоширил в комнате, ни за что, ни про что придирался, дурак, ко мне, все я была виновата, хотя и ни в чем не была виновата, все надевал очки фантастические.

Вот в тысяча девятьсот сорок шестом году я задумала спекулировать, выгадать на кусок хлеба. Набрала мыла в магазине по блату и поехала в Попасную торговать на рынок. Простояла целый день, а ничего не уторговала, а замерзла, голодная, как собака. Ну а как же ехать, на чем домой-то? Уже вечереет, ни одной машины. Я пошла на станцию и хотела поехать кукушкой. Только пришла, а кукушка уехала, ну чем же ехать, боже мой, так на душе тяжело — хоть кричи караул, что делать? А знаю, что дома Дмитрий меня изъест, что так долго пробываю. Прицепилась на товарный, стою на тендере, а ноги замерзли, плачу и говорю: боже мой, может, куда сейчас деться или прыгнуть под паровоз? Нет, не решилась, приехала на станцию Менжинского, устала, иду домой, пришла, а его нет, ушел, совсем бросил меня и забрал мои туфли. Я посмотрела по комнате, чего еще нету, — не взято ничего. На второй день узнаю, до кого он ушел, — до племянницы Нюрки Афониной. Я пошла: Зачем ты забрал мои туфли? — Чтоб ты пришла за мной. — На черта ты мне сдался, дурак, ты не спросил, как я ехала, как я голодная была целый день, пожалел меня, порадовал? Не спросил, как я страдала, говно ты, а не человек, больше ничего! Забрала туфли, иду домой, а следом он идет: прости, прости. Ну и прожили месяца два, как он мне ширял в глаза: как ты ездила в Попасную таскаться.

В тысячу девятьсот сорок седьмом году заходит женщина с двумя детьми на руках и его племянница Нюрка: «Вот, Дмитрий Иванович, смотри, твои сыновья-двойшки, нагулял с вахтершей, когда стояли венгры за проволокой на Крупской в лагере». — Забирай их, на что они мне! Уходите из комнаты!

Она плачет — и действительно — куда деваться женщине с двумя детьми? Ой, целый концерт! Я ему говорю: иди от меня, что ты думаешь, обидел женщину, что ей делать, забирайте детей и уходите от меня, воспитывайте вдвоем. Она кладет детей на кровать, а он за детей да в дверь выпихивает ее с детьми. Крику полная хата, еле выпроводили!

Я его выгнала: не хочу с тобой жить, раз ты такой. Разошлись. Но он не пошел с ней жить, а пошел и женился на Полине Овчаровой. Она где ни увидит меня, так воображала, но я не обращала на нее внимания, пусть повоображает, узнает, какой он. А он и там концерты устроил за четыре месяца, что они

каждый день выгоняли, а он просил сестру: пойди до Жени, поговори с ней. И вот она пришла, и мы стали с ней разговаривать. Я только и сказала, что я всегда дверь на крючке держу, а вот утром знаю, что он не придет, так я смело бросаю двери. «Да прими его...» — Да ну, сколько можно нервничать! «Ну, он больше не будет гулять, а эта женщина уехала с детьми в деревню». — Ну я не знаю, что делать.

Его сестра Наталья ушла, иду я по хлебу в магазин, а Овчариха едет мне навстречу на линейке с такой улыбкой, с таким форсом, как будто что и стоит она, и подсмеивает меня... Я тихонько прошла мимо, а она мне: ну, что нажила? Я ничего не сказала, пришла домой, мне так обидно, что сделать! Пойду во второй магазин — и встретила его племянницу Шуру. Она говорит: «Ну, тетя Женя, пусть дядя Митя придет до вас, живите, не дурачьтесь!» А я ей: что я, пойду ему говорить? Нет, не с этого десятка! И пришла домой, думаю, расквитались, и слава богу. Но Овчариху хотелось проучить, появилась ревность. Утром на второй день в пять часов утра я пошла в туалет без всякой задней мысли: иду назад из туалета, захожу в квартиру, а он уже сидит на кровати в одних трусах, разделся, разобулся и говорит: я никуда из твоей хаты не пойду. — Откуда ты взялся так рано, чего пришел? — Хватит тебе выгонять меня, хватит нам беситься, давай жить по-людски! — Да ты не человек, иди к черту, ты мне осточертел своим поведением! — Ну хватит, хватит... — И так остались жить. Обратном живем, обратном пошли разговоры: сошлись, людям есть чего поговорить, а нам медовый месяц.

Поглядывала Овчариха на меня косо, но я все отворачивалась и вроде не замечала ее, но ей было неудобно и закрывалась рукой, когда мы с ним шли и встречались с ней. Продолжаем жить, стареет, на пенсии — одно расстройство, а не муж. Последнее время он уже не знал, что делать, женитьба прекращалась, нечем жениться.

Меня муж рассчитал, не хотел, чтобы я работала, а чтобы делала ему уют да варила горячий борщ, а после кто хитрее: он заработал себе пенсию сто двадцать рублей, а я ничего. И после того, как разошлись, я стала работать — зарабатывать себе пенсию и на прожиток. Держала квартирантов и по три человека, чуть не на голове. Сначала держала девочек, а потом стала держать хлопцев — поняла, что девочек невыгодно держать, а ребят выгодно. Они делают всю мужскую работу, рубят дрова, справляют калитку, забор, всю тяжелую работу делают. Хоть они и пьют водку, я нервничаю, но что сейчас не пьет, когда сейчас водочный век! Все на водку и за водку, без водки ничего и никуда. Сделали ящик мне угольный — и давай бутылку! Привезли уголь — давай плату, бутылку. Привезли дрова — давай трехлитровую бутылку.

Мне дали премию двадцать рублей за десять лет моей службы в отделе охраны, премия за хорошую мою службу: ни разу меня мой участковый бригадир не заставлял спать на посту, участвую в коллективных работах, даже в стрельбище, хотя я не стреляю — не могу, меня трясет, когда я стреляю, от звука выстрела мне делается плохо до приступа, а все равно иду, чтобы больше людей было в нашей бригаде и нашему уч. бригадиру было поощрение. Я бы в отделе охраны всех целовала, что они приняли меня на работу, что я не побираюсь — я же нищая, больная, кому я нужна, я это хорошо знаю! А детям своим мешать в жизни не хочу, у них свои нужды и семьи. Хочу заработать свою пенсию, чтоб сколько-нибудь, чтоб не побираться. Спасибо Советской власти, Великой Партии во главе с товарищем Брежневым за законы, что мы, инвалиды, работаем, а не побираемся. Спасибо за внимание к нам, старцам.

Вот один пример. Я выгадала из своей зарплаты тридцать рублей своему родному внуку купить на платформе туфли — Юре. Так сейчас модно, и он уже, считай, кавалер — семнадцатый год. Я думаю, помогу своему сыну, хотя и редкая моя помощь как от бабушки. Так что же, я сказала Виктору, смотри, скажи Юре, чтобы он ко мне пришел к трем часам, а потом пойдем в ГУМ вдвоем и купим туфли. Я не дождалась, пошла до ГУМа, ждала два часа, чтоб он пришел померить туфли, а так братъ я не буду (возьми, а потом ходи меняй, если не подойдут, а у меня уж ноги не те, болят, не могу идти, а если пойду в магазин, то не дойду до Виктора). Так Юра и не пришел. Я умылась слезами и пришла домой: за свои деньги, думаю, набиваюсь своим добром, а они отчу-

ждаются; мне так обидно... Я на второй день иду к Виктору варить борщ, а в ночь на работу не пошла — был отгул. Мария, невестка, лежит в больнице, я наварила борщ, стушила утку, а они убежали из дому, даже не кушали горячего борща, я, оказывается, чужая. А мне обидно, иду домой и плачу, по дороге зашла до Бинчука Васи и Раи, посидела у них до девяти часов вечера, и они меня проводили домой, но я не жаловалась. Когда я была у Виктора, я написала записку Юре: приходи, даже адрес свой (ул. Шевченко 21 — 1, Киселева) — может, придет. Так и не пришел, и на второй день пошла до Марии, понесла ей передачу, а сама плачу.

Идет тысяча девятьсот семьдесят шестой год, слышу по телевидению: 25 съезд, каждый по своему отрасли, и одобрение Леонида Ильича Брежнева. Как я понимаю, Брежнев — достойный всему миру своим отношением к людям, не только к нам в нашей стране многонациональной, а и зарубежным странам. Я горжуся своим руководством в нашей стране. Идет Брежнев в зале заседания съезда на трибуну гордо, стройно, с улыбочкой, несмотря что ему семьдесят лет, а ему подымает дух гордость и умелость — завоевал столько стран без слез и крови, а поцелуями и объятиями. Дорогой наш Леонид Ильич Брежнев, я пишу эту книгу и знаю, что Гитлер попил моря слез и океаны крови. Знаю, в тысяча девятьсот сорок втором году в г. Первомайске в клуб имени Коваленко загнали неизвестное количество наших солдат пленных, замкнули и поставили охрану, забили окна, и эти солдаты померли от голода, там и оправлялись, и умирали не сразу, и живые нюхали мертвых смрад, и все как один погибли, а потом подогнали машину после месяца и грузили, как дрова, а нас гоняли копать ямы для солдат. Вот там и легла ихняя молодость, ведь они хотели жить и расцветать, как расцветает молодость, и наслаждаться жизнью. Но сейчас такого возраста люди, вернее, молодежь, не понимают, что такое плохо, — одеты, обуты, кушают по своим деньгам — только работай и наслаждайся жизнью! Наши люди, особо молодежь, недовольны, что наши правители дают за границу, помогают Кубе, Вьетнаму, Румынии, Венгрии и многим странам, не могу вспомнить, и я часто ругаюсь с ними. Тов. молодежь, у нас такая политика, как говорил и писал тов. Ленин, надо делиться с любой страной и дружить, чтобы был мир и не было войны проклятой. У нас страна богатая, наша Россия всем завистна нашими богатствами, лучше давать, да плохо просить. Пусть будет мир на земле, да будет солнце, чтобы было небо чистое и у нас на душе радость, у каждого человека.

На дворе стоит хорошая погода, почти весь месяц февраль 1980 г., солнечная, тихая, морозная, улыбающаяся всем людям погода. Все похваляют, и так хочется погулять на Русской Зиме, да ее нет у нас, не организует администрация, может, и будет, а когда — не слышно. Люди все на земном шаре одинаковые, все не хотят Войны, а что надо руководителю США Картеру, что он хочет? Неужели Брежнев Л. И. не поделился бы, чего им надо, обменом, ведь можно договориться, и наш руководитель страной Брежнев Л. И. все силы покладает, чтобы уладить между двумя странами, США и СССР, мир, а он лезет, как гадюка, подкрадывается, придирается к каждому слову. Вот Олимпиада, это хорошая игра, ну и пусть играют, и им хорошо, и нам есть чего посмотреть по телевизору, но все же наши спортсмены нигде не подведут, хорошо одеты в зимней одежде, меховые пиджаки, и с большим старанием трудятся, чтобы быть лучшими из лучших, и привезли десять наград, если я не ошибаюсь. Дорогие наши спортсмены, нам, болельщикам, в стране весело на душе от наших победителей на Олимпиаде.

В молодости, считай, в детстве, было мне 15 — 16 лет, мы уже бегали гулять вечерами. Отец завсегда ругался, не пускал и гулять на улицу, маму ругал, что пускает вечером нас, а мама, как придет корова от стада, доит корову и на ужин готовит молочную затирку или варит вареники с творогом, пока отец управится с коровой, свиньями, курями, мы же удерем на улицу украдкой гулять. Мамы мы не боялись, она у нас была ласковая, милая, а отец строгий, может и кнута дать. Мама говорит, бывало, идите, гуляйте, у вас все еще впереди, да смотрите, чтоб отец не видел, да смотрите, чтоб так не было, как с Гуржиевой Феклой, эта девочка на улицу не ходила, а родила ребенка,

так чтобы не получилось так. В один прекрасный вечер мы, девочки, собрались, как обычно, возле Пылыпашевой Клавы, там были лавки возле ее палисадника, и мы всегда там собирались, много девочек и мальчиков, играла гармошка, а мы танцевали гопак, барыню, краковяк, полечку, яблочко. Одним вечером мы спевали сильно, аж луна раздается, дерем горло. Смотрим, идут хлопцы с Дачи Калино-Попасной. Мы друг друга подбадриваем, давайте, девки, давайте петь песни, хлопцы идут, и, смотрим, между ними идет матрос на побывку, в отпуск приехал Никонов Федя, а мы и заспорили, возле кого он сядет, какая ему девушка больше понравится. Маруся говорит, он сядет возле меня, и Ленка говорит Гальнина, возле меня, спорят, а Клава говорит, возле меня, в общем, спорим-гадаем, какая из нас ему девушка понравится. Они подошли, поздравились, а гармонист сел на лавку и давай с ходу барыню играть. Тут и понеслось. Этот матрос как познакомились — «Меня звать Федя», — раздвинул девочек на скамейке возле меня, слово за слово, и он заказал барыню, а потом яблочко. Да как пошел танцевать, а девочки меня щиплют — ты паразитка, шепчут, забрала матроса. А я тогда заказала гопак, и матрос поддержал меня, взял меня за руку, и после танца сели мы с ним на скамейку, еще и не кончился вечер, он мне предложил пройтись, и мы пошли ходить, потом пришли к моему двору и сели на призбе. Уже светает, а мы сидим. Отец вышел на двор и говорит: какая-то девица, меньшая или старшая, так долго гуляет, а ну марш в хату, хватит! Но нам и ночь коротка, хотя бы еще одна получилась. Разошлись мы с Федей, он пошел домой. Отец говорит, Верка давно спит, а ты так долго гуляешь. Пошла я в хату, я так влюбилась в этого Федю, что не могла заснуть. А мама с вечера наварила вареников из творога на ужин и поставила на плитку, чтобы они были теплыми, как мы с улицы придем. Лезу на русскую печку, где уж Вера спала, а мама говорит, кушай, Женя, вареники, а я ей отвечаю, куда там кушай, ах, боже мой. Она ко мне — что с тобой, Женя? Тут не до вареников, я так влюбилась в одного моряка. — А кто он такой? — мама спрашивает. Я ей сказала: да с Дачи Никонов Федя. — О, это люди хорошие, богатые! Она мне еще поддала жару, я не спала до утра и целый день ходила, как шальная, по хозяйству делала кое-как, мама пошлет, а мне работа и на дух нейдет. Ходил Федя через день, пока не кончился его отпуск, а в предпоследний день вечером он пришел к нашему палисаднику, стоит у хаты, меня ждет. Я оделась, вышла, ходили долго, до полнотчи, а потом взял он меня за грудь, прислонился и поцеловал. Я его оттолкнула от себя и пошла от него. Он спросил меня: чего ты, Женя? А я ему ничего не ответила, иду в хату. — Я не хочу с тобой встречаться. «Почему?» — Ты думаешь, что я шлюха какая? Нет, не думай — и пошла в хату. Чуть не плачу, залезла на печку и толкаю сестру старшую, Веру: у меня будет ребенок. «Да ты что! — она говорит. — С кем же ты?» — Да с этим Федей, он мне так опротивел, что я не могла с ним проститься, он меня взял за грудь, и теперь у меня будет ребенок, как у Гуржиевой Феклы, что ж я буду делать? Вера выслушала и говорит: «Эх ты, баран, ходишь на улицу, да еще с хлопцами стоишь до утра, а не знаешь, после чего бывает ребенок! Ну она мне объяснила все подробно, и я успокоилась. А все же не вернешь Федю, он уже сегодня уехал дослуживать в Армии. Он мне прислал письмо, но я ему не ответила, а ответила Вера, сестра. Что она ему ответила, не знаю, перегорела любовь с Федей, и пепел остыл. Хожу с соседом, Мишей Мазько, у него был брат Гриша, и оба в меня были влюблены. Когда я хожу с Мишей, то Гриша придет и разгонит по домам — давай, Женя, будем ходить, ты мне нравишься. Я ему отвечаю — а я тебя не люблю, я люблю Мишку — все равно набьет его и меня и затолкает в хату меня и Мишку. Вижу, дело не пойдет, забираю свои вещи и приехала в г. Первомайск, поступила в столовую работать в 1931 году, был голод, но я голода не видела. Приезжал Гришка Мазько, но я его чуть гирей не огрела — чего ты ездешь за 18 км, там не давал покоя, дома, в Новозвановке, и еще в Первомайку приехал? Иди, чтоб я тебя не видела! Хожу одна, и еще нашелся шахтер, Яша Ахатюк, начал заигрывать — давай, красавица в красном берете, ходить — ты одна и я один, давай? Я стала ходить с этим Яшей, он мне подарки носил, зарабатывал хорошо в шахте, но как гляну — он ниже меня ростом — не люблю мужчин низкого роста! — Яша, я не хочу

с тобой ходить. «Почему? — он так удивился. — Я ж хорошие деньги зарабатываю, поженимся и будем жить». — Зачем мне твои деньги? — Не стала я с ним ходить. Стала ходить с Гаврюшей Киселевым, этот пацан зарабатывал 450 рублей теми деньгами, в то время все было на тысячи. Ну и черт с ним, зато высокого роста, красивый, чернявый. Ходили-ходили, он мне сделал предложение, я согласилась, и вот моя напарница по работе Дуся... Вдвоем мы работали официантками, она обслуживала рабочих в грязных спецовках, а я в чистом зале, куда обычно пожарники ходили ужинать в 6 часов вечера, и вот нет моего пожарника Гаврюши и моей напарницы нету на работе (она пришла заранее, взяла закуски и смылась). Нету ее, а я как ошалела, бегаю на два зала обслуживаю и спросила его товарищей, почему не пришел ужинать Гаврюша. Они все улыбаются и не говорят, а Коля Бугаев, его товарищ, сказал: «Женя, я пойду тебя провожать». Я говорю: «В честь чего? Ведь ты знаешь, что я хожу с Гаврюшей». — Да его сегодня не будет. «Почему?» — Я тебе расскажу. Обычно столовая закрывается в 11 вечера, управилась и выхожу из столовой № 120, на Волковой улице была. Стоит Коля Бугаев, подошла я к нему, и мы пошли, а он мне рассказывает: Дуся забрала твоего Гаврюшу, вот не доходя магазина повесилась ему на шею и говорит — я тебя люблю, я без тебя не могу жить, я не сплю, не ем — ты перед очами стоишь, и не пускает его от себя — пойдем ко мне, я закуски принесла из столовой, и выпить есть, пойдем — тянет, целует, не стесняется нас, товарищей, которые шли с дежурства на ужин в столовую с ним. Я ничего не сказала Коле. Так вот в чем дело, почему их не было ужинать! «Женя, давай встречаться!» — говорит Коля. «Да подожди!» — говорю я ему.

На второй день прихожу на работу, выходит и Дуся, на меня не смотрит, глаз не подымает, я как будто ничего не знаю. А что я ей сделаю? Что он мне, муж, что ли? Хотя я его люблю, но виду не подала, в шесть часов вечера еста идут все, и мой Гаврюша идет, улыбается, я веду себя скромно, поставила тарелки, первое, второе, хлеб и пошла дальше, продолжаю работать. Вечером он пришел меня провожать домой и начал оправдываться, все рассказал подробно, по порядку. Ну я его спросила — а вечером ты б мог прийти меня домой проводить, ведь 11 часов, страшно мне одной идти в полночь. — Она меня не пустила, отвязала двух собак и говорит — иди, пусть тебя собаки разорвут. — А Женя? Я ж ее должен проводить домой с работы. — Да хрен с ней, с твоей Женей, — она говорит, — ну я и остался до утра, всю ночь провозился с ней, вот тебе все, я признался сам, что бы тебе люди ни говорили. Я хочу, чтобы ты меня простила. Я его простила, потому что я его любила.

Продолжают пожарники ходить ужинать, завтракать, обедать, смотрю на этого Бугаева Колю, спрашиваю: почему ты, Коля, так похудел? А он мне говорит — я тебя люблю, я не могу ни спать, ни кушать, вот ты стоишь у меня перед глазами, твой красный берет, твои кудрявые волосы не дают мне покоя. Я ему сказала — ты забудь обо мне, я люблю Гаврюшку, хотя он и споткнулся, да черт с ним, и все.

Сотрудники столовой собрались купаться в баню шахты Менжинского, и я пошла с ними, забежала в туалет, который стоял на дворе, а потом заблудилась в дверях — я первый раз пришла в баню на шахту. Зашла в первую дверь и попала в мужскую, стоит мужик голый, я застеснялась и закрыла дверь и задумалась. Ведь Вера говорила мне, что женщина с мужчиной прикоснутся, и тогда будет ребенок, а разве можно прикасаться с таким — ведь у женщины щель узкая, ну я и задумалась, сама себе не верю, нашла свою женскую баню и все думаю, наверно, Вера врет, а девочкам стесняюсь говорить и молчу. Как же так, Гаврюшу люблю, собираюсь замуж за него идти, ну была не была, что будет, то будет, а я его люблю.

Гаврюша сделал мне предложение, я согласилась, делаем свадьбу у меня в Новозвановке, идет свадьба, люди веселятся, кто сколько выпил — кто три рюмки, кто четыре, — захмелели, играют две гармошки, одна для стариков, а другая для молодых. Тут кто-то погасил свет, а тогда были керосиновые лампы в 1933 году, декабрь, потух свет, пока спички нашли, пока засветили, ну и продолжают плясать, петь. Людям что? Повеселиться на свадьбе, то и не свадьба без веселья, гуляли хорошо, кончилось гулянье, и мы пошли к соседке

Ступаковой Аксютке спать. Легли, а жених негожий, к женщине не способный. Ну я тогда убедилась, что это так и есть, прикосновение мужчины к женщине, чтобы был ребенок, хотя у нас ничего не получилось. Приехали мы домой, в его село Каштановку, к его родным, пожили у них, а потом со временем перебрались в Первомайку и попросили квартиру. Ему дали от пожарной в первом корпусе на Альберте, в этом корпусе жили одни пожарники и охранники, ну и нам дали квартиру на две семьи: кухня, мы в зале, а Карп Ганжа в спальне. Любим друг друга, а живем, как брат с сестрой, он меня целует, милует и тут же плачет, а я его люблю, и плачем оба. Он мне говорит: ты, Женя, поезжай к матери своей и Расскажи ей, что мы живем, как брат с сестрой. Я ему говорю — мне стыдно это говорить, будем жить и так, а он мне отвечает, что так люди не живут, он уже бывал с женщинами, знает, что так не живут, и я поняла, но где его взять, если нету, не получается. Я поехала все же к своей маме в Новозвановку и стала говорить маме, только напомнила и замолчала, и приехала безрезультатно. Живем семь месяцев, и все так. Он меня посылает обратно к маме, поехала я обратно. Стала говорить, а не могу рассказать, но на этот раз я смогла набраться смелости и сказать, хотя было и стыдно говорить, потому что он меня выругал: что ты за дочка, все едешь к своей матери и боишься рассказать о своей жизни как дочка. Я только начала говорить, а она догадалась и сказала: что вы живете, как брат с сестрой, да? да? Я сказала, да. — А чего ж ты молчишь? — она говорит. — Я еще в тот раз, когда ты приезжала, все поняла, но было уже поздно, ты уехала домой. Мама сразу пошла к соседке, Дамаскиной Ефросинье, поговорила, а она ей говорит: Мария Корнеевна, в Попасной есть бабка Горошиха, которая порчу лечит и всякие заговоры. Мама пошла в Попасную пешком семь километров, нашла эту Горошиху, поговорила с ней, та сказала, пусть ваши дети придут ко мне в том одеянии, что на свадьбе были. Мама сообщила нам, и мы с Гаврюшей все втроем поехали к Горошихе в Попасную на следующий день. Когда мы зашли в комнату, поздоровались, то она аж руками всплеснула: ах вы мои цветы роскошные, да кто над вами насмеялся? Посмотрела на меня, общупала, а потом Гаврюшу, — снимай картуз, а в картуз под пряжкой накручена проволока из гитары, показывает: вот что, мои дети, тебе, парень молодой, сделано, чтоб ты с ума сошел, а оно повлияло на член. Гаврюша заплакал, она стала уговаривать — не плачь, сынок, все будет в порядке, и она нам дала пить, а потом дала что-то такое носить при себе. Я сделала пояса и вышила это в пояса, не могу рассказать — что-то завернутое в масляную бумагу, ну и поехали мы домой в Первомайку и начали жить как положено, я родила сына Витю, а потом и Толю. Вот и я узнала, откуда люди берутся. Сейчас не поверят, если рассказать, но это истинная правда.

После войны я работала в Бурцехе, от охраны стояла на воротах, дежурила, встретила своего друга детства, но сразу не угадала. Он подошел ко мне и спросил (это было в 1966 году): — Откуда вы, дамочка, родом? Я сказала, мол, из Новозвановки. — А кто у вас соседи были? — Справа были Дамаскины, а слева Мазка. — А кого вы знаете из Мазкиных? — Было три брата: Василий, Григорий и Мишка. — Вот я и Мишка. Я сразу — да что ты? Я его узнала по зубу — у него был зуб кривой с правой стороны, тогда он засмеялся: — А помнишь, как наш Григорий не давал нам встречаться? — Помню, — говорю. — А потом ты уехала в Первомайку, но я все равно о тебе думал, и когда нашла Гаврюшу и вышла замуж за него, и вы приезжали к матери, а мать вас посылала на берег поливать капусту, помидоры, перец, я следил за вами, сам иду вроде поливать, огороды ж рядом; муж Гаврила обнимает и целует тебя под вербой, а я стою и плачу. Я тебя любил, не мог даже ночью спать, в подушку плакал. — Да, — я сказала, — вы и устроили нам с Гаврюшкой тогда на свадьбе. Он признался, что это наша мать сделала тебе, чтобы ты не выходила замуж за чужого, она хотела, чтобы ты разошлась с Гаврюшкой и вышла замуж за меня или Гришу. — Но я ж уже была замужем? — Ну и что, все равно мы тебя любили. — И что ж бы вы сделали, если бы я вышла замуж за тебя? Дралися? — Вот я приехал с Войны в звании майора, долго не женился, до 1946 года, а потом решил жениться на своей телеграфистке,

поехал и привез, имею двух детей, живу в Попасной, свой дом купили, работаю в автобусном парке, вот приехал в Бурцех. Я говорю, что от охраны стою здесь, в Бурцехе, на воротах. Я сравнила молодость, считай, детство, теперь и не узнать, возмужал, стройный, средней упитанности, чернявый, красивый. — Я бы тебя никогда не узнала. — А я тебя узнал, но сомневался, и вот спросил, какая же ты была красивая, а сейчас стала некрасивая, глаза припухлые, морщины на лице. — Что ты равняешь — столько пережить! То было в 1930 году, а это в 1966. Вот случайно ездила в Мироновку и проездом через Новозвановку остановилась купить меду, и мне сказали жильцы, что Миша Мазка умер. У меня еще надежда была увидеться с ним хоть когда-нибудь, ведь это детство было, поговорить, увидиться, но уже все, ушел навсегда.

В молодости, я уже была замужем за Гавриилом и ходила беременная вторым, ему дали путевку в дом отдыха от пожарной части как заслуженному командиру. Гавриил сказал на производстве, что смотрите, отвезите мою жену в роддом, если надо будет. — Хорошо, — сказал начальник пожарной команды, Дунаев Михаил Андреевич. Он поехал, а через пять дней я почувствовала концы, заболело в боку, и заболела поясница. Я потихоньку оделась, повязала пониже платок на глаза, надела его тужурку, и пошла сама в родильный дом, чтобы меньше знали люди. Не ожидая машины, сама пришла, меня привели в порядок, и я родила уже утром 22 июня тысяча девятьсот сорок первого года сына Толю, в пять часов утра. Помню, когда меня привезли в палату с родильного стола, положили в постель, я смотрю, санитарки плачут, я сразу не пойму, в чем дело, какое им горе. В седьмом часу собирается пере-сменка, все плачут, а мне не говорят. Я спрашиваю, почему все плачут? Мне не говорят, да все же рядом с койки женщина-родильница сказала, что Война.

Германия напала на Советский Союз, что мне делать, да и это грудное, меня стало трусить, морозить, я плачу, волнуюсь, боже мой, что мне делать, что будет? Меня накрыли двумя одеялами, а меня все равно трусит, где мой муж Гавриил. А он вечером подходит к окну с той стороны, где уборная, там никто не видит, я потихоньку встала, подошла к окну и увидела своего любимого мужа-красавца, он молодым был стройный, черноволосый, носик прямой, всегда улыбался, мой дорогой, как хорошо, что ты приехал, я с ума схожу, тут родила, а тут тебя нету, а тут Война, мне сказали. Да, дорогая роза, Война, я ночью приехал, как услышал, ну ты не волнуйся, что будет, то и будет, а что ж теперь делать, теперь у нас двое детей, и оба сыны, и тут взволновался весь мир. Через неделю он меня забрал из родильного дома, а еще через неделю забрали его, послали с машинами в Саратов, эвакуировали, как я писала раньше. Привез он меня не в ту квартиру, где мы жили, та квартира была старая, крыша протекала, все в комнате после дождя было забрызгано — диван, стол, кровать, стены, ручьем бежала вода, и он когда приехал из дома отдыха, вошел в комнату, глянул и сразу пошел к начальнику пожарной команды и попросился к нему в спальню. Переехали с ул. Рейсы на ул. Новый Свет. Мне Гавриил привез вещи из дома, красивое мое платье креповое розового цвета, туфли модельные с розовинкой и чулки под цвет туфель. Мне было тогда 25 лет, едем на линейке, на дворе тепло, солнце, такая хорошая погода, лошадь коричневого цвета, все соседи завидовали, да недолго. Хотя наших мужиков забрали не сразу. Дунаева Михаила Андреевича, начальника пожарной команды, забрали раньше, а моего Киселева позже. Мой муж отвез меня в Новозвановку, где и началось мое мучение — похоронила маму и отца при таком ужасе.

В 1942 году приехала с передовой, как я уже писала, одна шкура да кости, а еще муж Гавриил развод просит, называется, воюет. Мало мне горя, да еще муж бросил, ничего не кушаю, объявила себе голодовку, только плачу. Сестра Вера говорит — да что-нибудь делай, чтоб жива была, а то ты оставишь мне детей. Я случайно попала к Варьке Васильевой в квартиру, а у нее стояли наши солдаты-красноармейцы. Я осталась посидеть с людьми, пригласили меня за стол, а они поют и танцуют с солдатами, еще женщины там были, все веселятся. А когда подняли стаканы, то вспомнила я своего любимого мужа и думаю, куда я попала и зачем мне эти гулянки, да как заплачу навзрыд! Они все обратили внимание на меня. — Да что ты, Женя, мы живем, мол, одним

днем. Думаю, зачем мне все это, никогда я не была в таких компаниях, ну а мне надо дух поднять в себе, чтобы хоть кушать начать. Меня никто не приглашает, я такая страшная, худая, да и мне все противны, развратная компания, но все равно, когда я вернулась домой, то у меня появился аппетит. Я поставила вопрос по-другому: я держу корову, делаю сметану, варю самогон, спрашиваю женщин, когда еще будете собираться, и иду туда, где есть люди. И я начала набираться сил, корову держу, детей кормлю, а ожидать некого, муж женился, так надо было делать что-то, чтобы жизнь начать сначала и сохранить себя хотя бы для детей. Если погибашь, никому не нужен, а если засмеешься, сколько разговоров, а разговоры на черта нужны.

* * *

Евгения Григорьевна Киселева не дождала всего нескольких месяцев до этой публикации и уж совсем немного до известия, что ее воспоминания приняты журналом. Тут ей, как всегда, везло, везло — и не повезло.

Она была человеком страстным, о своей литературной одаренности слушать не любила, а из всех искусств важнейшим считала кино. Она мечтала увидеть свою жизнь на экране, в художественном исполнении. Трудно было объяснить этой женщине, почему ее жизнь и наше официальное искусство малосовместимы. А еще труднее, наверно, было увидеть в больной, полуграмотной старухе писателя, наделенного всеми муками творческого самолюбия. За четырнадцать лет нашего заочного знакомства воспоминания Киселевой прочитали многие режиссеры и кинодраматурги, но никто ни разу не выполнил своего обещания — не написал ей в поддержку ни строчки. Верила ли мне Евгения Григорьевна? Часто она обижалась и надолго замолкала. Сколько раз я пугалась: жива ли она? И даже смерть поначалу приняла за очередную обиду.

Все образование Е. Г. Киселевой — пять классов в украинской сельской школе. Ее рукописи написаны «со слуха» и только таким же образом подчас расшифровываются. Есть незнакомые слова, смысл которых, однако, угадывается, — «призьба», «калюжа», они оставлены без изменений. Также важным показалось сохранить отраженную в орфографии систему ценностей, характеризующую не столько автора, сколько окружающую его жизнь. Бог, например, в этой системе существует, но со строчной буквы, а вот Телевизор часто пишется с заглавной.

В эту публикацию вошла лишь часть написанного Евгенией Киселевой. Трудность прежде всего в подлинности имен, адресов, в эпической правдивости рассказа. Замена имен на вымышленные лишила бы текст важнейшего качества. Эту проблему я не раз обсуждала с автором, и мы пришли к выводу, что для более полной публикации ее воспоминаний время еще не настало. Из второй тетради-дневника, оказавшегося художественно завершенной драмой в жанре семейной хроники, взяты лишь воспоминания о деревенской юности автора и рассказ о свадьбе. Все рукописи Евгении Григорьевны Киселевой переданы мной на хранение во Всесоюзный центр документации «Народные архивы».

Публикация и послесловие Елены ОЛЬШАНСКОЙ.



ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ

*

ПУТЕШЕСТВИЕ ДУШИ

Повесть

Глава седьмая¹

Василий Дмитриевич Темляков еще совсем недавно появлялся на людях в туманно-голубом, как табачный дым, пиджаке, из-под которого блистала чистотой белая рубашка с распахнутым воротом. Нарочитая небрежность придавала ему независимый вид и ту молодцеватость, которая нравилась женщинам, обращавшим невольное внимание на седой клочок волос в широком распахе белого воротничка.

Кожа лица, окрашенная солнцем под цвет еловой шишки, была иссушена годами, но в складках ее и в густых морщинах поблескивали еще озорством и глуповатой радостью коричневые, как у дикого селезня, внимательные глаза. Натянутая кожа лба сквозь пепел волос на высоком куполе темени просвечивала каштановой коричневой. Казалось, весь он был испепелен знойным солнцем, весь состоял из слепящего света и глубоких коричневых теней.

Он был еще совсем живой, и многие женщины на улице замечали его, выхватывая взглядом из толпы, на что Василий Дмитриевич чувственно откликался.

Женщины, звавшие его с юных лет, говорили, что годы украсили Ваську, придав ему яркости, и выявили привлекавшую мужественность в его некогда смазливых, размытых чертах. Они называли его Васькой по праву ровесниц, не замечавших вместе с ним стремительного потока жизни и находивших удовольствие в игривом кокетстве с этим симпатичным седым мальчиком.

Именно в эти годы, когда к власти пришел очередной «политический деятель ленинского типа», как о нем писали газеты, «человек с большим жизненным опытом и большим организаторским талантом», о котором кто-то мимолетно сказал Темлякову, что он необходим сейчас стране как воздух, когда новый талант принялся руководить государством, Темляков тяжело задумался, не находя ответ на вопрос: «Кто же убил Сашу?!»

Его глубоко волновал внешний облик человека, который нанес Саше смертельный удар по больной голове. Он никак не мог мысленным взором увидеть этого человека, исполнявшего чей-то приказ об уничтожении душевно больных людей перед лицом вражеской угрозы Москве. Жестокая нелепость этого приказа была очевидна. Но Темляков задумывался тогда и над вопросом: «А был ли такой приказ? Кто мог издать его? Кто подписал?»

Сознание его мутилось от всех этих вопросов, как если бы он спрашивал о том, о чем ему под страхом смерти запрещено было спрашивать. Он себя чувствовал так, словно обязан был принять смерть старшего брата как должное, как неизбежность. Он как бы не имел права не только интересоваться, почему это произошло, но даже не смел горевать. Его словно бы вынуждали вычеркнуть этот случайный эпизод из жизни, как если бы никакого брата у него никогда не было. Кто его вынуждал к этому, он не мог бы сказать, но кто-то всем ходом жизни, всеми ее официальными словами, призывами и

¹ Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

поступками принуждал молчать о трагической смерти брата или, во всяком случае, рекомендовал не поднимать шума, как бы говоря ему со снисходительной усмешкой: «Ну какой тебе в этом смысл?»

Примерно такое же чувство собственного бессилия он испытал спустя несколько лет, когда однажды его вызвали в Управление дороги и секретарь партийной организации, которого Темляков, человек беспартийный, никогда раньше не видел, объявил ему, что он должен выступить на предвыборном собрании в поддержку государственного деятеля, одного из тех, кто был рядом с «талантом», и должен сегодня же зайти в райком в комнату номер восемнадцать к Зинаиде Петровне Брянской, которая в курсе дела.

— Простите, — сказал Темляков польщенно-испуганно, — но я же не член партии.

— Это мы знаем, — сказал секретарь. — Нам и нужен беспартийный. А вы что-нибудь имеете против товарища Фуфлова? Он наш кандидат в депутаты.

— Что вы! Я ничего не имею... Наоборот, — сказал Темляков, поеживаясь. — Но только как-то... все это неожиданно... Вы не ошиблись? Я что-то ничего не пойму. Как это в поддержку?

— Не вздумайте отказываться, — сказал кто-то из-за спины секретаря, блеснув улыбкой. — Партия оказывает вам большое доверие.

— Как!.. — нервно всохотнул Темляков. — Я не отказываюсь... Я просто как-то не готов... Надо собраться с мыслями, — сказал он, видя в тумане рисованный на полотне сухой кистью портрет человека в блестящих очках, худощавое его лицо с плотно замкнутым ртом и впальми щеками. «Фуфлов, Фуфлов, Фуфлов, — пролетела в сознании знакомая фамилия. — А кто же он там? Даже не знаю, кто он! Как же я могу?» — Но вот ведь какое дело, — начал он вежливо и вкрадчиво, клонясь к секретарю, который что-то писал за столом. — Вот ведь что выясняется... Я, конечно, не отказываюсь, но я никогда не выступал, я боюсь, не получится...

Но секретарь уже протягивал ему какую-то бумажку, и Темляков, не понимая ничего, взял ее, чтобы передать Зинаиде Петровне Брянской. Перед глазами у него опять возник портрет, пристально смотрящий ему в глаза из-за поблескивающих стекол. «Какая у него длинная шея, — подумал с улыбкой Темляков. — Какая-то совсем не государственная... Наверно, хороший человек. Ладно».

— А что же мне там говорить? Я теперь что же — доверенное лицо?

— Где там? — устало спросил секретарь и с улыбкой поморщился, потирая лоб пальцами.

— Ну там... где это происходит... Я же должен подготовиться. Почитать литературу...

— Какую литературу? Вы идите, Темляков, там все объяснят. Не теряйте времени. Вам государственное дело доверяют, а вы какую-то литературу.

— Ну хорошо, хорошо... Спасибо, я понимаю. А куда ехать-то?

— В райком! — уже строго сказал секретарь и добавил с усмешкой: — Ехать... — Он посмотрел на часы. — Поторопитесь!

— Понятно, — сказал Темляков, не посмея спросить у секретаря, где этот райком находится. Видимо, предполагалось, как подумал он с некоторым смущением, что адрес райкома должен знать каждый человек, если он, конечно, считает себя советским человеком.

«Так, — думал он, приходя в себя. — Так, так! Интересно получается. Приятно, конечно. Но что бы это значило? Почему меня? Я — и вдруг доверенное лицо такого человека. Странно!»

Он был очень возбужден и не понимал себя: рад ли он такому случаю или не рад... Портрет Фуфлова опять замерещился перед мысленным взором... Строгий галстук на длинной шее, мальчишеский зачес... «Может быть, это не Фуфлов? — испуганно подумал Темляков. — Может, я что-то путаю?» Он пробежал взглядом по выстроенной мысленно череде портретов, какие вывешивали в Москве к праздникам, перебирая их в памяти, как карты.

«Да! Это, конечно, Фуфлов! С этой школьной причесочкой и с губами... А вообще-то — жесткое у него выражение под стеклами. С таким не поспоришь. Да! — спохватился он. — Но где же этот райком? Мать честная, во дела!»

Доверенное лицо! А как тут откажешься? — думал он, вышагивая по тротуару как пьяный и видя перед собой портрет, который словно бы целился в него жестким, поблескивающим взглядом. — Как откажешься?!»

— Скажите, пожалуйста, как мне проехать к райкому партии? — спросил он у постового милиционера.

— Какого района? — спросил тот в свою очередь.

Темляков не знал, какого района. Он очень смутился, поймав на себе подозрительный взгляд.

— Как это какого? — сказал он, стараясь придать голосу шуточный тон. — Нашего района, сержант. Нашего! — Хотя, к стыду своему, вдруг понял, что даже не знает, в каком районе он работает, к какому району относится Управление дороги.

Сержант насмешливо оглядел его с ног до головы, вероятно подумав, спросить документы или не спросить, и, решив не связываться с этим бодрячком-старичком, в том же тоне сказал ему:

— Где райком вашего района, я не знаю, а райком нашего у вас за спиной.

Темляков смутился и принялся объяснять сержанту, зачем ему понадобился райком.

— Ясно, — говорил сержант, — ясно. А документы-то есть с собой? Паспорт...

— У меня? — воскликнул Темляков, понимая, что сержант хочет проверить его личность. — А зачем? У меня... вот... удостоверение, — говорил он, вытаскивая бумажник и хмурясь. — Вот, пожалуйста.

— Мне-то ни к чему, — сказал сержант. — Без документов там не пустят. Я о том, что там потребуют.

Он сам неожиданно покраснел от смущения.

— Да?! — воскликнул Темляков. — А я не знал. Что же теперь делать?

Сержант с ухмылкой козырнул ему и был, кажется, рад, что его о чем-то хотела спросить женщина, к которой он и повернулся, сгоняя ухмылку с лица.

«Морда ты доверенная, а не лицо, — подумал про себя Темляков. — Не помнишь даже, в каком районе работаешь».

В райком его и в самом деле не пустили по удостоверению, хотя дежурный милиционер и был предупрежден Брянской, что придет беспартийный Темляков.

Широкая лестница, маршем своим упиравшаяся в огромное окно, отблескивала новым мрамором, багровела чистым настилом ковровой дорожки. Темлякову очень не хотелось подниматься по этой пустынной лестнице, но в то же время любопытство подмывало его — ему уже нравилось быть доверенным лицом государственного деятеля.

По внутреннему телефону дежурный доверительно переговаривался с кем-то, согласно кивая и тупо перя взгляд в ботинок Темлякова. «Хорошо, — сказал он, — хорошо». Положил трубку и сказал Темлякову:

— Придется подождать.

— Есть подождать! — сказал Темляков, стараясь держаться непринужденно, а оттого и ляпнув «есть», бросившее его в жар.

Он ходил как на рыскале вдоль дверей и, заложив руки за спину, уставившись в полированный гранит пола, слышал напряженную тишину и торжественность здания, в чрево которого он был так неожиданно втянут судьбой. Он взволнованно думал, что в жизни его произошел крутой поворот: какие-то силы, о которых он даже не подозревал, обратили вдруг на него внимание и мгновенно вытащили из безвестности, чтобы по прихоти своей приблизить к делам государственной важности. «Это же смешно! Это смешно! — говорил он сам себе. — Какая государственная важность?! Это же смешно». Но сам же не соглашался с этой насмешкой, уверяя себя, что ничего смешного в этом нет и что, будучи доверенным лицом, он включится волею судеб в круговорот государственной жизни и, может быть, станет первым в темляковском роду, кому достанется честь участвовать... «Боже мой! — перебивал он сам себя. — Это же курам на смех! Морда ты доверенная! Как тебе не стыдно, старому человеку». Но опять возражал сам себе, что не так уж он и стар и что если

ему, беспартийному человеку, доверяется такая высокая честь, то, значит, в государственном устройстве что-то изменилось к лучшему, значит...

— Аппарат обедает,— услышал он вежливый голос дежурного, когда поравнялся с ним в своем хождении.

— Что, простите? — встрепенулся Темляков, выходя из внутреннего спора.

— Я говорю, аппарат обедает. Придется подождать.

— А-а, понятно... Хорошо, хорошо... Не беспокойтесь.

«Аппарат обедает», звучало в его голове, «аппарат обедает». И с каждым новым повтором эта фраза обрела фантастический смысл и значение. «„Аппарат обедает“... Как это может „аппарат“ обедать? — думал Темляков. — Чушь какая-то собачья. „Аппарат обедает“.— Он представлял себе некий сложный, состоящий из множества железных, медных, пластмассовых деталей аппарат, разевающий резиновый рот, мигающий лампочками и поглощающий духовную пищу, запах которой Темляков вдруг уловил чутким, как у покойного отца, носом.— Да, действительно, „аппарат обедает“,— подумал он с улыбкой.— Но при чем тут я? Зачем я здесь?»

Женщина на высоких каблуках бесшумно появилась на лестничной площадке, объявилась силуэтом на фоне светлого окна, и взглянула вниз, обшаривая глазами вестибюль.

Темляков узрел в ней Брянскую.

— Товарищ Темляков? — услышал он голос из поднебесья и, отметив про себя с удивлением, что его никто еще и никогда не называл так официально, тронулся в нелегкий свой путь.

Это была немолодая женщина в строгом клетчатом жакете, черном с белой искрой, из ворота которого выростала довольно смешливая головка. Она сразу же смутила Темлякова, задав ему странный, насмешливый по тону, непонятный вопрос:

— Тоже мимическое?

Она подбородком кивнула в сторону его лица и повторила вопрос с улыбкой:

— Я спрашиваю, морщины мимические? Вы человек как — веселый? Как и я?

— А-а-а... Морщинки... Ясно. В общем-то... не очень... А вообще...

Он ничего не понимал, и это его непонимание заставило Брянскую перейти на серьезный тон. Она досадливо нахмурилась, зашуршала бумагами, разбирая их, на столе, выхватила из стопки две страницы, зацепленные металлической скрепкой.

А Темляков именно в этот момент понял наконец, о каких мимических морщинах спрашивала его Брянская, заискрился в поздней догадке:

— Ах, бросьте, Зинаида Петровна, какие у вас! Это я как печеное яблоко.

Но она уже далека была от шутливого послеобеденного настроения.

— Ваша речь,— утвердительно сказала она, пробегая напечатанный текст подслеповатыми, дальнотзорными глазами.

Верхняя губа ее — полумесяцем вниз,— обметанная, будто цветочной пылью, золотистым пушком, была посечена вертикальными морщинами, кожа вокруг глаз — полумесяцем вверх — вся морщилась в мельчайшей сеточке, придавая строгому ее лицу смешливое выражение театральной маски.

Брянская держала на весу листки дрожащей бумаги, протягивая их Темлякову, который опять ничего не понимал, нервно переживая неловкость своего положения. Хотя в то же время все хорошо уже понял, не веря еще, что он понял все это правильно.

— Я работаю в культуре,— говорила между тем Зинаида Петровна.— Но не смогу. Вас будет слушать инструктор райкома, товарищ Каширин. К сожалению, я сама не смогу выслушать вас. Он просил зайти завтра, он будет ждать вас в четырнадцать часов в пятнадцатом кабинете.

Листы бумаги с текстом речи были уже в руках Темлякова, он согласно кивал...

— А если мне,— начал он было, но в этот момент зазвонил телефон.

— Брянская, — по-военному сказала Брянская, подняв трубку. — Нет, еще не подошел... Когда подойдет? Часика через полтора... Пожалуйста. — Трубка клацнула на рычагах. — Договорились? — спросила она Темлякова.

«Еще не подошел? — подумал Темляков, пребывая в нервной, ледящей мозг лихорадке. — Подошел или не подошел? Подходит тесто? А кто не подошел? Я? Нет, конечно... Кто-то».

— Хорошо, — сказал он и жалко улыбнулся. — Могу ли я что-нибудь поправить, если покажется?... — спросил он, глазами скользнув по бумаге в своих руках. — Стилистически, — добавил он.

— Товарищ Темляков! Я в культуре работаю уже больше двенадцати лет. За стиль и содержание отвечаю я. Странный вы человек... — Брянская прищурила глаза, как зло курящая, лицо которой окутал дым, губы ее строго сморщились. — Ваша задача — изучить текст речи и хорошо произнести его с трибуны. А стилистика пусть не волнует вас.

«Вздор! — взорвался вдруг изнутри Темляков. — Какой вздор!»

— Хорошо, — сказал он. — Я постараюсь. Можно ли эти листы сложить? У меня с собой ни папки, ни портфеля.

Брянская мурло порылась в ящике, достала картонную папку с черными буквами, составившими слово «Дело», выпотрошила ее, вывалив на стол какие-то бумажки, протянула молча Темлякову.

— Спасибо, — сказал он и усмехнулся виновато. — Вы знаете, я думаю иногда, — говорил он, поднимаясь, — думаю по-стариковски. Есть путь смертного человека, а есть путь бессмертной души. Эти пути...

— Товарищ Темляков, я вас с удовольствием выслушаю в другой раз. Сегодня никак не позволяет время, — сказала Брянская, разводя руками и тоже поднимаясь и протягивая руку на прощанье. — Не забудьте, пожалуйста: завтра в четырнадцать в пятнадцатый кабинет к товарищу Каширину.

Темляков пожал руку Брянской, ощутив ладонью жалкую костистость ее пальцев и неожиданно их женственную безвольность.

— Завтра в четырнадцать в пятнадцатый, — сказал он с вежливой улыбкой, — очень просто запомнить: четырнадцать, пятнадцать... Проще пареной репы...

— Я ж говорила, — сказала она с бурно вдруг ворвавшейся во все ее лицо пушистой улыбкой, — мимические морщинки. Мимика нас с вами подводит!

— Ах, Зинаида Петровна! Это не самое страшное. Не самое! — воскликнул Темляков.

Они расстались друзьями: партийная женщина и беспартийный мужчина, задействованные в некое дело, исполняя роли в некоей странной пьесе, которую надо было сыграть Темлякову в ближайшее время, изучив кем-то написанный текст загадочной роли.

«Вздор! — то и дело взрывался Темляков по дороге домой. — Вздор невозможный... Я — и вдруг доверенное лицо. Он и я — рядом? Ничего себе положение! Вздор какой-то! А у него, — вспоминал он предвыборный плакат, висевший в кабинете Брянской, — кожа натянута за уши. Как будто кто-то за уши схватил его сзади, а он вырваться не может. Натянут струной... Да! Но это ничего не меняет. Может, и в самом деле хороший человек? Так же вот, как и я... Сначала одно поручение... Пожалуйста. Спасибо. Потом второе. И пошло, и пошло... Смотришь, а уже выше и некуда. Ах, какой вздор! При чем тут я?»

— Попался я сегодня! — сказал он Дуняше, целуя ее в щеку, дряблую, чуть теплую, как подошедшее тесто. — Влип, можно сказать, в историю!

Она внимательно смотрела на него, ожидая объяснения, и, готовясь к слезам или радости, переливала в глазах и то и другое, как бы улыбаясь сквозь слезы и плача сквозь улыбку. Он ее очень встревожил. Она-то уж знала мужа, он мог бы и не говорить ей ничего, она с первого взгляда поняла, что случилось с ним что-то необычное, что-то очень неприятное.

— Что? — спросила она, теряя терпение и улыбаясь с надеждой на лучшее.

Темляков не принадлежал к тем мужчинам, которые оберегают жен от

волнений, скрывая от них свои неприятности. Он доверял жене, зная, что Дуняша не захотела бы остаться в неведении ради собственного покоя, не простила бы ему, если бы он что-нибудь скрывал от нее. Он это хорошо знал. А потому и рассказ его о случившемся был безукоризненно точен, изобилуя подробностями, уточнениями, повторами по просьбе Дуняши и объяснениями, напоминая исповедь больного человека пытливому доктору. Он, как больной, сохранивший чувство юмора, посмеивался над своими казусами, иронизировал над опасной хворью, преодолевая собственную тревогу, проникшую в душу, и как бы предупреждал доктора, что готов выслушать любой его приговор, каким бы жестоким и немилосердным он ни был. Он с особенным удовольствием высмеивал выражения, которые услышал в райкоме: «аппарат обедает», «он еще не подошел», «я работаю в культуре», — стараясь вызвать улыбку на лице обеспокоенной Дуняши.

Но приговор, который она вынесла ему, был слишком жесток и суров.

— Ты не должен этого делать, — тихо сказала она, рассматривая его отрешенным взглядом. — Тебе надо отказаться.

Случилось то, что должно было случиться: он обиделся и безумно разозлился на жену, чувствуя себя смертельно оскорбленным ею. Исповедуясь, он рассчитывал в глубине сознания, что Дуняша учтет его иронию, насмешку над опасной болезнью, оценит жизненную силу его организма и посмеется вместе с ним над минутными его недугами, даст ему надежду на скорое выздоровление. Но вместо этого услышал смертельный приговор.

— Дура! — вскрикнул он. — Ты! Ты хоть понимаешь, что говоришь? Как я могу отказаться?! Ты хоть представляешь себе, что будет, если я откажусь?! Вот уж не знал, что ты такая дура!! — вскрикивал он в отчаянии и готов был рвать на себе волосы, бить кулаком по столу, швырять посуду на пол. — Меня! — кричал он ей в лицо. — Впервые пригласили! Впервые доверили! Участвовать! А ты опять! Упрятать хочешь! Под юбку! Ты дура! Кллуша несчастная! Не люблю тебя!

Ему казалось, что она с жестокостью паучихи ощупывала его, рвущегося на свободу, своей добродушной жестокостью и спокойно ожидала, когда силы его иссякнут, чтобы нанести ему ядовитый парализующий укус. Он ненавидел ее, как может ненавидеть поверженный своего торжествующего врага, лицо которого распустилось в улыбке при виде страданий жертвы.

— Дай мне прочитать твою речь, — сказала она, нанеся наконец парализующий укус, подчеркнув, что речь эта — именно его речь. — Дай, пожалуйста.

— Шиш! — крикнул он, сдерживая себя из последних сил. — Я жалею! Я зря рассказал! Твой куриный мозг! Ты всегда была!.. — Он чуть было не выкрикнул, задыхаясь, что она всегда была против советской власти, но вовремя спохватился и в страхе перед самим собой неожиданно притих. — Учти, — сказал он, переводя полыхающее дыхание, — я сделаю все так, как надо. Это надо не кому-нибудь, а мне. Поняла? Мне надо! Мне надоело жить в загоне, я на волю хочу... И ты! — гневно прошептал он, испепеляя ее своим ненавидящим, углистым взглядом. — Ты у меня под ногами не путайся!

— Хорошо, — согласилась она. — Только прошу тебя, дай мне прочитать. Я должна знать, что ты там будешь говорить. Это мне не все равно.

— Ей не все равно! — воскликнул он чуть ли не со слезами отчаяния. — А мне? Мне все равно. Ну кто я такой? Кто? Да никто! Господи, мне все равно! — говорил он с язвительной, рыдающей усмешкой. — Не все ли равно — я это прочту или кто-то другой? Ты хоть понимаешь, что всерьез к этому нельзя относиться? Ты это не в силах понять, нет! Формальность ты готова возвести в ранг черт знает какого откровения... Это анекдот! Неужели непонятно? Вместо того чтобы посмеяться, ты... ты готова... черт знает что! Ну что там написано? «Верный ленинец... Герой. Кажется, дважды... Идеолог международного рабочего движения...» Господи! Все это можно прочитать в любом листке. Все это известно! Надо быть идиоткой... полной, чтобы сказать: мне это не все равно! Почему это тебе не все равно? Вот ответ мне, пожалуйста, почему это тебе не все равно? Я там пытался, — говорил он, не дожидаясь ее ответа, который ему не был нужен. — Я там сказал что-то насчет стилистики,

так надо мной посмеялись. Мы с тобой так отстали от жизни, что... Господи, нет... Мне пора на пенсию! Зачем тянуть?! Я и так переработал достаточно. Пора! — Темляков, паясничая, развел руками, ослабил в дурацкой маске смеха. — Пора!

Ему было очень жалко себя в этот печальный вечер. Он завидовал людям, у которых есть другие, наверное, жены, которые порадовались бы, конечно, узнав, что мужа отличили доверием, улыбнулись бы ласково, поздравили бы... Во всяком случае, повели бы себя совершенно иначе, чем эта серьезная дуреха. Он все время хотел сказать ей то, что начал было говорить Брянской и чего она ему не дала договорить. «Есть путь живого человека, — проговаривал он про себя, — а есть путь бессмертной души. Эти пути редко совпадают. Чаще расходятся в разные стороны. Вот тогда и трагедия! Человек не познал путь своей души и страдает, потому что душа зовет его, а он не слышит, грешит, думая, что так душа хочет... Может ли быть грех на душе, если она бессмертна? Господи, что это я совсем запутался, — думал он. — Да! Но если душа бессмертна? Или ее можно загубить? Нет! Душа может только страдать... Тело, конечно, бренно. А душа?»

Ничего в этот вечер у него не получалось, все рушилось, рассыпалось спичечным домиком.

По радио звучал голос Михайлова, горячий, кипящий, как смола в котле, бас.

Темляков весь вечер промолчал. Дуняша тоже не проронила ни слова, подавая ему чай с бутербродами, хотя и была в отличие от него добра к нему и предельно внимательна, как если бы он и в самом деле смертельно заболел.

Перед сном он мрачно спросил у нее, чувствуя непроходящую досаду, не давшую ему покоя.

— Что тебе от меня надо? — спросил грубо, будто Дуняша мучила его все это время, требуя от него чего-то сверхъестественного.

Она даже вздрогнула от неожиданности, лицо ее шевельнулось в невольном испуге, как если бы он ударил ее.

— Мне? — удивленно, но строго спросила она и, пожав плечами, ответила: — Ничего.

— Зачем же ты хочешь сделать мне больно? Ты все время ведешь себя так, чтобы... Ты что ж думаешь, мне приятна эта дурацкая роль? Но что я могу сделать, если жребий выпал мне? Что? Подскажи, если ты такая умная. Отказаться, да? Послать всех к черту и хлопнуть дверью?

Она смотрела на него с сожалением и, как в юности, с тем же участием, словно бы спрашивала потускневшим взглядом: «Почему вы такой странный? Все время отводите глаза. У вас есть какая-нибудь страшная тайна?»

На следующий день в два часа пополудни он беспрепятственно поднялся на второй этаж и с твердым намерением отказаться требовательно постучал костяшкой пальца в дверь пятнадцатого кабинета. Веселый голос откликнулся, приглашая войти, и Темляков увидел инструктора Каширина.

Это был крепкий и гладкий, как кабачок, плотный человек в ярко-желтой рубашке, ростом едва ли на десять сантиметров превысивший полутораметровую отметку. На лице его торжествовала улыбка, одна из тех спелых улыбок, когда белые зерна нижних зубов добродушно оскалены, а верхние, спрятаны под толстой губой. Он чуть ли не криком приветствовал Темлякова, поднявшись навстречу, и долго тряс его руку с преданностью лучшего друга. В глазах Каширина что-то ртутно переливалось, светилось, как лесная паутина, колеблемая ветром в солнечном луче. Из тесной полости рта, набитой зубами и толстым языком, влажно и сыро выплескивались шмякающие слова, словно Каширин был голоден, а Темляков, которого он ждал, внес ему на блюде изысканные лакомства, при виде которых у инструктора потекли слюнки.

— Я человек законопослушный, — шутивно говорил инструктор Каширин, — а потому приступаю к делу не мешкая. Вы изучили свою речь?

— Моя речь! — усмехнулся Темляков. — Не речь, а реляция... Донесение с поля боя... Все не по-человечески. Я, наверно, не смогу такую прочесть.

В глазах Каширина; который не переставал улыбаться, что-то опять пере-

лилось, какая-то паутинная нить протянулась в сознание Темлякова, за что-то там уцепилась, и Темляков, невольно подчиняясь немому приказу, добавил:

— Во всяком случае, в таком виде.

— Василий?.. — спросил Каширин, дожидаясь в паузе, когда Темляков назовет ему свое отчество.

— Дмитриевич, — подсказал тот, почему-то уверенный, что Каширин и сам помнил его отчество.

— Василий Дмитриевич! У нас готовность — раз! Летчики так говорят: готовность — раз. Какие могут быть сомнения?! Реляция! Что ж, у нас вечный бой! Это верно, наши речи и доклады похожи на донесения с поля боя, и я не вижу в том ничего плохого. Вас это смущает? Ах, Василий Дмитриевич! Рано еще расслабляться. Вы думаете, мне доставляет удовольствие сидеть тут и требовать от людей законопослушания? Люблю это слово, заметили? Законопослушный человек. Не послушный, нет! Послушных терпеть не могу, а именно законопослушный. А впрочем, что мы тут время теряем! Пойдемте, пойдемте. Конференц-зал свободен, микрофоны включены, и мы сейчас быстренько все провернем.

— Как! — воскликнул Темляков. — Разве сегодня? Мне сказали — двадцать третьего.

— Конечно, двадцать третьего! — откликнулся Каширин, выходя следом за Темляковым из кабинета и запирая дверь на ключ. — Сегодня отрететируем, — весело сказал он и пружинисто, бойко зашагал по коридору, чувствуя себя здесь дома, в своей тарелке, среди своих. — Знаете, сколько на земле зарегистрировано кошек? — громко спрашивал он на ходу. — Четыреста миллионов! Представляете, сколько они поедают мышей! А птичек всяких? Вот тебе и хорошенькая зверюшка! Хорошенькая, когда спит, да еще зубами к стенке. Конечно, Василий Дмитриевич, я вас понимаю, я сам всегда оставляю место в своих речах для различного толкования того или иного пункта. Я не бог, пускай со мной спорят, я этому буду только рад. Я вам искренне это говорю... Но! Ваша речь — это речь представителя общественности. Это не совсем то же, что речь доверенного лица, но близка по сути. Ваша речь никак не может оставить впечатления двойственности. А потом! Вы себе представляете, какого человека будете рекомендовать в депутаты?! Вот ведь в чем дело! Я вам скажу, тут не то что слова, тут запятая неприкосновенна. Под этой речью, если уж совсем как на духу, не один ответственно мыслящий товарищ поставил свою подпись. Вы учтите, речь эта не ваша личная речь — это голос общественности. Вы представитель общественности. Ваша задача выражать не свое личное мнение о товарище Фуфлове, а мнение общественности. Улавливаете разницу? Ваше мнение в учет не принимается в данном случае.

— Да, конечно, — согласился с ним Темляков, чувствуя себя покорным и лишенным всякой воли к сопротивлению.

Каширин, гремя связкой ключей, вставил один из них в замочную скважину двери, окрашенной под дуб, с извивами древесной текстуры, напоминающей своей небрежностью крышку дешевого гроба, открыл и, пропустив вперед себя Темлякова, запер опять дверь на ключ.

Зал средних размеров был пугающе пуст. Ряды откидных светло-желтых стульев, застыв в строгой напряженности, как солдатики, взявшие ружья на плечо, готовы были к подвигу во имя дружного коллектива и, казалось Темлякову, ждали от него приказа. Пустая трибуна и безголовая плоскость стола президиума, микрофоны, направленные в пустоту, — все это безлюдье толкнуло вдруг Темлякова в голову, он пошатнулся от мгновенного испуга.

— Ах, боже мой, — сказал он чуть внятно, — зачем все это?

— Что? — откликнулся Каширин. — Что-то сказали? А что это вы остановились? Прощу!

Он уже поднимался по ступеням на обширную сцену, в глубине которой шурился гипсовый бюст вождя.

Фигурка Каширина, плотненькая, как бахчевый овощ с цветочком, юркнула за высокую трибуну, голова вынырнула из-за микрофонов, рука помахала Темлякову, крик через усилитель громом наполнил полутемный зал:

— Как слышите?

Слышимость была страшная в сумеречной пустоте зала. Темляков не мог поверить, что сейчас, подчиняясь самоуверенному инструктору, он поднимется на трибуну и, репетируя, произнесет «свою» речь. Душа протестовала против насилия, но улыбка уже размягчила волю, и Темляков, напутствуемый Кашириным, который, сцепив на животе короткопалые, для какой-то иной, тяжелой работы задуманные Богом руки, уже сидел посреди зала, зная, что его подопечный сейчас поднимется и будет читать то, что написано на двух страницах, — Темляков не помня себя все сделал так, как велел ему инструктор: поднялся, разложил на скошенной доске страницы, надел очки и стал читать.

— Дорогие товарищи! — хрипло сказал он. — Мы с вами собрались...

— Ну что это, что?! — закричал из зала взбесившийся вдруг инструктор. — Что за дикция! Где металл?!

«Это он-то о дикции, — подумал Темляков, откашливаясь. — Он и металла требует, господи!»

— Дорогие товарищи, — повторил он и, взглянув в пустой зал, посреди которого сидел желтеющий рубашкой инструктор, почувствовал, что сейчас ему сделается плохо. — Дорогие товарищи, — еще раз повторил он, едва различая плывущие перед глазами строки. — Мы с вами собрались... — И умолк, теряя силы.

— Слушайте, Темляков! — выкрикнул из зала инструктор. — Вы хоть читали текст?

«Да как он смеет орать на меня! — подумал Темляков, ладонью вытирая пот со лба. — Негодяй!»

— Читал, — ответил он хмуро, — но ведь я же не артист! Странный вы человек, честное слово.

— Ладно, ладно! — примирительно прокричал Каширин, ерзая на стуле. — Успокойтесь. И все сначала! Поживее, погромче, поувереннее. Считайте, что в зале дети, а вы говорите им простую истину, о которой они еще ничего не знают: Земля имеет форму шара, например. Поняли меня? Смелее надо.

— Но ведь не дети будут.

— Не дети, — согласился инструктор. — Но и вы, Темляков, не ребенок. Давайте работать. Что-то вы раскисли.

Темляков, не понимая, что с ним происходит, старательно произнес:

— Дорогие товарищи! Мы с вами собрались...

Он дочитал речь до конца, и ему показалось, что он справился со своей задачей, но инструктор Каширин был беспощаден — морщился, недовольно ворчал и просил прочитать еще раз. Темляков прочел, осваивая свое необычное положение, свою роль представителя общественности, которому надо было донести до масс, по словам Каширина, мнение большинства избирателей.

— Немножко лучше, — сказал Каширин, все еще чем-то недовольный. — Больше воздуха набирайте в легкие, — советовал он. — И не глотайте окончания слов, а особенно фраз. Давайте-ка еще раз. Поехали.

И еще раз прочел Темляков речь, все отчетливее понимая, как это ни странно, свою возрастающую ответственность, свое исключительное положение представителя общественности, которому надо было донести до масс всю серьезность намерения этих же самых масс видеть своим избранником, своим депутатом Михаила Андреевича, верного ленинца, теоретика марксизма-ленинизма на новом этапе развития социализма... Темляков сам уже не замечал своего старания, произносил с каждым разом все яснее и звучнее слова речи, выдерживая многозначительные паузы там, где советовал это ему инструктор, расставляя ударения на особенно важных; с точки зрения Каширина, положениях речи, делая акценты усилением голоса там, где это было необходимо.

— А говорили, не артист! — весело сказал наконец инструктор Каширин, выключая микрофоны. — Вот так примерно и надо выступать двадцать третьего. В общем плане.

Страшная усталость навалилась на Темлякова, когда он вышел из здания райкома. Ломота в груди, которая тупым нытьем разлилась по всему телу, заставила его остановиться. Но и это не помогло — стоять было еще труднее. Он увидел общественную уборную, глубокий спуск в подвал по крутой

лестнице, и, подумав, что там есть, наверное, умывальник, решил зайти освежить холодной водой лицо, снять дурноту.

«Так вот в чем дело!» — с вялым удивлением подумал он, придерживаясь за железный поручень, сваренный из толстой водопроводной трубы. — Мы подчинились биологическим законам, выбрали себе матку, служим ей, кормим, не щадя живота. Звезды бросили жребий, и он пал на меня! Я бездумное насекомое. Живу в красивой помойной яме... Чей это голос из помойки? А-а, понятно, понятно... Бросьте, это голос из помойки... В общем плане».

Его перегнали на лестнице двое пареньков, скользя по ступеням с акробатической легкостью, какая и ему когда-то была доступна. Сознание его, обогнав усталое тело, ринулось вдруг за парнями, стараясь воспроизвести утраченные возможности тела, воплотить их в фантастической ситуации и вновь пережить блаженное то состояние легкости, которое молодость отторгала как необязательное, ненужное.

Он знал в эту минуту, что не так жил и что его жизнь останется на земле грязной оплеухой, серым пятном.

«Жаль, — думал он, превозмогая усталостную боль. — Ах, как жаль! Но все-таки какой нахал! Могу ли я представить себя на его месте? Вот так встретить человека, как он меня встретил, и, ничуть не смущаясь, заставить читать в пустой зал... Ах, какая досада!»

Ему было очень плохо; силы совсем покидали его, голова кружилась. Если бы не парни, что обогнали его на крутой лестнице, он мог бы и упасть, но ребята спасли его, к нему вернулась жизнь, и он даже рассмеялся среди белых стен подземелья, залитых светом матовых стеклянных трубок.

Дело-то пустяковое, глупое, а вот поди ж ты — выручило его, рассмешило, и дало силы не упасть. Пьяный мужчина, забредший в это белое подземелье, привалился в углу, а ребята всего-то-навсего сказали ему, или, точнее, один из них сказал пьянчужке:

- Директор, подвинься, могу задеть.
- А ты кто? — спросил пьяный с мраком в глазах.
- Я? — спросил животрепещущий паренек. — Я гегемон.
- Замолкни, — проворчал пьяный, чернея лицом.

А паренек всего-то-навсего рассмеялся и уж очень как-то смешливо сказал своему приятелю:

— Во! Не верит! Думает, я министр и приехал сюда с комиссией...

Оба они посмеялись и ушли.

А Темляков, который с не шутейным уже испугом видел тьму перед глазами, страхась резкого сияния керамических плиток, вдруг почувствовал после этих слов, как родилось в его животе что-то вроде мягкого комочка, что-то вроде легкого потряхивания ощутил он там, как будто возникла новая жизнь, шевельнулась и заколотила ножками в стенки живота. Он беззвучно затрясся в смехе, слушая ворчание пьяницы, над которым посмеялись ребята, и, ополаскивая лицо холодной водой, постепенно пришел в себя.

Он так и вышел с этим утробным, никому не заметным смехом на поверхность земли и, поймав такси, приехал домой живым.

И в глубокой старости Темляков с тоскою оглядывался на себя, в жгучем стыде видел, как поднимался он на трибуну и вслед за оратором, представлявшим Фуфлова от имени другого какого-то коллектива, взволнованно кидал в переполненный зал слова наизусть вызубренной речи, написанной и утвержденной незнакомыми людьми, вполне, наверно, человечными, обыкновенными в своей личной жизни, шумливыми и озабоченными, ничем особенным не отличающимися от остальных жителей земли. Ряды сидящих людей проводили его рукоплесканием, а инструктор Каширин благодарно пожал сильными пальцами острый его локоть, как бы сказав этим пожатием «молодец, Темляков», когда он, оглушенный и ослепленный, спустился в зал и опять сел рядом со своим искусителем.

Все его дикие вопросы о том, кто убил больного брата и каков этот «кто», как выглядят внешне, звериное ли у него обличье, или он тоже похож на обыкновенного человека, на какого-нибудь тихого дедушку, нянчащего внуков, остались с тех пор вопросами без ответов.

В эти тяжелые минуты жизни душа Темлякова лопалась в истощном крике, он слышал в себе привычный уже оклик насмешника, поселившегося в нем с той первой военной весны.

«Эй ты, подосиновик! Скажи, а ведь хочется иной раз шлепнуть двуногого, сознайся! — спрашивал язвительный голос. — Хочется ужас увидеть в глазах, вопль услышать, мольбу о помиловании: не надо, не надо! А ты с пистолетом в руке, увесистым и очень удобным, влитым в руку, пинаешь этого двуногого ногой и в лоб ему, падающему, или, того интереснее, в живот, в кишки, чтоб не сразу подох, а в страхе помучился, повертелся ужом... А? Разве не хочется? А то и в ногу первым выстрелом, чтоб пуля в кости засела или раздробила ее в щепки и чтоб у обезьяны этой, в которую ты вогнал свинец, никаких надежд на спасение, никаких сомнений, что это не шутка и что ты на все решился, что не пугач у тебя в пятерне зажат, а настоящий, битком набитый промасленными патронами. Он вопит: не надо, не надо! — а тебе этот вопль бальзам на душу. Наслаждение! Надежда гаснет у него в глазах и лишь ужас, один ужас перед концом! Мразь, а не человек! Сознайся, бывали ведь такие минуты? Воображение-то рисовало тебе картину возмездия, а? Если скажешь «нет», ни за что не поверю! Ни за что! Где-нибудь в глухом лесу, в моховом местечке приболоченном... И лопата под руками: А ты труп закапываешь, выравываешь землю над ним, дерном маскируешь и какую-нибудь маленькую березу сверху, чтоб росла и ни о чем не рассказывала никому. Пропал двуногий! Жил зачем-то, чтобы потом умереть по твоей воле. Разве не было такого желания, воли такой в душе? Соврешь небось! Скажешь — не было. А я не поверю тебе. Врешь, скажу. Ей-богу врешь, я же вижу. Чего ты боишься? Разве ты уже убил, если мысль такая в голову пришла? Брось! Это игра азартная. Возьми, например, деньги. У нас больше пятисот в месяц никто зарабатывать не хочет. Зачем? Зачем человеку тысяча? Товаров в магазинах нет, одно барахло. Так один начальник говорил: зачем, дескать, человеку тысяча? Врет! Или не понимает ничего. Человеку тысяча нужна для игры. Разве не для игры рождается человек? Для игры, конечно. Все играют. Одни в карты, другие в шашки и шахматы, третьи козла забивают, а иные с мячом в грязи бултыхаются. С детства до старости играет человек и играет. А вот с деньгами наш человек не знает, что делать. Миллионером — не смей и думать. Пустить деньги в оборот, акции купить никто не может, не имеет права, вот и не нужна тысяча. Игру-то отменили! А человек с рожденья своего играет в игрушки, чтоб потом сыграть главную свою игру. В деньги-то! Главная игра. А в убийстве врага? В убийстве негодяя, сволочи двуногой — разве плохая игра? Почему ж ты боишься сказать, что играешь в эту игру? Странно! Играй, голубчик! Это помогает разобраться в людях и в самом себе».

«Какая тыща? Какая игра? Господи! Мне не нужна тыща в месяц? Бред какой-то!» — плакался Темляков.

«А ты кто? И зачем ты? Разве это не условия игры? Кого ты любишь до доньшка, а кого убить готов, — продолжал насмешник, не обращая внимания на жалобы Темлякова. — Убить, как вредное насекомое, сосущее кровь. Когда так играешь, то и в жизни будешь знать, кого любить, а кого отторгнуть от себя. А то ведь как у нас: «постепенное улучшение жизненных условий» приобрело такую скучную постепенность, что хоть в петлю от тоски. Да и кто это говорит? Говорит тот, кто никакой постепенности не соблюдает, сразу берет все, что ему надо для этих «жизненных условий». Это он тебя уговаривает. Нет, дорогой мой подосиновик, воображенным убийством стыдиться нельзя! Ты убей его в мыслях, а потом и в жизни взгляни на него как на труп. Он тогда бессильн перед тобой. Он только пугать тебя может, и все. А ты его уже убил. Понял меня? В тебе нет игры никакой, вот и слаб ты перед всякими инструкторами... Ты его не перечеркнул заранее, а он это по глазам твоим видит, знает, что он сильнее тебя».

Темляков готов был в эти минуты заткнуть уши и не слышать ничего, кричать готов был, чтоб заглушить язвительный голос насмешника, орать бесконечно и истошно: «А-а-а-а-а! Уйди-и-и-и! Какой я тебе подосиновик!»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава восьмая

Он бежал от своих страхов с паническим ощущением, что за спиной пыхтит погоня, и только в старом «рафе» с бледно-зелеными занавесками на окнах, который дожидался его на обочине дороги, чувствовал себя в безопасности.

Его там ждали и встретили с улыбками, как если бы он был тем последним пассажиром, без которого потрепанный автомобиль не мог, не имел права сдвинуться с места. Стоило ему распахнуть дверцу и поставить ногу на проржавевший порог, как включался жужжащий стартер, точно сам Темляков повернул в замке зажигания латунный ключик. Кузов машины задрожал, знобкий зуд прошелся по старой жести пола, передаваясь в кости ног, мотор, подгоняемый акселератором, шумно завздыхал, набираясь огненных сил, и в кузов просочился сквозь щели едкий запах выхлопного газа.

Темляков, горбясь под низким потолком, здороваясь со всеми, увидел свою таинственную спутницу и облегченно вздохнул. Жизнь показалась ему заманчиво прекрасной, потому что в этой жизни опять была она и рядом с ней опять было свободное место.

Она сидела, как и в прошлый раз, на первом креслице с левой стороны, прямо за спиной шофера, и, отстранив рукой грязноватую занавеску, смотрела в окно, уйдя в серую муть придорожного пыльного леса.

Там, в лесу, среди хлама прошлогодних листьев, где утреннее солнце раскидало меж дымчатых стволов притуманенный свой свет, среди хилых елочек и голых еще прутьев густо полыхала сиреневым огнем цветущая медуница. Некоторые ее цветочки, пронизанные лучом, горели розовыми фонариками в пыльной серости леса. Цветов было много, и они нежно светились в дымчатом лесу. Чудилось, будто какой-то чародей украсил придорожную обочину рассадой, выращенной в теплице, заботливо подумав о людях, которые в восторженном удивлении перед этим чудом любовались теперь красотой.

Весна была в разгаре. И это чувствовали все сидящие в маленьком автобусе. Особенно остро чувствовала это она, не в силах оторваться от первых цветов. Взгляд ее, уставший от зимней белизны, купался в сиреневых и розовых цветах, и она никого и ничего не замечала вокруг.

На щеке ее и в разрезе мягкой глазной впадины, в прищуре опухших после сна век, подкрашенных голубыми тенями, таилась прохладная, как утренний воздух, недоверчивая улыбка.

Когда Темляков по какому-то странному праву сел рядом с ней на продавленное креслице, машина уже тронулась. Соседка, почувствовав прикосновение, отодвинулась, притиснулась поплотнее к окну, откликаясь на робкое приветствие лишь капризно-выпуклыми губами, яркими, как лепестки цикламена. Глаза свои, обладавшие, как уже знал Темляков, нечистой силой, она скрыла от него, пощадив. Неопределенно-серый, осиновый взгляд лишь скользнул по его лицу и опять ушел в убегающий назад, мелькающий за окном лес.

Он знал, что ее смущает самоуверенность, с какой он садился с ней рядышком; ей, наверное, стыдно было перед знакомыми людьми, что Темляков именно ее выбрал своей соседкой и что свободное место на креслице, где сидела она, никто не занимал, словно зная, что оно по праву принадлежит Темлякову, с которым она, одинокая женщина, была едва знакома по прошлым поездкам.

Но в то же время он кожей чувствовал, что ей льстит внимание, с каким он относился к ней. Он влюбленно взглядывал на нее, не пропуская случая, и ловил ответные ее взгляды, которые были порой так продолжительны и так упорны, что у него от долгой отвычки начинало звенеть в висках. Между ними

как будто образовывалась ослепительная вольтова дуга, жар которой он не в силах был терпеть и первым отводил глаза, испытывая при этом непреодолимое желание опять встретиться с ней глазами и удостовериться, что он не впал в самообман. Но она уже была далека от него, прячась за чью-нибудь спину. Взгляды их возникали лишь в обстановке общего делового разговора, когда людям было не до них, когда они о чем-нибудь жарко спорили, доказывая свою правоту и оспаривая мнение оппонента, — вот тогда-то именно и выходила она к нему, тайно отыскивая его среди спорщиков, и была в эти мгновения так серьезна и так смела, что он пасовал перед ней, мучаясь, как в юности, хотя и благодарил Бога за ниспосланную благодать.

Если же он, смущаясь, пытался заговаривать с ней, зная, что ее зовут Валентиной Владимировной, она с подчеркнутой резкостью хмурилась, принимая из себя капризную улыбку, судорожным движением глаз окидывала его с головы до пят, останавливая осиново-серый взгляд на его впадине живота... Он физически ощущал этот ее взгляд, который, как лужа, будто бы собирал в одну точку энергию ее души и обжигал то место живота, на которое она смотрела. Странная ее особенность смущала Темлякова, как если бы она видела его сквозь одежду...

У Валентины Владимировны были пышные русые волосы, отливающие зеленой свежего сена. Она искусно обрамляла ими лицо, напуская со лба на виски и на уши и перевязывая черной бархоткой сзади, что придавало ей необыкновенную женственность.

При взгляде на нее приходили на память скромные красавицы минувшего века, их портретные изображения, запечатлевшие чистоту и строгость былых нравов.

— Я провинциалка, у меня чопорное воспитание, — сказала она, когда они в темноте мчались по узкому шоссе за Звенигородом, возвращаясь домой. — Столичные жители мне непонятны и даже противны. Они не знают того, что знаю я. На вас работают все города страны, и вряд ли это вам понять.

Сказав это, она повернула к нему голову и внимательно посмотрела из полутьмы, смутно блестя глазами, в которых отражались, как в темной реке, желтые зловещие огни горящей за окном травы. Пахло пряслам дымом, которым были затянуты потемки. Весна в том году была сухая и пыльная. Всюду горела подожженная трава.

— Я Руси сын, — сказал ей на это Темляков, — здесь край моих отцов...

— А я провинциалка, — повторила она с вызовом, который он никак не мог понять. — И не стыжусь этого, стыдно быть столичным жителем.

— Какая же вы провинциалка? — возразил ей наконец Темляков. — Насколько я знаю, вы живете и работаете в Москве.

— Всего шесть лет. Занесло сюда ветром. А по воспитанию я провинциалка, — упрямо настаивала Валентина Владимировна.

— Да что ж это за воспитание такое? — посмеивался Темляков, чувствуя тепло ее взгляда на себе. — Гонор разве признак провинции? И что вы имеете в виду? Не понимаю... Смотрите, сколько лягушек на дороге.

В тот вечер шоссе, не остывшее после солнечного дня, собрало отовсюду великое множество проснувшихся лягушек. Лучи автомобильных фар высвечивали их, сидящих на асфальте, и они казались на его поверхности пепельными изваяниями с высоко поднятыми головами. Они сидели, повинувшись неведомым законам бытия... Много их было раздавлено автомобильными колесами, а те, что еще были живы, стойчески презирали в своем неведении близкую гибель и, светясь во тьме, словно бы засасывались под колеса стремительного «рафа». Ни одна из них не пыталась уйти от неминуемой гибели, как если бы они в эту ночь забыли о страхе. Что их заманивало на асфальт? То ли тепло его, в котором ожившие после спячки бедняги остро нуждались; то ли голод, на утоление которого они надеялись тут, рассчитывая полакомиться каким-нибудь комариком, летающим над теллой поверхностью автомобильной трассы. Пепельные в свете фар и недвижимые, они были похожи на древних грифонов, переживших века и тысячелетия и не знающих, что есть смерть.

Москва-река, чуть светлеющая во тьме берегов, то появлялась справа от дороги, то скрывалась. Оранжевые потоки огня, пожирившие сухую траву, вдруг объявлялись во тьме лугов, полыхающими щупальцами захватывая новые, еще не тронутые огнем пространства. Пахло терпким дымом.

На душе у Темлякова было тревожно, как будто что-то важное и великое кончалось в мире и они, сидящие в полутемном кузове автомобиля, бежали прочь от этой вселенской гибели: он и она, бодрствующие в этот час, когда все остальные пассажиры спали. Спина шофера была как бы не в счет, словно дрожащий автобусик сам по себе мчался по шоссе на дороге, облепленной оцепеневшими лягушками.

Бегущие огни вдруг подступали к дороге, освещая бронзовитые в их полыхающей пламени, дрожащие тонкие березки, береста которых была тревожно красной. Огонь ручьями растекался вокруг кустов, пожирая сухие стебли, поднимаясь и расплескиваясь во тьме или опадая в бессилии.

Казалось Темлякову, горел земной шар, его круглящийся бок. И тогда чудилось ему, что одни лишь лягушки чуяли конец света, оттого и вышли на дорогу, чтобы не в огне пожара погибнуть, а под колесами злодеев, которые подожгли сухую траву. Чудился ему укор в этих трагически неподвижных фигурах, усеявших дорогу, в этих скорбно заданных к небесам, молитвенно поднятых мордах, в пепельной серости которых вспыхивала вдруг в лучах фар голубая искорка глаза, некий крохотный изумрудик, бросающий ему, сидящему в огнедышащем чудовище, последнее проклятие.

— Приблизились царствие небесное, — вдруг тихо сказал он, пребывая в торжественном состоянии духа. — Приблизилось ли, чтобы каяться? Зачем нужны угрызения совести? Вот вопрос! «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся...» «Не нарушать закон я пришел, а исполнить»... Это очень важно — исполнить закон. Всего лишь навсего! Исполнить. Ибо есть высший закон жизни людей, который нарушается. Не нужен людям другой закон, а нужно исполнять тот, что уже дан. Мы все исполнители, а не законодатели. Но мы создаем свои законы и плодим преступления. В древнем Китае еще говорилось: чем больше законов, тем больше преступлений. А ведь сказано: зажжем свечу и не будем ставить ее под спудом. И будем светочами мира, как города, на горе стоящие, которым не скрыться от глаз людей. Но вот что странно, — говорил он, надеясь, что она слушает и слышит его. — Блаженны, сказано, те, что нищи духом, блаженны плачущие также, ибо возрадуются они... Но! Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах... Кажется, так говорится. Нет ли тут противоречия? Или как это понимать? Я не знаю, как понимать это. Вы когда-нибудь думали на этот счет? — спросил он у соседки, которая вся была открыта для его тихого голоса, внимательна и тиха. В ответ она только пожалала плечами, словно бы испугавшись, что она никогда не думала об этом. А он, счастливый, продолжал в незнакомом доселе вдохновении бредовую свою речь. — Утешьтесь плачущие и нищие духом, говорится в Писании. А как утешиться? И ответ там же: возрадуйтесь и веселитесь. Наверное, только так можно понимать. А стало быть, там не призыв к душевной нищете и слезам, а как раз наоборот! К радости призыв, к веселию, потому что впереди, в царстве-то Божьем, ждет счастье! Вот ведь в чем секрет. Этого никак не хотят понять наши атеисты. Они дураки! Всю проповедь сводят к нищете и рабству, к пустому раболепию... А взять, например... Они тоже... Не в покорности дело, когда тебя ударили по правой щеке, а ты подставил левую. Вовсе нет! Наше время дает ответ на это. Сейчас ведь время не только спасения душ, но и тел наших. Другого не дано. Если на удар отвечать ударом, то гибель неизбежно начертана всем. Единственное спасение всех живущих на земле, а не только того, кого ударили, это подставить другую щеку. Вот ведь в чем мудрость! Кто это первым поймет, тот и будет назван Спасителем, миротворцем, который наречется сыном Божиим. Понимаете, в чем дело? — доверчиво спросил он и сжал ее руку в своей. — Это вы виноваты, что я вдруг так заговорил. Это вы, это огонь, это лягушки... Все! Странная ночь. Вам не кажется? У меня что-то сердце болит, как перед бедой какой-нибудь.

Он чувствовал, что она с миром приняла его руку и что ее волнует его прикосновение. Он увлек ее своей речью. Он и сам был удивлен, как это удалось ему так высказаться, так проникнуться мудростью Святого писания, а потому и не видел греха в том, что в порыве откровенности взял ее за руку, ища у нее защиты и спасения. Ему и в самом деле казалось в этот момент, что он может погибнуть, если не прикоснется к живому ее телу, словно был он в эти минуты одиноким и сиротливым путником во вселенной. Одна лишь она, его тихая соседка, «чопорная эта провинциалка», осталась рядом с ним.

— Простите меня, Валечка, за красноречие, — сказал он и поправился: — Могу ли я вас так называть?

Это была его ошибка. Она высвободила руку и как будто пришла в себя, сбросив очарование, в которое привела ее эта странная речь, этот призыв: возрадуйтесь и веселитесь, ибо ждет вас награда на небесах. И в самом деле! Наверное, думала она, почему бы не радоваться и не веселиться, если ждет впереди награда. Но вдруг очнулась, когда он назвал ее Валечкой, и поняла как будто, что он мужчина, которого надо держать на расстоянии.

«Ах, глупая, глупая! — с досадой подумал Темляков. — Такая ночь! Души наши ищут и зовут друг друга. Я же знаю это. И ты знаешь. Зачем же бежишь от меня?»

Теперь они опять сидели на том же месте, за спиной у шофера, в старом «рафе», который опять мчал их по Можайскому шоссе.

В утренней голубизне воздуха мелькали за стеклами разноцветные дома деревень, изредка сменявшиеся длинными и березовыми перелесками. Казалось, что они ехали по бесконечно длинной улице, застроенной крашеными домами, то подступавшими к обочине дороги, то отодвигавшимися в глубину тускло-зеленых лужаек, пыльных еще, не промытых дождями и едва пробудившихся к жизни.

Соседство с Валентиной Владимировной, легкие приваливания ее тела, которые с волнением ощущал Темляков, когда «раф» на скорости вписывался в повороты шоссе, загадочное состояние близости к этой женщине, вызывавшее толчки в сердце, — все это казалось ему не случайным и многозначительным, как если бы между ними был некий безмолвный уговор сидеть вот так близко друг к другу для того только, чтобы переливать из тела в тело тепло друг друга. Он даже успел привыкнуть к этому обоюдоострому теплу.

Он спрашивал себя с удивлением, каким это образом смогла слепая энергия огромной вселенской жизни выбрать вдруг из массы людей его и ее, чтобы зачем-то усадить на узенькое креслице в маленьком автомобиле и, приблизив физически, заставить теперь томиться близостью, которая ему казалась ярче той, какая возможна между ними — вполне еще сильным в ту пору мужчиной и женщиной, способной еще рожать детей.

«Если это случится, — думал он в нервном ознобе, — то это будет, конечно, наградой. Но то, что происходит с нами сейчас, это, наверное, истинное счастье. Это счастье! Награда за счастье возможна, но вовсе не обязательна, нет. Какая еще награда? За что?»

А шофер тем временем заложил крутой правый поворот, съезжая в Голицыно с Можайского шоссе на Звенигородское, и умозрительное сооружение тут же рассыпалось прахом. Темляков невольно навалился на тугую упругость соседки, и тут же она тоже, когда шофер выровнял автомобиль, шатнулась и прижалась к нему плечом и бедром, и оба они в эти мгновения увидели друг друга в греховной взгляде, все понимая без слов и каждый по-своему давно уже зная, что не ошибаются друг в друге, думая об одном и том же.

«Бог ты мой! Силы небесные! Какой же я все-таки дурак-то! Счастье! Награда! При чем тут? Мы живые люди...»

Но то, что случилось в конце долгого делового дня, в течение которого они спорили с местными властями о проклятой железнодорожной ветке, доказывая свою правоту, но так и не договорившись о приемлемом варианте; то, что произошло на этот раз, повергло Темлякова в священный трепет, как если бы он стал вдруг свидетелем сверхъестественного явления, указавшего ему путь, о котором он сам способен был лишь мечтать. Свершилось то, чего так

хотел Темляков, не видя, впрочем, никаких возможностей осуществления своего тайного желания. По распоряжению руководителя группы, человека, далекого от сантиментов, его вместе с Валентиной Владимировной оставили до завтрашнего дня, рассчитав по какому-то странному и непонятному разумению, что именно они способны будут завтра утром разрешить ряд вопросов, оставшихся не решенными, и на этом закончить ведомственные распри, затянувшиеся уже до умопомрачения.

Темляков не верил своим ушам, слыша это распоряжение, и боялся взглянуть на Валентину Владимировну, лицо которой, как он все-таки успел заметить косым взглядом, покрылось розовыми пятнами внезапного волнения... Все это было похоже на веселый розыгрыш подгулявшего начальства, решившего от скуки оставить двух своих подчиненных, чтоб потом вволю посмеяться.

— Нет, нет! — услышал Темляков решительный голос своей соседки. — Я, конечно, не останусь. Как завтра добираться до дому? — И услышав это, он замер в ожидании, не решаясь что-либо сказать ей или начальству. — Как? Вы ведь не пришлете «рафик»?

Но кто-то из местной власти успокоил ее, пообещав подбросить на «газоне» до железнодорожной станции. «Слава Богу! — подумал Темляков. — Слава Богу!»

— А где ночевать? Вот интересно! Где ночевать? — говорила она, все больше и больше волнуясь. — Я никак не рассчитывала. Нет, я не могу. Как хотите.

Ее стали уговаривать остаться, уверяя, что без ее подписи завтра никак не может состояться окончательное решение и что ей за этот день дадут два дня отгула, пообещав то же самое и Темлякову, который стоял ни жив ни мертв, надеясь лишь на чудо.

— Это нечестно! — настаивала на своем Валентина Владимировна. — Бросить женщину, а самим уехать... Это нечестно! — Она чуть не плакала от волнения. — Я совершенно не готова и никак не рассчитывала... Нет и нет! Я не останусь. Нет.

Но ее успокаивали, показывая на Темлякова, шутили.

— С вами такой кавалер, — говорили на разные голоса. — Он не даст в обиду. Да к тому же, милочка вы наша, Валентина Владимировна, Валюша, мы ведь не на пикник приезжали, увы. Мы здесь вашу должность оставляем, а вовсе не вас, профессиональные ваши знания, а не красоту вашу. Должность! Должность — от слова «долг»! Согласитесь. Вы должны остаться.

— Ах, Господи! Оставьте вы свою демагогию! — вспылила она, взвизгнув от негодования, и, отмахнувшись, пошла прочь, все убыстряя шаги, как будто решила вдруг убежать в лес от кучки жестоких мужиков, бросивших ее одну на ночь глядя бог знает где.

Казалось, если бы не душевная скованность, если бы не многолетняя привычка подчиняться долгу и служебной дисциплине, она припустилась бы сейчас бегом по войлочному-серому лугу к молодым березам, лишь бы глаза не глядели на всех этих деловитых говорунов, которые стали меж тем торопиться домой, забираясь в холодный «раф», стреляющий сизым паром из выхлопной трубы, и с явным облегчением усаживаясь на продавленные сиденьца.

Кто-то из отъезжавших спохватился, вспомнил о съестных припасах, взятых еще из дома.

В руках у Темлякова вскоре оказалась тяжелая холщовая сумка с хлебом, котлетами, колбасой и сыром, с вареными яйцами, превратившимися в мятые, словно бы бумажные комочки. Кто-то даже сунул ему стеклянную фляжку с едва початым коньяком, заговорщицки подмигнув при этом. Кто-то не забыл и про соль в пластмассовой баночке из-под ношпы.

Основные силы отряда, казалось, бежали в панике, оставляя прикрытые для отхода, малую свою частичку, обреченную на гибель, и отдавали остающимся все, чтобы хоть как-то успокоить совесть. Щедротам отъезжающих не было границ. Шуткам — тоже. Обещали позвонить жене, объяснить, почему пришлось ему остаться с ночевкой, подмигивали, похихатывали, как если бы

и в самом деле специально подстроили так, чтобы оставить Темлякова с женщиной, зная о его верности жене и о застенчивости.

— Только, пожалуйста, не звоните все сразу, кто-нибудь один, — просил их Темляков, боясь взглянуть в сторону Валентины Владимировны, которая мяла своими красными резиновыми сапожками прошлогоднюю траву на обочине. — Кто-нибудь один, пожалуйста, а то она будет волноваться. И так-то уж! А тогда и подавно... Она не поймет, если все сразу... Испугается. Я очень прошу вас.

Обещали! Обещали все сделать наилучшим образом и уехали, как полупьяные гости, одаривая благостными улыбками добрых своих хозяев, пока могли видеть их из-за стекол «рафа».

Глава девятая

«Все это чушь собачья! Чушь! — вскрикивал Темляков, приходя в себя. — Не так все это было. Никакого «рафа» и ничего подобного... Одна лишь трава горела и белый дым. И не Валентина была, а Роза. Вальдшнепы летали на вечерней заре».

Розочка наоборот: на голове зеленая вязаная шапочка, а на ногах ярко-красные сапожки, шла с ним рядом, разгребая ногами шуршащие листья, и молчала, иногда лишь отзываясь на его голос, на шуточки всякие его коротким смешком, словно у нее струнка какая-то лопалась внутри, издавая дребезжащий звон. При этом Роза Владимировна бросала пушистую свою головку на грудь и в загадочной улыбке умолкала, не видя ни листьев под ногами, ни прозрачных луж в колее лесной дороги, ни цветущих желтыми сережками шарообразных ив-бредин, которыми украшен был, как букетами, оживающий весенний лес.

Вечер обещал быть тихим и теплым, в лучах заходящего солнца толклись светящиеся комарики, выплясывая вертикальный свой танец в застойном воздухе. Шумели в брачных песнях дрозды, сыпали в тишину свои возбужденные трелистые голоса, заглушая песни других птиц. С ними могли спорить лишь военные самолеты, иногда проносившиеся в розовой голубизне неба ведьмиными метлами, дьявольскими снарядами, разрывая в клочья блаженную тишину леса. Казалось, будто весь земной шар поворачивался, начинал вертеться, когда в небе с грохотом появлялся остроносый снаряд, безжизненно-мощный и прямолинейный. Деревья шарахались в сторону, все вокруг суетилось в страхе и бежало прочь, успокаиваясь, когда самолет скрывался за лесом и раскаты грохота затихали.

За пушистой елочкой вдруг треснул резкий, хлесткий выстрел. Раскавакшая ворона лениво летела над лесом, купаясь в розовом воздухе. Второй такой же хлесткий подбросил птицу и заставил ее, невредимую, прибавить ходу.

Выстрелы прозвучали близко. Темляков даже острие огня увидел из дула и серный запах пороха учуял в прохладном воздухе. Следом за выстрелом раздался смех в другой елочке, где стоял стрелок, а за смехом непонятный вопрос:

— Выгнал пауков?

— А-а? — откликнулся стрелявший отрывисто-грубо и весело.

— Пауков прогнал?

— А ты узрел, как она колокол сделала? С правым разворотом. Задёл, наверное. С набором высоты, а потом колокол и с правым разворотом. Узрел?

— Она тебе не колокол, а вороний корень показала.

— Хулиган! Тут женщина.

Это были летчики с близкого отсюда аэродрома. Они веселились перед началом вальдшнепиной тяги, прочищали стволы от «пауков», стреляя по всему летящему, словно бы живые летательные аппараты стали привычными для них мишенями. Срабатывал, видно, инстинкт самосохранения; если не я, то он... Приклад в плечо, палец на крючок, взгляд на планку — выстрел! Боекомплект из двух патронов. Рукоятку болта направо, стволы вниз, пустые

гильзы в кусты, а в патронники новый боекомплект. И небесно-серый взгляд на удивленную Розу.

Здрате, с улыбкой сказал Темляков тому, кто стрелял.

Давно не виделись. Здрате! — откликнулся летчик в офицерской фуражке, кряжистый, крепкий мужичок в кожаной куртке, поверх которой пестрел цветными гильзами бурский патронташ.

Приклад ружья под мышкой, стволы ртутно поблескивали воронением на согнутом локте. Ноги, под самый пах обутые в болотные сапоги. Резина тоже, как стволы ружья, отблескивала вороненой чернотой. Казался он тут, среди пушистых елочек и бледных осин, среди корявых дымчатых кустов лесной поляны, пузатым чудовищем, гигантским каким-то муравьем в хитиновых латах. Глаза его плыли в греховной ухмылке, оглядывая зардевшуюся Розу, словно он выстрелами своими свалил с небес кареглазую красавицу и вот-вот протянет руку за добычей. Темлякова он не замечал, как если бы его вовсе не было рядом с ней.

А ей, пушистоголовой, льстило его внимание, будто она только и шла по влажному лесу для того, чтобы наткнуться на этого летчика и поразить его белой кожей щекастого своего лица, коричневым разметом бровей, под которыми густые ресницы прятали влажный блеск татарского взгляда.

У нее даже походка изменилась после этой неожиданной встречи. Она теперь шла, как лиса или как опытная манекенщица, ставя ногу за ногу, носок за пятку, пятку перед носком, покачивая при этом узкими бедрами. На белой простыне крупинистого снега протянулась после нее ровная цепочка сизых водянистых следов.

Снег этот, оставшийся на подъяужной стороне поляны, превратился в мокрое крошево серого льда, но казался ослепительно белым, хотя и был набит опавшими иголками и лесным сором, скопившимся в нем за зиму. Он влажно звенел под ногами, как морская пена в камушках. Ноги сквозь резину чувствовали его стискивающий холод.

Куда ты пошла? Там снег, — сказал Темляков, радуясь, что они ушли от охотников.

Разве это снег? — откликнулась она и, остановившись, оглянулась. — А куда надо?

Закатное солнце освещало ее лицо, на котором в какой-то странной игривости копошились два коричневых жука, два пушистых глаза, и лоснились темным блеском выпуклые губы. Рисунок их, как всплеск волны, такой же изменчивый, непостоянный.

«Батюшки! — мысленно воскликнул Темляков, в изумлении глядя на Розу, на красивую эту татарочку. — Батюшки! Да куда же идти-то?»

Скоро ночь, — сказал он, всплеснув руками. — Куда же идти? Мы и так далеко ушли...

— А я хочу, — ответила ему Роза, насмешливо разглядывая его. — Ты боишься? Не бойся, пошли. Какая еще ночь? Весна!

Сапоги ее горели алым цветом на снегу, снег казался голубым, а ели над ним были темно-коричневыми в лучах оранжевого солнца. Пуховая шапочка ярко зеленела на голове. Роза смеялась, и смех ее был похож на счастливое рыданье.

Ты сам меня привел сюда, — говорила она сквозь эти радостные взрыды, а теперь зовешь обратно. Нет уж! Пошли, пошли... Ты обещал показать мне вальдшнепов.

— В таком лесу вальдшнепы не летают. Они над полянами тянут, над дорогами. В елках еще снег. Вот я и говорю... Нет, я не боюсь. Но лучше придерживаться дороги.

Ему хотелось поцеловать ее, но это казалось сейчас невозможным — так светло и радостно улыбалась Роза, так велики были молодые ее силы. Сам же он себе казался в эти минуты дряхлым стариком, не имеющим права не только поцеловать, но даже смотреть на яркий этот цветок на снегу.

Холод весеннего снега, на котором они стояли, словно бы остудил душу, напомнив о пропасти лет, разделявших его и Розу.

— Ты знаешь! — восклицал он с жалкой надеждой быть понятым. — Когда-то... Собственно говоря, это было совсем недавно... Обнимешь девушку, стиснешь ее и поцелуешь насильно... Ну что ж! Молодость. «Дурака» за это получишь, а то и пощечину... Редко когда иначе бывало. А тут недавно поцеловал одну, взыграла душа, я и поцеловал, как бывало... Поцеловал! Что ж теперь? Чмокнул в щечку, а она мне за это «спасибо» сказала. Представляешь, какая штука! Спасибо! Вот тогда и понял — состарился. Старик, раз «спасибо» девушка за поцелуй шепчет. «Спасибо, дедушка»... А ты говоришь — весна! Для кого-то весна... Разве весна с осенью встречаются? Нет... Вот и боюсь.

— Дедушка! — передразнила его Роза.

— Она, конечно, этого не сказала, нет... Я это для себя вывод делаю. Но согласишься, когда за поцелуй благодарят, это уже кое-что, это звоночек...

— От меня не дождешься, — вдруг сказала Роза. — От меня... нет.

И ее слова стукнули как палкой по голове.

— От меня ты этого не дождешься, — повторила она и, разбрызгивая сапожками шипящий снег, пошла к нему по своим же черным следам, пугая его решимостью и даже злостью, которая вдруг объявилась на ее щекастом лице. — От меня не дождешься, дедушка...

С этими словами она вскинула руки, оплела его шею, и он увидел огромные, распахнутые, всплеснувшиеся перед лицом губы и широкие глаза, в которых ничего он не увидел, кроме стыдливой муки.

— Ну тебя, — шепнула она, и он неловко сунул к ней, с ужасом и удивлением наблюдая себя со стороны, видя свою сутулость, торопливость своих худых рук, чужа вазелиновый запах очень мягких губ, шершавый кошачий язык, не понимая, зачем все это здесь, на снегу.

— А теперь, — сказала Роза ломким тоненьким голосочком, — выбирай: пощечину или «дурака»? — Глаза ее, казалось, блестели от слез, что-то с ней происходило непонятное, будто она радовалась до слез, что хорошо сыграла свою роль. — Говори! Пощечину или «дурака»?

Он хотел сказать ей: «сама дура»... Но просунул руку за воротник ее курточки, под пушистые волосы, нащупал тонкую шею, горячую огненность кожи и понял наконец, что ему надо что-то делать.

— А как же вальдшнепы? — спросил он, еще на что-то надеясь.

— Птички подождут, — расплюснутым голосом отозвалась она, прижимаясь щекой к его груди, словно хотела вдавиться в жесткую его грудную клетку, уйдя в распах теплой куртки и ощущывая пальцами его ребра. — Худущий какой, — говорила она, — тебя, наверно, жена не кормит.

Его резануло упоминание о жене, он пошатнулся под ее возникшим ниоткуда укоряющим взглядом и, всхотнув, сказал с дрожью:

— Свалимся сейчас в снег.

— В снег не надо...

Глава десятая

«Не было этого ничего! — твердил в отчаянии Темляков. — Выдумки! Дурь в голову! Кто ж тут курит вонючие папиросы? Желтый дым. Желтый, как гной. А-а, это товарищ подполковник в отставке! Понятно, понятно, русский офицер курит только папиросы. И почему у него такие кривые ноги? Разве он был кавалеристом? Но кто сказал, что у кавалеристов кривые ноги? Выдумка! Утеха кривоногих. Бог с ними, с этими рахитиками... Все было не так... Какая Роза? Не было никакой Розы! И снег давно растаял. Я отлично это помню — уже цвели ландыши. Я еще так нанюхался этих ландышей, что стало казаться, будто они пахнут живой нефтью. Так же резко пахли, как нефть. Стоит только принюхаться — чистая нефть. Со мной, конечно, никто не согласится, но это так, я знаю. Когда, например, директор овощной базы говорит: «Творческий поиск позволит нам в ближайшем будущем обеспечить овощами население города», мы проглатываем это, как рыба приманку на крючке. А если я скажу, что ландыши пахнут нефтью, никто не поверит, хотя это именно так. Во всяком случае, если в букетик ландышей уткнуться носом,

то сначала вместе с прохладой цветов и листьев проникнет в сердце радость, от которой дух захватывает, потому что ландыши есть ландыши, но когда их слишком много, вот тогда они пахнут кровью земли — нефтью. Это я хорошо знаю. Ландышей в ту весну было так много, что по ним приходилось ходить, потому что их невозможно было обойти стороной — они были всюду. Трудно себе представить, но это именно так — мы шли по лесу и мяли ландыши, хотя и старались не наступать на цветы. Какой-то сумасшедший лес! Весь в цветах. Березы, дубы и ландыши... Да! Еще липы, а в липах иволги. Гулкие, ломкие их пересвисты... Нет, это была безумная весна!»

Птицы пели, куковали и щелкали, щебетали и разливались колокольчиками в вершинах душистого леса. Зеленая его сень тут и там прорезана была стволами толстых дубов. Они казались слоновьими ногами в прозрачной листве шершавых орешников, серебристых берез, розовых кленов и нежных лип, блестящих осин и всевозможных ивовых кустов, которые всяк по-своему ловили живительную силу солнца. На черных змеях ветвей, обвивающих зеленое пространство, тоже уже распустились листья. Багрово-красные, они разворачивали только что народившуюся дубовую свою мощь и, скомканные пока, стиснутые в кулачки, горели в зеленом свете леса, являя собой образ новорожденных младенцев, покинувших чрево матери и мучительно ревущих в незнакомом еще мире.

Опушки были усыпаны звездчаткой, крохотные цветочки которой густо и тесно раскинули свои лепестки величиной с комариное крылышко, образовав бесконечное множество белых звездочек, каждая из них умиляла своей напряженно-радостной малостью. Цвела калина, привлекая медовым запахом летающих насекомых.

Лужайки в лесу, в пятнах солнечного света, напоминали ухоженные газоны безлюдного парка, так свежа и нежна была трава, пустившаяся в дружный рост. Все раны земли, нанесенные человеком, весь его мусор, оставшийся с прошлого лета, безобразные его банки, бутылки, пакеты, окурки и прочая мерзость, еще вчера нарушавшая гармоническую красоту леса, — все было затянато зеленой кожей воскресшей земли, словно бы лес своим возрождением в который уж раз напоминал беспечному человеку о возможности вечной жизни на планете.

Папоротники выползали из рыхлой земли, разворачивали свои перистые крылья, скрученные в тугую пружину. Земляника развесила над резными листьями зеленые бутоны с белеющим языком, греясь во влажном тепле благоухающего лесного дома. Высокие купавки, поднявшись над куриной слепотой, красовались лимонно-желтыми бубенчиками.

И всюду, под каждым кустом или елочкой, возле каждого пня или живого дерева, в тени и на солнце, темнели густые заросли ландышей. Туманно-прохладные листья торжественно сжимали, словно пряча от ветра или злого глаза, тонкие стебли с лилейно-белыми цветами, которые ярко светились в зеленой тьме. Каждый стебель нес пять или шесть сияющих колокольчиков. Снежные и крупные над устьем сомкнутых листьев, они уменьшались, взбираясь ввысь, и жемчужными каплями нераскрывшихся бутонов висели на вершинке стебля, согнувшегося в печально-задумчивом поклоне. Их было так много, этих душистых цветов, что сердце не хотело верить в реальность чуда, млело в радостной печали, как если бы это был сон.

Весна, как детеныш пушистый и большеглазый, беспомощный в своей красоте, притаилась в лесу и, никем еще не тронутая, жила здесь сама по себе, словно надеялась красотой своей и кротостью задобрить, растопить сердце хищного зверя и, как всякий детеныш, рожденный для будущей жизни, цвела, уповая на милость сильных мира сего, прося пощады у них и благоразумия, доверчивостью и открытостью своей вымаливая право быть вечной на земле.

Каждый ландыш молил об этом, каждая купавка. Даже древесный лист, распустившийся из зимней почки, светясь радостью жизни, пугливо поглядывал зеленым глазом на живых людей, когда они, проходя мимо, задевали его плечом или головой. Каждый стебель под ногой взывал о пощаде и, надломленный или вмятый в сырую землю, страдал от боли и горькой обиды, ибо

жизнь его, едва начавшись, оборвалась так нелепо в этот солнечный теплый день, когда все цвело и дышало жизнью вокруг.

Но та, за которой шел Темляков, была беспечна в своей молодости. Ей и в голову не приходили подобные мысли. Она, как лань, губами срывала на ходу железно-нежные листья молодых лип, стволы которых казались кожаными, а листья — цветами в розовых венчиках, и жевала клейкую зелень.

Ноги, обтянутые голубым трико, пружинисто легко несли телесное ее великолепие, которым любовался Темляков, поспешая за красавицей.

Высокорослая, она вышагивала по ярко-зеленой лужайке с неторопливой пластикой игровой походки от бедра и была так уверена в себе, так блазняще оглядывалась на Темлякова, жуя зеленую мякоть липовых листьев, так взглядывала на него, выкатывая белок большого глаза, что ему чудилось иной раз, будто он доверился сумасшедшей и, увлеченный ею, идет помимо воли к своей гибели.

Инга, как звали эту женщину, сияла копной очень тонких и очень пышных желтых волос. Золотистый шелк длинной блузы, спадающей полами на бедра, переливался парчовым рисунком, играл мягкими складками на пояснике, над той глубокой впадиной, какую образовывали вогнутая спина и крутое ее продолжение. Талия ее казалась воздушной под этой блузой, а ноги — ногами большой неуклюжей девочки в рейтузах. Мягкие мокасины на толстом каучуке чуть-чуть косолапили, усугубляя впечатление. Эта женщина дразнила его своей походкой, дымчатыми тенями глаз и даже звоном капризного голоса. В полуобороте она щурила глаза, влажно блестела чувственно искривленными губами, осцеривая голубые зубы, и взглядывала ввысь сквозь молодую листву, за которой в небесной синеве светились смеющиеся белозубые облака.

— В небе блака, — говорила она, глотая гласную. — Не пошел бы дождик, а?

Она знала, что он откликнется на эту чепуху, и он откликнулся:

— Из таких облаков не идут дожди, — придавая голосу тоже игривый оттенок, будто речь шла вовсе не об облаках, а о чем-то более важном для нее, о каком-то секретном, тщательно скрываемом дельце, на которое они шли.

— А из каких же блаков бызает? — не унималась Инга, глотая на сей раз и согласную.

Он испытывал неловкость в этом цветущем лесу, приведя в его чертоги слишком неестественную, слишком яркую, не приспособленную для жизни здесь человеческую особь, нарушавшую своим поведением таинственные законы девственного леса. Он боялся встретить здесь людей, которые тоже наверняка заметили бы это разительное несоответствие и посмеялись бы над ним, избравшим ее в спутницы.

С путевкой профсоюза, избрав самый долгий, но и самый романтический путь, он приплыл сюда на теплоходе по холодной еще реке. Можно было, конечно, на поезде, а потом на автобусе, но он, узнав о речном пути, увидел в этом спасение от злободневного однообразия и радостно вошел по трапу на палубу, пропахшую после зимнего ремонта олифой и белилами.

Он махал рукой прослезившейся Дуняше и понимал себя злодеем, бросившим жену ради флибустьерских приключений, грозивших ему веселой бедой.

Накрапывал едва заметный дождик. Вода за белым бортом была серой, как дым. Кричали чайки, растворенные в белесом небе. В тишине монотонно звучала музыка. Подошвы прилипали к свежему сурику палубы и клейко пощелкивали. У него кружилась голова от счастья.

В пепельно-сером пиджаке, в бледно-голубой рубашке с распахнутым воротом, в брюках болотного цвета, поджарый, успевший уже загореть под весенним солнцем, он чувствовал себя молодым, и его приятно волновала та жизненная сила, которая кружила ему голову.

Впереди было плавное скольжение по воде великой реки, по белесой ее поверхности, раздвинувшей мутнеющие за дождем зеленые берега. Белые и красные бакены казались ему живыми существами, обреченными, как и он, на одиночество. Деревни и села выбегали гурьбой, как дети, посмотреть на плывущий по реке теплоход. Искореженные церкви без крестов, истлевшие купола, небо, сквозящее сквозь решетчатые каркасы, кирпичные руины с

белыми лишаями порушенной штукатурки — сырые эти калеки, знавшие когда-то благой вопль младенца в купели и тишину восковых лиц, запах ладана и дрожащий свет свечей, зывали теперь к милосердию и миру, мученическим своим образом, язвами своими и кроваво-кирпичными ранами пробуждая в людях, не утративших совести, ужас от содеянного и смертельную тоску.

Теплоход причалил к высокому зеленому берегу с мокрой желтой дорожкой, уходящей в распадок, в заросли нежно зеленеющих кустов отцветшей уже черемухи.

Через сутки Темляков уже подумывал, как убежать из профсоюзного дома отдыха. В вестибюле на самом видном месте в деревянной лакированной рамке, укрепленной тут навсегда, висели правила проживания в грязном этом, плохо построенном и обшарпанном доме. Одна строка под номером шесть особенно удручающе подействовала на него. В ней говорилось, что выбрасывать из окон пищевые отходы, окурки, бутылки и другой мусор строго воспрещается. Он подумал, что если об этом напоминают в такой дикой форме, значит — выбрасывают. Прочел вслух.

— А что, — спросил он регистраторшу оскорбленно, — выбрасывают? Случается такое?

— Каждый день убираем, — ответила та сумрачно. — Контингент известный.

— Может быть, тогда снять эти правила? — заметил он в отчаянии. Но ответа не услышал.

В столовой, пропахшей супом, он огляделся, увидел «контингент», поедающий винегрет и тычащий вилками в общую хлебницу, таща себе на алюминиевых зубьях серые ноздреватые куски, разглядел своих соседей, которые не ответили на приветствие, не приучившись к простой вежливости, и у него зануло в груди, как будто он угодил на двадцать суток в какой-то исправительно-трудовой лагерь, правила которого привели его в паническое состояние. Он понял, что ему тут будет плохо и надо бежать домой.

Если бы не Инга, почуявшая в нем родственную душу и провисшим взглядом через всю столовую сказавшая ему об этом, он так и поступил бы, не вида никакого просвета в принудительном отдыхе в неряшливом бетонном доме с голыми комнатами на три койки, в которых не было даже настоящих лампочек возле скрипучих старых кроватей.

Соседи его, два крупных парня, сразу назвали его дедом.

— Во, гля, видел! Деда к нам заселяют, — воскликнул один из них.

— Здорово, дед! — сказал другой. — Считаю, что подфартило, будешь третьим. — И быстрым нырком руки достал бутылку водки из-под кровати.

Наутро парни хмуро поглядывали на него, считая, наверно, что он обидел их в лучших чувствах, отказавшись быть третьим. А Темляков опять подумал, что нужно срочно бежать отсюда, пока он не взбесился в этой душной клетке, куда так нелепо попал.

В комнате пахло сивухой, которая, как головная боль, сочилась из липких ртов соседей, из сопящих ноздрей, из отекавших глаз, не знавших никогда радостных улыбок.

— С добрым утром, — сказал Темляков.

— Ага, — откликнулся один.

Другой промолчал.

— Наконец-то прояснило, — сказал Темляков. — Солнышко. Это хорошо.

— Без разницы, — сказал тот же. — Под дождь даже лучше.

— Лучше в праздники, — поправил его «дед».

— А сегодня праздник, ага, — мрачно подтвердил парень. — Триста лет балалайке.

На другой день директор по униженной просьбе переселил его к тихому старику. Но запахи преследовали его. Слабое тело старика сильно и очень неприятно пахло поросычьей запаркой. Он и в теплые эти весенние дни носил байковое белье, в котором и спал, ложась в постель после ужина и гася свет ровно в тот час, который был назначен в правилах.

— Послушайте, вы меня простите, — сказал ему Темляков, когда тот заворчал однажды, отворачиваясь от позднего света, который Темляков включил. — Разве вам не хочется прогуляться? Такой вечер! Соловьи поют.

— А что такое — соловьи? — спросил злой старикан.

— Это птицы такие, — с отвращением ответил Темляков.

— Ах птицы, — сказал старикан и ехидно проворчал: — Ешь с голоду, а люби смолоду. Соловей!

Этот знал, как надо жить, и был уверен: знанию этому надо учить людей. У него была своя жизненная идея, по которой выходило, что он существо высшего порядка в отличие от других обитателей земли, не знающих, когда они родились и когда умрут. Этот знал, что ему скоро умирать, и думал, наверное, только о своем убывающем здоровье, готовя влажное и дряблое тело к неизбежному концу.

Жить с ним в одной комнате было пыткой для Темлякова. И если бы на него не обратила внимание желтоволосая Инга, уже успевшая рассказать, что мать ее эстонка, а отец русский, он не вынес бы мучения, чувствуя себя здесь очень плохо.

В комнате дурно пахло человеческой кожей. Едкий запах приводил Темлякова в ужас, будто он превращался здесь в обреченного на гибель звереныша, на которого испокон веку охотился злобно пахнущий человек, чтобы убить и съесть его с голоду. Он чуял смертельную опасность и знал, что она близко, но убежать уже не мог — капкан защелкнулся.

Старикан пробуждался с восходом солнца. Просыпался и Темляков, разбуженный сырым хрустом форточки, которую сосед запрещал открывать на ночь. Он с блаженством вдыхал душистую прохладу, налитую ароматом цветущей травы и смолистых листьев, и прислушивался. Старикан скучно зевал, постанывая по-собачьи, покашливал, долго брился, ворчал на тупое лезвие, полоскался, урчал горлом, бесцеремонно выпуская при этом скопившиеся в кишечнике газы, процедурой этой приводя Темлякова в неистовство. И если бы не утренний сон в долгожданной прохладе, который уносил его из реальности, он, наверное, умер бы от душевных страданий.

Опять он убегал из пугающей той действительности, в которой ему приходилось волею случая пребывать. Он, конечно, сбежал бы и физически отсюда, и никакая Инга не удержала бы его, но странная тоска останавливала.

Он мучался, видя себя, счастливого и виноватого, стоящим на мокрой пристани перед Дуняшей, у которой на граненом кончике обострившегося носа поблескивала слеза, слышал ее напутствия, когда она, преодолевая печаль разлуки, с улыбкой говорила перед дорогой, чтоб он не волновался и не думал ни о чем, а только гулял, приводил свои нервы в порядок, отдыхал и набирался сил. Просила быть осторожным, «не манкировать здоровьем», не ходить «с открытым горлом», беречь себя от простуды, не доверяясь весеннему обманчивому ветерку.

Задолго до отъезда она уже стала беспокоиться за него.

— Я-то знаю тебя, ты и купаться надумаешь. Горячее солнышко обманет в два счета. Вот скажи мне на милость: зачем тебе нужны плавки? — спрашивала она. — Лучше бы оставил их дома от греха подальше. Купальный сезон еще не скоро, а загорать весной — это только насморк заполучить. Земля еще холодная, а на пляже песок хоть и горячий, но в мае это очень обманчиво, он только сверху горячий, а копни — там сырость и ледяной холод. Пожалуйста, будь осторожным, не простужайся, а то весь твой отдых пойдет насмарку.

Она, кажется, была счастлива и горда собой, что муж ее едет наконец-то отдыхать, что впереди у него беззаботная и радостная жизнь в лесном краю, на берегу реки, оздоровительный режим с регулярными завтраками, обедами и ужинами, прогулки по весеннему лесу и по берегу — счастливое ничегонеделание, о чем он давно мечтал, чистый воздух, крепкий сон и душевный покой. Ведь это именно она заставила его не отказываться от путевки, уговорив, что ему обязательно надо уехать и привести себя в порядок и что лучшего места для отдыха, чем средняя полоса России, трудно придумать.

Он и сам поверил в это, надеясь, что жизнь в доме отдыха, о котором в проспекте сказано было так много красивых слов, расслабит нервное напряже-

ние, которое не только Дуняшу повергало в отчаяние, но и самого его приводило порой в слезливую истерику.

Темляков собирался в дорогу с особенным вниманием к вещам, какие придется ему там носить, отбирая себе носки под цвет рубашек, а галстук в тон пиджака, предполагая, что там обязательно будут какие-нибудь развлекательные вечера.

Он никогда еще не бывал в домах отдыха, и первый для него выезд представлялся ему серьезным и важным событием в жизни, к которому необходимо было как следует подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом среди новых знакомых. Это его беспокойство разделяла и Дуняша, тщательно отглаживая чистые, орошенные лавандовой водой рубашки и аккуратно складывая их в чемодан.

— Ты уж, пожалуйста, постарайся быть комильфо. Приедешь — сразу развесь рубашки на плечиках, чтоб они отвиселись в гардеробе, — говорила она, вспоминая вдруг о какой-нибудь мелкой вещице, о перламутровых запонках или зажиме для галстука и торопясь скорее найти в комодке эту мелочь, чтоб уложить в шелковистый внутренний карман кожаного чемодана. — Люди там могут быть разные, и мне не хотелось бы, чтобы о моем муже сложилось у них плохое впечатление. Ты уж постарайся, пожалуйста. И уж, сделай милость, Василий, не угощайся там вином.

— Какие ты глупости говоришь, — волнуясь, отвечал ей Темляков. — Меня мучает вот какой вопрос: брать или не брать с собой удочки? Если брать, то надо тащить и сапоги резиновые, и еще кучу всяких вещей — я ведь не люблю кое-как. Что ты мне посоветуешь? — говорил он, хотя и без ее совета знал, что удочки не возьмет.

— Ну что за вопрос, Василий! Какие удочки! Тебя засмеют. Зачем тебе рыба? Кто тебе ее там будет готовить?

— Это, конечно, аргумент, но почему бы не попросить на кухне какую-нибудь толстуху? Кухарочку...

— Оставь, пожалуйста. Главное — прогулки, а не рыбная ловля. Где ты там червяков будешь копать? Подумай. Мне даже говорить об этом не хочется. Кстати, ты мне так и не ответил: зачем ты берешь плавки?

— А вдруг там бассейн? — отвечал Темляков, вполне допуская такую возможность.

Теперь, когда он столкнулся с действительным положением дел, он показался сам себе старым идиотом. А главное, ему сделалось до слез обидно за бедную Дуняшу с ее хлопотами и наивной радостью, что муж ее поедет наконец-то, как все люди, в дом отдыха и что трехнедельный отпуск, выпавший на весну, пойдет ему только на пользу. Он чувствовал себя страшным обманщиком перед ней. Она, оставшись дома и как бы принесла себя в жертву ради его душевного воскресения, и представить себе не могла бы все те мучения, какие испытывал он здесь. Она бы расплакалась, вернись он домой и расскажи о тех условиях, в каких приходилось ему коротать ночи в этом доме отдыха, в той реальной действительности, в которую он, размечтавшись и позабыв обо всем на свете, вляпался.

Именно это и сводило его с ума, удерживая от немедленного бегства.

Он написал Дуняше, не соврав ни словом, о красотах местной природы, о душистом воздухе, о цветущих всюду ландышах, вложив одно соцветие в конверт, о рыбном запахе прохладной реки, успокоив ее, что нет тут никаких пляжей, как нет и бассейна. Про жилище свое написал, что это не совсем то, о чем они с ней мечтали, но жить, дескать, можно, зажмурившись и заткнув уши.

Подумал и тщательно вымарал последние слова, поцеловал Дуняшу на прощанье, чуть не плача над листком бумаги, и запечатал конверт, с тоской вспомнив, как она перекрестила его, когда он направился к поблескивающему от дождя маленькому трапу, который теперь представлялся ему страшным эшафотом.

Глава одиннадцатая

Ошибаются люди, думающие, что гончие собаки, стронув зайца на лежке, сознательно гонят его силой своих ног и злобных голосов на охотника, подрезают ему путь, обходят, не оставляя зайцу иного пути кроме как под выстрел.

Ничего подобного не происходит ни с собаками, как бы хорошо они ни были выучены, ни с зайцем или иным зверем, который все равно ушел бы от гончих собак, как бы ни старались они догнать его или направить на охотника. Все это сказки. Хотя, надо сказать, что, уйдя от собак, заяц все равно придет к охотнику, вернется в бессознательном беге к тому месту, откуда стронули его чутыстые выжлецы, не сколовшиеся со следа.

Так уж устроен загадочный мозг теплокровных животных, не исключая и человеческий, что в паническом бегстве, в страхе перед смертельной опасностью, когда ноги не разбирают дороги, а сердце колотится с бешеной скоростью и кровь гудит в жилах, происходит странное и вряд ли до конца постигнутое наукой явление: заяц, лиса или иное животное совершает в бессознательном бегстве роковой и часто смертельный круг. У зайца-беляка он невелик — не пройдет и четверти часа, а он уже мелькнет ушами в облетевших, голых кустарниках, выкатив на старую просеку, где и поджидает его опытный охотник, внимательно слушавший своих собак, которые переливистыми голосами, утихшими было на дальней точке окружности, оповестили его о приближении зайца зарким своим накаत्याвающимся звоном в осеннем лесу.

Проманется охотник, но хорошие собаки опять погонят зайца, и опять он сделает такой же круг и опять набежит на охотника, пока тот не уgomонит его выстрелом, или когда собаки, сколовшись, не бросят его невредимого.

У русака этот круг значительно больше, и не всякая собака способна с честью выйти из поединка с резвым скакуном. Не говоря уж о лисице, которая заложит такой круг, уйдет в тихие уремы и лесные завалы, что для охоты на нее годится очень злобный, сильный и вязкий гончак, у которого словно бы есть свои какие-то личные счеты с хитрыми лисами.

Но все-таки беляки, русаки и лисы, если собаки не бросят их, — все они, будто привязанные невидимой цепью к неопределенному центру, рано или поздно вернутся в безумном своем беге к тому месту, откуда начался губельный для них и радостный для охотника гон. В этом и смысл охоты с гончими.

Трудно, конечно, вообразить себе круг, какой делают гонные лоси или олени... Но и они тоже совершают этот круг. За весь световой день охотнику вряд ли дожидаться, когда замкнется окружность, по которой бегут огромные звери, слыша далеко отставших, но злобных и вязких собак. Испорченные собаки эти не годятся для заячьей или лисьей охоты, потому что, даже погнав зайца, но стронув по пути лося, они бросят мелкого зверя и увяжутся за лосем, испортив всю задуманную охоту. Пробежав по огромному кругу вслед за сохатым, едва живые, голодные, они вернутся только в потемках осеннего дня к взбешенному хозяину, который пнет в сердцах зарьялого выжлеца, когда тот виноватым взглядом попросит у него корма.

Все мы, теплокровные, возвращаемся на круги своя.

Гдедаром в народе шептались старухи о каком-нибудь глухом болоте, куда ходить опасно, потому что там водит. Попал туда человек, заблудившись в лесу, вспомнил про эти слухи о чертовом болоте, испугался и погубил себя. Куда бы ни шел он теперь, пытаясь выбраться из болота, таинственный мозг, напуганный дурной славой гиблого места, начнет кружить его по кочкам, возвращая рано или поздно к знакомой уже по первому кругу березе или кривой сосенке, а то и к пустой пачке из-под сигарет, которую недавно бросил горемыка, докурив последний табак.

Редкий человек не дрогнет, не падет духом, редко у кого не зайдет сердце в паническом страхе, словно бы озорной леший взял его на прицел или водяной, живущий в вонючем бучале, пригрозил ему своим коварством.

Спасти человека может тогда только сильная воля, способная побороть панический ужас, которым потрясен бессильный мозг, отказавшийся понимать, что происходит с ним, и не дающий человеку точную информацию, что ему надо делать и как выбраться из страшного болота, из чертовых этих кулижек, в которые завела его нечистая сила и принялась водить.

Иной раз подумаешь невольно, что круг для человека — роковой образ вселенского страха, который вошел в его душу и запечатлелся в ней навеки. Особенно с тех пор, как стал человек гордыней своей состязаться с Творцом, познавая тайны природного мира, создавать в своих учениях идеи добра и зла,

забыв о гармонической красоте непостижимого мира, Ева, приняв от змея яблоко, обрекла несчастное человечество на гибельный страх перед мистическим хитроумным устройством храма мироздания, механику которого человек возгордился постичь на пользу и на корысть себе. Того самого мироздания, в системе которого земля представлялась счастливым пращурам зело изукрашенной Богом равниной. Над землей поднималось солнце, оглашая первым лучом все сущее на ней о начале дня, или луна, оповещающая о приходе ночи.

Может быть, не было у них страха? Жили они, общаясь на равных со своими богами-единомышленниками, и, хорошо зная их жен и детей, дедов и правнуков, любовников и любовниц, прекрасно разбирались во всех их добрых и злых поступках, в хитростях их и коварстве?.. Они, наверное, понимали себя рядом с богами жителями прочной, изобильной земли, когда уходили на парусных суденышках в долгое плавание, влекомые любопытством в поисках ее края.

Земля для них была неколебимой твердыней, навеки поставленной в центр мироздания, во главу всех небесных светил, подчиненных воле богов-помощников, которых они, счастливы, узнавали в лицо и не боялись, осуждая семейные и вселенские их дела, все их козни и шалости, как будто боги были веселыми соседями, наделенные в отличие от добрых соседей бессмертием. Бессмертие было тоже неколебимо, как и вечная земля с ее долинами, реками, морями и горами, со всеми смертными ее существами, помнящими о реке забвения, но наслаждающимися краткой своей и могущественной жизнью в центре интересной и такой понятной вселенной.

Может быть, они знали гораздо больше, чем знаем мы? Знали именно то, что и должен был знать человек?

А круг, кольцо, окружность, шар, в который превратилась Земля, сброшенная во тьму безжизненного космоса, уменьшенная до ничтожной пылинки, вертящейся в неведомых и немислимых пространствах, стал для человека олицетворенным ужасом, очертив безжалостным циркулем границы мечущихся душ всех сущих на шаре, оставшихся в вечном одиночестве в своем круговом беге во тьме всепожирающего космоса. В глубинах его они ищут хоть какие-нибудь проблески разумной жизни, способной спасти их и помиловать за несметные грехи. Но тщетны их потуги. Они обречены на вечное кружение, как гонимые звери, которых преследуют холодные знания, обретенные ими на пути в бездну.

Темляков, который шел в счастливом забвении за златокудрой, как ему стало вдруг казаться, и игриво настроенной Ингой, увлекающей его в глубину зелено-розовых зарослей, — Темляков, у которого кружилась голова от кислородного переизбытка в лесном пространстве, знал в эти удивительные минуты растворенности и полного подчинения женщине, что земля у него под ногами плоская и что где-то там, за теми липами или несколько дальше, она обрывается краем. А за краем туманно синее пропасть с серебряными звездами и луной. А эту пропасть люди и называют краем света.

Он шел и, как ни странно, совсем не испытывал страха, словно живой этот путь и был для него тем вождельным с детских лет, сладострастным для истосковавшейся души движением, без которого он никак уже не мог впредь представить себя в зеленом и душном мире, поглощавшем его своими ветвями-щупальцами, ласкавшем нежным прикосновением мягких, как лепестки цветов, но окрепших еще листьев лип и рябин.

Этот мир, который увлекал его своим кружением и радостным шепотом, шелестом, свистом, чего он даже во сне никогда не видел, не осязал и наяву черствеющей своей кожей, был прекрасен.

И среди этого круговорота света, красок и звуков двигалась перед ним, волнуя его, бесстрашная Инга, на чреслах которой играла складками парчово-подобная ткань легкой блузы. Упругая плоть женщины томилась в плену этой тькани, и Темляков остро чувствовал трепетное ее томление, словно она взывала к нему, умоляя освободить из тисков плена.

Голова его, как отцветший одуванчик, превратившийся в пушистый шар, была невесома, словно природа наконец-то так хорошо распорядилась с ней,

что шальной ветерок, в игривом своем набеге дунувший с небес и пробежавший в веселой беспечности по цветущей поляне, мог бы в мгновение ока разорить ее и разнести созревшие семена по поляне. Он весь находился во власти этого странного состояния, понимая себя целиком подчиненным воле случайного дуновения, которого ждал.

Ничто уже не волновало его, кроме ожидания легкомысленного ветерка, который вытряхнул бы из его головы всякую чушь, накопившуюся за прожитую жизнь, освободил ее от той цепенящей робости перед женщиной, которая мучила его в эти минуты, и дал бы ему силу для смелых действий. А для этого нужна была, как он понимал, пустая голова, легкая, как пушистый одуванчик, набитый одними лишь семенами, счастливый полет которых над зеленой поляной мог состояться только в теплый солнечный день с порывами упругого ветра.

И этим ветром явилось вдруг перед ним непонятное, смутно поблескивающее в шелесте полупрозрачной зелени загадочное изваяние, при виде которого и он и Инга остановились и взглянули друг на друга в недоумении.

Едва заметная тропа в лесу, по которой они шли, исчезла в зарослях ландышевых листьев. Ландыши росли здесь особенно густо. Цветы их своей влажной белизной спорили с белым сиянием молодых берез, с упруго круглящимися напудренными стволами, от света которых зелень шоколадных веток казалась пронзительно яркой и радостной. Почудилось даже, что они случайно попали в маленький, обособленный от всего леса зал с белыми колоннами, стоящими на темно-зеленом ковре из ландышевых зарослей. Посреди этого чудесного зала темнело, поблескивая металлом, загадочное изваяние, ухודившее грифельными округлыми формами в небо.

— Что это? — спросила Инга с любопытством и страхом.

— Не знаю, сейчас посмотрим... — ответил Темляков, выходя вперед. — Это, конечно, старый дуб. Его убил молния, но почему? — говорил он, ведя за собой Ингу. — Почему тут все это?.. Странно...

Это был действительно старый дуб, с мощного ствола которого давно отвалилась кора, обнажив мускулы некогда сильного великана, царившего над окрестными деревьями, но сраженного молнией. Странно было другое. У подножия дубового остова темнело сооружение из полусгнивших темных досок — то ли низкий стол, сквозь щели которого проросла трава, то ли ложе с дощатым, тоже покосившимся навесом. Скорей всего это было и то и другое, потому что в травянистую землю выросли почерневшие чурбачки, в торцах которых торчали железными опятами ржавые гвозди, крепившие когда-то истлевшие доски скамеек. Влажная их труха, не успевшая просохнуть под тенистым навесом, угольно чернела вокруг гвоздей и в траве.

Но не это удивило Темлякова. Тот странный металлический блеск, напоминавший сквозь живую листву блеск кольчуги, который сразу бросился ему в глаза, как только они с Ингой увидели этот дуб, оказался не обманым видением, не случайным отблеском грифельных мускулов сухого дуба, а его новой кожей, которая досталась ему, бедняге, на поругание после смерти.

Это блестели крышечки, закупорки, пластмассовые пробки винных, пивных, водочных и коньячных бутылок, которые со скрупулезной аккуратностью были прибиты гвоздями к ободранному телу дуба. Эта зловещая мозаика, какою был одет на высоту вытянутой руки могучий дуб, делала его похожим на древнего витязя, чешуйчатые латы которого были набраны из цветных крышечек от бутылок, переливавшихся золотистым, алюминиевым, жестино-ржавым и пластмассово-мутным цветом, среди которых голубели, не успев заржаветь, крышки от пепси и «Байкала», хотя главным цветом тут был алюминиевый — от водочных бутылок.

— Как интересно! — с придыханием в голосе сказала Инга. — Я никогда ничего подобного не видала в жизни! А вы?

— Я тоже, — ответил Темляков, внимательно разглядывая алюминиевую чешую крышечек, в центре которых темнела ржавая шляпка гвоздя. — А вот, — сказал он со вздохом, — и московский ликеро-водочный...

— Что? Я не расслышала...

— Я говорю, со всей России крышечки, пробочки... Вог и от шампанского тоже. А это от бормотухи. Хотя вот, пожалуйста, от коньяка. А вот и жигулевское.

— Как интересно, — опять сказала Инга, млея от таинственной восторженности, охватившей ее при виде этого чуда. — Как же это? Возможно ли?

Он и сам не совсем понимал, как это было возможно так плотно и так аккуратно одеть поверженный молнией дуб пластмассово-металлической кожей, словно тут трудился много лет подряд неведомый миру искусник, произведение которого было заведомо обречено на безвестность. Он что же, приходил сюда с молотком и гвоздями, из года в год собирая брошенные пьяницами крышечки от бутылок? Вряд ли.

— А вот и ответ, — сказал Темляков, заметив в ландышевых зарослях след давнишнего кострища, светло-зеленый его круг, в границах которого росли какие-то чахлые, хилые былинки, как будто им не хватило солнца, были они похожи на бледный мох среди темно-зеленых листьев цветущих ландышей.

— Что это? — тихо спросила Инга и положила Темлякову руку на плечо, неосторожно прикоснувшись грудью к его лопатке.

— Угадajte, — сказал он, напрягшись.

— Я не знаю, — сказала Инга, давя ему на плечо стопудовой тяжестью своей руки, под которой гнулся к земле Темляков, не понимая, что происходит с ним. — Я не знаю, — повторила Инга, склоняясь вместе с ним к мшистому кругу.

— Это след... Это все, — говорил Темляков, чувствуя щекой щекот душистых волос, — это следы цивилизации. Это то, что останется от нас... Стекланные бутылки... Огромное количество стекланных бутылок... Что подумают о нас? Если, конечно, будет кому подумать. Не мрамор, не амфоры...

— Что? — отрешенно спросила Инга, и голос ее прозвучал на сей раз очень серьезно и даже строго, будто она была недовольна объяснением Темлякова. — Я не понимаю...

— Это кострище. Я думаю, это отдыхающие из нашего с вами дома...

— Что они делали? — занятая своими какими-то мыслями, опять спросила Инга.

— Приходили сюда с вином, топором и гвоздями, жгли костер, пили вино...

— Им было весело?

— Я думаю, да.

— А что они еще делали? — Инга заглядывала ему в глаза крупными, выпуклыми очами, которые блестели перед ним и в которых было столько запредельной какой-то пустоты и нездешности, что ему показалось, будто на него глядели не женские глаза, а глаза некоего неразумного существа, у которого было одно лишь жгучее желание — поскорее съесть его, — а исходило это желание от живота.

— Вы, Инга, чудо, — сказал он, отгоняя от себя страшное видение. — Давайте посидим немножко. Я вам кое-что расскажу.

— Кое-что?

— Кое-что.

— Как странно, — пропела Инга. — Я чего-то боюсь, мне страшно, — говорила она, не отпуская плеча Темлякова и ластясь к нему. — А не сыро ли тут? Пахнет плесенью...

И вдруг Темляков, словно проваливаясь в крошечную тьму, в греховный мир своих вожделений, вспомнил про ту заветную фляжечку коньяка, которую ему заботливо оставили... добрые друзья... «Да, да, да, — подумал он радостно. — У меня ведь есть немножко коньяка. Где же он? Ах да, в заднем кармане... Все-таки, черт побери, фляжечка — очень удобная штука, ее можно спрятать в карман... Как это кстати!»

— Сейчас я избавлю вас от страха... Сейчас, — проговорил он оживленно, рукой вытягивая из кармана плоскую фляжку, коньяк в которой жирно и тепло засветился в солнечном луче. — Вот, смотрите.

— Как интересно, — сказала Инга и, поддерживаемая Темляковым, тяжело опустилась голубым своим торсом на хрустнувшие доски. — Не провалимся? — спросила она с легким испугом.

— А если провалимся?

— Значит, судьба, — ответила Инга.

— Я согласен, — услышал Темляков свой голос и стал отвинчивать запекшуюся крышечку, которая не сразу поддалась ему, как если бы в руке у него не осталось никаких сил.

— Я никогда не пила из горлышка! — воскликнула Инга, когда Темляков протянул ей фляжку. — Это что же? Я должна... Ах, какой душистый!

Он опять увидел выпуклый шар ее глаза в редких и толстых ресницах, драгоценный этот самоцвет, колеблющийся словно бы в прозрачной морской воде и увеличенный ее толщиной до размеров глаза какого-то крупного животного. Разглядел светло-коричневую радужку, испещренную волокнистыми черточками, ворсинками и точками золотистого цвета, вязко наплывавшими на черный, ясный кружочек подвижного зрачка. Его поразили подробности этого отшлифованного до глубинного сияния самоцвета, который возлежал на голубоватом шелке белка. Но хотя он и пристально гляделся в этот круглый глаз, он так и не увидел в цветных его глубинах даже малейшего отсвета чувства или мысли, какие обычно несет в себе чуткий рецептор мозга.

Перед ним был всего лишь красивый камень, любовно обработанный искусным мастером. Холодный в своей бессмысленности, он, как сложное оптическое устройство, позволял Инге созерцать окружающий мир, никак не реагируя на него. Это устройство направлено было на Темлякова.

Он даже поежился под сквозняковым дыханием холода, которым повеяло вдруг на него из золотистой пропасти, словно он был объектом тщательного исследования.

— Глоточек, — сказал он, кивая на коньяк и перебарывая зябкую робость.

Упругие лепестки розовых губ раскрылись, как для поцелуя, стеклянное горлышко фляжки коснулось их сочной поверхности, издав тонкий и колкий звук столкновения с зубом. Инга запрокинула голову, туманные колпаки век кукольно открыли глаза, а зефирная шея красавицы дернулась в судороге первого глотка.

Именно так вычурно и красиво подумал Темляков, наблюдая за Ингой с млеющей улыбкой.

— Вкусно, — удивленно прошептала она, отстраняя фляжку и слезно влажно глядя на Темлякова.

— Еще, — подбодрил он ее.

— Не боитесь?

— Я? Нет, не боюсь.

— Вы смелый?

— Как вам сказать... Посмотрим. Там будет видно.

— Где это там? Там... Вы смешной. Мы с вами здесь, а не там. Я никогда не позволяла себе там из горлышка. Очень вкусно. Да-а, — певуче проговорила Инга загадочную фразу и добавила: — Смотрите! Не жалейте потом.

С неожиданной жадностью она сунула в губы стеклянное горлышко, замурилась, запрокинулась и, к удивлению Темлякова, не отрываясь выпила почти весь коньяк. Струйки его смолисто блестели на подбородке, когда она, облизывая губы, протянула фляжку ошеломленному Темлякову.

— Вам... нет, лучше тебе... Хватит, — сказала она. — Тебе необязательно, ты и так хорош. Не злись, я не рассчитала. Мне было приятно. Фу-у, как тепло!

— Да уж что ж... Допивайте, — сказал Темляков, — капли эти...

— Заткнись, — ласково сказала Инга, сорвав под ногами ландыш, поднесла его к носу. — А мы где?, — спросила она с пьяным журчанием в голосе. — Там или здесь?

— То есть как?

— Ты же говорил: там посмотрим. Мы где? Еще не там? Здесь что же — хижина? Нет? Или...

— Надо немножко пройтись, Инга, — в отчаянии перебил ее Темляков, видя, как быстро пьянеют ее глаза.

Но она настырно выпукло посмотрела на него и опять сказала зажурчавшим после коньяка, похожим на звук губной гармошки голосом:

— Заткнись. — И безвольным движением руки отмахнулась. — Я тебя предупреждала!

— Да, но ведь о глотке... говорила. Зачем же...

— Треть-треть-треть, — сказала она словно кролику и ландышем хлестнула его по лицу.

Темляков был очень встревожен, чувствуя себя виноватым перед молодой женщиной, которой он так неосторожно предложил глоток коньяка. Ему было неприятно видеть ее опьяневшей, и, хотя он скрывал от нее свое чувство, улыбаясь и разговаривая с ней как с ребенком, он понимал, что ему придется набраться терпения и выслушать все ее глупости, которые она несла, поднявшись перед ним в рост и изображая из себя поющую танцовщицу.

Ей же, наверное, казалось в эти минуты, что она была очень изящна и легка в своих телодвижениях. Она виляла бедрами, расставив ноги. Руки ее, как ей, вероятно, мнилось — лебяжьими шеями, скользили по длинным бедрам, ластились к ним и в такт веселого мотивчика вспархивали крыльями, взлетали выше головы, извивались змеями на восточный манер и опалили опять на бедра. При этом Инга притоптывала, приплясывала, кривляясь и выкрутасничая перед ним в светло-березовом этом зальце среди леса, мяла ландыши и загнанно улыбалась.

Пела она одну и ту же, неизвестную Темлякову и, видимо, старую озорную песню молодой бабенки, загулявшей в дни отлучки мужа.

— «Поехал мой муж в Крым по зелье, — весело вскрикивала Инга, шумно дыша. — Туда бы доехать, оттуда б не бывать!»

Очень мило у нее получалась эта концовка «оттуда б не бывать», как будто она вкладывала свое, особенное отношение, очень личное и пережитое, в эти, как казалось Темлякову, жестокие слова песни. Он невольно переносил их и на себя, словно это именно он поехал в Крым пить зеленое вино, а жена загуляла без него и совсем уж распустилась в своих желаниях.

— Ну хорошо, хорошо, — останавливал он ее, смеясь. — Что ж, это весь твой репертуар? А что-нибудь другое?

— Заткнись, — грубо отмахивалась от него Инга, хотя грубость эта звучала, как ни странно, капризно-ласково в ее устах.

Вдруг она остановилась и вперилась в Темлякова безумоватым взглядом.

— Хочешь? — спросила она. — Не будешь жалеть? Есть еще одна песенка. Хочешь? Ты еще не знаешь меня!

— Чего же мне жалеть, — откликнулся Темляков, почувствовав теплый толчок в груди. — Отдохни, посиди немножко.

— «Я под шубкою была! — заорала вдруг Инга на весь лес. — Я под шубкою была, под шубейкой грелась, одному разок дала, другому захотелось!» Во какую еще знаю! — дико вскричала она и разразилась хохотом, побежав по кругу от переизбытка сил по белоснежно-зеленому, стыдливо-чистому лесному уголку, заросшему цветущими ландышами. — «Я под шубкою была, под шубейкой грелась...» — снова закричала она и, замкнув круг, бросилась, бросилась всей своей неосторожной смелостью к нему на колени, на грудь, в голову, в ребра, в лицо.

Инга задыхалась от безумного веселья и страсти, требуя от него, оцепневшего, ответной страсти и буйства, не понимая, почему он так холоден и равнодушен, когда сама она перешла уже все границы дозволенного.

— Давай веселиться, — говорила она, захлебываясь. — Я хочу веселиться! Ты оглох! Очнись...

Темляков неловко обнял ее и стал целовать. Она притихла. Он же все больше и азартнее разгорался, забываясь и уже не помня ни о чем, как будто ветерок наконец дунул и растормошил отцветший одуванчик, семена которого, дождавшись своего часа, пустились в недолгий свой полет над зеленым лугом.

И вдруг он почувствовал по обмякшему ее телу, по склонившейся голове на одряхлевшей вмиг, потерявшей всякую жизненную силу, увядшей шее, что с

Ингой произошло какое-то несчастье, что она или потеряла сознание, или даже умерла у него на руках. Он испуганно отпрянул от нее...

Но то, что произошло с ней на самом деле, повергло Темлякова в ужас и безумную панику, какой он никогда в жизни еще не испытывал.

Естественно, что, когда Инга повела себя так странно, когда она быстро стала терять силы, уронив голову, которая, как вырванная из воды белая лилия, утратила свою красоту и упругость, он окликнул ее и, забеспокоившись не на шутку, стал осторожно перекладывать со своих рук и коленей на доски, делая это в нервном ознобе и потому не с должной, наверно, аккуратностью. Голова ее легонько стукнулась о доски, и ему показалось, что она вдруг отвалилась от туловища и желтым комом скатилась на влажную землю к его ногам.

Он чуть не закричал от ужаса. Но то, что он увидел на месте этой якобы отвалившейся головы, заставило его онеметь в холодном поту. Дыхание его оборвалось, он закашлялся, земля поплыла из-под ног... и он едва удержал равновесие, рукой уперевшись в металлическую кожу дуба.

Перед ним лежала бездыханная женщина с серой, стриженной под машинку шишковатой головой, у которой на том месте, где должны быть уши, торчали два длинных, тоже как будто коротко стриженных серых отростка, выгнутыми своими плоскостями образующая глубокие ушные раковины.

Голова ослицы, которую вдруг увидел Темляков, лежала на полуистлевших досках в том безжизненном и жалком повороте, в неудобной для сна или отдыха позе, какая отличает мертвое тело от живого.

Но чем внимательнее Темляков вглядывался в нее, удерживая себя от бегства и крика ужаса, тем явственнее он замечал признаки жизни в этой странной голове — толстые ресницы полуоткрытых глаз вздрагивали, изо рта, верхняя губа которого не способна была уже прикрыть вытянутую челюсть с желтеющими из-под нее зубами, вырывались едва слышные то ли всхлипы, то ли стоны, а вздувшаяся на переносице извивистая жила, спрятанная утолтившейся серой кожей, была наполнена явно живой, пульсирующей кровью. Ему даже показалось, что от головы исходит горячий, обжигающий сухой жар, который удушливо вдруг коснулся кожи его лица, повергнув Темлякова, и без того обессиленного и едва держащегося на ногах, в новый, сводящий с ума и останавливающий всякую жизнедеятельность страх.

Неимоверным усилием воли он заставил себя прикоснуться к голове. Приподнял ее, чувствуя под руками волосную шершавость свинцово тяжелого черепа, холод бархатистых толстых ушей, глядя на которые Темляков уже не сомневался, что это уши молодой ослицы или, во всяком случае, одной из разновидностей конячьего рода, лошака или мула, и, невольно опасаясь ощеренных зубов, которые в страшном оскале, казалось, готовы были вцепиться в его руку, положил эту голову набок, подумав, что так ей будет удобнее.

С неприятно почуял он запах сладковато-душного перегара, вырвавшегося изо рта, и услышал облегченный вздох головы. Но нашел в себе силы поднять с земли свалившийся парик, искусно сделанный из тонких пушистых женских волос, пахнущий хорошими какими-то духами, и подложил его под шишковатый затылок.

Он все это делал как во сне, даже удивляясь самому себе, почему так долго не может проснуться и никак не найдет в себе силы скинуть с себя дьявольские чары. Но если это был сон, то он протекал слишком реально, слишком отчетливо для сна работали все органы его чувств, и Темляков в отчаянии понимал, что, к великому сожалению и несчастью, это был не сон.

Предсмертный ужас не отпускал его. Не было никаких сил сопротивляться ему. Но последней каплей в нечеловеческих его муках, которая, казалось бы, должна была dokonать беднягу Темлякова, явилась маленькая лесная мушка. В вечной своей озабоченности и бесстрашии она с торопливым звоном опустилась на верхнюю губу ослиной головы и, пробежавшись по липкой поверхности, заставила вдруг содрогнуться в нервном тике эту серую голову. Глаза мутно приоткрылись, обнажив голубоватый белок, нос сморщился, и в лесной тишине раздался то ли вопль, то ли чих. Длинный язык улиткой выполз изо рта и, облизав губу, по которой только что ползала бронзовая мушка, свесился в безжизненном бессилии.

Темляков отшатнулся, пораженный этим шершавым и очень длинным языком, сделал шаг-другой назад и, пятась, чуть не упал, споткнувшись о какой-то пенек. Падая, он обрел наконец силы, они подбросили его, как испуганного зайца или лося с лежки, и в огромном прыжке он кинулся прочь от чудовища, которое только что буйствовало и пело, кривляясь перед ним в образе похотливой красотки, от дьявольского этого оборотня, который совсем недавно вызывал в нем своей игривой откровенностью чуть ли не любовные чувства.

Глава двенадцатая.

Он бежал не разбирая дороги, легко прыгая через поваленные деревья, через бархатисто-зеленые шишиги мха, лесные эти захоронения старых пней, перемахивал через канавы, поблескивающие застоявшейся черной жижей, вспугивал птиц, которые с криком разлетались, бросая свои брачные игры и гнезда. Ноги его мелькали, как ноги бегуна, перемахивающие через барьеры в ритме хорошо отлаженной машины, голова его с птичьей ловкостью увертывалась от ветвей, грозящих выколоть глаза и расцарапать в кровь лицо. Он не испытывал никаких затруднений в стремительном этом беге, с каждым прыжком чувствуя себя все спокойнее и увереннее. Дыхание его было частое и неглубокое, но ему вполне хватало воздуха, чтобы насытить кислородом кровь, бушующую в жилах.

Ему уже чудилось, что посветлевший лес должен вот-вот кончиться и перед ним откроется простор широкой реки. Чистые и словно напудренные стволы березок, растущие среди туманно-зеленых листьев ландышей, приближали его с каждым прыжком быстрого бега к светлой опушке, заросшей лиловыми колокольчиками и розовыми метелочками щавеля, красной кашкой и крохотными звездочками дикой гвоздики. Душа его уже ликовала, освободившись от смертельного страха, он уже успел подумать, что сегодня же бросит в чемодан свои вещи и с вечерним поездом уедет домой, а завтра расплачется в блаженном счастье на груди Дуняши, мысленно прося у нее прощения за грехи беспокойной души...

Он уже замедлял свой бег, уже шел быстрым шагом, когда перед глазами его воздвигся, вознесся опять в небо черный дуб, облаченный в чешуйчатые латы из водочных жестянок.

Это было так неожиданно, что Темляков не поверил себе, продолжая шагать в сторону мертвого дуба среди белых берез, пока не увидел дощатый навес и страшную лежанку под ним, пока ноги сами не остановились, налившись страхом. Голова закружилась, все поплыло у него перед глазами, тошнотная слабость и липкий пот превратили его в безвольное существо, смяли душу, он как бы перестал быть, умер для самого себя, пронизанный одной лишь мыслью, или, точнее сказать, одним животным желанием провалиться сквозь землю, исчезнуть, обратиться в смелую бронзовую муху, во что угодно, лишь бы не видеть того, что он увидел на сей раз.

Дощатая лежанка была пуста.

Темляков присел, зыркнул взглядом по сторонам и, не заметив ничего вокруг, осторожно выпрямился. Но тут же, крадучись и озираясь, чуть слышно сделал несколько шагов в сторону, уйдя с открытого места, и спрятался за пушистыми елочками. Глаза его молниевым взглядом выхватили в небе слепящий комок света. Он вспомнил, что когда они с Ингой шли сюда... Они шли сюда, с кем он шел сюда? Мысли его путались, но он уже отчетливо понимал, что произошло с ним, и заставлял себя думать, думать, думать. И хоть это было нелегко, он все-таки вспомнил, что когда они шли сюда, желтые волосы Инги... Какой Инги? Когда они шли, солнце светило прямо в лицо, потому что ему однажды показалось, когда он шел за этой нелюдьей, что над волосами у нее сиял пушистый нимб, который умилял его своей небесной чистотой и серебряностью... Итак, если они шли сюда против солнца, то теперь ему надо, учитывая время... А сколько прошло времени? Не важно... Главное — выбрать правильное направление. Важно не терять этого направления, не спешить и не упускать из виду солнце, которое теперь должно светить ему в затылок

или чуть-чуть левее с учетом времени, чтобы луч его скользил по левому уху. Ну да, уху... Нормальному его уху. Темляков невольно ощупал свои уши, убедившись, что у него есть мягкая, слегка отвислая, как у нормального человека, мочка и хрящеватый эллипс раковины.

Уши его, которые, слава Богу, были на месте, внимательно ловили каждый звук, каждый шорох во враждебном, потерявшем все свои краски и запахи лесе. Глаза быстрым взглядом ощупывали всякий подозрительный куст или столпившиеся елочки. Но ничего, кроме пения беззаботных и очень счастливых птиц, Темляков не слышал; ничего, кроме поваленных берез, затянутых мхом, он не замечал, осторожно идя в избранном направлении.

Он часто оглядывался, но лишь однажды ему показалось вдруг... Ему померещилось, что из-за молоденькой рябинки, из-за ажурных ее листьев за ним внимательно наблюдает белое лицо Инги или как ее там. Лицо это, исполосанное легкими тенями листьев, было неподвижно и страшно. Но оказалось, что это белая кора сломанной ветром березы, высокий обломок которой торчал за пушистой рябиной, корой своей напоминая туловище и белое лицо.

Темляков был весь поглощен солнечным лучом, по которому как по канату шел он, боясь сбиться с пути, и это отвлекало его от страха встречи с молодой ослицей. Она, конечно, тоже бродила где-то в этом таинственном лесу и, может быть, искала его, очнувшись от пьяного сна или обморока. Он в этом нисколько не сомневался и был все время начеку.

Даже когда перед ним зазеленела нежная в своем цветении опушка, он и тогда, прежде чем выйти из леса на душистый луг, спускающийся к реке, внимательно огляделся и, только убедившись, что вокруг никого нет, быстрым шагом побегал вниз. Ноги сами понесли его под уклон, и ему оставалось попевать за ними, бегущими все быстрее и быстрее, пока в лицо ему не пахнуло прохладой речной глубины величавого водного простора.

— Что же вы так опаздываете? — услышал он вдруг приятный мужской голос, заставивший его вздрогнуть. — Я уже полчаса стою здесь. Нехорошо, нехорошо...

Темляков увидел в ивовых кустах рыбацкую лодку и плотного круглолицего человека в ней, одетого совсем не по-рыбацки. Он вежливо приглашал его в лодку, подгребая меж тем веслами и наталкивая лодку кормой на глинистую кромку, отделявшую воду от травяного берега.

— Прошу вас не мешкать, у нас осталось всего лишь полчаса, — говорил вежливый бутуз, приятно улыбаясь.

— Какие полчаса? — спросил Темляков пересохшим, одеревеневшим языком. — Разве мне на ту сторону?

— Разумеется.

— Но ведь дом отдыха «Буревестник» на этой стороне. Вы что-то путаете. Я вас не знаю и вижу первый раз... Наверно, не я, а кто-то другой вам нужен. Вы ошиблись. Я тут случайно! Я никуда не поеду. Тем более я сегодня собрался домой... Нет, — решительно заявил Темляков. — Мне совсем не надо на ту сторону.

Он увидел, что человек в лодке несколько растерялся, стал рыться в кармане черного пиджака, достал какую-то бумажку, надел очки.

Лодка с брошенными веслами тем временем отошла кормой от берега и, покачиваясь, стала отдаляться.

— Простите, — крикнул странный человек; взмахнув клочком бумаги, — фамилия ваша Темляков?

— Да, — удивленно отозвался он.

— А зовут Василий Дмитриевич? Правильно?

— Да, правильно.

— Чего же вы мне голову морочите? Вы сами просили, чтоб вас перевели в хорошую палату, жаловались, что вам не дают отдыхать... Было такое?

— Было...

— Ну а чего ж тогда! За чем дело стало? Садитесь, не пожалеее.

— Ничего не понимаю. Ничегошеньки! — удивленно воскликнул Темляков, видя, как лодка, управляемая веслами, опять ткнулась кормой в прибрежную траву. — Кто вы такой? Откуда?

— А вам и не надо ничего понимать, дорогуша вы мой Василий Дмитриевич. Считайте, вам крупно повезло. Вы хорошо проведете свой отпуск, а вам больше ничего и не надо. Верно я говорю? Между прочим, вещички уже там. Все аккуратно, все как полагается, ничего не пропало. Вы в этом сами скоро убедитесь.

— Где это там? — холодно спросил Темляков, спускаясь между тем к лодке.

— Сюрприз, Василий Дмитриевич, сюрприз! Главная наша задача — сюрприз для хорошего человека. Особое распоряжение, дорогуша вы моя. Больше ничего не могу сказать. Я человек маленький, не только по положению, как вы изволите видеть, — говорил лодочник, раздвинув щеки в счастливой улыбке. — Мне приказано, я исполняю.

Лодка качнулась, скользко вдавившись в воду под тяжестью Темлякова. Человек вцепился в его запястье, помогая удержать равновесие. Рука его была толстая, круглая, с короткими и сильными пальцами.

— Вот так, Василий Дмитриевич. Садитесь на корму. Опля! Поудобнее... Должен заранее сказать, у нас там не курят. Все остальное — пожалуйста, а с табакокурением борьба самая жестокая. Если имеются сигареты, лучше выбросить сейчас... Это, уж извините, такой порядок.

— Очень хорошо, — сказал Темляков. — Я не курю. Вот уж семнадцать лет как бросил.

— И правильно! Правильно. Лучше лишнюю чарочку, чем эту гадость. Правильно, Василий Дмитриевич.

Лодка отошла с натугой от берега, направив нос на стремнину реки, ивовые кусты, за которые цеплялись весла, мешая лодочнику, остались позади. Заметные толчки от весельных гребков покачивали Темлякова, упругая толща воды под кормой то проваливалась, то вздымалась... Весла сияли на солнце мокрыми лопастями, с них не успевала стекать сверкающая вода, как они снова с коротким всплеском погружались в прозрачно-серую воду, и снова лодка толчком устремлялась вперед.

Темляков, сидя на корме, не знал что и подумать. Он исподтишка поглядывал на гребца, который умело вел лодку, исполняя, видимо, привычное для себя дело. Лицо его нравилось Темлякову, хотя и было оно очень некрасиво, мясисто и глупо в своем выражении, как, впрочем, бывают глупы на первый взгляд многие люди, на поверку показывающие острый ум и смекалку, так недостающие многочисленным красавцам, мнящим себя умниками.

Но естественная подозрительность Темлякова, попавшего в положение странного пассажира рыбацкого этого челна, не исчезала, а с каждым толчком лодки, с каждым взмахом весел усиливалась тревогой, словно он был все-таки не тем, кого ждал маленький толстяк. Случилась роковая ошибка, которая скоро выяснится, и ему, давшему согласие ехать на тот берег, придется перенести унизительную проверку, уже и теперь оскорблявшую его неловкостью вопросов и ответов. Он уже и теперь хмурился, подготавливая себя к неприятным объяснениям, кто он и как очутился на берегу, почему тоже носит фамилию Темляков, хотя и не Темляков на самом деле, а какой-то самозванец...

— Что приуныли, Василий Дмитриевич? — услышал он одышливый, как у мясника, разрубавшего мясо, голос незнакомца. — Все хорошо, скоро будем на месте. Даже если опоздаем, ничего страшного. Улыбочку, Василий Дмитриевич, улыбочку, пожалуйста. У нас любят улыбчивых! Учтите, пожалуйста, это маленькое обстоятельство.

Темляков внимательно посмотрел на говорящего, увидел его уши и, подумав, что они у него похожи на домашние пельмени, улыбнулся.

— Прекрасно, Василий Дмитриевич! Жизнь прекрасна, если смотреть на нее с улыбкой. Верно я говорю?

Лодка прббуравила днищем хрящеватое дно и с резким толчком остановилась, напорвшись носом на узкую полоску песка под подмытым травянистым

берегом. Толстячок ловко спрыгнул с носа на песок, ухватился за цепь и вытащил лодку на полкорпуса на крупный каменистый песок.

Подмытый край берега нависал зеленым дерном и бородой черных корней, затянувших густыми нитями тьму подбережных пещерок, похожих на крысиные норы, издающих запах гнилой сырости.

Но как только Темляков с помощью протянутой руки лодочника взобрался на берег, на поверхность, ступил ногой на плотно затянутую травой землю, в ноздри ему ударил настой теплого сухого воздуха, струящегося над зеленым берегом, в траве которого, в солнечной благодати тут и там белели крупные цветы дикой клубники. Цветов было очень много. Над цветами летали пчелы, звоном крыльев наполняя душистый воздух.

Темляков загляделся на цветущий бережок, представив себе, сколько тут будет любимых с детства ягод клубники, которую звали русской. Ароматнее и вкуснее этих ягод, когда они покажут свой густо-розовый бочок, он не знал. Белые, величиной с лесной орех, в мякоти которых увязали желтые косточки семян, они зримо предстали перед внутренним взором восхищенного Темлякова, вкус их коснулся его языка, вызвав мгновенный спазм слюнных желез.

— Сколькo тут клубники! — воскликнул он, разводя руками.

— Некогда, некогда, Василий Дмитриевич, — прервал его человек в черном бостоновом костюме, лоснящемся на солнце.

Он стоял в десятке шагов от него, дожидаясь. Лакированные черные штиблеты блестели вороненым металлом на неожиданно чистой, ухоженной дороге, плотно посыпанной толченым кирпичом. На края влажной дороги курчаво наползала темно-зеленая трава, перевитая любимыми тоже с детства вьюнками, розовые граммофончики которых протянулись на ползучих стеблях под ноги лодочника.

— Ба! — воскликнул пораженный Темляков. — Куда мы попали?!

Лодочник ничего не ответил. Он очень торопился, увлекая за собой Темлякова. Толченный кирпич приятно похрустывал под ногами, идти по красной его насыпи было легко. Темляков и не заметил, как они с лодочником, идя по этой плавно изогнутой дороге, удалились от реки и торопливо вошли в тенистую аллею, обсаженную вычурными туями. Под ногами звонко захрустела белая толченая ракушка.

Аллея тоже оборвалась, разбежавшись серым полукружьем. Под ногами на свой лад зазвучал дымчато-голубой мелкий гравий, взвизгивая и издавая птичий писк. Справа и слева, и особенно в центре раскинувшегося сквера, на который они стремительно вышли, цвели под жгучим солнцем желтые розы, источавшие густой и теплый аромат. Дыхание сперло у Темлякова, как если бы он хлебнул кофейного ликера.

Не успел он удивиться, как перед ним выросло кирпичное здание в два этажа, под черепичной крышей, увитое старым плющом. Сквозь зеленую тьму ползучих листьев светилась решетка белой извести, сцепившая узкие гладкие кирпичики, положенные так ровно и аккуратно, что Темлякову даже почудилось, будто стены этого дома с белыми переплетами широких окон отлиты из красно-бурой пластмассы.

Под навесом стеклянного подъезда стояли трое мужчин, о чем-то озабоченно говорившие между собой.

Но стоило им увидеть Темлякова в сопровождении энергичного человека, как всякая озабоченность слетела с их лиц, они радостно улыбнулись и пошли навстречу. Один из них строго посмотрел на толстяка и пощелкал ногтем по стеклу наручных часов. Тот виновато пожал плечами и склонил голову на бочок. Темляков заметил, как лодочник шевельнул взглядом в его сторону.

Наступила мгновенная заминка, обычная в этих случаях, когда хозяева и гость сталкиваются, как муравьи, на жизненных путях, сведших их в предвиденной или непредвиденной точке разных судеб.

Темляков хотел было объяснить и как-то развеять свои сомнения, но ему не дали этого сделать. Вежливые и ласковые люди пожали ему руку, совершая это действие в чопорных полупоклонах, как некоему важному гостю, посещение которого было честью для гостеприимных хозяев. Это обстоятель-

ство опять кольнуло Темлякова подозрением, что его с кем-то путают и что с его стороны такая затянувшаяся канитель становится уже преступной, как если бы он сам был инициатором всей этой путаницы.

— Да, но... я должен, — начал было он, — мне хочется... я давно...

Его вежливо перебил один из встречавших, распахнувший перед ним стеклянную дверь-вертушку.

— Туалет направо, — сказал он Темлякову, которого подтолкнула в спину секция вертящейся двери.

Местный распорядитель, как понял его Темляков, был строг в своем костюме, блиставшем крахмальным воротничком, словно бы тоже отлитым из пластмассы, так гладок и аккуратен был этот белоснежный воротничок, врезавшийся в толстую шею. Он обладал редким умением держать руки непринужденно. Они у него были короткие, как у лодочника, но крепкие и, видимо, очень сильные. Он как бы не обращал на них никакого внимания, и они, распирая мускулами ткань пиджака, находились в том естественном положении, какое нужно было им занимать в тот или иной момент. Когда он сказал: «Туалет направо», то правая рука, оторвавшись от клапана пиджачного кармана, произвела легкое и едва заметное движение налитой силой кисти из-под белой манжеты. Когда же он толкнул перед Темляковым вертушку двери, рука его сообщила ей такую силу вращения, какая нужна была, чтобы Темляков без всякой спешки успел сделать те два-три шага, которые его отделяли от полутемного холла, застеленного багрово-красным ворсистым паласом и украшенного по стенам бронзовыми щитами, начищенными до зеркального блеска, в которых отражались погашенные в этот час электрические свечи. Стены были отделаны под шубу, создавая впечатление, будто они выложены из грубо обработанного дикого камня охристого цвета.

В холле пахло хорошим трубочным табаком, напоминавшим запах смоленых корабельных снастей.

— «Данхилл»? — спросил Темляков.

— Что? — услужливо спросил распорядитель.

— Я спрашиваю, табак фирмы «Данхилл»? Запах очень приятный.

Распорядитель вежливо пожал плечами, не понимая. Руки его, висевшие по швам, слегка растопырили короткие пальцы.

— Ах да, — вспомнил Темляков. — У вас не курят. Но откуда же такой приятный запах? Странно... Очень приятный.

— Может быть, это запах голубых гортензий? — предложил ему распорядитель свое понимание запаха, сделав это с той предупредительной вежливостью, с какой редко встречался Темляков. Да и встречался ли?

— Может быть, — сказал он, увидев возле окна на круглом столе на бордовом бархате скатерти хрустальную вазу с иссиня-голубыми шапками тугих цветов, которые, как ему показалось, дымилась синей своей тьмой, раздвинув распускающиеся лепестки. — Да, конечно! — воскликнул он, приблизившись к этому чуду. — Запах идет от них. Как дым «Данхилла». Когда-то пробовал, вдыхал...

Распорядитель с благосклонным терпением ждал, глуповато улыбаясь, пока Темляков наслаждался голубыми гортензиями и дымным запахом их странного тления, похожего на аромат знаменитого трубочного табака.

— Туалет прямо перед вами, — услышал опять Темляков.

— Так, так, так, — спохватился он. — Мерси. Прошу прощения. Чудесные цветы!

Он нырнул в сверкающее черным кафелем и никелем помещение, окунувшись в иной, менее приятный, но тоже ароматический воздух. И остановился в оцепенении перед зеркальной стеной, увидев свое отражение в сияющей амальгаме.

Темляков, конечно, и без этого обращения всегда знал, чувствовал и понимал себя именно таким, каким вдруг увидел себя в чистом и ясном зеркале, но то, что именно зеркало подтвердило его правоту, поразило его воображение.

Перед ним стоял, отраженный по пояс, молодой мужчина, полный сил и той приятной красоты, которая не только проявляется в чертах лица, но как

бы дышит в каждой клеточке цветущего тела, в каждой его блесточке, будь то перелив волнистого волоса или влажный блеск глаз и крепкой зубной эмали. Нос его с горделивой горбинкой красовался на гладко выбритом лице. В глазах за ресницами проглядывалась неистраченная энергия жизни, которая лукаво таилась в едва заметной усмешке, с какой он только и видел себя внутренним своим взором. Губы, властно сомкнутые и подвижные, словно бы кричали о насмешливом уме, заявляя о нем красноречивее всяких слов.

То есть все, что увидел в зеркале радостно удивленный Темляков, все те подробности, какие успел отметить, все это он всегда нес в себе, мысленно представляя самого себя именно таким, каким отразило его сейчас зеркало. Всегда и всюду, в любой день, час или даже время года, если он думал о себе, то перед ним возникал именно этот образ уверенного в себе молодого еще человека, лет тридцати пяти от роду, знающего цену нравственным своим правилам, хотя и вкусившего уже все прелести жизни, которые даже как бы пресытили его капризную натуру.

Он не мог оторваться от созерцания мужественного красавца, с ухмылкой думая, что, видимо, жизнь на берегу этой реки и в самом деле пошла ему на пользу, если в первые же дни он сумел так поправить здоровье, что даже зеркало уже не может отразить ни одной морщинки или седого волоска.

«То-то я смотрю! — подумал он, почувствовав, как сердце споткнулось в ритме. — То-то Инга так ухлестывала за мной! Кто бы она ни была, но вкус у нее отменный. Стала бы она кидаться на шею старику! Теперь понятно! — радостно думал он, разглядывая себя и в профиль и анфас, и в трукактр, хотя и знал, что его ждут и что времени у него нет ни минуты. — Черт возьми, а зачем мне туда? Чего там хорошего?»

Он причесался, глянул напоследок, круто оглянувшись на себя уходящего, и легким, упругим шагом вышел в холл, где его терпеливо дождался вежливый человек, нервно уже поглаживающий одну свою руку пальцами другой, удерживаясь, видимо, их ненужных и бесплодных жестов.

— Прошу вас в зал, — сказал он умоляюще. — Люди заждались. Но одну еще минуту. У нас тут обычай, его нельзя нарушать, — говорил он, идя по овальному цирку мягкого холла. — Вот, прошу вас...

Движением руки, которая на сей раз выказала явное нетерпение, он достал из большой коробки, стоявшей на столике, пластмассовый голубой жетон, на котором были изображены две шестерни синего цвета — одна поменьше, другая побольше. Зубья этих шестеренок были сцеплены в том месте, где они соприкасались, олицетворяя, видимо, мощь, какую сообщала большая шестерня маленькой.

— Интересно, — сказал Темляков. — Очень оригинально! Это надо, наверное, прицепить?

— Да, пожалуйста... Давайте-ка я вам помогу. Опаздывать больше неудобно. Вы, конечно, поняли, что здесь изображено? — говорил он, цепляя жетон булавкой к лацкану темляковского пиджака. — Наш коллектив руководства — это маленькая шестеренка, а энергию дает нам большая, под которой мы подразумеваем все остальное население, то есть те низы, которые своей энергией питают наш коллектив руководства... Символ! Художник, который предложил на конкурсе эскиз этого символа, награжден высшей премией. Мы любим своего художника, певца молодости коллективного руководства. Кстати, он присутствует в зале в качестве почетного гостя. Политически вполне подкован, с ним интересно будет побеседовать.

Темляков поискал зеркало, чтобы увидеть себя с голубым жетоном на груди, но, к сожалению, зеркала не было.

«Какого дьявола! — возмущенно подумал он. — Символ! Художник подкован политически! Беседа с ним! Я голоден, а они мне туфту решили подсунуть, и зеркало только в туалете... Что ж мне так и бежать туда?»

— Спасибо, но я с художниками... Художник — это... высшая материя и так далее... Талант.

Ему было лень что-либо говорить, ему зверски хотелось есть. Но его, как он понял, вели на какое-то дурацкое собрание с почетными гостями... С ума они, что ль, посходили?

Шаги были бесшумны, ботинки утопали в толстом ворсе мягкого паласа. Темляков покорно шел рядом с энергичным своим провожатым, которому он был передан лодчиком, и думал только о том, что ему дьявольски хочется есть.

«А вот это совсем другое дело! — чуть не вскрикнул Темляков, когда распахнулась перед ним двустворчатая дверь, и в сиянии электрических ламп он увидел множество людей, сидящих за накрытыми столами, шпалерами протянутыми через весь зал по обе стороны дубовой трибуны. — Какие молодцы! Хорошо устроились! И трибуна и стол: хочешь — слушай, хочешь — говори с трибуны, а хочешь — ешь и пей. До чего ж все продумано. Вот за что премию надо давать!»

Люди за столами оживились, кто-то захлопал в ладоши, нестройная поддержка вспорхнула в зале, но хлопки умолкли, не перейдя даже в аплодисменты, не говоря уж об овации. Несколько раз тут и там чиркали неуловимые вспышки блицев, разбросанные по залу. Большая всеобщая улыбка повисла над гудящими столами, пока Темляков, не устающий раскланиваться, усаживался, пододвигая под себя дубовый стул с высокой спинкой и устраиваясь поудобнее. Первое, на что он обратил внимание, был графин с клюквенным морсом, который стоял перед ним среди бутылок всевозможных вин, коньяков и водки.

Как ни странно, закуски на столе не было, хотя перед каждым белела пирамидка крахмальной салфетки, лежала вилка, нож и ложка, штампованные из нержавеющей стали. На плоском стебле ложки он заметил тиснение все той же эмблемы: две шестерни в круге.

Но как только он уселся, женщина в белом, стоявшая в дальнем от трибуны углу, согласно кивнула кому-то и скрылась в широкой двери. Оттуда тут же потянулась вереница официанток, каждая из которых несла на подносе какое-нибудь блюдо.

Соседи Темлякова развернули хрустящие салфетки, расстелили их у себя на коленях. Милые девушки в крахмальных кокошниках, застенчиво улыбаясь, склонялись над столами, звенели фарфором и металлом, размещая яства на пустующей скатерти.

Темляков, засунув в отличие от всех тут сидящих салфетку за ворот рубашки, изгибчиво отклонился в сторону, когда красавица в кокошнике, едва касаясь бедром его локтя, протиснулась меж двумя стульями и белой в запястье рукой с голубой веточкой вены поставила тарелку с бледно-розовой лососиной, украшенной дольками лимона и курчавыми веточками петрушки.

— Ах, какая прелесть! — воскликнул Темляков.

— Кушайте на здоровье, — смущенно откликнулась девушка, ускользнув со своим подносом за его спину.

Стол заблестел изобилием, расцветился всевозможными красками и тончайшими оттенками этих красок — от желтой до густо-лиловой... Винегреты, салаты, свежие огурцы и помидоры, маринованные фрукты и фрукты в вазах, копченые колбасы и колбасы вареные, всякие шейки, ростбифы, лепестки полосатого беконного сала, ноздреватый швейцарский и пронизанный зеленью рокфор — все это и многое другое, в том числе, конечно, черная и красная икра, бело-алые дольки крабов, как щедрые мазки художника на палитре, украсило стол и привело всех сидящих за ним в невольный восторг, который никому не удавалось скрыть. За столом то и дело вспыхивали восхищенные возгласы, гулькающие женские голоса тут и там страстно выносились из глубин души какими-то чревоушительными звуками. Даже улыбки, казалось, стали у всех музыкальными, словно каждый сидящий за пиршественным столом помимо воли напевал про себя какую-нибудь веселую мелодию и она, трансформируясь, превращалась в улыбку.

Но вдруг все приутихло, улыбки и звуки просыпались под стол и исчезли в тишине, в которой раздался хриловатый болезненный голос, усиленный громким микрофоном.

— Что он сказал? — шепотом спросил Темляков у безобразно жирного соседа. — Что он сказал?

— Просил внимания, — едва слышно ответил жирдяй. — Тише, тише. Это из руководства... Первый... Богомазная должность!

Темляков вывернулся на стуле, увидел на трибуне отечное лицо какого-то старца с болезненными мешочками под глазами и прислушался, понимая, что с пиршеством придется подождать.

Он, правда, успел уже намазать сливочным маслом кусок белого хлеба, успел подхватить ножом свою долю вязкой туманно-красной икры и утвердить ее, расплзающуюся, толстым слоем на бутерброде. Икра горела огнем на сливочном масле, и Темляков уже предвкушал полузабытое наслаждение, но вынужден был теперь только смотреть на нее.

Одну икринку, прилипшую к лезвию ножа, он все-таки слизнул мизинцем и как бы машинально, словно делал это каждый день, отправил ее на язык. Малосолевой своей остротой она вызвала в пустом животе звук, похожий на грохот первого трамвая в тишине ночи, упруго скользнула между жадно щелкнувшими зубами и опять попала на язык, которым Темляков и раздавил ее, туго лопнувшую о ребристое небо, почувствовав наконец-то несравненный вкус брызнувшей икринки. «Чтоб ты провалился, старый болтун, — подумал он о трибунном ораторе. — Долго ты там будешь торчать?»

Отечный старец был мрачен в отличие от всех остальных застольщиков. Серая челка жестких волос напозала на его низкий лоб шкуркой нутрии, делаю лицо зверски тупым и неинтересным, и Темляков не ждал от «богомазного» лидера какой-либо четко выраженной мысли. Он с неприязнью изучал это заурядное лицо больного человека, которому, наверное, тяжело было подниматься на трибуну, нелегко выдавливать из гортани сырой голос, тяжело читать текст своего выступления.

Голова магнитом была притянута к строчкам, и, видимо, самой трудной его задачей было правильно, без ошибок прочесть написанное, не сбиться лишний раз, не перепутать какое-нибудь сложное для произношения слово, не пропустить знака препинания или точки. Видно было, что занятие это не для него.

Темляков уже заметил, кстати, разительную непохожесть сидящего за столами коллектива и тех, кто обслуживал его. Девушки в ажурных кокошниках, юноши в синих костюмах с голубыми лацканами, только что подносившие закуски, а теперь робко жавшиеся к дубовым панелям стен, были красивы, стройны и, как понимал их Темляков, очень умны и наблюдательны. Он представлял себе, сколько насмешек и язвительных оценок томится в задумчивых их взглядах, и ему хотелось быть с ними, хотелось, чтоб они выделили его среди застольщиков и приняли за своего.

Особенно ему нравилась сероглазая девушка, которая поставила перед ним блюдо с лососиной, пожелав здоровья. Глаза ее голубоватым дымом светились на смуглом лице. Темно-русые волосы крылами дикой птицы ниспадали со лба на уши и, стянутые сзади в пучок, открывали нежную, тонкую шею, изваянную рукой Бога. Чем дольше Темляков вглядывался в эту девушку, тем печальнее становилось у него на душе. Вселенская покинутость томила его, как если бы жизнь обделила его своей красотой, обладать которой предназначено уже не ему.

Он с тоскливой усмешкой смотрел на тех, кто восседал за столами, на мужчин и женщин, которые были безобразно толсты, грубы в своем природном обличье и, как казалось ему, темны рассудком, словно их тут специально подбирал по этим признакам отечный старец, создавая особую породу руководящего корпуса. При первом же взгляде на них у любого просителя или бунтаря из низов пропадала, наверное, всякая надежда на взаимопонимание или какое бы то ни было человеческое сочувствие. Это был хорошо подобранный коллективный мозг, не знавший сомнений и не ведавший слез.

Как раз напротив Темлякова восседало необъемное женское туловище, животом упирившееся в кромку стола и, видимо, испытывающее от этого массу неудобств, потому что короткие руки, туго подтянутые подмышечной тканью черного жакета, едва доставали до тарелки. Лицо с двумя потными подбородками, наплывавшими на кружева бланжевой блузки, было красным от натуги. Женщина эта вынужденно сидела в спесивой позе и, не сводя глаз с

докладчика, казалось, люто ненавидела его, так мрачен и нелюдим был ее взгляд, язвющий докладчика из-под надбровных дуг.

Лишь однажды, заметив, видимо, насмешливо-грустное разглядывание Темлякова, она вышла из своего напряжения, расслабилась и, сделав губы лодочкой, одарила своего визави искрой греховной улыбки, тут же приложив палец к губастому рту и вежливо призвав его быть серьезным и внимательным. Это удивило Темлякова, поймавшего себя на мысли, что напрасно он так легкомысленно оценил способность этих странных людей: они, оказывается, обладают талантом телепатического искусства.

Темляков покорно кивнул ей веками глаз, почтительно приложил ладонь к сердцу и, напустив на себя строгость, прислушался к старцу.

Первая фраза проскочила мимо сознания, как и все предыдущие, вторая зацепилась в голове, приведя Темлякова в замешательство, а третья так удивила его, что он весь обратился в слух.

— Они отлично понимают о том, — цедил утомленный старец, — как достаточно плохо поставлена у нас эта трудоемкая деятельность. Но не торопятся ставить перед собой неразрешимую задачу. Значит, мы сами будем с учетом демонтажа промышленности смотреть этот вопрос. Тут надо смотреть. Если мы сейчас втянемся в то, что если сами будем открывать научно-исследовательский институт с учетом нашей потребности, по которым в прошлый раз затрагивали тут отдельные выступающие, мы, конечно, втянемся, но что из этого выйдет — это не однозначно. Однозначного ответа я дать не могу. Технологию плавки бутылок мы освоить без научных кадров не сможем. А если даже и найдем способ плавить пустые бутылки, то нам придется опять смотреть этот вопрос. Надо строить или, с учетом демонтажа и монтажа, открывать новый стекольный завод. Опять нужны кадры и технология изготовления бутылок из полученного сплава стекла. Пройдут годы, прежде чем мы наладим это производство с учетом обучения кадров и освоения неизвестной нам технологии. Что же получается? — очумело спросил увлекшийся размышлениями старец и, подняв глаза, тупо оглядел сидящих в зале. — Что мы имеем на сегодняшний день? — Он сбился, не ответив на риторический свой вопрос, и опять уткнулся в страницы, лежащие перед ним. Пауза получилась тяжелой и неловкой.

Ухо визави налилось малиновой кровью: казалось, ткни его пальцем — и оно лопнет, как брюшко насытившегося комара. Темляков отвел глаза, кинув взгляд на сероглазую девушку, на лице которой заметил он блуждающую усмешку, но голос старца вновь заставил его сосредоточить внимание.

— ...Нам остается только одно, — заявил докладчик. — Строить новые пункты по приему пустой посуды, как то: бутылки винные объемом ноль семьдесят пять, водочные, пивные и коньячные объемом ноль пятьдесят, а также стеклянные банки всякого ассортимента... Ошибаются те, кто считает это дело решенным, и мы будем строго спрашивать с разгильдяев, которым мы с вами вверили дело чрезвычайной важности с учетом того, что люди не могут спокойно сдать пустые бутылки, толпятся на улице в жару и холод, под дождем и снегом. Мы не допустим такого равнодушия, я бы даже сказал, преступно равнодушного отношения к нуждам народа, который с учетом погодных условий не хочет и не должен мириться с таким безобразием. К тому же я должен сказать о моральной стороне этого дела. Кому может доставить удовольствие вид беспокойных людей, которые принесли множество пустых бутылок и мечтают избавиться от них? Кому, я спрашиваю? — Старец опять поднял злые глаза и окинул обмерших слушателей ядовитым взглядом. — Только нашим идейным противникам может доставить удовольствие эта картина. Я не раз говорил и не стану говорить, что нам необходимо изыскать средства на строительство новых пунктов по приему бутылок, чтобы простой человек мог прийти и спокойно, без ничего сдать свои бутылки, а не стоять, понимаешь ли, как проситель, с полными авоськами пустых бутылок по несколько часов в очереди! Да и потом сам вид пустой бутылки не может вызвать у прохожего положительных эмоций. Не вам мне об этом говорить, — сказал он гневливо и зашуршал бумагами.

У застольщиков поползли улыбки, раздался шепот взаимопонимания и осознания общей вины, а старец с новой силой выдавил из больной гортани:

— Надо основательно задуматься над этой проблемой, она сейчас приобрела глобальное значение и требует немедленного разрешения. Надо строить приемные пункты просторными, чтобы людям было там удобно и приятно находиться, чтоб человек почувствовал заботу о себе! Кое-кто никак не хочет этого понять. Кое-кто всеми силами хочет дестабилизировать обстановку, внести смуту и недовольство в массы. Не хочет или не умеет вести с массами разъяснительную работу, а то и боится выйти к народу, не считая за народ толпу, собравшуюся возле наших приемных пунктов. Это в корне неверная политика. Нам надо решительно кончать с этим! Люди уже не могут ждать, пока мы будем строить новые пункты по приему пустой посуды, терпение у народа может лопнуть. А поэтому я призываю вас направить все свои силы на разъяснительную работу с массами, донести до сознания народа, что руководство сейчас занято этой неотложной задачей, изыскивает средства на строительство новых пунктов и прилагает все усилия на то, чтобы удовлетворить запросы населения. И пусть кое-кто из нерадивых поймет наконец, что мы не дадим им возможностей издеваться над народом. Пусть кое-кто задумается всерьез. Мы не будем сидеть сложа руки и наблюдать, как они делают свое черное дело,— злобно пообещал старец, обведя зал пронизательным взглядом отекавших глаз, словно бы отыскивая виноватых среди притихших сподвижников, каждый из которых как бы почувствовал себя тем безымянным кое-кем, подвергнутым резкой, но справедливой критике.

Даже Темляков и тот смутился, подумав о себе, что он-то как раз и есть тот самый «кое-кто», который скрывается от гнева радетеля за народ, выдавая себя за добропорядочного гражданина. Ему стыдно стало за бутерброд с икрой, который он, увы, поторопился приготовить для себя, не подумав о народе, топлящемся в данный момент с пустыми бутылками в авоськах в огромных очередях.

Впрочем, старец выручил его, сказав напоследок примирительным тоном:

— А теперь прошу налить в бокалы чего кто хочет, кто к чему привык, так сказать, кто чем потчует себя в тревожные минуты жизни, чтоб побольше было у всех у вас оптимизма и прочих положительных эмоций. Единственно о чем хочу серьезно попросить — не забывайте о народе. Он заслужил своим самоотверженным трудом, чтоб мы ни на минуту не забывали о нем и помнили, что все мы с вами — верные его слуги, усердные его попечители, какими и призываю вас оставаться в будущем,— закончил он свою речь уже без бумажки, обнаружив способность проникновенного слова и той задумчивости, какая не могла не вызвать бури восторга у всех сидящих в зале. Все стали хлопать в ладоши, провожая его с трибуны.

Кому-то показалось неприличным сидеть в этот торжественный момент, и все поднялись вслед за ним, загремев стульями, и продолжали стоя хлопать, блестя глазами и плавая лица радостными улыбками, пока старец не добрал до своего стула и не сел на него, окруженный вниманием и предупредительной заботой своих приближенных.

Темляков тоже хлопал и улыбался, зараженный общим воодушевлением, и ему уже тоже казалось, что речь старца исполнена глубокого смысла и значения и что такие именно люди, как этот больной, но все еще стоящий на ответственном посту старец, двигают прогресс, заботясь в больших и малых делах о людях, не жалеют себя и своего пошатнувшегося здоровья ради общественной работы, направленной на улучшение жизни той массы людей, которая лишь в силу своей безликости не может по достоинству оценить эту заботу.

В минуту восторга он и сам себя почувствовал преданным общему делу заботы о народе и чуть не прослезился, когда увидел слезы на глазах у рьяно хлопающей соседки напротив.

Она никак не могла успокоиться, губы ее что-то шептали, глаза, полные слез, искрились любовью, а когда она наконец села и обратила взгляд на Темлякова, он увидел в ней такую добрую, отзывчивую, даже застенчивую в

своей некрасивости женщину, что укор совести снова заставил его устыдиться недавних своих оценок этой женщины. Как бы снимая вину с себя, он сказал ей с восторженной улыбкой:

— Мудрый человек!

— Ой, что вы! Не говорите! На таких людях мир держится,— откликнулась она с благодарностью и смахнула слезу.

С необыкновенной легкостью она вдруг вспорхнула из-за стола и под общий шум и одобрение присутствующих решительно взошла на трибуну, возвысилась над ней, устремив взгляд на обожаемого старца, и привычно сказала в микрофон, который гулко загудел водопадом ее слов:

— Позвольте, дорогой вы наш Петр Аверьянович, от имени всех здесь собравшихся выразить вам наше огромное спасибо.

Зал взорвался опять аплодисментами, все поднялись опять и с наполненными уже рюмками ждали, что скажет от их имени решительная женщина, которая вдруг смутилась и радостно всхлипнула от переизбытка чувств.

— Простите меня, пожалуйста,— взревел микрофон, вызвав смех и удовольствие собравшихся.— Я вот что хочу сказать-то... Может, это и не к месту, а может, и к месту. Кому как покажется. Может, и к месту придется.

— Говори, Сливина, говори!— раздались одобрительные голоса.— Не смущайся, все свои!

— Я что хочу-то... Вот все мужчины твердят, что любят худеньких женщин, а на поверку — любят полненьких! А ведь что говорят?! Вот мой покойный муж говорил, что ему нравятся худенькие красотки и белое вино,— гремела Сливина, перекрывая голосом весело возбужденных застольщиков.— Улавливаете сочетание? Белое вино и худенькие красотки... Каков! Прямо с Невского проспекту! А на поверку вышло — любил всю жизнь толстушку и водку с соленым огурцом. Это все мужчины таковы!— крикнула она всей грудью в распирающем ее веселье и под хохот и рев зала пошла, побежала, полетела счастливая на свое место и, очень смущенная, запыхавшаяся, села, довольная собой и своими соседями, которые позаботились о ней, налили ей водки в рюмку и положили на тарелку всяких закусок.

Темляков потянулся к ней, чокнулся рюмкой и, все еще чувствуя свою вину перед ней, сказал с веселой улыбкой:

— Хорошо выступили, к месту. Абсолютно верно! Ваше здоровье.

— Я всегда от души говорю,— ответила она и, пожелав тоже здоровья Темлякову, выпила водку.— А где же соленый огурец?— воскликнула Сливина, сморщив веселые глаза.

— Как где? А это что? Пожалуйста, Клавдия Ивановна!— откликнулись соседи.— Вот они, фулюганы! Куда им деваться, озорникам,— наперебой говорили они об огурцах, что толпились в коричневой керамической миске, извлеченные в укропных нитях, в вишневых и смородиновых листьях, залитые душистым малосолом, маленькие, пупырчатые, словно самой природой созданные на закуску, на потеху людям, вкушившим жар холодной водки.— Пожалуйста, Клавдия Ивановна. Год нынче огуречный, много огурцов будет. Как бы не избаловался народ, не удержишь, потащатся на рынок торговать.

— Удержим,— сказала Сливина, хрустнув огурцом.— Перекрою кислород. Посты поставим, пока не кончится в полях уборка,— говорила она, смачно жуя огурец.— А вы что же не кушаете ничего?— спросила Клавдия Ивановна у Темлякова, который только и делал что ел и ел всякие деликатесы, чувствуя себя преступником.

— Я? Помилуйте!— воскликнул он, подумав опять о своей вине перед этой славной женщиной, которая не только коня, но и народ может удержать, остановить на скаку ради общих интересов.— Спасибо, Клавдия Ивановна. Я предлагаю поднять рюмки,— сказал он, обращаясь к соседям справа и слева,— и выпить за здоровье нашей милой Клавдии Ивановны, за ее прекрасную и чистосердечную речь.

— Потом, потом,— торопливым шепотом остановили его соседи.— Послушаем сначала Пузырева. Он зря не скажет.

— Послушаем,— сказала и Клавдия Ивановна с благодарностью, во взгляде.— Успеется еще... за меня.

Темлякову показалось, что она особенно как-то посмотрела на него, пообещав ему взглядом что-то такое, от чего он испуганно умолк и задумался, опять пропустив мимо ушей начало речи.

Пузырев в отличие от Петра Аверьяновича говорил красиво и мягко и, обладая нежным от природы, женственно тонким голосом, украшал свою речь всевозможными сравнениями и метафорами. Был он при этом огромен ростом, плечист, жестикулировал объемистым, но мягким светложим кулаком и выглядел туповатым увальнем, годящимся только для черных работ. Старомодный воротник белой рубашки торчал в разные стороны, галстук был сдвинут набок, волосы всклокочены, а уши, тоже, как и у лодочника, похожие на пельмени, были так велики, что вряд ли какая бы то ни было хозяйка допустила такое безобразие в своей стряпне, — они явно были изготовлены на московском мясокомбинате и, переваренные в кастрюле, лопушились толстым тестом.

Витийства его производили на людей особое впечатление. Люди, слушая его, дивились явному несоответствию внешнего вида Пузырева с его способностью плести слова своей речи, как венки из полевых цветов.

— Вот тут, с этой трибуны, уважаемый Петр Аверьянович упомянул о нравственной, моральной стороне этого чрезвычайно важного дела. Прекрасная мысль! Я, выходя на эту трибуну, собирался говорить совсем о другом, но услышав этот призыв, не могу не откликнуться на него и не поддержать, — говорил он приятным лирическим голосом, по-младенчески нелепо взмахивая кулаками. — Дело это поручено всем нам, ответственным за благосостояние населения, живущего под голубым, как цветок сон-травы, небом. Огромное счастье, признаюсь, жить и знать, что на свете есть люди, которые денно и нощно заботятся о тебе и страстно хотят, чтобы ты был лучше, чище и благороднее, чем вчера, чтоб тебе не нужно было на глазах у прохожих стоять с полными авоськами, набитыми пустыми, уныло поблескивающими бутылками. Слов нет, никому не доставляет радости в зной или холод видеть пустые бутылки, ибо пустота бутылки, как всякая пустота, разрушительным образом действует на сознание и на психику каждого благообразного человека. Трудно отрешиться от мысли, что это не так! — Пузырев, завершая мысль, умолкал на мгновение, а лицо его сплющивалось в глуповатой улыбке нарочитого простака. Кулак бессильно и мягко опускался на поверхность трибуны. — Вот тут Клавдия Ивановна, уважаемая представительница слабого пола...

— Ну чего-чего Клавдия Ивановна! — услышал Темляков недовольный голос соседки, взглянул на нее мельком и заметил, как сощурились и словно бы покраснели от стыда ее глазки. — С заходцем ляпнуть хочет, с заходцем...

— ...говорила, — продолжал Пузырев, — о тех метаморфозах, какие случаются...

— О чем, о чем я говорила? — опять всколыхнулся тихий и хрипловатый от волнения голос Сливинной. — Ни о чем я таком не говорила.

— ...сплошь и рядом с мужчинами. Я во многом согласен с ней. Но позвольте, дорогая Клавдия Ивановна, возразить в той части вашего искреннего и порывистого выступления...

— Какого выступления? — переспросила Клавдия Ивановна.

— Порывистого, — шепотом подсказал сосед.

— Непонятно.

— ...где вы делаете, — говорил между тем Пузырев, — обобщение! что якобы мужчины все именно такие, каким был покойный ваш муж. Я ничего плохого не хочу сказать о почившем вашем супруге, наоборот, я с большим уважением относился всегда к Ивану Гавриловичу, ибо это был человек большого сердца. Но позволим себе все-таки не согласиться с обобщением. Вот я, например, как многие знают, имею худенькую жену и до сих пор люблю и ее и белое вино. Так что не надо обобщать, Клавдия Ивановна! — с обидой подчеркнул Пузырев, вызвав особенную тишину в зале и тяжкое смущение Клавдии Ивановны, которая тщетно пыталась опустить голову на грудь, делая бодательные движения. — Люди у нас разные, уважаемая! Каждый имеет свой смысл и свое значение в этой жизни, похожей на стремительный поток, несущий однородную воду, в которой водятся, однако, всевозможные живые орга-

низмы со своими привычками и особенностями. Нельзя же спутать на трезвую голову шуку с пескарем! — Пузырев опять сплющил лицо в сплошную улыбку и замер, подчеркивая тем самым эффект от своего умозаключения, какой он произвел на публику. — В остальном же я не вижу никаких отклонений от нравственных норм. Эмоционально и смешно прозвучало это... «с Невского проспекту»... И это... Да. Но необходимо все здоровые силы общества, все наше умение, — вдохновенно повысил голос Пузырев, грозя кому-то глыбой кулака, — все духовные силы расправить и направить на осуществление благородной задачи. Я, например, вижу эти пункты... Нет, не пункты! Надо придумать новое название объектам по приему бутылок. Может быть, даже объявить конкурс на лучшее название. А что? Это всколыхнет массы! Я вижу мысленным взором большое и уютное сооружение... Тут надо подумать нашим художникам и архитекторам, особенно уважаемому певцу нашей молодости. Но я...

Пузыреву не дали говорить, прервав его дружными аплодисментами, но он прорвался сквозь шум рукоплесканий и торжественным дискантом продолжил:

— Я вижу счастливых людей, сидящих в этом теплом в холод и прохладном в зной помещении, где можно открыть и небольшой буфет, чтоб человек мог в спокойной обстановке, пока продвигается его очередь, выпить чашечку кофе и поговорить о насущных делах, рассказать что-нибудь, послушать. Я даже слышу эти голоса удовлетворенных граждан, слышу и тихую музыку, разливающую свои мелодии, вижу цветущие яблони, которые необходимо высадить рядом с этим маленьким и своеобразным клубом, вижу спелые плоды, окропленные дождем, налитые солнечной энергией и лунным светом. И вот что мне вдруг пришло в голову, други мои! Можно ведь назвать эти сооружения, которыми украсится наш город в скором будущем, в чем у меня нет никакого сомнения, — можно назвать их «каплями»... В каком смысле? А вот в каком. Это будет аббревиатура очень логичного названия: культурно-административный пункт льющихся яств. Это надо, конечно, смотреть, надо думать, но, по-моему, звучит неплохо. Во всяком случае, не настаивая на своем варианте, я призываю вас всех подумать над этим и внести на рассмотрение конкурсной комиссии, или как это будет называться, я не знаю, свои соображения. Лишь бы это были благозвучные сочетания, которые ласкают ухо и, может быть, даже рождают шутливую улыбку у человека, который собрал пустые бутылки и отправился... Куда? В этом весь и вопрос. В «каплю», например. Нас никто не упрекнет в легкомыслии, потому что это всего лишь аббревиатура, вполне официальная и понятная, но при этом несет она и шутливый оттенок, что в некотором роде необходимо сделать, имея в виду особенность этого пункта. Не государственное же учреждение мы собираемся строить! А «капля», как всем известно, имеет свой смысл, потому что в каждой пустой бутылке всегда остается последняя капля влаги. Или терпения! — добавил он многозначительно и, опустив кулак, самоуничтожился, сплющился в улыбке, слыша одобрительный смех и шум в зале и понимая, что его остроумное замечание про каплю запало в души благородных слушателей.

Под этот радостный и возбужденный шум Пузырев сошел с трибуны и вилующей походкой толстых ног пошел было к своему месту за столом, но хриплый бас Петра Аверьяновича остановил его.

— Ты, Пузырев, хоть и любишь белое вино и жену, а ведь хочешь ограбить нас. Во что нам твоя музыка обойдется, подумал? А потом, — говорил в полной тишине богомазный лидер, — учти, людям некогда расслаиваться за чашечкой, как ты говоришь, кофе. У нас живут труженики, а не лодыри. И ты неправильно понял задачу. Задача в том и состоит, чтобы не было очередей. А ты, братец, что предлагаешь? Опять очереди? Нет, это не наш путь. Народ устал от очередей, и мы должны рассосать их с учетом строительства новых объектов по приему пустых бутылок, чтоб труженик не терял времени на это дело. Понятно, Пузырев?

— Но, Петр Аверьянович! — взмолился растерявшийся Пузырев. — Я подходил с чисто нравственных позиций к этому вопросу, с позиций общей культуры, так сказать, я не имел в виду очереди. Но если есть свободный часок, почему бы не...

— Свободного часочка у человека нет, Пузырев! — перебил его Петр Аверьянович. — Все свои свободные часочки люди тратят на дело строительства нового образа жизни. Вот когда построим, тогда и будем рассуждать, как потратить свободный часок. А сейчас работать надо. И никаких шуток! Шутка ему нужна... Ты шути со своей женой.

— Я понимаю, я все понимаю... Но все-таки хотелось бы! Я, как теоретик, хотел...

— Какой ты теоретик, Пузырев! Садись уж, теоретик. Нам теоретики не нужны. Мы люди практичные. А вот насчет последней капли ты зря ввернул. Зря! Что ты имел в виду? — гневно спросил старец у Пузырева, который очень смущен был и смешон в младенческом своем непонимании. — Последняя капля терпения! Надо же додуматься до такой штуковины. Садись, садись, теоретик! Мы с тобой поговорим потом. Теория без практики — знаешь? Мертва! — добавил он зловеще и повторил сырым, болезненным голосом: — Мертва, Пузырев, мертва. Запомни.

Пузырев был убит, зато Клавдия Ивановна ликовала. Телеса ее волновались, она покусывала губы и словно бы рвалась в бой, чтобы добить Пузырева, лягнувшего ее в своем ошибочном, как выяснилось, и даже идейно порочном выступлении, осужденном самим Петром Аверьяновичем. Руки ее тряслись, когда она, не дождавшись пришибленных мужиков, наливала в свою рюмку водки. Сливина, не утерпев, поднялась, опрокинув загрохотавший стул, и чревом своим выкрикнула на весь зал:

— Предлагается тост! За Петра великого! За дорогого нашего Петра Аверьяновича!

Люди зашумели, стали подниматься, чокаются рюмками, тянутся друг к другу, снимая мрак напряжения, в какой ввел их Петр Аверьянович разносом Пузырева. Каждый из них невольно чувствовал себя на месте несчастного, но каждый тоже знал про себя, что Петр Аверьянович прав, конечно, и как бы чувствовал себя одновременно на месте строгого, но справедливого Петра Аверьяновича. Каждый словно бы говорил, чокаясь с соседом и виновато улыбаясь: «Здорово он его подсек! Так подсек, что Пузыреву долго теперь не оправиться. А мужик был неплохой. Жалко. Но... не лезь со своими теориями в серьезные дела».

Темляков, как ни странно, тоже чувствовал справедливость, какая прозвучала в словах Петра Аверьяновича, и хотя он понимал, что Клавдия Ивановна слишком возвеличила его, назвав Петром великим, и что это вряд ли понравилось кому-нибудь из присутствующих, не говоря уж о самом Петре Аверьяновиче, при всем при том ему было жалко бедного Пузырева. Он глазами отыскал его за соседним столом и поразился перемене, какая произошла с ним.

Пузырев стоял, держа в руке фужер с золотистым вином, смотрел в одну точку и, одинокий среди шумных сподвижников, покинутый и отторгнутый ими, никем из них не замечаемый, как будто его и не было тут никогда или как будто он превратился в стеклянное изваяние, был бледен и страшен в своем отупении. На лице его, которое стало вдруг дряблым, брыластым, застыла недоуменная улыбка, похожая на гримасу боли и отчаяния.

Его можно было, конечно, понять и пожалеть как человека, который всю свою жизнь доказывал преданность высшему руководству и который на сей раз тоже вышел на трибуну, чтоб еще раз верноподданно послужить ему, но был жестоко не понят в этом своем рвении и расценен чуть ли не как подрывной элемент, против чего сам он всю жизнь боролся и готов был бороться и дальше, не помышляя ни о каком своем особом мнении или послушании.

Темляков видел в нем несчастного, душа которого наверняка в эти минуты вопила сплошное «не-ет!» не в силах понять, что же произошло в жизни, которая вдруг покачнулась и уплыла из-под ног. Только что была прочная и надежная, а вдруг взяла да и развеялась дымом, не оставив надежды на будущее, разорвав человека на части и превратив его в шуршащий комок никому не нужной бумаги, выброшенной в мусорное ведро. «Не-ет!» — кричал бедный Пузырев в этом помойном ведре. Но никто уже не слышал его вопля, никто не обращал на него внимания, и неизвестно ему самому было, зачем и для чего он стоит с фужером вина и улыбается. Упасть в ноги, молить о прощении! И об

этом, конечно, думал бедняга, который даже не притронулся, не пригубил фужера, когда все дружно и радостно выпили за Петра великого и, сев за свои тарелки, принялись закусывать, получая удовольствие.

— Чего стоишь! — услышал Пузырев насмешливый голос старца. — Оглоблю проглотил? Теоретик!

— Простите! — воскликнул Пузырев и торопливо сел. Он готов был стерпеть любое унижение, лишь бы осталась хоть махонькая надежда на спасение, хотя самая крохотка ее.

— Не выпил даже глотка за меня, — опять сказал Петр Аверьянович, рассмешив людей.

— Переосмысливает! — крикнул кто-то из зала.

— Чешется, — раздался женский голосок.

— Теорию в практику переводит. Думает!

И пошли и поехали! Кто во что горазд, всяк хотел подать свой голос, голосище и голосок, чтоб доставить удовольствие Петру Аверьяновичу своей поддержкой. Люди ели, стучали вилками и ножами, наливали друг другу вина, водки, коньяку.

Темляков налил себе в фужер клюквенного морса и с наслаждением выпил кисло-сладкую, вяжущую розовость, которая остудила его и привела в сознание.

— Чтой-то вы загрустили, — услышал он голос Клавдии Ивановны, которая не устая пила и ела, шевеля передними зубами, как какой-нибудь сулик, всевозможные яства, тяжело заглатывая плохо прожеванную пищу и тянулася вилкой за новой порцией, наваливаясь животом на стол.

— Пузырева жалко, — признался Темляков, видевший только что, как тот налил себе полный, через край, фужер и выпил его стоя, преданно глядя на своего руководителя. — По-человечески, — добавил Темляков, поднимая рюмку с водкой и поглядывая исподлобья на свою соседку.

— А чего его жалеть, подхалима?

— Все-таки человек. Хотел как лучше. А получилось наоборот. Конечно, он краснобай и мечтатель...

— Вот именно! — сказала Клавдия Ивановна и, быстро утерев губы салфеткой, чокнулась с Темляковым и проглотила водку, которая как малая капля пролилась в неохватное ее тело, в чрево, во тьму, набитую всякими закусками, только что красовавшимися на пиршественном столе. — Вот именно что, — повторила Клавдия Ивановна и сунула в рот розовый жирный кусок лососины. — Тут не абы кто собрался, чтоб слушать всякие глупости, — пробубнила она с полным ртом и откровенно подмигнула Темлякову.

«Вот это я влип!» — подумал он в смятении и твердо решил не пить больше ни рюмки водки.

На трибуну поднялись другие ораторы. Кто-то говорил о трудностях с транспортом, об отсутствии специальных автомобилей для перевозки стеклянной посуды. Другой говорил об отсутствии шифера и других строительных материалов, хотя и заверял, что коллектив вверенного ему управления справится с поставленной задачей. Третий призывал изыскивать местные материалы для строительства, поддерживая мысль о том, что с транспортом необходимо решать вопрос немедленно, чтобы уже завтра начать разгрузку складских помещений, забытых горами пустых бутылок, поток которых не перестает прибывать.

Шел разговор, на который Темляков уже не реагировал, хотя замечал, как бурно иногда Клавдия Ивановна вскидывалась, если ей вдруг казалось, что оратор не все договаривает или ведет речь не о том, что является главным и решающим в настоящий момент.

Он всякий раз поражался энергии этой женщины, которая вылила в себя несметное количество водки и только раскраснелась, ничуть не опьянев, только дыхание у нее стало более отрывистое и шумное да взгляды, какими она пугала Темлякова, сделались более откровенными и продолжительными.

Она много и жадно ела, не отказавшись и от наваристого борща с чесночными пончиками, и от куска жареной свинины на косточке, филейной той части, которая таяла во рту, убажывая несчастную душеньку.

Он с опаской поглядывал на нее, встречая ответный взгляд, и не знал, что ему делать с собой, как улизнуть под благовидным каким-нибудь предлогом от Сливиной, скрыться незаметно и добраться наконец до своего чемодана.

Он и сам тоже никогда так много не пил и не ел, чувствуя тяжесть не только в голове, но и в желудке.

Но милые девушки убрали грязную посуду и стали опять носить закуски, похожие на кондитерские изделия. То есть Темляков так и понял, что на столе появились сладости к чаю — всякие желе, помадки, пирожки с вареньем. Но это было так и не так. Вместо шоколадно-кофейной на вид помадки, исполненной в виде полешка, из-под трухлявой как бы коры которого лезли веселые опята, оказывался паштет из печенки разных животных, что было, конечно, безумно вкусно, но уж очень неожиданно.

Решение свое не пить больше водки Темляков, увы, не выполнил и, развеселившись при виде искуснейшего произведения, которое обмануло его своим вкусом, выпил четыре или пять рюмок, закусив их паштетом.

— Посторонись, душа! — приговаривал он, поднимая рюмку. — Обильно! — И опрокидывал.

Крохотные желе, под прозрачной поверхностью которых атели то ли распластанные вишни, то ли черешни, оказывались заливной ветчиной с лепестками красного перца под железной шапочкой.

Все это разнообразие так развеселило и увлекло его, что он совсем забыл о себе, перестал робеть, встречаясь с мутным взглядом Клавдии Ивановны, и ему даже вдруг захотелось танцевать.

— А музыка, — спросил он, — будет?

— Нет, музыки у нас не бывает, — ответила Клавдия Ивановна. — Это все-таки не место для музыки. Мы тут собираемся для деловых отчетов, для всяких серьезных дел. Это вам не ресторан.

— Да уж, — согласился с ней Темляков. — Какой уж ресторан! Я понимаю... А ну-ка попробуем, кстати, и эту штуковину, — сказал он и положил к себе на тарелку маленький пирожок, похожий на пирожок с вареньем, чего он никогда не любил, но тут был уверен, что это вовсе не пирожок, а пока еще недоступное его пониманию нечто другое. Налил водки, пробормотал свое: «Посторонись, душа», выпил и отправил в рот это нечто, раскусил, прислушиваясь и причуиваясь к новому вкусу, какой ждал его на сей раз. И не ошибся — то была малосольная лососина, запеченная в тесте.

Ему очень нравилась эта веселая игра, он даже стал отыскивать на столе еще какое-нибудь чудо, которое не успел распробовать. Но поблизости ничего нового не разглядел. Поднялся и, пошатываясь, пошел вдоль стола, натываясь на чьи-то спины и затылки и извиняясь самым решительным образом.

— Простите, ради Бога! — говорил, прикладывая руку к сердцу. — Ради Бога, пардон.

И вдруг увидел перед собой Пузырева.

— Пузырев! — воскликнул он радостно, будто встретил старого друга. — Миленький! Как ты себя чувствуешь? Мне жалко тебя, я тебя люблю. Не горюй! — говорил он, не замечая испуга и растерянности, какие вдруг исказили лицо Пузырева, и не видя кислых взглядов, какие бросали на него застольщики и застольщицы, которым явно не нравилось братание постороннего гостя с отторгнутым Пузыревым. — Что ты такой расстроенный? — спрашивал Темляков. — Плюнь на все! Будь мужчиной. Я тебе расскажу один случай из своей жизни, ты ахнешь, ты, Пузырев, просто сойдешь с ума от ужаса... Подо-жди... Подожди, что такое?!

Двое молодых людей с голубыми лацканами вежливо взяли его под локотки и властно потянули куда-то.

Он растопырился ершом, уперся каблуками, но ноги заскользили по лакированному паркету, не находя опоры, он лишь вертел головой, отыскивая Клавдию Ивановну. Наконец увидел ее, склонившуюся над челкой хмурого старца, и хотел было крикнуть на помощь, но холодная слякоть ее взгляда, которую она плевком послала ему вслед, заморозила душу, и он понял, что дела его плохи.

Он едва успевал перебирать ногами, влекомый безжалостными мальчи-

ками, цепко державшими его под руки. Они вывели его на свежий воздух и, как мешок, сбросили на какую-то тумбу, вежливо приказав никуда не уходить отсюда.

— Сиди здесь, ацидофилин, — ласково пропел один из них над ухом.

— Наглецы... Негодяи! А я-то думал, — бормотал ошеломленный Темляков, проклиная дерзких мальчигов, о которых совсем недавно так хорошо думал. — Ах, тоска! — стонал он в бессилии. — Никакого просвета. Все кончено, все пропало навеки. Нет России.

Приказ никуда не уходить показался ему оскорбительным. Он огляделся, не узнавая местности. Подумал, что, видимо, вывели его через черный ход, понял свое положение перепившего и нарушившего, конечно, не им заведенные тут правила, ругнул себя в сердцах.

— Балбес! Чего меня потянуло к Пузыреву? Был бы порядочный человек, а то ведь свинья и трус, сволочь порядочная, — размышлял он вслух. — А я к нему лобызаться. Вот ведь как плохо я устроен! Обидно. Но и мальцы хороши! Через весь зал, как преступника... Ай-яй-яй! Срам. Каковы негодяи! Ацидофилин... Вот и думай о людях хорошо. Так тебе и надо, старая калоша. Поделом...

Встряска эта и обида отрезвили его, он внимательно осмотрелся вокруг, не понимая, где он все же находится, увидел тугие картонные коробки, приваленные к стене. Зелено-красные надписи на них были по-немецки, он хотел прочесть, но ничего у него не получилось — забыл немецкий. «Черт с ним, — подумал он. — Пиво, наверно. Бир — пиво. Нохен маль айн бир, битте, — влетела в сознание веселая фразочка. — Да, конечно! Только пива тебе и не достает».

Он понял, что сидит на такой же коробке с пивом, поднялся, почувствовав силу в ногах, и, слезно вскинув глаза к небу, взмолился рыдающим шепотом: — Господи, прости! Помоги, Господи. Да будет воля твоя, а не моя, дай силы, Господи, уйти отсюда. Волю твою исполню, дай только силы!

Был еще светлый день. В теплой глубине розовеющего неба летали стрижи и ласточки. Черные цапаины их испещрили небо так высоко, что казалось, будто птицы там парили на кручах, купаясь в потоках воздуха, будто кривые их острые крылья замерли, распластавшись, а визгливые голоса умолкли — так далеко в небо улетали стремительные эти птицы, обещая хорошую погоду и солнце.

Глухая железная стена, окрашенная в серый с просинью тусклый цвет, замыкала со всех сторон хозяйственный двор, где очутился бедный Темляков. Стена казалась броней, толстые листы железа были грубо сварены автогенном, а поверху протянулась на железных распорах колючая проволока в два ряда. Огромная старая бочка пузатилась возле этой мрачной стены, и Темляков, стряхнув с себя обиды и печаль, примерился к ней, подумав, что сумел бы, наверное, подтянуться на руках и перемахнуть через стену, если бы не ржавая проволока с колючками.

В узком конце железо-каменного двора он увидел во тьме глухие ворота на замке. В левом створе этих ворот была вырезана маленькая калитка, посаженная на петли и тоже запертая на замок.

Сквозь корявые щели напористо пробивался солнечный свет, будто кромки разрезанного автогенном железа все еще были раскалены добела газовым огнем.

Замкнутый в узком и темном пространстве двора, Темляков подошел к воротам и со злостью подергал тяжелый, громыхнувший железом замок. Чертыхаясь, он без всякой надежды дернул замок и на калитке. Дужка выскочила из гнезда, замок ощерился и скособочился на скобах. Темляков вздрогнул от неожиданности. Но вместо того чтобы открыть железную дверь калитки и выйти, он отпрянул, точно какая-то сила опасно отшатнула его, толкнув в грудь.

Невольное это движение удивило его самого. Но он тут же нашел оправдание, подумав, что если бы он по-воровски сбежал сейчас отсюда, то всякий был бы вправе заподозрить его в побеге, а значит, и в скрытом преступлении. Черт знает что могли бы подумать о нем! Иначе зачем ему совершать побег?

Вины за собой он никакой не знал, и ему нет нужды тайно уходить отсюда. Этого еще не хватало — бежать! Душа его протестовала против бегства, и он не посмел самовольничать. «Догонят, остановят, поведут, — лихорадочно думал он, представляя себе унижительное шествие с заломленными руками и свое полное бессилие. — Нет, зачем же! Надо вернуться через нормальную дверь и потребовать в конце концов прекратить издевательство. Тем более что тут мои вещи, мой чемодан. Какого черта! — думал он, все больше распаяясь. — С чего это я вдруг побегу!»

Он так и поступил. Вставил дужку замка на место, прижал ее покрепче, укрепил в скобах, чтоб она не открылась случайно и чтоб никто не подумал, что он хотел уйти отсюда. Вернулся к коробкам с немецким пивом. Увидел ребристую дверь светлого дерева, покрытую олифой, через которую его вывели сюда молодчики с голубыми лацканами, и решительно рванул за ручку.

Что-то больно щелкнуло у него в запястье — так силен и зол был рывок. Но дверь, к удивлению, не поддавалась ни на йоту. Она была плотно, туго, без малейшего люфта, намертво заперта.

Замкнутое пространство, пленником которого он оказался, надвинулось на него бурным цветом, разверзло свою пасть. Слабость разлилась по телу, пот скользкими пальцами удушливо обхватил горло, панический ужас готов был вырваться криком из пересохшей глотки. Ему вдруг почудилось даже, будто он попал в отсек зловеще-серой подводной лодки, которая вот-вот начнет погружаться, увлекая его в глубины темной материи. Он, шатаясь, побежал к калитке, лишь бы успеть, успеть... Рванул трясущимися пальцами замок, вытащил освобожденную дужку из железных скоб, раскровенив палец, и открыл тяжелую холодную дверь, которая тоскливо взывала в ржавых петлях.

Закрыть ее за собой у него уже не было сил, он даже замок бросил на асфальт и с колотящимся сердцем не оглядываясь пошел по черному, как гуталин, свежему полотну асфальта, от которого еще пахло гудроном.

Белые следы пыли, четко отпечатавшие рисунок протектора автомобильной покрышки, оттеняли асфальтовую тьму новой шершавой дороги. Темляков загнанно шел между этими следами, все дальше отдаляясь от страшной калитки, и уже почувствовал себя вне опасности, подбадривая себя руганью:

— Ах негодяи! Наглецы! Заперли... Надо же такое придумать! А если бы сердце, если бы... Черт бы их драл! Я это дело так не оставлю, нет... Окопались тут!

И вдруг впереди за поворотом черной ленты, за пушистыми сосенками открылся перед ним забор из ромбических бетонных плит, проходная будка обоч дороги и ажурные створы ворот, перегородившие ему путь.

Ноги его подкосились, тоска охватила душу. Он понял, увидев вдалеке человека в синей униформе и фуражке, что через этот барьер ему уже не перепрыгнуть и не обойти стороной и что сейчас, еще минуту, через несколько десятков шагов, его остановит суровый страж, пригласит в свою зеленую будку, наберет нужный номер телефона и за ним придут ухмыляющиеся мальчики.

«Да что это! — вскричала взбунтовавшаяся душа. — Не смеют они! Что за насилие такое, за какие провинности! Господи! Я не хочу! Мне опостылела такая жизнь... Не хочу!»

Но бунт развеялся, так и не придав Темлякову сил и уверенности. Виноватая улыбка выползла на лицо.

До ворот оставалось шагов двадцать, не больше. Охранник с зелеными петличками на гимнастерке, немолодой служака Вохры, впери в него внимательный взгляд, выйдя на середину черной дороги.

Темляков, не замедляя шага, обреченно шел прямо на него, не представляя себе, что сейчас будет, отдавшись на волю провидения.

— Приветствую, приветствую! — озабоченно сказал он синей фуражке с зеленым околышем, с удивлением услышав уверенный свой голос, когда до фуражки оставалось всего лишь пять или шесть шагов.

Сказал и с трудом поверил своим глазам. Охранник поднес к козырьку фуражки плотно сжатую пятерню, отдавая ему честь, и, безликий, настороженно-внимательный, провожал Темлякова глазами, пока тот проходил под навесом будки.

Сам же Темляков не чуял ног под собой. На охранника он уже не смотрел, ему не хватало духу, и, очутившись за проходной, он долго еще шел в ожидании окрика, с трудом перебарывая в себе мерзкий страх беглеца, вырвавшегося на волю.

Глава тринадцатая

Новый асфальт за забором обрывался, дорога рваной дерюгой расстелилась перед ним, грозя глубокими дырами и вспученными кочками, будто из-под нее лезла на свет божий всякая подземная нечисть, толоконной своей башкой приподнимая и круша старое ее покрытие.

Запыленные кусты бузины и лещины, хилые елочки, отравленные придорожными газами, вскоре остались позади. По обочинам поднялись, словно откопанные из тысячелетнего небытия, землисто-серые строения, обесцвеченные грязью и пылью, низкие и глухие, похожие то ли на пакгаузы, то ли на саманные дома, а то и вовсе на отжившие свой век сараи, будки, складские сооружения и прочий хлам, сброшенный тут за ненадобностью, сваленный кое-как и гниющий тут, тлеющий, гадающий копотью дыма и зловонно-кислого пара.

Какие-то потерянные души ходили тенями тут и там, что-то разыскивая, роясь на свалке, появлялись из-за угла и, серые, прокопченные, опасливо прятались, чтобы снова появиться и снова исчезнуть.

Ухабистая дорога, утратившая всякие признаки асфальта, кроме каменных надолбов, которые опасными плешами обозначали бывшее покрытие, — дорога эта распозлзлась, подперла пылевым своим половодьем покосившиеся заборы, ворота и калитки, проходные будки и грязные стены несчастных зданий, брошенных на произвол властей. И, неказистая, не похожая уже ни на что, выползла вдруг на асфальтированную городскую улицу, застроенную жильными домами, словно бросилась в ноги старшей своей городской сестре, прося у нее защиты и помощи. Но городская улица, тоже замарашка и калека, была все-таки не такая уж непутевая, как эта измызганная дорога, раздавленная, избитая колесами и проклятая всеми грязная потаскушка. Она спесиво отвернулась от деревенской сестрицы, отряхнула испачканные в ее грязи каменные тела и тут же забыла о ней.

А вместе с ней забыл о дороге и Темляков. Он потоптался, стяхивая с ботинок мучнистую пыль, и со вздохом облегчения пошел по тротуару, наконец-то почувствовав себя вне опасности.

Панельные пятиэтажки, эти разменные монеты отечества, везде одинаково плоские, дешевые и убогие, семиэтажные башни грязно-белесого цвета с черными швами бетонных блоков — все эти облезлые, лысые и беззубые старики чередой захромали вдоль по обочинам улицы.

Но, наполненные живыми людьми, они вдруг так растрогали, разволновали Темлякова, попавшего в привычную нищету городского предместья, что он прослезился, не стыдясь и не пряча жиденьких слез.

Всюду были люди, он слышал их голоса, шаркающие шаги, видел цвет глаз, ловил усталые взгляды и был счастлив, что он опять среди них. Лица людей казались ему красивыми в своей печали. Улыбки вечерних глаз, затуманенные тенями усталости, мнились ему божественными. Болезненная бледность, какая отличает жителей бетонных домов с линолеумными полами, представлялась ему отличительной чертой благородства этих людей. Он был влюблен в милых людей, заполнивших тротуары. Ему даже было приятно вдохнуть пыльное облако бензинового перегара от проехавшего грузовика, обдавшего его зловонием.

Он вглядывался в озабоченные лица женщин, пытаясь поймать ответный взгляд и уловить в нем искорку, золотистую пылинку доброй отзывчивости, но когда ему удавалось это, он видел лишь равнодушную усталость во взгляде и уныние.

Темляков не хотел верить в это. Ему, счастливому в своей вселенской любви, чудилось, ему хотелось думать, что то была усталость роженицы, разрешившейся младенцем, или усталость после долгого дня, промелькнувшего на работе, что мнимая эта усталость спадет с лица, лишь только женщины доберутся до своих квартирок, в которых их встретят дети и любимые мужья и поцелуями просветлят милые лица жен, вернув им бодрость и радость жизни.

«Не надо хмуриться, — словно бы говорил он уставшим людям. — Жизнь все равно одна, другой не будет. Задумайтесь, пожалуйста, не губите себя унынием. Уверю вас, оно бесплодно и может родить только зло. Вы качаете колыбель, в которой растет зло. Вы сами вскормили его своим унынием. Зачем? Неужели вы разучились радоваться доброму взгляду или зеленой траве, усыпанной колокольчиками? Никогда не поверю! Знайте, пожалуйста, завтра для вас наступит самый счастливый день. Он ваш. Живите им, предвкушая счастье, и дни ваши украсятся цветами. Это же так просто! Верьте мне, я знаю Слово».

Но никто не слышал его. Он страдал оттого, что его не слышат, чувствуя свою вину перед людьми, до которых так и не мог докричаться.

Между тем он бесцельно, как праздно гуляющий, шел по безликой улице, пересекая переулки, заглядывая с блуждающей улыбкой в кривую и горбатую их непрочность, вглядываясь в нищенское оскудение серых толпящихся, жмущихся друг к дружке оштукатуренных инвалидов и ветеранов, калек, вросших в землю и асфальт.

Странные воспоминания томили его грудь, будто он видел сон, — так похожи были эти переулки и домики в них на старые московские, которых уже нет, но которые когда-то светились чистыми красками и строгими линиями ухоженных фасадов, травянистой зеленью крыш, ажурным литьем чугунных решеток и наивностью лепных украшений. Переулки, мимо которых он проходил, пересекал их, лоя на себе взгляды страдальчески сморщенных, измученных долготерпением, но все еще глазастых фасадов, — переулки эти с немым укором в очах вставляли перед ним несчастными бродягами, истрепавшими не только одежды, но и души на дорогах кровавого и безумного времени, выпавшего на их долю.

Порой Темлякову чудилось, что не он шел по улице, пересекая переулки, а сами переулки выходили ему навстречу, жалуясь каждый своим особенным голосочком, плачась ему на горькую судьбину и гонения, взывая о помощи и прося в нищенском унижении хоть самой малости на поддержание одряхлевших сил.

«Ах вы мои милые! Что же я могу? — в слезной горечи, с улыбкой откликался он на их жалобы. — Нужны деньги! Нужно много денег, несметное богатство нужно России. Где же я возьму? У меня нет. Мы разучились делать деньги и богатство. А когда-то хорошо знали, как это делать, да! Теперь мы презираем и ненавидим богатых, нас приучили бросать в них камни и пускать им кровь. Мы думаем в простоте душевной, что кровь у них черного цвета и ее не жалко. Нам ничего не жалко! Мы знать не хотим, что только богатство может спасти и вас, мои милые переулки, и погубленные реки, и воздух, задымленный ядовитыми выбросами... Нет денег! А раз нет денег, нет мастеров. Нет великих мастеров! Что же можно сделать без них? Этого никто не знает, хотя каждый видит, в какой хаос можно превратить нашу жизнь без денег и без мастеров. Видят, но знать не хотят. Пустому человеку легче жить в бедности, он ленив, он не испытывает нужды в красоте, а потому у него и нет потребности в богатстве. Он убил красоту, чтобы она не мешала ему жить в нищете. Он разрушил храмы! Чего же вы-то хотите, сирые мои?! Ничем я вам не могу помочь, ничем!»

Деньги, правда, были у Темлякова, он знал, что в бумажнике лежит рублей пятьдесят, он хорошо помнил, что там был облапанный, грязный червонец с надорванным краешком, о котором он еще подумал, что терпеть не может таких затертых в хождении по рукам денег, и несколько рублей, один из которых хрустел, словно только что вылетел из гоэзнаковской машины. Это он

хорошо помнил. Нащупал рукой внутренний карман, убедился, что бумажник там, и уверенно толкнул дверь продовольственного магазина.

Магазин неожиданно появился перед ним на перекрестке улицы с переулком...

Пыльные стекла его пустых витрин крыльями распахнулись по угловому фасаду старого дома, а дверь была посредине — коричневое тельце, раскинувшее стеклянные крылья с перепонками коричневых переплетов.

Торговля уже заканчивалась, стрелки часов приближались к восьми, и магазин был пуст. Мужские одышливые голоса доносились из подсобки, их перекрикивал высокий женский. Громко и дробно звенели пустые бутылки в металлических сетках-ящиках — видимо, их грузили в кузов автомашины. Пахло тухлинкой.

Левое крыло магазина, выходящее витринами в переулок, было наглухо отгорожено фанерой, густо окрашенной под слоновую кость. Замызганная жирной грязью дверь в этой стенке была заперта на замок. Тут, конечно, располагался винный отдел, и торговля там давно закончилась.

Темляков прошел по пустому зальцу магазина вдоль уныло голых прилавков, за стенками которых улыбались толстощекие малыши на коробках с детской смесью. На полках стояли зеленые ряды бутылок, но Темляков, измученный жаждой, напрасно подумал, что это минеральная вода или какой-нибудь лимонад, — это был укус яблочный, обманувший его яркой наклейкой. Он даже чертыхнулся с досады.

И увидел под стеклом толстые трубчатые кости. Страшные в своем первородстве, огромные мослаки блестели голубоватыми, словно облитыми эмалью полшариями, белые жилы бахромилась вокруг этих залупившихся мослов, а по длине костей темнели тонкие полоски и нити гщательно соскобленного мяса.

Кости, сложенные на подносе аккуратно и даже любовно в виде колодезного сруба, являли собой зрелище необычное, пугающее грубой противоположенностью.

По костям ползали мухи, а под костями валялся ярлычок ценника, который заставил Темлякова нервно передернуть носом, уловившим душноватый запах несвежего товара: «Кость пищевая, 1 рб кг».

Вот тут-то он и вскрикнул, увидев перекрещенные мослы, пиратский знак смерти, стоимостью в один рубль за килограмм, закричал на весь магазин, чтобы как-то сбить свое возмущение, привести в порядок тот нервный тик, который случился вдруг с его чутким, как у покойного отца, носом:

— Эй, хозяйшюка! Кто-нибудь есть живой? На минуточку! — И застучал ладонью по грязной фанерной крышке пустой витрины.

Из тьмы дверного проема, ведущего в подсобку, где бренчали пустые бутылки, выкатилась вполне живая миловидная женщина лет сорока.

— Магазин закрыт! — весело крикнула она. — Чего вам? Закрыт магазин. Уже без дести...

— Но ведь без десяти, — сдерживая себя, вежливо возразил ей Темляков и с неожиданной для себя бесцеремонностью навалился грудью на витрину, растопырил локти и приблизился к продавщице, головка которой с первого взгляда понравилась ему вдруг. — Мне бы, знаете, мне бы это, — понизив голос, сказал он, огоршенный. — Жажда мучит.

А она ему, как старому другу, ответила тоже приглушенным голосом:

— Ничего не осталось...

— Да нет! Я же не о том... Мне...

— Ну ничего нет. Честно! Все разобрали. Чего-то мне ваше лицо знакомо, — добавила она, взглядываясь в Темлякова.

— И мне тоже, — признался он. — Даже очень.

— Мы у Синециных не встречались?

— Нет, у Синециных не могли. Я не знаю Синециных.

— Где же я вас видела-то? Может, по телевизору?

Лицо ее осенилось тенью воспоминаний, озорство и веселость, с какими она выбежала в зал, убрались, сменившись застенчивым удивлением. Она словно бы наконец-то узнала его и смутилась, поглядывая с мягкой той,

ленивой податливостью во взгляде, которая всегда так нравилась Темлякову в женщинах. Глаза у нее были особенные. То есть ничего выдающегося не было в серых ее глазах, а вот в заячьей раскиданности их было что-то необычное.

Глаза смотрели из продолговатых, отшлифованных природой впадин над высокими скулами и, широко расставленные, казались косящими, с не установившимся еще, как у младенца, взглядом.

— Сейчас,— пообещала милая зайчиха, как подумал о ней Темляков, и добавила, вильнув глазами:— Может, чего найдется.

— Подождите,— попросил Темляков. От него, конечно, пахло винными парами, и запах этот, видимо, направляя ее мысли в привычное русло.— Мне ничего не надо. Я хотел воды минеральной или фруктовой, все равно...

— Этого точно нет... К сожалению,— сказала она.— А «Курдамир»?

— Нет, милая, спасибо. Давайте лучше поговорим о чем-нибудь,— опять попросил ее Темляков.— Если бы вы знали, как одиноко на душе! И усталость страшная... Как вас зовут?

— Кристина,— быстро ответила она и покраснела, словно устыдилась, что назвалась по-девичьи, просто Кристиной.

— Меня — Василий. Я тут случайный гость. Вы меня не могли, к сожалению, видеть, и я вас тоже. Жалко, конечно. Но что поделаешь, такая вот безжалостная штука — жизнь. У вас редкое имя.

— Бабушка — полька... Тоже звали Кристиной.

— Так что же, Кристина, как же вы тут живете? Одни кости да укус? Ничего нет?

— А чего вам надо-то?

— Не костей уж, конечно. А что, кости-то берут? Для собак, наверно.

— Берут, а чего ж. Почему для собак? Мозговая. Самый сладкий мозг в этих костях, наваристый. Разрубят и варят. Вы меня не поняли, наверно, я вам могу бутылку вина, «Курдамир» называется, портвейн... Восемнадцать градусов. Хотите? — тихо спросила она.

— Не хочу. Спасибо большое. Я и так уж сегодня распустился пышным цветом, так сказать... Бог с ним, с этим «Курдамиром». Мозг горячий, костный — отличная, конечно, штука. На горячий черный сухарик, как меня учили, и под рюмочку водки.

— Водки нет. Всю разобрали. Была. Двенадцать ящиков, и ничего не осталось,— живо откликнулась Кристина.— Не жалко, но нету.

Темляков понял, что живая и добрая эта женщина привыкла уже к пустым прилавкам, к костям и уксусу, считает такое положение вполне естественным, будто главная забота жителей города только в том и состоит, чтоб отовариться вином или водкой. Казалось, будто ей даже нравится такая жизнь, азартная, как игра, и задорная, со своими тайнами, опасностями и риском.

— Ах, Кристина, Кристина,— сказал он со вздохом.— Добрая вы душа.

— Кому как, — качнув головой, сказала она, и взгляд ее диковато поплыл, смутив его очень.

Темляков, навалившись на прилавок, упер в фанерную крышку подбородок. Было у него тревожно на душе. Но ему очень хотелось разговаривать с доброй этой Кристиной, которая не гнала его никуда, а была как бы сама настроена на задумчивый разговор, получая какое-то удовольствие от знакомства с ним, немолодым уже мужчиной. Работая в магазине, она имела, конечно, свою выгоду, унося домой продукты, какие с боем, наверно, доставались городским горемыкам, и считала себя хорошо устроенной, обеспеченной всем необходимым в это смутное время, когда разговоры среди людей об одной только еде. Потому и не чуяла она сердцем страха перед злобными прилавками.

Разговор их от костей и вина свернул в интимную подворотню узнавания друг друга. Вдруг. Ни с того ни с сего, просто так. И было им хорошо.

Дребезг посуды умолк в подсобке. Стартер автомобиля скрежестым жваканьем тяжело прокрутил валы и шестерни мотора, поджег горючую смесь, она вспыхнула в ожившем двигателе, который выплюнул из глушителя отработанные газы, шофер прибавил обороты, машина взревела и, зазвенев стеклом, уехала.

Из подсобки быстро вышла крашеная блондинка, блеснула золотым зубом, глянув на Темлякова, забрехала связкой ключей, идя через зал, заперла входную дверь и на обратном пути громко спросила:

— Ты собираешься домой-то?

— Щас, — отозвалась Кристина.

— Ах-ах-ах, щас, — передразнила ее златозубая и, замурлыкав какой-то мотивчик, скрылась во тьме подсобки.

— Это кто?

— Директор, — отмахнулась Кристина и тоже положила руки локтями врозь на прилавок, близко взглянув на Темлякова с глубоким и печальным вопросом в глазах. — Ну и что? — спросила она задумчиво, задав этот вопрос словно бы самой себе, а не Темлякову. — Что? — повторила она в упор.

— А что? Вот вы, я знаю, мало кому рассказываете так откровенно, как мне, я знаю... и очень ценю это, потому что... конечно, семья — это результат любви и ее продолжение, потому что, любя друг друга, люди копят деньги на собственность, а когда человек один, у него нет этой потребности... Любовь, семья, собственность... Это естественный ряд. А если одно звено исключить — все рассыпается. Главное, гибнет любовь. Казалось бы, какая связь — собственность и любовь. А ведь любовь всегда нацелена на собственность. Это не мое открытие, об этом говорили великие писатели, но их не услышали. Понимаете, в чем трагедия? — заговорщически сказал Темляков, чувствуя такую тягу к этой женщине, что казалось ему, будто они с ней в потемках ранней ночи умиротворенно разговаривают после телесной близости, хорошо понимая друг друга и зная, что впереди у них счастливо-бессонная ночь, а потом свободный день, когда можно долго нежиться в постели, не думать о делах и ни в чем не таиться друг от друга.

Лицо Кристины было рядом, он даже слышал и осязал ее дыхание, которое касалось его губ легким, лепестково-нежным каким-то жаром.

— Это все в книжках пишут про любовь, — услышал он недоверчивый ее голос. — Не верю я...

— Вот вы говорите, что одна. А почему? — спросил Темляков. — Вот вы, например, любили? Вы любили, Кристина?

— Не знаю, — с тихим недоумением ответила она и, глубоко вздохнув, со звучным звоном выдохнула воздух, овеяв лицо Темлякова душноватым теплом груди.

— Вот, — задохнувшись, произнес Темляков. — Была семья, распалась. Я уж не спрашиваю отчего. Когда говорят: вот, мол, запил, пьяницей сделался — я не верю. То есть я верю, конечно. Все так. Но почему? В том-то и вопрос. Недостающее звено. Цепь распадается. И любовь была и семья, а ничего не получилось. Почему? Почему распался союз? Вот вопрос... Где это звено?

Он переживал странный, таинственный миг своей жизни, лицом к лицу, через пустой прилавок с голубыми мослами голых костей, разговаривая о сложных и вряд ли понятных Кристине материях бытия, которые и самому ему казались дикими здесь, в запертом на ключ магазине, в плохо пахнущем зале с погашенными на ночь огнями, в нереальном этом мире, куда забросила его судьба.

Хотелось сделать этой женщине что-то очень приятное, совершить какой-нибудь поступок, чтоб она не забыла его до последних своих дней.

— Ах, Кристина! Какая вы, ей-богу, хорошая! Просто чудо. Я люблюсь вами.

— Чего ж хорошего, — откликнулась она с улыбкой, которая показалась ему в сумерках очень умной и бесконечно доброй. — Старая уже, некрасивая... Сорок два года. Печенка болит... Нечем любоваться.

— Нет, вы не знаете себя! Не цените. Вы достойны самой высокой любви... Я вижу.

Ему казалось в этот миг, что никогда еще в жизни он не встречал такую добрую, тихую, такую уютную женщину, с которой легко, наверное, жить. Он совсем раскис в своих чувствах к ней, блазнился понятной и простой близостью с этой брошенной мужем, одинокой женщиной, ему вдруг пришла в голову шальная мысль: забыть все свое прошлое, перечеркнуть его и начать с чистого

листа в бедном городе, населенном красивыми и грустными людьми, ловить рыбу в реке, собирать грибы и возвращаться домой с ощущением праведно прожитого дня, встречать по вечерам разбросанно-ласковый, доверчивый взгляд женщины, которая будет чистить пойманную рыбу или собранные грибы, жарить, варить, сушить, рассказывая ему, усталому, какие-нибудь простые новости, убаюкивая своим голосом. Он так разнежился, рассматривая в сумерках ее лицо, что вдруг спросил, промямлив:

— А что вы делаете вечером? — и, проваливаясь в смущении, добавил: — А то, может быть, я взял бы бутылочку этого «Курдамира»... и мы бы?..

Вопрос повис в воздухе. Кристина вскинула голову и, посмотрев мимо Темлякова, сказала сердито, словно спросонья:

— Кого еще там несет?

Оглянулся и Темляков.

За тусклым стеклом витрины на тротуаре низкорослый толстяк в черном костюме и белой рубашке махал рукой в воздухе, вертел короткопалой кистью, что-то объясняя шевелящимися губами и показывая пальцем на Темлякова, тыча в него этим пальцем, словно желая проткнуть, корча при этом озабоченно-просящую, нетерпеливую гримасу на круглом лице с тугими ушами-пельменями.

— Вас? — спросила Кристина упавшим голосом. — Кто это? За вами, что ль, Вася? Чего ему надо?

Темляков с волнением взгляделся в человека, темнеющего в сумерках за стеклом, пожалел, что некстати тот вмешался в тихий их разговор, и обреченно сказал:

— За мной, Кристиночка. Как бы мне от него... Спрячьте меня куда-нибудь, а? Не хочу я никуда...

Он узнал лодочника.

Давно уже известно, что душа в чистом виде напоминает по форме своей морского конька с такой же горделиво посаженной и независимой главой, внимательно и задумчиво смотрящей во все стороны. Далее она плавно переходит в изящную шею и вертикально поставленное тельце с длинным, суживающимся до нитяной тонкости окончанием. Некоторые люди ошибочно называют это хвостом. Это, конечно, не хвост. Зачем, спрашивается, душе нужен хвост? Это всего лишь энергетическое продолжение тельца, для удобства размещения свернутое в спиралеобразную улитку. Это как бы пружина, дающая человеку энергию и силу жизни. Она, как правило, находится в напряженном положении, то есть в винтообразном состоянии, не уступая по энергонасыщенности современному атомному реактору. Лишь в минуты крайнего волнения, когда человеку, носящему душу (а надо сказать, что далеко не каждый из живущих на планете обладает ею), или, как говорят в обыденной жизни, имеющему душу (хотя на самом-то деле, если быть точным, вовсе не мы, а она нас имсет). — так вот, в самый критический момент, когда человеку грозит смертельная опасность, мнимая или истинная, душа энергично раскручивает свое длинное тельце, пытается покинуть обреченную оболочку земного обитания. Через некоторое время она опять скручивается в более или менее тугую пружину, и человек продолжает энергично жить.

Этот момент, когда душе не хватает силы выпрыгнуть из земной своей оболочки, хотя она и распускает свое длинное тельце, или свой хвост, как некоторые люди называют скрученную эту улитку, что в корне неверно, — именно этот момент и родил в сознании людей ощущение, что душа ушла в пятки. Ощущение, разумеется, ложное, потому что, во-первых, длина самой великой, огромной души значительно меньше длины даже самого короткого человеческого тела и, как думают некоторые серьезные исследователи, достигает в развернутом состоянии в лучшем случае того места брюшной полости, где размещается кишечник. Недаром же в минуты крайней опасности с человеком случаются курьезы, и его кишечник, на который оперлась в своем стремительном раскручивании душа, освобождается с необыкновенной скоростью, ставя человека в очень неловкое положение... Это во-первых. А во-вторых, трудно себе представить, даже обладая изрядной силой воображения, чтобы

душа в минуты крайнего испуга вдруг раздвоилась бы и ушла сразу в обе ноги. Это, конечно, нонсенс. У человека две пятки, но душа-то одна! Так что с полной уверенностью можно предположить, что душа никогда не уходит в пятки. Это ясно даже ребенку. И надо всегда критически относиться к человеческим ощущениям, не очень-то доверяя им, что мы и видим на примере с пятками.

Надо сказать, кстати, что душа наша бесплотна, и только очень редко она является особо одаренным людям в образе медузообразного существа, имеющего именно те формы морского конька, о которых достаточно подробно сказано выше. Но в отличие от медузы душа не содержит в себе какие-либо минеральные вещества, то есть строение ее и происхождение совсем не изучены к настоящему моменту, и можно гипотетически предполагать, что душа несет в себе все признаки внеземного происхождения, в чем, кстати, сходятся многие ученые умы, занимающиеся этой проблемой. Но что особенно надо подчеркнуть, так это то очень серьезное открытие современной науки, которая утверждает, что количество душ не совпадает с количеством людей, живущих на планете в настоящее время. Это бесспорно. Можно даже предположить, исходя из этого положения, что очень небольшое сравнительно с общей биомассой, очень ограниченное число людей наделено душой. Это естественно и вполне объяснимо, потому что крайне сложное и наверняка дорогостоящее производство душ не могло успеть за ростом населения нашей планеты и осталось, по всей вероятности, на уровне, так сказать, производства давно прошедших веков, не развиваясь с тех пор, как развивалось производство материальных, например, благ на земле.

Поговаривают в некоторых кругах ученых, осведомленных о современных космических исследованиях, что якобы ведутся сейчас опыты по налаживанию в условиях невесомости производства синтезированных душ, которые якобы ничем не будут отличаться от естественных.

Но что-то не верится в это, хотя, конечно, человек, которому не досталась душа, готов будет воспользоваться и искусственной. Однако закрадывается сомнение, многие ли нелюди, которым живется сплошь и рядом гораздо лучше и легче, чем естественному человеку, захотят расстаться со своим преимуществом. Зачем им брать себе эту очень капризную, ранимую субстанцию, реагирующую на всякого рода подлость, глупость, жестокость и прочие проявления низменной человеческой природы с такой болезненной и яростной, а порой и губительной жертвенностью?

Нельзя исключить, что такая нелюдь, трезво поразмыслив над этой проблемой, подумает невольно: а на кой черт нужна еще эта бесплотная премудрость, с которой одни только хлопоты да тревожнения!

Этот вопрос нельзя упустить из виду будущим создателям душ. Надо надеяться, что он разрешится со временем положительно. Но как будет выглядеть сам процесс закрепления душ в пустых оболочках, сказать трудно... Видимо, найдутся добровольцы. Но их будет слишком мало, чтобы решить вопрос. Очень может быть, что ученые к тому времени научатся определять еще в утробе матери, посетила ли душа осемененный плод или он зачат в бездушном акте и, следовательно, растет пустоцветом, а соответственно с этим и принимать решение по подсадке души в полый сосуд. Но и тут можно столкнуться с непредсказуемыми препятствиями: захотят ли родители, чтобы их будущий ребенок имел душу? Упрутся, скажут в невежество своему заботливым ученым: а пошли вы к такой-то матери со своими экспериментами, не нужна нашему ребенку ваша дурацкая душа, пусть живет, как живем мы сами, не хотим, чтоб наш ребенок был несчастным. Все может быть! Такой скандал устроят, а то и кулаки пустят в ход или холодное какое-нибудь оружие, отстаивая право будущего своего ребенка на бездушие, что не приведи Господь до беспокойного того времени всем нам, не знающим, к счастью, что такое искусственная душа.

Да и сумеют ли космонавты справиться с невероятно сложной задачей, которая якобы поставлена перед ними? Очень сомнительно. Хотя и заманчиво, конечно. Что уж тут говорить — заманчиво! Дух захватывает, стоит лишь только предположить себе время, когда все люди будут одушевленными. Даже не верится в такую благодать.

Лучше уж не рассуждать на эту сугубо научную тему, требующую скрупулезного изучения, огромных знаний и, конечно, невероятных усилий народа по созданию тончайших приборов, инструментов, вычислительной техники, роботов, а главное, титанического его усилия по повышению общей культуры человека, чтобы человек был способен хотя бы осмыслить, что душа действительно существует, что это не миф, а сама реальность, в чем мы успели убедиться из вышесказанного.

Пока же придется на время оставить эти мечтательно-прекрасные разговоры о будущем и вернуться в реальную действительность, или, как издавна говорят в народе, вернуться на землю.

Кстати, это тоже один из фактов, позволяющих утверждать, что наши далекие предки, не зная, что такое самолет или ракета, обзоредали землю свою с высоты птичьего полета. Как это им удавалось — загадка. Возможно, они это делали с помощью свободно парящей души, зная какие-то секреты, утраченные нами, которые позволяли им выпускать свою изначально восхищенную, наблюдательную и внимательную душу на волю, как птицу из клетки, а потом возвращать ее посредством неизвестной нам приманки обратно. Жизнь, наверно, была другой.

Наша душа, если уж выскочит из тела, ни за что не вернется, так и будет парить над грешным миром, оплакивая человека, погрязшего в пороках противоестественной жизни.

Надо быть очень осторожным со своей душой. Не ровен час останемся совсем без душ, и неизвестно, во что тогда превратится народ, как он будет выглядеть внешне, какие у него будут глаза, нос, уши... Хотя, конечно, это можно себе представить, встретив на своем жизненном пути какую-нибудь нелюдь в образе человека. Но то один экземпляр, а если вдруг весь народ лишит душ? Это ведь катастрофа!

Это ведь так и сама Земля с ее реками и долинами, зелеными лесами и синими морями, омываемая голубым небом, в котором странствуют облака и тучи проливаются дождями, — вся эта красота погибнет, превратившись в пустыню. Да что пустыня! В пустыне существует кое-какая жизнь. В пепел превратится Земля! В холодный, как лед, или раскаленный, но — пепел. Будет серым пыльным шаром крутиться во тьме безжизненного космоса. Вот ведь чем это грозит, если мы растеряем остатки душ.

Надежда на космонавтов не должна убаюкивать нас. Мы не можем рассчитывать только на них, хотя нельзя, разумеется, сбрасывать со счета их усилия, если вполне довериться тем кругам ученых, которые из осведомленных источников узнали, будто бы наши космонавты в содружестве с американскими астронавтами всерьез задумались над проблемой создания синтетической души... Все это, к сожалению, пока лишь слухи, которым можно верить, а можно и не верить.

Один ученый начал было рассказывать Темлякову о потоке материального континуума, об этом мировом эфире, образующем вихрь тороидальной формы, на срыве которой непрерывно бушуют ураганные ветры, и что, дескать, вихревая труба громадного диаметра образует вокруг оси своеобразный насос, с помощью которого... массы воздуха прокачиваются с высот к земле...

Но Темляков, как человек неученый, замахал на него руками и не дал договорить, не желая даже слушать непонятные подробности научных исследований, с помощью которых якобы пытаются ученые синтезировать высотный озон для получения медузоподобного вещества, чтобы потом, уже в лабораторных условиях, колдовать над созданием искусственной души...

— Хватит об этом, — сказал Темляков тому ученому. — У меня и так душа ушла в пятки от твоих рассказов.

Темляков из тех как раз людей, которые никак не хотят понять простой истины, что душа никоим образом не может раздваиваться и уходить сразу в две пятки. Сказывается старая закваска.

Но как бы то ни было, именно это ощущение испытал он, когда увидел за пыльными стеклами толстого лодочника, неизвестно как появившегося здесь. Кристина тоже испугалась, но ее испуг произошел оттого, что красивый

мужик, который клеился к ней и с которым она готова была уже провести остаток вечера в своей однокомнатной квартире за бутылочкой «Курдамира», а там, глядишь, и приголубить до утра, вдруг попросил спрятать его. Она стусевалась, взгляд ее поплыл, она потеряла фокус зрения, а вместе с ним и Темлякова, о котором она успела подумать, что он опасный преступник.

— Где же я вас спрячу? — шепотом спросила она. — Здесь же магазин, а не лес.

— Эх! — воскликнул Темляков и, отпрянув от витрины, махнул рукой. — Заговорился я с вами, милочка моя! Тут, конечно, не лес, да и я ведь не волк...

— Ирина Михайловна! — звонко крикнула Кристина. — Ирина Михайловна!

Директор магазина, собравшаяся уже уходить, выбежала на крик.

— Что случилось? — криком спросила она. — Чего орешь?

Глаза, которые она успела подвести голубыми тенями, губы, которые темнели в сумерках малиновой помадой, подозрительно сощурились, поджались, исказив злобой игриво-насмешливое лицо.

— Второй, — сказала Кристина. — Выпусти. За ним вон пришли.

— Кто пришел? А-а, понятно, — метнув взгляд на фигуру лодочника и кивнув ему в знак согласия, строго сказала директор. — Сию минуту! — крикнула она и убежала в подсобку за ключами, громко бормоча какие-то ругательства. — Кристина! — раздался ее крик оттуда.

Кристина потупилась, сказала оцепеневшему Темлякову:

— Извините...

— Кристиночка, что происходит? Объясните.

— Это уж вам лучше знать, — откликнулась она. Голова ее проплыла за высокой витриной, и Кристина скрылась во тьме подсобки, откуда вдруг донеслась грязная, площадная ругань, особенно зловеще прозвучавшая в женском исполнении:

— Ты, б..., дожدهшься! Ты, б..., кого? Ты его знаешь? Сука!

Распаленная гневом хозяйка магазина вылетела, хлопнув крышкой прохода, выметнулась в сумеречный, синий зал.

— Давайте, гражданин, давайте освободите. Тут вам не лавочка для свиданий... Наши место! Давайте, давайте. — И вдруг закричала, вперившись в Темлякова: — Нажрался! Иди отсюда! Кому говорят! — Она окончательно обнаглела и толкнула Темлякова в спину, выпроваживая его, с ворчанием отпирая дверь, за которой ждал лодочник, и еще раз больно толкнула кулаком.

— Нельзя ли поаккуратней? — еле выговорил Темляков, пытаясь тоже разозлиться, хотя у него все смешалось в голове и он ничего не мог понять: за что его так, за какие грехи? Он одно лишь хорошо знал — что пьян и что лучше уж не усугублять положения, подчиниться обстоятельствам, перетерпеть и отдать себя во власть судьбы.

А лодочник встретил его широкой, добродушной, дружеской улыбкой. Сначала он, правда, поздоровался с директором, которая, видимо, хорошо знала его.

— Иришка, — сказал он, пожимая протянутую руку сразу двумя руками и кланяясь, как мусульманин. — Ищу, ищу, а ты, оказывается, приютила его. Мужик-то он видный! — Лодочник зафыркал в смехе.

— Ах ты, — сказала «Иришка», — нужен он мне! Кристина уши развесила. Про семью и собственность... А, да ну тебя, — отмахнулась она. — Чего не заходишь? Говорят, женился?

— Ага, сегодня на козе, — сквозь фырканье ответил лодочник, не обращая внимания на Темлякова, как будто его тут и не было вовсе. — У тебя постной свининки нет? Нигде свинины не найду, а на рынке кусается.

— Нет, слушай, сало одно. Будет — оставлю. Сколько тебе?

— Побольше. Я тут прочитал: самое постное мясо — свинина. Жир — отдельно, а мясо постное. В говядине все смешано, а тут — диета.

— Что ты говоришь! — удивленно воскликнула Ириша. — А я все говядину, говядину. Думаю, от свинины толстеть только.

— Вот наоборот, оказывается! Свинина как раз и не дает жира. Постная свинина тем и хороша, что она все сало удаляет из себя, складывает его под

кожу или внутрь, а сама остается голенькая, как девочка невинная... Ох, Иришка, некогда мне трепаться с тобой. Пакетбот через двадцать минут отходит, а мне вот его, — кивнул лодочник на Темлякова, — приказано проводить на борт. Сама знаешь, работа. Может, завтра заскочу, потрепемся тогда... Толик-то работает, не подох еще?

— Работает. Слабый только стал...

— А на чем силу-то потерял? На тебе, что ль? — фыркнул лодочник.

— Да ну тебя! Сама устаю, как лошадь. Кручусь день и ночь. Иной раз подумаешь: на кой мне работа такая... Этот просит, тот приказывает. Всем дай, дай, дай... А откуда я всем возьму? У меня магазин, не база...

— Ладно уж прибудняться.

— Ты-то молчи! Не знаешь будто... Иди, иди, иди, — сказала она бранчливо. — А то опоздаешь. Завтра после обеда не заходи, меня не будет. Понял? Пойду Кристине мозги вправлять, — пообещала она и, зная свою власть над лодочником, которому свинина постная потребовалась, махнула на него рукой. — Иди, иди, не теряй времени...

И они с Темляковым пошли.

— Пошли-пошли, — заторопил лодочник оглушенного и отупевшего Темлякова. — Фу ты черт! Пятнадцать минут! Надо бегом.

— Да что такое? Объясните, — взмолился Темляков. — Я не могу понять! Какой пакетбот?

— Катерок такой ходит. Он отвезет куда надо. Мы его пакетботом зовем... Почтарем. Понятно? Быстрее, быстрее, Митрич. Митрич, быстрее можешь? — подбадривал лодочник. — Ну ты погулял сегодня, погулял, — говорил он сквозь одышку. — Сливина на тебя обиделась, искала тебя, а ты смылся. Чего ты смылся-то?

— Я смылся? — спросил Темляков, еле поспевая за лодочником.

— А кто же, я, что ль?

— Меня же потащили эти... официанты. Грубо, бесцеремонно!

— Остудить надо было... Остудить! Зачем ты к Пузыреву полез? В диссиденты захотелось? Не похоже на тебя, Митрич! Все поняли, конечно. Пьяный! Приказано было остудить, а ты смылся. Нехорошо! А главное, Сливина тебя обыскалась. Ах, переживала баба! Где, говорит, Темляков? Хочу, говорит, видеть Темлякова немедленно! Обыскалась. Меня вызвали, я, конечно, понять не могу... А потом сообразил: ну, значит, думаю, пошел промышлять. Этот чудила в будке, из Вохры, подсказал, а то бы и не нашел тебя. Думаю: так, значит, ближайший магазин этот, значит, он там... А что, не взял ничего? — говорил и спрашивал запыхавшийся лодочник, ведя Темлякова по каким-то темным переулкам вниз к реке, не давая ему передышки, хотя и сам тоже еле дышал от быстрого шага. — Ты бы намекнул. Я бы помог, Митрич, она мне дала бы. У нее всегда есть.

— Я не за этим, — отвечал ему Темляков. — Я непьющий.

— Хе-хе, непьющий! Ну хорошо, ладно, замнем для ясности. А Кристина баба красивая... Не дура! Все знает... Любит это дело! Я как-то уходил от нее на рассвете... Не поверишь, Митрич! Так меня укачало; хоть стой, хоть падай. Сил никаких, а идти надо... Сплю, а надо идти. — Лодочник дробно зафыркнул, закашлялся, вспомнил, наверно, себя и тот рассвет. — Она мне: не уходи, побудь со мной, как в песне... А я уже ничего не могу... Не поверишь, Митрич! Я моложе ее, а вот не могу, и все. Оделся кое-как впотьмах, вышел на улицу. Меня шатает от усталости... Что-то, думаю, идти мне как-то неудобно, что-то мешает между ног. Пошупал себя руками. Мать моя женщина! Хорошо — пусто на улице! У меня трусы сатиновые, новые, а брюки шерстяные... Что-то, думаю, скользко рукам... Глянул, а я от усталости, оказывается, сначала брюки напялил, а поверх брюк трусы... Вот как Кристина укачала! Порвал трусы, бросил их, пошел без трусов домой. Трусы новые, еле порвал. Ах, Митрич! Хлопот мне с тобой! — воскликнул он с дружеской злостью в голосе. — Пошли-пошли, тут недалеко уже, не расслабляйся!

Переулок, по которому они чуть ли не бегом спускались вниз, круто сворачивал влево. Темлякову почудилось, что до него донесся запах цветущего душистого табака, хотя еще не время было цвести ему.

— Что-то я ничего не пойму! — воскликнул он одышливо и загнанно. — Зачем такая спешка? Ночь, а мне куда-то ехать?

— Чудак ты, Митрич! Ну чудак! — отозвался лодочник. — Я тебе, как брат, скажу... Нельзя тебе тут... А вот и пришли... не опоздали, — сказал он, когда за последним домом переулка затуманился широкий простор реки, показавшийся из-за черных силуэтов старых ив. — Еще пять минут в запасе... даже семь. А вон и пакетбот стоит.

Темный корпус судна без всякого освещения стоял возле такого же темного дебаркадера. Высокая труба дымила угольной кислотой, ударившей в нос Темлякову, который, захлебываясь от быстрого бега, чувствовал себя очень плохо. Дым, клубами вылетающий из трубы, казался черным на фоне светло-туманной реки.

— Ой, дайте отдышаться, — с трудом проговорил он. — Я еле живой.

— Давай, Митрич, давай... Вон скамеечка, посидим давай. Время еще есть. Эй! — крикнул он в сторону темного судна. — Мы тут! Так что учтите! Без нас не отваливай!

Отклика Темляков не услышал, опустился на скамейку, врытую в землю. Скамейка была мокрая от холодной росы, но ему уже было все равно. У него бухало в голове, сверкало в глазах, и он в страхе гнал от себя гнетущую тяжесть, которая придавливала его к земле, пытался успокоиться, отдышаться и прийти в себя. Но это ему никак не удавалось. Его даже подташнивало от этой болезненной усталости и бессилия.

— Почему? — спросил он у лодочника.

— Что, Митрич? Что почему?

— Нельзя мне тут. Я что? Почему нельзя? Мне бы хотелось...

— Как чувствуешь себя, Митрич? Слышишь меня?

— Плохо.

— Терпи. Это дело надо терпеть. Каждый по-своему терпит, но как-то терпит... А тут тебе, конечно, можно было бы... А зачем? Я тебе, как брату брату, скажу, как брату... Сливина на тебя жутко сердита! А ты ее еще не знаешь, Митрич! Она когда злая — у-у-у! Я однажды ее встретил. Иду, а она навстречу. Я сначала подумал: она, — а потом: нет, думаю, не может быть. Ее из стороны в сторону качает. Вот так идет, — сказал приглушенным голосом лодочник и закачался перед Темляковым. — Вижу — она. Подошел — точно она. Пьяна — вусмерть. «Лёдичка», говорит. Она меня Лёдичкой зовёт. Я уж и так и эдак, даю понять, что все в порядке, довел ее до дома, а она хочет, чтоб я ее до квартиры проводил. «Лёдичка, Лёдичка»... Заигрывает со мной, видно, ей чего-то хочется, — перешел лодочник на шепот, словно испугался своих слов. — Пьяная... Я ее еле-еле уговорил спать ложиться. А она хмурится, хватается меня. Знаешь, Митрич, как страшно! «Не уходи, говорит, не уходи!» Во она какая! Но это я тебе как брату брату. Учти, пожалуйста. И уж если на то пошло, ты думаешь, кто меня за тобой послал? Она! И приказ был такой: разыскать и привести к ней. А я думаю, зачем тебе к ней? С ней ты в муках, как зарьялый кобель, погибнешь, а на пакетботе все-таки легче... Вода журчит, прохладно. Это, как говорить, плоть любит жар, а душа прохладу. Мужчина ты хороший был, но... — Он не договорил, причмокнул губами и досадливо умолк, щадя Темлякова, не расстраивая его многозначительным «но». — Ничего, Митрич, ничего, — сказал он, взбадривая его. — Пора тебе. Подымайся. Пакетбот ждать не будет. Давай-ка я тебе помогу.

— А чемодан-то? — еле слышно спросил Темляков. — Чемодан-то мой где?

— Ну ты чудак! Зачем тебе там чемодан? Скажи — зачем?

Он фыркнул и, поддерживая Темлякова под руку, повел его на дебаркадер, дощатая палуба которого невесомо покачивалась под ногами, улавливая накат речной волны, поднятой, видимо, прошедшим в тумане большим теплом.

По деревянному шаткому трапу, перехватывая толстый, слабо натянутый канат, Темляков втащил себя на палубу стоящего под парами, дрожащего в ознобе старого пароходика с какими-то тускло отблескивающими бронзовыми,

величиной с яблоко, шарами на стойках опасных перилец, соединенных таким же толстым, как на трапе, канатом, и остановился в изнеможении.

— Не очень-то, не очень,— услышал он голос во тьме.— Можно упасть за борт. Проходите на корму. Свободных мест нет. Проходите. Там на банке устроитесь.

Пакетбот зашипел, засвистел, затрясся в мелкой дрожи. Рвущийся под давлением пар, белесыми ключьями забившийся в небо, перешел наконец в басовитый сиплый вопль, в звериный рев, ошеломив Темлякова своей всепроникающей силой.

Он не успел заткнуть уши, как делал это в детстве, когда летним вечером приходил на станцию с сестрами и братом встречать отца, приезжавшего на дачу, а маслянисто-черный паровоз с шипением и таинственно-прекрасным блеском локтистых рычагов с утробным громом проезжал мимо деревянной платформы, оглушая округу гудком. Он всегда с веселым ужасом ждал этого неизбежного гудка, приседал, жмурясь, и затыкал пальцами уши. Когда же гудок обрывался и умолкало гулкое эхо в лесу, бывал бесконечно счастлив, что пережил этот свирепый рев и не умер, не был расплюсчен, раздавлен пронзительным воплем, и смеялся вместе с сестрами и братом, вдыхая заманчивый запах вкусного дыма, горячего машинного масла, трепеща душой от восторга и нежной любви к этой мощной и крепкой паровой машине, под тяжестью бега которой дрожала земля и платформа.

Глава четырнадцатая

Любовь эта осталась на всю жизнь. В годы войны, когда изуродованные паровозы с распоротыми котлами, пригнанные, как безмозглые вагоны, на ремонт или в переплавку, попадались ему на глаза, душа его страдала и он мучился ужасно, будто не было для него большего горя, чем видеть эту загубленную красоту.

Мощь паровоза, которая не сразу пробуждалась в его котле, а требовала усилий кочегара, казалась ему доброй и очень понятной, живой и даже одухотворенной мощью. Он видел в нем не паровую машину на колесах, а добродушного и безотказного трудягу, с пыхтением выбирающего себе единственный путь среди множества путей подмосковной узловоей станции, по которому с предрешенной неизбежностью устремлялся он в ужас войны.

Темляков всегда с зябким холодом в груди провожал паровозы, зная, что у них впереди нет иного пути кроме рельсового и негде им укрыться от воздушного нападения, свернуть в лесок или овражек, спрятаться от пикирующих самолетов. Они, как сказочные витязи, шли в воображении Темлякова по открытому полю брани, блистая черными латами, и ничто не могло их свернуть с этого гибельного и прекрасного пути. Но гудок воздушной тревоги, крики их разрывали ему сердце жалостью. Слышал он в них человеческую слабость и страх перед небесами, в которых гудели прерывисто и мрачно моторы чужих самолетов с бомбами под крыльями.

Темляков так остро переживал всякий раз их тоскливую тревогу и их обреченность, как никогда не переживал даже за людей, бегущих в укрытие, в подземные убежища, жизнь которых, как и собственная его жизнь, казалась ему в эти минуты суетливой и жалкой.

Паровозы, одухотворенные его любовью, живые и теплые, в утробе которых всегда бушевали укрощенные до времени, сонно сопящие силы, улыбкой откликались на его улыбку, когда они, тяжело считая колесами входные стрелки, медленно возвращались невредимые в родное депо.

Он горько оплакивал погибшие паровозы, долго храня в своей памяти их чумазые глазастые лица. «Ах, Господи! — вздыхал он в отчаянии.— Как «Федю»-то жалко... Какой был красавец!» — думал он, глядя на покосившийся, едва держащийся на колесах остов могучего «ФД», вернувшийся не своим ходом после ночной катастрофы.

Темляков никогда никому не признавался в своей греховной, как ему казалось, ненормальной влюбленности в паровозы, сохраненной им до глубо-

кой старости. Если он проезжал мимо какой-нибудь большой станции и видел вдруг в дальнем тупике вереницу законсервированных паровозов с медовыми от слоя тавота колесами, тусклых от пыли и гари, словно бы уснувших навеки под старыми тополями, он тянулся к окну, душа его страдала от переизбытка нахлынувших чувств, сердце колотилось, он с восторженным придыханием в голосе говорил соседям по купе: «Паровозы! Вон, видите, паровозы стоят! Вон там, видите, за клумбой... Правее ее, под тополями, видите?» — словно за клумбой и за асфальтированной площадкой станционной территории он видел вдруг нечто необыкновенное, неизъяснимо прекрасное, никем до конца так и не понятое чудо, жившее когда-то рядом с человеком и отдавшее ему все свои силы и таинственный разум, как безропотная ломовая лошадь, изведенная людьми, пересевшими за руль автомашины.

Он очень удивлялся равнодушию соседей, скучливо бросавших взгляды на печальную вереницу холодных паровозов, хранимых на случай возможного лихолетья, когда они снова могут пригодиться людям.

«Кпд их очень мал», — говорил кто-нибудь из грамотных соседей, охладжая пыл Темлякова, на что он с тихим недоумением возражал: «Да как же это мал? Нельзя же все расценивать в цифрах. А радость ребенка? Паровоз — это прежде всего радость, это первая любовь человечества! Сколько о нем песен... Разве о тепловозе есть хоть одна песня? Назовите, если я ошибаюсь. Как же можно не считаться с этим? Первая любовь!» — восклицал он в уверенности, что люди согласятся и очаруются вместе с ним паровозами, отброшенными как хлам жестоким прогрессом.

Он вспомнил об этом и улыбнулся сквозь смертельную усталость, когда за бортом парходика забурлила и вспучилась вода, силой своих белых бурунов словно бы оттолкнувшая пакетбот от дебаркадера, от гирлянды старых автопокрышек, смягчавших удар борта в момент причаливания.

Темляков под гул машин прошел на полукруглую корму, обнесенную металлическим фальшбортом, увидел чугунную тумбу с бухтой тяжелого каната и поразился тишине, какая вдруг возникла тут, на корме, под которой должен находиться винт. Парходик словно бы плыл сам собой, без винта, который просто обязан был кипятить за кормой воду.

Он нашел в себе силы и заглянул за фальшборт. Светлая в эту майскую ночь вода была спокойна, волнуемая лишь корпусом судна и лопатистым рулем, который бесшумно дергался на вертлюге, разрезая воду. Если бы работал винт, за кормой вздымался бы белопенный вспученный след.

Между тем парходик, или пакетбот, как его назвал лодочник, отвалил от дебаркадера и уверенно двинулся в свой путь. Темляков ногами чувствовал щекотную дрожь корпуса, слышал в отдалении напряженный гул паровой машины, уханье поршней и плеск воды. Скорость с каждым мгновением увеличивалась, пакетбот уже порядочно удалился от темного берега, который смутными своими очертаниями довольно быстро плыл назад, за корму, смазываясь в туманно-белой ночи.

Это было очень странно, и Темляков, одиноко стоящий на металлической корме возле деревянной скамейки, которую чей-то голос называл недавно банкой, не скоро еще догадался, что парходик, который увозил его в неизвестность, был колесным.

Колеса по бортам, прикрытые полукружьями козырьков, неистово чавкали лопастями, кроша в пенные брызги речную воду. Вода лилась с них потоками, когда быстрые лопасти в своем верчении находились в воздухе над искромсанной поверхностью реки, спеша с игривой торопливостью погрузиться в бурунно-пенное месиво.

Темляков, вцепившись руками в металлический стоек, мертво обхватил пальцами бронзовый шар, напрягся в подоспевшей вдруг смелости, перегнулся через канатное ограждение и, чувствуя новые силы, которые укрепили его уверенность, в блаженной радости смотрел и смотрел на игру этих вертящихся колес, веря и не веря, что он плывет на колесном парходике, что угольный дым кислой, удушливой плотью першит в горле и щекочет

ноздри, что из утробы пароходика тянет уже хорошо разогретым, теплым машинным маслом и что воздух на встречном движении треплет ему волосы и обтекает лицо упругой свежестью.

Он улыбался и ни о чем больше не думал, чувствуя, что ему опять хорошо стало жить, плывя посреди туманной реки на старинном пароходике, который, загребая пушистую шумливую воду, навсегда увозил его из мира непонятных, чудовищно хитрых, злых и бездушных людей обоюго пола.

Он больше никого не хотел видеть и был доволен, что все места на пакетботе заняты, кроме пустой и тихой кормы с деревянной скамейкой возле переборки.

На этой скамейке он уселся поудобнее и, озябнув на ветру, застегнул рубашку и пиджак на все пуговицы, запахнул лацканы и поднял воротник, сунул в узкие пиджачные рукава холодные пальцы, поджал ноги и подумал в приятном ознобе, что неплохо было бы иметь сейчас какую-нибудь меховую одежду или хотя бы муфточку, как та белая, пушистая, о которой он вдруг вспомнил, представив себе пожар и хрупкие пальцы девочки по имени Лена... Душа его живо откликнулась на эти воспоминания, он зажмурился, слыша шум влажно шипящей воды за кормой, и без всяких усилий увидел с высоты лунного неба широкий простор светящейся реки, маленький пароходик, который, как усатый жук, плыл по ее лунно блистающей поверхности, распустив длинные волны, увидел и себя, скрюченно сидящего на корме, и удивился дряхлому своему виду, будто это был не он, Василий Темляков, красавец, не знавший никогда усталости, сильный и статный мужчина, любимец женщин, не ведавший поражений, а иссохшая оболочка какого-то несчастного бродяги, небритого, грязного, давно махнувшего на себя рукой старика, в котором он не мог, конечно, узнать себя.

— Паш, а Паш, возьми меня с собой, — канючит он в жалкой просьбе, приставая к Пелагее, собравшейся в магазин. Хватает ее за длинную юбку, тянет, хнычет, получая шлепок по руке от сердитой няньки, которая не хочет брать его. Но он-то знает, что обязательно уговорит, разжалобит Пашу слезами, она уступит его просьбе и он отправится с ней на площадь за товаром. — Я с тобой, Па-аш!

— Мешаться только будешь, мешаться. Отстань, Христом-богом прошу, отстань, Васенька, не до тебя мне.

— Я не буду мешаться...

— Как же! Будто я не знаю. Только и гляди за тобой. А мне покупки надо делать, бестолковый ты парень...

— Я буду тихой, вот увидишь, буду тихой. Я слушаться буду. Паш... Ну Паш... Я буду очень послушный.

Пелагея наконец не выдерживает, смягчает, словно бы сердце ее тает, как сахар, в детских слезах.

— Ох репей! Вот пристал... Ой зануда, — ласково ворчит Пелагея, зажав в кулаке кошелек с деньгами. — Ладно уж... Отпустят — тогда, — мирно говорит она мальчику. — Беги, беги, спросись у мамы.

Ноги несут его из сада в дом, который в этот весенний, распахнутый во все стороны света, блистающий солнцем день тоже стоит нараспашку — и окна открыты и двери. Воробьи словно бы летают из окна в окно, чирикают в комнатах, звонко и весело гомонят на все лады. Горласто и ошалело разносятся их щебечущие голоса и на улице, и в саду на ветвях деревьев, и на крыше — всюду в прохладно-душистом воздухе гулко майского дня.

Дом насквозь пронизан жарким солнцем. Лучи его блещут в чистых стеклах, в буфетном хрустале и фарфоре, вязнут в черном лаке пианино. Но кажется маленькому Васе, что в комнатах прохладнее, чем на улице, и что веселая и добрая мама, протирающая бумагой оконное стекло, тоже чирикает, радостно попискивает свою песенку сухим комком газеты.

— Мамочка! — запыхавшись, кричит он, уверенный в ее добром сочувствии. — Мамочка, я с Пашей пойду в рыбную... Она согласна.

— Что ты, Васенька! На площади народу тьма. Потеряешься! Вот вырастешь большой...

Отказ матери больнее самой большой боли. Слезы, от которых уже и следа не осталось, льются опять тяжелой лавой по ахающему в горе, искаженному страданием лицу мальчика.

Запас этих быстрых слез так еще велик у него, так щедро они льются из глаз бедного Васи, что маму они совсем не трогают, она лишь говорит ему с нежным укором:

— Ах ты плакса-вакса... Вот уж не думала, что сын у меня вырастет такой плаксой...

— А-а-а, — еще громче стелает Вася в слезной своей обиде. — А-а-а... Я уже, — пытается он выдавить слово, — я уже, — захлебывается он в рыданиях, — вырос! — наконец справляется он. — Я вырос! — вскрикивает он щенячьим лаем и топает коричневым ботинком на жесткой кожаной подошве.

— Тогда сейчас же перестань плакать! — строго говорит ему мама. — Куда ж ты такой зареванный пойдешь! Посмотри на себя в зеркало.

Он всхлипывает, но крепится, чутко уловив перемену в материнском голосе, стискивает зубы, взмывает, сопит носом, вытирая пальчиками слезы, и улыбка уже просится опять на его потное лицо. А мама — такая добрая наша мама! — достает из комода полотенце и ведет Васеньку умываться, просит его быть внимательным, держаться крепко за руку Паши и глядеть по сторонам.

— Трамвай там! — кричит она вслед улыбчивому мальчику. — Осторожнее!.. А где Паша? Паша, будь внимательна, не отпускай его никуда. Смотри за ним. А ты, Вася, держись за руку крепче и чтоб ни на шаг от нее никуда! Ты понял меня? Ответь, пожалуйста...

— Да, да, да! — радостно отзывается Вася, цепляясь за глянцево-гладкие Пашины пальцы.

Ему уже некогда, он уже представляет себя паровозом, который тащит за собой тяжелый вагон в молодую листву сирени, нависшей прозрачной сенью над темной калиткой, над жестяной крышей которой голо торчат кисти бурых, мелких еще бутонов. Он уже играет, он уже весь за воротами, на таинственно огромной улице, которая прячется в тени влажных лип. Маленькие листья лип, как зеленые бабочки, густо облепили черные ветви, сидят в розовых распашонках лопнувших материнских почек словно бы в розовых цветах, животворный нектар которых так сладок, а солнечные лучи, пронизавшие их нежно-зеленые крылышки, так благодатно горячи.

Вася пытит паровозом, чухчухает, гудит, поспешая за размашистым шагом няньки, смотрит по сторонам паровозными своими глазами. Бульжная мостовая, как каменистое дно пересохшей реки, бурлит перед ним гремящим потоком. Серый тротуар под липами изборозжен сырыми трещинами, из которых тут и там колко тянутся стрелки прохладной травы. Воробьи копошатся мышами на лошадином навозе, взлетают дружной стайкой, золотясь в водянистом воздухе туманно-прозрачными крылышками.

— Ты чего все чудишь, чего балуешься? — ворчит ласковая Паша. — Мы с тобой не играть пошли, а по делу. Будь смирным. Тебе что мама приказала? Гляди по сторонам. Во, видишь, кошка побежала какая смешная. И рыжая, и белая, и бурая. Во какая! Воробушков сторожит. Сичас, говорит, словлю...

— Я не люблю таких кошек, — говорит очнувшийся от игры мальчик. — Они противные! — мстительно восклицает он.

— Почему ж это ты не любишь? Кошки мышей ловят.

— Потому! Паш, а Паш, а когда будет рыбная?

— Во! Видали молодца! Еще идти надо. Сперва мы с тобой в часовенку заглянем, свечечку купим и зажжем ее.

— Зажжем? — с восторженным изумлением вопрошает Вася. — Паш, можно, я сам заз... зажжу? Паш, можно?

— Будешь смирным, тогда...

— Я буду смирным, — соглашается Вася и идет в покорном молчании, шлепая жесткими подошвами по тротуару. Челочка, намочшая от мытья лица, еще топорщится острыми перышками на светлом его, младенчески чистом лбу. — Я мальчик смирный, — вкрадчивым, задушевым голосочком говорит он, подлизываясь к няньке. — Я не дерусь.

— Я знаю, ты умница, — говорит растаявшая Пелагея и гладит, разглаживает, треплет и опять разглаживает теплой своей глянцевою ладошкой мокрую Васину челочку. — Драться нехорошо.

Но легкий на обещания, он с такой же легкостью забывает о них, увлекаясь новизной увиденного, словно бы нарочно сердит Пелагею, дергает ее за руку, зовет к фуражному двору, где стоят в оглоблях лошади, лоснящиеся масляными боками, черногривые, ласковоглазые. Сенном там пахнет, лошадиным потом, шумно там и весело, и чудится Васе, будто он увидел вдруг заезжий цирк со зверинцем.

— Не дергай, не дергай меня, — отмахивается от него Пелагея. — Чего ты там не видел? Мужики овес покупают, сечку сенную. А как же! Лошадкам тоже кушать надо, а то они помрут. А вон воробушков сколько! Вон сколько их, воришек маленьких. А голубей-то, голубей! Видишь? Ну и все. Пошли, Васенька, а то мы так не успеем никуда.

А там, на фуражном этом дворе, за распахнутыми воротами его, все так интересно и шумно! Пузатые мешки с овсом плывут на спинах сгорбившихся мужиков, телеги скрипят на булыжниках железными ободами, когда мешки эти с ушами, за которые держат их мужики, грузно кувыркаются, как толстые клоуны, со спин мужиков на телеги, сталкивая их с места. Воробьи там чирикают, голуби воркуют, лошади трясут гривами, отмахиваются хвостами, мужики что-то клоунское орут: то ли ругаются, то ли разговаривают так весело, что маленький Вася смеется и смеется, глядя на них, тащит няньку поближе к шумному двору.

А тут уж рядышком и площадь видна меж расступившихся домов, ее простор с магазинами, зеленым сквериком посредине, с трамваями, электрическими проводами, под паутиной которых кипит людское море.

Красные вагоны, словно бы умытые дождем, блестят под солнцем, а в вагонах за поднятыми окнами теснятся в желтых рамах люди, виснут на подножках, вцепившись в здоровый поручень. Ох как завидует им маленький Вася! Трамваи бреччат звонками, разгоняя зевак с пути, утробно поют электрическими моторами и чугунными колесами, воющими на изгибе стальных рельсов, пронзительным и жалобным стоном заглушая дребезг звонков, искрят дугами, из которых сыплются голубо-алые брызги, падают на мостовую, отпугивая людей.

Людей там — видимо-невидимо! Ходят хороводами, словно бы тоже веселятся, радуясь хорошей погоде.

— Подожди, Васенька, куда ты, милый! Не тяни меня. Успеется. Что я тебе говорила, забыл? Сперва что мы хотели сделать? Забыл...

А часовенка тут как тут. Маленькая, словно обожженная из красной глины игрушка, подаренная всем людям, теплая и душистая от свечного дыма и талого воска, прокопченная внутри и темная, таинственная. В голубом небе круглится зеленой копенкой сена маковка с золоченым крестом.

Возле притвора, куда ведет Пелагея мальчика, стоит монах в черной выгоревшей шапчонке, надвинутой на бурый от загара морщинистый лоб, и в такой же грязновато-черной подпоясанной рясе, из-под долгих пол которой смотрят на Васю тупые и тяжелые головки яловичных запыленных сапог на толстенной подошве. Вася робко поднимает взгляд и с испугом видит в раструбе черного рукава коричневые сильные пальцы монаховой руки с грубожесткими ногтями, один из которых растет сплюсненным с боков уродцем, напоминая изогнутый костяной ноготь или клюв попугая. Пальцы шевелятся во тьме широкого рукава, пугая мальчика. Маленький Вася жмет к Пашиной юбке, с испугом оглядывается, посматривает из-за укрытия на громадного монаха. А монах провожает мальчика ласкающим пучеглазым взглядом. Уж очень большие у него глаза! Уж очень они голубые! Страшно Васе...

— Паш, а Паш, — жалуется он, — я хочу в рыбную...

— Погоди, Васенька, — отвечает Пелагея, увлекая его в золотисто-коричневую тьму часовенки, убранной иконами в ризах и без риз, лентами и виннокрасными лампадками, в которых тлеют огоньки, источая запах орехового масла. Вся часовенка светится живыми огоньками... А; Пелагея крестится, кланяется и опять крестится, забыв про маленького Васю.

Белая женская рука, вынырнув лебедем из черного рукава, протягивает две тоненькие свечечки и опять прячется во тьме своей одежды. А Пелагея, лицо которой кажется деревянно-желтым от света дрожащих огоньков, шепчет что-то губами и тянется одной свечечкой к густо горящим огонькам подсвечника. Белая ниточка фитиля темнеет на глазах у Васи, круглый огонек возникает на ее кончике и, бережно прикрытый Пашиной ладонью, потрескивает, плавит желтый воск, разгорается.

— На-ка возьми свечку. Держи крепче. Наклони, наклони. Вот так, — говорит Пелагея, помогая мальчику зажечь свечу.

Гладенькая и мягкая на ощупь восковая свеча, которую Вася, как велела ему нянька, сжал изо всех сил, податливо гнется. Он старательно тычет ушатым ее кончиком в огонек Пашиной свечи, млеет от внезапного восторга и, не дыша, зачарованно видит, как возникает и на его свечке несмелый огонек, первый огонек в его жизни, который он сам извлек, сам сумел укрепить на восковом кончике свечки, и не хочет он отдавать Паше этот душистый, желтый, шевелящийся огонечек, жалко ему расставаться с ним.

— Паш, — шепчет он жалобно, — ну Паш, ну... еще немножко.

Воск горячей капельной уже кольнул ему руку, а он все никак не может расстаться с разгоревшейся свечой. Паша улыбается, любуясь забывшимся мальчиком, в глазах которого мокро блестят отражения. Ей и самой жалко отбирать у него свечу.

А на площади такой яркий свет, что глаза жмурятся от ломоты и слез. Бесконечно ахающий звук вселенской радости рвется в небо. Кажется, будто этот чудный звук жизни переплетается с солнечными лучами и они, освещая площадь, голосят в бесшабашной радости, трубят на всю округу, звенят медью, сыплют с небес веселыми колокольчиками.

Паша и на церковь Казанской Богоматери, которая вознеслась серебряными куполами над площадью, тоже истово крестится и троекратно кланяется, восхищенная зело прекрасно устроенным миром, в котором ей, деревенской простушке, суждено бегать среди людей, хлопотать и заботиться о ближнем. И так Пелагея счастлива в своей этой жизни, так благодарна Темляковым, что в порыве чувств целует Васю в затылок и просит у него прощения со слезами на глазах.

— Хороший какой мальчик-то, Господи, сохрани и помилуй. Ну просто ангелочек! — шепчет она, растрогавшись.

А Вася отпихивает ее и сердится, что Паша целует его, как маленького.

— Где рыбная-то? Мы ведь в рыбную пошли...

— Да вот ей сейчас и пора быть... Вот она. Улицу перейдем... Эта улица широкая, не пропасть бы. Вот по этой улице... летом... Ух ты! Мужики из Семеновского, из Троицкого, со всех сел ягоды везут на Болотную. Торгуют там ягодами. Площадь так называется — Болотная. Она далеко отсюда. Улица ягодами пахнет, как сад. Вишня владимирка, шубинка. Малина-усанка, смородина всякая, земляника, яблочки летние, груши — чего только не везут! Слюнки текут, так хорошо ягоды да яблоки пахнут. Вот пройдет немножко времени — повезут... Ты большой теперь, мы с тобой, Васенька, сходим посмотрим... Мама отпустит — мы и пойдём. Вот видишь, как хорошо-то, вот и перешли, слава Богу, улицу... Скоро и рыбная будет.

Пашу вдруг распирает смех, и она кулаком, в котором зажат кошелек с деньгами, колотит себя по губам, но нет никакого терпения не смеяться.

— А вон, — тихо вскрикивает она сквозь удушливый смех, показывая на темную щель между брандмауэрами каменных домов, — переулочек! Ссаный переулочек! — взрывается она. — Ах, Васенька, не слушай ты меня, дуру. Одурила я совсем! Тут дяденьки сикают. — говорит она, не в силах сдержать озорство. — Во назвали как... Во какие чудеса! Уборную хотят построить, да никак...

Вася тоже смеется, хохочет, ничего не понимая толком, лишь бы посмеяться вместе с веселой Пашей. Смех его пружинистый, закатыстый, укротить его, если уж он разыгрался резиновым мячиком в груди, не так-то просто.

Застарелая вонь махнула острой сыростью из каменной щели и тут же рассеялась в звонком воздухе, как еще одна добавочка к сложному запаху

торговой площади. В ее шумном водовороте потерялись и улицы, которые, как реки и ручьи, влились в каменное ее пространство, в круг, очерченный домами, магазинами, лавками, закусочными, пивными, чайными и душистыми парикмахерскими. Бледно-желтая штукатурка едва проглядывается в тесноте всевозможных вывесок, красочно облепивших стены площади.

Потерялась в ее суматохе и смешливая Паша с маленьким Васей.

Здесьние жители именуют свои магазины по-московски ласково, с оттенком родственной бесцеремонности, и притом только в женском роде: мясная, рыбная, булочная, овощная, кондитерская, молочная... Тут и чайная пытит самоварами, добавляя сухой свой дымок в общий котел запахов, потчует черным, цветочным, зеленым и красненьким чаем. Пивная с темным и светлым пивом, кораллово-алыми раками, с янтарной воблой и солеными сушками дышит хмельной прохладой. Глядишь, и сапожная тут примостилась: стучит молотками, заколачивает деревянные гвоздики в кожаную подошву, зазывает своей вывеской — жестяным сапогом на кронштейне. А вот и прачечная, из дверей которой вымахивает каустиковый пар, обволакивая худенького ходю — желтого, выпаренного до костей китайца. Сидит он на табуретке перед входом и, расставив струнотонкие ноги, курит длинную трубочку, отрешенно глядя сквозь прохожих, до которых ему нет никакого дела.

Москва живет по-своему, по-русски, совсем не так, как живут города в других странах. В тех вечерних, западных странах, в далеких их городах шумят баснословно богатые торговые улицы и улочки, а площади красуются старыми храмами, ратушами, дворцами, утопающими в садах, являя собой торжество высшего искусства — зодчества.

В Москве же все наоборот! Вся торговля на площадях. А в переулках и улицах тихие дворики и сады...

Рождается человек в каком-нибудь Скатертном переулке и знает спозаранок своей жизни, что родился он там же, где жили, а может быть, и до сих пор живут знаменитые своим ткаческим ремеслом мастера, в честь которых назван переулок. Вырос человек, вышел со двора, покинул свой тихий переулок, пошел по Москве. Глядит, а перед ним улица Тверская или Калужская, Серпуховская улица, Тульская или Рязанская. Знает он заранее, что все эти улицы протянулись к соседним городам и если идешь по любой из них, то рано или поздно придешь в Тверь или Калугу, в Серпухов, Тулу или Рязань. А соседние эти города протянули навстречу Москве свои большие улицы, назвав их Московскими.

Так и живут русские города, словно бы протягивая друг другу руки, держатся друг за друга, напоминая своим жителям о связующих дорогах, которые названиями своими открывают людям окрестный мир.

А все начинается с маленького переулка или улочки — Бронная ли улица, Хлебный ли переулок, — выйдя из которых человек может всю русскую землю обозреть мысленным взором, окинуть простор ее, впитать с юных лет любовь к своей земле и к ее мастерам, щедро наградившим его этим богатством.

С детства учится он понимать себя наследником мастеров, а город свой — побратимом всех русских городов. Учится не учась, а просто живя в своем городе, читая названия его улиц, переулков и площадей как книгу жизни.

Маленький Вася далек еще от всех этих хитроумных догадок, ему не терпится попасть скорее в рыбную, о которой он слышался дома. Она представляется ему таинственно-волшебным подводным царством. Живые рыбы мерещатся ему в голубых глубинах, плавающие в зеленых водорослях и пускающие серебряные шарики пузырей. Эти длинные рыбы с острыми носами, когда Паша приносила их домой и выкладывала на скобленный кухонный стол, стучали по столу косыми хвостами, рвали бумагу, в которую были завернуты их головы, и очень пугали маму. Она даже вскрикивала от испуга, махала руками на рыб и убегала из кухни, будто рыбы хотели прыгнуть на нее и исколоть костяными шипами.

Ах, если бы не звенящий, не грохочущий этот трамвай, блистающий красным лаком, в котором вмиг отразились и стали плавиться, кривиться каменные дома площади с их плывущими, как яркие рыбы под водой, вывешенными вывесками.

сками. Многоликие толпища скорчились в кроваво-красном зеркале, скосматились, потекли жидким газом перед маленьким Васей, который так опрометчиво перебежал наезженные до ртутного блеска трамвайные рельсы.

Смешливая его нянька чересчур увлеклась, забылась в этот весенний денек и проскочила рыбную, прошла по привычке дальше в сторону мясной, куда ей чаще всего приходилось бегать, и только перед Коровым валом, перед его трамвайными рельсами спохватилась, всплеснула руками.

— Ах ты Господи! — воскликнула она. — Это ж мы в мясную идем. А нам-то — в рыбную! — И на какую-то мигулечку выпустила из своей руки распашенную руку маленького Васи.

В эту самую мигулечку, сбитый с толку спешащими людьми, он кинулся чуть ли не под колеса трамвая. Трамвай, наезжая на него, забренчал, завизжал звонком над самой головой, но он успел и, втянув голову плечи, убежал от железной решетки, от паучьей ее тьмы, которая едва не ударила его по ногам, остановился и, ни жив ни мертв, один, без няньки, на другой стороне улицы, не смог даже расплакаться, так страшно ему вдруг сделалось.

Трамвай красным боком скользнул перед ним, оттирая его от Паши и от всего того доброго мира, из которого он только что вышел шаловливым, но покорливым, радостным мальчиком в надежде увидеть наконец волшебное царство таинственной рыбной.

Сияющий лак трамвайных вагонов, которым, казалось, не будет конца, словно бы всасывал в плывущую свою поверхность все, что попадало, как в трубу, в кривое его зеркало, мял отражения людей, кромсал их, вытягивал в спирали и сжигал в огненном мраке.

Грохот и гул железа оглушили мальчика. Ему чудилось, будто это рушится и сгорает в пламени каменная площадь. Земля дрожала под его ногами, и он с ужасом видел; как трамвайные колеса вминают во влажную твердь стальные рельсы, как пружинят они под их тяжестью, волнуются, плывут переливчатой ртутью.

Силы оставили его. Он едва держался на слабеющих ногах, сносимый холодным и пыльным ветром, который ураганом несся за трамваем. Пыль скрипела на зубах, песчинки ее резали глаза, выбивая слезы. Белые клочья бумаги носились искрами в вихревом потоке.

Вася Темляков больше уже не мог терпеть страха и особенно той резкой боли, которая пронизывала все его тело, и он, как взрослый, сказал себе, что ему больше нельзя уже оставаться с этой невыносимой болью, что он уже не может вытерпеть ее, и приказал ей перестать быть.

Трамвай пронесся и утих, скрывшись в пустоте туманной расщелины, пыль улеглась, боль прошла, и наступила вдруг нежная, как молодая трава, мягкая тишина, которая ласково коснулась своим прохладным шелком его уха. Он даже не поверил в ее реальность.

— Ах, Васенька! Душа моя! — услышал он старческий голос. — Хороший ты мой, пришел наконец. А я исстрадалась. Все думала, когда же придет Васенька, ангел мой... А он и откликнулся, пришел...

Он взгляделся в бледнолицую, сухонькую старушку, что согбенно стояла перед ним, держась рукой за ствол молодой яблони, усыпанной розовыми цветами.

Над цветами жужжали пчелы, цветы вздрагивали от их прикосновения и многие из них роняли лепестки. Розовыми бабочками лепестки опускались на зеленую траву, по которой ходили белые куры. В этом странном и тихом кружении лепестков и снежно-белых кур благостно улыбалось лицо Пелагеи.

— Здравствуй, Паша, — сказал Темляков, испытывая небывалую доселе радость узнавания. — Ты ли это? Можно ли поверить?

— Ну вот и хорошо, — сказала старенькая Паша. — Вот и славно! Пойдем, ангел мой... Я тебя жаждалась. Видишь, какая тут благодать... Не бойся! Ты со мной. Посмотри-ка, посмотри. Видишь?

Худенькая ее рука, которой она держалась за яблоню, отомкнулась, Темляков увидел сморщенную ее ладошку, Пелагея повела изболевшей, иссохшей рукой вокруг, и Темлякову почудилось, будто она раскинула перед ним,

как зерна, множество не виданных им ранее, но очень понятных, вместилившихся в сознание подробностей мира. Он увидел озеро, по ярко-синей воде которого плавали белые лебеди с глазами томных красавиц; увидел камыши в углу озера, а над камышами белую беседку с высокими колоннами. Всюду росли крупные алые цветы, похожие то ли на георгины, то ли на маки, они ядовито-остро выпирали из зеленой земли, поразив Темлякова своей жирной шевелящейся плотью. А за белой беседкой, в зеленых кустах сирени он увидел рыжеватую лань с такими же темными, как у лебедей, черными глазами. Лань смотрела на него настороженно и пугливо, готовая вот-вот сорваться с места и скрыться в зелени сиреней. Белые голуби кружились в голубом небе.

Все очень знакомо было и понятно в этом раскинувшемся перед ним мире, кроме, может быть, жирных цветов, которые, казалось, были чем-то очень недовольны, как если бы не из земли росли, а из топкого болота, пытаясь движениями этими вырваться из его засасывающей трясины.

— Паш, а Паш, а что это за цветы такие странные? — спросил Темляков, склоняясь над одним из них, который, как ему почудилось, издавал даже кричание и стонущие звуки, с усилием вытаскивая себя из земли.

— Это, Васенька, — шепотом отозвалась Паша, сморщив лицо в виноватой улыбке. — Это я, Васенька, ошиблась, не те семена... Не надо, оставь их в покое... Не смотри на них.

— Да как же так? — возразил он своей няньке, не доверяя ей по старой привычке ни в чем. — Как же ты могла ошибиться, если это растет и даже вот, видишь, шевелится... Не-ет! Это очень интересно!

Тогда Пелагея, стыдливо пряча глаза, приблизилась к нему и, прикрыв рот ладошкой, шепнула на ухо как бы невзначай:

— Это Он. — И строго сомкнула сухие губы:

— Он? — тем же таинственным шепотом переспросил Темляков, зная вдруг, будто знал всегда, что Он — это черт. — А что же Он? Почему здесь?

— То-то и оно! — отозвалась Пелагея. — Ему самое место на обочине грязной дороги, в канаве тухлой, а он семена свои подмешал нам с тобой... Вырос вот... А сорвать нельзя. Не обращай внимания... Пусть кричит.

— Почему же нельзя? — испуганно спросил Темляков, боясь взглянуть на алые, толстые и сочные, как листья кактуса, шевелящиеся лепестки цветка. — Он же даст семена... Это же...

— Не-ет, Васенька, — с тихой радостью пропела Пелагея... — Не-ет... Тут не бывает плодов. Тут только обещание плода — цветы и пчелы... Только цветы и пчелы, — повторила она в радостной убежденности, что Вася поймет ее и не будет больше спрашивать ни о чем. — Цветы и пчелы.

Но он по старой привычке не поверил ей и опять спросил:

— Если цветы и пчелы, то, значит, и плоды? Как же иначе?

— Пойдем, Васенька, пойдем, — вместо ответа сказала Пелагея; на сивые волоски которой упал лепесток яблоневого цвета и расцвел, как на прохладной земле, цветочком.

— Да куда ж идти-то? Я так давно уже из дома. Дуняша в ужасе! Она не знает, где я, волнуется, я чувствую, как она беспокоится... Что ты! Я только о ней... Я и так уж...

Пелагея посмотрела на него удивленно и вздохнула.

— Нет, — сказала она, — Дунечка знает. Ты все забыл, Васенька.

— Ничего я не забыл! Глупости какие!

— Забыл, ангел мой... Она умерла двенадцать лет назад. Разве ты не помнишь? Куда же ты пойдешь? Она здесь... Там, за беседкой. Пойдем... Она, бедная, прячется в сиренях, боится, что ты не узнаешь ее. Вот ведь что, — сказала старушка елеиным голосочком и хотела было взять Темлякова за руку, но он зло посмотрел на нее и крикнул:

— Старая ты дура! Что ты такое бормочешь? Безмозглая башка! Я всегда знал, я всегда... — задохнулся он.

Пелагея потупилась, согласно закивала головой, с грустью в голосе сказала:

— Ты, ангел мой, всегда знал... Все знал! А знал ли ты про эти семена? — спросила она строго и кивнула на жирные цветы, которые в кричании своем

подобрались к ногам Темлякова. — Знал ли? — повторила старуха, не спуская глаз со своего любимца. — То-то и оно, что знал! Думаешь, Сашенька, брат твой, сказал бы тебе спасибо?

— Замолчи, старая! — крикнул Темляков в испуге.

— Не-ет уж, душа моя, послушай... Во-от! Послушай... Такие, как ты, губили души... Я-то, грешная, знаю про себя, я-то наказана, а ты, Васенька, знаешь ли свой грех? — Пелагея изогнулась, очертила беззубый свой рот, глядя на Темлякова с шипящей злобой. — Подмешали семян, вон что выросло! Тьфу!

— А-а-а, — засмеялся, заблеял Темляков, показывая пальцем на Пелагею. — А-а-а, вот и врешь, вот и врешь. Плодов-то нет! Сама говоришь, одни цветы да пчелы, откуда же семена? Вот и врешь, вот и поймал я тебя на лжи, старая ты карга... Вот где вранье-то твое!

— Нет уж, не вру! То-то и оно, что семена подброшены из тьмы кромешной... Человек растет, как цветы, а плоти нет... Плод души — совесть. Телесными плодами душу не насытишь. Корми не корми. А семян подсыпали. Что ж теперь? И ты знал это, Васенька... Вон что выросло... Кряхтят, расплозаются, — говорила Пелагея, брезгливо поглядывая на багровый жир шевелящихся цветов. — Скрипят зубами.

— Ну какая же ты дура! — со злым восхищением сказал Темляков. — Какая мерзавка! При чем же тут я? Какие семена?! Бред какой-то!

— А какие-какие! — воскликнула Пелагея, разводя руками по-бабьи. — Обыкновенные! Потакай ты, Васенька. Потакай! Вот! Такие и семена! Потакаистые. Так, все так! Вот и прожил жизнь потакаем. Всему потакал! И всем. Беднейший Саша не ожидал от тебя, я-то уж знаю... Он высоко теперь... Не ожидал! Плакал все горько.

Лицо Пелагеи умиротворилось, сделалось опять добрым, ласковым, как прохладная майская трава. Увидела муки, которые корчили Васеньку, страх в его безумоватых глазах и отпустила выпущенные когти, пощадила его.

— Не убивайся, — сказала она сожалеючи. — Ничего не вернешь, все прошло. Океян жизни твоей высох. И даже слез не накопишь, чтобы выплакать горе. Вот беда какая.

— А ты? — ошалело спросил Темляков. — Ты разве... Ты помнишь? Разве твоих семян нет в этих вот?.. Не из твоих ли семян? А? Отвечай...

— А за то и люблю я тебя, ангел мой! Понимаю, плачу, жалею, — запричитала старуха. — За то и мучаюсь... Муки твои взяла на себя... Жгут они меня, а ты упрекаешь...

— Все ты врешь! — крикнул Темляков. — Все от начала и до конца! До чего ж ты вредная! Боже мой...

— Тихо, тихо, тихо, — вдруг зашептала Пелагея, воровато оглядываясь. — Нельзя, Васенька... Вон видишь, лебеди слетели с озера... Видишь, видишь, и козочка ускакала... А где же голуби? Вон они; вон они, на беседочку сели, воркуют... Курочки, цып-цып-цып... Ты все забыл, Васенька... Ничем не могу помочь... Совет ты мой не слушаешь, знаю я тебя, а так-то уж что ж теперь... Дело хозяйское, — сказала она с неожиданной игривостью в голосе, с эдакой издевочкой, которую знал Темляков за своей нянькой, и развела опять руками. — Ничем не могу помочь, кроме совета. — Она ловко обломала веточку цветущей яблони, с которой не упал ни один лепесток, и подала ее Темлякову. — Вот тебе мой совет. Если уж ты все забыл, ступай на могилу брата, отыщи ее, забытую, воткни в сыру землю эту веточку и полей ее своими слезами, авось наберется немного. А на меня не сердись, Васенька. Тебе ведь правда не нужна, я знаю. Вот ты и возмутился. Зачем она тебе? Осторожнее, осторожнее, Васенька, видишь, что у тебя под ногой? Ты его не пытайся раздавить, вот что я тебе скажу... Не пытайся! Это уж так... не я придумала, не я переняла. Пусть себе кряхтит. Не обращай внимания. Видишь, видишь, что делает, окаянный. Это он веточку вечной любви у тебя в руках увидел... Она оттого и вечная, что цветет вечно. Она и стебель, она и корень, она и цветок. Она и сад, она и садовник. Все в ней! Понял ты меня, ангел мой? Сделай все так, как я тебе сказала... Плоды у нее особенные. Ты их вкусишь не сможешь, но вкус их узнает твоя душа. И вот тогда-то созреет плод. Плод этот

тоже вечный. Этим плодом никогда не пресытится человек, но сыт будет... Помнишь, какой это плод-то? Чего улыбаешься? Забыл опять? Или не веришь? Изверились люди, я знаю... Сама такая, — сказала Пелагея и тихонечко засмеялась. — Тоже ждала плотского плода, думала насытиться им, накормить свою плоть... Но это лишь плоть от плоти... Не улыбайся, Васенька, я правду говорю. Я знаю, какая правда утешит тебя. Жестокая тебя губит, а красивая голубит. Вот и приголубила я тебя. Куда ж ты пойдешь-то, голубь мой?

Мне к Дунечке надо. Я без нее не могу, — покорливо сказал притихший Темляков, держа в руке яблоневую веточку как свечку. — Соскучился очень.

— Так ведь некуда тебе идти-то, горемыка ты мой! — воскликнула Пелагея, всплеснув руками.

— Как это некуда? — неуверенно сказал Темляков. — Я домой пойду... Там меня Дунечка ждет.

— Ох, бедолажка! Нет у тебя дома-то! Сломали его давно. А Дунечка... там, — сказала Пелагея, махнув рукой в сторону сиреневых кустов. — Не веришь мне опять! Что ж мне с тобой делать? Может, Серафима позвать? Помнишь Серафима? Пьянчужка-то смешной такой. Отвез бы тебя на своей тележке...

— Спасибо, Пашенька, — смущенно ответил Темляков. — Я уж пешочком. Ты прости меня. Я привык пешочком... Или на поезде, а потом все равно пешочком. Там видно будет. Я знаю дорогу.

Пелагея с грустной насмешливостью разглядывала его, поддерживая хиленькое свое тельце рукой, которой оперлась опять на ствол цветущей яблони. В глазах ее снова светились любовь и нежность, с какими она всегда смотрела на маленького Васю, прощая ему шалости и детские капризы: не было в ней и намека на ту злобу, которая корежила недавно слабенькое ее тельце.

Благостен был и Темляков. Он с умилением смотрел на счастливую Пашу, у ног которой ходили белые куры, поклевывая бело-розовые лепестки яблони, словно бы распутившиеся цветами в зеленой траве. Лебеди опять опустились на синее озеро, прочертив на его поверхности пенный след. Голуби кружились в голубом небе. А из кустов сирени выглядывала добродушная лань, которую Паша почему-то назвала козочкой...

«Это лань, — хотел он сказать старой своей няньке. — Не козочка».

А Паша словно бы поняла его и три раза кивнула, то ли соглашаясь с ним, то ли прощаясь. Под медвежьими дугами ее надбровий соком сочилась печаль. Лепесток яблоневого цвета светился на сивых непокрытых волосах. Была она в простом холщовом платье, скрывавшем ступни ног, и тоже казалась вечно цветущей яблонькой.

Красные цветы, масляным жиром своим только что пугавшие Темлякова, отодвинулись от нее и стали как будто бы мельче. Неясная сила втягивала их в землю, и они, покорливые, сделались худосочными, обмякшими, блеклыми, как вываренная свекла во щах, и не сопротивлялись этой подземной силе.

Глава пятнадцатая

Темляков, бережно держа в руке цветущую ветку, тихонько стал удаляться, боясь стряхнуть, уронить хоть один лепесток. Он знал, что где-то тут, недалеко от Коровьего вала, в булыжном его Замоскворечье, на сочной земле тихой улочки стоит за чугунной решеткой дом, в котором ждет не дождется своего Одиссея красавица Дуняша. Он откроеет тяжелую калитку, ступит на шлифованные плиты дымчатого песчаника и увидит за ясной золотистостью окошка Дуняшину головку, разделенную надвое прямым пробором прически. У нее даже носик и тот поделен на две половинки мягким хрящиком.

Он улыбался, лаская мысленно милые подробности любимого лица, и, предвкушая радость встречи, не заметил, как серый дощатый забор отгородил его от цветущей яблони и синего озера с лебедями... Он с удивлением подумал о Паше, не понимая, почему она осталась там и не пошла вместе с ним, но близкая встреча с Дунечкой, трепет сердца, которое плескалось в груди, отвлекли его.

Темляков заторопился, хотя забор мешал ему представить место, где он очутился вдруг, и не давал ему ориентира, в какую сторону ему надо торопиться.

Грубо сколоченный из грязных шершавых досок, забор этот завалисто и шатко тянулся вдоль незнакомой улицы. За забором что-то строилось. Кто-то колотушкой бил там по тяжелому железу, выбивая, видимо, схватившийся бетон. Эти сырые удары колотушкой вдруг остановили его, что-то в нем звонко треснуло, пришлось острой искрой от затылка до груди, словно один из этих одуряюще громких ударов пришелся ему по голове или по сердцу, которое мгновенно вспухло от ужаса, как горло от слез.

Он не успел осознать, почему эти бухающие по голове удары вызвали в нем смертельный ужас, он лишь понял, что ему очень плохо и что та чернота, которая затмила мир и вызвала рвоту, уже непреодолима. Ему лишь показалось на миг, что, нащупав руками во тьме шершавые доски, он все-таки удержался, найдя опору, и не упал.

Но тело его падало, как будто лопнул канат, на котором оно держалось, и, потеряв опору, оно валилось теперь во тьму, за борт, в пучину, во мрак могучей реки...

Руки его, скользя по занозистым доскам, скользили, казалось, по раскаленному до солнечной ярости огненному брусу, сжигавшему пальцы... Темляков в сумеречном сознании пытался оторвать их от этого бруса, который будто бы своим сверканием слепил ему глаза. Но чувствовал, что сил уже нет у него сделать это. Он сполз обмякшим телом в этот огненный смерч, в котором что-то лопалось и клокотало, будто тело его, объятые огнем, жарилось в испепеляющем пепле.

«Стыд какой, — думал он из последних сил, понимая, что упал на улице. — Ах, как неловко!»

Ему казалось, что он сумел улыбнуться, преодолев предательскую слабость, и что люди, увидев его упавшим, поймут, что он не потерял мужества.

Он улыбался, как тот мальчик, который упал на камни и расшиб колени. Огненная боль в коленных чашечках была невыносима, но он, морщась, старался улыбнуться, зная, что на него смотрят такие же, как он, мальчики и девочки, у которых на лицах улыбки.

— Леночка, ты где? — услышал он голос из-за забора.

— Я тут, мама, — отозвался нежный голосок той, что жила в саду за глухим забором. — Я тут, — повторила девочка. — Я тут, — услышал он взволнованный голосочек. — Я тут...

Это старое сердце сделало последние толчки, заканчивая свой жизненный ритм, и звуки его, отдаваясь в голове, превращались в ласковый голос той, о которой он иногда вспоминал, но которая, как это ни странно, совсем уже не волновала его воображения. Но вдруг она явилась и сказала очень ясно и просто: «Я тут... я...» — и умолкла. А он улыбался, зная, что она тут, и ему было очень хорошо от сознания ее близости.

Это душа его, доживающая в мертвеческом теле последние мгновения, шептала меркнувшему разуму Темлякова тщетные утешения, чтоб он не очень боялся смерти, потому что все живое на земле очень боится ее. А умирать надо обязательно, и каждый должен сделать это сам и по-своему, не прибегая ни к чьей помощи. Если, конечно, не найдется помощник с колотушкой в руке или с крупнокалиберным револьвером, с каким-нибудь кольцом, например, усовершенствованной системы. Но кара эта миновала Василия Дмитриевича Темлякова. Спасибо и на том.

Но вот что странно. Ему ведь мерещилось в предсмертном видении, что он падает под забор, протянувшийся вдоль улицы, цепляется за него руками, стыдясь, что падает на улице, на глазах у прохожих. Ему было очень стыдно падать. Он, в общем-то, никогда и не падал раньше на улице...

На самом же деле тело его нашли в лесочке, недалеко от Подосиновки, на тропинке, ведущей к кладбищу... Он лежал, свернувшись калачиком, около ствола старой сосны, корни которой костяными змеями переплели утоптанную тропинку. Ценных вещей у него никаких не было, денег всего два рубля с мелочью. Потертый кожаный портфельчик, похожий на тот, что носят школь-

ники, был тоже пуст, если не считать бутылки кефира, двух бутербродов с сыром и букетика едва распустившихся ландышей. Причем ландыши были живые, корни их белели в черном и влажном комочке земли, обернутой сырой тряпицей и газетой. Видимо, он нес их на могилу брата.

Он своей мертвой улыбкой очень напугал женщину, наткнувшуюся на него. Но, слава Богу, она не потеряла рассудка и, придя домой, тут же позвонила в районную милицию. Труп его едва успел остыть. Хорошо, что он упал на тропинке, а не в чащобке леса. Майские дни стояли очень жаркие, и если бы его нашли не вскоре после наступившей смерти, было бы, конечно, плохо.

А вообще-то Темляков долго и мучительно старел и под конец земного своего существования был слишком слаб для того, чтобы отправляться в такое дальнее путешествие. Во всяком случае, ему следовало позвонить сыну Николаше и уж если ехать, то ехать вместе с ним на Сашину могилу. Здравый смысл подсказывает именно такое решение.

Хотя, конечно, все добрые дела, все подвиги во имя истины и человечности свершаются, пожалуй, за пределами здравого смысла. Темлякова никак нельзя упрекнуть задним числом в опрометчивом поступке — он ехал на электричке и шел пешочком на могилу брата, чтобы вкопать в нее живые ландыши. И это был его подвиг — маленький, но хорошо прочувствованный, нравственно подготовленный подвиг старика, осознавшего только в конце своих дней трагизм гибели брата и словно бы почувшего перед собственной гибелью особенное, пронзительно-острое, горькое родство с ним. Как будто бы оба они — и Саша и Вася — сошлись наконец в единой точке своего земного бытия и чудом, прорвав завесу времени, подставили обе головы под тяжелую колотушку чуть ли не в один и тот же миг. Саша, правда, немножко пораньше...

Это был, конечно, подвиг! Хотя никто из родственников, в том числе и Николаша, не понял этого, и в горе своем они досадливо упрекали старика за безрассудство, которое обошлось им лишними хлопотами и лишними тратами денег, против чего всегда восставал сам старик, требуя, чтобы его сожгли, а пепел закопали в могилу Дуняши. Было, правда, время, когда он просил сына развеять его пепел по ветру, но к концу своих дней передумал, придя к мысли, что это будет слишком хлопотно да и пошло, по сути, безнравственно, потому что на земле не осталось такого местечка, где бы не ступала нога человека, а кому приятно знать, например, что он идет или расположился отдохнуть на земле, которая удобрена его пеплом.

Он все обдумал и, конечно, скопил денег на свои похороны, но вот не учел, что может упасть далеко от дома и что это потребует от сына лишних затрат. Тут он, конечно, промахнулся...

«Промазал», — как сказал бы он сам.

Кстати, Василий Дмитриевич Темляков задолго еще до конца земной своей жизни очень опустился и стал неузнаваемо неряшлив, грязен и даже вонюч. Его трудно было узнать.

В грязно-лиловом выцветшем пиджаке, такой же весь грязно-лиловый, обожженный солнцем до кирпичной тьмы, согбенно сидел он, бывало, в трамвае и отрешенно смотрел в окно. Сивая щетина, в густоте которой белый волос спорил с серым, пчелиным роем облепила его лицо, заползла за уши и обметала иссеченную морщинами шею. Мокренькие, как у ребенка, губы болезненно розовели в этой волосистой гуще, особенно нижняя губа, капризно выпавшая из-под верхней, проваленной в беззубую полость рта. (У него сломался протез, и он не нашел в себе ни сил, ни желания заказать новый.)

Сквозь запыленное стекло видел он грязные дома, кривую штукатурку стен, покосившиеся двери, окрашенные суриком, бетонные панели новых, но тоже уже одряхлевших домов, убогую плоскость неряшливых их фасадов — весь этот мрачный хлам, в котором гибла измученная, поруганная Москва. Все это давно уже перестало волновать Темлякова, он покорился неизбежности и, понимая себя по привычке большим и некогда красивым, но увядшим цветком, понуро смотрел на дряхлеющий мир за окошком, не узнавая Москвы, и ждал той же участи, будто был ее неотъемлемой частичкой, каким-нибудь синеньким изразцом или лепным грифоном, заляпанным грубой побелкой.

Он давно уже, сразу же после смерти Дуняши, перестал следить за своей одеждой, за внешним видом, махнув на себя рукой. Почувствовал однажды, что ему лень чистить гуталином ботинки, вышел на улицу в грязных и с удивлением понял, что это ничего не изменило в его жизни. Ему даже стало обидно, будто он до сих пор исполнял никому не нужный, лишний, нелепый обряд — чистил до блеска кожу ботинок. Это его очень удивило и повергло в уныние. Прошло еще несколько дней, и он вышел из дому, забыв побриться. Никто не сделал ему замечания, никто даже не обратил внимания на его лицо, и он опять с удивленной улыбкой понял, что и это занятие не несло в себе какого-либо серьезного смысла. Пуговица оторвалась на пиджаке, он и на это махнул рукой. Ворот рубашки заблестел от засалившейся грязи, а он подумал с привычной уже лендой и равнодушием, что это, в конце концов, не имеет никакого значения, потому что, как рассуждал он, грязь эта внешняя и никак не может проникнуть в душу и в кровь, а раз внешняя, то какая уж разница, где эта грязь — на твоей шее или в двух шагах от тебя, во дворе дома или на улице за окном. Все равно всюду, как мнилось ему, была непролазная, мутная, неистребимая уже грязь, из которой ему не выбраться, не вернуться в цветущий сад.

Он жил один в маленькой комнате большой квартиры. Соседей не любил, и они его не любили. Одна лишь Дунечка могла сглаживать отношения с ними.

Дом, где он жил, стоял над Киевской железной дорогой. Перед домом была шоссе́йная дорога. За дорогой посадки. Это даже деревьями нельзя было назвать, а только посадками. Там ребята гоняли футбольный мяч. Там распивали вино и водку пьяные мужики. Там всегда было много мусора. А за этим мусором была железная дорога.

Однажды он решил все-таки заняться собой и купил в спортивном отделе универмага дешевый футбольный мяч. Побрился, помылся, вышел с ним на земляную площадку, где играли ребята и пьянствовали мужики, и почувствовал себя полным идиотом. Хотел побегать с мячом, но задохнулся, закашлялся... Приметил мальчонку посимпатичнее, положил мяч на землю, ударил по нему ногой... «Держи!» — крикнул мальчику. Тот принял пас, а Темляков махнул рукой и крикнул: «Дарю тебе! Играй, милый, играй!» А сам чуть не плача от тоски, которая вдруг напомнила ему о безысходности жизни, пошел домой, даже не посмотрев на лицо мальчика, которому достался новый мяч.

С этого дня он стал дряхлеть, стареть и все время думать о том, что он старый и дряхлый, никуда уже не годный, никому не нужный человек. Он словно бы дожил до инстинкта смерти, отказавшись от инстинкта жизни. Он как бы запретил себе думать о земной жизни и с увлечением принял жить в ином мире, который показался ему куда интересней реального...

Но об этом что ж теперь говорить! Тело Темлякова сожгли, пепел, как он наказывал сыну, закопали в изножье могилы его милой Дунечки и стали потихоньку забывать о нем, думая, что он прожил очень долгую, а стало быть, и хорошую, счастливую жизнь. Всякому так бы! Как тут возразишь? Тут ничего и не скажешь...

Но ведь едва дотянулся, добрал до наших дней, ему бы пожить с надеждой, отряхнуться от старых печалей... А он возьми да и упади...

Что ж уж теперь. Теперь поздно печалиться, минувшего не вернешь...



ГЕННАДИЙ СТУПИН

*

ХОЛМ

* * *

Я выжил под камнем, как червь,
Взошел из-под камня травой
И стал я — межзвездная чернь,
Сквозящая за синевою.

Теперь, одинокий, нелюдики
И солнцем нещадным прожжен,
Скитаюсь как вечности дым,
Не зная ни мест, ни времен.

И горько на землю смотрю,
Где камень, и червь, и трава.
И в солнечном жару горю,
Истаивая, как синева...

Лишь ночью, и хладен и тих,
Луной и звездой освещен,
Касаюсь родимых моих
Невидимых мест и времен.

И червь выползает ко мне,
И тянется жадно трава,
И камень и всё на земле
Мне шепчет родные слова.

Я слушаю их и молчу,
Поскольку я речи лишен,
Когда возвратиться хочу
Во все, чем когда-то рожден...

И, лишь улетая опять
За свет, где луна и звезда,
Я волен, рыдая, сказать
Простые, как хлеб и вода,
Живые, как червь и трава,
Родные, как горе, слова.

У городского окна

Соты каменные, клетки,
В небо, в стену вид в упор.
Нескончаемый вовеки
Безответный разговор

С кирпичом или бетоном,
С желтым, черным ли окном,
С небом искристо-бездонным —
Все о том же об одном.

Сколько граду громоздиться —
Ни упасть, ни улететь.

Сколько той звезде лучиться,
Может, уж погасшей, впрядь...

Разговор вполне бесплодный
И бессмысленный вполне...
Кто-то вечный и бесплотный
Тоже вон торчит в окне.

Видит он меня, не видит —
Ничего нам не сказать.
Покурить на кухню выйдет,
Свет погасит, ляжет спать...

Холм

Московской смуты больше не осилив
И потеряв с собой и с миром лад,
Ходил я ныне в глубину России,
Куда всегда глаза мои глядят.

Там холм стоит. Среди лесов дремучих
Безлесый неизвестно почему,
Светлеет он на бесконечных тучах
Подобно богатырскому челу.

Какая-то неведомая сила
Сказала тихо мне пред ним: взойди.
И я взошел. И мир зелено-синий
Кольчугою сомкнулся на груди.

И стал я от него неотделимым —
В земле ногами, сердцем в небесах,
И ветром обвеваемый шумливым,
И с горнею прохладю в глазах.

Как рать, стояли зубчатые ели,
Дозорным вился ворон у виска,
И руки, словно на мече, немели,
И стягами кипели облака.

Нечеловеческой исполнен силы
От неба отчего и мать-земли,
Я превозмог удел свой дольний сырый
И видел бесконечный свет вдали.

Плывя с холмом и с тучами, с лесами
Средь вечности и мироздания средь,
Самой землей и всеми небесами
Хранимый, не могущий умереть,

Я заклинал: великая природа,
Пока не вся и не совсем ты прах,
И дух и плоть великого народа
Ты укрепи и приумножь в веках!

И холм, и тучи, и леса молчали,
И в их молчании я слышал: да, —
И в волнах вечности меня качали,
Прохладных и прозрачных, как вода...

Я возвращался в темную избушку
Между осин, и елей, и берез
И ел с водою черствую горбушку
И долго спал меж памяти и грез...

...Я вновь в Москве, худой и загорелый,
Спокойный, чуждый вечной суете.
И вновь я слышу ор осатанелый —
Уже на крайней некоей черте.

И вспоминаю холм в лесах дремучих —
Совсем безлесый знаю почему,
Бледнеет он на бесконечных тучах
Подобно богатырскому челу...

О, если воры и теперь осият,
Леса и тучи, принимайте в рать —
На том холме во глубине России
Стоять с землею. Или умирать.

Вятский Лес. Пятая доля.



ИВАН МАКАРОВ

*

ЭХО

Спина, плечо, две челюсти, затылок.
Рука, живот. И голова болит.
Нас, как шкафы, прессуют из опилок,
Но мы, как люди, держим монолит.

Нам чьи-то двери открывают пасти —
Идем искать себя среди своих.
Мы сами — наши собственные части
В соединенье и в разладе их.

Стеклянный шар катался снежным комом.
Скажите всем знакомым и родным:
Встает заря над сумасшедшим домом.
Над стройкой кран, над головою дым...

...И вдруг вода налево и направо.
Свет над водой, как чей-то яркий глаз.
Навстречу мне из глубины державы
Торжественно выходит водолаз.

На полпути ко мне он было замер
И, может быть, хотел идти ко дну.
Но я имею столько барокамер,
Что я, конечно, дам ему одну.

Уже неясно — кто кого спасает,
Но, ясно видный всем издалека,
Там, впереди, горит, не угасает
Холодный свет родного маяка.

И все идет своим нормальным ходом.
Творя, как суд, безумие свое,
В нас столько лет входила непогода,
Мы выпустим, мы выплеснем ее.

Мы выжили под небом раскаленным,
Мы никогда не повернем назад.
Мы пронесем, как пыльные знамена,
Черемуху, рябину, виноград...

Броня крепка, стихия увлекает.
Кричим «ура!». Не помним ничего.
Играют волны, порох намокает.
Мы выстоим. Мы высушим его.

АНДРЕЙ БЫЧКОВ

*

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Рассказ

Сын: А книгу «Праздник, который всегда с тобой» написал не Хемингуэй. Ее папа мой написал. Это было в Югославии в тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году. Работать в Югославии можно было только до часа дня, рассказывал мой папа, потому что жара там, как в мурманском крематории. А в мурманском крематории мой папа тоже работал, с газом дело имел. Вообще-то он сентиментальный человек, а мурманский газ ему еще больше глаза разъел. Но дело, может быть, и не в газе. Когда мой папа рыл траншею на берегу Адриатического моря, то грустил дольше, чем остальные. Он был ростом выше всех и, выкидывая совком грунт, еще мог видеть море, тогда как другие, со штыковыми, уже были с головой в сырой земле. А море в Югославии такого цвета, что нельзя не грустить, говорил мой папа. Я его очень люблю. Когда на дне траншеи появилась вода, землекопы решили попробовать ее на вкус, а она оказалась не соленая. И они стали ее пить, а потом выбрались из траншеи и посмотрели на море, которое было совсем близко. И никто не рассмеялся, кроме моего папы. «Жираф ты, — сказал ему начальник. — А ну полезай в яму». Но мой папа не обиделся. Просто в этот миг его и осенило, что надо написать книгу и послать ее Хемингуэю, который был его кумиром и жизнь которого мой папа знал наизусть. Книгу отец писал в тени эвкалипта с часа дня до восьми вечера, а с восьми до двенадцати ночи пил шампанское на берегу в стриптиз-баре с немецкими туристами. Под конец они там люстру разбили случайным выстрелом из бутылки и стриптизерку стекляшками поранили. А книгу он действительно написал и Хемингуэю отослал. Подписался — Эрнест Хемингуэй, а адреса обратного не оставил.

Папа с мамой зачали меня в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году на Арбате, в доме, где магазин «Детская оптика». По телевизору партсъезд тогда показывали, мама вспоминала, они с папой только звук выключили в тот вечер, а изображение оставили на случай сигналов гражданской обороны. Я родился ровно через восемь месяцев, как тогда говорили, досрочно в срок. В роддомах ведь тоже планы перевыполняли. «Не повезло вам, — сказала маме акушерка, удерживая меня за ногу. — Роговица затянута, видеть будет плохо, если будет. Ему бы дозреть еще». А папа маму утешал: «Может, и хорошо, что оно так». Он-то к тому времени многое успел посмотреть, не только Югославию. Но, может быть, мне все-таки повезло? Почти слепого ребенка (меня то есть) в обычный ясли-сад не брали, потому как слепой, а в специальный — потому как не слепой. Вот я и сидел дома. Звук в телевизоре папа с мамой не включали, а то я плакать начинал, а на экране я разглядеть ничего и не мог. А настоящий мир я тогда деталями только рассматривал, близко-близко. Никто, например, не знает, что в бабочке можно жить, как в лесу. Помню, еще отец меня на улице к автобусу подносил, водил лицом вдоль капота, а то в метро, в вагоне, к самой лампе желтой, что на потолке, поднимал, если я хотел спиральку разглядеть. А чтобы я и целого не терял, и знал, как все издалика смотрится, он мне книгу свою читал вслух, которую в Югославии написал. Пронзительная это книга.

А жил я все эти годы пальцами, на ощупь. Но я все трогал, не только пупырчатые, иголкой исколотые страницы из специальных книг для слепых.

Еще я смеяться любил. Нагло смеяться, оскорбительно, в ноздри. Особенно в темноте хорошо получалось, когда совсем ничего не видно. Этому меня тоже отец научил, хоть и грустный он человек.

Отец: Книгу «Праздник, который всегда с тобой», конечно же, я написал. Мой сын это подтвердить может. И про разговоры с Гертрудой Стайн о разврате, и про узор из пыльцы на крылышках таланта Фицджеральда — все я написал. И причем по-русски, прошу заметить. Хемингуэй потом уже сам перевел. Я эту книгу, откровенно говоря, для русских и написал, чтобы им жить не так грустно было. Я ведь и сам лирик, оттого, наверное, и грубым иногда бываю, особенно в очереди за вином. Почему я ее именно в Югославии написал, а не в Мурманске, скажем? Радости у нас, если честно, нет почти, да и грусти мало-вато, тоска одна да боль, а их ведь праздником если не лечить, то хоть анестезировать надо. Была у меня в молодости мысль про миллионера советского подпольного написать, который бы бухгалтером работал, скажем, или секретарем каким «погенеральнее», да только другие меня обошли. А вот с Хемингуэем у меня здорово получилось. Я эту книгу его вычислил. Ему ведь именно такой книги и не хватало. Каждый ведь рано или поздно не в своем стиле хочет написать, и чтобы другим хоть немного побыть, и чтобы себя получше разглядеть. Да я и в Югославию с той же целью сбежал. В Югославии мы траншею гнали вдоль побережья из Карделева в Дубровник. Вручную рыли, у них ведь техники никакой тогда не было. Когда совком землю в яме хватал — Россия мерещилась, Мурманск, а когда выбрасывал грунт наверх и море видел, Адриатику божественную, нимф-нудисток на скалах вдалеке под ослепительным небом, то грустно становилось, оттого что это недостижимо сейчас вот, когда к лопате прикован. И так черпал — выбрасывал, черпал — выбрасывал. И вдруг вода. Попробовали — пить можно. Вкусная, минеральная какая-то. Тут меня и пронзило.

Сын: А мой отец меня многому научил, не только как в темноте смеяться, но и как деньги зарабатывать, если тебя по инвалидности на работу нигде не берут. Я после десятого класса не кукился. И деньги честно зарабатывал. Я вначале в Министерство здравоохранения ходил и в бюро по трудоустройству, в очереди в эти. Надеялся еще на что-то. Как на работу ходил. А однажды, когда чиновник с улыбкой, заточенной, как карандаш, опять отказал, я и решил его отказ в деньги обратить. Есть-то надо на что-то. Мать к тому времени умерла, а отец водянкой заболел. Так вот, взял я у чиновника авторучку со стола и на линолеуме, на полу прямо в кабинете его, казну квадратную и начертил. Вынул червонец последний и в квадрат этот бросил. Говорю клерку этому вежливому: я больше никаких справок для трудоустройства просить у вас не буду, если вы со мной в монетку на прощанье сыграете. Я же знаю, ему тоже от меня лишь бы избавиться, ну и угадал — он так и расцвел грифелем наружу. Только, говорит, вы же полуслепой, не боитесь проиграть? А у отца в книге написано было, как монетой в стену бить, чтобы наверняка в казну отлетала. Там у него в книге Фицджеральд с Гертрудой Стайн играли. Ну я и говорю: боюсь, говорю, да кто не рискует — не пьет шампанского. Ну он червонец в квадрат и кинул, а дверь на ключ замкнул. Только, пожалуйста, говорит, чтоб больше не ходил. Я и говорю — ну. А я их всех насквозь вижу, вежливых. Сидят в костюмах, в галстуках, а раздень — через одного оттатуированы. Ну и стали мы в стену пятаками бить. Я-то внутри только все пространство держу, представить лишь могу, а он его видит, гад. И все чаще меня перебивает, то пальцами дотянется до пятаков, то кричит шепотом: внакладку, мол, вошел, а то, мол, внахлест или зацепило. Пользуется, что я не вижу почти в желто-серой вате этой, только казну и проверяю. А то движение, каким Гертруда Стайн у Фицджеральда выиграла, — полуфантастическое это движение, кентавра это движение, не человека. Она там, в книге, из-за газетного киоска разбегается и в прыжке с поворотом бьет. «Она знала, — говорится в книге, — что надо и самой лететь, чтобы снаряд твой в цель попадал». А мне где разбегаться? А мне, слепому, как прыгнуть? Этот-то тип принаровился уже, пиджак снял, оживил в себе свой архетип, все ближе к казне пятак его ложится. Что делать? И тогда я Гертрудой Стайн себя представил, рассмеялся

нагло я, как можно наглее, и во внутреннем своем пространстве разбежался, и во внутреннем своем пространстве прыгнул, и ударил в прыжке, и попал-таки в казну. И не успел чиновник пятак из квадрата каблуком выпихнуть.

Отец: Я вам так скажу: сын мой, может, и не в меня. Я ведь сам плакса старая, философ, учить только могу. А вот сын мой жил не тужил, хоть и слепой он был до поры до времени. Он из дома ушел, не захотел у отца больного на шею сидеть. Он, как летчик, в черных очках ходил и в куртке кожаной. Но, прошу заметить, он так ходил, словно видел все. Да он все и видел. Другие, может, тоже видели, а потом, между прочим, все равно в «церкви» пели. А он не пел, он играл там, он у них выигрывал. А тот эпизод с Гертрудой Стайн Хемингуэй, конечно же, зря из моей книги вычеркнул. Никогда не забуду, как я тот эпизод на пляже в Дубровнике писал в сорокаградусную жару рядом с американским аппаратом, который мороженое в вафельные стаканчики выдавливал. Если откровенно, так я и в тени тогда даже не мог отползти, так меня захватило. Девчонка-мороженщица, слива спелая (они ведь там рано созревают), из-под зонтика своего на меня водой брызгала. «Русишь, графомано! — смеялась. — Иди сюда, охладись». А я как в туннеле раскаленном лежал. Мой сын мне говорил, что этот эпизод его в воздухе держит.

Сын: А пусть никто не думает, что я вымогатель какой был. Мне и отец так говорил. Ты, говорит, не вымогатель, а социальный борец. Да, я по-своему с тоталитарной машиной обходился. Я с ней то же делал, что она с нами со всеми делала. А если я больше двухсот пятидесяти в месяц заколачивал, то на фабрику относил, где незрячих высоковольтную аппаратуру изготавливать заставляли. Я же знал, что им там копейки за это платили, а я в их кассу взаимопомощи червонцы вносил. А если больше четырехсот получал, то просто на улице раздавал, просто людям хорошим. Хорошие всегда ведь нуждаются. А у меня слепота не абсолютная. Я свет от тьмы отличаю. Каждый человек по-своему светится, тускло ли, ярко, не важно. Колер — главное. Цвет. Это для дураков и для окулистов желтый цвет, например, — измена. А желтый желтому рознь. Я, может, и не глазами, а такое в желтом могу увидеть, что другой психоаналитик и на компьютере не вычислит, и через Юнга не догадается. Вот лимонно-желтый, например, — это проститутка по расчету, синевато-желтый — по зову крови, а золотисто-желтый — Меджнуна цвет любви неутоленной. А чиновники — они все лимонно-серым и желтовато-фиолетовым светятся. Хуже женщины иной падшей. Чиновничьи пятна эти (а толпа ведь для меня из цветных пятен состоит) никогда не отказывали слепому через улицу помочь перейти, да только когда я им поперек дороги встану. Встану вот так, врасстопырку, загорожу палкой путь и кричу: «Помогите слепому улице перейти!» И бельмами шевелю, как бегемот. Нормальный человек, может, и убежит, а чиновник обязательно переведет. Показное добро ведь. Ну а как переведет, я ему по заднице палкой и дам, расхотавшись нагло, до кашля глубокого. Я так развлекался иногда, сумасшедшим прикидываясь. Надо, однако, как-то и развлекаться, не только же деньги зарабатывать.

Отец: Это сейчас моему сыну хорошо, я скажу, а никто не знает, как на душе у него иногда тошно бывало. То он мне деньги по почте переводил, а в черные дни сам по стеночке приходил отлеживаться. Рвало его даже в эти дни, особенно когда органы охотиться за ним стали, в тунедстве обвиняя. Не от страха рвало, он парень не из трусливых, он и тогда смеяться хотел, когда корчи подступали, а просто отвращение пересиливало. Я же понимал, да и любой поймет: что бы слепец себе ни представлял, как бы ни развлекался, что бы ни ощущал, а простое-то счастье зримого мира не дано ему. Мир вблизи-то чаще жесток, откровенно говоря. Только далеко свобода видна, а вблизи только малышам хорошо. Хотел бы я, чтобы в те черные дни мой сын снова маленьким стал, я его снова слайдами бы, бабочками опекал. Да только как же ему маленьким стать? Как тому брюссельскому велосипедисту разве, что памятную гонку сорок седьмого года выиграл, потому как на последнем этапе майку в коньяке вымочил? И который карликом потом захотел сделаться, чтобы снова пешком в детский сад ходить? И ему таки сделали операцию — укоротили конечности (чего только за деньги не сделают), а потом еще одну — пластическую, и он стал ходить в свой детсад где-то в Брабанте, а дети его все равно так

своим и не признали. Хемингуэй, кстати сказать, этот эпизод тоже зря вычеркнул. Но что-то отвлекся я, простите, целыми днями в кресле сижу, отвлекаюсь. Так вот я и лечил сына своего (сам от водянки раздутый) тем, что эпизоды эти, мастером вычеркнутые, вслух читал, пока сын над тазиком корчился. Я хоть и сентиментальный человек, а литература, я вам скажу, это когда болезнь, а когда и лекарство от этой болезни.

Сын: А я все равно своего отца очень люблю, хоть ничего он в этой жизни и не добился. Ну и что, что последние лет пятнадцать он целыми днями в кресле своем сидел и фантазиям своим предавался? Книгу-то «Праздник, который всегда с тобой» все равно он написал. Он, и баста! Да, может, моему отцу и Царство Небесное наследовать не надо, потому как оно уже в душе у него. Один только раз, жалею, поссорился с ним я, слов обидных наговорил. Сам себе не прощу, хотя он-то простил меня давно. Когда мать умерла, он в крематорий не пошел. Как же так, спрашиваю, ведь это же мать моя и твоя жена была и ты любил и любишь ведь ее? А он — не могу, говорит, Мурманск перед глазами встает. Но ты же философ, говорю, вспомни хотя бы, как ты меня жить учил. А он — не могу. Но ты же сам, говорю, решил тело ее кремировать, а не земле отдать. Да, говорит. И заплакал. Тогда и сказал я ему в сердцах слова эти, а после поминоку к товарищу ушел.

А я все равно отца своего люблю. Я, однако, на его фантазиях вырос. А то, что с помутнением роговой оболочки я родился, так что ж. И в слепоте своя правда есть. Да, может, и счастье какое. Не зря же мужчина и женщина в миг наслаждения глаза закрывают. А я и не жалею, что в темноте цветной этой до двадцати с лишком лет жил. Для меня так лучше пусть тьма и туман впереди света, есть тогда к чему прорываться, воображение — это тоже свет. Отец мой только не дождался, когда фантазии его и мир перед ним высветят, вероятно, оттого водянкой и заболел. А я знал, что рано или поздно бельма мои падут. И свет мой белого света достоин будет, и мир светлый в душу мою прольется. Не знал, как это совершится, боялся думать, а все равно тайную веру хранил.

Этот отец сказал мне про институт один. Он в кресле, как всегда, сидел и вдруг услышал однажды — за окном кто-то крикнул: «Да здравствует микрохирургия глаза!» Ну он выглянул и спросил.

Отец: В четверг у меня всегда на душе радостно. По четвергам, помню, у нас в Югославии выходной был. И мы рыбу ходили бить на нудистский пляж. Там рыбы всегда больше было. «Пойдем рыбу любопытную бить», — наш начальник говорил. Да мы там всегда идиотами выгледели в черных трусах своих, с трезубцами торчащими. Мы этими трезубцами самодельными, я вам скажу, рыбу там били, или вид делали, что били. Я грустный человек, но по четвергам веселился. Мне начальник, бывало, говорил: «Жираф, не свисти, лучше рыбой займись, вишь ее сколько». А я свистел, губы в трубочку складывал, только чтоб хохот сдерживать. Чтоб над нашей неуклюжей командой, в черные трусы закованной, не хохотали. Идиоты зажатые, вот все-таки русский мужик — словно бабу свою никогда голой не видел.

Так мы в четверг тоже с сыном в институт к Федорову и поехали. А после анализов в другой четверг — на операцию. Не знаю, что они там ему делали, не был в операционной, врать не хочу. Я в холле сидел перед лифтом грузовым, из которого всё коляски с прооперированными выкатывали. Лица у них были закинута, зеленкой залиты и тампоны марлевые на глазницах. Мне страшно, а некоторые из-под тампонов улыбаются. А из другого лифта доски все выгружали, помню. Нас там много сопровождающих в холле сидело, как на вокзале, а сын мой сам вышел из лифта, гордый, и я знал, что глаза его под повязкой уже видеть могли. «Кератопластика прошла хорошо, — сестра сказала. — Сделали вовремя, а то могло и выпячивание развиться. Какой он у вас, однако, все с шуточками, видать, папа веселый человек». А я: «Четверг, — говорю, — рыбный день»...

Сын: Как из черного туннеля вырывается поезд на солнечный мост, разлетается грохот, уходит стена, и я вижу сквозь высокие фермы белые яркие лодки на голубом, маленьких желто-красных смешных рыбаков, весело, от души, от хорошей погоды машут они блестящими спицами спиннингов, а дальше, у

берега, дебаркадер — плавучая пристань, битенги тоже блестят, только тускло, нитки швартовых, и теплоход белоснежный игривый, и купольный дом вдальеке посреди пикниковой курчавой рощи. Фермы моста проходят торжественно, и вдруг снизу, как из меня самого, выплывает широкая баржи спина, задвижку люка сбивает кувалдой загорелый потный матрос, смотрит вверх на меня и смеется. Спасибо скальпелю Федорова! Месяц, разлетевшийся в путешествиях. Где я только не побывал! Псков горбатый, православная белая Вологда, Ереван, где на каждом углу торгуют ботинками и где розовый туф сам словно белье на веревке, а еще гордый Питер вечерний — шкатулка, полная драгоценных церквей, с перламутровой крышкой закатной...

В тот день, когда сняли повязку, сын смеялся и нагло и весело. И на улице пел и кричал от солнца, оттого, что оно золотисто-пушистое и оседает мягко-мягко, как снег, садится в глаза все равно, даже если и смотришь на что-то другое. Может быть, сын совсем обезумел от света, черт возьми, ну и что? Даже вечером, когда зажгли фонари на Арбате, а отец был поддатый уже и все еще боялся включить лампу (не слишком ли много отпрыску света для первого раза?), сын метался по комнате, то и дело подбегая к окну, чтобы подставить лицо фонарю. Он слышал, как в конце переулка кричали: «Эй, Семенова, где ты?» На Арбате было гулянье. Выкрикивали еще имена и еще. Там, в конце переулочка, девчонки, ребята держали друг друга за руки, парами шевелясь в ручейке. Сын по пояс высунулся из окна. Он видел, как кто-то со свистком разбежался, врывался в ручные ворота. Девчонка в малиновой куртке кричала: «Колотите тринадцатого!» Все хохотали. Кто-то шутивно крестился, смеялся: «Без бутылки не станешь, судьбу свою не найдешь». А кому-то со свечкой уже свадьбу играли на тротуаре. Бас на всю улицу: «Венчается раб Божий...» Хохот. Божий раб вырывался: «Идите вы в ...!» Его держали и хохотали, и сам Божий безусый раб валился от смеха на тротуар. А когда сын на улицу выбежал, отец только грустно над рюмкой качнул головой.

И вот уже лестница, черно-белый веер ступенек. Зрячий, он быстро спускался, впереди себя провидя пространство, в котором тело его может бежать, не боясь оступиться, удариться в стену. Так приятно быстро бежать! Жахнет дверь, впереди руки девушек подняты — ждет ручеек. Но вдруг... «Грустный папа остался один...» Вверх обратно через две-три ступеньки. И медленно вниз — длинный папа в пледе осторожно свисает. Снова хлопает дверь, как стартовый выстрел. Визг, и хохот, и свист. Но сын увидел, как милицейские чины с серо-желтыми физиономиями стали в конец ручейка.

— Всё, всё, расходитесь! — нажал сержант. — Не становитесь больше, вам говорят. Не понимаете, рефрижератор, что ли, подогнать?

— А мы, а мы, а как же мы?! — закричал, сбивая словами дыхание, сын. — Папа!

— Уэн ай уоз ин Югослав, зен Гертруда...

— Где ты зацепил этого пьяного старика? — спросил сержант.

— А он, между прочим, совсем не пьяный старик. Знал бы, с кем дело имеешь, повежливее бы говорил.

— А кто?

— Кто-кто! Хемингуэй. Книжки-то не читаешь, а, сержант? Тоже мне власть. Пропусти, нам нужны новые впечатления.

— Уэн ай уоз...

— Всё! Всё! — закричал на девчонку в малиновой куртке второй сержант. — Есть указ от одиннадцатого августа, а уже одиннадцать часов.

— А давай мы тебя трахнем? — хрипло засмеялась в сигарету она.

— Ну хорошо, — засомневался первый сержант. — Допустим, он Хемингуэй. Я, кстати, читал его книжку про вино, так что не надо ля-ля мне тут. И в газете, что он приехал. Но почему он у тебя так? — Он махнул через плечо. — И потом, ты-то кто такой?

— Ин рúчеек! Ин рúчеек! — закричал отец и взмахнул рукой из-под пледа.

Сын же, подтянув губы к самому почти зрачку сержанта, прошептал:

— У него свое видение мира.

А потом, прыгнув от козырька фуражки, с уверенностью сказал:

— А я переводчик его, Эл Петров!

И... подпрыгнул.

ВЛАДИМИР ЛОБАС

*

ЖЕЛТЫЕ КОРОЛИ

Записки нью-йоркского таксиста

Глава 5. С МЕНЯ — ХВАТИТ!..

Всего лишь три с половиной месяца назад сел я за баранку, а знал уже о такси — о-го-го сколько!

Гоняют по Нью-Йорку полчища разномастных кэбов: синих и красных, зеленых и коричневых, каких только нет. Захотелось тебе зарабатывать ремеслом балагулы, заставила жизнь — намалой на куске картона фломастером «ТАКСИ», выставь это художество на ветровое стекло своего драндулета — и езжай себе с Богом. Сколько долларов удастся наскрести — все твои! Ты уже «таксист»!

А почему — в кавычках? Почему — наскрести?

Да потому что человек, которому понадобился кэб, увидев разом несколько: и белый, и голубой, и черный, — ни в один из них не сядет. Как правило, и житель Нью-Йорка, и заезжий бизнесмен, и турист из дальних стран будут стоять и дожидаться желтого кэба. Потому что желтый кэб — это прежде всего безопасность; и приезжих еще в самолете предупреждают попутчики: только в желтом кэбе проверенный водитель.

Мои права с фотографией, выставленные на передней панели, есть гарантия того исключительно важного для пассажиров факта, что в свое время с меня были сняты отпечатки пальцев и власти города Нью-Йорка путем тщательной полицейской проверки удостоверились, что я не преступник, что мое дотаксистское прошлое не связано ни с убийствами, ни со взломами, ни с изнасилованиями. Правда, мне и по сей день ни разу не довелось ни прочесть, ни услышать, что какой угодно таксист, хоть проверенный, хоть не проверенный, совершил нападение на пассажира (обратное-то каждый день случается), но такое уж укоренилось в умах публики мнение, что от нью-йоркского кэббиста всего ожидать можно, и не мне с этим предрассудком бороться.

Сколько в Нью-Йорке самозванных (их еще называют джипси, то есть цыганские) кэбов, установить невозможно. Газеты пишут, что их пятьдесят тысяч, городские власти предполагают — семьдесят тысяч; точная же цифра никому не известна. Но таких, как у меня, желтых таксомоторов — 11 787. Ни одним больше, ни одним меньше.

Только нам, водителям желтых кэбов, разрешено подбирать пассажиров на улицах¹. Наши же конкуренты всех мастей имеют право лишь на того клиента, который вызвал машину по телефону. Мы — «желтые короли» Нью-Йорка, наши привилегии охраняет закон! Потому на капоте желтого кэба непременно должна красоваться особая бляшка — один из 11 787 медальонов, а понятней будет, если сказать — лицензий на извоз, которые некогда, в 1937 году, мэром Нью-Йорка Фрэнк Ла-Гвардия распродали по блатной цене: водителям-одиночкам по сто долларов, а гаражам — по десятке за штуку. Да-да: официально гаражи платили по десять монет за медальон. И хотя подозрительная эта распродажа происходила совсем в иную эпоху, сорок лет назад, ни мне, ни моим пассажирам недоступно осознать, что сегодня этот кусок жести размером с крышку консервной банки стоит столько же, сколько стоит уютный, утопающий в зелени садика особняк на Брайтоне².

Особенно трудно мне понять, что в целом состояние оценивается укрепленная на капоте моего чекера бляшка сама по себе, без машины! Что под эту жестянку банк доверит многотысячную сумму. Что эту чепуховскую цапку можно сдавать в аренду, ничего не делать и получать деньги. Впрочем, это я сейчас ради красного словца куражусь: жестянка, бляшка, — а вообще-то о

Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

¹ В 1986 году это правило изменилось; теперь таксомоторам без медальонов разрешено подбирать пассажиров на улицах (за исключением основной части Манхэттена, расположенной южнее Девяносто шестой улицы).

² Имеются в виду цены середины семидесятых годов.

медальоне никакой таксист так не скажет. В устах любого кэбби это слово всегда звучит веско, так, как «залог», «недвижимость», «заем», по какому поводу и с какой интонацией ни было бы оно произнесено. С завистью: «Видишь того грека? У него уже три медальона!» С болью: «Я мог купить медальон за десять тысяч. В свое время...» Безвозвратны сказочные те времена, собаке под хвост пошла вся твоя таксистская жизнь. Теперь медальон и за тридцать тысяч не купишь.

Обо всем этом думал я промозглым утром в последнюю пятницу сентября, возвращаясь в Манхеттен из дальнего района Вайтстоун. Тяжелый туман лежал на шоссе. Было скользко, я ехал медленно. Дрогнул под колесами обогнавшей мой чекер машины полурастерзанный труп собаки.

О том, что сегодня пятница, напоминали мне и гладкость тщательно выбритых щек, и мой парадный пиджак, аккуратно уложенный на сиденье, и брошенный в конверте поверх пиджака текст радиопрограммы: по пятницам в десять ноль-ноль у меня запись... С тех пор как я стал «подрабатывать» в такси, мне не приходится трястись на собее через весь город, добираясь на радиостанцию. За час до записи я бросаю свой кэб на стоянке у Центрального вокзала, надеваю пиджак — и бегом через дорогу к зданию 30 E 42, а там на третий этаж.

Елки-моталки! Отвлекшись досужими думами, я прозевал ведущую в Манхеттен магистраль, и теперь мне придется добираться до центра по Северному бульвару. «Мало того что порожняком, — чертыкался я, — так еще и через сто светофоров!»

Впрочем, таксист никогда не знает, где найдет, а где потеряет. Едва я вырулил с шоссе на Северный бульвар, как увидел от бровки тротуара фигуру, неуклюже взмахнувшую костью: меня просили остановиться. Скрикнули рессоры под тяжестью туши, опустившейся на заднее сиденье. «В Манхеттен, через мост Квинсборо», — сказал человек-гора.

Как ни обрадовался я неожиданному пассажиру, ехавшему туда, куда мне было нужно, но все-таки обратил внимание, что клиент-инвалид почему-то не уточнил адреса. «Манхеттен большой», — отметил я про себя; но под тиканье счетчика мысли мои унеслись куда-то далеко-далеко, черт знает куда — к подножию какого-то фантастического сооружения, которое уже не раз в течение нынешней осени приоткрывалось мне в обрывках вскользь услышанных разговоров между таксистами, и я словно сквозь марево или дым видел то вершину этого сооружения, то край его, а сейчас вдруг оно открылось мне целиком. Это была пирамида. Да-да, самая настоящая, наподобие египетских... Пожалуй, не самая грандиозная, но зато несомненно последняя из всех воздвигнутых на земле пирамид: результат муравьино-кропотливых усилий нескольких поколений нью-йоркских кэбби.

Идея этой пирамиды, сооруженной профессиональными неудачниками, которые не только не стали братьями по не сложившейся доле, но, наоборот, разделились на множество замкнутых каст, заключалась в том, чтобы еще раз напомнить миру исконную истину: нет и не может быть равенства между людьми!

На вершине пирамиды, исключавшей все эти примитивные рассуждения о равенстве таксистов: дескать, если ты извозчик и я извозчик, то какая же между нами разница? — обитали хозяева медальонов, образуя нечто вроде дворянского сословия. К водителям-пролетариям они, разумеется, относились свысока, но, что примечательно, внутри своей касты таксисты-«дворяне» тоже не были на равных! И не потому, что все сплошь хозяева медальонов были ужас до чего спесивыми людьми. Напротив, людьми они были самыми обыкновенными, а вот медальонами владели — разными. Одни индивидуальными, а другие — мини³. Как титулы, знаете, бывают графские и баронские. Какая между ними разница, я уж, наверное, до конца своих дней не разберусь: тот хозяин желтого кэба и этот хозяин желтого кэба; но если медальоны-мини поднялись в последнее время в цене до тридцати пяти тысяч, то индивидуальные звильис до сорока пяти. И потому владельцы первой «гильдии» относились свысока к владельцам второй.

Ступенью ниже хозяев отведено было место тем таксистам, которые говорят: «Кэб — мой, я только медальон арендую». Купив желтую машину (и подписав контракт на аренду медальона), кэбби получает право нанять второго водителя — от себя. Никто не в состоянии крутить баранку по двадцать четыре часа в сутки. Зачем же допускать, чтоб тачка простаивала? Почему не уступить на ночь место за рулем горемыке, который еще беднее тебя? Чужой труд — верная прибыль.

Но далеко не каждый таксист имеет возможность продавать свои силы хозяину. Для этого нужно иметь деньги (и для кэбби немалые), пятьсот долларов, если сядишься вторым водителем, сменщиком. Мало ли какой номер может отколоть кэбби-люмпен: ударит машину и скажет, что так и было, — залог необходим. Без залога не получишь в аренду ни медальона, ни кэба.

Для тех, кто сумел собрать исходные эти пятьсот, отведена в пирамиде еще одна соответствующая ступень, а самое ее основание, пыль под ногами, — это гаражные кэбби, такие, как я,

³ Имеются в виду таксистские корпорации мини-парк, состоящие, как правило, из двух кэбов.

бурлаки. Однако и наше положение, низов, ошибочно было бы рассматривать как безвыходное. Потому-то кэбби всех рангов так старательно возводили свою пирамиду, что даже самый последний нищий шоферюга в полном единодушии с хозяином пяти медальонов имел замечательное право — презирать красных, зеленых, коричневых и всех прочих подонков-джипси.

За что? Почему — подонков?

Да разве мы могли смотреть на них как-то иначе, если они постоянно, попирая закон, хватали пассажиров чуть ли не на каждом углу, воровали работу у нас, желтых королей, полноправных хозяев нью-йоркских улиц.

Колонна на мосту, стоп! — властным жестом приказала «регулирующая», приложила к горлышку и осветилась белозубой улыбкой.

— Когда доедем до Третьей авеню, поверните направо, — сказал инвалид.

Почему он не хотел открыть водителю, куда направляется?

— Теперь все время прямо.

Мы миновали Семьдесят вторую улицу.

— Прямо.

Восемьдесят шестую...

— Прямо!

Я понял, что этот белый человек едет в Гарлем.

«Тоже мне тайна, событие!» — подумал я, поскольку бывал в Гарлеме не раз.

С Третьей авеню мы свернули лишь на Сто двадцать какой-то там улице и вторглись на территорию жилого комплекса, состоявшего из высоких неприветливых домов, точно таких же, как тот, в котором жил я. Только в этом дворе играли черные дети и не было здесь ни цветов, ни травы, ни деревьев. Этот двор был сплошь залит асфальтом.

Гонявшие по двору школьники развинутили гидрант и, хотя было совсем не жарко, обливали друг дружку водой; визг, хохот. Внезапно я — ослеп! Ледяная струя ударила прямо в лицо; я инстинктивно нажал на тормоз, и в тот же миг черные бесы облепили мой кэб, как муравьи осу. Они карабкались на капот, на багажник. Они распахнули все четыре дверцы и битком набились на переднее и заднее сиденья, будто в машине не было ни меня, ни пассажира. Черные руки рылись в ящичке для перчаток и в карманах парадного моего пиджака; потом словно по команде все разом протянулись ко мне. Бесы корчили рожи и что-то сердито кричали. Они стали агрессивны. Они требовали:

— Доллар! Дай доллар! Доллар!

Помню еще, как поразило меня поведение моего пассажира. С трудом вывалившись из кэба, человек-гора (и не жира, а мышц) не оттолкнул ни одного из мальчишек, путавшихся у него под ногами, под костылями: он их боялся...

— Дай доллар! Доллар!

Я дал двум-трем немного мелочи и тронул было кэб, но меня не выпустили... Самые малые из пацанов бесстрашно встали на пути машины, упираясь ладонями в радиатор, а те, что находились внутри, тащили все подряд, что было на переднем сиденье. Один схватил пачку размокших сигарет, другой — квитанционную книжку (зачем им квитанции?), третий сорвал с моей переносицы темные очки, но не пустился наутек, а стоял рядом с чекером, дразня меня украденной вещью.

В лицо опять ударила струя воды. Я закрыл окно — по крыше бабахнул камень. Стало страшно, инвалид исчез. Я потянулся к другому окну, откуда меня не могли облить водой, и швырнул на асфальт горсть монет. Вся орава с гиканьем бросилась их подбирать. Путь был свободен!

Пацаны выскакивали из машины на ходу, задние дверцы болтались распахнутые, а я ехал и ехал куда-то, пока не раздался выстрел, от которого меня швырнуло в сторону и на который мой вырвавшийся из западни танк немедленно ответил грозной очередью: тра-та-та! Педаль газа превратилась в гашетку пулемета, подбитый чекер трясло, но он мчался и продолжал стрелять: тах-тах-тах!

Стрельба оборвалась лишь тогда, когда мой кэб оказался за пределами Гарлема. Как только я нажал на тормоз — пулемет умолк. Я вышел из машины и увидел, что правый передний скат лопнул; металлический обод колеса упирался в асфальт.

Свежая рубаша, брюки, носки, туфли — все промокло. Счетчик показывал одиннадцать¹⁷¹ долларов; я забыл его выключить. Инвалид смылся под шумок не уплатив. А может, он побоился доставать из кармана деньги? Или сунул их в кормушку? Я пошарил — денег не было.

Возможно, пацаны их украли. О деньгах, наверное, нужно сразу же сообщить диспетчеру; иначе, сдавая выручку после смены, мне придется покрыть недостачу из своего и так более чем скромного заработка.

«НЕ УПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ 600 ДОЛЛАРОВ В НЕДЕЛЮ!»

Вранье, приманка. За три с лишним месяца каторжного труда я отложил чуть больше тысячи долларов.

Впрочем, звонить диспетчеру нужно было не только из-за украденных денег. Ведь я гаражный кэбби, которому хозяева не доверяют ни домкрата, ни запасного колеса. Чтобы заменить поврежденный скат, гаражный кэбби должен вызвать техпомощь. И я поплелся через дорогу к телефону, оставляя на асфальте мокрые следы.

— Где ты находишься? — спросил диспетчер.

— Угол Парк-авеню и... — только теперь я осмотрелся как следует, — и Девяносто второй улицы.

— Жди. Не отходи от машины.

Диспетчер повесил трубку; о деньгах я не успел сказать.

Девяносто вторая улица! Добрых полмили проехал я очумевшим, в машине с болтающимися дверцами. Во рту чувствовался вкус крови. Временный мост сорвался с опор. Хорошо, что я хоть не проглотил его. Вода попала в часы, служившие мне много лет верой-правдой, и они остановились, зафиксировав время происшествия — семь сорок три.

«ТАКСИСТ САМ СЕБЕ ХОЗЯИН».

Опять же вранье. Каждый пассажир мне хозяин. Куда скажет, туда я и поеду — хоть в Гарлем, хоть к черту на рога. Велел мне сейчас диспетчер ждать, не отлучаясь от машины, и я, мокрый, продрогший, буду торчать тут и ждать.

Я снял туфли и поставил их сушиться на горячий капот, развесил на дверце пиджак. Как я покажусь в таком виде на радиостанции? Явлюсь, словно матрос на корабль после бурной ночи. И кому и что объяснишь? Я не рассказывал сотрудникам, что вожу желтый кэб. И сколько еще предстоит мне мучаться в этом проклятом такси? Полгода? Год? Я сидел на бровке тротуара, как это принято у таксистов: улица — наша гостиная, наш дом; никто из прохожих не обращал на меня внимания.

Сверкающий, как новенький цент, желтый «форд», кативший по Парк-авеню, сбросил скорость и вильнул в мою сторону. Таксист лет тридцати пяти, похожий на штангиста, так и дышавший отменным настроением, подошел ко мне.

— Эй, чего ты тут расселся?

Я молча указал на сплюснутый скат.

— Ждешь, пока приедут из гаража?

Видать, этот парень был «не первый год замужем». Только что-то уж очень наглаженный, набриолиненный. Из хозяев. Этакый кэбби-аристократ.

— Ха! Да ты весь мокрый!

Я рассказал, что случилось, и «аристократ» стал смеяться.

— Иди ты! — послал я его, но он не ответил грубостью на грубость.

— Не обижайся. Ты легко отделался, могло быть гораздо хуже. Ты думаешь, им нужны были твои мокрые сигареты? Твои квитанции?

— Для чего же они их тащили?

— Они хотели, чтоб ты погнался за одним из пацанов.

— Зачем? — спросил я, хотя, кажется, уже и сам смутно догадывался.

— Им нужно было, чтоб ты вышел из кэба. Они бросили камень в машину, когда поняли, что тебя отсюда все равно не выманить. Если бы это удалось, ты получил бы камнем по голове, а им достались бы деньги покрепче.

— Средь бела дня?

— Ты дурак? Это же Гарлем. Понимаешь — Гарлем! Как ты туда попал?

Этот трепач раздражал меня.

— А ты туда не попадаешь?

— Никогда! Запомни: черного пассажира не должно быть в твоём кэбе, иначе ты плохо кончишь. — Заглянул в кабину. — Работаете пару месяцев?

— И откуда ты все знаешь?

— Я посмотрел на твои права.

Мой таксистский номер 320 718 открыл ему, что я новичок в желтом кэбе. Веселый нахал не постеснялся взять за чем-то и мою путевку.

— Э, да ты совсем не умеешь работать!

Как это не умею? Да я уже знаю по крайней мере три дороги в Кеннеди! Да я позавчера выполнил гаражную норму. Да я могу хоть сейчас прямо на асфальте нарисовать схему магистралей Центрального парка и не сделаю ни единой ошибки! И это все не считается?

— Ни одного из твоих сегодняшних пассажиров,— вещал между тем набриолиненный кэбби,— нельзя было брать.

— А что же, по-твоему, я должен был делать?

— Взять других.

Подобного бахвала мне еще не доводилось встречать.

— Первого пассажира,— отчитывал он меня,— ты подобрал на углу Второй авеню и Пятьдесят восьмой улицы. Значит, ты только съехал с моста Квинсборо и даже не посмотрел, что делается у отелей «Ридженси» и «Пьер». Ты был в двух шагах от «Плазы». Сегодня же пятница, день аэропортов, все разъезжаются. А ты повез клиента на Шестую авеню за доллар пятьдесят пять. Это же глупо. Дальше: ты не доехал два квартала до «Хилтона» — опять глупость. Ты мог получить Кеннеди, а поехал в Вайтстоун. В Вайтстоуне тебе делать нечего. Зачем ты туда поехал?

— Женщина села в машину.

— А почему ты еепустил? Ты едешь с незапертыми дверцами?

По правилам дверцы пассажирского салона всегда должны быть отперты, но кэбби-аристократ придерживался противоположного мнения по этому поводу:

— Все четыре дверцы твоего кэба должны быть постоянно закрыты на замки!

Минимум наполовину он был прав. Если б хоть передние дверцы в чекере были защелкнуты, черные пацаны не забрались бы на переднее сиденье, и мне было бы легче выбраться из передраги.

— А для чего во Флашинге ты подобрал черного?

— Он был белый.

— Все равно ты не должен ехать в джунгли.

— Это был инвалид!

— Не твое дело. Инвалид может с полным комфортом поехать в Гарлем в цыганском кэбе. Если тебе так уж хотелось быть хорошим, надо было подъехать с закрытыми дверцами и спросить: «Куда вам, сэр, ехать?»

— Спрашивать запрещено,— напомнил я прописную истину этому всезнайке, но он отшвырнул и этот мой аргумент, словно пустую банку из-под пива.

— Заруби себе на носу: чем больше ты будешь бояться правил, полицейских, пассажиров, тем меньше ты будешь зарабатывать денег. Кэбби должен думать только об одном: как сделать деньги. Сто долларов. Каждый день.

Он наступил на большую мозоль, я признался, что ни разу еще не дотянул и до семидесяти. Нелегко признаваться в подобных вещах, и нечаянный мой учитель, наверное, понял это. С неожиданным для меня сочувствием он сказал:

— Утром деньги даются трудно. Почему ты выезжаешь в утреннюю смену?

О преимуществах вечерней смены я и сам давно догадывался, наблюдая изо дня в день, что наплыв пассажиров возникает через час-другой после полудня, именно тогда, когда мне пора возвращаться в гараж. Но ведь я жил в Бруклине, а гараж находился в Квинсе. Как же я мог перейти на вечернюю смену?

— Тебе часто приходится ездить в собее в три часа ночи? — спросил я.

— Я вообще не езжу в собее,— ответил таксист.

— Вот видишь!

Ничему, пожалуй, не научился я в такси так здорово, как искусству объяснять свои неудачи. Это у меня получалось до того убедительно, что и жена и сын всегда со мной соглашались. Однако этот вредный кэбби, от которого я за десять минут услышал больше неприятных вещей, чем за все предыдущие три месяца, рассуждал совсем по-другому. Его логика не входила в лабиринт моих обстоятельств, она прорубала выход в самом неожиданном месте.

— Тебе вообще незачем работать на гараж.

— А на кого мне работать?

— Возьми кэб в аренду.

Есть о подобных умниках меткая поговорка: чужую беду руками разведу.

— Как же я могу арендовать кэб и платить хозяину шестьдесят гарантированных долларов в день да еще покупать бензин, если я зарабатываю меньше? Это в гараже, сколько ни привез, все годится. Зачем же даже советовать такое?!

— Не шуми,— осадил меня кэбби.— Это тебе только кажется, что в гараже ты не платишь за бензин. На самом деле с тебя за все, за все удерживают. Если я включаю счетчик, я получаю шестьдесят пять центов, а ты сорок. Квотер с каждой посадки у тебя забирает профсоюз. И за эту

дурацкую техпомощь, которую ты уже час ждешь, вместо того чтобы за пять минут поменять колесо, ты тоже платишь. А зарплата бухгалтеру, который отнимает у тебя твой заработок, за чей идет счет? Аренда кэба действительно стоит дорого, и тебе придется больше вламывать, но ты же сможешь начинать и кончать свой день в самые выгодные для себя часы. Налогов платить ты не будешь, отчислений на пенсию не будет, в отпуск ты не пойдешь — вот как собирают деньги на первый взнос.

— Какой еще взнос?

— За медальон!

— Но я не собираюсь покупать медальон. Я пошел в такси всего на несколько месяцев.

Он покачал головой.

— Так не бывает. В такси работают либо две недели и бросают, либо... Я тоже, когда приехал, решил попробовать, а отбарабанил девять лет.

— Откуда ты приехал? — спросил я, надевая мокрые туфли.

— Из Албании.

Мне, конечно, из вежливости полагалось бы задать хоть пару вопросов, поинтересоваться, скажем, есть ли у моего нового знакомого семья. Но слишком уж много вылил он на меня поучений.

— Извини, — сказал я. — Мне нужно позвонить диспетчеру, а то придется околачиваться здесь до вечера.

Я даже не просил его последить за чекером, хотя склопотать штраф за оставленную без присмотра на Парк-авеню машину можно в два счета. Мне хотелось, чтоб он уехал.

— К тебе идет машина из Бруклина, — услышал я в трубке раздраженный, как обычно, голос диспетчера.

— Но я уже жду больше часу. Почему вы посылаете машину из Квинса сперва в Бруклин, а потом в Манхеттен?

— Слушай, 866, ты у меня не один. Тот вызов был сделан раньше.

Теперь я был доволен, что албанец остался. Все равно нужно ждать, так уж лучше вдвоем. Но, вернувшись, я все же спросил его:

— Ты хоть знаешь, сколько уже времени мы с тобой болтаем? Тебе не нужно работать?

— Нет! — Он самодовольно хмыкнул и вынул из бокового кармана куртки пачку стоцолларовых бумажек. — Я набит деньгами! Теперь я буду ездить в такси только на заднем сиденье: на меня будут работать другие. Идем, посмотришь мою машину — на спидометре сорок миль!

Новенький кэб со свежей черной надписью на дверце «Tigana taxi corrogation» и вправду был великолепен. «Бывший таксист» огладил свою красавицу.

— Я сдал бы ее тебе, но я уже обещал одному парню, албанцу.

Купил он, оказывается, не один медальон, а два — корпорацию целиком! И заплатил все до цента наличными. Два медальона и две машины должны были стоить тысяч под девяносто. Откуда у таксиста такая сумма?

— Ты копил несколько лет?

— Девяносто тысяч в желтом кэбе и за всю жизнь не накопишь. Я сделал их, — он щелкнул пальцами, — вот так!

— Каким образом?

— Ты все равно не сможешь, даже если я скажу.

Неужто он нашел в своем кэбе чемодан или мешок с деньгами? — вспомнил я предсказание цыганки из моего первого таксистского дня. Такие случаи бывают, я уже и слышал и в газетах читал, например, о таксисте, вернувшем ювелиру портфель с образцами алмазов. Вероятно, и этот албанец тоже что-то нашел — и не вернул. Массивные золотые часы на смуглой его руке показывали девять пятнадцать. Я мог опоздать на запись. Нужно было немедленно звонить: либо на радио извиняться, либо еще раз в гараж. Перебегая через дорогу, я заметил, что туфли мои уже не оставляют следов, подсохли.

— Я 866. Я жду вашу техпомощь уже полтора часа.

— Не вздумай бросить машину! — рявкнул диспетчер. — Иначе тебе придется искать другой гараж!

Я повесил трубку.

— Чего ты такой нервный? — спросил албанец.

В противовес его богатству я похвастался, что у меня есть другая работа и что я должен быть там к десяти.

Албанец снова принялся учить меня:

— Если ты работаешь один день в неделю и получаешь сто девяносто долларов, тебе нечего делать в такси. Если тебе не хватает денег, то пойди на курсы бухгалтеров, программистов, научись чему-нибудь, но забудь про желтый кэб. Такси — это только для тех, кто ничего не умеет и ни на что не годится. Это грязная, тупая работа, она оглушает: ты все время считаешь и считаешь ч у ж е деньги; но ты держишь их в руках, и тебе кажется, что они — твои. Водить кэб — не профессия, а дурная привычка. Ты привыкаешь каждый день получать немножко живых денег, это засасывает, как наркотики, и п о т о м ты не уйдешь.

Несчастливого, промокшего, уговорить меня было нетрудно, и албанец чувствовал это.

— Брось ключи в багажник и больше никогда в жизни не прикасайся к этой гадости!

Я вспомнил, что мне еще предстоит объясниться в гараже по поводу одиннадцати долларов.

— А как они отбуксуют чекер в гараж?

— Не твое дело.

— А как быть с вырубкой?

— Никак.

— Ты тысячу раз прав,— сказал я.

Албанец все же не верил, что у меня хватит духу оставить машину на Парк-авеню, и пошел к чекеру следом за мной. Я швырнул в багажник ключи и захлопнул крышку.

— Молодец! — одобрил албанец.— Поехали. Я тебя отвезу.

Мы уселись в «форд», было без двадцати десять.

— Куда прикажете, сэр? — спросил, сияя, один кэбби другого.

Я назвал адрес радиостанции и прикрикнул:

— Эй, если хочешь получить на чай свой квотер, пошевеливайся! Я спешу!

— Слушаюсь, сэр. Большое спасибо, сэр. Вы самый щедрый на свете сэр!

И мы помчались. Я снова был счастлив: игра кончилась. Албанец тоже был на седьмом небе; мы оба распрощались с такси. Я — через три месяца, он — через девять лет.

— Никогда! — сказал я.— Не за тем я приехал в Америку, чтобы гонять желтый кэб.

— Никогда! — повторил албанец как клятву.

И если бы кто-нибудь сказал нам в ту минуту, что вскоре, еще до того, как выпадет первый снег, мы снова встретимся — ночью, на смрадной стоянке в Кеннеди,— мы оба от всей души рассмеялись бы.

Глава 6. «ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ...»

Высокий седой человек ждал меня у входа в студию, поглядывая на часы, чтобы подчеркнуть, как он мной недоволен. Обычно я приходил за час до записи, и этот час мы работали. Сегодня же, изжеванный, взмыленный, я появился без двух минут десять и, поздоровавшись на ходу, прошмыгнул внутрь. Но едва звуконепроницаемая дверь затворилась за мной, как все отлетело: и туман на шоссе, и растерзанный труп собаки, и струя в лицо, и неизвестным образом разбогатевший албанец.

Холодок волнения пробежал по коже, вспыхнула красная лампочка, пошла звуковая заставка: ГОВОРИТ «РАДИО СВОБОДА».

Вступают м о и девять с половиной минут.

— СЕЙЧАС ВЫ УСЛЫШИТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ «ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ».

Девять с половиной минут правды...

«В народе говорят: хлеб всему голова. Хлеб — прекрасное и драгоценное творение человека и природы. Хлебом мы измеряем богатство страны!» Хотя эти слова принадлежат одному из советских вождей, бессменному в последнюю четверть века члену Политбюро⁴, под ними охотно подпишется любой западный советолог — и либерального направления и антикоммунист. Да, это в высшей степени точная формулировка: богатство России измеряется хлебом. Такова уж национально-экономическая особенность этой великой державы.

А вот высказывание одного из лучших советских журналистов⁵: «Природа даровала нам богатую землю. Нигде в мире нет таких тучных, мощных и огромных по площади черноземов, как у нас, нигде в мире нет пшеничного моря, разлившегося на 70 миллионов гектаров».

В музеях Киева, в знаменитой Печерской лавре, выставлены под стеклом тяжелые золотые блюда, чаши, кубки, поставцы. «Несметные сокровища эти,— объясняют экскурсоводы,— были добыты предками русинов не в войнах, не грабежом. Этим золотом древние Афины и древний Рим платили за хлеб, выращенный в степях Тавриды, Приазовья, Нижнего Днепра». И это для русского ума непостижимо: почему же теперь в эти степи хлеб везут из Америки? Какие же воистину

⁴ В. В. Щербицкий.

⁵ Анатолий Иващенко.

нечеловеческие усилия нужно было приложить, чтобы сломать тысячелетиями сложившиеся здесь традиции хлебопашества и оставить без хлеба самую щедрую житницу планеты — Россию!

Именно об этом, о нечеловеческих усилиях, я рассказываю в каждой своей программе.

Представьте себе сонный город в российской провинции, где к свадебным застольям еще выносят окровавленную рубашку новобрачной; где дети, здороваясь по утрам с родителями, целуют руку кормильца отца. Заплеванная семечками набережная Волги, 1916 год.

Представьте себе все это уж как сумеете и прикиньте в уме: что может быть скучнее лекций по «частному земледелию» на сельскохозяйственных курсах в глухом Саратове? Пожалуй, лишь словоблудие через край какого-нибудь выскочка, который очаровывает местных девиц сентенциями, например, такой, что цивилизация на нашей планете началась с того, что неведомый гений из наших предков, собрав горсть зерен дикой пшеницы, не съел их, а бросил в землю. «Как вы думаете, — спрашивал выскочка аудиторию, — существуют ли на свете белые васильки?» Недоумение, тишина: каждый ребенок знает, что белых васильков не бывает. Они синие, их называют синюхами. «А красные ландыши?» Студенты смеялись. «Мало кто их видел. Они редки, как многие цветные камни, но они — существуют!»

Лектор, читавший «частное земледелие», был прямо-таки уверен, что где-то на земле белые васильки и красные ландыши обязательно произрастают, чтобы заполнить пропущенные «цветовые клетки» в выдуманной им периодической системе растений. Несуразная идея эта была, впрочем, по-своему созвучна эпохе: бушевала революция, общепризнанные представления по любому поводу ниспровергались; усики у лектора были пресимпатичнейшие, курсистки его обожали, и одна из поклонниц даже напечатала в местном листке заметку: дескать, у нас в Саратове живет замечательный энтузиаст, который может предсказывать свойства неизвестных науке, не открытых еще растений, Менделеев от ботаники!

Если бы научные авторитеты склоняли головы перед каждым, кого славословят провинциальные листки!.. Именитые коллеги скептически спрашивали: «Где, однако, прикажете искать ваши красные ландыши?» Выскочка, разумеется, этого не знал и отвечал туманно: «Там, где они возникли. На их родине.»

Статьи в зарубежных журналах совсем вскружили голову бедняге, и у него появился новый пункт: все растительное разнообразие извергнуто на поверхность планеты из одного кратера. Как вам это нравится? Из какого такого кратера? Где расположенного? Молодой профессор толком не знал и этого, но был он, как ни странно это звучит, фантазером практического склада. Не васильки и не ландыши волновали его ум, и ни в одну из своих аспиранток (уже ленинградских, а не саратовских) не влюблялся он так, как с юности был влюблен в королеву пяти континентов — Triticum, пшеницу. Он задумал отыскать на планете ее родину! Смысл своей жизни он видел в этом предстоящем открытии.

Около двадцати тысяч видов пшеницы упоминают ботанические справочники. Исследуя их, он описал идеал, которого не существовало и который он мечтал создать. Не сам: он был теоретиком. Он понимал, что осуществление этой мечты поглотит тысячи и тысячи жизней талантливых рыцарей науки. Свою миссию он видел в том, чтобы указать им путь.

Родина пшеницы в его понимании представляла собой «кладовую генов». Каждый ген — это п р и з н а к: крупность зерна, озерность колоса, упругость удерживающих зерно колосковых чешуек, неполегаемость стебля, несущего колос, мощность корневой системы, которая поит и кормит растение. Из пятидесяти желанных признаков р а з н ы х п ш е н и ц он хотел синтезировать идеал. Но пока не найдена «кладовая генов», пока на земном шаре не будет установлено месторасположение кратера, из которого на поверхность планеты извергнуто ее нынешнее растительное многообразие, все успехи и неудачи селекционеров, «конструкторов растений», — набор случайностей.

Руководитель крупнейшего исследовательского центра, он заставлял боготворивших его молодых ботаников изучать корни мертвых языков. К старинным фойлиантам и орудиям древних земледельцев — мотыгам, серпам, жерновам, — к надписям на глиняных табличках и коллекциям нумизматов обращались его ученики в поисках родины злаков и срисовывали изображения колосов с полуистертых монет. Не хранит ли ассирийская летопись наряду с повестью о военных походах полузабытые строки о загадочном прошлом пшеницы? Не откроет ли расшифрованная клинопись тайну ржи? Не назовут ли наскальные рисунки родину овса?

«Где же все-таки находится ваш пресловутый центр происхождения растений?» — спрашивали его министры. Он не знал. «Вы истратили миллионы. Вы ищете уже десять лет. Назовите конкретный срок!» Он не мог; он отвечал, что избранный им метод поиска, к сожалению, оказался ошибочным: «Мы собрали тысячи фактов, но все они зыбки и недостоверны...»

Однако же всемогущие хозяева страны, перед которыми ему приходилось держать ответ, не принимали подобных объяснений, ибо они, хозяева, знали туго, что советская наука не ошибается никогда!

Впрочем, несколько лет спустя этот опальный в своем отечестве ученый снискал всемирную славу: сидя в своих гербариях, он указывал на глобусе с точностью до ста километров, откуда ведут свое происхождение десятки культурных растений. Это было почти фантастично. Он указал на карте Западного полушария точку и заявил, что именно здесь находится родина кукурузы. Снарядил экспедицию, послал за океан одного из своих учеников, и через пару лет будущий академик Букасов привез в Ленинград 1183 вида кукурузы. Многие из них не были прежде известны.

Брошенной им походя мысли было подчас достаточно, чтобы в науке возникло новое направление. Мир, планета — иными масштабами он не мыслил. Его любимым выражением было «стоять на глобусе»! Но его непоследовательность шокировала, его поведение не укладывалось ни в какие рамки. Если бы только любовные истории!

Нелегкая вечно носила его то по Африке, то по Австралии. Караванным путем, на лошади, через барханы, через горы, по оврингам — он странствовал по пятидесяти двум странам и вел переписку на двадцати языках, когда у него на родине за одно письмишко двоюродной тете в Румынию или Польшу сплошь и рядом давали по десять лет тюрьмы! Он принимал на ответственные должности не просто еврейчиков, а выискивал самых «злокачественных» — изучавших иврит, и посылал их обследовать поля Палестины.

Его нельзя было впускать в кабинет: он постоянно выпрашивал деньги! Совсем немного: для экспедиции в Тибет и Монголию. Там, в пустыне Гоби, где снег от зимней засухи испаряется, не успев растаять, где летом трупы животных иссыхают, а не разлагаются, должна произрастать дикая пшеница, корни которой уходят на десятки метров вглубь! Если передать этот ген культурным злакам, Россия забудет о засухах, мир — о голоде.

Денег не дали, но он был оптимистом: «Как-нибудь выкрутимся. Для начала загоним мои золотые часы...» Зачем ему золотые часы, если в хранилищах его института постепенно сосредоточивается самое драгоценное сокровище планеты, ее «растительный капитал».

Ленинград. В старинном особняке, где разместился головной из его институтов, вдоль скрипучей деревянной галереи тянутся многоэтажные стеллажи, составленные из тысяч и тысяч ящичков, на каждом из которых помечено: «Голландия», «Горный Китай», «Месопотамия», «Польша», «Перу», «Борнео», «Япония»... В каждом ящичке — зерно. Живое зерно в с е х произрастающих на земном шаре колосьев. Это одно из чудес света: мировая коллекция злаков. Многие, многие из них были впервые обнаружены его учениками или им самим.

Triticum Yakubtziner... Triticum Zhukovski... Triticum Vavilovi...

Его арестовали прямо в поле. В тот день, когда он открыл еще один новый вид пшеницы, для него — последний.

В публичной библиотеке Нью-Йорка я листал подшивку международного научного журнала «Heredity»⁶. — Обложка этого высококотижного издания не изменяется уже несколько десятилетий — на сером фоне в столбик пять имен величайших за всю историю науки биологов: Linney, Mendel, Morgan, Mechnikov — и последнее, пятое имя: Vavilov...

В биологии XX века так и не возникло более яркого.

Он умер от голода в саратовской тюрьме, в том самом городе, где когда-то, еще совсем молодым, написал свою первую, ставшую классической работу — о законе гомологических рядов.

Зачем они его убили? Трудно задать вопрос более бессмысленный.

Зачем горели печи Освенцима?⁷

Пока я говорю в микрофон, пока крутятся бобины звукозаписывающей установки, я неотрывно слежу за выражением лица высокого седого человека. Если его лицо напряжено, если глаза блестят, это значит, что все в порядке: в мои интонации не вкралась патетика, а сказанное не оставляет равнодушным, по крайней мере этого слушателя.

Это американский киноактер Ник С., который время от времени снимается то в эпизодах, то в рекламных роликах и который, с тех пор как существует «Радио Свобода», заведует отделом звукозаписи в нью-йоркском филиале. Еще ребенком, лет пятьдесят назад, родители привезли его из России, но он навсегда остался частицей той страны. Он до сих пор живет русской жизнью. Никита Николаевич (так по-русски звучит его имя) знает названия улиц и площадей в Москве, Ярославле, Рязани. Он помнит, какая премьера состоялась в прошлом месяце в Большом, а какая

⁶ «Наследственность».

⁷ В текст этого отрывка введены без кавычек высказывания академика Н. И. Вавилова, его современников — научных публицистов, а также цитаты из очерка «Русская пшеница» Юрия Черныченко.

— в Кировском театре. В американских фильмах Ник Ник играет задушевных епископов, обаятельных генералов, добряков бизнесменов, но все это не больше чем кинофокус, обман. Бог ты мой, с каким тяжелым человеком свела меня судьба: на записи это деспот! Он прерывает меня чуть ли не на каждом слове.

— Чем больше пафоса в голосе у комментатора, тем меньше я верю в его искренность. Чем страшнее факты, о которых вы рассказываете, тем спокойнее должен звучать ваш голос.

Я очень доверяю этому человеку. Я многим ему обязан. Я его люблю. Над каждой передачей мы работаем до седьмого пота: он учит меня говорить в микрофон естественно, без котурн. А это самое трудное.

— Стоп! Что за злобный демагог там завывает? У меня нет ни малейшего желания его слушать! Давайте еще раз от слов: «Его арестовали прямо в поле...»

К сожалению, с редактором, моим непосредственным начальником, у меня не сложились такие же отношения, как с Никитой. Хотя это тоже вполне интеллигентный человек и его воспитанность не позволяет ему, например, скривиться, когда я вхожу к нему в сумрачный кабинет, глядящий окном во двор-колодец. Редактор галантно встает мне навстречу, но всякий раз при моем появлении на его лицо ложится печать такой гнетущей тоски, что он считает необходимым высказать вслух хоть какое-то приличное объяснение этому.

— Ужасно! — восклицает редактор. — Совершенно ужасно, знаете ли, это смешение дневного и электрического света. И для зрения крайне вредно.

Сказав это, он выключает настольную лампу. Проходит минута, мы оба молчим. Я пришел сюда не по своей воле, но и мой начальник вызвал меня вовсе не потому, что ему захотелось со мной повидаться.

С чуть заметным недоумением поглядывает редактор на мой потрепанный, советский еще костюмчик. Он легко и охотно мог бы избавить меня от продолжения «эпопеи такси», положил бы мне тыщенок в двадцать оклад, дал мне медицинскую страховку, переселил бы мою семью из бруклинского «рая бедняков» в собячок где-нибудь в зеленом пригороде Нью-Йорка или Мюнхена; но его ли вина, что передачи мои тенденциозны, а ведь у нас — детант...

Говорить нам вроде бы не о чем, но редактору было велено еще раз со мной побеседовать. Неприятное поручение это вынуждает его начать, как всегда, чуть загадочно:

— На днях один влиятельный американец взял на отзыв вашу последнюю программу...

И поскольку мы оба догадываемся, что ничего хорошего «один влиятельный американец» сказать о моей программе не может, редактор заранее журит меня смесью сочувствия и досады:

— Ну, зачем вы все время пишете одно и то же: хлеб, хлеб, хлеб... Все у вас мрачно, все в черных красках, и в конце концов — ну кому это интересно?!

Швырнув ключи в багажник гаражного кэба, я утратил свою только-только обретенную независимость. И теперь, выслушав советы редактора, уж постарался бы, наверное, перестроить свое обозрение о советском сельском хозяйстве, с тем чтобы потрафить начальству. Но как это сделать, мне так и не удается узнать: в тесную каморку врывается смерч, тайфун...

— Простите, что я так внезапно! — шумит тайфун, сбрасывая редакторскую шляпу с приоткрывшейся у входа вешалки.

Это заведующий отделом новостей Кукин, профессор политических наук и самый энергичский ветеран радиостанции «Свобода». Он тут же бросается поднимать шляпу и опрокидывает настольную лампу. Однако редактор успел изготовиться: ловко подхватывает лампу и тянется отобрать свой головной убор.

— Тысяча извинений! — буянит Кукин, не выпуская редакторской шляпы из рук. — Позвольте мне срочно похитить нашего уважаемого автора!

И мы все трое рады. Профессор — тому, что разыскал меня, редактор — тому, что от меня избавился. Я же доволен еще больше: Кукину я мог понадобиться только для одной цели — «сделать новость».

«Сделать новость» — это значит перевести на русский язык информацию из «Нью-Йорк таймс» и начитать ее в микрофон. Работы часа на два, заплатят за нее хорошо; а я уже привык зарабатывать немножко живых денег в промежутках между двумя чеками по сто девяносто долларов.

— Сегодня я вас порадуя! — кричит на меня Кукин. Властно обвив мою талию, он увлекает меня по коридору, и я неожиданно замечаю, что мы не идем, а бежим.

— Сегодня я дам вам две (!) информации, а вы сами (!) выберете, какая из них подойдет. — С этими словами Кукин протягивает мне две газетные вырезки: «На международный рынок выброшены крупные партии советского золота» и «Перуано-болливийский конфликт по поводу прибрежной рыболовной зоны».

— Интересная заметка,— говорю я.— Им опять нужна валюта для закупок зерна.

Кукин в восторге.

— Так я и знал,— говорит он,— что вы захотите сделать про золото! Вот видите: вы работаете у нас всего три года, а уже решили, что можете самостоятельно отбирать материалы для передач.

Оказывается, профессор хотел проверить, насколько я вырос как работник. Надежд его я не оправдал, но он этим доволен.

— Не все приходит сразу,— утешает меня Кукин.— Поработаете с мое — научитесь. А пока попрошу вас срочно подготовить «Рыболовную зону».

«Да, это настоящая сенсация для наших слушателей! — думаю я.— Они же буквально ночами не спят над своими транзисторами, чтобы не упустить сквозь вой глушилок: какую ноту направило сегодня Перу Боливии?»

Не так давно я сам, бывало, часами просиживал над своей «Спидолой», пытаюсь поймать хоть какую-нибудь западную станцию, а потом, услышав подобный бред, неделю не прикасался к приемнику. Но Кукин заплатит за «Рыболовную зону» пятьдесят долларов, и я покорно иду за ним в отдел новостей.

А через некоторое время такой вот разговор произошел у меня в библиотеке.

— Ага, вот ты где! Давай три доллара...

Передо мной хорошенькая кокетливая москвичка. Здесь работает дикторшей.

— А почему это ты даже не спрашиваешь, для чего я требую у тебя деньги?

— А с какой стати я должен спрашивать? Захочешь — скажешь.

— Нет, серьезно. Разве ты не слышал?

— Что такое?

— Никиту уволили...

Она окончила в Москве театральный институт, год или два играла на московской сцене, но ее литературное русское произношение, как и мое, шлифовал Никита.

Конечно, увольнение для него не трагедия. Он будет получать приличную пенсию; да и ушли его, в общем-то, по объективной причине: радиостанции опять срезали бюджет, ведь у нас — детант.

— Здесь нечем дышать из-за этих «объективных причин»! — говорит актриса, и только теперь я замечаю, что она выглядит как-то не так, что в ее почти юном лице зловеще проглядывает старуха: ее мать? ее бабка? или, может, то была уже поджидавшая ее за углом кокаиновая американская смерть?

— Уходи из этого болота,— советует мне актриса.

— Куда?

— Думаешь, я не знаю? Тебя видели... Я так обрадовалась, когда мне сказали.

— Чему? Грязная, унижительная работа.

— А эта — не унижительная?

По длинному коридору, приближаясь к нам, идет «один влиятельный американец». Это наш босс, мистер Т. Я гляжу на него и думаю, что, хотя это нехорошо, неприлично и вообще «так нельзя», у меня не хватит душевных сил, чтобы с ним поздороваться.

Даже в самых искренних наших порывах, даже в самых решительных наших поступках непременно присутствует элемент пезы. Да, я изрядно намучился, с тех пор как дантист «бесплатно» вставил мне временные протезы: укушу яблоко или хлебную корку — больно, каждая ложка горячего супа — боль. Да, действительно: для того, чтобы снова ощутить себя полноценным человеком, мне необходимы были деньги. Но разве я погибал? С первых же дней работы в гаражном кэбе стало ясно, что я избрал неподходящий, какой-то чересчур «драматический» способ оплатить счет зубного врача. А уж возвращаться в такси теперь, когда на моем счете в банке собралось свыше ты с я ч и долларов, и вовсе не было никакой необходимости. Брайтон-Бич буквально кишел дантистами-эмигрантами, которые, как и мой знакомый доктор, не осилили пока американский экзамен и были бы рады вставить мне зубы не за четыре тысячи долларов, а за две, и притом охотно согласились бы получить свой скромный гонорар и в рассрочку. Мы с женой не раз обсуждали этот вариант. Русский «подпольщик», безусловно, выполнит работу хуже, но разве наш жизненный опыт приучил нас пользоваться вещами или услугами непременно высшего класса? И тем не менее я не спешил расстаться с деньгами, которые достались мне так тяжело.

Как блудный сын к отцовскому очагу, вернулся я на русский пятачок. Пока я работал в гараже, у меня не было ни времени, ни сил фланировать после захода солнца по деревянной

набережной в толпе эмигрантов. Теперь старые знакомства восстанавливались. Будущий миллионер Миша по-прежнему продавал сосиски, но уже поостыл, не рвался штамповать золотые медали. Он стал человеком серьезным: подыскивал рыбный магазин.

— Он сам не знает, что он ищет. Над ним же все смеются! — Мишину супругу душила зависть. — Скажите, Володя, я говорю неправду?

— Кто смеется?

— Наша жидовня! Пока он хлопает глазами, люди торгуют!

Недели две назад на Брайтоне с большой помпой открылся магазин «Дары океана», где за стеклом витрины-аквариума плавали ленивые карпы, и с этого дня Мишина жизнь превратилась в сплошной кошмар.

— Ничтожество! — свербела Роза. — Я его, Володя, теперь иначе и не называю: мое ничтожество!

Миша смотрел на жену, сосредоточенно размышлял: дать ей по морде сейчас или потом? Однако джентльменская сдержанность взяла верх в Мишиной душе, и он ограничился лишь тем, что сказал жене с укоризной:

— За такие слова при чужом человеке тебе надо нас... на голову.

Полоса прибоя, шурша о песок, подкрадывалась к набережной; мы остались на лавочке вдвоем.

— Она еще прибежит и скажет: «Ой, знаешь, ты таки был прав: они сгорели!»,— пророчествовал Миша, глядя вслед удалявшейся супруге.

— О чем это ты? Кто сгорит?

— «Дары океана». Как они его открыли, так они его и закроют.

Тихо плеснула в темноте невидимая волна.

— Рыбный магазин, чтоб ты знал, Володя, нужно брать в черном районе.

— Почему непременно в черном?

— Негры покупают много дешевой рыбы. — Губы Миши дрогнули. — Я нашел магазин! — Но в голосе слышалось не торжество, а страдание.

— Дорого просят?

— Не в этом дело. Хозяин хочет двадцать тысяч — под столом.

— Этому человеку можно доверять? Что он собой представляет?

— Гитлер! Обобрал родного брата, которому восемьдесят лет, снял со старика последнюю рубашку.

— Как же можно давать ему двадцать тысяч под честное слово?

Миша запрокинул голову и поглядел в небо.

— Вот это самое говорит и мой адвокат.

Над нами горели бруклинские звезды.

— Но я дам ему деньги, Володя! Пусть она кричит, что я сумасшедший. Слушай: а вдруг это — мое? Понимаешь, мое счастье!..

На русском пятакке я чувствовал себя, как выброшенная на песок рыба. Я тосковал о желтом кэбе. Так заключенные, выйдя на волю, тоскуют по лагерю...

Часть третья

ОДИН ДЕНЬ ТАКСИСТА

Глава 7. УТРО С КИТАЙЦЕМ. 7.00 — 10.00

Для водителя такси, у которого в банке лежит тысяча долларов, снять кэб в аренду так же просто, как для безденежного кэбби устроиться на работу в гараж. Наперебой со всех сторон мне делали заманчивые предложения, но почувствовав, что нужен сразу многим, я стал переборчив.

Восьмицилиндровым «фордам» (других тогда не выпускали) я отказывал как неэкономичным. Оба предлагаемых «шевроле» не имели перегородок, а я понимал, что теперь далеко не всегда предстоит мне возвращаться домой засветло: мало ли кто сядет ночью в мой кэб. Настоячивому «доджу» я высказал напрямик, что он не подходит мне по возрасту — слишком стар, и перспектива таскаться с ним по ремонтным мастерским меня не привлекает. Отказав всем, я

выписал чек на пять долларов и послал в эмигрантскую газету объявление, правдивое в такой же степени, как то, которым я в свое время соблазнился:

«СДАЙТЕ СВОЙ КЭБ В НАДЕЖНЫЕ РУКИ! ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТАКСИСТ С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ ВОЗЬМЕТ В АРЕНДУ НОВУЮ МАШИНУ С ПЕРЕГОРОДКОЙ».

О том, что объявление напечатано, меня оповестил ранний телефонный звонок. Неуместно томный женский голос мурлыкал в трубку: «А сколько вам лет?.. Вы женаты?.. У вас есть дети?..»

Выслушав мои ответы, незнакомка сказала, что, по-видимому, мы подойдем друг другу, и предложила встретиться на Брайтоне у входа в кафе «Мечта». Никакого недоразумения, однако, не произошло, и вопросы мне были заданы исключительно деловые. Суть вещей заключалась в том, что молодые холостяки — самый перспективный контингент бракосреднических бюро — крайне низко котируются на таксистской бирже труда: это люди непредсказуемых поступков. Долго ли холостяку загулять, надраться, а надравшись, разбить машину? Унылый, обремененный семьей тип вроде меня — самый желанный вариант для владельца желтого кэба. Такой хоть и наврет, что всю жизнь водил такси, зато пьяным за руль не сядет.

Мы встретились. Пожилая, с алыми губами на жухлом лице хозяйка чекера с перегородкой прежде всего дала мне понять, что мы «люди разного круга» (я далеко не сразу понял, почему это для нее так важно), что ее муж — «столичный архитектор», что она — москвичка и театралка и потому название корпорации, написанное на дверце кэба, столь необычно.

Название это — «Taganka taxi corporation» — я видел прежде на дверце машины, на которой ездил Ежик, но я не стал говорить хозяйке, что знаю ее мужа.

На спидометре предлагавшегося мне чекера было меньше тридцати тысяч миль, и нам оставалось лишь договориться о цене да уточнить, где я буду передавать кэб напарнику, но прежде мне пришлось выслушать следующее: хозяйка не хочет сдавать машину двум водителям, которые за год превратят ее в развалюху, и не соглашусь ли я арендовать кэб по سخодной цене, по дешевке, триста семьдесят пять долларов на полную неделю?

Такой вариант не входил в мои планы: ведь я и не думал бросать работу на радио. Однако же за половину недели — если арендовать такси через день или посменно — полагалось платить «всего» на сто двадцать пять долларов меньше. Разница, казалось мне, была не так уж велика, а я получал машину в полное свое распоряжение. Если не будет напарника, то не будет и дряг: кто поцарапал крыло? чья очередь менять масло? Работай, когда хочешь, сколько хочешь. Это и была именно та таксистская свобода, которую только сулил, но не дал мне гараж.

Мы с хозяйкой ударили по рукам, и за сто двадцать пять долларов я купил себе целый ворох благ и поблажек. Отныне мне не приходится вскакивать в четыре часа ночи с гудящей, чугушной головой. Теперь я безмятежно сплю, пока на далеком острове Манхеттен не кончится — будь она трижды проклята! — выматывающая нервы предутренняя гонка. И таскаться через весь город в метро на работу в гараж и после работы домой мне тоже не нужно, и жена моя не должна ходить за продуктами с коляской. По субботам я устраиваю себе выходной, и мы с женой чинно, как все остальные таксистские супружеские пары из нашего дома, отправляемся в «своем» чекере за покупками.

К сожалению, аренда кэба имеет не только положительные стороны. Моя беда — это моя стопроцентная ответственность за все, что случается с машиной. Однажды ночью кто-то разбил в чекере боковое стекло. Хулиган даже не открыл дверцу, не любопытствовал заглянуть внутрь: он нашел бы под сиденьем мою монетницу, в которой всегда долларов на десять мелочи, блок сигарет, изящную авторучку, которую подарил мне сын, но все это было ему не нужно. Он разбил окно просто так.

— Мне досадно, что такое случилось, но я ни в чем не виноват, — сказал я хозяйке, имея в виду, что не должен, по-видимому, платить за стекло, и услышал в ответ:

— Я тоже не виновата.

Хозяйка подразумевала, что платить придется все-таки мне. Компромисс — разделить нечаянный убыток пополам — она тоже отвергла. В денежных вопросах столичная театралка была совершенно бескомпромиссна. Стекло обошлось мне в пятьдесят долларов.

— Неужели вам не совестно так поступать с человеком, который на вас работает? — спросил я свою соотечественницу. — Ведь ваш муж тоже водит такси, и вы знаете, какой это труд.

— Именно поэтому я так и поступаю, — отвечала хозяйка. — Если бы я сбросила вам двадцать или сколько там долларов, их пришлось бы отработать моему мужу. А его, извините, я жалею больше, чем вас.

С тех пор после памятного того случая я каждое утро, едва проснувшись, первым делом выглядываю в окно. Мы не оговаривали с женой Ежика, вернет ли она мне залог, мою тысячу долларов, если чекер угонят; но лучше бы, чтоб до спора на эту тему дело не дошло. Лишь убедившись, что кэб, украшенный яркой пилоткой рекламы, стоит на месте, я направляюсь в ванную. Однако и умываясь, и глотая горячий кофе, я всей душой там, внизу, с хозяйкиным чекером: не случилось ли с ним что-нибудь за ночь? не свинчено ли боковое зеркальце? не сняты ли колеса? Таких подробностей с девятнадцатого этажа не разглядишь. Поэтому окончательно я успокаиваюсь, уже спустившись к машине и внимательно осмотрев ее. Так было и утром того дня, о котором я собираюсь рассказать подробнее.

К чекеру никто не прикасался, все было в полном порядке, и свой первый доллар я получил, как обычно, еще до того, как завел мотор: когда подметал в машине, вытряхивал окурки из пепельниц и протирал стекла. Подняв по привычке заднее сиденье, я извлек из пыльного ящика рассыпанных оброненными пассажирами пятаков, двадцатипятицентовую монету и собейный жетон. Думал ли я, продельвая все это, о китайце? Едва ли. Если я вообще был способен о чем-нибудь думать после вчерашнего пятнадцатичасового рабочего дня, то наверняка о деньгах. О том, что, когда оторвал голову от подушки, я был уже должен хозяйке семнадцать долларов восемьдесят четыре цента. Ну и, конечно, о том, что, пока я спустился к машине, прошел еще час, и, стало быть, мой долг возрос до 20.07. Что за арифметика? Очень даже простая.

Люди, которым не приходилось арендовать желтый кэб, редко задумываются над такой очевидной истиной, что в неделе 168 часов. Если разделить сумму моей арендной платы — 375 долларов — на 168 часов, получается, что я плачу хозяйке 2.23 в час. Каждый час. И когда сплю. И когда ем. И когда отправляюсь с женой за продуктами. И сейчас, когда порожняком жму по шоссе в Манхеттен.

Аренда кэба — жестокая штука. Да, я свободен и могу выехать из дому, когда мне вздумается. Могу совсем не поехать на работу. Никто меня не понукает. Но не в моих силах остановить тот, второй счётчик — в кошельке хозяйки, который неумолимо по четыре цента в минуту, по 2.23 в час все наращивает и наращивает мой долг. И пока этот долг не будет перекрыт, пока не оплачена стоимость сожженного за день бензина, имею ли я право вернуться домой? Мою жизнь — соотношение часов отдыха и труда — контролирует доллар.

Чекер бежит по шоссе. Хозяйкин счетчик тикает, а мой — когда я еще включу его?

Почему я еду порожняком? В Бруклине пассажира в город искать бесполезно. Первое время я делал по утрам небольшой круг и проезжал по Брайтон-Бич-авеню в поисках клиента. И случалось — меня останавливали. Но с той поры как я вернулся в такси, все четыре дверцы моего кэба постоянно зашелкнуты замками, и, прежде чем открыть их, я спрашиваю человека, который меня остановил: куда вам ехать?

Люди сердятся, и, честное слово, я их понимаю, и мне не надо напоминать, что по правилам Комиссии такси и лимузинов за этот вопрос полагается. Но жизнь упрямо твердит и твердит свое: чем строже соблюдает кэбби установленные для таксистов правила, чем больше он боится жалоб, полиции, инспекторов, тем меньше он привозит домой денег.

В Манхеттене пассажиры на короткое расстояние — это твердый заработок, их много: один выходит, другой садится. Пассажир на короткое расстояние в любом другом районе — это потеря времени. Жители Брайтона редко позволяют себе истратить на такси больше пятерки. В кэбе они обычно добираются в те уголки Бруклина, куда не ходят автобусы. Подобные поездки лишь уводят меня от шоссе.

Утренний клиент с Брайтона в город мне не попадался ни разу, и единственное, что запомнил я после всех бесполезных заездов на Брайтон, была зловещая картина уничтоженного ночным пожаром магазина «Дары океана!» Каким образом мой приятель сумел предсказать и финансовый крах, и последующий ход неудачливых предпринимателей?

О чем еще я думал в то утро? Казалось бы, уж теперь-то, приближаясь с каждой минутой к Манхеттену, не мог же я не вспомнить о китайце. Сложный вопрос. Вероятнее всего, было так: где-то краешком сознания видел я и китайца, но думал о деньгах.

В первую пробку я попадаю перед въездом на Бруклинский мост. Река машин остановилась над Гудзоном, за которым открывается классический вид на Уолл-стрит, знакомый даже тем, кто не бывал в Нью-Йорке, по открыткам и фотографиям. В темной воде колышутся светлые громады небоскребов.

Однако из всех таксистов, застрявших сейчас вместе со мной у Бруклинского моста, лишь меня одного радовала эта картина, а на других кэбби вы и смотреть не стали бы, отвернулись: ну, мол, и морды! Вот в соседнем ряду, тоже в чекаре, остервенело колотит кулаками по рулю

толстый, заросший щетиной араб: он рвется в Манхеттен, а мы еле ползем. А вот пожилой итальянец с искаженным от злобы лицом давит и давит на гудок, и его желтый «форд» с черной зияющей дырой вместо передней фары ревет, как раненый зверь. Зачем и кому он сигналил? Неужто от его гудка рассосется пробка? А вот русский, мой сосед — наши тачки часто ночуют рядышком, — что он вытворит! Едва справа ли, слева ли от него тронется ряд машин, как он тотчас же пытается в этот ряд вскочить. Разве можно так? Покалечит ведь кэб, придется чинить, платить. Нет, невтерпеж ему — в Манхеттен, в Манхеттен.

Понять их, конечно, можно: каждый таксист помнит о ненавистном втором счетчике — банка, ссудной кассы, ростовщика. Оттого-то, застряв в пробке, они и не находят себе места. Они? А ты исхитрился хозяйкин счетчик выключить?

Как тут исхитришься? К тому времени, когда я застрял у моста, мой долг уже превысил двадцать один доллар. Просто я не позволял себе так распускаться и, наблюдая за другими кэбби, испытывал даже некоторое чувство превосходства над ними, поскольку никто из них не мог знать, как сложится у него нынешнее утро, а у меня был китаец...

Как нелепо выглядит поведение таксиста со стороны — поднимала меня волна разыгравшегося самонимия. Ну для чего, если трезво рассуждать, прут они сейчас в город? Ведь одновременно с нами по двенадцати мостам и четырем туннелям на остров Манхеттен вливаются сотни тысяч машин. Попав наконец в центр, все эти кэбби опять окажутся в заторах, и им тут же захочется во что бы то ни стало вырваться из Манхеттена!

Куда? Само собой, в Кеннеди.

Честные кэбби вроде меня целыми днями рыщут по городу, как голодные волки. Мы не гнушаемся любой добычей. В лавах улиц, в штреках авеню мы добываем свои гривенники и пятыки, но при этом всегда, всегда ищем блудливым взглядом — аэропорт!

Каким образом выискивает кэбби в уличной толпе пассажира, спешащего к самолету? Никакой мистики в этом нет, и чтением мыслей мы не занимаемся. В глазах человека, поднимающего руку, я не пытаюсь подметить взволнованности перед дальней дорогой. Но если, сворачивая из улицы на авеню, кэбби видит сразу, скажем, пятерых голосующих клиентов и слышит одновременно пять окликов: «Такси!» — он ни за что не сделает ошибки. Если только кто-нибудь из этих людей едет в аэропорт, я возьму именно его! Даже при условии, что выгодный пассажир вовсе и не пытается меня остановить, а прощается с кем-то по телефону. Меня будут звать со всех сторон, но я подъеду к телефонной будке и, опустив стекло, буду смиренно ждать, пока клиент, еще продолжая разговор, не встретится со мной взглядом. И тогда — взглядом — я спрошу его: «Вам нужен кэб?» И клиент благодарно кивнет в ответ и, прикрыв трубку рукой, спросит: «Отвезете меня в Кеннеди?» «Конечно, сэр», — безразлично-вежливым тоном отвечу я, выскакивая из машины и лихорадочно — скорей! скорей! — запихивая в багажник — что? Разумеется, чемодан. Разве я остановился бы возле телефонной будки, если бы рядом с нею на тротуаре не стоял чемодан?

На несколько кварталов вперед вдоль правой и левой бровок простреливает перспективу авеню мой натренированный глаз, реагируя исключительно на багажную кладь. Оклеенные дерматином, похожие на чемоданы футляры звукодинамиков, музыкальных инструментов и всякой электронной аппаратуры не сбивают меня с толку. Я быстро научился их распознавать. Плохо то, что самые настоящие чемоданы сплошь и рядом оказываются блесной, на которую сдуру бросается желтый хищник. Схватишь такой чемодан — и не вырвешься.

Вот брызнул дождик, и мертвая для таксиста улица мгновенно превратилась в лес поднятых рук. Полчаса перед этим никто не останавливал мой кэб. Но едва первые капли упали на асфальт, как все сразу вспомнили обо мне. Теперь мой кэб нарасхват. Прехорошенькие девчужки стучатся ко мне во все окошки, гранд-дамы заискивающе мне улыбаются, недоступнейшие господа фамильярно подмигивают, сулят мне по два и даже по три доллара сверх счетчика. Как в данной ситуации должен я, по-вашему, поступить? Кого из них впустить в кэб?

Эй, чекер, ты задаешь какой-то неподобающий, прямо скажем, непристойный вопрос, скажет строгий читатель, из тех, что не раз совестили меня за поездки в аэропорт через мост Трайборо. Кто дал тебе право в ы б р а т ь клиентов? Ты обязан обслуживать всех подряд и уж будь любезен...

Фигу вам с маком! Как только начинается дождь, я одновременно с дворниками включаю сигнал «НЕ РАБОТАЮ». Теперь я н и к о г о не беру!

То есть как это никого? Неужто совесть позволит тебе не взять, скажем, эту барышню-стрекозу, очутившуюся под плачущим небом в одном платянце?

А вы, случайно, не помните, чему учил князь Талейран молодых дипломатов? Этот французский министр, надомивший своего короля продавать Америке оружие для войны с британ-

ской короной, этот величайший из дипломатов, воспитывая молодых, не устал повторять: «Никогда не поступайте согласно первому движению души, ибо оно — самое благородное».

Фу! — скажет интеллигентный читатель. Вот уж, действительно, так завратся может только нью-йоркский кэбби! До чего же противный народец, что за исторические параллели по такому ничтожному поводу.

Ну и плевать!

Но что это: и кроткая секретарша, дважды опоздавшая по моей вине, и «забытый папа», поразивший меня своей выдержанностью, и морячок с девушкой из моего первого таксистского дтя, и бескорыстный профессор Стенли, который учил меня водить машину, — все американцы, к которым я проникаю неподдельной симпатией, хмурятся и осуждающе качают головами: как же ты можешь так поступать? неужто ты проедешь мимо этой бабули? глян: злой ветер спицами наружу вывернул ее зонг, старушка промокла до нитки! нет, парень, зря, выходит, говорили мы тебе дружеские слова, скверным на поверку ты оказался фруктом; не удивимся мы, если ты скажешь, что тебе и на всех нас плевать.

Нет, друзья мои. Хоть вы и отрекаетесь от меня, т а к о г о я вам не скажу. Иные для вас найду слова: сытый голодного не разумеет. Думаете, мне не хочется быть добрым? Думаете, мне приятно оставлять людей под дождем? Но если я сейчас пожалую бабулю, кто потом пожалует меня? Кончится дождь, и опять мой кэб никому не будет нужен. И снова буду колесить я по полчаса в поисках двухдолларового пассажира. Промелькнет длинный день, на землю опустится ночь, уснет Нью-Йорк, и я останусь один на безлюдных улицах. Как я могу вернуться домой, пока не отработаю шестьдесят два пятьдесят — ежедневную стоимость аренды желтого кэба? А бензин? А для себя как минимум тридцать — сорок долларов должен я сделать или не должен? А чтобы заработать такие деньги (при тарифе семьдесят центов за милю), таксисту надо накрутить на спидометр примерно сто сорок платных миль. Далеко не всегда успеваю я сделать их и за пятнадцать часов.

Расхватанные такси, лес поднятых рук — это мой единственный шанс выхватить из уличной толпы пассажира в аэропорт, сделать двадцатку одним могучим ударом.

«Но разве в с е кэбби так поступают?» — спросит мистер Форман, справедливый таксистский начальник, и его не обманешь: он-то знает.

Нет, мистер Форман, не все.

Ага! Значит, ты был еще хуже, чем остальные таксисты!

Я был хуже многих — и лучше многих.

Слово «кэб» в разговорной английской речи означает не только наемный автомобиль. Cab — это и перевод по подстрочнику, и обман экзаменатора — шпаргалка, а глагол to cab совсем уж блатной, жаргонный смысл которого — заниматься карманными кражами. Ну а я простаков не грабил; иностранцам не заявлял, что сумму, выбитую счетчиком, должен оплатить к а ж д ы й из пассажиров в отдельности; не взымал незаконных поборов за пользование багажником; но в аэропорты, был грех, избегал ездить самым коротким из центра маршрутом, по мосту Квинсборо, а все норовил махнуть на мост Трайборо, с тем чтобы газануть потом по широкому, стремительному Гранд-шоссе, превращавшему каждый рейс в праздник (хотя этот м о й праздник обходился клиенту в лишние два-три доллара); да еще иной раз баловался я и сигналом «НЕ РАБОТАЮ», когда все остальные желтые кэбы, находившиеся в моем поле зрения, оказывались занятыми и я был уверен, что первый же чемодан достанется мне.

Еще минутка терпения, уколов совести, еще парочка злопыхателей запишет мой номер — и я уйду в Кеннеди!

Есть! Вот он — долгожданный, желанный! Сопровождающий чемодан старичок даже не надеется, что попадет в такси под усилившимся ливнем. Прижался к газетному киоску спиной, и во всей его фигуре — обреченность. Он, миляга, и не догадывается, что единственный свободный кэб под сигналом «НЕ РАБОТАЮ» продирается по запруженной авеню к нему и только к нему! Что я угледел его чемодан!

Я останавливаю чекер у газетного киоска таким образом, чтобы никакой случайный пассажир не смог бы сесть в кэб, и только тогда открываю автоматический замок. Чемодан погружен, счетчик включен, машина тронулась, и тут коварный старикашка вонзает в мою доверчиво подставленную спину нож:

— Челси!

Я проглотил блесну... Мало того что поездка трехдолларовая — в скоплении машин она отнимет уйму времени. Чемодан, сыгравший со мной такую неуместную шутку, ездил, как теперь выясняется, в мастерскую: ручка, видите ли, у него оторвалась.

Как улыбка женщины, многообещаючи и обманчивы чемоданы. По утрам они чуть ли не через одного сопровождают своих владельцев в офисы, с тем чтобы отправиться в аэропорт — во второй половине дня. Так что со всеми ухищрениями и натренированным взглядом не каждую неделю удавалось мне попасть в Кеннеди.

Что ж, скажет тут самый взыскательный и самый дорогой моему сердцу читатель, тот, который сам не один год прожил за баранкой такси, значит, ты покамест не стал настоящим кэбби. Значит, не стал. Ну а почему же ты не договаривался с хозяевами едущих в офис чемоданов, что подберешь их во второй половине дня и отвезешь в аэропорт? — спросит иной прыткий знаток желтого бизнеса. Как это не договаривался? А откуда же взялся китаец? С неба он, что ли, свалился?

Китаец оказался в моем чекере накануне под вечер, когда, потеряв уже всякую надежду попасть в аэропорт (после шести это редкость), я решил еще разок прочесать Парк-авеню и включил сигнал «НЕ РАБОТАЮ». Час пик вот-вот должен был утихнуть, но десятки рук все же ко мне тянулись, а я не замечал даже самых отчаянных, что чуть не бросались под колеса, как вдруг на углу Шестидесят первой улицы заметил на противоположной стороне чемодан! Воровато оглянувшись — ни полиции, ни встречных машин не было, — сделал разворот против стрелки одностроннего движения, выскочил из чекера и схватил поклажу.

Узкоглазый владелец чемодана благодарно кланялся, но когда я включил счетчик, звезданул меня по затылку:

— «Тат»!

Было ясно, что дело мое плохо, но надежда в душе еще шевелилась. Таксисты любят непонятные слова: за ними кроются неведомые дали малоизвестных городков в Нью-Джерси, Вестчестере, двойная плата...

— Тат — это город в Лонг-Айленде? — спросил я наудачу.

— Но Лон-Айлен. Тел «Тат»...

Поняли вы что-нибудь? А я, как ни тягостно было, понял. Фибровому китайскому чемодану оказался не по карману дорогой отель «Ридженси», и он эвакуировался с Парк-авеню на Седьмую, в отель подешевле, в «Тафт». Я был удручен, но тем не менее строжайше допросил китайца. Прилетел он в Нью-Йорк, как было установлено, всего на один день, и завтра черти понесут его куда-то дальше. Из какого аэропорта? Простите, но это детский вопрос. Разве, застряв в пробке у Бруклинского моста, стал бы я смотреть свысока на всех остальных кэбби, если бы мой китаец собирался в Ла-Гвардио?

Когда дознание было закончено, оставалось только внушить клиенту, что не он мне, а я ему нужен позарез. Но это для кэбби сухие пустяки. Я наплел китайцу, что завтра в Америке праздник — день рождения президента Форда — и потому ни автобусы, ни такси не работают. Однако, поскольку я лично китайцев очень уважаю, потому что они хорошие люди (опять улыбки), то, так уж и быть, отвезу его утречком в Кеннеди, чтоб он не опоздал к самолету, причем заеду за ним бесплатно (опять поклоны), но он должен дать мне... — тут китаец не на шутку испугался и успокоился лишь тогда, когда до него дошло, что требую я не денег, не задаток, а всего-навсего визитную карточку.

Карточку бизнесмен с Тайваня мне дал, и теперь, перевалив наконец через Бруклинский мост, я вертел ее в руках и поглядывал на часы. К половине девятого мой кэб оказался на углу Хаустон-стрит. Китайца я должен подобрать в девять, а излишек времени лучше всего истратить на то, чтобы вымыть машину.

Я свернул к мойке, и пока мыльная пена и острые струи смывали с чекера недельную грязь, подсчитал, что к девяти часам, когда китаец сядет в машину, мой долг хозяйке достигнет двадцати двух долларов тридцати центов. Но это не беда. Китайца я поволоку через мост Трайборо, и вместе с чаевыми требуемая сумма наберется.

Пока я продельвал эти вычисления, трое мексиканцев вытирала тряпками чекер. Без чувствия глядеть на них было нельзя. Всегда на ветру, всегда мокрые. Любой из этих н е л е г а л ь н ы х иммигрантов был бы рад поменяться со мной местами, стать водителем желтого кэба. Я бросил монету в лейку, на которой было написано «спасибо», и, устыдившись своей скаредности, добавил еще одну. За все заплатит китаец! Я пообещал, что заеду за ним бесплатно, но возить бесплатно свой фибровый чемодан он будет у себя на Тайване. На сей раз за чемодан в счет будет поставлен доллар. Не имею права? Ничего. Чем меньше кэбби рассуждает о мировой справедливости, тем больше он зарабатывает денег...

По Пятьдесят первой улице я выехал на Седьмую авеню, поставил чекер у входа в отель «Тафт» впереди двух дожидавшихся работы такси и показал визитную карточку негру-швейцару.

Швейцар кивнул: ему, мол, все равно. Куда важнее для меня было сейчас то, как поведет себя таксист, чья очередь была первой. Ведь именно ему предстояло отдать выгодного пассажира водителю, который специально за этим пассажиром приехал. Рослый голубоглазый американец вполне мог предъявить претензии на моего китайца если и не по праву, то силой. Но таксист этот не стал нахальничать, а вот стоявший за ним дед с торчавшим из уха слуховым аппаратом зашкандыбал ко мне выяснять отношения.

— Почему ты тут стал?

Молча показываю визитную карточку.

— По договоренности, — догадался старик. — Куда поедешь?

— В Кеннеди, папаша, в Кеннеди, — покровительственно отвечал я.

Дед вздохнул, завидя чужому счастью, и поплелся обратно.

— Такси! — Из дверей отеля выпорхнули две черные девчонки.

— Я не работаю, — сказал водитель-американец.

Черный швейцар достал из кармана свисток, чтобы остановить проезжающее такси; он явно состоял в сговоре с голубоглазым янки.

Мимо катили пустые кэбы. Белые водители, черные водители не хотели брать черных девчонок. От обиды у них вытянулись лица. Но доллар, который черный швейцар намылвился получить с белого кэбби, дожидавшегося клиента в аэропорт, был сильнее расовой солидарности.

Мне случилось видеть драки таксистов, и, бывало, жестокие. Но т а к о г о зрелища я не видал. С глухим рыком ссохшийся старичок ринулся на голубоглазого, по сравнению с ним — великана! И — кулачком его, кулачком.

— Работать не хочешь! — кричит старичок и дерется.

Рослый кэбби не знал, куда деваться. Ответить он боялся. Стоит ему ненароком задеть старичка — тот рассыплется. Он уворачивался, убегал, а старик наседавал. У отеля собрался народ, все смеются. Таксист сообразил наконец спрятаться в своем кэбе, закрылся изнутри, а старик тарабанит по крыше.

— Убирайся отсюда!

Откуда-то из-за спин зевак возник полисмен. Белый. Понимающе глянул на черных девчонок, и тяжелая дубинка коснулась дверцы кэба. Стало тихо, таксист опустил стекло.

— Ты возьмешь работу? — спросил полисмен. — Предупреждаю: если ты скажешь хоть слово...

— Мы не поедem с ним! — негодовали девчонки.

Дубинка коснулась капота.

— Убирайся!

И кэб исчез.

— Возьми работу, — повернулся полисмен к старику, но дед-скандалист уперся руками в бока.

— А ты со мной так не разговаривай! Я тебя не боюсь. Я в тридцать первом году, бывало, дрался с тремя такими, как ты. — Старик стал считать, загибая пальцы: — С полисменом, с диспетчером, с менеджером. Когда кэбби возвращались в гараж, они каждый вечер поджидали нас, чтоб отобрать деньги. Но если после целого дня работы у меня в кармане был всего один доллар, я его им не отдавал: меня дома ждали голодные дети!.. — Старик кивнул в сторону съездившихся девчонок. — Конечно, я их возьму. Но не потому, что испугался твоей дубинки, а потому что я никогда не выбираю работу! — Старик указал на меня. — Вот еще один артист дожидается Кеннеди. Только в Кеннеди он поедет. А я — всех беру!

Словно лужа бензина, в которую бросили спичку, вспыхнула аплодисментами толпа.

Девчонки уселись в машину, полицейский шагнул ко мне, я предъявил визитную карточку китайца.

— Сейчас проверим, — заюлил швейцар. Теперь он выхватил у меня карточку и скрылся в вестибюле.

Было четверть десятого. Ну, китаец, держись! Чрезвычайный Таксистский Трибунал, совещающаяся на месте, определил: за опоздание, за разгильдяйство и нервотрепку приговорить тебя к высшей мере наказания — к Кольцевой дороге! Ты, голубчик, теперь поедешь по Западному шоссе; мы нырнем в туннель «Баттери» и почешем по берегу океана вокруг всего Бруклина. Двадцать шесть долларов на счетчике гарантированы!

— Он уехал, — прервал швейцар бесстыдные мои фантазии.

— Не может быть! — взвился я.

— Выписался в шесть утра и уехал.

Вот тебе и договоренность! Вот тебе утренний Кеннеди, Кольцевая дорога — еще один мыльный пузырь. Только долг хозяйке оставался объективной реальностью.

Солнечные блики лежали на тротуарах, час пик кончился. В десять часов я отвалил от «Тафта» — пустым.

Глава 8. КЛАД ПОСРЕДИ ПАРК-АВЕНЮ. 10.00 — 17.00

Наконец-то докопались мы до правды. Слишком уж я расхвастался. И прибаутки-то у меня таксистские, и психология, и замашки. Все это пыль в глаза. До настоящего кэбби мне было пока далеко.

Работы на улицах нет. И еще часа два-три не будет. Об отрицательном балансе лучше не вспоминать. Дайте мне Бронкс, Гарлем, Бруклин — я поеду куда угодно! Минут двадцать пришлось мне отстоять в очереди у Пенсильванского вокзала, прежде чем получить первого в этот день пассажира:

— Отель «Доралл».

Уже не новичок, я помнил, что, пока загорал у «Тафта», на остров Манхеттен влилось не менее миллиона машин. Самое сильное скопление их поджидает меня на улицах от Сорок второй и выше. Поэтому я выехал на Парк-авеню по Тридцатой и юркнул в туннель, проложенный под зданием «Пан-Ам». Это была простая работа, но и выполнил я ее безупречно: обошел пробки, выиграл минут десять и тем самым сберег своему клиенту полтинник. На углу Пятидесятой улицы я остановился.

— Отсюда вам лучше пройти пешком. Всего один квартал.

— Нет, вы уж пожалуйста...

— Там затор, мы потеряем четверть часа.

— Сэр!

Черт с тобой. Поворачиваю направо и немедленно застреваю. Счетчик тикает, мы стоим.

Сказать по совести, предложил я своему клиенту прогуляться не потому, что его деньги для меня святяня. Квартал Пятидесятой улицы между Парк-авеню и Лексингтон — уникальное для таксиста место. В этот квартал нужно въезжать пустым. Здесь расположен грузовой подъезд отеля «Вальдорф-Астория», предназначенный исключительно для постояльцев с б а г а ж о м — приезжающих или уезжающих, — чтобы груды чемоданов не портили вид у центрального входа знаменитой гостиницы. И хотя таксистам не разрешается тут стоять, хотя их вечно гоняет полиция, проходя или проезжая по Пятидесятой улице, вы всегда увидите несколько желтых машин: они поджидают пассажиров в аэропорт.

Не доехав метров десять до грузового подъезда, стоя в заторе, я видел три желтых кэба: среди них не было ч е к е р а! А что, если в эту самую минуту там, в старомодном лифте с литыми медными ручками, спускается компания из п я т е р ы х бизнесменов, спешащих в Кеннеди? Ни в одном из кэбов, караулящих у подъезда, разместиться они не смогут.

Счетчик тикает, мы стоим. Два сорок пять. На светофоре на Лексингтон-авеню загорелся зеленый свет, но мы не движемся. Два пятьдесят пять.

Из подъезда доносится свист, и в мое сердце входит тупая игла.

— Сэр, зачем вы напрасно, — говорю я, — теряете деньги и время? До гостиницы «Доралл» полминуты ходьбы!

Два шестьдесят пять. В зеркале заднего обзора — молодое, искривленное ухмылкой лицо. Мой пассажир не из тех, кто позволит какому-то кэбби командовать. Свист повторяется, но ни одна из желтых машин не трогается с места, и я понимаю, что это значит.

Это значит, что, не выпуская свистка изо рта, швейцар широко развел руки: нужен большой кэб! Я не вижу швейцара, не вижу его жеста, но я знаю, что происходит внутри грузового подъезда.

— Сэр, вы же слышите: там зовут чекер. Люди опаздывают на самолет.

Машины тронулись, мы проезжаем м и м о. Это последний мой шанс! Я нажимаю на тормоз и оборачиваюсь. Я смотрю на своего клиента в упор. Два семьдесят пять. Он ведь все равно не дотянет до своей гостиницы. Он ассигновал на поездку три доллара и сейчас нарочно, назло мне тянет время, пока счетчик не съест мои чаевые: брать сдачу ему все же неловко... Два восемьдесят пять. Сзади сигналят машины, и я вынужден проехать еще несколько метров, освободившихся в моем ряду.

«Чекер!» — кричит швейцар, но поздно. Даже если мой пассажир и отпустит меня теперь, я уже не смогу сдать назад и попасть к подъезду. Машина позади уперлась своим бампером в мой, я заперт.

Два девяносто пять. В кормушке шуршат деньги. Иронический молодой человек заранее приготовил три бумажки по доллару, а у меня в кулаке уже зажаты пять монет по одному центу.

— Эй, ты забыл взять сдачу! — кричу я и швыряю медаки на асфальт.

Зеленый свет, нужно трогать.

«Чекер!» — орет швейцар. Ну и денек!..

Все жестче и жестче скопление машин на улицах. Даже при включенном счетчике ездить по городу со скоростью пять миль в час не удовольствие, еще тяжелей пробираться сквозь толпы обтекающих кэб пешеходов, но совсем невыносимо торчать в заторах пустым. К полудню заработал я долларов восемнадцать, а сил уже не было никаких.

Двигаясь на север по Парк-авеню, по направлению к Центральному вокзалу, я включил «НЕ РАБОТАЮ». Это было глупо, потому что никто не покушался на мой чекер, но я твердо решил добраться до какой-нибудь обжорки, выпить кофе и передохнуть. Я уже собирался свернуть на Сорок вторую улицу, как вдруг кто-то постучал в окно... Ну что тебе от моей души нужно?

Пожилой бруклинский еврей. Такие обожают беседовать с кэбби. О чем мне с тобой говорить?.. Нет, открой ему окно! Да еще правое, до которого дотянуться невозможно. Мне пришлось лечь на сиденье, чтобы покрутить ручку и опустить стекло.

— Что надо? — л е ж а спрашиваю я.

— Хотите поехать в Кеннеди?

Только теперь я — болван! — заметил, что он держит в руках портплед. Ох, моя профессиональная интуиция!

— Конечно, с э р!

— Я потому спрашиваю, что у вас включен сигнал «НЕ РАБОТАЮ».

— Спасибо, что напомнили: я просто забыл.

Хитрая, всепонимающая улыбочка:

— Я так и подумал.

А портплед-то уже на переднем сиденье! Только почему свет моих глаз, нечаянное мое спасенье в потрепанных брюках с мешками на коленках не садится в кэб? Тревожно мне от этого: ну как передумает?

— Станьте за углом и подождите меня пару минут: я предпочитаю платить в складчину.

— В складчину — с кем?

— С попутчиками.

Свихнулся ты, что ли, дорогуша?

— Где же вы их возьмете?

— Здесь.

Хотя клиент плел какую-то несуряцицу, я послушно отъехал и остановился за углом. Не знаю, может, вы способны постигнуть полет этой мысли? Стоят на улицах орды спешащих к самолетам путешественников и ждут не дождутся, пока явится некий предприимчивый тип в неглаженных брюках и пригласит их составить ему компанию, чтоб добраться на такси в аэропорт за полцены? Так это понимать?

Но с какой стати я должен что-то п о н и м а т ь, если портплед — у меня? И время работает на меня. Пусть прогуляется по улице, поспрашивает. Самолет-то не будет ждать, пока этот обалдуй найдет попутчиков. Никого он, разумеется, не найдет, вернется — и поедет.

Однако, хотите — верьте, хотите — не верьте, предприимчивый тип вернулся с д в у м я пассажирами! Если бы он вынул из своего портпледа живого верблюда, это не произвело бы на меня равносильного впечатления. Обратился же ко мне этот организатор групповой поездки так, словно ничего необычного не произошло. Джентльмены поедут в Ла-Гвардию и заплатят по пять долларов. Он заплатит еще десять. О'кей?

Я не ответил. Жестом велел им садиться в кэб, и мы поехали.

Какой дорогой? Разумеется, по мосту Квинсборо. Через сто светофоров? А за каким лешим потащился бы я на Трайборо — накручивать на счетчик лишние полтора доллара, зная заранее, что мне их все равно не заплатят? Если за рейс назначена твердая цена, кэбби всегда поедет самой короткой дорогой. Но ведь ты же сам какие слова говорил про маршрут по Гранд-шоссе — «любимый», «стремительный», «праздник»... Все так. Только эти мои слова наполняются содержанием лишь при условии, что «любимый», «стремительный» приносит парочку лишних долларов. От них и на душе праздник.

Так что же, ты так и ехал молча? Не сказал пассажирам приветливого слова? Нет, не сказал. И ни о чем не спросил сидевшего рядом с тобой волшебника? Каким образом нашел он двух попутчиков? Нет, не спросил. Спугнуть боялся. Выжидал. Кто знает: может, он при посторонних не захочет сказать. Да и не очень-то верилось в чудо. Мало ли какие бывают совпадения? Однако, когда в Ла-Гвардии те двое, что ехали на заднем сиденье, выйдя из чекера, кивнули на прощанье друг другу и разошлись в р а з н ы е с т о р о н ы, я почувствовал, что мне нечем дышать. Меня

было как в лихорадке. Мой пассажир, оказывается, не случайно набрел на этих двух попутчиков, а нашел каждого из них по о д и н о ч к е. Таких совпадений не бывает! Но если по какой-то неизвестной причине туда, на юго-восточный угол Парк-авеню и Сорок второй улицы, действительно стекаются пассажиры, направляющиеся в аэропорты, — тогда вся моя таксистская жизнь изменится! Тогда выискивание чемоданов, черные пятнадцатичасовые рабочие дни — все это немедленно станет прошлым!

Я вытер выступивший на лбу пот и игриво подтолкнул локтем сидевшего рядом пригорюнившегося еврея.

— Ну-ка, признавайтесь...

— В чем?

— Каким образом вы нашли этих двух лагвардийцев?

— А что тут особенного? Я всегда так делаю.

Понимаете: тысячи таксистов изо дня в день с утра до вечера рыщут по Нью-Йорку в поисках пассажира в аэропорт и ведь не всегда находят, а он «всегда так делает» и «что тут особенного?».

— Вы считаете меня дураком?! — еле сдерживая злобу, брякнул я, а этот вытаращился на меня ч е с т н ы м и глазами:

— Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь.

Скользкий тип!

— Почему эти двое там оказались?

— Откуда мне знать? Я вообще живу не в Нью-Йорке, а в Олбани. Здесь бываю проездом.

Темнит, выкручивается.

— Допустим. Но сами-то вы что делали на углу Парк-авеню и Сорок второй улицы?

— Покупал билет.

— Какой билет?

— На самолет в Израиль.

Остороженько, словно лоя бабочку редчайшей красоты и боясь повредить ее нежные крылышки, я прикоснулся к тайне:

— А те двое т о ж е покупали билеты на самолет?

— Там все покупают билеты.

Дивная бабочка затрепыхалась в сомкнутых ладонях. Эврика! Значит, где-то там, на углу Парк-авеню и Сорок второй улицы, расположены городские а в и а к а с с ы!

Пассажир мой тоже смекнул, что сообщил мне нечто исключительно важное, и растревожился:

— А почему тебя все это так интересует?

Сказать ему, что теперь я буду работать, как все нормальные люди, по девять-десять часов? Что вставляю наконец зубы? Вообразите себе эту сценочку: таксёр, мурло, со слезами на глазах благодарит клиента — вы, дескать, сэр, не догадываетесь, что сейчас для меня сделали! А «сэр», расчувствовавшийся оттого, что облагодетельствовал беднягу (сэкономив одновременно десяточку на поездке в Кеннеди), похлопывает кэбби по плечу и при этом нравоучительствует: люди, мол, должны помогать друг другу. Черта лысого я ему откроюсь!

— Извините, мистер, но мне, в общем-то, все равно, кто и в какой кассе покупает билеты. Я просто так спросил, чтобы вас развлечь. Расскажите-ка лучше, если не секрет, зачем вы летите в Израиль.

Не очень-то он мне поверил, но присанился и сказал:

— Я часто там бываю. Я оказываю государству Израиль помощь.

Последние слова он произнес с таким важным видом, что я рассмеялся. Это было, конечно, нехорошо, но и поставлен на место я был чересчур уж спесивым тоном:

— Вам смешно при мысли, что есть на свете люди, которые занимаются подобной е р у н д о й?

— Вы неправильно меня поняли. Помощь Израилю — вовсе не ерунда. Но мы ужасно смешные люди.

— Кто это «мы»?

— Евреи.

— Почему же евреи смешные? — Он так обиделся, что, не желая признавать во мне соплеменника.

— Потому что мы хвастуны.

— Гм!.. — только и выдал он из себя, а я уж задал ему перцу:

— Ну неужели нельзя сказать, что вы собрались повидать родственников или что-то купить-продать? Нет, у вас особая миссия! Я не стыжусь своей бедности: вы видите, кто я. Но какую

п о м о щ ь Израилю можете оказать вы, если жизнь заставляет вас беречь каждый доллар: искать попутчиков на такси до аэропорта?

Тут пассажир мой совсем уж ударился в амбицию:

— Я инженер! Я оказываю государству Израиль техническую помощь.

Опять: не заводу, не проектному бюро, не какой-то фирме — г о с у д а р с т в у. Только на таком уровне!

— Охотно верю, что вы инженер. Что вы хороший инженер. Но почему бы вам не сказать, что вы едете поработать, продвинуть техническую новинку?

Заотпал я, высмеял сделавшего мне добро человека, а сам оказался фанфароном похлестче его. Мало мне было мечтать, как, едва вернувшись в город, начну я разрабатывать золотоносную жилу. Мало мне было грез, как я стану сколачивать партии пассажиров в Кеннеди. Я не собирался ни драть с них втридорога, ни запикивать по шесть клиентов в свой чекер, как сардины в банку. Пусть едут с комфортом, по пятеро. Пусть платят всего по шесть долларов. Пусть их! Тридцать долларов за ходочку — неплохо? Но всего этого мне было мало! Хотелось еще и возвыситься над себе подобными — над таксистами.

Дождаясь своей очереди на стоянке «International», ни минуты не мог усидеть я на месте. Перепрыгивая через лужи, бродил я между рядами желтых машин, приставая чуть ли не к каждому кэбби:

— Где ты взял Кеннеди?

— В отеле «Принц Джордж».

(Это третьесортная гостиница на Двадцать восьмой улице.)

— И долго пришлось ждать?

— Часа два.

— Как же ты сегодня деньги сделаешь? — ханжеским сочувствием прикрываю я бушующее во мне ликование и прыг-скак к другому:

— А ты где взял Кеннеди? В Ла-Гвардий? Ждал полтора часа и приехал за д е в я т ь долларов?!

Не повезло парню, радуюсь я. А русских даже не спрашиваю — эти торчат под «Мэдисоном» по полдня.

Дубогрызы! Тупицы! Годами сидят за баранкой и не знают, как нужно работать! И смешно глядеть на них и жалко. Меня так и подмывало облагодетельствовать какого-нибудь кэбби, поделившись своим открытием. И если бы я это сделал, Бог уберег бы меня от беды, но я ни с кем не поделился...

Мой чекер уже стоял на выезде из загона-стоянки, готовый по команде диспетчера подрулить под навес, где клиенты усаживаются в кэбы, когда через дорогу, стуча каблучками, от здания аэровокзала перебежала гибкая огненно-рыжая женщина лет тридцати. И ко мне:

— Поедем? Лексингтон и Тридцать пятая.

От этого места до моей золотоносной жилы рукой подать!

— Леди, разве есть на свете человек, который способен в а м сказать «нет»?

Хочет. Но и у меня прилив веселья. Когда это я был таким смелым, таким напористым?

— Ну-ка выкладывайте, — отчаянно флиртую я, — что у вас сегодня за событие?

— Ничего особенного.

— Отчего же вы так сияете?

Раскинула руки по спинке сиденья — яркая, неотразимая.

— Я всегда такая...

— Рассказывайте! Что вы делали в аэропорту без вещей?

— Провожала мужа.

Вот так номер!

— Чему же вы радуетесь? Он у вас старый, нудный?

— Наоборот, молодой и очень славный. — Жмурится от солнышка. — Через два дня муж вернется, привезет наших детишек. Я уже больше недели их не видела.

— Соскучились?

— Конечно.

— Не верю ни одному слову.

— Как хотите.

— Скажете правду, если я угадаю?

— Скажу.

— Эти два дня — ваши!

Нахмурилась:

— Мои...

Едва она созналась, бесшабашное настроение мое пропало. Несколько минут мы молчали. Я закурил свою сигарету, она свою. Потом я сказал:

— Откуда это приходит? Что толкает?

— Не знаю...

— А чем занимается ваш муж?

— Он дантист.

Я обрадовался до неприличия:

— Тогда так ему и надо! Дантист засадил меня в этот проклятый кэб... Чему вы улыбаетесь?

— Тот, кого я люблю, тоже дантист,— сказала она, и для меня все ее очарование исчезло.

«Так, так, так,— задумался я,— а не подлежит ли это дело немедленному разбирательству в Чрезвычайном Таксистском Трибунале?» И, собравшись с мыслями, тотчас же вынес приговор: «За то, что у подсудимой не хватило ни вкуса, ни взбалмошности влюбиться в лохматого саксофониста, в спортсмена, в красавца актера, в соседского, наконец, мальчишку-студента, рассматривая факт одновременного сожительства с двумя дантистами как отягчающую вину по ш л о с т ь, Таксистский Трибунал приговаривает вас, мадам, к маршруту повышенной дальности — через мост Трайборо!»

Приговор, по-моему, был ей понятен. Эта дамочка знала Нью-Йорк. Тягостная тишина, в которой царил теперь только грубый таксистский обман, сгустилась в чекере. Мы проскочили мимо ответвления дороги, которое вело к туннелю «Квинс-Манхеттен», мимо другого ответвления, ведущего к мосту Квинсборо, и теперь стремительное Гранд-шоссе уносило кэб в сторону от пересечения Тридцать пятой улицы и Лексингтон-авеню, куда моя пассажирка направлялась, в объезд эдак кварталов на восемьдесят! Но осужденная не заявляла ходатайства о смягчении жестокого приговора. Раздавленная тяжестью своей вины, она молчала.

Оказавшись наконец на юго-восточном углу Парк-авеню и Сорок второй улицы, я, однако, так и не сподобился разглядеть, где именно расположены здесь авиакассы. Голова моя шла кругом.

Я не видел ни домов, ни машин, ни суеты у входа в Центральный вокзал, бурливший через дорогу от того места, где я стоял глубоко потрясенный перед растянувшейся метров на двадцать шеренгой людей с чемоданами!..

Баулами...

Дорожными чехлами для костюмов...

Саквояжами...

Рюкзаками...

Построенный и готовый к отправке в аэропорт батальон!

Волнительность момента заключалась не только в количестве клиентов или мест багажа, не только в том, что их было много, но еще и в том, что кэб был лишь один — мой!

Усилием воли я заставил себя действовать. Открыл багажник и пружинисто шагнул к шеренге. Прохладный ветерок ласкал мое разгоряченное лицо; я расхаживал перед строем, как генерал, который намечает группу для стратегически важной разведки. Я задавал отрывистые вопросы: «Куда едем?» И тут же решал: «Подождите!.. Вы тоже должны подождать... А вы пройдите к машине!»

Большинство выстроившихся вдоль стены людей собиралось в Ла-Гвардию; их, естественно, я игнорировал, а выискивал кеннедийцев. Но мои жесты и голос с каждой секундой становились все менее уверенными, поскольку люди отвечали на «генеральские» вопросы как-то недоброжелательно, переглядываясь между собой, и в душу ко мне холодным червем вползло ощущение, что я совершаю нечто недозволенное.

— Куда ехать? — спросил я очередного пассажира, однако он вообще не ответил мне, а, глядя в сторону, где я оставил кэб, как-то странно и вроде бы злорадно хихикнул.

Я оглянулся. Перед моим чекером, широко расставив ноги, стоял полисмен и что-то писал в большом блокноте.

— Что случилось, босс? — вроде по-приятельски, стараясь скрыть сквозившую в голосе дрожь, спросил я.

— Ничего особенного,— в тон мне по-приятельски отвечал полисмен, не прерывая своего занятия.— Дай мне, пожалуйста, свои права.

— Вы выписываете мне штраф? — не без удивления осведомился я.

— Угу.

— За что?

Полицейский молча указал на знак «остановка запрещена».

— Но ведь я нахожусь возле своей машины, и вы вполне могли бы мне сказать... Я просто не заметил этот дурацкий знак.

Полисмен вырвал из блокнота листок и вручил его мне, приговаривая:

— Я видел, как ты подъехал. Я внимательно наблюдал за тобой. Я свидетель в с е г о , ч т о ты с е й ч а с д е л а л , — закончил он многозначительно.

Не чувствуя за собой никакого греха, я повысил голос:

— И какое же преступление я совершил?

— Ах вот ты как разговариваешь! — обозлился полицейский и, не возвращая мне права, снова принялся писать. На этот раз в д р у г о м блокноте.

— За что? — закричал я, понимая, что сейчас получу — уже получил — в т о р о й штраф.

В ответ полисмен пробурчал какое-то слово, но какое именно, я не разобрал.

— Что это значит? — спросил я.

Он повторил, но я никогда прежде не слышал такого английского слова. Это была какая-то *ing*-овая форма.

— Вы просто надо мной издеваетесь! Я ничего не понимаю!

— А ты не волнуйся так, — сладким голосом успокоил меня полисмен. — Мы с тобой скоро опять увидимся, и ты все-все поймешь.

— Где это мы увидимся?

— В одном приятном учреждении. Ручаюсь: больше ты никогда так делать не будешь.

— Не делать чего?

— Не прикидывайся! — рявкнул полицейский. — И учти: еще одно слово — и ты получишь третий талон.

— За что?

— За сигнал «НЕ РАБОТАЮ»...

Теперь наконец у меня хватило ума заткнуться. Это мне было известно: кэбби, взявшему пассажира при включенном сигнале «НЕ РАБОТАЮ», полагается штраф сто долларов.

Уничтоженный, опустошенный, я осмотрелся, и — о Боже! — что творилось вокруг! Одно за другим подкатывали к бровке такси, и кэбби, озираясь на полицейского, который был занят мной, кидались к людям у стены, хватали багаж и чуть ли не силой тащили клиентов в свои машины. Желтые осы расклеивали мой батальон. Однако же едва на Парк-авеню показался автобус, как явно в связи с его появлением пассажиры стали выскакивать из желтых машин. Теперь они силой вырывали у таксистов свои пожитки и штурмовали автобус!

На опустевшем перекрестке мы остались с полицейским вдвоем. Да, я нашел золотonosную жилу, но разрабатывать ее запрещал какой-то непонятный, неизвестный мне закон. Сукин сын кончил писать.

— Объяснить тебе, что надо делать с этими бумагами?

— Нет! — сквозь боль сказал я своему палачу. — Все, что только можно было, ты уже сделал.

— Не все, — уточнил полицейский, имея в виду, что штраф за сигнал «НЕ РАБОТАЮ» он все же не выписал. Он ведь, свой в доску парень, вручил мне всего-навсего талон и п о в е с т к у с красными, набранными, как заголовок, жирным шрифтом словами: «У Г О Л О В Н Ы Й С У Д Р А Й О Н А М А Н Х Е Т Т Е Н»...

Глава 9. ДО ПОЗДНЕГО ВЕЧЕРА. 17.00—24.00

Обо всем на свете может забыть дурноватый, зачумленный кэбби. В кои веки попросит его жена привезти из Манхэттена «что-нибудь вкусенькое» — ну, к примеру, пирожное из немецкой кондитерской — жизнь тоскливую подсластить, а кэбби возьмет и забудет. Да что там капризы, лакомства! Не упомнит иной раз таксист и кой-чего поважнее: вовремя тормозные колодки заменить или добавить воды в радиатор. И знает же, какие могут быть последствия, а поди ж ты — ни черта не держит дырявая память после двадцати посадок!

Сколько раз, например, бывало: проторчишь час в очереди в той же Ла-Гвардии; два-три водителя, которые перед тобой стояли, уже загрузились, уехали, и надо бы подвинуть машину вперед, но в голове такая звенящая пустота, что ничего ты не видишь, не слышишь. Таксисты сзади покрикивают: «Эй, чекер! — уже разными там эпитетами меня награждают, диспетчер горластый из себя выходит: «Эй, 2V26, ты оглох?» А я хоть бы хны... Пока не подойдет кто-нибудь, не грохнет кулаком по крыше над самой головой, тогда лишь я вспоминаю, что есть в Нью-Йорке только один желтый кэб с медальоном «2V26», тот самый, который я арендую.

Обо всем, обо всем решительно забывает затурканный кэбби: и когда в последний раз ел, и когда в последний раз заправил бензобак (с испорченной стрелкой, показывающей уровень горючего), — но ни при каких обстоятельствах не запомнит таксист об одном. Даже если скат на шоссе

взорвется, если врежется в столб или в другую машину — выползет кэбби из-под обломков, поставит на ноги контуженного пассажира и скажет: «Мистер, с вас по счетчику — три тридцать пять», а потом уже все остальное — скорая помощь, полиция, кто виноват, кто прав. Так уж устроен кэбби, что не может забыть о деньгах.

«Почему они такие?» — часто думал я о своих товарищах, наблюдая, как преобразаются они, прикасаясь к деньгам, получая ли с пассажира плату, отдавая ли скрепя сердце сдачу, пересчитывая ли в сотый раз на дно выручку, и клялся и божился, что никогда ни за что не стану таким! Но сейчас, отъехав от окаянного угла, чтобы тут же, метров через пятьдесят, застрять перед поворотом на Мэдисон-авеню в потоке обтекающих кэб пешеходов, почувствовал я, как мою шею трогает потихоньку петля: арендная плата. Я тоже не мог забыть о деньгах... И удерживая педалью тормоза рвущийся вперед, на людей чекер, вспоминал не о своей «золотоносной жиле». Не о больших и легких деньгах думал я, а о малых и трудных — хозяйкиных! Шестьдесят два пятьдесят за сегодняшний день. «Откуда их взять?» — только это и было в мыслях.

Светофор не успел переключиться, а я уж подсчитал всю наличность. Восемнадцать долларов набралось у меня до того, как я попал в Кеннеди. Двадцать я получил за групповую поездку, организованную другим государством Израиль. Двадцать три «по приговору Трибунала» уплатила жена дантиста. У меня был шестьдесят один доллар, но ведь только меньшее из двух моих преступлений, совершенных под знаком «остановка запрещена», полисмен оценил в двадцать пять монет. Даже если и вовсе не думать об уголовном суде (хотя для этого, наверное, нужно быть каким-то титаном духа) — что у меня оставалось? Смешно сказать: деньги лежали в кармане, но на самом деле их не было. Часы на юго-западном углу Мэдисон-авеню показывали четыре тридцать пять. После восьми с половиной часов труда мне предстояло начать рабочий день сызнова. Нужно было выбросить из головы все на свете — и вламывать!..

Но я не мог. Мне хотелось поделиться с кем-то своей горестью. Хотелось, чтоб меня пожалели, и хотелось фыркнуть в ответ на слова утешения: меня, мол, повестками в уголовный суд не запугаешь, не таковский! Вытерпеть нечто подобное могла бы только жена, но ей нельзя было даже позвонить. Потому что, когда бы я ни позвонил ей с дороги, разговор получался один и тот же: жена спрашивала, цел ли я, цела ли машина, и вслед за этим н е о ж д а н н о, как ей казалось, говорила: «Знаешь что? Плюнь на все и езжай домой...»

Светофор переключался на красный прямо перед моим носом, но я закончил поворот. Куда я ехал? Душа моя стремилась к жене и сыну, в нашу уютную кухню, а я направлялся к своим врагам, к сборищу русских кэбби под отелем «Мэдисон». У кого еще мог я выяснить толком, что за слово написал полицейский в повестке? Уж кто-кто, а эти прохвосты все в таких делах знают! Небось каждое утро в Кеннеди похвалялись друг перед дружкой штрафными талонами. Этот накануне схлопотал сразу два, а тот три. И всегда одна песня: «Ни за что!» Овечки невинные. Меня ничуть не смущало то обстоятельство, что я сам получил сейчас и талон и повестку. Ведь о себе-то я доподлинно знал — н и з а ч т о!

Хотя ссора наша была и пустячной и давней, кошки скребли на душе, когда я подъезжал к «Мэдисону»: как меня встретят?

Почти вся гоп-компания была на месте: «Odessa corporation», «Fira corporation», «Padlo corporation», «Taganka corporation», «Tbiliso corporation». Я был готов продефилировать мимо своих недругов с независимым видом, но меня окликнули:

— Бублик!

— Пачиму тебя нэ было видно? Ты нэ работал? — спросил Начальник.

Вместо ответа я лишь махнул рукой. Это получилось помимо моей воли: я вел себя, как они...

Алик-с-пятнышком привстал на бампере, высматривая мой чекер в хвосте очереди:

— Ты уже на гараж не пашешь? Ты — купил?

— Он рентует, — сказал Ежик. — У моей сученьки.

— Как поживает Доктор? — спросил я. — Не соскочил еще?

— Куда он денется!

— А Узбек?

— Узбека что-то не видно.

— Давно уже, — сказал Помидор, и все замолчали.

Длинный Марик, заметив бумажки, которые я держал в руке, расплылся в улыбке:

— Бублик, ты получил штраф?!

— Ни за что дали, — сказал я.

— Два! — восхитился Марик.

— Совершенно ни за что!

— «Остановка запрещена», — довольно-таки бестактно заметил Ежик.

— Ты посмотри второй, — сказал я, подчеркнуто игнорируя Архитектора и обращаясь к Длинному Марик. — Ты понимаешь, что там написано?

— «Инг»? — принялся разбирать с конца Марик. — «Тинг»?..

— Бублик, наверное, сделал абгемахт хорошему чемодану, — высказал предположение Алик-с-пятнышком, разобрав, в какое учреждение приглашает меня повестка, а Начальник деловито осведомился:

— Бублик, ты уже имеешь гражданство?

— Тыц-грыц! — огрызнулся я, но как-то не очень уверенно: гражданства у меня не было.

— В этой биладской странэ только настоящих бандитов в тюрьму нэ сажают, — галантно сказал Начальник. Он давал понять, что даже если я и украл чемодан и меня посадят за это в тюрьму, в наших с ним отношениях ничего не изменится.

«Гражданство», «тюрьма» — чем больше меня пугали (или дразнили?), тем спокойнее становилось на душе. В конце концов, я ведь твердо знал, что ничего плохого не сделал. А раз так, то нечего мне и бояться. Я расскажу судье все как оно в действительности было, и он, конечно же, поймет, что произошло недоразумение.

С чувством какой-то своеобразной гордости из-за того, что ни один из этих жуков не получал еще такой повестки, я включил «НЕ РАБОТАЮ» и поехал.

Воспаленной краснотой цифр мерцали электронные часы над входом в банк — пять пять. Сделать деньги, начав день так поздно, можно только при какой-то невероятной удаче и только в Кеннеди.

Очередь кэбов у «Хилтона» ползла безостановочно: начался предвечерний час пик. Впереди меня чекеров что-то не видно. Эх, если бы сейчас потребовался швейцару большой кэб! Не прошло и минуты, как раздался свисток, и я услышал:

— Чекер!

Вильнул, выезжая из очереди, к подъезду. Гора чемоданов ждала меня. Втроем — швейцар, рассыльный и я — начали погрузку. Чемоданы были большущие, но с них свисали бирки «Al Italia», и это придавало сил⁸. Три места принял багажник. Четыре приняло заднее сиденье. Мы уже загрузили весь чекер под самый потолок, но еще оставались какие-то коробки, сумки. Наконец управились.

— Grasio! — прощebetала сухонькая пожилая егoза в белых чулочках, усаживаясь рядом со мной между своими картонками.

Прислуга в «Хилтоне» вышколенная, но даже у этих дрессированных лакеев вытянулись физиономии. Заплати моя пассажирка по пятерке швейцару и рассыльному за такую погрузку, это было бы не слишком много. Но одному из них досталась лишь кривая улыбочка, а другому нежное «grasio». «Ну и стерва!» — успел подумать я и услышал:

— Отель «Американа».

Честное слово, если бы она пошла так, я сказал бы ей, что это ничуть не остроумно. Но она не шутила. Ей нужно было перевезти вещи в соседнюю гостиницу. Ни служащие «Хилтона», ни служащие «Американы» перевозить на тележках багаж постояльцев из отеля в отель не обязаны и меньше, чем за двадцать долларов не подрядились бы. Чтобы сэкономить, разумница синьора наняла мой кэб на расстояние в один квартал!

Когда мы остановились у небоскреба «Американа», счетчик показывал ноль восемьдесят пять. Я принялся вытаскивать из салона чемоданы, а дюжий швейцар, охая, крикая, доставлял их по одному к ступеням подъезда.

Белые чулочки обехали вокруг чекера, синьора проверила, не забыто ли что на переднем сиденье, в салоне, в багажнике, и как ни в чем не бывало обратилась ко мне:

— Quanta?

— Cinque, — показал я растопыренную пятерню.

И тут синьора стала визжать. Мгновенно сорвалась в крик:

— Швейцар!

Но швейцар стоял рядом. Обескураженный и безучастный, он ведь тоже рассчитывал получить пятерочку. На худенькой шейке набрякла лиловая жила.

— Полиция!

⁸ Дело в том, что самолеты компании «Al Italia» отправляются в рейсы из аэропорта Кеннеди.

Отчаявшись, что никто-никто не придет к ней на помощь, незащищенная женщина опустила руки и горько заплакала. Вокруг столпились люди. С трудом расталкивая их, ко мне протиснулся черный кэбби с рваным шрамом во всю щеку.

— Он хороший парень, я знаю его, — взволнованно заговорил кэбби, обращаясь к публике и обнимая меня за плечи. — Пойдем отсюда, пойдем...

Я видел этого таксиста впервые; к горлу подступил комок. Что, кроме новых неприятностей, сулила мне еще одна встреча с полицией, вторая на дню? Мы ушли, провожаемые возмущенным гулом толпы:

— До чего эти подонки обнаглели, никакого сладу с ними!

— А полиции никогда нет, когда нужно!

Синьора в белых чулочках победила таксиста-вымогателя; она не уплатила мне даже выбитые на счетчике восемьдесят пять центов!

На том и кончились в тот день мои аэропорты, а денег было совсем мало и нельзя было позвонить жене. Я ехал навстречу спускавшимся на город сумеркам — в совсем другой Нью-Йорк, звавший меня огнями вечерних улиц. Въезжал я, однако, в этот фартовый для таксиста город озлобленным, угрюмым.

— У-у, паразиты! — бубнил я себе под нос. — Повестками в уголовный суд разбрасываетесь! Багаж на мне из «Хилтона» в «Американу» возите! Я тоже теперь буду так. Я вам еще покажу...

Но ничего конкретнее — кому именно и как отомстить — придумать было невозможно. Единственное, что приходило на ум и что я решил бесповоротно, — ни в коем случае не отдавать «им» мешок с деньгами, который когда-то нагадала мне цыганка. Набитый пачками ассигнаций мешок виделся мне все явственней, и, поглощенный дегенеративной этой мечтой, я не обращал внимания на садившихся в кэб и выходящих из него пассажиров, автоматически выхватывал из обращенных ко мне слов адрес, крутил баранку и бросал чаевые в лежавшую рядом на сиденье таксистскую кассу (коробку из-под сигар) — монетки и даже долларовые бумажки, от которых мои клиенты отказывались все чаще и чаще. «Спасибо!» — звякали квотеры. «Большое спасибо!» — шуршали бумажки.

Меня захватывал и растворял в себе этот новый, другой Нью-Йорк. Не красотой своей, не мерцанием разноцветных огней поглощает вечерний город таксиста. По двенадцати мостам и четырем туннелям остров Манхэттен по к и д а л и сотни тысяч машин, освобождая от заторов узкие улицы, раскрывая для меня широченные авеню, на которых теперь мой счетчик тикал куда резвее, чем днем. Все меньше автомобилей оставалось в городе, и все больше становилось в нем людей, которым требовалось такси. Да и клиенты в мой кэб садились сейчас иные.

Утренняя поездка на такси для любого пассажира — это н а ч а л о дневных расходов. Ему еще предстоит платить и платить: за газету, за сигареты, за кофе, за ланч; а после работы надо заскочить в магазин, в аптеку. Да и за что, собственно, клиенту благодарить меня, когда я тащу его, еще полусонного, в водоворот дня? Совсем иное отношение к таксисту у пассажира вечернего. Я везу его прочь от дел, тревожлений к домашнему очагу, и мелочь, которую он оставляет мне, п о с л е д н и й сегодня расход! И весело звякают монетки в коробке из-под сигар.

— Такси! Такси! — звали меня все новые и новые доллары; деньги т е к л и...

У залитого светом подъезда трое джентльменов во фраках усаживают в мой кэб надменную, в норковой накидке старуху.

— Меня все так любят, — пожаловалась она, едва мы остались вдвоем.

— По-моему, это совсем неплохо, — отозвался я, уже подобревший, оттаявший.

— Меня приглашают на т а к и е приемы! — сокрушалась старуха. — Обо мне заботятся т а к и е люди!

Кэб наполнился запахом виски.

— Пить в вашем возрасте, бабушка, надо поменьше, — ворчу я, а она безутешно рыдает:

— И никто, никто не знает, кто я на самом деле.

У светофора я оглянулся.

— А кто же вы?

Старуха опустила унизанные кольцами руки, закрывавшие ее лицо, и жутким свистящим шепотом выдохнула:

— Я — шпионка!

Ни единой секунды не сомневался я, что она говорит правду.

— На кого же вы работаете?

— «На кого, на кого!» — передразнила меня старуха. — На правительство! На кого же еще. Ох, Америка! Здесь сторожевые овчарки виляют хвостами, когда их гладят прохожие; здесь осведомители, пропустив рюмочку, открываются с таксистами. Отправить бы тебя, бабка, на годик в Москву для повышения квалификации...

— Пошел! Скорей!

Оборачиваюсь, но вместо лица вижу — зад.

— Скорей! Ради Бога! — умоляют меня обтянутые джинсами ягодицы.

Взгромоздившись коленями на сиденье, пассажир буквально втиснулся в заднее стекло, всматриваясь: нет ли за ним погони?

Нажимаю на газ, сворачиваю в какую-то улицу.

— Уфф! — слышится вздох облегчения.

— Куда же вам все-таки нужно?

Тычет деньги в стекло перегородки. Когда я успел ее захлопнуть?

— Открой, пожалуйста.

Денег — два доллара.

— Это все, что у меня есть.

Несколько минут назад на платформе собвоя к женщине пристал хулиган. Мой пассажир вступился. Хулиган оставил женщину в покое, но сел в один вагон с заступником. На ближайшей остановке парень вышел из метро — тот идет следом; хорошо, что подвернулось мое такси. Впрочем, обмозговать приключение этого парня, уже покинувшего кэб, мне сейчас недосуд: чекер пересекает широкую площадь Шератон, но красные буквы на приборной панели подсказывают водителю: пассажир не захлопнул как следует дверцу. Улучив момент, я выскакиваю, захлопываю — и к моим ногам падает какая-то трубочка. Пластмассовая. Что это? На резиновом коврике пассажирского салона еще одна такая же.

— Бэй-Ридж!

— Я туда не поеду.

— Поедешь!

— Нет, не поеду...

Звонкая пощечина заставляет меня вздрогнуть, и пластмассовая трубочка — обыкновенное бигуди — выскальзывает из моих рук.

Никакого участия в скандале я не принимал, и пощечина досталась не мне. Ссора происходила между двумя модно одетыми девушками, возникшими рядом с моей машиной в тот момент, когда я разглядел возле заднего сиденья забытую кем-то опрокинувшуюся хозяйственную кошелку, из которой на пол кэба сыпались трубочки бигуди.

— Ты хочешь, чтобы я поехала вместо тебя? — шипит крупная властная шатенка с полыхающими гневом глазами. — Тогда ты так и скажи. Я — поеду!

— Что ты! Что ты! Как ты могла такое подумать? — лепечет другая, тоненькая, нежная.

Девушки стоят на тротуаре, я — на проезжей части, и кошелка под шумок перекочевывает с заднего сиденья на переднее.

— Я была не в настроении, потому что ты была не в настроении, — оправдывается та, которая получила оплеуху, уже согласная на что угодно, только бы ее простили.

Шатенка усадила присмирившую подружку в кэб и поцеловала ее:

— Все будет хорошо, вот увидишь, — сказала она, прощаясь, и мне стало не по себе от того, как прозвучало это обещание.

Пробираясь к Западному шоссе, я поглядывал на притаившуюся у моих ног кошелку и думал, что оставил ее в моем кэбе, конечно же, не парень, заступившийся за женщину в метро, и, разумеется, не подвыпившая осведомительница. Обнаружив в машине забытую вещь, таксист всегда определит, кто из клиентов ее оставил.

Черная кошелка дремала на полу пассажирского салона уже, наверное, почти час. Забыли кошелку в чекере, конечно, «лапушка» и «солнышко» — трогательная чета, полтора года лет на двоих. Багаж их — два чемодана, два картонных ящика и обрывавший руки сетчатый мешок с апельсинами — я погрузил в кэб возле Восточной автобусной станции, а выгрузил, когда на счетчике было всего доллар пятьдесят пять, перед входом в один из самых знаменитых и дорогих в Нью-Йорке жилых домов, «Манхеттен хаус».

Пока швейцар тащил чемоданы, а я вслед за ним волочил, спотыкаясь, мешок, «лапушка» семенила рядышком, приговаривая: «К лифту, пожалуйста, к лифту!» В моей голове никак не укладывалось: с какой целью везли мои пассажиры апельсины из Флориды? и почему эти весьма и весьма состоятельные люди добирались из аэропорта в город автобусом? И только когда я наконец дотащил мешок до лифта, и дело дошло до живых денег, и мне за все про все: и за погрузку, и за

разгрузку, и за поездку, — достался лишь огрызок второго, не доеденного счетчиком доллара, смекнул я, что апельсины в Майами, по-видимому, стоят дешевле, чем в ист-сайдской лавке. Потертую же кошелку «лапушка» держала на коленях до того момента, пока не принялась шарить сперва в дамской сумочке, потом в карманах кофты в поисках мелких купюр, а дать мне пятерку не решалась. Ей как-то спокойней было расплатиться с таксистом без сдачи. И потому, поставив кошелку на пол эба, прислонив ее к заднему сиденью, старушка подскочила к мужу, руки которого были заняты картонными ящиками, залезла в карман его плаща — осветилась! — отдала мне два доллара — и хлопнула дверцей.

Я уже выехал на Западное шоссе, вливавшеся в Бруклинский туннель, и, посматривая в зеркало на забившуюся в угол девушку, освещенную дрожащим светом туннельных ламп, думал: «Слоняется же глупое счастье по свету. Ну почему бы ему случайно не встретить меня?» Уже не раз обнаруживал я на заднем сиденье чекера знаки внимания заигрывавшей со мной фортуны: томительно пахнущую духами серьгу, зеленый комочек, развернувшийся в моих руках в чудесную двадцатидолларовую ассигнацию, часы, которые и по сей день носит моя жена. Под наспанными поверху бигуди в недрах кошелки несомненно таилась какая-то ценность! Не зря же «лапушка» не спускала кошелку с коленей.

— Мы находимся на Бэй-Ридж-авеню, — бросил я через плечо девушке, вырливая с шоссе. — Куда именно вас отвезти?

Вместо ответа девушка протянула мне бумажку с адресом. Она ехала по этому адресу впервые. На ночь глядя.

Я разыскал указанную на бумажке Колониал-стрит и в глубине проезда, тянувшегося между двумя рядами особняков, сразу увидел дом, куда должен был доставить пассажиру.

На единственной освещенной веранде ее поджидала компания горластых бруклинских парней. Победными криками и поднятыми над головами в салюте бутылками с пивом встретили они появление моего чекера в тихой улице и всем скопом бросились к машине. Нужно было рвануть назад и увести эту съезжившуюся от страха девушку... Но в жизни так не бывает. Я был не рыцарем и не Джеймсом Бондом, а таксистом, развозившим клиентов за плату по счетчику плюс чаевые — сколько дадут.

Изогнувшись в шутовском поклоне под гогот дружков, один из парней распахнул дверцу чекера. Девушка ступила на асфальт и пошла к крыльцу. Казалось, она не замечала нетерпеливой своры, и похабное веселье стихло. Было слышно, как хрустит под ее шагами песок... И когда второй гаер жестом пригласил свою сверстницу пройти с освещенного крыльца в полумрак дома, его дружки почему-то замаялись было в дверях, но тотчас опомнились и с гиканьем и толкотней повалили внутрь.

— Эй, сколько там тебе причитается? — подтолкнул меня в плечо двадцатилетний парень, стоявший возле открытого моего окна с деньгами наготове. — Держи! — Он спешил.

Я принял деньги не пересчитывая. Я тоже спешил...

Остановившись под фонарем на соседней улице, я запустил руку в кошелку под насыпанные поверху бигуди. Пальцы брезгливо отстранились от липкой баночки с кремом, оцарапались о щетку и вдруг ощутили какой-то металлический круглый — на ощупь не разберешь, что это такое, — предмет. Рука потянула находку наверх, и я увидел золотой браслет!..

Где-то неподалеку послышались голоса, шаги, и мой чекер эдаким подлецом, смываясь от прохожих, затрусил по мостовой, свернул за угол и снова остановился под фонарем. Впереди у подножья холма, на который взбиралась горбатая улица, где-то совсем поблизости тихо шуршало невидимое шоссе, пролежавшее над утонувшим в темноте океаном. Если я сейчас выеду на это шоссе, то через четверть часа буду дома. Однако же нетерпеливая рука сама полезла в кошелку, заглубилась по локоть и опять ухватила вещь-загадку: узкое, членистое, не имевшее ни конца, ни начала — что такое? Но прежде чем удовлетворить нечистую свою пытливость, глаза скосились в боковое зеркало, и, надо сказать, своевременно: к чекеру спешила какая-то парочка. И впускать людей в каб было некстати, и удирать тоже нехорошо. Оба рослые, нарядные, они уже находились в двух шагах от машины, и я против воли засмотрелся на женщину. Она была так хороша, что я до сих пор помню покрой ее платья из тончайшего темно-фиолетового шелка и гордую голову со строгой прической.

— В город! — сказал мужчина, открывая дверцу.

— Вообще-то я уж в гараж собрался, выручку вот считал, — сказал я. — Да уж ладно. Цельный вечер сегодня возил черт знает какую шваль. Знаете, как приятно, когда в машине нормальные люди.

— А мы не нормальные, — сдержанно и серьезно отвечал мужчина.

— Семьдесят четвертая и Бродвей, — со значением добавила женщина; темные глаза глядели на меня в упор не мигая.

На отрезке Семьдесят четвертой улицы между Бродвеем и Западным авеню происходило какое-то празднество. Квартал был забит скоплением желтых кэбов и частных автомобилей, затесался среди них и шикарный лимузин. Женщины, выходя из машин, охорашивались; расторопные служащие — валеты — угоняли автомобили в гараж, но пробка не рассасывалась: публика все прибывала.

Пара, которую я привез, покинула кэб, не дождавшись, пока мы доползем к полосатой, выступавшей на тротуар будке, в которую входили люди. Поравнявшись наконец с будкой, я увидел крутую, уходящую в подвал лестницу, по которой следом за черной парочкой, следом за моей парой из Бэй-Ридж чинно спускалась пышнотелая дама об руку с высоким худощавым мальчишкой. Внезапно на лестнице возникло встречное движение: по ней поднималась девушка в серебряном комбинезоне, понукаемая выпроваживавшим ее то ли распорядителем, то ли рядовым вышибалой, повторявшим ей в спину: «Пожалуйста, пожалуйста...»

— Проститутка! — взволнованно зашелестел тротуар.

Полосатая будка служила входом в самый популярный нью-йоркский секс-клуб «Убежище Платона»...

Из-под зашевелившихся при движении пронирыливой моей руки бигуди (они шевелились, словно комок оживших гусениц) выползла и легла ко мне на колени массивная, толщиной, наверное, с мизинец — золотая цепь! Через равные, в два-три дюйма, отрезки в цепь были вставлены продолговатые пластинки, осыпанные зелеными камнями. Не успел я, что называется, ахнуть, как рука моя ухватила на дне кошелки и вытащила — опять золото! — сотканый из золотых нитей, маленький, как бы игрушечный ридиколь с изящным замочком. Какие сокровища, какие драгоценности могут храниться в золотом ридикольчике? Трясущиеся пальцы справились, наконец с замочком; я вытряхнул на ладонь какое-то невиданное ювелирное д и в о, созданное из жемчугов и розоватых кораллов, и передернулся от омерзения. Тыфу! Это были склизкие челюсти старой ведьмы.

В этот муторный вечер какая-то непреодолимая сила толкала меня кружить и кружить по улицам. Какие-то люди садятся в кэб, куда-то я еду, еду.

Нежное прощание у входа в отель «Наварра». Плешивый затылок ласкает лебединая рука — и вдруг хитро-хитро подзывает меня пальчиком. Пальчик выпрямляется: велит подождать. И покаяывает, что ждать придется совсем недолго.

— Отвезите меня в «Плазу». Нет, лучше в «Пьер».

— Может, в «Хилтон»? — ляпнул я.

— Только не в «Хилтон»!

— А почему?

— Там полицейских как собак нерезаных.

Ах вот оно что! Ай да хитрый пальчик...

— Как бизнес?

— Хорошо! — весело откликается она, пересаживаясь на приставное сиденье, поближе. Минимум косметики, элегантная блузка.

— Что ж хорошего? — недобро говорю я.

— А мне нравится! За час — сто долларов. Добрый, ласковый, мне с ним было приятно. Потом прекрасный ужин: он меня пригласил. Уговаривал сейчас, чтобы мы вернулись в отель.

— И ты отказалась?

— Я не отказывалась. Но я сказала, что это будет стоить ему еще пятьдесят долларов.

— Что-то чересчур легко у тебя получается, — говорю я. — Сто долларов, пятьдесят долларов.

Почему же красивые молодые женщины на углах предлагают себя за двадцатку?

— Потому что они дуры.

— А маньяки? Пьянь? Болезни?

— А я смотрю, с кем иду.

— И давно ты работаешь?

— Два года.

— А твой друг не отбирает у тебя деньги? Не бьет тебя?

— У меня есть только один друг — это мой доллар!

Охранник, кемаривший за контрольным, оборудованным телеэкранами пультом в пустом вестибюле «Манхеттен хаус», едва увидев кошелку, сразу же понял, кто я.

— Мне отдашь или звонить хозяевам?

- Конечно, звони.
- Они уже, наверное, спят, — замылся охранник.
- Вряд ли, — с пафосом сказал я.

И действительно, «лапушка» не заставила себя ждать. В коротеньком полурасстегнутом халатике, сверкая голенными ножками, покрытыми синими узлами вен, она выпорхнула из лифта и ринулась ко мне:

— Ой, как я вам благодарна!..

И тут наступила пренеприятнейшая минута: повернувшись ко мне спиной, хозяйка рылась в кошелке, проверяя ее содержимое. Нехорошие мысленки замерцали в моей голове. Однако результатами проверки «лапушка» осталась довольна и подала мне — доллар...

Я оторопел. «Ну пусть и браслет и цепь, которые я вернул ей, были вовсе не золотые, — подумал я, — но зубы!.. Ведь если она живет в «Манхеттен хаус», и, стало быть, платит за квартиру в месяц больше, чем я зарабатываю за год, сколько же, черт побери, стоят ее зубы?!» Ни один пятак из пожалованных мне черными пассажирами не был до такой степени противен, как этот доллар.

Глава 10. НОЧЬ НАПРОЛЕТ

Одно из приятнейших на свете занятий — рассказывать о себе. Все равно — за обеденным столом или за письменным. Глотнешь коньячку ли, сочувственного ли внимания, прислушаешься ли к голосу взволнованной мысли — и призадуматься: эх, если бы все были такими, как я, ведь какая жизнь на земле наступила бы!

Спешите, спешите, художники, к своим мольбертам. Возьмите графит или уголь, всмотритесь еще раз позорче в мое лицо, но, прежде чем сделать первый штрих, постарайтесь прочувствовать всю, так сказать, ответственность момента: вы приступаете к портрету ч е с т н о г о т р у ж е н и к а, на плечах которого и держится наш мир, безумный, погрязший во грехе, готовый вот-вот рухнуть.

Лучше всего, полагаю, изобразить меня выглядывающим из кабины чекера, колеса которого оторвались от мостовой и который в о с п а р и л на крыльях безупречной моей нравственности над Мэдисон- или Парк-авеню, над запрудившей тротуар толпой отрицательных персонажей. Пусть всякий, кто взглянет на эту картину, без труда опознает в толпе и обманувшего меня китайца, и полисмена, записавшего меня в уголовные преступники, и синьору в белых чулочках, и всех недостойных моих пассажиров — и шпионку, и самодовольную проститутку, и развратников всех мастей, и, конечно же, сквалыгу старушку, которой я возвратил ее вставные челюсти, раскаившуюся, опустившуюся на колени и вымаливающую у «святого кэбби» прощение.

И только одна подробность чуть-чуть смущает меня. Описывая свой длинный-длинный день таксиста, арендующего кэб (день, который еще далеко не закончен), я рассказал все в точности как оно и было: и про жестокие условия аренды, и про то, как в поте лица добывает водила-арендатор каждый свой доллар, и про то, как мечтая облегчить свою участь, открыл я «золотоносную жилу»; а если о чем-то и умолчал, то всего лишь о какой-то пустяковой подробности, ни с какой стороны меня не характеризующей: о том, что с утра до полуночи (как и в предыдущие дни и месяцы, как и в последовавшие за ними годы) непрерывно и неумоимо оскорблял я сотни людей только потому, что они — черные!

Они стояли (и сегодня стоят), подзывая такси, на каждом перекрестке. Особенно много их становилось в часы пик, но мой кэб проезжал мимо. За пятнадцать часов в моем чекере побывало сорок с лишним пассажиров, а сколько из них было черных? Ни одного!

Могу сказать положа руку на сердце: никакого проявления расизма в этом не было. Я делал то же самое, что и многие цветные таксисты. Мы избегали не людей с черной кожей, а опасной для кэбби поездки в джунгли: в Южный Бронкс, в Браунсвилль, в Ист-Нью-Йорк; мы избегали клиентов, которые не платят чаевых. Правдив ли такой ответ? Безусловно. Но и это не полная правда.

Игнорируя черных, я вспоминал пацанов, которые облили меня водой и швырнули в мой кэб камнем; вспоминал свою поездку с черным солдатом в Джамайку и элегантную молодую мать семейства, которое я однажды вез после рок-концерта в дом со швейцаром на Двадцать пятой улице возле Лексингтон-авеню. Когда я сделал замечание ее сыну, облокотившемуся на полуоткрытое стекло (подросток мог повредить механизм, поднимающий и опускающий стекло), эта мамаша, наглотавшаяся дыма марихуаны, плюнула мне в лицо.

Она не попала. Смачный плевок распластался на стекле, но вытирать его потом и со стекла было не очень приятно. Скажите: ну что я должен был сделать? Плюнуть в ответ? Позвать полицию? Я наказал хамку так, что она до конца своих дней запомнила мою месть, — уехал, не получив денег...

Однако же все эти воспоминания, которыми я себя распаял, были опять-таки правдой однобо-

кой. Как-то очень ловко отгонял я от себя мысли о черном кэбби, который всего-то несколько часов назад отмазал меня от скандала у отеля «Американа», куда я привез багаж из «Хилтона». Не всплыл почему-то в моей памяти и другой негр-таксист, который сказал мне: «Поезжай за мной», после того как я под скрежет зубов «забытого папы» пошел на разворот прямо перед носом его кэба у ангара «ТWA». Ни единой доброй мысли в связи с черными не промелькнуло в моей голове, пока я делал вид, что не замечаю их, и так продолжалось до самой полночи.

А когда пробило полночь, в тебе проснулась совесть? Нет, это было не так, и совесть тут ни при чем.

Разделавшись с кошелкой, отъехав от «Манхеттен хаус», я не чувствовал себя ни раздавленным, ни обделенным судьбой. Я оставался тем, кем и был всю свою жизнь, что в России, что в Америке: беззаботным веселым нищим. Тормознув у первой же попавшейся телефонной будки, я раздумывал: звонить или не звонить жене? Да и деньги нужно было пересчитать. И тут привязалась ко мне черная девушка с виолончелью: пожалуйста да пожалуйста, отвезите меня домой.

— Куда?

— Сто восемнадцатая и Лексингтон.

— Не могу, — сказал я. — Моя смена кончилась, я должен возвращаться в Бруклин.

Только этого мне не хватало: ехать ночью в восточный, самый опасный Гарлем. Вне зависимости от того, сообщили сегодня о том газете или не сообщили, в восточном Гарлеме каждый Божий день с неотвратимостью захода солнца бандюги грабят беспечных заехавших туда таксистов. Недели две назад на стоянке в Ла-Гвардии черный кэбби показывал мне изуродованный свой палец, с которого ночной пассажир-«братишка» сорвал — с мясом! — серебряный перстень, а потом еще бил таксиста револьвером по голове за то, что беспрекословно отданная выручка составляла всего двадцать восемь долларов.

К счастью, девушка с виолончелью так обиделась на меня, что объясняться с ней не пришлось. Она отвернулась и высматривала такси на Третьей авеню, а я тем временем считал деньги.

День выдался неудачный, и за пятнадцать часов сделал я всего сто двадцать семь долларов, но это означало, что на сегодня с хозяйкой чекера я в расчете, что сожженный за день бензин оплачен, а штраф за остановку возле авиакасс покрыт. Правда, для себя я не заработал покамест и по два доллара в час; но не могу сказать, что эта мысль камнем давила на грудь. Какой там камень! Сто двадцать семь долларов — ведь это же был для меня рекорд! Еще ни разу не зашибал я в течение одного дня такой суммы. Более того: если вспомнить, сколько времени, сил и нервов угробил я попусту (как и вчера, как и позавчера) на идиотскую охоту за пассажирами в аэропорты, становилось ясно, что свой рекорд я запросто сумею повторить и завтра, и послезавтра, причем для этого нужно только одно: задушить в себе нелепый азарт выискивания чемоданов. Если я буду брать всех клиентов подряд (или, как говорят старые кэбби, подметать улицу), сегодняшний рекорд станет ежедневной моей нормой. Три дня в неделю я буду работать на хозяйку, а три на себя. И даже в связи с повесткой в уголовный суд не чувствовал я себя подавленным, ибо, поостыв и спокойно во всем разобравшись, принял самое простое и самое разумное решение: поскольку я ни в чем не виноват, то мне вообще незачем являться в суд. А повестку, дрянную эту бумажонку, надо просто порвать и выбросить. Что самое худшее могут сделать за неявку в суд порядочному человеку, который ничего такого не сделал? Ну отберут таксистские права. И слава Богу! Жена будет счастлива.

Монету в автомат я уже опустил, а набрать номер не решался. Звонить нужно было раньше, а теперь неизвестно: волнуется ли жена, бродит ли по квартире, не находя себе места, или уснула? Может, мой звонок, вместо того чтобы успокоить, разбудит ее?

— Неужели нельзя истратить на меня пять минут вашего драгоценного времени? — снова пристала ко мне черная виолончелистка.

— Нет, нельзя! — отрубил я. И поехал работать, пока открыты улицы, пока деньги текут.

— Большое спасибо, сэр! — вдогонку крикнула девушка. Кисло мне от ее иронии.

Но что это: на протяжении чуть ли не десяти кварталов Ист-Сайда навстречу мне не поднялась ни одна рука. Странно. Ведь только что и десяти метров нельзя было проехать спокойно: меня рвали на части. Я свернул на Парк-авеню, она была пуста. Огромный город уснул внезапно, как заигравшийся ребенок. Я проверил Пятую авеню: свободные такси катили по ней сплошным потоком. Пассажиров не было. Ни белых, ни черных. Вон у здания библиотеки мужская фигура не подняла руку, нет, лишь шагнула к краю тротуара — и сразу к ней один кэб наперерез другому.

Ночная гонка трудней и рискованней утренней, но меня словно кто-то подзуживал: я должен и выиграть хотя бы одного пассажира!

Безлюден был Центральный вокзал, безлюдна Мэдисон-авеню. Часы показывали двенадцать двадцать. На поиски клиента я положил себе десять минут. Найду, не найду — в двенадцать тридцать я уезжаю домой.

Я пересек Манхеттен по Сорок второй улице — безрезультатно. Отель «Тьюдор» тоже уснул, спали танцующие и ресторанчики на Первой авеню. Еще десять минут, дополнительных. Теперь уже точно последних.

Я переждал красный свет на углу Шестьдесят седьмой улицы, когда заметил, что к перекрестку приближается черная женщина с ребенком. Она еще не достигла края тротуара, может, ей вовсе и не нужно такси. Стая желтых акул, мчавшихся по авеню, была метрах в пятидесяти от меня, и я рванул с места, не дожидаясь переключения светофора, только колеса взвизгнули.

— В Бруклин поедете? — спросила женщина. Мальчик лет пяти, которого она держала за руку, засыпал стоя.

— Садитесь, — буркнул я вроде бы недовольный. Совсем необязательно докладывать ей, как мне повезло. Работа в городе все равно кончилась, а я поеду домой с включенным счетчиком.

Вот вам и ответ на вопрос вопросов: какой пассажир самый лучший? Белый? Черный? В аэропорт? Лучше всех тот, кто едет туда, куда мне, таксисту, нужно.

Но добра без худа тоже не бывает: пассажирка в Бруклин оказалась сварливой, и мы поссорились.

— Вы знаете, где находится Хайленд-бульвар? — спросила она.

— Приблизительно, — ловчил я. — А разве вы сами не знаете, где живете?

— Я не езжу домой на машине, — раздраженно ответила женщина.

— Не волнуйтесь, все будет в порядке, — примирительно сказал я: нельзя же было после всего потерять бруклинскую работу. — Разыщем мы ваш бульвар.

— Ты будешь искать, а я платить? — взъерепенилась черная. — Имей в виду, больше десяти долларов ты с меня не получишь!

— О'кей! — сказал я. — Десять так десять.

Она унялась — захныкал ребенок. Раздался шлепок. Мальчонка заревел вовсю.

— Зачем вы его бьете? — не выдержал я. — Разве он виноват, что ему давно пора спать?

— Вы такое слышали?! — заорала черная, словно в машине, кроме нас, были еще люди. — Этот дурак будет учить меня, как мне обращаться с моим сыном!

Мы находились на южной границе Манхэттена. Впереди аркадой тусклых фонарей вздыбился уходящий в Бруклин мост. Я подъехал к бровке.

— Дальше вы будете добираться без меня.

— Ты не имеешь права выбрасывать женщину с ребенком в час ночи посреди улицы, — с угрозой сказала черная.

Но я и не собирался так поступать.

— Я остановлю для вас другой кэб, — сказал я.

— На счетчике три восемьдесят пять, — напомнила она, намекая, что не даст мне ни цента.

— Хорошо. Все деньги вы заплатите тому д у р а к у, который вас повезет.

Стоило мне выйти из машины и поднять руку, как вплотную к моему чекеру подкатил кэб с включенным сигналом «НЕ РАБОТАЮ».

— В Бруклин, — указал я на мост.

Но таксист, по-моему, русский, на меня даже не глянул; он напряженно всматривался сквозь пыльное стекло: к т о сидит в чекере? Всмотрелся — и двинул на мост.

Следующий кэбби поступил точно так же: остановился, всмотрелся, уехал. Третий, негр, вступил в переговоры:

— Куда она едет?

— В Бруклин.

— Бруклин большой.

— На счетчике три восемьдесят пять, — сказал я. — Все деньги она заплатит тебе.

Заманчивое обещание подействовало. Однако черный кэбби открыл заднюю дверцу моего чекера, переспросил у пассажирки адрес — и направился к своей машине.

— Учти, — крикнул я, — в городе работы нет!

Таксист обернулся.

— Я знаю, — сказал он. — Но я на Хайленд-бульвар не поеду.

— Скажи хоть, как туда добираться?

— Езжай по Атлантик-авеню, миль пять. Это где-то там.

Мост показался мне бесконечным, как нынешний вечер. На Атлантик-авеню за мостом я почему-то не попал, а очутился на Фултон-стрит. Потом на какой-то Марси-авеню. Кругом не было ни души, но я знал, что мы находимся в черном гетто: слишком уж часто попадались вывески контор, которые в других местах редки, — «Размен чеков».

— Бродвей! — обрадовалась моя пассажирка. — Поворачивай!

Посмотрели бы вы на этот бруклинский Бродвей! Вместо неба над ним — грохочущая надземка. Мостовая изрыта такими колдобинами, что если колесо попадет в одну из них, то там и останется. Кварталы трущоб с заколоченными окнами перемежаются кварталами сгоревших домов. Арендная плата в гетто настолько низкая, что домовладельцам выгоднее поджигать свои дома и получать страховку, чем сдавать квартиры внаем.

— Где-то здесь проходит Бушвик-авеню, — сказала женщина. — Нам нужно туда. Кажется, это справа.

Я послушался, и мы опять потеряли дорогу. А на счетчике было уже тринадцать с лишним долларов.

Внезапно окрестность ожила. На пустыре, окруженном развалинами, горели костры, резвились дети, гремела музыка. У костров громко разговаривали и смеялись черные оборванцы: то ли бездомные, то ли обитатели окрестных трущоб. А над всем этим адом царила вырвавшаяся из туч луна, заливавшая и руины, и пустырь, и лица призрачным потусторонним светом.

Шел уже с е м н а д ц а т ы й час моего рабочего дня, и я думал: «Они коротают ночь у костров потому, что не устали за день. Они не идут спать потому, что утром им не нужно вставать на работу. И рассказывайте кому угодно, только не мне, об угрожающем проценте безработицы в черных районах. Водители требуются в любом гараже. Таксистские права оформляются в три дня. Потомственная клиентура офисов «Размен чеков» не ж е л а е т работать!»

Да, их прадеды были рабами. Но разве жизнь русских крепостных была светлей, чем жизнь американских негров? И тех и других хозяева продавали, как скот. В России рабство было отменено в 1861, а в Америке в 1864 году. И я не понимаю этой логики: «Меня считают человеком второго сорта, поэтому я хочу жить за счет тех, кто меня презирает...»

Впитав вместе с материнским молоком философию потомственных люмпенов «нам положено», вступит через несколько лет в жизнь и этот мальчик, которого мама лупцует за то, что среди ночи ему хочется спать, и который был рожден на свет Божий лишь с той конкретной целью, чтобы увеличивался ежемесячный чек пособия его родительницы.

Я протянул руку назад, и ребенок, выглядывавший из окошка перегородки, взял ее горячими влажными пальчиками.

— Давай отвезем твою маму домой, — предложил я мальчишке, — а ты оставайся. Будем жить в моем чекере, есть мороженое и сосиски. Скоро ты подрастешь и станешь кэбби, как я. Согласен?

Мальчик тихонько засмеялся и осторожно отстранил от себя мою руку: Великий Соблазн. Грюкнуло приставное сиденье, я оглянулся. Мальчонка прижался к маме. Она улыбалась, наша ссора была забыта, мы ехали по бульвару Хайленд.

— Здесь, — сказала пассажирка и протянула мне обещанную десятку.

Но что за странное место выбрала эта женщина для остановки? Слева от нас был пустырь, справа — заброшенный дом с заколоченными окнами. И только впереди, метрах в тридцати, над застекленным вестибюлем высилось многоэтажное жилое здание. Перед входом в него собралось несколько человек. На остановившийся поблизости кэб эти люди не обратили внимания. Они вроде бы расходились по домам. Одни исчезали по правую сторону от полосы света моих фар, другие по левую. Никакой торопливости в их движениях я не заметил, как и не придал значения тому, что ни один из них не направился в вестибюль.

Почему мне вздумалось выйти из машины? Вероятно, захотелось распрямиться или погладить на прощанье мальчишку. Опасности в ту минуту я не ощущал. Да, собственно, я и не вышел из кэба, а лишь открыл свою дверцу, чтоб выйти. Но едва я сделал это, как женщина с мальчонкой на руках злобно шепнула:

— Идиот! Смывайся отсюда! Идиот!

— Такси! Такси! — раздалось одновременно с двух сторон.

В темноте вспыхнул топот бегущих ног, но я успел захлопнуть дверцу и нажать на кнопку замка. Скачком покрыв последние метры, отделявшие ее от чекера, темная фигура несомненно уловила смысл судорожных моих движений, ибо не дернула защелкнутую изнутри дверцу, а обеими руками рванула вниз приоткрытое стекло. Но чекер уже набирал скорость. С непостижимой ловкостью тень оттолкнулась от кэба, изогнувшись в воздухе и пропала в темноте.

Через сколько минут я опомнился? Может, через две, а может, через десять. Помню только, что первое чувство, которое я осознал, было чрезвычайно легкомысленным: душу томил — стыд. Стыд мужчины, которого оскорбила женщина. Хотя это ругательство ведь было моим спасением...

Кэб стоял на Пенсильвания-авеню перед красным светофором. Стекло не сломалось, не треснуло, а лишь было опущено примерно на три четверти. Я осторожно покрутил ручку, регулировавшую положение стекла: оно не двигалось. Придется чинить, с досадой подумал я. Между тем

Пенсильвания-авеню привела меня к Кольцевому шоссе. Теперь домой! Хватит на сегодня приключений. Однако дорога бежала в противоположную от моего дома сторону; вдоль нее вспыхивала цепочка огней, указывающая летчикам, как заходить на посадочную полосу, я уже различал контуры ангаров, складов, хранилищ горючего — Кеннеди!

И стоянки и вокзалы аэропорта были, конечно, пусты. Только у корпуса «National» стояли пять-шесть кэбов. Чего они тут дожидаются? Постучался в окно последней машины: «Эй!» — и только после этого разглядел, что кэбби, скрючившийся в неудобной позе на переднем сиденье, спит. Нужно было потихоньку улизнуть, но голова в надвинутой на глаза кепке уже приподнялась.

— Ну чего орешь? — с досадой сказал кэбби. — Что тебе надо?

— Когда самолет? — спросил я. Нужно же было что-нибудь спросить, раз уж я разбудил его.

— Какой еще самолет? Самолет придет утром. Мы спим здесь.

Пристыженный, я поплелся к своему чекеру. Где-то я уже видел этого кэбби, слышал этот голос, этот акцент. Но нельзя же снова будить человека, чтобы спросить его: откуда я тебя знаю?

— погоди!

Дородная фигура с трудом выбиралась из гаражного «доджа».

— Эй, что ты тут, сукин сын, околачиваешься?

Албанец! Как мы обрадовались друг другу!

— Ты же бросил такси! — шумел албанец, хлопая меня по спине.

— А разве ты не бросил? Кстати, почему ты на гаражной машине? Где «Тирана корпорейшн»?

— Не спрашивай, — отмахнулся албанец. — А ты купил? — Он постучал по крылу чекера.

— Арендую, — сказал я.

По таксистской привычке мы забрались в кэб. Албанец уселся на мое место за руль и сразу же обнаружил, что подъемник стекла испорчен.

— Это еще что такое! — по-хозяйски прикрикнул на меня он.

— Сломалось, починю завтра.

— Почему завтра?

Он открыл мой бардачок, достал отвертку, сорвал с внутренней стороны дверцы ручку — я обомлел! — отколупнул дерматиновую обшивку, сунул руку в образовавшуюся щель, стекло со стоном провалилось внутрь дверцы, но уже через минуту плавно, беззвучно поднималось и опускалось, словно так и было. Мы закурили и еще не погасили наши сигареты, как я забыл и который теперь час, и о том, что так и не позвонил жене, и о том, что мне давно пора домой, поскольку ведь и завтра тоже нужно работать.

Весь этот год албанец играл. Удача только-только пришла к нему, когда мы встретились на Парк-авеню. Однажды друзья затащили его в притон, где играют в бу-бу, в кости. У албанца были с собой сотни две или три, а через час он вышел на улицу с двумя тысячами в кармане и после счастливого этого вечера не садился за руль такси. И к костям не притрагивался.

Филиппинец и грек сражались за сотню долларов. Албанец ставил тысячу на грека. Грек выигрывал три удара подряд и получал триста долларов. Албанец же, рискнув лишь тысячей исходной ставки, после трех ударов уносил восемь тысяч!

Взяв с собой детей и жену, он улетел в Европу. Дубровник, Афины, Париж... Один наезд на Монте-Карло — и все путешествие окуплено! Затем последовали поездки в Лас-Вегас, на Багамские острова — нигде он не знал проигрыша. Но по-настоящему везло ему только в Нью-Йорке, только в бу-бу в том самом притоне в Челси. Везло бешено, невероятно!

Через месяц после покупки «Тирана корпорейшн» собравшейся наличности хватило на двух-семейный дом. Никаких банков, займов — он выложил деньги на бочку! Нижнюю квартиру заняла семья албанца, верхнюю он отдал своим родителям. Персидские ковры, скандинавская мебель, ящики дорогих коньяков — он расшвыривал деньги, а их становилось все больше и больше. Два ресторатора-китайца играли по пятьсот долларов партия. Он сделал два удара, рискнув пятью тысячами исходной ставки, и унес двадцать! В притоне его окружали легенды.

Внезапно деньги исчезли. Пришлось заложить драгоценности, подаренные жене. Теперь семья жила на то, что привозили водители «Тирана корпорейшн». Этих денег с лихвой хватало на жизнь, но не на игру.

Албанец стал осторожничать. Из тысячи долларов, которые еженедельно платили ему четверо кэбби, он половину оставлял жене, а половину уносил в притон. Пятьсот долларов легко превращались в тысячу. Но проклятая эта тысяча переходила в руки хозяев притона. Получалась какая-то чепуха: наступавшие все реже озарения интуиции он продавал за бесценок. Тот, кто вкусил крупной игры, не может вести мелкую.

Проигран первый медальон и заложен за двадцать тысяч второй. Двадцать тысяч растаяли в три дня. Чтобы спасти последнее, пришлось заложить дом. На этот раз у албанца хватило

выдержки сделать заем в банке. Однако ссуду он проиграл, а медальон не выкупил. По закладной нужно было выплачивать всего двести долларов в месяц, и албанец, работая, вполне сводил бы концы с концами. Но он уже не мог бросить игру.

Все, что зарабатывал в гаражном кэбе, он относил в притон. Сто долларов запросто превращались в двести, двести — в четыреста, а потом он спускался в метро, ехал в гараж и выпрашивал у диспетчера кэб на ночную смену.

Он не видел ни жены, ни детей, ни родителей — не смел показаться им на глаза. Как они выкручиваются, на какие средства живут — не знал.

— Теперь надо терпеть и ждать, — сказал албанец.

— Ждать чего?

— Когда снова начнет везти.

На главной дороге аэропорта возникли желтые осы, и кто-то из проезжавших мимо водителей крикнул:

— Что вы тут чикаетесь? На «United» нет машин!

Таксистский азарт мгновенно, до дрожи захватил меня. О том, чтоб ехать домой, теперь не могло быть и речи!

Самолет пришел переполненный: было много пассажиров в Бруклин, куда мне хотелось попасть, но я получил мрачного черного парня, ехавшего в противоположный конец города, в Бронкс. Чтобы мне не пришлось потом выходить из машины среди ночи в каком-нибудь глухом закоулке Бронкса, я не стал открывать багажник, а втокнул чемодан в салон.

— Мотель возле стадиона «Янки» знаете, сэр?

«Сэр» — это неплохо. По крайней мере, скандала не предвидится. Да и мотель возле стадиона я знал: рядом с шоссе, а главное, буквально в двух шагах от полицейского участка. Бояться было нечего. Зарядивший дождь лишь подбадривал меня, напоминая о том, как хорошо, как тепло и сухо в машине. Пухлая пачка денег приятно ласкала бедро. Когда я высажу черного, у меня будет полтора с лишним долларов!

Чекер шел со скоростью миль сорок, не больше, переднее стекло то и дело захлестывало водой, которую поднимали обгонявшие меня машины. Мы уже давно оставили позади и Гранд-шоссе и мост Трайборо и ехали по Восемьдесят седьмой дороге, когда сизую муть захлестнутого водой стекла озарил вдруг зловеющий рубиновый отсвет. Тормоз! Чекер пошел юзом; дворники смахнули муть со стекла, и рубиновый занавес превратился в два ярких красных огня над бамперами легковой машины, которая, визжа и виляя, остановилась посередине шоссе. В тот же миг правая передняя дверца машины распахнулась, и на дорогу выскочила женщина. Она метнулась к обочине и побежала вперед — в глухую ночь, под проливным дождем.

Бывают такие минуты, когда невозможно праздновать труса. Может, не будь на заднем сиденье этого черного парня, автомеханика из Алабамы, обращавшегося ко мне «сэр» и становившегося теперь свидетелем моего позора, я проехал бы мимо... Не знаю. Было очень страшно, но я вильнул вправо и оказался между остановившейся на шоссе машиной и бегущей женщиной.

— Сумасшедший, что ты делаешь?! — закричал негр.

Но его страх придал мне смелости. Поравнявшись с женщиной, я нажал на тормоз. Повалился на сиденье, дотянулся до ручки и открыл дверцу.

— Садитесь.

Фары той машины заливали кабину чекера светом. «Будут стрелять!» — мелькнуло в голове, и, едва женщина оказалась рядом, я рванул вперед. Струйки воды текли по лицу женщины. Машина, из которой ей удалось бежать, не отставала от нас ни на метр.

— Что случилось? — хриплым, чужим голосом спросил я; негр притих.

— Спасибо, — сказала женщина.

— Скажите, черт побери, что случилось?

Женщина всхлипнула.

Промелькнул указатель «Стадион», мне пришлось съехать с шоссе на вспомогательную, совсем уже глухую дорогу, и опять в голове мелькнуло: сейчас будут стрелять. Но никто не стрелял.

Наконец показался полицейский участок. На крыльце его под навесом — несколько фигур в форменных дождевиках и фуражках. Остановившаяся у мотеля, я был уже совершенно спокоен. Негр заплатил семнадцать долларов и уволок чемодан, а женщина наградила меня двадцатидолларовой купюрой.

— Я восхищена вашим поступком! — сказала она, но в ее интонации почему-то отчетливо слышалась фальшь.

К мотелю подползла та, не страшная (в присутствии полицейских) машина. Из нее под дождь вышел человек моих лет, в костюме, при галстуке. Он смущенно улыбался, показывая, что намерения у него самые мирные.

— Добрый вечер, — сказал он. Выглядело это так, словно он здоровался с чекером.

В роли агрессора неожиданно выступает моя пассажирка. Она выскакивает из кабины, хватая мужчину за галстук — голова его мотается из стороны в сторону, — и так же неожиданно дама возвращается в кэб.

— Отвезете меня в Бронксвилль?

Еще бы не отвезу! Поездка за город — это же двойная оплата! Сердце так и затрепетало: к моим ста семидесяти четырем долларам добавится изрядный куш. Да я побью сегодня выручку всех врунов, которые только и ездят что в Филадельфию или в Вашингтон!

Часы показывали начало четвертого, когда мы свернули с шоссе Мэджор-Диган в кромешную тьму предместья. Женщина указывала мне, как ехать. Дорогой она снова принялась меня благодарить.

— Рассказали бы лучше, что же все-таки произошло, — ворчал я, распираемый гордостью.

— Рассказать вам день за днем все эти ш е с т н а д ц а т ь лет?! — с пафосом ответила женщина, и мой геройский «подвиг» поблек.

Больше я ни о чем пассажирку свою не расспрашивал. Однако же завершилась поездка за город еще одним разочарованием. Возле своего дома женщина опять раскрыла сумочку и д е м о н с т р а т и в н о отдала мне все, что там было: три бумажки по доллару. А счетчик, включенный заново у полицейского участка, показывал одиннадцать шестьдесят пять...

— Мы находимся за городом, — напомнил я пассажирке. — Мне полагается двадцать три тридцать...

— У меня нет больше денег! — раздраженно ответила она и показала содержимое сумочки: скожанные салфетки, пудреницу и тюбик губной помады. — Двадцать долларов я вам дала? И хватит!

На том и закончили. Следовавшая за нами машина попятилась, выпуская мой чекер из узкого проезда, и я остался один...

Выл ветер в невидимых кронах деревьев, лил дождь. Я спустился с холма и поднялся на холм. Вокруг ни единого огонька.

«Какая прелесть, какая гадость! — думал я. — Закатила истерику, одарила подобравшего ее на шоссе кэбби, но тут же пожалела денег и захотела, чтобы я отработал их. И то ладно. Откуда только эта вспышка благородного негодования? И как теперь мне отсюда выбраться?»

Еще один подъем. Еще один спуск. Ночь и дождь. Что делать? Вдруг, ослепив меня, мимо промчалась машина, и царапавшая душу тревога спрятала коготки. Я развернулся, поехал следом, и вскоре из-за поворота выскочил щит с услужливой стрелкой и надписью «Нью-Йорк».

Но до Нью-Йорка было далеко; дождь превратился в ливень. Фары моего чекера не пробивали серую стену. Включив аварийные огни, я п о л з по шоссе и лупил себя по щекам. Я пел. Орал. Курил. Двадцать два часа, проведенные за рулем, навалились на меня, и глаза закрывались. Машин вокруг становилось все больше и больше, над головой промелькнула тень моста Веррано. Если бы не дождь, отсюда был бы уже виден мой двадцатизэтажный дом с круглыми водонапорными башнями на крыше.

... Ледяной душ. Вестибюль. Мокрые туфли сброшены. Из спальни выглянуло чужое, насупленное лицо жены. В моем кабинетике на диване — постель. Это наказание, санкция... А мне так хотелось и повиниться, и объяснить, почему я не позвонил, и похвалиться небывалой — сто семьдесят семь долларов! — выручкой. И еще хотелось сказать жене заранее приготовленную, выпестованную в душе фразу: с таксистом, мол, когда он привозит домой такие деньги, случается за день столько всяких приключений, сколько с иными людьми не случается и за год.

Я надел сухую майку и лег. Но сон отлетел. За окном стояла черная тишина. Дождь кончился, я не мог уснуть...

(Окончание следует)

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

*

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Campo di Fiori¹

В Риме на Кампо ди Фьори
Груды маслин и лимонов,
Булыжник вином забрызган
И лепестками цветов.
И розовые дары моря
Сыплют на стол торговцы,
И темная гроздь винограда
Ложится на персика пух.

На этой именно площади
Сжигали Джордано Бруно,
Палач разжигал здесь пламя
В кругу любопытной толпы.
Едва лишь пламя погасло,
Вновь были полны таверны,
Груды маслин и лимонов
Торговцы опять несли.

Я вспомнил Кампо ди Фьори
В Варшаве, у карусели,
В погожий весенний вечер,
При музыке плясовой.
Залпы в варшавском гетто
Глушила музыка танца,
Взлетала за парой пара
В погожее небо ввысь.

Порой из домов горящих
Летели черные хлопья,
И едущие на карусели
Ловили их, как лепестки.
И вихрь от домов горящих
Платья взвивал девичьи
В веселой воскресной Варшаве,
Смеявшейся по-людски.
Мораль здесь выведет кто-то,

Что люд варшавский иль римский
Торгует, смеется, любит,
Не видя ни жертв, ни костров.
А кто-то сделает вывод,
Что все людское не вечно,
Еще и костер не догаснет,
Забвенье уже растет.

Но я о другом подумал,
Об одиночестве гибнущих,
О том, что, когда Джордано
Всходил на свой пьедестал,
В людском языке не нашел он
Ни одного выраженья
Прощания с человечеством,
Которое он оставлял.

Бежали, спешили выпить,
Продать рыбачью добычу,
Груды маслин и лимонов
Несли в дневной суетне.
Он был уж от них далеким,
Как будто прошли столетья,
А ждали они лишь мгновенье
Отлета его в огне.

И здесь: одиноко гибнущие,
Уже забытые миром,
Язык наш стал для них чуждым,
Как речь далеких планет.
И все это будет легендой,
И через многие годы
На новом Кампо ди Фьори
Бунт словом зажжет поэт.

Варшава — Страстная неделя, 1943.

Чеслав Милош (род. 1911), польский поэт. В настоящее время живет в США. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1980).

¹ Поле Цветов (итал.).

Не более

Я должен рассказать о том, как изменил
Взгляд на поэзию и как пришел к тому,
Что сознаю себя купцом или ремесленником,
Одним из многих в императорской Японии,
Слагающих стихи лишь о цветенье вишни,
О хризантемах и о полнолуние.

Когда б я мог венецианских куртизанок
Изобразить, как дразнят прутиком павлина,
И мог бы из шелков, из палевой повязки
Вылущить грудь отяжелевшую, увидеть
Багровый след на животе от пряжки платья,
Хотя бы так, как видел шкипер галеонов,
Груженных золотом, прибывших в порт в то утро,
И мог бы в то же время бедные их кости
На старом кладбище, чьи стены лижет море,
В слове замкнуть моем, немеркнушем, как гребень,
Что в прахе под плитой, один, ждет света солнца.

Тогда б я верил. Но в словах материю
Как воссоздашь? Лишь красоту, не более.
Так удовольствуемся же цветеньем вишни,
И хризантемами, и полнолунием.

Монжерон, 1957.

Песенка о фарфоре

Ах, розовые мои блюдца,
Цветистые мои чашки,
Лишь брызги от вас остаются,
Где танк проехал тяжкий.
Зефир над вами летает,
Роняет пух из перины,
На черный след упадает
Обугленной тень руины.
Усыпаны доли и горы
Осколками хрупкого вздора.
Ей-ей, ничего другого
Не жаль мне так, как фарфора.

Едва заря забрезжит,
Сквозь стон земли стоустый
Слышатся, слух мне режут
Маленьких блюдец хрусты.
Сны мастеров старинных
Белы, как замерзший лебедь,
В подземных реках глубинных

Загинут они, как в Лете.
От их немого укора
Весь день я хожу как хворый.
Ей-ей, ничего другого
Не жаль мне так, как фарфора.

Равнина до берега солнца
Скорлупками сплошь покрыта.
Хрустят, когда их коснется
Сапог или копыто.
О, радовавшие очи
Забавы роскоши праздной,
Валяетесь вдоль обочин,
Забрызганы грязной краской.
Ах, доньшки, ушки и горла
Лежат среди пыли и сора.
Ей-ей, ничего другого
Не жаль мне так, как фарфора.

Вашингтон, 1947.

Из цикла «Голоса бедных людей»

Предместье

Рука с колодой карт упала
В песок горячий,
Солнце белесое упало
В песок горячий,
Фелек банк держит, играем, парни,
Блеск пробивает грязные карты,
Песок горячий.

Тень трубы фабричной. Реденькая травка.
 Дальше город, отворенный рваной раной.
 Хаос проволоки, рыжие руины.
 Обнажил сухие ребра кузов ржавый.
 Зияет яма глины.

Пузырек пустой чекушки —
 В песок горячий,
 Капнул дождик — чуть вскурился
 Песок горячий.
 Янек банк держит, и мы играем,
 Играем в карты июли, маи,
 Играем год и второй, и третий,
 И блеск сквозь карты черные светит
 В песок горячий.

Дальше город, отворенный рваной раной,
 Ствол сосенки за еврейским домом,
 След в песке, бескрайняя равнина,
 Пыль от извести, и катятся вагоны,
 А в вагонах плачет смертная обида.

Вот мандолина, на мандолине
 Сыграй все это,
 Эх, пальцем в струны.
 Песенка-прелесть,
 Пустырь постылый,
 Выпита водка,
 Больше не нужно.

Глянь, по дороге проходит девка.
 Туфли из пробки, модная челка.
 Эй, позабавься с нами, девчонка.
 Пустырь постылый,
 Заходит солнце.

Варшава, 1943—1944.

Ars poetica?

Я всегда тосковал по форме более емкой,
 которая не была бы ни слишком поэзией, ни слишком прозой
 и позволяла бы объясниться, не обрекая кого-то,
 автора или читателя, на чрезмерные муки.

В самом существе поэзии что-то есть неприличное:
 из нас возникает вещь, а мы и не знали, что она в нас есть,
 и вот моргаем глазами, как если бы выскочил из нас тигр
 и стоял на свету, обмахиваясь хвостом.

Поэтому правильно говорят, что поэзию диктует дaimонион,
 хотя преувеличивают, что это, наверно, ангел.
 Трудно понять, откуда берется гордость поэтов,
 если им стыдно бывает, что видна их слабость.

Разве разумный человек согласится быть царством демонов,
 правящих в нем как дома, говорящих многими языками,
 и, как будто им мало украсть и уста и руку,
 пробующих для своей корысти менять его жребий?

Поскольку все больное в наше время ценят,
кто-нибудь посчитает слова мои шуткой
или что я придумал еще один способ,
чтоб восхвалять Искусство с помощью иронии.

Было время, читались лишь мудрые книги,
что сносить помогают боль или несчастье.
Это, однако, не то же, что листать тысячи
сочинений прямо из психиатрической клиники.

А мир на самом-то деле иной, чем нам кажется,
и сами мы иные, чем бредим в беспамятстве.
Вот и хранят люди честное молчание,
тем снискав уваженье родных и соседей.

Польза поэзии та, что она нам напоминает,
как трудно оставаться собой, тем же самым,
ведь дом наш открыт настежь, в дверях нет ключа, гости
невидимые все время входят и выходят.

Все, что я говорю здесь, согласен, не поэзия.
Стихи же писать можно лишь редко и нехотя,
под невыносимым нажимом и только с надеждой,
что мы не злых, а добрых духов медиум.

Беркли, 1968.

Подготовка

Еще один год подготовки.
Завтра засяду уже за работу над главной книгой,
В которой мое столетье предстанет как было.
Солнце в ней будет всходить над правыми и неправыми,
Весны и осени будут безошибочно сменять друг друга,
Дрозд будет в мокрой чаще гнездо обмазывать глиной,
И лисьей своей натуре будут учиться лисы.

И всё. А кроме этого: армии,
Бегущие по мерзлым равнинам с остервенелой руганью,
Мириадогосой; огромное дуло танка,
Торчащее на углу улицы; въезд в сумерках
Меж пулеметными вышками в ворота лагеря.

Нет, это будет не завтра. Через пять, через десять лет.
Все еще слишком я много думаю о материнстве
И о том, что же он такое, человек, рождаемый женщиной.
В клубок свивается и голову заслоняет,
Когда его бьют сапогами; бежит, охвачен
Огнем; бульдозер сгребает его и в яму.
Ее ребенок. С мишкой в ручонках. В любви зачатый.

Все еще не научусь говорить как надо, спокойно.
А гнев и жалость вредят равновесью стиля.

Перевел с польского ВЛАДИМИР БРИТАНИШСКИЙ.



ИОСИФ БРОДСКИЙ

*

О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

ПОЭТ И ПРОЗА

1

Подразделение литературы на поэзию и прозу началось с появлением прозы, ибо только в прозе и могло быть произведено. С тех пор поэзию и прозу принято рассматривать как самостоятельные, вполне независимые друг от друга области — лучше: сферы — литературы. Во всяком случае, «стихотворение в прозе», «ритмическая проза» и т.п. свидетельствуют скорее о психологии заимствования, то есть поляризации, нежели о целостном восприятии литературы как явления. Любопытно, что подобный взгляд на вещи ни в коем случае не навязан нам критикой, извне. Взгляд этот есть прежде всего плод цехового подхода к литературе со стороны самих литераторов.

Природе искусства чужда идея равенства, и мышление любого литератора иерархично. В этой иерархии поэзия стоит выше прозы и поэт — в принципе — выше прозаика. Это так не столько потому, что поэзия фактически старше прозы, сколько потому, что стесненный в средствах поэт может сесть и сочинить статью; в то время как прозаик в той же ситуации едва ли помыслит о стихотворении. Даже если он, прозаик, и обладает качествами, необходимыми для сочинения приличного стихотворного текста, ему отлично известно, что поэзия оплачивается гораздо хуже и медленнее, чем проза.

За малыми исключениями все более или менее крупные писатели новейшего времени отдали дань стихосложению. Одни — как, например, Набоков — до конца своих дней стремились убедить себя и окружающих, что они все-таки — если не прежде всего — поэты. Большинство же, пройдя искус поэзии, более к ней никогда не обращалось, кроме как в качестве читателей, сохраняя тем не менее глубокую признательность за уроки лаконизма и гармонии, у нее полученные. Единственный случай в литературе XX века, когда замечательный прозаик превратился в великого поэта, — это случай с Томасом Харди. Обобщая же, можно заметить, что прозаик без активного опыта поэзии склонен к многословию и к велеречивости.

Чему научается прозаик у поэзии? Зависимости удельного веса слова от контекста, сфокусированности мышления, опусканию само собой разумеющегося, опасностям, тающимся в возвышенном умонастроении. Чему научается у прозы поэт? Немногому: вниманию к детали, употреблению просторечия и бюрократизмов, в редких случаях — приемам композиции (лучший учитель коей — музыка). Но и то, и другое, и третье может быть легко почерпнуто из опыта самой поэзии (особенно из поэзии Ренессанса), и теоретически — но только теоретически — поэт может обойтись без прозы.

Также только теоретически может он обойтись и без сочинения прозы. Нужда или невежество рецензента, не говоря уж о простой почте, рано или поздно заставят его начать писать в строчку, «как все люди». Но помимо этих, существуют у поэта и другие побудительные причины, которые мы и постараемся рассмотреть ниже. Во-первых, поэту может просто захотеться в один прекрасный день написать что-нибудь прозой. (Комплекс неполноценности, которым страдает прозаик по отношению к поэту, ни в коем случае не гарантирует комплекса превосходства у поэта по отношению к прозаику. Поэт часто почитает труд последнего за куда более серьезный, чем

свой собственный, который он и за труд-то не всегда считает.) Кроме того, существуют сюжеты, которые ничем, кроме прозы, и не изложить. Повествование о более чем трех действующих лицах сопротивляется почти всякой поэтической форме, за исключением эпоса. Размышления на исторические темы, воспоминания детства (которым поэт предается наравне с простыми смертными) в свою очередь выглядят естественной в прозе. «История пугачевского бунта», «Капитанская дочка» — какие, казалось бы, благодарные сюжеты для романтических поэм! и особенно в эпоху романтизма... Кончается, однако, тем, что на смену роману в стихах все чаще приходят «стихи из романа». Неизвестно, насколько проигрывает поэзия от обращения поэта к прозе, достоверно только, что проза от этого сильно выигрывает.

Может быть, лучше, чем что-либо другое, на вопрос, почему это так, отвечают собранные здесь прозаические произведения Марины Цветаевой. Перефразируя Клаузевица, проза была для Цветаевой всего лишь продолжением поэзии, но только другими средствами (то есть тем, чем проза исторически и является). Повсюду — в ее дневниковых записях, статьях о литературе, беллетризованных воспоминаниях — мы сталкиваемся именно с этим: с перенесением методологии поэтического мышления в прозаический текст, с развитием поэзии в прозу. Фраза строится у Цветаевой не столько по принципу сказуемого, следующего за подлежащим, сколько за счет собственно поэтической технологии: звуковой аллюзии, корневой рифмы, семантического enjambement etc. То есть читатель все время имеет дело не с линейным (аналитическим) развитием, но с кристаллообразным (синтетическим) ростом мысли. Для исследователей психологии поэтического творчества не отыщется, пожалуй, лучшей лаборатории: все стадии процесса явлены чрезвычайно крупным — доходящим до лапидарности карикатуры — планом.

«Чтение, — говорит Цветаева, — есть соучастие в творчестве». Это, конечно же, заявление поэта; Лев Толстой такого бы не сказал. В этом заявлении чуткое, по крайней мере в меру настороженное ухо различит чрезвычайно приглушенную авторской (и женской к тому же) гордыней нотку отчаяния именно поэта, сильно уставшего от все возрастающего — с каждой последующей строчкой — разрыва с аудиторией. И в обращении поэта к прозе — к этой априорно «нормальной» форме общения с читателем — есть всегда некий мотив снижения темпа, переключения скорости, попытки объясниться, объяснить себя. Ибо без соучастия в творчестве нет постижения: что есть постижение, как не соучастие? Как говорил Уитмен: «Великая поэзия возможна только при наличии великих читателей». Обращаясь к прозе, расчленяя чуть ли не каждое свое в ней слово на составные части, Цветаева показывает своему читателю, из чего слово — мысль — фраза состоит; она пытается — часто против своей воли — приблизить читателя к себе: сделать его равновеликим.

Есть и еще одно объяснение методологии цветаевской прозы. Со дня возникновения повествовательного жанра любое художественное произведение — рассказ, повесть, роман — страшился одного: упрека в недостоверности. Отсюда — либо стремление к реализму, либо композиционные изыски. В конечном счете каждый литератор стремится к одному и тому же: настигнуть или удержать утраченное или текущее Время. У поэта для этого есть цезура, безударные стопы, дактилические окончания; у прозаика ничего такого нет. Обращаясь к прозе, Цветаева вполне бессознательно переносит в нее динамику поэтической речи — в принципе динамику песни, — которая сама по себе есть форма реорганизации Времени. (Уже хотя бы по одному тому, что стихотворная строка коротка, на каждое слово в ней, часто — на каждый слог, приходится двойная или тройная семантическая нагрузка. Множественность смыслов предполагает соответственное число попыток осмыслить, то есть множество раз; а что есть раз, как не единица Времени?) Цветаева, однако, не слишком заботится об убедительности своей прозаической речи: какова бы ни была тема повествования, технология его остается той же самой. К тому же повествование ее, в строгом смысле, бессюжетно и держится главным образом энергией монолога. Но при этом она, в отличие как от профессиональных прозаиков, так и от других поэтов, прибегавших к прозе, не подчиняется пластической инерции жанра, навязывая ему свою технологию, навязывая себя. Происходит это не от одержимости собственной персоной, как принято думать, но от одержимости интонацией, которая ей куда важнее и стихотворения, и рассказа.

Эффект достоверности повествования может быть результатом соблюдения требований жанра, но может быть и реакцией на тембр голоса, который повествует. Во втором случае и достоверность сюжета, и самый сюжет отходят в сознании слушателя на задний план как дань, отданная приличиям. За скобками остаются тембр голоса и его интонация. На сцене создание такого эффекта требует дополнительной жестикულიции; на бумаге, то есть в прозе он достигается приемом драматической аритмии, чаще всего осуществляемой вкраплением назывных предложений в массу сложноподчиненных. В этом одном уже видны элементы заимствования у поэзии. Цветаева же, которой ничего и ни у кого заимствовать не надо, начинает с предельной структурной спрессованности речи и ею же кончает. Степень языковой выразительности ее прозы при

минимуме типографских средств замечательна. Вспомним авторскую ремарку к характеристике Казановы в ее пьесе «Конец Казановы»: «Не барственен — царственен». Представим себе теперь, сколько ушло бы на это у Чехова. В то же время это не результат намеренной экономии — бу маги, слов, сил, но побочный продукт инстинктивной в поэте лаконичности.

Продолжая поэзию в прозу, Цветаева не стирает, но перемещает грань, существующую между ними в массовом сознании, в дотоле синтаксически малодоступные языковые сферы — вверх. И проза, где опасность стилистического тупика гораздо выше, чем в поэзии, от этого перемещения только выигрывает; там, в разреженном воздухе своего синтаксиса, Цветаева сообщает ей то ускорение, в результате которого меняется самое понятие инерции. «Телеграфный стиль», «поток сознания», «литература подтекста» и т.п. не имеют к сказанному никакого отношения. Произведения ее современников, не говоря уже об авторах последующих десятилетий, к творчеству которых подобные дефиниции приложимы, всерьез читать можно по соображениям главным образом ностальгическим либо историко-литературоведческим (что, в сущности, одно и то же). Литература, созданная Цветаевой, есть литература «над-текста», сознание ее «если и «течет», то в русле этики; единственное, что сближает ее стиль с телеграфным, это главный знак ее пунктуации — тире, служащий ей как для обозначения тождества явлений, так и для прыжков через само собой разумеющееся. У этого знака, впрочем, есть и еще одна функция: он многое зачеркивает в русской литературе XX века.

2

«Марина часто начинает стихотворение с верхнего „до“», — говорила Анна Ахматова. То же самое, частично, можно сказать и об интонации Цветаевой в прозе. Таково было свойство ее голоса, что речь почти всегда начинается с того конца октавы, в верхнем регистре, на его пределе, после которого мыслимы только спуск или в лучшем случае плато. Однако настолько трагичен был тембр ее голоса, что он обеспечивал ощущение подъема, при любой длительности звучания. Трагизм этот пришел не из биографии: он был до. Биография с ним только совпала, на него — эхом — откликнулась. Он, тембр этот, явственно различим уже в «Юношеских стихах»:

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я — поэт...

Это уже не рассказ про себя: это отказ от себя. Биографии не оставалось ничего другого, кроме как следовать за голосом, постоянно от него отставая, ибо голос — перегонял события: как-никак скорость звука. Опыт вообще всегда отстает от предвосхищения.

Но дело не только в опыте, отстающем от предвосхищения; дело в различиях между искусством и действительностью. Одно из них состоит в том, что в искусстве достижима — благодаря свойствам самого материала — та степень лиризма, физического эквивалента которому в реальном мире не существует. Точно таким же образом не оказывается в реальном мире и эквивалента трагическому в искусстве, которое — трагическое — суть оборотная сторона лиризма или следующая за ним ступень. Сколь бы драматичен ни был непосредственный опыт человека, он всегда перекрывается опытом инструмента. Поэт же есть комбинация инструмента с человеком в одном лице, с постепенным преобладанием первого над вторым. Ощущение этого преобладания ответственно за тембр, осознание его — за судьбу.

Возможно, что этим частично и следует объяснять обращение поэта к прозе, особенно — к автобиографической прозе. В цветаевском случае это, конечно же, не попытка переверстать историю — слишком поздно; это скорее отступление из действительности в доисторию, в детство. Однако это не «когда-уже-все-известно» — детство завязанного мемуариста. Это «когда-уже-все-известно», но «еще-ничего-не-началось» — детство зрелого поэта, застигнутого посредине его жизни жестокой эпохой. Автобиографическая проза — проза вообще — в таком случае всего лишь передышка. Как всякое отступление, она — лирична и временна. (Это ощущение — отступления и сопутствующих ему качеств — присутствует и в большинстве ее эссе о литературе наравне с сильным автобиографическим элементом. Благодаря этому ее эссе оказываются в гораздо большей степени «литературой в литературе», чем вся современная «текстология текста».) По существу, вся цветаевская проза, за исключением дневниковых записей, ретроспективна: ибо только оглянувшись, и можно перевести дыхание.

Роль детали в этого рода прозе уподобляется, таким образом, роли самого ее замедленного, по сравнению с поэтической речью, течения: роль эта — чисто терапевтическая, это роль соломинки, за которую всем известно, что хватается. Чем подробней описание, тем необходимой соломинка. Вообще: чем более «тургеневски» такое произведение построено, тем «авангарднее»

обстоятельства времени, места и действия у самого автора. Даже пунктуация и та приобретает дополнительную нагрузку. Так, точка, завершающая повествование, обозначает его физический конец, предел, обрыв в действительность, в не-литературу. Неизбежность и близость этого обрыва, самим же повествованием и регулируемая, удесятерит стремление автора к совершенству в отпущенных ему пределах и, частично, даже упрощает ему задачу, заставляя отбрасывать все лишнее.

Отбрасывание лишнего само по себе есть первый крик поэзии — начало преобладания звука над действительностью, сущности над существованием: источник трагедийного сознания. По этой стезе Цветаева прошла дальше всех в русской и, похоже, в мировой литературе. В русской, во всяком случае, она заняла место чрезвычайно отдельное от всех — включая самых замечательных — современников, отгородившись от них стеной, сложенной из отброшенного лишнего. Единственный, кто оказывается с ней рядом — и прежде всего именно как прозаик — это Осип Мандельштам. Параллелизм Цветаевой и Мандельштама как прозаиков и в самом деле замечателен: «Шум времени» и «Египетская марка» могут быть приравнены к «Автобиографической прозе»; «Статьи о поэзии» и «Разговор о Данте» — к цветаевским литературным эссе и «Поездка в Армению» и «Четвертая Проза» — к «Страницам из дневника». Стилистическое сходство — внешность, ретроспективность, языковая и метафорическая спрессованность — очевидно даже более, чем жанровое, тематическое, хотя Мандельштам и несколько более традиционен.

Было бы, однако, ошибкой объяснить эту стилистическую и жанровую близость сходством биографий двух авторов или общим климатом эпохи. Биографии никогда наперед не известны, так же как «климат» и «эпоха» — понятия сугубо периодические. Основным элементом сходства прозаических произведений Цветаевой и Мандельштама является их чисто лингвистическая перенасыщенность, воспринимаемая как перенасыщенность эмоциональная, нередко таковую отражающая. По «густоте» письма, по образной плотности, по динамике фразы они настолько близки, что можно заподозрить если не кровные узы, то кружковщину, принадлежность к общему -изму. Но если Мандельштам и был акмеистом, Цветаева никогда ни к какой группе не принадлежала, и даже наиболее отважные из ее критиков не сподобились нацепить на нее ярлык. Разгадка сходства Цветаевой и Мандельштама в прозе находится там же, где находится причина их различия как поэтов: в их отношении к языку, точнее — в степенях их зависимости от оного.

Поэзия — это не «лучшие слова в лучшем порядке», это высшая форма существования языка. Чисто технически, конечно, она сводится к размещению слов с наибольшим удельным весом в наиболее эффективной и внешне неизбежной последовательности. В идеале же это именно отрицание языком своей массы и законов тяготения, это устремление языка вверх — или в сторону — к тому началу, в котором было Слово. Во всяком случае, это — движение языка в до(над)-жанровые области, то есть в те сферы, откуда он взялся. Кажущиеся наиболее искусственными формы организации поэтической речи — терцины, секстины, децимы и т.п. — на самом деле всего лишь естественная многократная, со всеми подробностями разработка воспоследовавшего за начальным Словом эха. Поэтому Мандельштам, как поэт внешне более формальный, чем Цветаева, нуждался в избавляющей его от эха, от власти повторного звука прозе ничуть не меньше, чем она с ее внестрофическим — вообще внестиховым — мышлением, чья главная сила в придаточном предложении, в корневой диалектике.

Всякое сказанное слово требует какого-то продолжения. Продолжить можно по-разному: логически, фонетически, грамматически, в рифму. Так развивается язык, и если не логика, то фонетика указывает на то, что он требует себе развития. Ибо то, что сказано, никогда не конец, но край речи, за которым — благодаря существованию Времени — всегда нечто следует. И то, что следует, всегда интереснее уже сказанного, — но уже не благодаря Времени, а скорее вопреки ему. Такова логика речи, и такова основа цветаевской поэтики. Ей всегда не хватает места: ни в стихотворении, ни в прозе; даже ее наиболее академически звучащие эссе — всегда как вылезавшие за порог объёма. Стихотворение строится по принципу сложноподчиненного предложения, проза состоит из грамматических enjambements: так она спасается от тавтологии. (Ибо вымысел в прозе играет ту же роль по отношению к реальности, что и рифма в стихотворении.) Служенье Муз прежде всего тем и ужасно, что не терпит повторения: ни метафоры, ни сюжета, ни приема. В обыденной жизни рассказать тот же самый анекдот дважды, трижды — не преступление. На бумаге же позволить это себе невозможно: язык заставляет нас сделать следующий шаг — по крайней мере стилистически. Естественно, не ради вашего внутреннего (хотя впоследствии оказывается, что и ради него), но ради своего собственного стереоскопического (-фонического) благополучия. Клише — предохранительный клапан, посредством которого искусство избавляет себя от опасности дегенерации.

Чем чаще поэт делает этот следующий шаг, тем в более изолированном положении он оказывается. Метод исключения в конечном счете обычно оборачивается против того, кто этим

методом злоупотребляет. И если бы речь не шла о Цветаевой, в обращении поэта к прозе можно было бы усмотреть своего рода литературную «*nostalgie de la boue*», желание слиться с (пищущей) массой, стать, наконец, «как все». Мы, однако, имеем дело с поэтом, с самого начала знавшим, на что идет или куда язык ведет. Мы имеем дело с автором слов «Поэт издали заводит речь / Поэта далеко заводит речь...», мы имеем дело с автором «Крысолова». Проза для Цветаевой отнюдь не убежище, не форма раскрепощения — психического или стилистического. Проза для нее есть заведомое расширение сферы изоляции, то есть возможностей языка.

3

Это — единственное направление, в котором уважающий себя литератор только и может двигаться. (По сути дела, все существующее искусство уже — клише: именно потому, что уже существует.) И постольку, поскольку литература является лингвистическим эквивалентом мышления Цветаева, чрезвычайно далеко заведенная речью, оказывается наиболее интересным мыслителем своего времени. Всякая суммарная характеристика чьих бы то ни было взглядов, особенно если они высказаны в художественной форме, неизбежно тяготеет к карикатуре; всякая попытка аналитического подхода к синтетическому явлению заведомо обречена. Тем не менее можно без особого риска определить цветаевскую систему взглядов как философию дискомфорта, как проповедь не столько пограничных, сколько окраинных ситуаций. Эту позицию невозможно назвать ни стоической — ибо она продиктована прежде всего соображениями эстетико-лингвистического порядка, ни экзистенциалистской — потому что именно отрицание действительности и составляет ее содержание. Предтеч, равно как и последователей, на философском уровне у нее не обнаруживается. Что же касается современников, то, если б не отсутствие тому документальных свидетельств, естественно было бы предположить близкое знакомство с трудами Льва Шестова. Увы, таковых свидетельств нет или число их совсем ничтожно, и единственный русский мыслитель (точней: размыслитель), чье влияние на свое творчество — в ранней, впрочем, стадии — Марина Цветаева открыто признает, это Василий Розанов. Но если такое влияние действительно и имело место, то его следует признать сугубо стилистическим, ибо нет ничего более полярного розановскому всеприятию, чем жестокий, временами — почти кальвинистский дух личной ответственности, которым проникнуто творчество зрелой Цветаевой.

Многие вещи определяют сознание помимо бытия (перспектива небытия в частности). Одна из таких вещей — язык. Та беспощадность к себе, которая заставляет вспомнить Кальвина (и обратной стороной которой является часто неоправданная щедрость Цветаевой в оценке трудов собратьев по перу), есть не только продукт воспитания, но — и это в первую очередь — отражение или продолжение профессиональных отношений между поэтом и его языком. Впрочем, что касается воспитания, то не следует забывать, что Цветаева получила трех-язычное воспитание, с доминирующими русским и немецким. Речь, конечно же, не шла о проблеме выбора: родным был русский, но ребенок, читающий Гейне в подлиннике, вольно или невольно научается дедуктивной «серьезности и чести/ на Западе у чуждого семейства». Внешне сильно напоминающее стремление к Истине, стремление к точности по своей природе лингвистично, то есть коренится в языке, берет начало в слове. Метод исключения, о котором речь шла выше, необходимо отбрасывания лишнего, дошедшая, верней, доведенная до уровня инстинкта, — одно из средств, посредством коих это стремление осуществляется. В случае с поэтом это стремление приобретает зачастую идиосинкразический характер, ибо для него фонетика и семантика за малыми исключениями тождественны.

Эта тождественность обеспечивает сознанию такое ускорение, что оно выносит своего обладателя за скобки любого града гораздо раньше и дальше, чем это предлагается тем или иным энергичным Платоном. Но это не все. Любая эмоция, сопровождающая это воображаемое или — чаще — реальное перемещение, редактируется той же самой тождественностью; и форма — как и самый факт — выражения этой эмоции оказывается от вышеупомянутой тождественности в эстетической зависимости. В более общем смысле этика впадает в зависимость от эстетики. Что замечательно в творчестве Цветаевой, это именно абсолютная независимость ее нравственных оценок при столь феноменально обостренной языковой чувствительности. Один из лучших примеров борьбы эстетического начала с лингвистическим детерминизмом — ее статья 1932 года «Поэт и Время»: это — тот поединок, где не умирает никто, где побеждают оба. В этой статье — одной из решающих для понимания творчества Цветаевой — дается один из наиболее захватывающих примеров фронтальной семантической атаки на позиции, занимаемые в нашем сознании абстрактными категориями (в данном случае на идею Времени). Косвенным завоеванием подобных маневров является то, что литературный язык причащается дышать разреженным воздухом абстрактных понятий, тогда как последние обрывают плотью фонетики и нравственности.

Изображенное графически, творчество Цветаевой представило бы собой поднимающуюся почти под прямым углом кривую —? — прямую, благодаря ее постоянному стремлению взять нотой выше, идеей выше. (Точнее: октавой и верой.) Она все и всегда договаривает до мыслимого и доступного выражению конца. Ни в стихах ее, ни в прозе ничто не повисает в воздухе и не оставляет ощущения двойственности. Цветаева — тот уникальный случай, когда главное духовное переживание эпохи (в нашем случае ощущение амбивалентности, двойственности природы человеческого существования) явилось не целью выражения, но его средством, когда оно превратилось в материал искусства. Обращение поэта к прозе, создающей иллюзию более последовательного развития мысли, чем поэзия, само по себе оказывается как бы косвенным доказательством того, что самое главное духовное переживание — не самое главное. Что возможны переживания более высокого свойства и что читатель может быть взят за руку прозой и доставлен туда, куда в противном случае его пришлось бы заталкивать стихотворением.

Последнее соображение — идею заботы о читателе — следует принять во внимание хотя бы потому, что оно есть наш единственный шанс втиснуть Цветаеву в традицию русской литературы с ее главной тенденцией утешительства, оправдания (по возможности на самом высоком уровне) действительности и миропорядка вообще. В противном случае оказывается, что «серый волк», постоянно смотрящий в «дремучий лес Вечности», сколько ни корми его Временем, — рупор или ухо голоса «правды небесной против правды земной», — не признающая ничего между, Цветаева стоит в русской литературе действительно особняком, весьма и весьма на отшибе. Неприятие действительности, продиктованное не только этикой, но и эстетикой, — вещь в отечественной литературе необычная. Это, конечно, можно приписать качеству самой действительности в отечестве и вне оно; но дело, вероятно, в другом. Дело скорее всего в том, что новая семантика нуждалась в новой фонетике, и Цветаева ее дала. В ее лице русская словесность обрела измерение, дотоле ей не присущее: она продемонстрировала заинтересованность самого языка в трагическом содержании. В этом измерении оправдание или принятие действительности невозможно уже потому, что миропорядок трагичен чисто фонетически. По Цветаевой, самый звук речи склонен к трагедийности, даже как бы выигрывает от нее: как в плаче. Неудивительно поэтому, что для литературы, настоевшей на дидактическом позитивизме настолько, что выражение «начал во здравие, кончил за упокой» является формулой отклонения от нормы, творчество Цветаевой оказалось большой новостью, со всеми вытекающими отсюда социальными последствиями. Биография Цветаевой выгодно отличается только от биографии тех из ее современников, кто погиб раньше.

Но то, что явилось новостью для словесности, не было таким для национального сознания. За исключением Н.Клюева, из всей плеяды великих русских поэтов XX века Цветаева стоит ближе других к фольклору, и стилистика причитания — один из ключей к пониманию ее творчества. Оставляя в стороне декоративный, чтобы не сказать салонный аспект фольклора, столь успешно разработанный тем же Клюевым, Цветаева силой обстоятельств была вынуждена прибегнуть к той же механике, которая является самой сущностью фольклора: к безадресной речи. Как в стихах, так и в прозе мы все время слышим монолог; но это не монолог героини, а монолог как результат отсутствия собеседника.

Особенность подобных речей в том, что говорящий — он же и слушатель. Фольклор — песнь пастуха — есть речь, рассчитанная на самого себя, на самое себя: ухо внемлет рту. Так, через слышание самого себя, и происходит процесс самопознания языка. Но как бы и чем бы ни объяснять генеалогию цветаевской поэтики, степень ответственности, налагаемая ее плодами на читательское сознание, превосходила — и превосходит до сих пор — степень подготовленности русского читателя к принятию этой ответственности (с требования которой и начинается, должно быть, разница между фольклором и авторской литературой). Даже защищенный броней догмы или не менее прочной броней абсолютного цинизма, он оказывается беззащитным перед высвечивающим его совесть светом искусства. Неизбежность связанного с этим предполагаемого разрушительного эффекта осознается примерно одинаково как пастырями, так и самим стадом, и собрания сочинений Цветаевой не существует и по сей день ни вне, ни внутри страны, на языке народа которой она писала. Теоретическое достоинство нации, униженной политически, не может быть сильно уязвлено замалчиванием ее культурного наследия. Но Россия, в отличие от народов, счастливых существованием законодательной традиции, выборных институтов и т.п., в состоянии осознать себя только через литературу, и замедление литературного процесса посредством упразднения или приравнивания к несуществующим трудов даже второстепенного автора равносильно генетическому преступлению против будущего нации.

Каковы бы ни были причины, побудившие Цветаеву обратиться к прозе, и сколько бы от этого обращения русская поэзия ни потеряла — остается быть только благодарными Провидению за то, что подобное обращение имело место. Кроме того, едва ли поэзия на самом деле потеряла:

если она утратила в форме, то осталась верной себе в смысле энергии и сути, то есть сохранила свое вещество. Каждый автор развивает — даже посредством отрицания — постулаты, идиоматику, эстетику своих предшественников. Цветаева, обращаясь к прозе, развивала себя — была реакцией на самое себя. Изоляция ее — изоляция не предумышленная, навязанная извне: логикой языка, историческими обстоятельствами, качеством современников. Она ни в коем случае не эзотерический поэт — более страстного голоса в русской поэзии XX века не звучало. И потом, эзотерические поэты не пишут прозы. То, что она все-таки оказалась вне русла русской литературы, — только к лучшему. Так звезда — в стихотворении ее любимого Рильке, переведенном любимым же ею Пастернаком, — подобная свету в окне «в последнем доме на краю прихода», только расширяет представление прихожан о размерах прихода.

Печатается по тексту:

Марина Цветаева. Избранная проза
в двух томах. Том 1. Нью-Йорк, 1979.

ОБ ОДНОМ СТИХОТВОРЕНИИ

7 февраля 1927 года в Беллеву под Парижем Марина Цветаева закончила «Новогоднее» — стихотворение, являющееся во многих отношениях итоговим не только в ее творчестве, но и для русской поэзии в целом. По своему жанру стихотворение это принадлежит к разряду элегий, то есть к жанру наиболее в поэзии разработанному; и как элегию его и следовало бы рассматривать, если бы не некоторые привходящие обстоятельства. Одним из обстоятельств является тот факт, что элегия эта — на смерть поэта.

Всякое стихотворение «На смерть...», как правило, служит для автора не только средством выразить свои ощущения в связи с утратой, но и поводом для рассуждений более общего порядка о феномене смерти как таковом. Оплакивая потерю (любимого существа, национального героя, друга или властителя дум), автор зачастую оплакивает — прямым, косвенным, иногда бессознательным образом — самого себя, ибо трагедийная интонация всегда автобиографична. Иными словами, в любом стихотворении «на смерть» есть элементы автопортрета. Элемент этот тем более неизбежен, если оплакиваемым предметом является собрат по перу, с которым автора связывали чересчур прочные — подлинные или воображаемые — узы, чтобы автор был в состоянии избежать искушения отождествить себя с предметом стихотворения. В борьбе с данным искушением автору мешают ощущение профессиональной цеховой принадлежности, самый несколько возвышенный характер темы смерти и, наконец, сугубо личное, частное переживание потери: нечто отнято у тебя — стало быть, ты имеешь к этому отношение. Возможно, единственным недостатком этих во всех отношениях естественных и уважения достойных чувств является тот факт, что мы узнаем больше об авторе и его отношении к возможной собственной смерти, нежели о том, что действительно произошло с другим лицом. С другой стороны, стихотворение — не репортаж, и зачастую сама трагическая музыка стихотворения сообщает нам о происходящем более подробно, чем детальное описание. Тем не менее трудно, подчас просто неловко бороться с ощущением, что пишущий находится по отношению к своему объекту в положении зрителя к сцене и что для него больше значения имеет его собственная реакция (слезы, не аплодисменты), нежели ужас происходящего; что, в лучшем случае, он просто находится в первом ряду партера.

Таковы издержки этого жанра, и от Лермонтова до Пастернака русская поэзия свидетельствует об их неизбежности. Исключение составляет, пожалуй, один только Вяземский с его «На память» 1837 года. Вероятно, неизбежность этих издержек, этого в конечном счете самооплакивания, граничащего порой с самолюбованием, может и даже должна быть объяснена тем, что адресатами были всегда именно собратья по перу, тем, что трагедия имела место в отечественной литературе и жалость к себе была оборотной стороной фамильярности и следствием возражающего с уходом всякого поэта и без того свойственного литератору ощущения одиночества. Ежели же речь шла о властителе дум, принадлежащем к другой культуре (например, о смерти Байрона или Гете), то сама «иностранность» такого объекта как бы дополнительно располагала к рассуждениям самого общего, абстрактного порядка, как-то: о роли «певца» в жизни общества, об искусстве вообще, о — говоря словами Ахматовой — «веках и народах». Эмоциональная необязательность в этих случаях порождала дидактическую расплывчатость, и такого Байрона или Гете бывало затруднительно отличить от Наполеона или от итальянских карбонариев. Элемент автопортрета в таких случаях естественным образом исчезал, ибо, как это ни парадоксально, смерть при всех своих свойствах общего знаменателя не сокращала дистанцию между автором и оплакиваемым «певцом», но, наоборот, увеличивала оную, как будто невежество пишущего относительно обстоя-

тельств жизни данного «байрона» распространялось и на сущность этого «байрона» смерти. Иными словами, смерть в свою очередь воспринималась как нечто иностранное, заграничное — что вполне могло быть оправдано как косвенное свидетельство ее — смерти — непостижимости. Тем более что непостижимость явления или, по крайней мере, ощущение приблизительности результатов познания и составляет основной пафос периода Романтизма, в котором берет свое начало (и поэтикой которого окрашена по сей день) традиция стихотворений «На смерть поэта».

«Новогоднее» Цветаевой имеет гораздо меньше общего с этой традицией и с этой поэтикой, чем самый герой этого стихотворения — Райнер Мария Рильке. Возможно, единственной связующей Цветаеву в этом стихотворении с романтизмом нитью следует признать то, что для Цветаевой «русского родней немецкий», то есть что немецкий был наравне с русским языком ее детства, пришедшегося на конец прошлого и начало нынешнего века, со всеми вытекающими из немецкой литературы XIX века для ребенка последствиями. Нить эта, конечно же, более чем просто связующая — на этом мы впоследствии еще остановимся; для начала же заметим, что именно знанию немецкого языка Цветаева обязана своим отношением к Рильке, смерть которого, таким образом, оказывается косвенным ударом — через всю жизнь — по детству.

Уже по одному тому, что детская привязанность к языку (который не родной, но — *родней*) завершается для взрослого человека преклонением перед поэзией (как формой высшей зрелости данного языка), элемент автопортрета в «Новогоднем» представляется неизбежным. Но «Новогоднее» — больше, чем автопортрет, так же как и Рильке для Цветаевой — больше, чем поэт. (Так же как и смерть поэта есть нечто большее, чем человеческая утрата. Это прежде всего драма собственно языка: неадекватности языкового опыта экзистенциальному.) Даже независимо от личных чувств Цветаевой к Рильке — чувств весьма сильных и претерпевших эволюцию от платонической влюбленности и стилистической зависимости до сознания известного равенства, — даже независимо от этих чувств смерть великого немецкого поэта создала ситуацию, в которой попытка автопортрета Цветаева не могла ограничиться. Для понимания — и даже непонимания — того, что произошло, ей пришлось раздвинуть границы жанра и как бы самой шагнуть из партера на сцену.

«Новогоднее» — прежде всего исповедь. При этом хотелось бы отметить, что Цветаева — поэт чрезвычайно искренний, вообще, возможно, самый искренний в истории русской поэзии. Она ни из чего не делает тайны, и менее всего — из своих эстетических и философских кредо, рассыпанных в ее стихах и прозе с частотой личного местоимения первого лица единственного числа. Поэтому читатель оказывается более или менее подготовленным к манере цветаевской речи в «Новогоднем» — так называемому лирическому монологу. К чему он, однако, никак не подготовлен, сколько раз он «Новогоднее» ни перечитывай, это к интенсивности этого монолога, к чисто лингвистической энергии этой исповеди. И дело совсем не в том, что «Новогоднее» — стихотворение, то есть форма повествования, требующая, по определению, при максимальной сфокусированности максимальной конденсации речи. Дело в том, что Цветаева исповедуется не перед священником, но перед поэтом. А по ее табели о рангах поэт примерно настолько же выше священника, насколько человек — по стандартной теологии — выше ангелов, ибо последние не созданы по образу и подобию Божьему.

Как это ни парадоксально и ни кощунственно, но в мертвом Рильке Цветаева обрела то, к чему всякий поэт стремится: абсолютного слушателя. Распространенное убеждение, что поэт всегда пишет для кого-то, справедливо только наполовину и чревато многими недоразумениями. Лучше других на вопрос «Для кого вы пишете?» ответил Игорь Стравинский: «Для себя и для гипотетического alter ego». Сознательно или бессознательно всякий поэт на протяжении своей карьеры занимается поисками идеального читателя, этого alter ego, ибо поэт стремится не к признанию, но к пониманию. Еще Баратынский утешал в письме Пушкина, говоря, что не следует особо изумляться, «ежели гусары нас более не читают». Цветаева идет еще дальше и в стихотворении «Тоска по родине» заявляет:

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично — на каком
Непонимаемой быть встречным.

Подобное отношение к вещам неизбежно ведет к сужению круга, что далеко не всегда означает повышение качества читателя. Литератор, однако, демократ по определению, и поэт всегда надеется на некоторую параллельность процессов, происходящих в его творчестве и в сознании читателя. Но чем дальше поэт заходит в своем развитии, тем — невольно — выше его требования к аудитории — и тем аудитория эта — уже. Дело нередко кончается тем, что читатель становится авторской проекцией, едва ли ни с одним из живых существ не совпадающей. В таких

случаях поэт обращается либо непосредственно к ангелам, как Рильке в «Дуинезских элегиях», либо к другому поэту — особенно если тот мертв, — как Цветаева к Рильке. В обоих случаях имеет место монолог, и в обоих случаях он принимает абсолютный характер, ибо автор адресует свои слова в небытие, в Хронос.

Для Цветаевой, стих которой отличается почти патологической потребностью договаривать, додумывать, доводить все вещи до логического конца, этот адрес был далеко не в новость. Новой — со смертью Рильке — оказалась его обитаемость, и для поэта в Цветаевой это не могло не представить интереса. Разумеется, «Новогоднее» — результат конкретного эмоционального взрыва; но Цветаева — максималист, и вектор ее душевных движений заранее известен. Тем не менее назвать Цветаеву поэтом крайностей нельзя хотя бы потому, что крайность (дедуктивная, эмоциональная, лингвистическая) — это всего лишь место, где для нее стихотворение начинается. «Жизнь прожить — не поле перейти» или «Одиссей возвратился, пространством и временем полный» у Цветаевой никогда бы концовками не оказались: стихотворение начиналось бы с этих строк. Цветаева — поэт крайностей только в том смысле, что крайность для нее не столько конец познанного мира, сколько начало непознаваемого. Технология намека, обиняков, недоговоренностей, умалчивания свойственна этому поэту в чрезвычайно малой степени. Еще менее присуще ей употребление обеспечивающих читателю психический комфорт высших достижений гармонической школы с их убаюкивающим метрическим рисунком. Перенасыщенный ударениями, гармонически цветаевский стих непредсказуем; она тяготеет более к хорям и к дактилям, нежели к определенности ямба, начала ее строк скорее трохеические, нежели ударные, окончания — причитающие, дактилические. Трудно найти другого поэта, столь же мастерски и избыточно пользовавшегося цезурой и усечением стоп. Формально Цветаева значительно интересней всех своих современников, включая футуристов, и ее рифмовка изобретательней пастернаковской. Наиболее ценно, однако, что ее технические достижения продиктованы не формальными поисками, но являются побочным — то есть естественным — продуктом речи, для которой важнее всего ее предмет.

Искусство и вообще всегда возникает в результате действия, направленного вовне, в сторону, на достижение (постижение) объекта, непосредственного отношения к искусству не имеющего. Оно — средство передвижения, ландшафт, мелькающий в окне, а не передвижения этого цель. «Когда б вы знали, из какого сора, — говорит Ахматова, — растут стихи...». Чем больше цель движения удалена, тем искусство вероятней; и теоретически смерть (любая, и великого поэта в особенности — ибо что же может быть удалено от ежедневной реальности более, чем великий поэт или великая поэзия) оборачивается своего рода гарантией искусства.

* * *

Тема «Цветаева и Рильке» была, есть и будет темой многочисленных исследований; нас же интересует роль — или идея — Рильке как адресата в «Новогоднем» — его роль как объекта душевного движения и степень его ответственности за движения этого побочный продукт: стихотворение. Зная цветаевский максимализм, нельзя не отметить естественности выбора ею этой темы. Помимо конкретного, умершего Рильке, в стихотворении возникает образ (или идея) «абсолютного Рильке», переставшего быть телом в пространстве, ставшего душой — в вечности. Эта удаленность — удаленность абсолютная, предельная. Абсолютны чувства — то есть любовь героини стихотворения к абсолютному же их объекту — душе. Абсолютными оказываются и средства выражения этой любви: предельное самозабвение и предельная искренность. Все это не могло не породить предельного напряжения поэтической дикции.

Парадокс, однако, состоит в том, что поэтическая речь — как и всякая речь вообще — обладает своей собственной динамикой, сообщающей душевному движению то ускорение, которое заводит поэта гораздо дальше, чем он предполагал, начиная стихотворение. Но это и есть главный механизм (соблазн, если угодно) творчества, однажды соприкоснувшись с которым (или которому поддавшись), человек раз и навсегда отказывается от всех иных способов мышления, выражения — передвижения. Речь выталкивает поэта в те сферы, приблизиться к которым он был бы иначе не в состоянии, независимо от степени душевной, психической концентрации, на которую он может быть способен вне стихописания. И происходит это выталкивание со стремительностью необычайной: со скоростью звука — высшей, нежели та, что дается воображением или опытом. Как правило, заканчивающий стихотворение поэт значительно старше, чем он был, за него принимаясь. Предельность цветаевской дикции в «Новогоднем» заводит ее гораздо дальше, чем само переживание утраты; возможно, даже дальше, чем способна оказаться в посмертных своих странствиях душа самого Рильке. Не только потому, что любая мысль о чужой душе, в отличие от самой души, менее отягощена души этой деяниями, но и потому, что поэт вообще щедрей апостола.

Поэтический «рай» не ограничивается «вечным блаженством», — и ему не угрожает перенаселенность рая догматического. В отличие от стандартного христианского рая, представляющегося некоей последней инстанцией, тупиком души, поэтический рай скорее — край, и душа певца не столько совершенствуется, сколько пребывает в постоянном движении. Поэтическая идея вечной жизни вообще тяготеет более к космогонии, нежели к теологии, и мерилom души часто представляется не степень ее совершенства, необходимая для уподобления и слияния с Создателем, но скорее физическая (метафизическая) длительность и дальность ее странствий во Времени. В принципе поэтическая концепция существования чуждается любой формы конечности и статики, в том числе — теологического апофеоза. Во всяком случае, Дантов рай куда интереснее его церковной версии.

Даже если бы утрата Рильке послужила для Цветаевой только «Приглашением к путешествию», это было бы оправдано потусторонней топографией «Новогоднего». Но на самом деле это не так, и Цветаева не заменяет Рильке-человека «идеей Рильке» или идеей его души. На такую замену она была бы неспособна хотя бы потому, что душа эта уже была воплощена в творчестве Рильке. (Вообще не слишком правомерная поляризация души и тела, которой особенно принято злоупотреблять, когда человек умирает, выглядит вовсе неубедительно, когда мы имеем дело с поэтом.) Иными словами, поэт приглашает читателя следовать за своей душой уже при жизни, а Цветаева по отношению к Рильке была прежде всего читателем. Мертвый Рильке поэтом для нее не слишком отличается от живого, и она следует за ним примерно так же, как Данте следовал за Вергилием, с тем большим основанием, что Рильке и сам предпринимал подобные путешествия в своем творчестве («Реквием по одной подруге»). Говоря коротко, тот свет достаточно обжит поэтическим воображением, чтобы предполагать за Цветаевой в качестве побудительных мотивов к «Новогоднему» жалость к себе или любопытство к потустороннему. Трагедия «Новогоднего» — в разлуке, в физическом почти разрыве ее психической связи с Рильке, и она пускается в это «путешествие» не пантерой испуганная, но от сознания оставленности, несоборности более следовать за ним, как следовала при жизни за каждой строчкой. И — наряду с этой оставленностью — от чувства вины: я жива, а он — лучший — умер. Но любовь одного поэта к другому (даже если он и противоположного пола) — это не любовь Джульетты к Ромео: трагедия состоит не в немыслимости существования без него, но именно в мыслимости такого существования. И как следствие этой мыслимости — отношение автора к себе, живой, — безжалостней, бескомпромиссней; поэтому когда начинаешь говорить, и — если до этого вообще доходит дело — когда заговариваешь о себе, говоришь как на исповеди, ибо не поп и не Бог, а он — другой поэт — слышит. Отсюда — интенсивность цветавеской дикции в «Новогоднем» — ибо она обращается к тому, кто в отличие от Господа обладает абсолютным слухом.

* * *

«Новогоднее» начинается типично по-цветаевски, в правом, то есть верхнем углу октавы, с «верхнего до»:

С Новым годом — светом — краем — кровом!

— с восклицания, направленного вверх, вовне. На протяжении всего стихотворения тональность эта, так же как и самая направленность речи, остается неизменной: единственная возможная модификация — не снижение голоса (даже в скобках), но возвышение. Окрашенная этой тональностью, техника назывного предложения в этой строке порождает эффект экстатический, эффект эмоционального взлета. Ощущение это усиливается за счет внешне синонимического перечисления, подобного перебираемым ступеням (степеням), где каждая следующая выше прежней. Но перечисление это синонимично только по числу слогов, приходящихся на каждое слово, и цветаевский знак равенства (или неравенства) — тире — разъединяет их больше, чем это сделала бы запятая: оно отбрасывает каждое следующее слово от предыдущего вверх.

Более того, только «год» в «С Новым годом» употреблен в своем буквальном значении; все остальные слова в этой строчке нагружены — перегружены — ассоциациями и переносным смыслом. «Свет» употреблен в тройном значении: прежде всего как «новый» — по аналогии с «годом» — «свет», то есть географически новый, как «Новый Свет». Но география эта — абстрактная; Цветаева имеет здесь в виду скорее нечто находящееся «за тридевять земель», нежели по ту сторону океана, некий иной предел. Из этого понимания «нового света» как иного предела следует идея «того света», о котором на самом деле и идет речь. Однако «тот свет» прежде всего именно свет, ибо благодаря направленению строчки и эвфоническому превосходству (большей пронзительности звука) «светом» над «годом» он находится где-то буквально над головой, вверху, в небе,

являющемся источником света. Предшествующее и последующее тире, почти освобождающие слово от смысловых обязанностей, вооружают «свет» всем арсеналом его позитивных аллюзий. Во всяком случае, в идее «того света» тавтологически подчеркивается именно аспект света, а не как обычно — мрака.

Далее, от «света» абстрактно географического строка взлетает акустически и топографически к звучащему коротким рыданием «краю» — света, краю вообще, краю — к небу, краю — к раю. «С новым... краем» помимо всего прочего означает: с новым пределом, с новой гранью, с ее переступлением. Строка заканчивается фонетической и смысловой кодой в «с новым кровом», ибо «кровом» по своему звуковому составу почти идентично «годом», но два этих слога уже подняты «светом» и «краем» над своим первоначальным звучанием на высоту целой октавы — восьми слогов, и им нет возврата ни в тональность начала строки, ни в ее буквальность. «Кровом» как бы оглядывается с высоты на себя в «годом», не узнавая уже ни гласных, ни согласных. Согласные «кр» в «кровом» принадлежат не столько самому «крову», сколько «краю», и отчасти поэтому семантика «крова» представляется весьма разреженной: слишком высоко слово помещено. Значение «крова» как приюта на краю света и дома, в который возвращаются, переплетается с кровом — небом: общим — планеты и индивидуальным — последним пристанищем души.

В сущности, Цветаева пользуется здесь пятистопным хореем, как клавиатурой, сходство с которой усиливается употреблением тире вместо запятой: переход от одного двухсложного слова к другому осуществляется посредством логики скорее фортепианной, нежели стандартно грамматической, и каждое следующее восклицание, как нажатие клавиш, берет начало там, где иссякает звук предыдущего. Сколь ни бессознателен этот прием, он как нельзя более соответствует сущности развиваемого данной строкой образа — неба с его доступными сначала глазу, а после глаза только духу уровнями.

Сугубо эмоциональное впечатление, возникающее у читателя от этой строчки, — ощущение чистого, рвущегося ввысь и как бы отрекающегося (отрешающегося) от себя голоса. При этом, однако, следует помнить, что первым — если не единственным — читателем, которого здесь имеет в виду автор, является адресат стихотворения: Рильке. Отсюда стремление к отречению от себя, к отрешенности от всего земного, то есть психология исповеди. Разумеется, все это — и выбор слов, и выбор тона — происходит настолько бессознательно, что понятие «выбора» здесь неприменимо. Ибо искусство, поэзия в особенности, тем и отличается от всякой иной формы психической деятельности, что в нем все — форма, содержание и самый дух произведения — подбираются на слух.

Сказанное отнюдь не означает интеллектуальной безответственности. Ровно наоборот: рациональная деятельность — отбор, селекция — доверены слуху, или (выражаясь более громоздко, но и более точно) сфокусированы в слух. В известном смысле речь идет о миниатюризации, компьютеризации избирательных, то есть аналитических процессов, о трансформации или сведении их к одному органу: слуха.

Но не только аналитические функции передоверяются поэтом слуху; то же самое происходит с чисто духовной, спиритуальной стороной творчества. На слух подбирается самый дух произведения, носителем или посредником которого в стихотворении служит его размер, ибо именно он предопределяет тональность произведения. Человек, обладающий некоторым опытом стихосложения, знает, что стихотворный размер является эквивалентом определенного душевного состояния, порой не одного, а нескольких. Поэт «подбирается» к духу произведения посредством размера. Таящуюся в употреблении стандартных размеров опасность механистичности речи каждый поэт преодолевает по-своему, и чем сложнее процесс преодоления, тем подробней становится — и для него самого, и для читателя — картина данного душевного состояния. Часто кончается тем, что поэт начинает воспринимать стихотворные размеры как одушевленные — одухотворенные — предметы, как некие священные сосуды. Это в общем справедливо. Форма еще менее отделима от содержания в поэзии, чем тело от души, а всякое тело тем и дорого, что оно смертно (в поэзии подобие смерти является именно механистичность звучания или возможность соскользнуть в клише). Во всяком случае, у каждого стихотворца есть свои излюбленные, доминирующие размеры, которые можно рассматривать в качестве его автографов, ибо они соответствуют наиболее часто повторяющемуся душевному состоянию автора. Таким «автографом» Цветаевой следует считать ее хорей с женскими или — чаще — дактилическими окончаниями. Частотой их употребления Цветаева превосходит, пожалуй, даже Некрасова. Вполне возможно, впрочем, что обращение обоих поэтов к хорейским размерам было продиктовано общим для произведений как авторов «Гармонической школы», так и для русских символистов засилием трехстопного и четырехстопного ямба. Вероятно, у Цветаевой была и дополнительная психологическая причина: в русском хорее всегда слышен фольклор. Это знал и Некрасов; но в его стихе отключается повествовательность былины, в то время как у Цветаевой звучат причитания и заговор.

Заинтересованность ее в традиции причитания (скорее не заинтересованность, а настроенность на него слуха) может быть среди всего прочего объяснена дополнительными возможностями ассонанса, содержащимися в трехсложной клаузуле, на которой стих причитания, как правило, держится. Скорее же всего дело в стремлении поэта к передаче психологии человека нового времени средствами традиционной народной поэтики. Когда это удается — а Цветаевой это удалось почти всегда, — возникает ощущение языковой оправданности любого разлома или вывиха современного сознания; и не просто языковой оправданности, но, о чем бы ни шла речь, заведомой оплаканности. Во всяком случае, трудно представить что-либо уместнее хорей в случае с «Новогодним».

Поэзия Цветаевой прежде всего отличается от творчества ее современников некоей априорной трагической нотой, скрытым — в стихе — рыданием. При этом не следует упускать из виду, что нота эта зазвучала в голосе Цветаевой не как результат непосредственного трагического опыта, но как побочный продукт ее работы с языком, в частности как результат ее опытов с фольклором.

Цветаева и вообще была чрезвычайно склонна к стилизации: русской архаики — «Царь-девица», «Лебединый стан» и т. д.; французского Ренессанса и Романтизма — «Феникс» («Конец Казановы»), «Метель»; немецкого фольклора — «Крысолов» и проч. Независимо, однако, от культуры, к которой она обращалась, независимо от конкретного содержания и — что важнее — независимо от чисто внутренних, эмоциональных причин, заставлявших ее прибегать к той или иной культурной маске, любая тема преломлялась, чисто фонетически, в трагическом ключе. Дело было, по всей видимости, не только в интуитивном (вначале) и физическом (впоследствии) ощущении эпохи, но в общем тоне — фоне — русской поэтической речи начала столетия. Всякое творчество — реакция на предшественников, и чисто лингвистически гармонический застой символизма требовал разрешения. У всякого языка, в особенности же у языка поэтического, всегда есть вокальное будущее. Творчество Цветаевой и явилось искомым вокальным разрешением состояния поэтической речи, но высота ее тембра оказалась столь значительной, что разрыв не только с читательской, но и с писательской массой был неизбежен. Новый звук нес не просто новое содержание, но новый дух. В голосе Цветаевой звучало нечто для русского уха незнакомое и пугающее: неприемлемость мира.

Это была не реакция революционера или прогрессиста, требующих перемен к лучшему, и не консерватизм или снобизм аристократа, помнящего лучшие дни. На уровне содержания речь шла о трагичности существования вообще, вне зависимости от временного контекста. На уровне же звука — о стремлении голоса в единственно возможном для него направлении: вверх. О стремлении, подобном стремлению души к своему источнику. Пользуясь собственными словами поэта, о «тяготении от / земли, над землей, прочь от / и червя, и зерна». К этому следовало бы добавить: от самой себя, от своей же гортани. Чистота (как, впрочем, и частота) вибрации этого голоса были сродни эхо-сигналу, посылаемому в математическую бесконечность и не находящему отражения или, найдя его, тотчас же от него отказывающемуся. Но признавая, что этот отказ голоса от мира действительно является лейтмотивом цветаевского творчества, необходимо отметить, что речь ее была абсолютно чужда какой бы то ни было «надмирности». Ровно наоборот: Цветаева — поэт в высшей степени посюсторонний, конкретный, точностью деталей превосходящий агменстов, афростичность и сарказмом — всех. Сродни более птице, чем ангелу, ее голос всегда знал, над *чем* он возвышен; знал, *что* — там, внизу (верней, *чего* — там — не дано). Потому, может, и поднимался он все выше, дабы расширить поле зрения, на деле же расширяя только круг тех мест, где отсутствовало искомое. Потому и взлетает ее хорей в первой строке «Новогоднего», заглушая короткое рыдание восклицательным знаком.

Таких строк в «Новогоднем» — 194. Анализ любой из них занял бы не меньше места, чем разбор первой. В принципе так это и должно быть, ибо поэзия — искусство конденсации, сужения. Самое интересное для исследователя — и для читателя — вернуться «назад по лучу», то есть проследить, как эта конденсация протекала, с какого момента в общей для всех нас раздробленности для поэта начинает прорезаться языковой знаменатель. Однако сколь бы ни был вознагражден исследователь в ходе этого процесса, самый процесс все-таки подобен расплетению ткани, и мы постараемся от этой перспективы уклониться. Мы остановимся только на нескольких высказываниях Цветаевой, сделанных по ходу этого стихотворения и проливающих свет на ее отношение к вещам вообще и на психологию и методологию творчества в частности. Высказываний этого рода в «Новогоднем» множество, но еще больше самих средств — метрических ухищрений, рифм, enjambement'ов, звукозаписи и т. п., которые говорят нам о поэте больше, чем самая искренняя и широковещательная декларация.

Чтоб далеко не ходить за примерами, обратимся к enjambement'у между второй, третьей и четвертой строками «Новогоднего»:

Первое письмо тебе на новом
 — Недоразумение, что злачном —
 (Злачном — жвачном) месте зычным, месте звучном
 Как Эолова пустая башня.

Этот отрывок — замечательная иллюстрация характерной для цветаевского творчества многоплановости мышления и стремления учесть все. Цветаева — поэт весьма реалистический, поэт бесконечного придаточного предложения, поэт, не позволяющий ни себе, ни читателю принимать что-либо на веру.

Главной ее задачей в этих строках было заземлить экзотичность первой: «С Новым годом — светом — краем — кровом!» Для этого она прибегает к прозаизму, именуя «тот свет» «новым местом». Однако она идет дальше нормальной прозаизации. Повторяющееся в словосочетании «новом месте» прилагательное достаточно тавтологично само по себе, и этого одного было бы достаточно для эффекта снижения: тавтологичность «нового» уже сама компрометирует «место». Но априорная позитивность, присутствующая помимо воли автора в выражении «новое место» — особенно в применении к «тому свету» — вызывает в ней прилив сарказма, и «новое место» приравнивается поэтом к объекту туристического паломничества (что оправдано множественностью смерти как феномена) посредством эпитета «злачный». Это тем более замечательно, что «злачный», несомненно, пришел из православной заупокойной молитвы («...в месте злачнем, в месте покойнем...»). Цветаева, однако, откладывает требник в сторону хотя бы уже потому, что Рильке не был православным, и эпитет возвращается в свой низменный современный контекст. Сходство «того света» чуть ли не с курортом усугубляется внутренней рифмой следующего прилагательного — «жвачном», за которым следуют «зычным» и «звучном». Нагромождение прилагательных и в нормальной речи всегда подозрительно. В стихотворении же это особенно настораживает, и не без причины. Ибо употребление «зычного» знаменует здесь начало перехода от сарказма к общеэлегической интонации.

«Зычный», конечно же, еще продолжает тему толпы, базарности, введенную «злачным — жвачным», но это уже другая функция рта — функция голоса в пространстве, усиленная последним эпитетом — «звучным»; да и пространство само расширено видением одинокой в нем башни (Эоловой). «Пустой» — то есть населенной ветром, то есть обладающей голосом. «Новое место» понемногу начинает приобретать черты «того света».

Теоретически эффект снижения мог быть достигнут уже самим enjambement'ом (новом /...месте). Цветаева пользовалась этим приемом — переносом строки — столь часто, что enjambement в свою очередь может считаться ее автографом, ее отпечатком пальцев. Но, возможно, именно из-за частоты употребления прием этот недостаточно ее удовлетворял, и ей потребовалось «одушевить» его двойными скобками — этим сведенным к минимуму лирическим отступлением. (Цветаева вообще как никто другой злоупотребляла полиграфическими средствами выражения придаточных аспектов речи.)

Однако главной причиной, побудившей ее растянуть enjambement на три строки, была не столько опасность клише, таившаяся (при всей ироничности тона) в словосочетании «новое место», сколько неудовлетворенность автора заурядностью рифмы «кровом — новым». Ей не терпелось сквитаться, и через полторы строки она действительно сквитывается. Но пока этого не произошло, автор подвергает жесточайшему разносу каждое собственное слово, каждую собственную мысль, то есть комментирует себя. Точнее, впрочем, слух комментирует содержание.

Ни у одного из цветаевских современников нет этой постоянной оглядки на сказанное, слежки за самим собой. Благодаря этому свойству (характера? слуха?) стихи ее приобретают убедительность прозы. В них — особенно у зрелой Цветаевой — нет ничего поэтически априорного, ничего не поставленного под сомнение. Стих Цветаевой диалектичен, но это диалектика диалога: смысла со смыслом, смысла со звуком. Цветаева все время как бы борется с заведомой авторитетностью поэтической речи, все время старается освободить свой стих от котурнов. Главный прием, к которому она прибегает особенно часто в «Новогоднем», — уточнение. В следующей за «...Как Эолова пустая башня» строке она, как бы перечеркивая уже сказанное, откатывается к началу и начинает стихотворение заново:

Первое письмо тебе в вчерашней,
 На которой без тебя изноюсь,
 Родины...

Стихотворение разгоняется снова, но уже по проложенным стилистикой предыдущих строчек и предыдущей рифмой рельсам. «На которой без тебя изноюсь» вклинивается в enjambement, не

столько подчеркивая личную эмоцию автора, сколько отделяя «вчерашней» от «родины» (здесь — в понимании земли, планеты, мира). Эта пауза между «вчерашней» и «родины» видна — услышана — уже не автором, но адресатом стихотворения — Рильке. Цветаева здесь уже смотрит на мир и в том числе — на себя не своими, но его глазами: то есть со стороны. Это, возможно, единственная форма нарциссизма, ей свойственная; и возможно, что одной из побудительных причин к написанию «Новогоднего» был именно этот искус — взглянуть на себя со стороны. Во всяком случае, именно потому, что она стремится дать здесь картину мира глазами его покинувшего, Цветаева и отделяет «вчерашней» от «родины», в то же самое время мостя дорогу для одного из самых пронзительных — первого среди многих — мест в стихотворении, где она и сквитывается — с самой собою — за незатейливость рифмы в первых двух строчках. За придаточной неловкостью вклинившегося «На которой без тебя изноюсь» следует

Родины — теперь уже с одной из
Звезд...

Это ошеломляет. Ибо одно дело взглянуть на себя со стороны. В конце концов, она занималась этим так или иначе всю жизнь. Взглянуть на себя глазами Рильке — другое. Но и этим, надо полагать, она занималась довольно часто, если учесть ее отношение к этому поэту. Взглянуть же на себя глазами странствующей в пространстве души мертвого Рильке и при этом увидеть не себя, но покинутый — им — мир, — для этого требуется душевная оптика, об обладании которой кем-либо мы не имеем сведений. Читатель к такому повороту событий не подготовлен. Вернее, нарочитая неловкость «На которой без тебя изноюсь» подготавливает его к чему угодно, но не к разгоняющемуся дактилизму «Родины» и уж подавно не к замечательной составной рифме «одной из». И, конечно же, менее всего он ожидает, что за «одной из...» последует это односложное как взрыв — «Звезд». Он еще убаюкан по-домашнему звучащей «вчерашней», еще медлит над чуть манерным «изноюсь», когда на него обрушивается вся динамика и вся бесповоротность «Родины — теперь уже... одной из / Звезд». После двух разорванных enjambement'ов он менее всего подготовлен к третьему — традиционному.

Возможно также, что перенос этот — поклон, тайный знак, подаваемый Цветаевой Рильке в ответ на его к ней элегию, написанную и присланную Цветаевой летом того же 1926 года, третья строчка которой тоже начинается enjambement'ом со звездой:

O, die Verluste ins All, Marina, die Stürzenden Sterne!
Wir vermehren es nicht, wohin wir uns werfen, zu welchem
Sterne hinzu! Im Ganzen is immer schon alles gezählt.¹

Вряд ли существуют два более разнесенных между собой в человеческом сознании понятия, чем «родина» (читай: земля) и «звезда». Приравнивание их друг к другу уже само по себе является насилием над сознанием. Но чуть пренебрежительное «одной из...», уменьшая и «звезду» и «родину», как бы компрометирует их обоюдную значительность и унижает насилуемое сознание. Хотелось бы при этом отметить тактичность Цветаевой, не педалирующей ни здесь, ни позже в стихотворении своей участи изгнанницы и ограничивающей значение «родины» и «звезды» контекстом, возникшим в результате смерти Рильке, а не в результате ее собственных перемещений. Тем не менее трудно полностью отделаться от впечатления, что описываемая перспектива содержит в себе косвенный автобиографический элемент. Ибо качество зрения — видения, приписываемое автором своему адресату, порождено не одной только душевной привязанностью к последнему. Во всякой привязанности центром тяжести, как правило, является не объект, а существо привязавшееся; даже если речь идет о привязанности одного поэта к другому, главный вопрос: как ему — мои стихи?

Что же касается той степени отчаяния при утрате любимого существа, которая выражается в нашей готовности поменяться с ним местами, то заведомая неосуществимость подобного пожелания сама по себе достаточно утешительна, ибо служит неким эмоциональным пределом, избавляющим воображение от дальнейшей ответственности. Качество же видения, ответственное за восприятие «родины» как «одной из звезд», свидетельствует не только о способности автора «Новогоднего» к перемене мест вычитаемых, но и о способности ее воображения покинуть своего героя и взглянуть даже на него со стороны. Ибо это не столько Рильке, который «видит» свою вчерашнюю родину как одну из звезд, сколько автор стихотворения «видит» Рильке «видящим» все это. И возникает естественный вопрос: где находится автор? и как он там оказался?

¹ О растворенье в мирах, Марина, падушие звезды!
Мы ничего не умножим, куда б ни упали, какой бы
новой звездой! В мирозданье давно уж подсчитан итог.

Что до первой половины вопроса, то можно удовлетвориться ссылкой на 38 строчку из «На смерть князя Мещерского» Г. Р. Державина². На вторую лучше всех отвечает сама Цветаева, и немного ниже мы обратимся к цитатам. Покамест же хотелось бы высказать предложение, что навык отстранения — от действительности, от текста, от себя, от мыслей о себе, являющийся едва ли не первой предпосылкой творчества и присущий в определенной степени всякому литератору, развился в случае Цветаевой до стадии инстинкта. То, что начиналось как литературный прием, превратилось в форму существования. И не только потому, что она была от многого (включая Отечество, читателей, признание) физически отстраняема. И не потому, что на ее век выпало слишком много того, от чего можно только отстраниться, необходимо отстраниться. Вышеупомянутая трансформация произошла потому, что Цветаева-поэт была тождественна Цветаевой-человеку; между словом и делом, между искусством и существованием для нее не стояло ни запятой, ни даже тире: Цветаева ставила там знак равенства. Отсюда следует, что прием переносится в жизнь, что развивается не мастерство, а душа, что, в конце концов, это одно и то же. До какого-то момента стих выступает в роли наставника души; потом — и довольно скоро — наоборот. «Новогоднее» писалось тогда, когда душе уже давно стало нечему учиться у литературы, даже у Рильке. Потому-то и оказалось возможным для автора «Новогоднего» не только увидеть мир глазами покинувшего этот мир поэта, но и взглянуть на самого поэта со стороны, извне — оттуда, где душа этого поэта еще не побывала. Иными словами, качество зрения определяется метафизическими возможностями индивидуума, которые в свою очередь являются залогом бесконечности если не математической, то вокальной.

Так начинается это стихотворение — с сочетания крайних степеней отчаяния и отстранения. Психологически это более чем оправдано, ибо последнее часто является прямым следствием и выражением первого; особенно в случае чьей-либо смерти, исключающей возможность адекватной реакции. (Не есть ли искусство вообще замена этой несуществующей эмоции? И поэтическое искусство в особенности? И если это так, не является ли жанр стихов «на смерть поэта» как бы логическим апофеозом и целью поэзии: жертвой следствия на алтарь причины?) Взаимная их зависимость настолько очевидна, что трудно порой избежать отождествления отчаяния с отстранением. Во всяком случае постараемся не забывать о родословной последнего, говоря о «Новогоднем»: отстранение является одновременно методом и темой этого стихотворения.

Дабы не соскользнуть в патетику (чем развитие метафоры «родины — одной из звезд» могло быть чревато), а также в силу своей склонности к конкретному, к реализму, Цветаева посвящает следующие шестнадцать строк довольно подробному описанию обстоятельств, при которых она узнала о смерти Рильке. Экстатичности предыдущих восьми строк в этом описании (данном в форме диалога с посетителем — М. Слонимом, предлагающим ей «дать статью» о Рильке) противопоставляется буквализм прямой речи. Естественность, непредсказуемость рифм, оснащающих этот диалог, отрывистость реплик сообщают этому пассажиру характер дневниковой записи, почти прозаическую достоверность. В то же время динамика самих реплик, усиливаемая как их односложностью, так и диалектичностью их содержания, порождает ощущение скорописи, желания поскорее отделаться от всех этих деталей и перейти к главному. Стремясь к эффекту реалистичности, Цветаева пользуется любимыми средствами, главное из которых — смешение языковых планов, позволяющее ей (иногда в одной строчке) передать всю психологическую гамму, порождаемую той или иной ситуацией. Так, перебрасываясь с требующим статьи посетителем, она узнает о месте, где Рильке умер, — пансионе Valmont, около Лозанны, и следует назывное предложение, возникающее даже без подготавливающего такую информацию вопроса «где»:

— В санатории.

И сразу же вслед за этим автор, уже отказавшийся «давать» статью, то есть не желающий обнажать чувств публично и поэтому же скрывающий их от собеседника, добавляет в скобках: (В раю наемном).

² Имеется в виду следующий отрывок из стихотворения Г. Державина «На смерть к. Мещерского» (строки 33—40):

Сын роскоши, прохлад и нег,
Куда, Мещерский! ты сокрылся?
Оставил ты сей жизни брег,
К брегам ты мертвым удалился;
Здесь переть твоя, а духа нет.
(38) Где ж он? — Он там; — Где там? — Не знаем.
Мы только плачем и зываем:
О горе нам, рожденным в свет!

Это — существенный сдвиг от пусть лихорадочного, но все-таки гражданского тона диалога: сдвиг к вульгарности, почти базарный, бабий выкрик (ср. стандартное «Аблаклат — наемная совесть»). Данный сдвиг — назовем его отстранением вниз — продиктован уже не просто стремлением скрыть свои чувства, но унижить себя — и унижением от оных чувств защититься. Дескать, «это не я, это кто-то другой страдает. Я бы так не могла...» Тем не менее даже в этом самобичевании, в отказе от себя, в вульгарности поэтическое напряжение не ослабевает, и свидетельством тому слово «рай». Ибо идея стихотворения — описание «того света», источником представлений о котором является «этот». Грубость ощущений, однако, свидетельствует не столько об их силе, сколько об их приблизительности, и, восклицая «В раю наемном», автор косвенно указывает на свое еще не совершенное представление о «том свете», на уровень понимания, на котором он еще находится, то есть на необходимость дальнейшей разработки темы, чего в первую очередь требует сама скорость стиха, набираемая нагромождением односложных.

С наступающим! (Рождался завтра!) —
 Рассказать, что сделала узнав про ..?
 Тсс... Оговорилась. По привычке.
 Жизнь и смерть давно беру в кавычки,
 Как заведомо пустые сплёт.

На протяжении всего стихотворения Цветаева ни разу не прибегает к словосочетанию «твоя смерть». Она уклоняется от этого даже тогда, когда строка это позволяет; хотя спустя несколько дней после написания «Новогоднего» она пишет короткое эссе, которое так и называется: «Твоя смерть». Дело не столько в суеверном нежелании признания за смертью права собственности на Рильке — или: за ним — на смерть. Автор просто отказывается забивать своими руками этот последний психологический гвоздь в гроб поэта. Прежде всего потому, что подобное словосочетание — первый шаг к забвению, к одомашниванию, то есть к непониманию — катастрофы. Кроме того, потому, что невозможно говорить о физической смерти человека, не говоря — потому что не зная — о его физической жизни. В таком случае смерть Рильке приняла бы абстрактный характер, против чего Цветаева восстала бы просто как реалист. В результате — смерть превращается в объект догадок в той же мере, в какой и жизнь Рильке была их объектом. То есть выражение «твоя смерть» оказывается столь же неприменимым и бессодержательным, как и «твоя жизнь». Но Цветаева идет несколько дальше, и тут начинается то, что мы можем назвать «отстранением вверх» и цветаевской исповедью:

Жизнь и смерть давно беру в кавычки,
 Как заведомо пустые сплёт.

Буквальное значение этих строк — а Цветаеву всегда следует понимать именно не фигурально, а буквально — так же как, скажем, и акмеистов, — следующее: «жизнь» и «смерть» представляются автору неудачной попыткой языка приспособиться к явлению, и более того — попыткой, явление это унижающей тем смыслом, который обычно в эти слова вкладывается: «заведомо пустые сплёт». То есть жизнь имярека еще не есть Бытие со всеми вытекающими из этого и для смерти имярека последствиями. «Сплёт» — либо архаическое «сплетни», либо — просторечное «сплетения» (обстоятельств, отношений и т. д.); в любом случае «заведомо пустые» — эпитет чрезвычайно уместный. Ключевым же словом здесь является «давно», ибо указывает на повторимость, массовый характер «сплёт», компрометирующих «жизнь» и «смерть» и делающих их неприменимыми к Рильке.

Помимо всего прочего, лирическая героиня «Новогоднего» — сама Цветаева, поэт; и как поэт она относится с предубеждением к этим двум словам, выхолащенным не только смыслом, вкладываемым в них столь долго и столь многими, но и своим весьма частым их употреблением. Это и заставляет ее прерваться на полуслове и приложить к губам палец:

Тсс. Оговорилась По привычке

Это одно из многих восстаний поэта против себя, типичных для цветаевской лирики. Восстания эти продиктованы тем же самым стремлением к реалистичности, которое ответственно за смешение языковых планов. Цель всех этих приемов — или: движений души — изобразить свою речь от поэтической априорности, продемонстрировать присутствие здравого смысла. Иными словами — поставить читателя в максимальную зависимость от сказанного. Цветаева не играет с читателем в равенство; она себя к нему приравнивает — лексически, логически, и ровно настолько, чтоб дать ему возможность следовать за собою.

Жизнь и смерть произношу с усмешкой

Скрытою. —

добавляет она ниже, как бы разжевывая читателю значение предыдущих строчек. Из этих же соображений исходя — и потому что посетитель в начале стихотворения предлагает ей «дать статью», — Цветаева прибегает к интонации — маске — берущего интервью журналиста:

Теперь — как ехал?
Как рвалось и не разорвалось как —
Сердце? Как на рысаках орловских,

От орлов, *сказал*, не отстающих,
Дух захватывало — или пуще?
Слаще?

Эвфемистичность этого «как ехал» (на «новое место», то есть в небо, рай и т. д.), равно и последующая перифраза из самого Рильке, — суть попытка контроля чувств, выходящих несколькими строчками ранее из повиновения при ответе на «Рассказать, что сделала, узнав про...»:

Ничего не сделала, но что-то
Сделалось, без звука и без эха
Делающее!
Теперь — как ехал?

Цветаева прибегает здесь к графическому перебою, подчеркивающему и обрыв предыдущей интонации, и физический отрыв содержания: вверх (в сознании читателя), потому что вниз (на бумаге). С этого момента стихотворение начинает двигаться только в этом направлении, и если и замирает где для лирического отступления или для снижения тона, то это происходит в сферах столь высоких, что топографическое членение представляется бессмысленным. Отчасти это имеет в виду сама Цветаева, замечая вместо ответа на ею же поставленный вопрос «...пуще? Слаще?»:

Ни высот тому, ни спусков,
На орлах летал заправских русских —
Кто.

То есть что для человека с опытом жизни в России, с опытом метафизических «русских горок» всякий ландшафт, включая потусторонний, представляется заурядным. И далее с горечью и гордостью патриота Цветаева добавляет:

Связь кровная у нас с тем светом
На Руси бывал — тот свет на этом
Зрел

Это — патриотизм не квасной и даже не либеральный, окрашенный, как правило, в сардонические тона: это патриотизм — метафизический. «На Руси бывал — тот свет на этом / Зрел». — Эти слова продиктованы ясным сознанием трагичности человеческого существования вообще — и пониманием России как наиболее абсолютного к нему приближения.

Эта строка начисто снимает бессодержательные рассуждения о том, что «Цветаева не приняла Революцию». Разумеется, не приняла, ибо принять смертоубийство — независимо от идеалов, во имя коих оно совершается, — значит оказаться его соучастником и предателем мертвых. Принять такое равносильно утверждению, что мертвые хуже оставшихся в живых. Подобное «принятие» — позиция превосходства, занимаемая большинством (живых) по отношению к меньшинству (мертвых) — то есть наиболее отвратительная форма нравственного разврата. Для любого человеческого существа, воспитанного на христианских нормах этики, подобное «принятие» немислимо, и обвинения в политической слепоте или непонимании исторических процессов, выразившихся в неприятии, оборачиваются похвалой нравственной зрелости данного индивидуума.

«На Руси бывал — тот свет на этом / Зрел» — не так уж далеко от «Всю тебя, земля родная, / В рабском платье Царь Небесный / Исходил, благословляя» или «В Россию можно только верить». Цитируемая цветаевская строчка свидетельствует о том, что она совершила нечто большее, чем не приняла Революцию: она ее поняла. Как предельное — до кости — обнажение сущности бытия. И, возможно, этим продиктован глагол «бывал», относящийся не столько к визитам Рильке в Россию (в 1899 и 1900 году), сколько к самой Цветаевой, оказавшейся вне России. Возможно также, что следующее за «Зрел» восклицание «Налаженная перебежка!», то есть легкость перемещения с этого света на тот, является отчасти эхом скорого на руку революционного правосудия. И тем естественнее идущее сразу же за «перебежкой»:

Жизнь и смерть произношу с усмешкой
 Скрытую — своей ея коснешься!
 Жизнь и смерть произношу со сноской,
 Звездочкою...

В «своей ея коснешься» накапливающаяся дидактическая масса разрешается высоким лиризмом, ибо тождество взглядов автора и адресата на «жизнь и смерть» дано здесь в виде некоего совмещения двух скрытых улыбок — этого экзистенциального поцелуя, нежность которого эфонически передает похожее на шепот «коснешься». Опущенное «ты» в «своей ея коснешься» увеличивает ощущение интимности, проникающей и в следующую строчку: «Жизнь и смерть произношу со сноской, / Звездочкою» — ибо «сноска» звучит менее драматично, чем «кавычки» или даже «усмешка». Все еще передавая — развивая — ощущение скомпрометированности для автора «жизни и смерти», «сноска», благодаря уменьшительности, почти ласкательности своего звучания, переводит речь в план сугубо личный и как бы приравнивает к себе самого адресата, становясь «Звездочкою». Ибо Рильке — уже звезда или уже на звездах, и далее в скобках идут две с половиной строчки чистой поэзии:

(ночь, которой чаю:
 Вместо мозгового полушарья —
 Звездное!)

Эти скобки тем более замечательны, что являются отчасти графическим эквивалентом заключенного в них образа. Что же касается самого образа, то его дополнительное очарование — в отождествлении сознания со страницей, состоящей из одних сносок на Рильке — звезд. В свою очередь архаичное «чаю» несет в себе всю нежность и ту невозможность осуществления подобного пожелания, которая требует немедленной перемены регистра. Поэтому за закрывающейся скобкой мы слышим речь, отличающуюся от предыдущего пассажа внешней деловитостью тона. Однако тон этот всего лишь маска: эмоциональное содержание — прежнее:

Не позабыть бы, друг мой,
 Следующего: что если буквы
 Русские пошли взамен немецких —
 То не потому, что нынче, дескать,
 Все сойдет, что мертвый (нищий) все съест —
 Не сморгнет!..

Скрываемое нарочитой бюрократичностью «следующего», это содержание дает себя знать в самом смысле отрывка: речь идет ни больше ни меньше как об обращенной к Рильке просьбе автора извинить его за то, что стихотворение пишется по-русски, а не по-немецки. Просьба эта порождена отнюдь не кокетством: начиная с 1926 года Цветаева состояла с Рильке в переписке (возникшей, между прочим, по инициативе Б. Пастернака), и переписка эта велась по-немецки. Эмоциональная основа этой просьбы в осознании автором того, что, пользуясь русским языком — для Рильке не родным — она от адресата отстраняется: более, чем уже отстранена фактом его смерти: более, чем была бы, дай себе труд писать по-немецки. Кроме того, просьба эта сама по себе играет роль отстранения от «чистой поэзии» предыдущих строк, за которые Цветаева себя чуть ли не упрекает. Во всяком случае, она сознает, что достижения сугубо поэтические (вроде содержимого скобок) в свою очередь отдаляют ее от Рильке, что она может *увлечься* — именно она, а не ее адресат. В вульгарно-бравурном «...буквы / Русские пошли взамен немецких...» слышится нота легкого презрения к себе и к своему творчеству. И она начинает оправдываться — в том же самом бодром площадном тоне: «...То не потому, что нынче, дескать, / Все сойдет, что мертвый (нищий) все съест — / Не сморгнет!» Но тон этот — лишь дополнительная форма самобичевания. Разухабистость этого «...мертвый (нищий) все съест — / Не сморгнет!», устервленная смесью пословицы и фольклорного синонима покойника — «жмурика», присутствует здесь не в качестве характеристики адресата, но как штрих к психологическому автопортрету автора: как иллюстрация возможной меры его падения. Отсюда, с самого низу, Цветаева и начинает свою защиту, результат которой, как правило, тем более достоверен, чем хуже отправная точка:

— а потому что *тот* свет,
 Наш,— тринадцати, в Нововедичьем
 Поняла: не без- а все-язычен.

Это опять-таки ошеломляет, поскольку предыдущие строки нас ни к чему такому не подготавливали. Даже достаточно опытный читатель Цветаевой, привыкший к ее стилистической контрастности, оказывается далеко не всегда подготовленным к этим ее взлетам со дна в эмпирию. Ибо в стихотворениях Цветаевой читатель сталкивается не со стратегией стихотворца, но со стратегией нравственности; пользуясь ее же собственным определением — с искусством при свете совести. От себя добавим: с их — искусства и нравственности — абсолютным совмещением. Именно логикой совести (точнее — совестливости), логикой стыда за пребывание в живых, тогда как ее адресат мертв, сознанием неизбежности забвения умершего и своих строк как мостящих этому забвению дорожку и продиктована просьба простить за дополнительное бегство от реальности его, адресата, смерти: за стихотворение по-русски и за *стихотворение* вообще. Довод, который Цветаева приводит в свое оправдание — «потому что *тот* свет... не без- а все-язычен», — замечателен прежде всего тем, что он перешагивает через тот психологический порог, где почти все останавливаются через понимание смерти как вне-языкового опыта, освобождающего от каких-либо лингвистических угрызений. «Не без- а все-язычен» идет гораздо дальше, увлекая за собой совесть к ее истоку, где она освобождается от груза земной вины. В этих словах есть ощущение как бы широко раскинутых рук и праздничность откровения, доступного разве что только ребенку — «тринадцати, в Новодевичьем».

Однако и этого довода оказывается недостаточно. Ибо самые угрызения, самые мысли о языке, воспоминания детства, перифразы из самого Рильке, наконец, сама поэзия с ее рифмами и образами — все, что примиряет с действительностью, представляются автору бегством, отвлечением от оной:

Отвлекаюсь? —

вопрошает Цветаева, оглядываясь на предыдущую строфу, но, по сути, на все стихотворение в целом, на свои не столько лирические, сколько чувством вины продиктованные отступления.

В целом можно заметить, что сила Цветаевой — именно в ее психологическом реализме, в этом ничем и никем не умиротворяемом голосе совести, звучащем в ее стиле либо как тема, либо — как минимум — в качестве постскриптума. Одно из возможных определений ее творчества — это русское придаточное предложение, поставленное на службу кальвинизму. Другой вариант: кальвинизм в объятиях этого придаточного предложения. Во всяком случае, никто не продемонстрировал конгенности данного мировоззрения и данной грамматики с большей очевидностью, чем Цветаева. Разумеется, жесткость взаимоотношений индивидуума с самим собой обладает определенной эстетикой; но, пожалуй, не существует более поглощающей, более емкой и более естественной формы для самоанализа, нежели та, что заложена в многоступенчатом синтаксисе русского сложноподчиненного предложения. Облеченный в эту форму кальвинизм заходит («заводит») индивидуума гораздо дальше, чем он оказался бы, пользуясь родным для кальвинизма немецким. Настолько далеко, что от немецкого остаются «самые лучшие воспоминания», что немецкий становится языком нежности:

Отвлекаюсь? Но такой и вещи
 Не найдется — от тебя отвлечься.
 Каждый помысел, любой, Du Lieber,
 Слог в тебя ведет — о чем бы ни был
 Толк...

Это Du Lieber — одновременно и дань чувству вины («буквы / Русские пошли взамен немецких»), и от этой вины освобождение. Кроме того, за ним стоит чисто личное, интимное, почти физическое стремление приблизиться к Рильке, коснуться его естественным для него образом — звуком родной для него речи. Но если бы дело было только в этом, Цветаева, поэт технически чрезвычайно разносторонний, на немецкий бы не перешла, нашла бы в своей палитре иные средства вышеупомянутые ощущения выразить. Дело, вероятно, в том, что по-русски Цветаева Du Lieber уже произнесла в начале стихотворения: «Человек вошел — любой — (любимый — / ты)». Повторение слов в стихах вообще не рекомендуется; при повторении же слов с заведомо позитивной окраской риск тавтологии выше обыкновенного. Уже хотя бы поэтому Цветаевой было необходимо перейти на другой язык, и немецкий сыграл здесь роль этого *другого* языка. Du Lieber употреблен ею здесь не столько семантически, сколько фонетически. Прежде всего потому, что «Новогоднее» — стихотворение не макароническое, и поэтому семантическая нагрузка, на Du Lieber приходящаяся, либо слишком высока, либо ничтожна. Первое маловероятно, ибо Du Lieber произносится Цветаевой почти шепотом и с автоматизмом человека, для которого «русского родней немецкий». Du Lieber просто то самое, «как свое» произносимое «блаженное бессмысленное слово», и его обобщающая блаженно-бессмысленная роль только подтверждается не менее

беспредметной атмосферой сопутствующей ему рифмы «о чем бы ни был». Таким образом, остается второе, то есть чистая фонетика. Du Lieber, вкрапленное в массу русского текста, есть прежде всего звук — не русский, но и необязательно немецкий: как всякий звук. Ощущение, возникающее в результате употребления иностранного слова, ощущение прежде всего непосредственно фонетическое и поэтому как бы более личное, частное: глаз или ухо реагирует прежде рассудка. Иными словами, Цветаева употребляет здесь Du Lieber не в его собственно немецком, но в над-языковом значении.

Переход на другой язык для иллюстрации душевного состояния — средство достаточно крайнее и уже само по себе свидетельствующее о данном состоянии. Но поэзия, в сущности, сама есть некий *другой* язык или перевод с него. Употребление немецкого Du Lieber — попытка Цветаевой приблизиться к тому оригиналу, который она определяет в следующих за рифмой к Du Lieber, может быть, самых значительных в истории русской поэзии скобках:

Каждый помысел, любой, Du Lieber,
Слог в тебя ведет — о чем бы ни был
Толк (пусть русского родней немецкий
Мне, всех ангельский родней!)...

Это одно из наиболее существенных признаний, сделанных автором в «Новогоднем»; и — интонационно — запятая стоит не после «мне», а после «немецкий». Замечательно, что эвфемичность «ангельского» почти совершенно снимается всем контекстом стихотворения — «тем светом», где пребывает Рильке, «тем» его непосредственным окружением. Замечательно также, что «ангельский» свидетельствует не об отчаянии, но о высоте — едва ли не буквальной, физической — душевного взлета, продиктованного не столько предполагаемым местонахождением «того света», сколько общей поэтической ориентацией автора. Ибо «ангельский» родней Цветаевой *вообще*, так же как и немецкий родней русского *вообще*: биографически. Речь идет о высоте, которая «родней», то есть недосыгаема в просторечии, — духовной. Ангелы в конечном счете объясняются звуками. Однако полемичность тона, отчетливо различимая в «мне всех ангельский родней», указывает на абсолютно внецерковный и имеющий чрезвычайно косвенное отношение к благодати характер этого «ангельского». Это, по сути дела, другой вариант знаменитой цветаевской формулы: «голос правды небесной — против правды земной». Иерархичность мирозерцания, отраженная в обеих формулировках, есть иерархичность неограниченная: не ограниченная, по крайней мере, религиозной топографией. «Ангельский» поэтому употребляется ею просто как служебный термин для обозначения высоты *смысла*, до которого она, по ее собственному выражению, «докрикивается».

Высота эта может быть выражена только в физических мерах пространства, и все остальное стихотворение состоит из описания постоянно возрастающих степеней удаления, одной из которых является голос самого автора. Обращаясь снова к маске интервьюера, Цветаева вопрошает (начиная с себя и, по обыкновению, тотчас себя отбрасывая):

— Неужели обо мне ничуть не? —
Окруженье, Райнер, самочувствие?
Настоятельно, всенепременно —
Первое видение вселенной,
(Подразумевается, поэта
В оной) и последнее — планеты,
Раз только тебе и данной — в целом!

Это уже достаточно ангельская перспектива, но цветаевское понимание происходящего отличается от серафического именно отсутствием заинтересованности в судьбе только души, как, впрочем, и в судьбе только тела (в чем ее отличие от понимания чисто человеческого): «Обосовать — оскорбить обоих», — произносит она; ангел этого не скажет.

Бессмертие души, реализовавшейся в форме телесной деятельности — в творчестве, — Цветаева иллюстрирует в «Новогоднем», употребляя категории пространственные, то есть телесные же, что позволяет ей не только рифмовать «поэта» с «планетой», но и отождествлять их: вселенную буквальную с традиционной «вселенной» индивидуального сознания. Речь, таким образом, идет о расставании вещей равновеликих, и «интервьюер» описывает не «первое видение вселенной... поэтом» и даже не их разлуку или встречу, но

— ставку

Очную: и встречу и разлуку
Первую.

Достоверность цветаевской метафизики именно в точности ее перевода ангельского на полицейский, ибо «очная ставка» — всегда и встреча и разлука: первая и последняя. И за этим грандиозным по своему масштабу уравнением следуют строки невероятной нежности и лиризма, чья пронзительность находится в прямой пропорции вышеупомянутого космического зрелища к незначительности (помещенной к тому же в скобках) детали, вызывающей ассоциацию одновременно и с творчеством и с детством, отождествляющей их невозвратимость:

На собственную руку
Как глядел (на след — на ней — чернильный)
Со своей столько-то (сколько?) мильной
Бесконечной ибо безначальной
Высоты над уровнем хрустальным
Средиземного — и прочих блюдец.

В качестве вариации на тему «Так души смотрят с высоты...» эти строки поражают не только зоркостью автора, позволяющей с одинаковой степенью ясности различить и чернильный след на принадлежащей «брошенному телу» руке, и хрустальность «Средиземного и прочих блюдец» (что подтверждает блюдоц этих многомильную от данной души удаленность). Самое захватывающее в этих строках — это сопутствующее их зоркости понимание бесконечности как безначальности. Весь этот «пейзаж отрешенности» дан на одном дыхании, как бы в парении, посредством простого сложносочиненного предложения, обеспечивающего лексическое (психологическое) тождество и наивно-непосредственного «чернильного следа», и абстрактности «бесконечного ибо безначального», и иронии «хрустальных блюдец». Это — взгляд из Рая, где (откуда) все равно, откуда любой взгляд — взгляд вниз:

— и куда же *еще* глядеть-то,
Приблукотясь на обод ложи,
С этого — как не на тот, с того же
Как не на многострадальный этот

И здесь взгляд Цветаевой буквально «падает» вместе с интонацией из райской «ложи» в «партер» реальности, в банальность ежедневного существования — в банальность тем большую, что она декорирована «заграничным», французским названием Беллевию (буквально — «прекрасный вид»):

В Беллевию живу. Из гнезд и веток
Городок Переглянувшись с гидом
Беллевию. Острог с прекрасным видом
На Париж — чертог химеры галльской —
На Париж — и на немножко дальше...

В этом описании своего местопребывания, в «живу», стоящем после Беллевию, — Цветаева на минуту — но только на минуту — дает волю ощущению абсурдности всего с нею происходящего. В этой фразе слышно все: презрение к месту, обреченность на пребывание в нем, даже — если угодно — оправданность, ибо: живу. Нестерпимость «В Беллевию живу» усиливается для нее еще и тем, что фраза эта физическое воплощение несовместимости ее существования с тем, что произошло с Рильке. Беллевию для нее — другой полюс Рая, «того света»; может быть, даже «того света» другой вариант, ибо на обоих полюсах — лютый холод и существование исключено. Как бы отказываясь верить своим глазам, отказываясь верить факту своего в этом месте пребывания, Цветаева избирает его название — Беллевию — в качестве козла отпущения и повторяет его вслух дважды, балансируя на грани тавтологии, на грани абсурда. Повторение Беллевию в третий раз было бы чревато истерикой, чего Цветаева не может себе в «Новогоднем» позволить прежде всего как поэт: это означало бы перенести центр тяжести в стихотворении с Рильке на себя. Вместо этого с издевкой (относящейся более к себе, нежели к месту) в голосе она дает прямой перевод названия, звучащего тем парадоксальнее, что прекрасный-то вид, как она знает, открывается не отсюда, а оттуда, из Рая, из «ложи»:

Приблукотясь на алый обод
Как тебе смешны (кому) «должно быть»,
(Мне ж) *должны* быть, с высоты без меры,
Наши Беллевию и Бельведеры!

Так кончается в этом стихотворении — один только раз и встречающееся в нем описание автором ее собственного мира, из которого «куда ж еще глядеть-то», как не туда, куда скрылся ее герой (не на Париж же — «чертог химеры галльской — / На Париж — и на немножко дальше...»).

Такова и вообще позиция Цветаевой по отношению к любой конкретной реальности, особенно по отношению к собственным обстоятельствам. Действительность для нее — всегда отпавшая точка, а не точка опоры или цель путешествия, и чем она конкретнее, тем сильнее, дальше отталкивание. Цветаева ведет себя в стихах как классический утопист: чем невыносимей действительность, тем агрессивней воображение. С той лишь, впрочем, разницей, что в ее случае острота зрения не зависит от объекта созерцания.

Можно даже сказать, что чем идеальней — удаленней — объект, тем скрупулезней его изображение, точно расстояние поощряет — развивает — хрусталик. Поэтому «Беллевио и Бельведеры» смешны в первую очередь ей самой, ибо она способна взглянуть на них не только глазами Рильке, но и своими собственными.

И естественным образом с этого места — с этого конца Вселенной и с этого взгляда, мелко брошенного на свое «настоящее» — на себя, — начинается в стихотворении разговор о самом немислимом и невозможном; начинается самая главная, сугубо личная тема — тема любви автора к адресату. Все предшествующее есть, в сущности, гигантская экспозиция, отчасти пропорциональная той, которая и в реальной жизни предшествует признанию в сильных чувствах. В разработке этой темы, точнее, по мере выговаривания слов любви Цветаева прибегает к средствам, употребленным ею уже в экспозиции, в частности — к пространственному выражению качественных категорий (например, высоты). Подвергать их детальному разбору (даже несмотря на присутствие в них порой значительного автобиографического элемента) не представляется целесообразным ввиду стилистического единства «Новогоднего». Столь же нецелесообразным и предосудительным было бы предаваться — на материале стихотворения — спекуляции относительно «конкретного характера» отношений Цветаевой с Рильке. Стихотворение — любое — есть реальность не менее значительная, чем реальность, данная в пространстве и во времени. Более того, наличие конкретной, физической реальности, как правило, исключает потребность в стихотворении. Поводом к стихотворению обычно является не реальность, а нереальность; в частности поводом к «Новогоднему» явился апофеоз нереальности — и отношений, и метафизической: смерть Рильке. Поэтому куда более осмысленным будет рассмотреть оставшуюся часть стихотворения на предлагаемом самим текстом психологическом уровне.

Единственная «реальность», существенная для нашего понимания «Новогоднего», — это уже упоминавшаяся переписка Цветаевой с Рильке, возникшая в 1926 году и в том же году прервавшаяся со смертью Рильке (от лейкемии, в швейцарском санатории). До нас дошло три письма Цветаевой к Рильке (возможно, их и было только три, если учитывать этих писем объем и интенсивность их содержания). «Новогоднее», таким образом, следует считать четвертым, и, во всяком случае, последним, хотя и первым, посланным уже не в Швейцарию, а на тот свет:

Первое письмо тебе на новом...
Месте...

Будучи письмом, «Новогоднее», естественно, содержит разнообразные референции к содержанию предыдущих писем (как Цветаевой к Рильке, так и Рильке к Цветаевой), останавливаясь на которых также представляется неправомерным, самих писем не приводя. Кроме того, эти референции, ссылки и перифразы служат в «Новогоднем» скорее целям самого стихотворения, нежели целям продолжающейся переписки, ибо один из корреспондентов мертв. Единственным, что могло бы быть сочено в этой переписке имеющим непосредственное отношение к поэтике «Новогоднего», была посвященная Цветаевой «Элегия», которую Рильке послал ей 8 июня 1926 года (судя по всему, сразу же по написании). Но за исключением двух-трех мест (одно из которых мы уже приводили в начале данной статьи), производящих на читателя «Новогоднего» впечатление эха некоторых (3-й, 20-й и 45-й) строк «Элегии», сходство между этими стихотворениями незначительное, если, конечно, не считать общего духовного вектора обоих авторов.

И, наконец, из переписки этой следует, что на всем ее протяжении Цветаева и Б. Пастернак (по инициативе которого переписка эта и возникла) строили разнообразные планы, имеющие целью посетить Рильке. Сначала они намеревались сделать это вместе; впоследствии, по мере сокращения шансов Пастернака на участие в этой поездке, Цветаева собиралась отправиться одна. В определенном смысле «Новогоднее» есть продолжение планирования этой встречи, но — поиск адресата — теперь уже в чистом пространстве, назначение свидания — теперь уже понятно где. Продолжение — уже хотя бы потому, что стихотворение пишется в одиночку: как письмо. И возможно, что «наши Беллевио и Бельведеры», помимо всего прочего, при всей своей горечи и

невыносимости просто обратный адрес, проставленный по инерции — или в слепой, бессмысленной надежде на невозможный ответ.

Каковы бы ни были чувства автора, вызвавшие появление этой строки, Цветаева тотчас от нее отказывается и, как бы стыдясь ее мелочности, объясняет ее (этих чувств) возникновение надвигающимся Новым годом:

Перебрасываюсь Частность. Срочность.
Новый год в дверях.

И вслед за этим, дав стихотворению заслужить свое название, она продолжает, давая волю цезуре и раскачивая свой хорей, как маятник или поникшую голову, из стороны в сторону:

За что, с кем чокнусь
Через стол? Чем? Вместо пены — ваты
Клок. Зачем? Ну, бьет — а при чем я тут?

Столпотворение вопросительных знаков и трехсложная клаузула, превращающая составную рифму к «ваты» в сливающееся невнятное бормотание «апричмятут», создают впечатление утрачиваемого контроля, отпущенных вожжей, перехода с организованной речи в бессознательное причитание. И хотя строчкой ниже (но нотой выше) Цветаева как бы спохватывается, возвращает словам подобие смысла, вся ее последующая речь — уже во власти априорной музыки причитания, не то чтобы заглушающего смысл произносимого, но подчиняющего его своей динамике:

Что мне делать в новогоднем шуме
С этой внутренней рифмой Райнер — умер
Если ты, такое око смерклось,
Значит жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть
Значит — тмится, допойму при встрече! —
Нет ни жизни, нет ни смерти, — третье,
Новое. И за него (соломой
Застелив седьмой — двадцать шестому
Отходящему — какое счастье
Тобой кончиться, тобой начаться!)
Через стол, необозримый оком,
Буду чокаться с тобою тихим чоком
Стекла о стекло?

Двустипшие, открывающее этот отрывок, феноменально и даже в цветаевском творчестве стоит едва ли не особняком. Дело, должно быть, не столько в самом ассонансе «Райнер — умер», услышанном ухом, к произнесению этого имени привыкшим из-за близости уст — собственных, — это имя произносивших (и ухом именно русским), сколько в дробном, подробном дактилизме «внутреннего». Отчетливость каждой гласной в этом прилагательном подчеркивает как неумолимость сказанного, так и физиологически внутренний характер самого слова. Речь идет уже не о внутренней рифме, но о внутреннем осознании, о сознательном (из-за смысла) и о без- (над-) сознательном (из-за фонетики) договаривании — выговаривании — всего до конца, до акустического предела слова.

Следует обратить внимание и на внутреннее положение «внутреннего» в строке и на организуемую — подчиняющую роль в этой строке ее пяти «р», усиливающих ощущение внутренней рифмы, ибо они выглядят взятыми как бы не из русского алфавита, но из имени «Райнер». (Вполне возможно, что не последнюю роль в организации этой строки — как и в восприятии Цветаевой этого поэта в целом — играло его полное имя — Райнер Мария Рильке, в котором, помимо четырех «р», русское ухо различает все три существующих в нашем языке рода: мужской, женский и средний. Иными словами, уже в самом имени содержится определенный метафизический элемент.) Что, впрочем, действительно почерпнуто из имени и использовано впоследствии для нужд стихотворения, — это первый слог имени «Райнер». В связи с чем цветаевское ухо может быть обвинено в наивности не с большим основанием, чем вообще весь фольклор. Именно инерцией фольклора, бессознательным ему подражанием продиктованы дальше такие обороты, как «такое око смерклось» и «значит — тмится». То же частично относится и к «соломой застелив» — не только в смысле обычая, но и по самому характеру традиционной рифмы «солому — седьмому» (или — шестому); то же относится и к «Буду чокаться с тобою тихим чоком / Стекла о стекло...» и отчасти к «кабацким ихним» (хотя это выражение может быть рассматриваемо и просто как маньеризм). Очевидней же всего техника проговора, причитания, захлеба в «Если ты, такое око смерклось, / Значит жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть. / Значит — тмится...». Рационализм глагола «есть» не должен вводить в заблуждение, ибо даже если бы

предлагались формулы, их эффективность снимается следующими за ними «Значит, тмится...» и обращением к конкретным датам в скобках.

Скобки эти — потрясающее лирическое достоинство Цветаевой. Душевная щедрость, вложенная в

(. — Двадцать шестому
Отходящему — какое счастье
Тобой кончиться, тобой начаться!) —

не поддается никакому исчислению, ибо сама дана в самых крупных единицах — в категориях Времени.

С этой зависти — почти ревности — к Времени, с этого рыдающего «какое счастье» — сбивающегося (благодаря смещению ударения на первый слог в «тобой») на простонародное оканье следующей строчки, и заговаривает Цветаева о любви почти уже открытым текстом. Логика этого перехода проста и трогательна: Времени-то — году — повезло больше, чем героине. И отсюда — мысль о Времени — обо всем Времени — в котором ей не бывать с «ним» вместе. Интонация этих скобок — интонация плача по суженому. Еще важнее, однако, отводимая Времени роль разлучающей силы, ибо в этом слышна тенденция к объективированию и к одушевлению Времени. На самом-то деле суть всякой трагедии — в нежелаемом варианте Времени; это наиболее очевидно в трагедиях классических, где Время (будущее) любви заменяется Временем (будущим) смерти. И содержание стандартной трагедии — реакция остающихся на сцене героя или героини — отрицание, протест против невыносимой перспективы.

Но сколь бы ни был патетичен такой протест, он всегда упрощение, одомашнивание Времени. Трагедии, как правило, сочиняются пылкими молодыми людьми по весьма горячим следам или старцами, основательно подзабывшими, в чем, собственно, было дело. В 1926 году Цветаевой было 34 года, она была матерью двоих детей и автором нескольких тысяч стихотворных строк, за спиной у нее была Гражданская война и Россия, любовь ко многим и смерть многих — включая и тех, кого она любила. Судя по скобкам (как, впрочем, по всему ее творчеству, с 1914—1915 годов начиная), она уже знала о Времени нечто, о чем немногие из классиков, романтиков и ее современников догадывались. А именно что жизнь имеет гораздо меньшее отношение ко Времени, чем смерть (которая — длинней), и что с точки зрения Времени смерть и любовь — одно и то же: разница может быть замечена только человеком. То есть в 1926 году Цветаева была со Временем как бы на равных, и ее мысль не приспособляла Время к себе, но приспособлялась ко Времени и к его пугающим нуждам. «Какое счастье / Тобой кончиться, тобой начаться» сказано тем же тоном, каким она благодарила бы Время, будь встреча с Рильке Временем ей дарована. Иными словами, степень ее душевной щедрости есть эхо возможной щедрости Времени по отношению к ней — не проявленной, но от этого ничуть не менее возможной.

Сверх того, она знала еще и нечто о самом Рильке. В письме к Б. Пастернаку, касающемся их совместных планов поездки к Рильке, она пишет: «...я тебе скажу, что Рильке перегружен, что ему ничего, никого не нужно... Рильке — отшельник... На меня от него веет последним холодом имущего, в имущество которого я заведомо и заранее включена. Мне ему нечего дать: все взято. Да, да, несмотря на жар писем, на безукоризненность слуха и чистоту вслушивания — я ему не нужна, и ты не нужен. Он старше друзей. Эта встреча для меня — большая растрата, удар в сердце, да. Тем более что он прав (не его холод! оборонительного божества в нем!), что я в свои лучшие высшие сильнейшие отрешеннейшие часы — сама такая же...»

«Новогоднее» и есть тот самый лучший высший сильнейший отрешеннейший час, и поэтому Цветаева уступает Рильке Времени, с которым у обоих поэтов слишком много общего, чтобы избежать подобия треугольника. Обоим, по крайней мере, была присуща высокая степень отрешенности, являющаяся главным свойством Времени. И все стихотворение (как, в сущности, само творчество) есть развитие, разработка этой темы — лучше: этого состояния, то есть приближения ко Времени, выражаемая в единственно осязаемых пространственных категориях: высоты, того света, рая. Говоря проще, «Новогоднее» оправдывает свое название прежде всего тем, что это стихотворение о Времени, одно из возможных воплощений которого — любовь, и другое — смерть. И та и другая, во всяком случае, ассоциируют себя с вечностью, являющейся лишь толикой Времени, а не — как это принято думать — наоборот. Поэтому мы и не слышим в скобках обиды.

Более того, зная содержание приведенного отрывка из письма, можно с уверенностью предположить, что, имея планировавшаяся встреча место, скобки сохранились бы. Время так и осталось бы объектом ревности и/или душевной щедрости автора, ибо самая счастливая, то есть самая отрешенная любовь все же меньше любви к отрешенности, внушаемой поэту Временем. Время есть буквальное после-слово ко всему на свете, и поэт, постоянно имеющий дело с самовоспроизводящейся природой языка, — первый, кто знает это. Это тождество — языка и

Времени — и есть то «третье», «новое», которое автор надеется «допонять при встрече», от которого ей «тмится», и, откладывая прозрение, она меняет регистр и включает зрение:

Через стол гляжу на крест твой
 Сколько мест — загородных, и места
 За городом! и кому же машет
 Как не нам — куст? Мест — именно наших
 И ничьих других! Весь лист! Вся хвоя!
 Мест твоих со мной (твоих с тобою).
 (Что с тобою бы и на массовку —
 Говорить?) что — мест! а месяцев-то!
 А недель! А дождевых предместий
 Без людей! А утр! А всего вместе
 И не начатого соловьями!

Поле зрения, ограниченное могильным крестом, подчеркивает заурядность — едва ли не массовость описываемого переживания; и пейзаж, который это поле содержит, в свою очередь пейзаж заурядный, классовый. Нейтральность, полуплегалность пригорода — типичный фон цветаяевской любовной лирики. В «Новогоднем» Цветаева обращается к нему не столько снижения тона ради, то есть по соображениям антиромантическим, сколько уже по инерции, порожденной поэмами («Горы» и «Конца»). В сущности, безадресность и безрадостность пригорода уже потому универсальны, что соответствуют промежуточному положению самого человека между полной искусственностью (городом) и полной естественностью (природы). Во всяком случае, автор нового времени, если он хочет быть убедительным, не выберет в качестве задника для своей драмы или пасторали ни небоскреб, ни лужайку. Это будет скорее всего место за городом со всеми тремя значениями, вкладываемыми Цветаевой в слово «место»: станции («сколько мест — загородных»), местности — пространства («и места / за городом») и облюбованного участка («Мест — именно наших / и ничьих других!»). Последнее значение еще и уточняется восклицаниями «Весь лист! Вся хвоя!», в которых мы видим горожанина на природе в поисках места, чтоб лечь или сесть. Стилистически это все еще причитание, но деревенская, крестьянская дикция уже уступает здесь дикции «фабричных» — и словарем, и интонацией:

(Что с тобою бы и на массовку —
 Говорить?) что — мест! а месяцев-то!

Конечно, идея массовки объясняется многогранностью (многоликостью) Рильке, присутствующего для автора во всех и во всем. И конечно же это сама Цветаева слышит «места» в «месяцах». Но простонародность этой идиомы — «говорения» на массовках и «месяцев-то», выкрикнутое кем-то «из необразованных», сообщают физиономии героини несколько более общее выражение, нежели предусматривается жанром стихотворения. Цветаева делает это не из соображений демократических, не для того, чтобы расширить свою аудиторию (этим она никогда не грешила), но и не камуфляжа ради, — дабы оградить себя от чересчур настырных специалистов по подноготной. Она прибегает к этим «речевым маскам» исключительно из целомудрия, и не столько личного, сколько профессионального: поэтического. Она просто старается снизить — а не возвысить — эффект, производимый выражением сильных чувств, эффект признания. В конце концов, не следует забывать, что она обращается к «тоже поэту». Поэтому она прибегает к монтажу — к перечислению характерных элементов, составляющих декорацию стандартной любовной сцены, — о чем мы узнаем только из последней строчки этого перечисления:

... что — мест! а месяцев-то!
 А недель! А дождевых предместий
 Без людей! А утр! А всего вместе
 И не начатого соловьями!

Но тут же, уже обозначив этими соловьями — неизбежными атрибутами стандартной любовной лирики — характер сцены и пространства, в любой точке которого эта сцена могла произойти, но не произошла, она подвергает сомнению качество своего зрения и, следственно, своей интерпретации пространства:

Верно плохо вижу, ибо в яме.
 Верно лучше видишь, ибо свыше .. —

здесь еще слышны угрызение, попреки самой себе — за неточность взгляда? душевного движения? слова в письме? но ее возможная аберрация, как и *его* серафическая зоркость, уравниваются строкой, которая потрясает именно своей банальностью — это еще один «воплъ женщин всех времен»:

Ничего у нас с тобой не вышло

Еще более душераздирающим этот вопль делает выполняемая им роль признания. Это не просто «да», облеченное в форму «нет» обстоятельствами или манерностью героини; это «нет», опережающее и отменяющее любую возможность «да», и поэтому жаждущее быть произнесенным «да» вцепляется в самое отрицание как единственно доступную форму существования. Иными словами, «ничего у нас с тобой не вышло» формулирует тему через ее отрицание, и смысловое ударение падает на «не вышло». Но никакой вопль не является последним; и, возможно, именно потому, что стихотворение (как и описываемая в нем ситуация) здесь драматургически кончается, верная себе Цветаева переносит центр тяжести с «не вышло» на «ничего». Ибо «ничего» определяет ее и адресата в большей степени, чем что-либо из того, что могло когда-нибудь «выйти»:

До того, так чисто и так просто
Ничего, так по плечу и росту
Нам — что и перечислять не надо.
Ничего, кроме — не жди из ряда
Выходящего...

«До того, так чисто и так просто» прочитывается, на первый взгляд, как развивающее эмоционально предыдущую — «Ничего у нас с тобой не вышло» — строку, ибо действительно не-(вне-)событийный характер отношений двух этих поэтов граничит с девственностью. Но на самом деле эти «чисто» и особенно «просто» относятся к «ничего», и наивность двух этих наречий, сужая грамматическую роль комментируемого ими слова до существительного, лишь усиливает создаваемый посредством «ничего» вакуум. Ибо «ничего» есть имя не-существительное, и именно в этом качестве оно интересует здесь Цветаеву — в качестве, которое так им обоем — ей и ее герою — впору, «по плечу и росту». То есть в качестве, возникающем при переходе «ничего» (не-имения) в «ничто» (не-существование). Это «ничего» — абсолютное, не поддающееся описанию, неразменное — ни на какие реалии, ни на какую конкретность; это такая степень не-имения и не-обладания, когда зависть вызывает

...даже смертнику в колодцах
Памятью дарованное: 'рот тот!

Возможно, что столь повышенный интерес к «ничего» продиктован бессознательным переводом всей конструкции на немецкий (где «ничего» гораздо активнее грамматически). Скорее же всего он иллюстрирует стремление автора избавить конструкцию «Ничего у нас с тобой не вышло» от привкуса клише, в ней ошутимого. Или чтоб увеличить этот привкус, чтоб разогнать клише до размеров истины, в нем заключенной. В любом случае элемент одомашнивания ситуации, содержащийся в этой фразе, сильно в результате данного интереса сокращается, и читатель догадывается, что все предложение, а может быть, и все стихотворение написано ради возможности выговорить эту простую формулу: «...у нас с тобой...»

Остальные 58 строк стихотворения — большой постскрипtum, послесловие, диктуемое энергией разогнавшейся стихотворной массы, то есть остающимся языком, остающимся — после стихотворения — Временем. Действующая все время на слух Цветаева дважды пытается закончить «Новогоднее» подобием финального аккорда. Сначала в:

С незастроеннейшей из окраин —
С новым местом, Райнер, светом, Райнер!
С доказуемости мысом крайним —
С новым оком, Райнер, слухом, Райнер! —

где само имя поэта играет уже чисто музыкальную роль (каковую, прежде всего, и играет имя — любое), словно услышанное в первый раз и поэтому повторяемое. Или: повторяемое, ибо произносимое в последний раз. Но избыточная восклицательность строфы находится в слишком большой зависимости от размера, чтобы принести разрешение; скорее строфа эта требует гармонического, если не дидактического, развития. И Цветаева предпринимает еще одну попытку, меняя размер, чтобы освободиться от метрической инерции:

Все тебе помехой
Было: страсть и друг.
С новым звуком, Эхо!
С новым эхом, Звук!

Но переход с пятистопника на трехстопник и с парной рифмы на чередующуюся, да еще и с женской на мужскую в четных строках создает пусть и желаемое, но слишком уж очевидное ощущение отрывистости, жесткости. Жесткость эта и связанная с ней внешняя афористичность создают впечатление, будто автор является хозяином положения — что никак не соответствует действительности. Ритмический контраст этой строфы настолько резок, что она не столько выполняет намечен-

ную для нее автором роль — завершить стихотворение, — сколько напоминает о его прерванной музыке. Как бы отброшенное этой строфой назад, «Новогоднее» некоторое время медлит и потом как поток, сметающий неустойчивую плотину, или как тема, прерванная каденцией, возвращается назад во всей полноте своего звучания. И действительно, в следующих за этой строфой первых строках заключительной части стихотворения голос поэта звучит с поразительной раскрепощенностью; лиризм этих строк — лиризм чистый, не связанный ни тематическим развитием (ибо тематически пассаж этот — эхо предыдущих), ни даже соображениями насчет самого адресата. Это — голос, высвобождающийся из самого стихотворения, почти отделившийся от текста:

Сколько раз на школьном табурете
 Что за горы там? Какие реки?
 Хороши ландшафты без туристов?
 Не ошиблась, Райнер, — рай — гористый,
 Грозовой? Не притязаний вдовьих —
 Не один ведь рай, над ним другой ведь
 Рай? Террасами? Сужу по Татрам —
 Рай не может не амфитеатром
 Быть. (А занавес над кем-то спущен...)
 Не ошиблась, Райнер, Бог — *растущий*
 Баобаб? Не Золотой Людовик —
 Не один ведь Бог? Над ним другой ведь
 Бог?

Это снова голос отрочества, прозрения, «тринадцати, в Новодевечьем», верней: памяти об оных сквозь мутнящую их призму зрелости. Ни в «Волшебном фонаре», ни в «Вечернем альбоме» эта нота не звучала, за исключением тех стихотворений, где речь шла о разлуке и где слышна — немедленно! — будущая Цветаева, точно «И манит страсть к разрывам» было сказано про нее. «Сколько раз на школьном табурете» — это как бы кивок сбывшегося пророчества беспомощности трагических нот первых ее книг, где дневниковая сентиментальность и банальность уже тем оправданы, что избавили от своего присутствия ее будущее. Тем более что эта отроческая ирония («Что за горы там?..», «ландшафты без туристов» и т. п.) — ирония вообще — оборачивается и в зрелости единственно возможной формой соединения слов, когда речь идет о «том свете» как о станции назначения великого и любимого поэта: когда речь идет о конкретной смерти.

При всей своей жесткости (лучше: юношеской жестокости) ирония эта обладает далеко не юношеской логикой. «Не притязаний вдовьих — не один ведь рай?..» — вопрошает голос, при всей своей ломкости допускающий возможность иной точки зрения: богомольной, старушечьей, вдовьей. Выбрав слово «вдовьей», скорей всего бес-(под-)сознательно, Цветаева тотчас осознает их, переходя на тон почти сардонический: «...над ним другой ведь / Рай? Террасами? Сужу по Татрам...» И тут, где, казалось бы, уже неминуема открытая издевка, вдруг раздается это грандиозное, сводящее в одну строку все усилия Алигьери:

Рай не может не амфитеатром
 Быть. .

Чешские Татры, о которых в Беллеву у Цветаевой были все основания вспоминать с нежностью, дали ироническое «Террасами?», но и потребовали к себе рифмы. Это типичный пример организующей роли языка по отношению к опыту: роли, по сути просветительской. Безусловно, идея рая как театра возникла в стихотворении раньше («приблукотья на обод ложи»), но там она преподносилась в индивидуальном и посему трагическом ключе. Подготовленный же иронической интонацией «амфитеатр» снимает всякую эмоциональную окраску и сообщает образу гигантский, массовый (вне-индивидуальный) масштаб. Речь идет уже не о Рильке, даже не о Рае. Ибо «амфитеатр», наряду с современным, сугубо техническим значением вызывает прежде всего ассоциации античные и как бы вневременные.

Опасаясь не столько чересчур сильного впечатления, которое эта строка может произвести, сколько авторской гордыни, удачами подобной этой питаемой, Цветаева сознательно сбрасывает ее в банальность ложно-значительного («А занавес над кем-то спущен...») — сводя «амфитеатр» к «театру». Иными словами, банальность здесь используется как одно из средств ее арсенала, обеспечивающее эхо юношеской сентиментальности ранних стихов, необходимое для продолжения речи в ключе, заданном в «Сколько раз на школьном табурете...»:

Не ошиблась, Райнер, Бог — *растущий*
 Баобаб? Не Золотой Людовик —
 Не один ведь Бог? Над ним другой ведь
 Бог?

«Не ошиблась, Райнер?..» повторяется как припев, ибо — так думала, по крайней мере ребенком, но еще и потому, что повторение фразы — плод отчаяния. И чем очевидней наивность («Бог — растущий / Баобаб?») вопроса, тем ощутимей — как часто с детскими «А почему?» — близость истерики, закипающей в горле говорящего. В то же время речь идет не об атеизме или религиозных исканиях, но об уже упоминавшейся ранее поэтической версии вечной жизни, имеющей больше общего с космогонией, нежели со стандартной теологией. И Цветаева задает все эти вопросы Рильке вовсе не в ожидании ответа, но чтобы «изложить программу» (и чем терминология незатейливей; тем лучше). Более того, ответ ей известен — уже хотя бы потому, что ей известна постоянная возможность — даже неизбежность — следующего вопроса.

Подлинным двигателем речи, повторим, является самый язык, освобожденная стихотворная масса, перемалывающая тему и почти буквально всплескивающая, когда она натывается на рифму или на образ. Единственный вопрос, который Цветаева здесь задает со смыслом, то есть ответ на который ей неизвестен, это следующий за «Над ним другой ведь / Бог?»:

Как пишется на новом месте?

Собственно, это не столько вопрос, сколько указание, как в нотной грамоте, четвертой и бемолем лиризма, вынесение их в чисто умозрительное, лишенное нотной разлинованности пространство: в над-голосовое существование. Непереносимость и непроизносимость этой высоты сказывается в повторном уже употреблении слегка саркастического «на новом месте», во вновь надеваемой маске интервьюера. Ответ, однако, превосходит вопрос уже самим своим тембром и приближается настолько вплотную к сути дела —

Впрочем, *есть ты* — *есть стих* — сам и *есть ты* —
Стих! —

что угрожающий сорваться голос требует немедленного снижения. Снижение это осуществляется в следующей строке, но средствами настолько знакомыми, что эффект прямо противоположен предполагаемому: предполагалась ирония — получилась трагедия:

Как пишется в хорошей жисти. .

Потому что сам — он — Рильке — стих, «пишется» оборачивается эвфемизмом существования вообще (чем слово это в действительности и является), и «в хорошей жисти» вместо снисходительного становится сострадательным. Не удовлетворяясь этим, Цветаева усугубляет картину «хорошей жисти» отсутствием деталей, присущих жизни несовершенной, то есть земной (разработанной позже в цикле «Стоп»):

Как пишется в хорошей жисти
Без стола для локтя, лба для кисти
(Горсти)

Взаимная необходимость этих деталей возводит их отсутствие в степень отсутствия взаимного, то есть равнозначного отсутствию буквальному, физическому уничтожению не только следствия, но и причины — что является если не одним из возможных определений, то, во всяком случае, одним из наиболее определенных последствий смерти. В этих двух строках Цветаева дает наиболее емкую формулу «того света», сообщая не-существованию характер активного процесса. Отсутствие привычных (первичных в понимании бытия как писания) признаков бытия не приравнивается к небытию, но превосходит бытие своей осязаемостью. Во всяком случае, именно этот эффект — отрицательной осязаемости — достигается автором при уточнении «кисти (Горсти)». Отсутствие в конечном счете есть вульгарный вариант отрешенности: психологически оно синонимично присутствию в некоем другом месте и, таким образом, расширяет понятие бытия. В свою очередь чем значительнее отсутствующий объект, тем больше признаков его существования; это особенно очевидно в случае с поэтом, «признаками» которого является весь описанный (осознанный) им феноменальный и умозрительный мир. Здесь и берет свое начало поэтическая версия «вечной жизни». Более того, разница между языком (искусством) и действительностью состоит, в частности, в том, что любое перечисление того, чего — уже или еще — нет, есть вполне самостоятельная реальность. Поэтому небытие, то есть смерть, целиком и полностью состоящее из отсутствия, есть не что иное, как продолжение языка:

Райнер, радуешься новым рифмам?
Ибо правильно толкуя слово
Рифма — что — как не — целый ряд новых
Рифм — Смерть?

Если учесть, что речь идет о поэте, обращавшемся к теме смерти и бытия вообще с большой регулярностью, то лингвистическая реальность «того света» материализуется в часть речи, в грамматическое время. И именно в его пользу автор «Новогоднего» отказывается от настоящего.

Эта схоластика — схоластика горя. Чем мощнее мышление индивидуума, тем меньший комфорт оно обеспечивает своему обладателю в случае той или иной трагедии. Горе как переживание состоит из двух элементов: эмоционального и рационального. Особенность их взаимосвязанности в случае сильно развитого аналитического аппарата в том, что последний не облегчает, но ухудшает положение первого, то есть эмоций. В этих случаях вместо союзника и утешителя разум индивидуума превращается в его врага и расширяет радиус трагедии до размеров, его обладателем не предполагавшихся. Так порой рассудок больного вместо картин исцеления рисует сцену неизбежной гибели, выводя этим из строя защитные механизмы. Отличие процесса творческого от клинического в том, однако, что ни материалу (в данном случае языку), из которого произведение создается, ни совести его создателя не дашь снотворного. В литературном произведении, во всяком случае, автор всегда прислушивается к тому, что говорит ему пугающий голос разума.

Эмоциональная сторона горя, составляющего содержание «Новогоднего», выражена прежде всего пластически — в метрике этого стихотворения, в его цезурах, трохеических зачинах строк, в принципе парной рифмы, увеличивающей возможности эмоциональной адекватности в стихе. Рациональная — в семантике стихотворения, которая настолько очевидно доминирует в тексте, что вполне может быть объектом самостоятельного исследования. Разумеется, подобное членение — будь оно даже возможно — лишено практического смысла; но если на мгновения отстраниться от «Новогоднего» и взглянуть на него как бы извне, станет заметно, что в плане «чистой мысли» в стихотворении происходит больше событий, чем в чисто-стиховом плане. Переводя доступно таким образом глазу на простой язык — возникает впечатление, что чувства автора бросились под тяжестью на них обрушившегося искать утешения у рассудка, который завел их чрезвычайно далеко, ибо самому рассудку искать утешения не у кого. За исключением, естественно, языка — означавшего возврат к беспомощности чувств. Чем рациональнее, иными словами, тем хуже — во всяком случае, для автора.

Именно благодаря своему разрушительному рационализму «Новогоднее» выпадает из русской поэтической традиции, предпочитающей решать проблемы если не обязательно в позитивном, то по крайней мере в утешительном ключе. Зная адресата стихотворения, можно было бы предположить, что последовательность цветаяевской логики в «Новогоднем» — дань легендарной педантичности немецкого (и вообще западного) мышления, — дань тем легче выплачиваемая, что «русской родней немецкий». В этом, возможно, есть доля справедливости; но для цветаяевского творчества рационализм «Новогоднего» несколько не уникален — ровно наоборот: характерен. Единственное, что, пожалуй, отличает «Новогоднее» от стихотворений того же периода, это развернутость аргументации, в то время как, например, в «Поэме конца» или в «Крысолове» мы имеем дело с обратным явлением — с почти иероглифической конденсацией доводов. (Возможно даже, что аргументация «Новогоднего» столь подробна потому, что русский был немного знаком Рильке, и, как бы опасаясь недоразумений, особенно частых при сниженном языковом барьере, Цветаева сознательно «разжевывает» свои мысли. В конце концов, письмо это — последнее, надо сказать все, пока он еще не «совсем» ушел, то есть пока не наступило забвение, пока не стала естественной жизнь без Рильке.) В любом случае, однако, мы сталкиваемся с этим разрушительным свойством цветаяевской логики, являющейся первым признаком ее авторства.

Пожалуй, резоннее было бы сказать, что «Новогоднее» не выпадает из русской поэтической традиции, но расширяет ее. Ибо стихотворение это — «национальное по форме, цветаяевское по содержанию» — раздвигает, лучше: уточняет понимание «национального». Цветаяевское мышление уникально только для русской поэзии: для русского сознания оно — естественно и даже предопределено синтаксисом. Литература, однако, всегда отстает от индивидуального опыта, ибо возникает в результате оного. Кроме того, русская поэтическая традиция всегда чурается безутешности — и не столько из-за возможности истерики, в безутешности заложенной, сколько вследствие православной инерции оправдания миропорядка (любыми, предпочтительно метафизическими, средствами). Цветаева же — поэт бескомпромиссный и в высшей степени некомфортный. Мир и многие вещи, в нем происходящие, чрезвычайно часто лишены для нее какого бы то ни было оправдания, включая теологическое. Ибо искусство — вещь более древняя и универсальная, чем любая вера, с которой оно вступает в брак, плодит детей — но с которой не умирает. Суд искусства — суд более требовательный, чем Страшный. Русская поэтическая традиция ко времени написания «Новогоднего» продолжала быть обуреваемая чувствами к православному варианту Христианства, с которым она только триста лет как познакомилась. Естественно, что на таком фоне поэт, выкрикивающий: «не один ведь Бог? Над ним другой ведь / Бог?» —

оказывается отщепенцем. В биографии Цветаевой последнее обстоятельство сыграло едва ли не большую роль, чем Гражданская война.

Одним из основных принципов искусства является рассмотрение явления невооруженным глазом, вне контекста и без посредников. «Новогоднее» по сути есть тет-а-тет человека с вечностью или — что еще хуже — с идеей вечности. Христианский вариант вечности употреблен Цветаевой здесь не только терминологически. Даже если бы она была атеисткой, «тот свет» был бы наделен для нее конкретным церковным значением: ибо, будучи вправе сомневаться в загробной жизни для самого себя, человек менее охотно отказывает в подобной перспективе тому, кого он любил. Кроме того, Цветаева должна была настаивать на «Рае», исходя из одного уже — столь свойственного ей — отрицания очевидностей.

Поэт — это тот, для кого всякое слово не конец, а начало мысли, кто, произнеся «Рай» или «тот свет», мысленно должен сделать следующий шаг и подобрать к ним рифму. Так возникают «край» и «отсвет» и так продлевается существование тех, чья жизнь прекратилась.

Глядя туда, вверх, в то грамматическое время и в грамматическое же место, где «он» есть хотя бы уже потому, что тут — «его» нет, Цветаева заканчивает «Новогоднее» так же, как заканчиваются все письма, — адресом и именем адресата:

— Чтoб не залили, держу ладонью. —
 Поверх Роны и поверх Raogn'a,
 Поверх явной и сплошной разлуки
 Райнеру — Мария — Рильке — в руки.

«Чтoб не залили» — дожди? разлившиеся реки (Рона)? собственные слезы? Скорее всего последнее, ибо обычно Цветаева опускает подлежащее только в случае само собой разумеющегося — а что может разуться само собой более при прощании, чем слезы, могущие размывать имя адресата, тщательно выписываемое в конце — точно химическим карандашом по сырому. «Держу ладонью» — жест, если взглянуть со стороны, жертвенный и — естественно — выше слез. «Поверх Роны», вытекающей из Женевского озера, над которым Рильке жил в санатории, то есть почти над его бывшим адресом; «и поверх Raogn'a», где он похоронен, то есть над его настоящим адресом. Замечательно, что Цветаева сливает оба названия акустически, передавая их последовательность в судьбе Рильке. «Поверх явной и сплошной разлуки», ощущение которой усиливается от поименования места, где находится могила, о которой ранее в стихотворении сказано, что она — место, где поэт — нет. И, наконец, имя адресата, проставленное на конверте полностью, да еще и с указанием «в руки» — как, наверное, надписывались и предыдущие письма. (Для современного читателя добавим, что «в руки» или «в собственные руки» было стандартной формой — такой же, как нынешнее «лично».) Последняя строчка эта была бы абсолютно прозвической (прочтя ее, почтальон дернется к велосипеду), если бы не самое имя поэта, частично ответственное за предыдущее «сам и есть ты — / Стих!». Помимо возможного эффекта на почтальона, эта строчка возвращает и автора и читателя к тому, с чего любовь к этому поэту началась. Главное же в ней, как и во всем стихотворении, — стремление удержать — хотя бы одним только голосом, выкликающим имя, — человека от небытия; настоять, вопреки очевидности, на его полном имени, сиречь присутствии, физическое ощущение которого дополняется указанием «в руки».

Эмоционально и мелодически эта последняя строфа производит впечатление голоса, прорвавшегося сквозь слезы — ими очищенного — оторвавшегося от них. Во всяком случае, при чтении ее вслух перехватывает горло. Возможно, это происходит потому, что добавить что-либо к сказанному человеку (читателю, автору ли) нечего, взять выше нотой — не по силам. Изящная словесность, помимо своих многочисленных функций, свидетельствует о вокальных и нравственных возможностях человека как вида — хотя бы уже потому, что она их исчерпывает. Для всегда работавшей на голосовом пределе Цветаевой «Новогоднее» явилось возможностью сочетания двух требующих наибольшего возвышения голоса жанров: любовной лирики и надгробного плача. Паразитально, что в их полемике последнее слово принадлежит первому: «в руки».

Печатается по тексту:
 Марина Цветаева. Стихотворения
 и поэмы в пяти томах. Том 1.
 Нью-Йорк. 1980

Ю. СТЕПАНЧУК

*

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Наше развитие — в японских координатах

Как-то в японской газете «Джапан таймс» я обратил внимание на выразительный рисунок: маленький человечек с раскосыми глазами восседает на куче денег. С гордостью и удивлением взирал он на обступивших его людей, которые, протягивая к нему руки, просят: «Дай! Дай!» Это представители разных континентов. Лица у них то белые, то смуглые, то совсем темные, волосы тоже на все фасоны: то американским ежиком, то по-африкански курчавые.

Рисунок этот сопровождал статью о финансовом положении Японии, о том, что она стала главным кредитором в мире. Превращение Золушки в принцессу для нее самой оказалось более неожиданным, чем для окружающих.

Весь мир, особенно в последние годы, оживленно обсуждает японский феномен, пытается разгадать секреты столь быстрого развития страны. Восторги сменяются обвинениями. Диапазон мнений очень широк. Не сразу найдешь ответ на вопрос: как могла Япония, разрушенная и деморализованная второй мировой войной, превратиться в могущественную державу?

А какой мудрец мог предсказать, что горная страна, расположенная на островах, изрезанных заливами и проливами, посвятит себя, свои усилия и ресурсы развитию автомобильной промышленности? Это ведь не зонтики, не часы или фотоаппараты.

Для автомобилей нужна сталь, для стали руда и уголь. Автомобиль — синтез многих производств: машиностроения и электроники, химии и нефтепереработки.

Но главное — это детище американских пространств, шоссежных дорог по три-четыре полосы в каждую сторону, это продукт традиций, которые уходят корнями в начало нашего столетия.

При чем здесь Япония? Однако сейчас это одна из ключевых отраслей японской экономики. Она дает 30 процентов продукции машиностроения страны и 26 процентов экспорта. Это отрасль, охватывающая очень большую сферу производства. Пять гигантов японского автомобилестроения «Тойота», «Ниссан», «Хонда», «Мазда» и «Мицубиси» объединяют работу тысяч средних и мелких фирм. Совместно со сферой продаж, шинным производством, заправками и обслуживанием в автомобильном деле Японии занято свыше пяти миллионов человек.

В 1986 году японцами было произведено 12 260 тысяч автомобилей. И ведь это ни много ни мало 30 процентов мирового производства! Можно сказать, что каждая третья машина, изготовленная в мире, дело рук японских рабочих. Миллионы японских автомобилей экспортируются в десятки стран мира, они обеспечиваются обслуживанием и запасными частями. А ведь японцы начинали развивать эту отрасль после войны практически с нуля!

С осени 1985 года наступил период, который по-японски называют эндека. Он характерен стабильно быстрым повышением курса иены в сравнении с долларом. За один американский доллар платили 240 иен, сейчас доллар стоит всего 125—130 иен.

Японские экспортеры должны были бы попасть в крайне трудное положение. Американцы платят за японские товары в долларах. При переводе выручки в японские иены экспортеры и изготовители получают в иенах сумму в полтора-два раза меньшую, чем до повышения курса.

Цена на японские товары в долларовом выражении должна была бы возрасти, конкуренты из других стран да и сами американские изготовители могли бы вытеснить с рынка японские товары. Без повышения цен на рынках США и других стран издержки производства не покрыть. Повышение же цен приведет к вытеснению конкурентами японской продукции с мировых рынков. Кажется, неразрешимая задача. Банкротство должно было следовать одно за другим. Особенно если учесть экспортный характер японской промышленности.

Снижение экспорта и повышение за счет дешевого доллара конкурентоспособности амери-

канских товаров должно было решить проблему дефицита американского баланса. Ведь Соединенные Штаты ввозят вдвое больше японских товаров, чем экспортируют своей продукции в Японию. В теории все так, но в жизни это выглядит несколько иначе.

Мой собеседник господин Сугеми работает в фирме «Мицуи» в департаменте серийных машин. Его секция занимается экспортом машин в Советский Союз и другие восточноевропейские страны. Я его давно знаю. Мы встречались в Москве, и вот довелось встретиться в Японии. Разговор начинаем с чашки кофе. Сугеми-сан усаживается на диван.

— Ну как самочувствие? — спрашиваю я.

Самочувствие обычно у него неплохое. Ему уже больше шестидесяти, но выглядит он моложе. А главное, он обладает активным, живым характером. С ним приятно поговорить, а иногда и пошутить. Выход на пенсию ему пока не угрожает. Да, видимо, и не очень его беспокоит. Господину Сугеми есть на что прожить оставшиеся годы, и он знает, чем их занять.

— Хорошо, — говорит он и кивает головой в знак благодарности за внимание.

— А как дела?

— Сложно, — говорит он, — мало новых запросов на поставку оборудования.... Курс иены повысился...

— Да, повысился, — говорю я, — скоро он станет таким высоким, что японцы не будут знать, что и делать с долларами, все доллары придут к вам...

— Нет-нет, — Сугеми-сан улыбается.

— Точно, — продолжаю шуточный разговор, — скоро вы долларами будете оклеивать свои квартиры, а на Гинзе у больших универмагов никто не наклонится поднять доллар, если какой-нибудь американец обронит его.

Сугеми-сан по-детски заразительно смеется, машет руками, ему приятно.

— Нет, — говорит он, — так не будет...

— Почему? Думаете, кто-то туда нагнется и подберет доллар? Ну уж это от жадности, или для коллекции, либо просто для порядка, чтобы поддержать чистоту.

Сугеми-сан все еще улыбается.

— Долларов будет меньше, — говорит он, — сейчас оживление на внутреннем рынке. Мы экспортировали шестьдесят пять процентов производства строительных машин, сейчас половина продаж идет на экспорт, половина японским заказчикам... С экспортом стало трудновато...

— Конечно, Сугеми-сан, вы знаете формулу Т—Д—Т?

— Как? Как?

Я беру листок со стола и пишу ему закон товарного производства, выраженный формулой товар—деньги—товар.

— Вот, — говорю я, — все по этой формуле действуют. Производят товар, продают, получают деньги и на них снова покупают товар. А у вас только одно на уме: товар—деньги! товар—деньги! Застопорилась ваша машина на деньгах. Вот почему и не посылают вам новых запросов на оборудование. У вас и оборудование и деньги. Чем с вами расплачиваться? Американцы берут у вас все в долг, а мы не хотим. Долги ведь нужно отдавать...

Шутивная фраза о том, что японцы долларами будут оклеивать квартиры, не так уж далека от истины. Положительное сальдо торгового и платежного балансов способствовало накоплению в Японии огромных финансовых средств. В феврале 1988 года общая сумма резервов Японии в иностранной валюте и золоте составляла 82,3 миллиарда американских долларов.

Были ли другие страны, которые делали деньги на товарах, а затем деньги на деньгах? В свое время Англия являлась международным банкиром, затем эта роль перешла к США. А сейчас настала очередь Японии. Она самый крупный международный кредитор. За кредитами все больше едут не в Лондон и Вашингтон, а в Токио.

Японцы могут не только продать свои товары в любой стране мира, они могут и купить лучшее, что в этом мире есть. Лучшие технологии, лучшее оборудование, одежду, продовольствие и произведения искусства. Ведь проблем с валютой у них нет, проблема в том, как лучше ее использовать. Эх! Как говорят, нам бы эти проблемы!

И не только мы хотели бы обменять наши проблемы на японские. Ныне делегации многих стран спешат на далекие сказочные острова для изучения японского опыта. Ну а наши делегации еще и для того, чтобы на свои командировочные приобрести видики, телеки да двухкассетники. Весь мир смотрит в японское зеркало. Что же в этом зеркале можем увидеть мы?

Скоростной пассажирский поезд прошел через длинный туннель, за ним стали мелькать за окном деревушки и поля, на которых подготавливали почву к предстоящей посадке риса.

— Да, — говорит Сугеми-сан, — мы не должны отказываться от собственного риса. Я помню

голод, который наступил после окончания второй мировой войны. Все лежало в развалинах, люди бродили, не имея пристанища. Моральная подавленность, безнадежность охватили всю страну. И все же самое страшное — невозможность накормить людей. Панические предсказания предрекали, что десять миллионов человек умрут от голода. Отношения с внешним миром были прерваны, промышленность практически прекратила выпуск продукции из-за отсутствия сырьевых материалов. В сорок седьмом году промышленное производство составило только 37 процентов довоенного уровня. Инфляция опять стала главным действующим лицом в городах и селах страны. Дороговизна правила бал, а японцы плясали под ее музыку...

Поезд набирал скорость на открытых ровных участках. Города встречали его пестрой рекламой на высотных домах причудливой, разнообразной, даже хаотичной архитектуры. Фантазия владельцев домов и строителей была совершенно непредсказуемой и буйной. Высотные прямоугольники домов сменялись волнистыми стенами, обращенными к солнцу. Города большие и малые светились красивыми витринами, невероятным обилием всевозможных товаров. Добротно выглядели и деревни. Двух-трехэтажные дома-усадебки, легковые машины, трактора, экскаваторы, парники, поля, перетянутые блестящими на солнце рядами лент, предназначенных для отпугивания птиц. Богатая страна. Как-то не воспринимались слова Сугеми-сан о бедственном положении Японии после второй мировой войны.

Вокзал в Хиросиме встретил нас тем же, чем и вокзалы других японских городов: обилием информации, суетой пассажиров, самыми разнообразными магазинчиками с сувенирами, небольшими ресторанами и, главное, чистотой. И когда они только убирают? Или вообще не сорят? Куда девается пыль, грязь? Мне подумалось, что на вокзале в Хиросиме так чисто, как не у всякой хозяйки дома. Под стать вокзалу и пассажиры. Опрятные, миниатюрные женщины. Женщины... они везде и повсюду держатся на высоте. Но мужчины... Ни одного, который не был бы в начищенных до блеска ботинках!

На привокзальной площади никакого труда взять такси. Сейчас это огромный город, промышленный и туристский центр. Людей привлекает сюда и город, и зеленые горы вокруг него, и живописные заливы, тихие бухты, красивые храмы...

А вот и цель нашей остановки в Хиросиме. Прежде чем пойти в музей, мы прошлись по парку. В этот субботний день здесь было много людей, приехавших, чтобы увидеть знакомый по фотографиям памятник жертвам взрыва атомной бомбы, полуразрушенный купол церкви, не восстановленный в назидание потомкам. В парке чувствовалось также оживление, связанное с весенним временем цветения сакуры. Так же как и в парке Уэно в Токио, под деревьями были разложены яркие квадраты синтетической ткани. Самые лучшие места под высокими раскидистыми деревьями были заняты веселыми компаниями.

Война смотрела на нас со стен музея. Фотографии, образцы расплавленного металла, тень человека, испарившегося в эпицентре взрыва. Обезумевшие от боли и от непонимания того, что с ними происходит, люди. Остановившиеся во время взрыва и навсегда запечатлевшие этот миг часы. Фотография лошади с облезшей кожей. Врачи, пытающиеся хоть как-то облегчить страдания людей и бессильные помочь страдающим. Эпицентр взрыва, где городские кварталы превращены в груды камней. И еще и еще люди, подавленные свалившимся на них с неба горем.

Всего лишь стена отделяет одно время от другого. Здесь страдания, а вне этих стен — до неузнаваемости изменившаяся жизнь. Измученные войной, потрясенные взрывом несчастные жертвы, и те японцы, которых мы видим сегодня на улицах за стеной музея, — быстрые, энергичные, встречающие под деревьями цветущей сакуры весну...

Жизнь тех и других разделена не только бетонной стеной, но и временем длиною в сорок с лишним лет. Разница колоссальная в положении страны и в жизни японцев. Интересно не только констатировать разницу. Интересно узнать, как они в эти годы меняли себя и свою страну.

Это была гонка. Они не провозглашали цель: догнать и перегнать. Они догоняли упорно, быстро, энергично. Догоняли страстно, до самозабвения. Дельцы были предприимчивыми, смелыми, рабочие трудолюбивыми. Жесткие конфликты между ними не помешали делать общее дело. Гонка так гонка. В ней участвовали все.

Состояние Японии в первые послевоенные годы напоминало то, что было в период прихода черных кораблей Перри. Изоляция от внешнего мира была полной. Страна, потерявшая в войне 40 процентов своего материального состояния и не имеющая источников сырья, была отрезана от внешних сырьевых рынков. Уровень производства продукции только в 1948 году достиг довоенного 1930 года. Все торговые операции проводились под контролем оккупационных властей.

Агентство по внешней торговле действовало по инструкциям американской администрации. Оно продавало товары, сохранившиеся на японских складах, и покупало то, что ввозилось в страну по усмотрению американцев. Это же агентство продавало товары местным японским торговцам. Только постепенно в структуре экспорта стали появляться некоторые товары легкой промышлен-

ности. Нехватка товаров и материалов была всеобщей. Множественность курсов иены по отношению к доллару свидетельствовала о расстроенности финансовой системы.

Положение было критическим. Не зря говорилось о том, что десять миллионов японцев могут умереть от голода. Отдельные предприятия возобновляли работу благодаря американской финансовой помощи. Все приходилось начинать с нуля.

Направление, выбранное для развития, может показаться парадоксальным: первое — прекратить программу субсидирования промышленности, взяв тем самым инфляцию под контроль; второе — должна быть прекращена зависимость развития предприятия от внешних источников финансирования; третье — принимается решение установить твердый курс иены к доллару.

Эти меры создали суровые условия для тех отраслей промышленности, которые субсидировались из иностранных или правительственных источников финансирования. Положение усугублялось и тем, что в результате разделения крупных монополистических объединений — «Мицубиси», «Мицубиси» и «Сумитомо» прервались традиционные связи с иностранными поставщиками сырья товаров. Приходилось и здесь все начинать сначала.

Программа развития, поставившая на грань катастрофы многочисленные, в том числе и вновь образованные торговые фирмы, преследовала цель остановить рост цен. Банкротство многих фирм представлялось меньшим злом, чем инфляция. Уменьшение спроса на товары привело к спаду. Не было уверенности, что японская экономика выдержит резкое ухудшение конъюнктуры.

Увеличение спроса со стороны американцев, в связи с начавшейся в 1950 году войной в Корее, спасло многие японские фирмы. Бум продолжался в течение целого года. Затем снова наступил спад.

Нужно было принимать решение о долгосрочном развитии экономики страны, ее принципиальной ориентации. Рассматривались две определяющие возможности: построение послевоенной экономики путем максимального развития экспорта и внешнейторговой экспансии и вторая возможность — ориентация развития на внутренний спрос. Среди правительственных и деловых кругов победила первая концепция, но осуществить ее было нелегко.

Главное затруднение — фирмы были отрезаны от мировых рынков. Они не могли осуществлять две жизненно важных функции деятельности торговых фирм: проводить прямое исследование мировых рынков с тем, чтобы определить реальный спрос на товары, а второе — не имели информации, позволяющей достаточно полно сопоставлять предложения из разных стран на товары, которые подлежали импорту в Японию. Невозможность проводить эту работу вынуждала японские фирмы занимать оборонительную позицию в отношении иностранных конкурентов.

Экспорт в это время был крайне ограниченным. В США поставлялись текстильные изделия, рыбные консервы, морские продукты; в страны Юго-Восточной Азии — текстильные товары и каустическая сода, в Австралию — строительные материалы. Новые фирмы первые сделки осуществляли путем переписки. Это не были контракты, подписанные на здоровой основе, в результате анализа экономических условий соответствующих стран, глубокого изучения партнеров по сделкам. Здоровая основа придет позже.

Это было время первых шагов и промышленности и торговли. Затем начался бег, гонка. Период с 1953 по 1960 годы — это время восстановления экономики. Промышленность превысила уровень довоенного производства. Производство осуществлялось в основном с помощью импортного сырья на мощностях, сохранившихся во время войны. Это был успех, но японские товары, за исключением текстильных, еще не могли конкурировать с изделиями западных стран. Себестоимость японской продукции была выше, а качество ниже. В связи с этим производство товаров ориентировалось в основном на внутренний рынок.

Внутренний рынок быстро насыщался, но это не привело к спаду. В промышленности было применено сильнодействующее и крайне эффективное средство, которое впоследствии вырвало японский деловой мир во всех кризисных ситуациях. Оно называется — структурные изменения и реорганизация. Благодаря этому средству быстро повысилась конкурентоспособность японских товаров. Разрыв с западными фирмами на международных рынках таял не по дням, а по часам. Произошло то, что иногда называют «японским экономическим чудом».

Развитие Японии в период высоких темпов роста в значительной степени результат внедрения передовой технологии развитых стран. Это факт. Но как осуществлялось это внедрение? Как небольшая фирма где-нибудь на Хоккайдо или на Кюсю могла внедрить передовую технологию такой же небольшой фирмы в Брюсселе или в Чикаго или, скажем, во французском городе Лилле? Откуда японская фирма могла узнать, где какая технология применяется, при каких условиях, сколько за ту или иную техническую новинку нужно заплатить? Потребовалось собрать информацию о лучшем, что есть в технических достижениях в мире, изучить коммерческую информацию, знать юридические условия приобретения и последствия применения технических новшеств.

— И это все делала торговая компания? — спрашиваю я у Сугеми-сан.

— Конечно! Технический консультационный центр, открытый фирмой «Мицуи» в шестидесятом году, сыграл особенно важную роль. Помимо главной конторы в Токио сбором технической информации занимались отделения в Нью-Йорке, Лондоне и Дюссельдорфе. позже такие же центры открылись в Париже, Риме, некоторых городах США...

— Шпионские центры? Вот, оказывается, где настоящее лицо «Мицуи»?

— Нет... — по-серьезному воспринимает мой вопрос Сугеми, — нет. Специалисты читали технические журналы, сидели в патентных библиотеках, устанавливали деловые отношения с исследовательскими институтами и университетами, составляли обзоры применяемых технологий по отраслям промышленности. Кому запрещено все это делать? К нашим специалистам фирмы обращались сами, информировали о своих новинках.

— Ну уж прямо так и обращались, — сомневаюсь я.

— Да-да, — слегка повышает голос Сугеми-сан, — у нас не было и нет проблем получения новых технологий у других фирм. Мы ведь за них хорошо платим! Вот и весь секрет! Для продавца лицензий наши деньги были просто находкой. Конечно, он оговаривал в контракте свои права на мировых рынках сбыта. Обычно оговаривались определенные районы мира. А в целом это выгодно для обеих сторон. Но это только новшества. А сырье для металлургии? Химия? Нефтепереработка? Японцы искали и осваивали ресурсы во всем мире... У фирм была поддержка, поскольку заимствование зарубежного опыта определялось официальной политикой японского государства...

В опубликованной в 1949 году правительственной «Белой книге по технике» указывалось, что в «техническом отношении японская промышленность на 20 лет отстает от американской». Откровенное признание этого факта послужило исходной основой для принятия правильного курса лечения болезни.

В 1950 году принимается закон об иностранных инвестициях. Наиболее важным в этом законе являлись не сами инвестиции, а то, что он позволял широко использовать зарубежные лицензии и патенты.

Хисао Канамори и Дзюи Вада в книге «Япония — мировая экономическая держава» пишут: «После вступления закона в силу началась настоящая импортная гонка. За короткий срок на японскую почву были перенесены такие плоды западной технической мысли, как нейлон, транзисторные радиоприемники, телевизоры, сталепрокатные станы, а также инсектицид ДДТ, оборудование для нефтепереработки и т.д. В 1950-е годы патентно-лицензионный импорт во многом способствовал восстановлению подорванной войной японской экономики, обретению ею независимости и самостоятельности».

Говоря о шестидесятих годах, времени высоких темпов экономического роста, те же авторы отмечают: «В эпоху быстрого экономического развития оборудование, появившееся благодаря покупке зарубежных патентов и лицензий, выполняло функции опоры технического прогресса, нацеленного на массовое производство, автоматизацию, повышение качества продукции». И еще одна цитата из книги тех же авторов: «Не будет преувеличением сказать, что и импортированные в 50-е годы патенты и лицензии сыграли роль важного катализатора экономического роста».

Как все это осуществлялось на практике? Путем импорта оборудования и технологий. Торговым фирмам, прежде чем получить лицензии на импорт, требовалось доказать, что импортируемые модели изготовить в Японии невозможно. Это первое, но в этом нет ничего оригинального. Все, у кого нет денег или их очень мало, стараются покупать только самое необходимое, то, что они сами не производят.

Потом был сделан следующий шаг. Из того, что изготовлялось в других странах, требовалось отобрать лучшее. И вот здесь среди торговых компаний началась настоящая борьба за первенство. Из многого, что имелось за рубежом, выбирали самое эффективное, передовое. Лучшие конструкции машин и передовые технологии стали входить в импортные поставки. Лучшие технологии и конструкции искали по всему миру, как, впрочем, ищут и сейчас.

Для торговой фирмы — изобретение такой же товар, как все другое. Как можно скорее он должен поступить к покупателю, найти применение. Даже в том случае, если покупатель проявляет медлительность, не понимая добытого торговой фирмой новшества, она рекламирует товар, а то и создает этого покупателя с участием собственного капитала. Более того, новое изделие, товар, созданные по новой технологии, торговая же фирма обязуется донести до конечного потребителя, обеспечив производство, обслуживание, сбыт внутри и вне страны.

Торговая фирма терпеливо ждет у ворот института рождающееся изобретение, чтобы тут же подхватить его и понести дальше. У японцев это называется коммерциализацией изобретений, открытий, новых конструкций и технологий.

Коммерческое обслуживание превращает изобретение в товар, обеспечивает его реализацию. Торговая фирма, ничего не изобретая, становится не посредником, а двигателем, по нашему — толкачом, необходимым участником технического прогресса.

Даже сейчас, на рубеже 90-х годов, Япония продолжает широко использовать технологию зарубежных стран. В 1986/87 финансовом году проводились выплаты по 7679 заимствованным технологиям. Интересно, что, превратившись в мощную индустриальную и финансовую державу, Япония не уменьшила закупки технологий за границей, а даже увеличила их объем. В 1980/81 финансовом году оплачивалось на 431 технологию меньше, чем в 1987 году. Импорт новшеств осуществляется из США, Канады и Европы.

За этот же период японские фирмы увеличили продажи своих лицензий. Львиная их доля (3047 случаев из общего количества 5885) закупается фирмами из азиатских стран, увеличиваются продажи в Северную Америку и Европу.

И хотя в последние годы экспорт японских лицензий возрастает, общий баланс этой торговли остается отрицательным: Япония продолжает больше покупать продуктов интеллектуального труда, чем продавать.

В настоящее время вовлечение торговых компаний в исследования частных и государственных организаций еще больше усилилось. Организация и координация исследований и коммерциализация результатов, финансирование внедрения не обходятся без услуг торговых фирм. Особенно в условиях, когда для любой фирмы производство начинается с необходимости получить доступ к самым совершенным технологиям, имеющимся не только в Японии, но и во всем мире. Кроме того, при постоянном расширении инвестиций частными фирмами в исследования оказывается, что использовать большинство открытий на фирмах, где они были достигнуты, невозможно. Как правило, нужные для изготовителей технологии приходят извне.

Это привело к взрывному увеличению количества совместных проектов, совместных фирм, консорциумов, которые занимаются технологиями и материалами, рожденными на стыках разных теорий. Исследования приобретают межфирменный характер, переходят национальные границы, становятся международными.

Не ученые и исследователи, а коммерсанты призваны определить курс в условиях конкурирующих технологий, когда спутниковая связь соперничает с кабельной, керамика со стеклом и металлами. На торговую фирму возлагается и юридическое обслуживание при реализации изделий, страхование от возможных рисков, связанных с исследованиями: для окружающей среды, здоровья и др.

Увеличивая инвестиции в прикладные и фундаментальные исследования, японцы продолжают политику впитывания лучших знаний и достижений, имеющихся в мире. Они не стесняются учиться у кого бы то ни было даже сейчас, когда мощь их страны уже может бросить вызов США, их учителю и патрону в течение всего послевоенного развития.

Вот пример решенной чисто по-японски продовольственной проблемы. Японцы традиционно предпочитали в своем рационе рыбу. Она была главным источником протеина. Были времена, когда крестьянам вообще запрещалось есть мясо. В послевоенный период никаких запретов, конечно, не существовало, но высокая стоимость мяса и традиционная японская кухня, базирующаяся на рыбной продукции, предопределяла все большее потребление рыбы.

Японские рыбаки ловят рыбу во всех морях и океанах, фирмы импортируют ее из многих стран, но обеспечить потребности покупателей в рыбе при постоянном росте населения становилось все труднее. Введение многими странами экономических зон в местах лова рыбы, ограничение доступа в эти зоны японских рыболовных судов вынудило японцев искать какой-то новый источник протеина для обеспечения сбалансированного питания.

Поиск привел к низкокалорийному и богатому протеином продукту — бройлерам. В соответствии со сложившимися ценами килограмм мяса бройлеров составлял только половину цены свинины и около 20—25 процентов цены килограмма говядины. Таким образом, бройлерное производство давало питательный продукт, доступный по ценам всем слоям населения страны. Медики, диетологи подтвердили, что по питательности только цыплята могут сравниться с рыбой как диетический продукт потребления.

Еще шли дискуссии, публиковались статьи, а торговые фирмы уже готовы были ринуться в бой. И в этом случае речь шла не о том, чтобы по заданию какой-то сельскохозяйственной ассоциации что-то купить, именно то, что выбрала фирма, поставить какое-то оборудование и положить в карман комиссионные. Нет, имелось в виду массовое производство бройлеров, генетически улучшенных, нет способных к быстрому росту.

Но в Японии нет бройлерного производства, нет опыта, нет соответствующих исследований. И опять начинает действовать глобальная система связи японской фирмы. Масштаб предстоящего производства раскручивает деятельность фирмы на полные обороты. В этом бизнесе торговую

фирму привлекает все: объемы продаж в стране, новые каналы сбыта, длительная перспектива бизнеса. Само производство требует исследований во многих странах мира, нужны большие усилия для выбора лучших видов цыплят, лучшей технологии их выращивания. А огромные партии кормового зерна, которые нужно купить и доставить в страну?.. Все это новые объемы закупок и продаж, новые огромные суммы и, конечно, комиссионные от этих сумм! Есть из-за чего работать. Удовлетворение общественной потребности становится занятием интересным, прибыльным. Фирмам потребовалось несколько лет на решение протеиновой проблемы.

С трудом, но американские фирмы начинают понимать: им самим есть чему поучиться у японцев, своих вчерашних учеников.

В опыте развития Японии есть специфическое, присущее только этой стране. Это то, что связано с культурными и историческими традициями, что неповторимо и не переносимо в другие условия. Нужно быть японцем, чтобы, скажем, мыслить как они.

Интересное мне пришлось прочесть сообщение. Оно тоже из области исследований. Одна фирма приглашает в свой научный центр иностранцев. У президента спросили: «Зачем?» Он ответил: «Это крайне необходимо. Если у нас будут работать одни японцы, мы можем долго ждать выдающихся результатов. Японцы мыслят слишком одинаково. В одних условиях это преимущество. В данном случае — недостаток». И всё же в особенностях японского развития есть многое, что не только интересно, но и полезно для других.

Среди удивленных людей, окруживших человечка с раскосыми глазами, изображенного на рисунке, о котором шла речь выше, трудно выделить нашего соотечественника. Огромная страна, почти целый континент. У нас сколько угодно своих традиций, мы и сами удивляли и удивляем мир. Ну что нам до их компьютеров и страстей по поводу полупроводников?

Можно, конечно, прочесть, подумать или сказать: «Ну и ловкие же эти японцы, заграбастали сколько денег, да еще и утерли нос американцам...» Наши мысли не занимают сообщения об их успехах. Слово мы не соседи, а живем на разных планетах и все, что у них, никогда не может быть у нас. Даже думать об этом пустое занятие!

Ну а что увлекает самих японцев, этих тружеников и страстных поглотителей знаний? У них тоже свои проблемы. Как внезапно разбогатевший человек, эта страна не знает, как лучше использовать свои огромные финансовые ресурсы. Необыточные фантазии, будоражившие голодное послевоенное поколение, стали реальностью. Реализация провозглашенного лозунга «Экспортировать или умереть» оказалась настолько успешной, что Япония стала редкостной страной, где разрабатываются мероприятия по стимулированию импорта, принимаются добровольные решения по ограничению экспорта. Например, автомобилей в США не более 2,3 миллиона штук.

Видео и радиотехника. Здесь тоже все ясно. Японцы непревзойденные мастера. Десятки фирм, сотни наименований техники.

Итак, завоевание рынков сбыта произошло. Автомобили, телевизоры, магнитофоны, видеотехника, холодильники и прочее в том же духе — все это пройденный этап. Что же дальше? Новые поколения тоже должны о чем-то мечтать. Знания и трудолюбие увлекают конкретными очертаниями цели.

Фантазии японцев питаются, в частности, новыми строительными проектами. За рубежом они участвуют в строительстве моста через Босфор, туннеля через Ла-Манш, который уже в этом году свяжет Англию с континентом. В апреле 1988 года вступил в эксплуатацию мост, который соединит остров Сикоку с городами Хиросима и Окаяма, расположенными на главной островной территории страны. Мост прошел через внутреннее море Японии, называемое Средиземным. Оно тянется между островами Хонсю и Сикоку на протяжении 440 километров, ширина моря от 5 до 55 километров, оно усыпано живописными островками, их около тысячи. Расстояние между ними преодолевается сейчас на машине за восемь минут. Кто не спешит, может, как прежде, потратить на это час, плывя на пароходе. Мост опирается на пять островков внутреннего моря, он состоит практически из шести мостов общей длиной 12,3 километра.

Почти одновременно с мостом через японское Средиземное море строился туннель под проливом, разделяющим острова Хонсю и Хоккайдо. Подсчитано, что эта стройка окупится через 20—30 лет. Со строительством связан и такой проект, как реконструкция квартала Маруночи. Это деловой район, где свои конторы хотят иметь многие фирмы: список желающих охватывает более трехсот компаний. Земля здесь принадлежит ограниченному кругу фирм. Один из самых крупных владельцев — фирма «Мицубиси», которая и разработала проект реконструкции района. За тридцать лет здесь будет построено шестьдесят небоскребов высотой в двести метров.

Японская строительная корпорация «Симидзу констракшн» предложила более фантастический проект — построить город в океане. Для этого нужно выбрать такое место, где глубина не больше ста метров, и смонтировать круговую дамбу, состоящую из связанных между собой метал-

лических кессонов, для большей устойчивости заполненных песком. Длина дамбы 100 километров, а площадь, которую дамба отвоюет у моря, 700 квадратных километров. Это площадь, равная 23 токийским кварталам. Город рассчитан на население в два миллиона человек. Фирма предлагает разместить в будущем городе службы Организации Объединенных Наций и сделать его свободным для торговых операций и захода судов. Идея такого города вызвала и интерес и споры. Техническая осуществимость проекта подтверждается расчетами. Вызывает сомнение необычность самого проекта: город в океане!

Меня больше всего в этом проекте поразили сроки его реализации: строительство дамбы — десять лет, откачка воды из окруженного дамбой пространства — полтора года. Все строительство города в океане на два миллиона жителей предполагается завершить за шестнадцать с половиной лет. Вот это сроки! За такое время наши строители соорудят разве что мясокомбинат районного масштаба, свиноферму или дом культуры...

Вернемся, однако, в сегодняшний день. Японцы уже заканчивают сооружение транспортной железнодорожной системы, которая включает состав, движущийся за счет тяговой силы, создающей между магнитными устройствами на вагоне и рельсах. Состав во время движения как бы повисает над рельсами. Прототип такого состава уже испытывался, максимальная скорость его передвижения 400 км/час.

Над проектом работают такие фирмы, как «Хитачи», «Тосиба», «Мицубиси электрик». Это никакой не XXI век. Фирмы надеются запустить свое детище в ближайшие годы. Движение на таком поезде будет осуществляться без шума и вибраций. И вот наши делегации полетели в Японию за этой железнодорожной мудростью. Пусть японцы помогут нам построить скоростную линию между Москвой и Ленинградом. А если уж не между столицами, то хотя бы между аэропортом Шереметьево и гостиницей «Международная» в Москве. Последним предложением японцы заинтересовались: их же делегациям будет легче добираться до гостиницы...

Американцев учат, как строить автомобили, нас будут обучать, как строить современные железные дороги.

Однажды на переговорах речь зашла о поездке делегации японской фирмы в Москву. Представитель фирмы только что вернулся из одной поездки, и ему уже предстояло отправляться в новую.

— Да, — сказал он, — это не всегда легко. Но я привык много ездить. Фирма живет тем, что извлекает прибыль путем перемещения людей, материальных ценностей, денег и информации...

Представитель этой торговой фирмы был мне хорошо знаком. Как раз перед его отъездом фирма получила часть этажа в здании, называемом «Арк Хилс». Это целый комплекс строений, самый совершенный, специально предназначенный для проведения деловых операций и эффективного управления. Первой обзавелась таким комплексом фирма «Тосиба».

Ее подразделения заняли там двадцать пять верхних этажей. Каждый этаж, где могла бы разместиться отдельная фирма, имеет информационные входы и выходы во внешний мир. Терминалы с индивидуальными каналами расположены на этаже на расстоянии метра друг от друга. Сеть распределительных компьютеров, размещенная здесь, оценивается как система следующего поколения. В этом здании служащие имеют дело не с документами, а с информацией, изображенной на экране.

И вот два года спустя новый комплекс «Арк Хилс». Газеты окрестили его «городом в городе». Здесь есть все нужное человеку: офисы, где можно работать; отель; восстановительный центр для тех, кто утомился, занимаясь перемещениями людей, вещей, денег и информации; рестораны, комнаты для переговоров и даже музыкальный зал.

Но не только удобствами определяются особенности этого здания. У дельцов в этих служебных помещениях прямой контакт с банкирами и главными квартирами крупных фирм в Лондоне и Нью-Йорке, Париже и Риме. Система связи, как и система кондиционирования, загружена все 24 часа в сутки. Курсы акций, курсы важнейших валют, информация о крупных сделках, состоянии рынков отдельных товаров поступает непрерывным потоком.

Реализуется проект постройки таких же зданий в районе Токийского залива. В совокупности все это именуется «Телепорт». Токийский телепорт будет связан с его собратьями в Нью-Йорке, Лондоне, Париже. Тесная связь со всем миром — следствие все большей глобализации деятельности японских фирм, интеграции японской экономики в мировую систему хозяйства.

Проекты развития экономики Японии основываются на вариантах участия этой страны в международном разделении труда. Японский банк развития опубликовал исследование «Экономические перспективы японской экономики к 2000 году», в котором в качестве предпосылки анализа рассматривается следующая группа вопросов. В первую очередь возможность уменьшения японо-американских торговых противоречий, которые связаны с растущим долгом США и с повышением курса иены по отношению к доллару. Вторая группа вопросов касается внутреннего рынка. Как

долго будет продолжаться бум, основанный на стимулированном правительственными ассигнованиями внутреннем спросе? Поворот курса экономики с экспорта на внутренние рельсы оказался проще, чем ожидалось. В увеличении внутреннего спроса определенную роль сыграло и увеличение личных доходов потребителей.

Третья группа вопросов, прямо влияющих на будущее экономическое развитие страны, касается внешнеэкономической экспансии японских фирм. Как долго будет действовать цепочка причинных связей: высокий курс иены — осложнение экспорта японских товаров — перенос производства за границу — поставки изготовленных на зарубежных предприятиях товаров в третью страну и даже их импорт в Японию? Уже не мультикорпорации, а средние и даже мелкие фирмы начинают производство в Южной Корее, Таиланде, Китае, чтобы противостоять конкуренции товаров из этих стран.

Вопросы технического прогресса также определяют перспективу до 2000 года. Широкое внедрение в производство микроэлектроники позволило снизить издержки по целому ряду изделий, требовавших высокого уровня затрат труда. Снижение удельного веса расходов на рабочую силу во многих отраслях экономики и перевод производства в зарубежные страны вызывает как определенное напряжение в трудовых отношениях, так и структурное перемещение рабочей силы из отраслей материального производства в индустрию сервиса, которая должна развиваться более быстрыми темпами.

Какой же будет экономика Японии в 2000 году?

В прогнозе рассматриваются два сценария экономического развития. Прогноз определяет развитие Японии темпами ее экспорта. При ожидающемся росте мировой торговли до конца столетия в 3,0 — 3,5 процента в год в основу первого варианта, или сценария, положен среднегодовой рост японского экспорта в 2,5 процента, в основу второго — 1,5 процента. В соответствии с этими исходными данными в первом случае валовой национальной продукт должен расти на 3,5 процента в год, а во втором на 2,5 процента. Эти темпы значительно ниже японских темпов последних пяти лет: 3,8 процента. Более низкими, чем в последние годы, предусматриваются и темпы роста промышленного производства: соответственно 3,1 и 2,2 процента. Таким образом, прогноз довольно осторожный. Его авторы явно не стремились рисовать радужные перспективы, основанные больше на благих пожеланиях, чем на реальных предпосылках экономического развития.

В прогнозе анализируется рост отдельных отраслей экономики. Наиболее активно будут расти отрасли, связанные с электротехникой, меньшими темпами — общее машиностроение. Сократится сельскохозяйственное производство и лесоводство, снизится объем нефтепереработки, добычи угля, выплавки стали. Фирмы, занятые в машиностроении, в больших масштабах, чем ныне, будут изготавливать свою продукцию в зарубежных странах.

Но проблемы, существующие сейчас в торгово-экономических отношениях Японии с США и другими странами, сохраняются. Речь идет о положительном сальдо платежного баланса Японии. В 1986 году «лишних» денег оказалось на сумму 85,8 миллиарда долларов, а по прогнозу в 2000 году эта сумма возрастет в первом варианте развития до 135 миллиардов долларов, а во втором — до 95 миллиардов. Проблема: как уменьшить эти суммы?

В прогнозе упоминается и такая цифра: один триллион долларов. Таковы в 2000 году будут активы японских фирм в зарубежных странах. Все это, конечно, хорошо. Но в прогнозе высказывается определенная озабоченность в отношении возможных торгово-политических трений. К началу нового века все большее влияние в бассейне Тихого океана будет оказывать экономический блок стран Юго-Восточной Азии во главе с Японией. Быстрая индустриализация японских партнеров в этом регионе увеличит их взаимозависимость, приведет к быстрым темпам взаимной торговли и интеграции.

Вот основные контуры японской экономики к 2000 году. Как отразится ее развитие на жизненном уровне японцев? Вначале два слова о том, как они живут сейчас. Говорить что-либо о ценах трудно. Известно, что цены в Токио на одежду, хлеб вдвое выше, чем в Нью-Йорке, разница в ценах на мясо еще более высокая. Но цены сами по себе ни о чем не говорят. Нужно сопоставлять их с уровнем жалования, с качеством и разнообразием того, что представлено в магазинах.

Важный показатель — уровень использования населением товаров длительного пользования. Еще два десятилетия тому назад мечтой каждой японской семьи были холодильник, стиральная машина или телевизор. Речь шла о черно-белом телевизоре. Сейчас в среднем на японскую семью приходится два цветных телевизора.

Нечего и говорить, что в 60-е годы приобретение автомобиля считалось большим событием. Автомобиль был малодоступен для рабочих и служащих. Сейчас 70 процентов семей служащих (точнее 68,8 процента) имеют автомобили. Одна из трех семей — видеоманитофон. В Токио на каждой улице есть магазины проката записанных на видеокассетах фильмов, концертов и развле-

кательных программ. Но все это традиционные товары. Где сейчас нет автомобилей, холодильников, видеомагнитофонов? Разве что в самых бедных странах...

Но вот наступил февраль 1987 года. «Маусита электрик» и «Фунай электрик» произвели взрыв на рынке домашних электроприборов. Эти фирмы предложили печь для автоматической выпечки хлеба. Хозяйка вечером засыпает муку, заливает воду, кладет добавки, а утром к завтраку получает свежий хлеб с поджаренной корочкой. Японцы не такие уж любители хлеба, но новинка произвела фурор. Любая хозяйка спешила выкроить 30 000 иен, чтобы приобрести новинку. Ныне сенсация 87-го года стала обычным товаром, которым заполнены полки японских магазинов. А что же дальше?

Неожиданности, подобные автоматической электропечи, возможны, они непредсказуемы. Но помимо неожиданностей есть товары, которые постепенно уже выходят на рынок, массовое же их производство ожидается где-то в 2000—2010 году.

Предполагается, что к 1995 году у 25 процентов семей появятся автоматические машины для мойки и сушки посуды, к 2010 году они будут в 85 процентах домашних хозяйств. В 1995 году в 20—25 процентах семей обзаведутся автоматическими стиральными машинами с сушилками, видеофонами, по которым можно разговаривать, видя своего собеседника, домашними компьютерами. Автоматика займет все более прочное место и на работе и дома. То, что было мечтой, станет действительностью...

В заброшенном американском городке штата Теннесси к удивлению местных жителей появились два японца. Особых достопримечательностей, чтобы привлечь туристов, здесь не было. Да и сам вид этих японцев явно не соответствовал тому, во что одевается туристская братия. Японцы были в костюмах и с портфелями, из которых они извлекали толстые блокноты и шариковые ручки. А интересовались они не водопадом и не чудом сохранившимся ранчо прошлых времен. Их внимание привлекли железобетонные конструкции цехов старого заброшенного завода, которые пришельцы долго осматривали. Проведя несколько дней в этих цехах и на прилегающих к ним пустырях, японцы уехали из городка, но ненадолго. Скоро пришло сообщение, что японцы купили старый завод и прилегающие к нему территории.

Прошло еще немного времени, и возрожденный завод после инвестиций в сумму 27 миллионов долларов стал выпускать тяжелую строительную технику концерна «Комацу». Приобретение фирмы «Комацу» — это лишь малая частица того, что покупается сейчас в Америке японскими фирмами. Например, в декабре 1986 года японцы купили у фирмы «Эксон» небоскреб в Рокфеллеровском центре на Манхэттене за кругленькую сумму в 610 миллионов долларов. Это самая высокая цена, когда-либо уплаченная в Нью-Йорке за небоскреб.

Фирмы, у которых после войны не было средств, чтобы послать специалистов изучать положение дел на внешних рынках, сейчас тратят миллионы долларов направо и налево. Шутка, что японцы будут оклеивать долларами свои домики, не лишена доли истины.

Первопроходцами в завоевании Америки были японские автомобильные компании. В 60-е годы, годы больших темпов роста, фирма «Хонда» вышла на американский рынок со своими мотоциклами. Энергичная рекламная кампания, девизом которой была фраза: «Вы встретите самых приятных людей на „Хонде“», а главное — отличные мотоциклы обеспечили фирме успех. С 1979 года производство японских мотоциклов началось в США. Это была первая проба пера. Затем пришла очередь автомобилей.

Фирма «Хонда» поставляла из Японии двигатели, трансмиссии, тормоза; сборка автомобилей в США началась в 1982 году с постепенным увеличением удельного веса узлов, изготавливаемых в Штатах.

За «Хондой» в 1980 году последовала фирма «Ниссан», потом «Тойота», «Мазда» и «Мицубиси». «Тойота» пошла на создание совместного предприятия с американской компанией «Дженерал моторс», а «Мицубиси» — с фирмой «Крайслер». «Мазда» построила завод по производству автомобилей, который полностью принадлежит ей.

Фирма «Тойота» привезла американских рабочих в Японию для обучения на своих заводах. На новом, полностью принадлежащем ей предприятии в сельскохозяйственном штате Кентукки они должны стать мастерами на сборочных линиях.

Завод стоимостью в 1,1 миллиарда долларов возник на полях, где ранее происходила выучка лошадей. И американцам, занимавшимся лошадьми, теперь предстояло обучаться у японцев искусству делать автомобили. Примечательно, что на 2000 рабочих мест претендовали 9300 американцев. Программа обучения отобранных кандидатов, рассчитанная на длительный срок, финансировалась за счет средств американских налогоплательщиков. А обучаться американцам предстояло тому, что исповедует фирма «Тойота» как у себя в стране, так и на своих зарубежных предприятиях: групповой лояльности, верности фирме, готовности к тяжелому труду.

«Нашествие» японцев на американский континент вызывает за океаном различную реакцию. Одни американцы приветствуют богатых пришельцев и готовы на них работать, другие выступают против, ибо многим трудно отрешиться от привычной формулы: «Америка — для американцев».

Пока идут споры, многие штаты открывают собственные представительства в Токио для привлечения японских фирм на свои земли. К началу 1988 года 36 штатов и 16 портовых городов имели своих людей в Токио. Представители различных штатов в Токио, соревнуясь между собой, дают подробные ответы на вопросы заинтересованных фирм, сопровождая их принятым набором любезностей на японский манер. Многие служащие представительств знают японский язык. Важным этапом в этой работе является организация поездок японских делегаций в конкретный штат. Однако завлечь фирмы, «приземлить» их у себя — это еще не все. Очень важен последующий сервис. Так, представитель штата Орегон «приземлил» японскую фирму, которая намерена построить в США металлургический завод. Десятки встреч по этому вопросу проводились в Токио. Чтобы привлечь японцев в свой штат, хозяева выдвигали весомые аргументы: обилие ресурсов чистой воды, дешевая электроэнергия, низкие цены на другие энергоресурсы, опытная с высокой степенью образования рабочая сила, доброжелательность местных властей к японским инвестициям. С такими преимуществами японцам будет легко строить у них долгосрочные деловые отношения.

Японцы выбирают тот или иной штат в зависимости от отрасли экономики, местных условий, а иногда и от причин, которые трудно понять и объяснить. Самым популярным штатом является Калифорния. Здесь 167 производств с участием японского капитала, в штате Нью-Джерси — 40, Джорджия — 39.

О Калифорнии особый разговор. Представителя этого штата в Токио заботит и такая важная проблема: Калифорния покупает в Японии товаров на сумму 40 миллионов долларов в год, а продает только на 10. Стимулировать экспорт из Калифорнии в Японию — вот что самое важное. Такого рода торгово-экономические противоречия между Японией и США возникают постоянно. Особенно сильно они проявляются в сфере финансов, обменов в области высоких технологий, в научно-технических связях, в торговле промышленными товарами. В 1987—1988 годах обострились проблемы, связанные с экспортом в Японию продукции американского сельского хозяйства и в вопросе участия американских фирм в строительстве ряда крупных объектов на территории Японии.

Финансовые торгово-экономические проблемы занимают многие страны мира. Они сыплются как из рога изобилия, но изобилия не благ, а трудностей и противоречий. И какими бы жаркими ни были споры и трудными поиски решений, какие-то компромиссы, наконец, все же находятся. Японо-американские споры сопровождаются переоценкой соотношения сил в тихоокеанском регионе да и во всем мире. Конечно, важные вопросы торгового и платежного баланса США в отношениях с Японией, участия американских фирм в строительстве, например, аэропорта в районе Осаки могут быть решены. Это уменьшит остроту дефицита торгового баланса. Все это конкретные вопросы. Они вызывают споры и как-то решаются, но эти споры — следствие изменений, происходящих в мире.

Настойчиво из статьи в статью, от одного симпозиума к другому повторяются одни и те же мотивы: бассейн Тихого океана становится новым и главным мировым экономическим центром, экономическое и политическое значение Соединенных Штатов уменьшается, Япония призвана принять на себя ответственность лидера. Экономическая мощь Японии должна сопровождаться усилением ее политического влияния в мире.

Много внимания привлекла к себе книга английского историка Пола Кеннеди «Подъем и падение великих империй». Мысль историка о том, что приближается конец американского столетия, одними поддерживается, другими оспаривается. И те, кто соглашается с закатом американской «империи», и те, кто возражает, часто оперируют одними и теми же экономическими данными, приводят показатели национального дохода на душу населения, валового национального продукта, соотношения военных расходов к ВВП.

Новое соотношение сил, складывающееся в мире, заставило пересмотреть представление об исключительности американской истории и судьбы. Развитая Америка, по Полу Кеннеди, вступила в ту же фазу, которая была характерна и для других великих держав. Относительный упадок стран происходит из-за «имперских сверхсил», которые предпринимаются для подтверждения статуса сверхдержавы. Речь идет об относительном смещении центра тяжести: значение Америки уменьшается, поскольку увеличивается экономическая мощь ее союзников: Японии и Западной Европы. Америка не выдерживает темпов развития других стран.

Что сейчас думают об Америке японцы, англичане, немцы и сами американцы? Опрос, проведенный в 1987 году японской газетой «Иомиури» и Институтом Гэллапа, дал следующие результаты. На вопрос: «Уменьшается ли мощь или влияние Соединенных Штатов?» положи-

тельно ответили 54 процента опрошенных американцев. Процент утвердительных ответов в Европе был меньшим: западные немцы — 24 процента, французы — 33, англичане — 35. В Японии согласились с тем, что американская мощь уменьшается, 44 процента анкетированных.

Что же произошло? Почему так радикально изменились представления? Ведь именно производственные линии Генри Форда вызвали революцию в массовом производстве, а после второй мировой войны Америка представила собой модель развития капитализма.

Наохиро Амая, директор Института гуманитарных исследований, в своей статье «Находится ли Америка в состоянии упадка?» подчеркивает, что драматически быстрое уменьшение разрыва в развитии экономики США и Японии — результат использования японцами новейших американских технологий, оборудования и большего трудолюбия японцев. Это не был исключительно японский вызов. И все же главная угроза пришла с японских островов в виде нескончаемого потока хороших и дешевых товаров.

Человек с раскосыми глазами на рисунке сидит на груде денег. Его фотографируют, берут у него интервью, перенимают особенности его системы производства и управления. Просят, наконец, деньги, кредиты. Все это для нас внешний мир. Что нам до того, что японцы не знают, куда девать доллары. У нас, увы, другие заботы и проблемы.

Американцы, к примеру, из кожи вон лезут, чтобы завалить Японию своей говядиной. Дело доходит до оскорблений в печати. Переговоры на эту тему идут между президентом США и премьер-министром Японии. С большим трудом они достигли соглашения о расширении квоты поставок в Японию говядины в предстоящие годы.

Нам подобные «мясные» страсти понять, естественно, трудно. У нас нет говядины, чтобы ее предлагать кому-либо за пределами наших границ, нет и денег, чтобы ее где-либо купить. От нас никто и не требует открытия границ для поставок продуктов сельского хозяйства. Да и с валютным курсом у нас положение другое. Японские фирмы меняют свою стратегию при изменении курса иены по отношению к доллару. Возникают трудности со сбытом товаров, некоторые становятся даже банкротами. А у нас? Кто интересуется курсом рубля к иене или иены к доллару? Эти изменения никого не волнуют. Как говорится, ни холодно ни жарко. Ни у нас, ни за пределами наших границ. За границу, особенно ту, где в ходу доллары и иены, мы ездим мало. И поездки эти от курса рубля не зависят.

Многие годы мы были заняты нашими внутренними делами и «успехами», шли от юбилея к юбилею, и нам было недосуг сравнивать себя с кем-либо другим. И уж тем более с Японией, поскольку мы привыкли по традиции развиваться, произвольно ориентируясь на американские показатели, будь то энергетика, производство чугуна или выплавка стали.

А то, что у наших границ на Дальнем Востоке быстрыми темпами образуется новый экономический гигант во главе с Японией, куда входят многие страны Юго-Восточной Азии и куда вытягивается Китай, это мы как-то проморгали. Можем ли мы и дальше игнорировать то обстоятельство, что XXI век называют веком Тихого океана? Знаем ли мы об этом, учитываем ли в своей политике и экономической стратегии?

Наш призыв «Давайте торговать» слабо согласуется с теми экономическими процессами, которые происходят в мире, где торговля — это результат глубоких интеграционных процессов, разделения труда, использования самых рациональных форм производства. Мировая торговля развивается за счет того, что люди свободно переносят производство к источникам сырья, туда, где есть дешевые резервы рабочей силы, что позволяет снижать производственные издержки. Рационализация, структурные сдвиги, вертикальные и горизонтальные формы разделения труда — вот двигатель торговли.

Но как мы предполагаем реализовать провозглашаемый нами лозунг в отношении торговли, если мы многое хотели бы купить, но продать нам практически нечего?

Продукция нашего огромного машиностроительного комплекса составляет не более одного процента в нашем экспорте в Японию, и трудно себе представить то время, когда она преодолет трех- или (о, невиданный успех!) пятипроцентный барьер.

И здесь у японцев с нами такое же трогательное единодушие, как у них с американцами, только в несколько иной форме. Японцы не хотят ни американской говядины, ни тем более наших машин и оборудования. Но американцы могут и хотят поставлять говядину на японские острова, а у нас нет ни возможности, ни особого желания связываться с экспортом в Японию. Для нас это лишняя головная боль. Как тут выйти за пределы одного процента с нашими машинами и оборудованием?

Остается сырье и лес, которыми нас наградила Всевышний. Экономисты и журналисты ломают копья в отношении того, нужно ли нам экспортировать наши подземные и наземные ресурсы? Можно успокоить особо страстных противников экспорта этих богатств. Наш экспорт

никому особенно не нужен. Я имею в виду Японию и другие развитые страны. Японии мы его больше сами навязываем, чем она у нас просит. Япония проводит политику диверсификации источников, получения энергоносителей. Это касается угля, нефти, газа. Она не хочет быть зависимой от одного-двух поставщиков этих важных для нее товаров. Уголь японцы импортируют из СССР, Китая, США и других стран. И каждый из поставщиков предлагает увеличить поставки угля. Более того, мы просим у японцев кредиты на развитие базы добычи угля в Якутии с тем, чтобы потом они покупали этот уголь.

Японцы же пожинают плоды своих усилий по внедрению ресурсосберегающих технологий. Им теперь требуется меньше энергоносителей и других сырьевых товаров. Более того, в связи со снижением цен на нефть часть производств они переводят на жидкое топливо, так что потребность в угле падает, и нам требуется немало усилий, чтобы поставки угля не снизились и за счет этого не снизилось поступление столь нужной нам валюты.

Охотнее Япония берет наш лес, хотя и здесь у нее есть альтернативные источники поставок.

Если по-честному, то мы оказались вне основных направлений развития японской экономики, и нашим соседям практически от нас ничего не нужно. Поставками своих товаров мы не балансируем наш импорт из Японии, и в этом отношении мы не отличаемся от американцев с той существенной разницей, что Япония не может обойтись без американского рынка, чего не скажешь о нашем. У них бум и интеграция в производстве электронных компонентов и компьютеров, а мы все надеемся, что им не обойтись без нашего угля!

Мы находимся вне процесса интеграции, захватывающего все большее число стран. Экономические связи при всей их изменчивости обретают и определенную стабильность. Нам все труднее проникать в это мировое сплетение интересов изготовителей и потребителей. При явной тенденции к обособленности определенных регионов: Япония и Юго-Восточная Азия, США, Канада и другие страны Американского континента и Западная Европа с ее быстрыми процессами интеграции, снимающими всякие ограничения, — связи между ними продолжают развиваться и укрепляться.

И поэтому проникновение советских товаров на западные и японский рынки (даже если у нас есть подходящие товары и настойчивость в их продвижении) означает вытеснение сильных конкурентов, что требует знаний и постоянных усилий.

Длительное время наша концепция торговли с другими странами заключалась в том, что мы покупали самое необходимое, то, что не можем сделать сами, но что нужно именно сегодня, хотя завтра понадобится другое. Конечно, мы можем сделать все это и сами, но закупка экономит время, да и нет уверенности, что качество будет такое же, как там.

Эта упрощенная концепция внешней торговли направлена на ликвидацию какого-то дефицита, сложившегося в стране, за счет импорта. Если можно было бы представить ситуацию, когда своя промышленность удовлетворяла бы все нужды экономики и населения, то внешняя торговля вовсе сошла бы на нет.

Между тем мир давно уже отошел от принципа дефицита в своих внешнеэкономических связях. Внешняя торговля — это в первую очередь надежное мерило качества изделий, технического уровня и эффективности производства. Чтобы изготовителю знать, что он собой представляет как изготовитель, ему надо проверить себя на международном рынке. Если его товар выдерживает конкуренцию в сравнении с другими товарами, значит, он на верном пути. Если же его товар не берут — нужно экстренно делать какие-то выводы: совершенствовать ли изделие, проектировать новое, а может быть, стоит даже уйти из этого вида бизнеса, чтобы потом появиться на рынке с каким-то новым, более перспективным товаром. В таком естественном процессе самого эффективного отбора и происходит разделение труда. Лучшие изготовители занимают более прочное положение на рынке, удельный вес их продаж возрастает.

Интеграционные процессы идут дальше. Торгуют уже не комплектными изделиями, а узлами и деталями. И этот процесс идет более успешно, чем торговля в целом. Кооперация производства захватывает многие страны. Конечно, они тоже удовлетворяют возникшую потребность в каких-то товарах, но главное, что ищут на внешних рынках самое лучшее изделие. Можно добавить — и по самой низкой цене, последняя, впрочем, чаще не играет определяющей роли в закупке: ведущий двигатель торговли — качество.

Советский Союз практически не участвует в этих интеграционных процессах. Во всяком случае в сфере советско-японской торговли.

Чем объяснить низкий уровень машин и оборудования в нашем экспорте? За последние десятилетия он не увеличился, а сократился: в 1960 году его удельный вес в экспорте составлял 20,7 процента, а в 1987 году — 15,5 процента. Это в целом, включая и те поставки, о которых сам Госплан договорился с госпланами стран — членов СЭВ.

Экспорт же советских машин и оборудования на свободные рынки в развитые страны, где дуют суровые ветры конкуренции, не превышает уровня наших японских поставок.

Наши эпизодические поставки прессов, станков или экскаваторов на этот рынок вызывают шумную реакцию. Они — горячая тема для нашей печати. Еще бы! Поставили ведь в США! Но такие отдельные эпизоды так и остаются эпизодами, ибо престиж наших машин на внешних рынках крайне низок. Иногда, чтобы продать станок местному покупателю, торговая фирма снимает и выбрасывает наше электрооборудование, заменяя его своим. А подчас ей приходится снимать с изделия и табличку «Сделано в СССР».

Крайне низкое представление и у нас самих о том, что мы делаем.

Мне приходилось участвовать в закупке комплектного оборудования из ФРГ, Японии, Франции. Торговые партнеры из этих стран придавали особое значение нашему рынку. Огромны его размеры, перспектива. Для них выгодно и то, что мы покупаем все комплектно, практически до последнего гвоздя. То, что мы в импортируемых комплексах оставляем для отечественной комплектации, не распространяется дальше обычной мебели в лаборатории да сантехнического оборудования.

Фирмы на переговорах признаются, что так комплектно покупаем только мы. Все другие импортеры добиваются максимального удельного веса поставок местных фирм в импортируемых комплектных заводах и установках. У нас же совсем не просто было договориться с представителем нашего министерства, для которого закупалось комплектное оборудование, чтобы хоть металлоконструкции не везти из ФРГ или Японии, а получить от советского поставщика. А обычное электрооборудование? Ведь если отечественными двигателями будут укомплектованы импортные машины, то будет легче с запасными частями. Да и валюту сэкономим.

— Да что ты? — удивлялся мой хороший знакомый, с которым мы участвовали во многих переговорах. — Во-первых, наши вовремя ни за что не поставят, потом поставят не то, что нужно, одна часть не будет состыковываться с другой. Наплачешься горькими слезами, сорвешь пуск всего импортного комплекса. Нет уж, пусть они все поставляют.

Однажды на переговорах с представителями фирмы «Сумитомо» речь зашла о поставке кранов. Фирма способствовала тому, чтобы по этим кранам было подписано соглашение о кооперации их производства между одним японским изготовителем и советскими предприятиями. Уже были выпущены первые образцы японо-советского крана. Изготовление осуществлялось по японским чертежам и техническим условиям. Образцы демонстрировались на выставках в Советском Союзе.

— Мы можем вам предложить этот кран совместного производства, — сказал на переговорах представитель фирмы «Сумитомо».

— Нет, не нужно, — ответил сотрудник министерства, для которого закупалась партия кранов, — лучше дайте нам краны чисто японского производства...

За столом переговоров возникла какая-то неловкость. Я быстро написал ему записку: «Зачем так? Скажи, что мы подумаем... Сравним...»

— Нет, — наклонился ко мне представитель заказчика, — пусть покупают кран совместного производства те, кто сядет на мое место, когда я уйду на пенсию...

Если у нас есть основания отзываться так об изделиях собственного производства, не стесняясь говорить об этом вслух, то как относиться к ним иностранным партнерам? И не только деловые люди составляют мнение о наших возможностях развития торговли по качеству наших изделий. Это сказывается и на представлении о стране в целом.

ТАСС и японское агентство «Киодо Цусин» по взаимной договоренности провели не так давно на территории Советского Союза и Японии опрос общественного мнения. Ответы на двенадцать вопросов аналогичного содержания задавались советским и японским гражданам. В Японии с антипатией к Советскому Союзу относились 47,4 процента опрошенных, а считали нашу страну миролюбивой только 59,2 процента. Конечно, здесь сказалось и воздействие пропаганды средств массовой информации. Но удивительно то, что более половины опрошенных (50,7 процента) не считали нашу страну экономически развитой. И ведь не скажешь, что это мнение исключительно наших недоброжелателей: 84,2 процента опрошенных при этом заявили, что хотят улучшения японо-советских отношений.

В Советском Союзе 97,9 процента опрошенных считали Японию экономически высокоразвитой страной.

В Японии о наших достижениях судят довольно просто, может быть, даже примитивно. Они не определяют экономическое развитие по количеству запускаемых нами космических кораблей. У них другой критерий. Страна, по их мнению, не может считаться экономически развитой, если она не в состоянии предложить японцам ничего, кроме того, чем Бог одарил ее недра: нефть, уголь...

Наша экономическая ситуация влияет и на отношение к нам в Японии в целом. Симпатизируют советскому народу только 17,6 процента опрошенных!

Бедность, как известно, не порок, но особой симпатии она не вызывает. Не вызывает симпатии и наша бесхозяйственность, хроническая неспособность сделать что-либо путное своими руками.

Не без оснований многие наши экономисты с тревогой говорят и пишут о том, что с середины 70-х годов хозяйственное и научно-техническое развитие страны пошло вразрез с общемировыми тенденциями. В нашей экономике продолжает превалировать затратный принцип. Выход из создавшегося тупика специалистам видится в возникновении конкуренции, в допуске на наш рынок иностранных конкурентов, способных оказать воздействие на отечественных монополистов.

Но допуск на наш рынок иностранных поставщиков связан с неизбежной реформой всей советской валютно-финансовой системы. Иностранцам поставщикам нужен вывоз их выручки, а это вызывает необходимость конвертируемости рубля. Совершенно правильным представляется решение в качестве первого шага предоставить предприятиям право покупать валюту на рубли по реальному курсу, который сложится на нашем внутреннем валютном рынке.

Пока эта мысль далека от реальности. Одно связано с другим: хозрасчет и действительная реальная самостоятельность предприятий и реформа валютно-финансовой системы. И в результате производительность общественного труда составляет у нас одну треть от американского уровня, а в сельском хозяйстве не достигает и 15 процентов.

Отсюда все наши беды и внутри страны, и вне ее. И экономические и политические. В том числе и тот факт, что с симпатией к советскому народу относятся только 17,6 процента опрошенных японцев. Как говорится, нам есть над чем задуматься! Но задумываемся мы об этом редко. Во всех рассуждениях по экономике, о реформах, темпах, перспективах чувствуется вертикальный, так сказать, срез: двадцатые годы, тридцатые годы, создание командно-административной системы, устранить ее или усовершенствовать, добиться к 2000 году того, чтобы у каждой семьи была отдельная квартира или отдельный дом. Сравнение с другими, мысленное путешествие за горизонт не входит в наши задачи. Мы вон какие огромные, что нам другие.

Независимость и изоляция или интеграция и совместное развитие с остальными странами — вот два пути, из которых нужно выбирать. В этом выборе экономика отстает от политики, где концепция взаимозависимости Советского Союза со странами Запада получила убедительное подтверждение практическими делами. В соответствии со старыми стереотипами 20- и 30-летней давности мы по инерции продолжаем торговать на внешнем рынке в пределах тех сумм, которые выручим за нефть, газ, уголь и лес. Выручка стала скудной в связи с неблагоприятными ценами, поэтому покупаем на Западе в основном наистрейший дефицит: сегодня одно, завтра другое. Раньше племена сходились и меняли два мешка пшеницы на быка, мы меняем нефть на машины. Машины ржавеют, а нефти становится все меньше.

Отсутствие долгосрочной стабильной концепции наших экономических взаимоотношений со странами Запада приводит к тому, что даже те программы, которые являются первыми шагами к выводу нашей экономики из изоляции, реализуются с определенными трудностями. Создание совместных предприятий стало модно. Кто бы ни встречался с иностранными фирмами, у всех один и тот же припев: «Давайте создадим совместное предприятие». Своеобразно представление о взаимном вкладе в это предприятие: иностранная фирма должна дать конструкцию изделия, технологию его производства, поставить оборудование, наладить изготовление, продавать эти изделия на внешних рынках, чтобы была валюта. А прибыль: фифти-фифти. При этом никто не может объяснить фирме, что ей делать с рублиями, которые совместное предприятие получит от реализации продукции внутри страны. Чего-чего, иллюзий у нас хватает. Мы обманываем самих себя.

Чтобы получить от японской фирмы необходимое, надо дать ей то, что она не получит, создавая совместное предприятие в США, Европе, Таиланде, КНР и во многих других странах. Увы, сейчас у нас мало возможностей привлечь к кооперации с нами фирмы ближайшего нашего соседа.

Представьте себе соревнование по бегу на марафонскую дистанцию. Она настолько длинна, что практически бесконечна, но с промежуточными финишами. Те, кто быстрее, получают призы и награды на промежуточных дистанциях. Вперед вырывается то один бегун, то другой.

Так они бегут, напрягая все свои силы. Кое-кто отстает, сходит с дистанции, его сменяет другой стайер, кто сэкономил больше сил, лучше распределил их на разных дистанциях. И только один бегун стоит в сторонке, не зная, что ему предпринять. Его партнеры уже скрываются за горизонтом. Вроде и ему бежать за ними давно пора, да разве их теперь догонишь?! А не пойти ли пешочком параллельным курсом? Своей самобытной дорогой. Худо-бедно она куда-нибудь приве-

дет... Тем временем соперники нашего бегуна продолжают свой бег, и им нет дела до сонного великана, стоящего у обочины. Они не могут остановиться, как не может остановиться Земля. Мы продолжаем приводить в порядок свою амуницию. И не очень понятно, когда она будет в полном порядке. Остальным же нет дела до наших проблем, многим хотелось бы, чтобы мы возможно дальше их не догнали. Их отношение понятно. Непонятна наша позиция.

У нас где-то подсознательно бытует мысль, что если мы стоим на месте, то на месте стоит и весь мир. Что нам до того, что Япония за время нашего застойного периода стала мировой экономической державой, бросающей вызов Соединенным Штатам? Мы признаем ее успехи, но не примеряем их к себе, к своему собственному развитию, не сравниваем себя с соседом, хотя любим говорить, что все познается в сравнении.

А между тем «японское зеркало» могло бы многое нам рассказать о нас самих, например, о «достижениях» нашего машиностроительного комплекса, который не только не может ничего продать соседям, но и обеспечить потребности собственной страны. Впрочем, «не только... но и» здесь вряд ли уместны. Все взаимосвязано.

Наши внутренние потребности до тех пор не будут удовлетворены, пока отечественную продукцию не будут брать там, на этой марафонской дистанции, где бег действительно ведется ради жизни, ради того, чтобы выжить. На этой марафонской дистанции Южная Корея при всей своей политической неустойчивости по экономическому потенциалу становится «второй Японией». В Таиланде создан производственный центр, изделия которого могут соперничать с японскими товарами.

Мы спорим о том, какую производственную программу навязать «Уралмашу», какой процент от прибыли оставить в распоряжении коллектива этого да и других заводов. Мы растягиваем программу экономических реформ, кое в чем ограничиваясь полумерами, воображая, что за пределами наших границ все остановилось и ждуть, когда мы перестроим свои ряды и подыдем к стартовой линии. На самом деле нас никто не ждет.

...Когда-то черные корабли адмирала Перри вошли в Токкийский залив и заставили японских правителей открыть порты Японии для захода иностранных торговых судов. Изоляция Страны восходящего солнца прекратилась. Примерно сто лет спустя у японцев потребовали открыть таможенные границы, что вызвало у них страх перед наплывом иностранных товаров. У японцев не было уверенности, что их промышленность выдержит конкуренцию. Но они ее выдержали. И теперь потесниться приходится уже конкурентам.

К нам не придут корабли с тем, чтобы вовлечь нас в мировой экономический процесс. От нашей изоляции мы должны освободиться сами. Изоляция лишает естественного обмена научными достижениями, новейшими технологиями. В конце концов изоляция неизбежно приводит к отставанию и регрессу, в этом ее главная опасность.

Без сопоставления с другими мы лишаемся возможности критической оценки своего собственного развития. Сонное состояние изоляции приводит к тяжелому болезненному пробуждению. С реальной действительностью рано или поздно придется столкнуться.

В Китае это пробуждение произошло в 1978 году, когда ранее только провозглашавшиеся «четыре модернизации» (промышленность, сельское хозяйство, наука и техника, оборона) были возведены в ранг общенациональной задачи. В качестве главного ориентира экономического развития и критерия ее хода была принята цель увеличения к 2000 году валового национального продукта 1980 года в четыре раза.

Для осуществления модернизации в промышленности нужно было воспользоваться новейшими зарубежными технологиями, и китайцы пошли на это. «Иностранное — на службу Китаю» — лозунг, означающий пересмотр концепции опоры на собственные силы.

В Китае стало осуществляться опережающее по сравнению с другими отраслями экономики развитие внешней торговли. Производственная кооперация с иностранными фирмами, импорт, внедрение новейших технологий и достижений в организацию производства и управления — все это означало отказ от изоляции от внешнего мира.

Использование лучшего зарубежного опыта предусматривалось вначале в двух специальных экономических зонах, где для иностранного капитала определили льготный режим в таможенном регулировании, валютных операциях и в обложении налогами. Эти зоны были созданы в южных провинциях, территориально близко расположенных к Гонконгу и Макао — бывшим колониям Англии и Португалии. Японским компаниям, тесно связанным с гонконгскими фирмами, здесь удобнее было осваивать новые, открытые для иностранцев зоны на территории Китая.

О проблемах, которые возникают для японских фирм, работающих в КНР, мне пришлось узнать из первых рук. Во время переговоров в фирме «Сумитомо» начальник департамента фирмы сказал, что он только что вернулся из КНР, где проводил совещание глав представительств фирмы в различных городах Китая. Я, естественно, поинтересовался, как там идут дела. Фирма довольна

своими операциями на китайском рынке, ответил он, но есть и существенные проблемы. В КНР проводится отраслевая и территориальная децентрализация внешней торговли, появляется много новых внешнеторговых фирм, которые не имеют опыта, особенно те, что возникают в провинции.

«Некоторые из них, — сказал мой собеседник, — даже не знают, что за заказанные товары нужно платить. Мы должны быть очень осторожны при заключении сделок и тем более при образовании новых смешанных предприятий».

Меня удивило довольно интенсивное присутствие фирмы «Сумитомо» в КНР. В разных городах у нее девять своих представительств. Уже это показывает, что, несмотря на имеющиеся трудности, фирма обособывается в КНР всерьез и надолго. Видимо, ее не пугает то обстоятельство, что новые внешнеторговые фирмы еще не приобрели нужного опыта. Китай выходит на дорогу мирового развития, а мы все еще не можем осознать свое место в системе мировых координат.

Даже информация о том, что наш прославленный машиностроительный комплекс выпускает продукцию, в объеме которой только 12 процентов изделий соответствуют мировому техническому уровню, не смущает тех, кто видит наше отставание от Запада лишь в отделке да в окраске. Мнения, образующие другую крайность, оценивают наши возможности очень пессимистически. Успехи наших соперников в научно-технической сфере таковы, что нам их больше не догнать.

В беседе за круглым столом в одной из наших центральных газет, собравшей министров и ведущих специалистов электронной промышленности, отмечалось резкое отставание производства отечественного электронного технологического оборудования. Если к 1995 году мощности электронного машиностроения будут увеличены в пять раз, то и тогда мы сможем только сохранить существующий разрыв с ведущими фирмами западных стран.

В упомянутой беседе высказывались прогнозы в отношении выхода на мировой уровень. Оптимисты называли срок в четыре—шесть лет, пессимисты — срок вдвое больший. Если же учесть динамику обновления оборудования, то, видимо, даже пессимисты могут попасть впросак. Разрыв может не сократиться, а увеличиться. И дело не только в том, сколько средств вкладывалось или будет вкладываться в электронику. Есть другая, более важная проблема.

Для японских и американских фирм соответствие их изделий мировому техническому уровню определяется удельным весом их продаж на мировом рынке. Не один-два важных параметра, а совокупность потребительских свойств, не прорекламированные данные, а проверенные на практике и гарантируемые потребителю определяют лицо фирмы.

Главный критерий хорошего «бега» — это закупки потребителей на мировом рынке, которые могут выбрать из многих предложений, а выбирают то, что больше соответствует их требованиям. По этим критериям определяют статус фирм, которые проектируют и выпускают компьютеры — конечную продукцию. Эти фирмы выбирают лучших изготовителей электронных компонентов, они и определяют уровень технического прогресса в электронике. Рынок технологического оборудования для производства электронных компонентов определяет другая группа «бегунов», среди них только те чувствуют себя в форме, которые на данном отрезке пути вырвались вперед и обогнали своих соперников.

У нас же все по-другому. Одно ведомство проектирует и изготавливает конечную продукцию, другое обеспечивает элементную базу, третье — технологическое оборудование. И вот наши «бегуны» сидят за круглым столом и рассуждают о том, что каждый из них мог бы работать лучше, да другой собрат вяжет по рукам и ногам. Обсуждается идея о том, чтобы административно и организовано связать изготовителей ЭВМ и тех, кто обеспечивает элементную базу.

Это то, чего всеми силами стремятся избежать японцы. Административной подчиненности они предпочитают экономическую взаимозависимость, которая может быть прервана, изменена. Крупным и мелким фирмам больше импонируют каждый раз возобновляемые деловые отношения. Одна сторона не связывает себя с другой. И именно поэтому их отношения, основанные на экономической заинтересованности, носят длительный продуктивный характер.

Достичь мирового уровня по ЭВМ мы собираемся по самому осторожному прогнозу через 12 лет. Хотя зачем, собственно, догонять? Ведь и то, что мы делаем, используется совсем не так, как у «них». Наши потребители эксплуатируют потенциальные возможности ЭВМ различного класса в среднем на 7—35 процентов. «Миллионники» работают вместо нормативных 20 всего 13 часов в сутки, а массовые машины 11 вместо 15.

Так надо ли догонять при таком вялом рынке и таких равнодушных потребителях? Кстати, ЭВМ чаще всего выходят из строя из-за нестабильности тока в сети, а равнодушные потребители объясняется скудным обеспечением машин магнитными дисками и другими материалами. Короче, ЭВМ легче «выбить», чем полноценно использовать.

Одно связано с другим. Инфраструктура даже этой самой современной отрасли, насыщение которой изделиями определяет технический прогресс во всех остальных отраслях, в экономике в целом, не очень благоприятствует быстрому бегу.

Для того чтобы иметь какие-то шансы на международных промежуточных финишах, нужна гонка и внутри страны. Лучшие КБ, заводы, инженерные коллективы должны иметь возможность быстрого роста. И лучших должно быть несколько в каждой области проектирования и производства. А неудачники пусть «плачут». Без этого можно смело соглашаться с самыми закоренелыми пессимистами: мы «их» никогда не догоним.

Внедрение научно-технических достижений, совершенствование производства, обеспечение качества изделий как у «них», увеличение экспорта не достигаются только материальными посулами предприятиям. Устранить диктат нашего доморощенного изготовителя и восстановить поправные права потребителя можно только одним: постепенным свободным доступом иностранных товаров на внутренний рынок. Чтобы наши «Жигули» были такие же, как «тойота» или «рено», нужно и те, и другие, и третьи свободно продавать на внутреннем рынке. Тогда без призывов, заклинаний и валютных отчислений, без выговоров и нервоотрепки ВАЗ слелает скачок в качестве и техническом уровне своих машин. Тогда каждая рабочая минута инженера, служащего, рабочего будет использована на всю катушку. Все умозрительные кабинетные схемы экономического механизма окажутся ненужными, если предприятия окажутся в жестких условиях конкуренции на внутреннем и внешнем рынке. Тогда не понадобятся бумажные очковтирательские расчеты, как наши машины будут выходить на мировой технический уровень. Объем продаж внутри и вне скажет сам за себя.

И еще. В периоды обострения японо-американских торгово-экономических противоречий нет недостатка в объяснениях причин японских успехов в той или иной области. Снижение конкурентоспособности американских товаров, высокие издержки их производства, устаревшие формы и методы маркетинга, замедление динамики экономики, ее способности перестраиваться, перенастраиваться в соответствии с требованиями международного рынка — все это неоднократно обсуждалось на страницах газет и журналов, на симпозиумах и конференциях. В числе прочих причин отставания приводились различия в системах обучения в Японии и США. Если американские школьники уступают японским в решении задач по математике, то когда они вырастут, будут уступать японцам и в конкурентной борьбе.

В 1935 году только 19 процентов учеников, закончивавших начальную школу (6 лет обучения), продолжали учиться. Только 3 процента из окончивших начальную школу поступали в колледжи, то есть получали, по нашему термину, высшее образование. Соревнование в овладении знаниями было характерно только для элиты общества. Соответствующие цифры в 1960 году составили 58 процентов и 10 процентов, а в 1980 году 94 процента школьников после начальных классов переходили к обучению на следующем этапе школьного образования; 37 процентов из числа окончивших шестилетку получили высшее образование.

Конкуренция в области образования из элитарной в прошлом превратилась в массовую, более острую: занять соответствующую ступеньку в обществе претендует больше людей.

Наше образование — и начальное и высшее — в тупике. Не отсюда ли и беды нашей экономики? Нерадивые ученики превращаются в таких же работников.

Подведем итог.

Стартовая отметка, с которой послевоенная Япония начала свой путь, во многом соответствует тому, что характерно ныне и для нас.

За сравнительно недолгий период японская Золушка превратилась в принцессу. О японском феномене написаны сотни книг. Каждая из них предлагает свой набор причин и следствий. Корни «чуда» ищут и в культурном историческом прошлом, подчеркивают роль американского поводыря и то счастливое обстоятельство, что японцам не пришлось участвовать в гонке вооружений, что они сохранили уникальную способность интересоваться всем новым в мире, перенимая и внедряя у себя новинки науки и техники.

Но у меня не выходит из памяти один разговор с представителем средней по размеру японской фирмы. Речь шла о все той же актуальной для нас теме совместных предприятий.

Об отношении японцев к созданию совместных предприятий я узнал из двух фраз и двух жестов больше, чем можно узнать из многих статей, анализирующих политические, экономические и территориальные проблемы наших отношений. Представитель фирмы недавно вернулся из поездки в одну из восточноевропейских стран, где от него также домогались создания совместного предприятия. Мой собеседник относительно слабо знал английский, поэтому его английские слова сопровождалась жестами, чтобы я лучше понял его мысли.

— Вы знаете, — сказал он и как-то виновато улыбнулся, — когда я поехал посмотрел, как они... (он не нашел подходящих слов и, чтобы заменить их, откинулся в кресле в удобной ленивой позе человека, покуривающего и пускающего колечками дым в потолок), а мы... (он принял другую позу; чуть согнулся в кресле и показал, как японцы смахивают пот со лба)... Понимаете? — спросил он. Я понял, и мне стало как-то не по себе. Словно он сказал это не о ком-то другом, а о нас. У Японии нет никаких территориальных проблем с той страной, откуда приехал представитель фирмы. Есть другая проблема — разное отношение к труду.

Возможно ли в этом случае совместное предприятие? Есть ли для него основа? Даже при условии перехода на рыночные отношения в экономике... Думаю, что нет. В «японском зеркале» можно увидеть истинное лицо многих рецептов счастливой, обеспеченной жизни, которые хором повторяются в десятках статей, интервью, докладах экономистов и политических деятелей.

Вот один из них — вопрос собственности. Нужно отдать или продать заводы трудовым коллективам, и все преобразится. Не будем знать куда и девать блага. Товаров будет просто навалом. Эта идея стала настолько всеобщей, что шахтеры претендуют на шахты, парикмахеры на свои заведения, а два десятка работников — на электростанции, в которые вложены миллионы рублей, собранных со всех.

Между тем в соседней стране, где все товары отличного качества, где каждый работник производит подобных товаров в два раза больше, чем наш собрат, никому и в голову не приходят подобные идеи. Нет другой страны, нет другого народа на Земле, который в столь короткие сроки смог достичь столь выдающихся успехов. Но разве японские шахтеры и рабочие владеют заведениями, на которых работают? Нет. Собственность, как и у нас, отделена там от трудовых коллективов, а смотрите, в одном случае производится то, что чрезвычайно ценится во всем мире, за что платят полновесными деньгами, а в другом то, что никому во всем мире и даром не нужно. По японскому рецепту владелец шахты как раз нанимает трудовой коллектив, включая его директора, и увольняет, когда они плохо работают. И именно этот рецепт уже подтвердил свое выдающееся воздействие и на экономику в целом, и на народ, которому не нужно стоять в очередях. Зачем же нам опять изобретать велосипед? А сколько мы возлагаем надежд на долларовый дождь в нашу экономику, как на живительную влагу, которая оросит сухую почву и на ней взрастет наше благополучие? Нет такого производства, не говоря уже об отрасли промышленности, где бы мы не надеялись создать с любым зарубежным партнером совместное предприятие, заработать валюту и выгнать себя за волосы из технической отсталости.

Спрашивается, почему же японцы, имея те же проблемы, что и мы: и сырьевой экспорт, и инфляцию, и отсутствие валюты, и неконкурентоспособность своих товаров, — не цеплялись за фалды каждого американца и не лепетали к месту и не к месту: «Давайте создадим совместное предприятие». Они покупали лицензии, использовали зарубежный опыт, но надеялись не на чужие, а на свои силы и возможности. И результат говорит сам за себя. Так что же, возмутится читатель, в великом «японском чуде» нет ничего особенного? Никаких особых методов и секретов, которые обеспечили бы нам хорошую жизнь? И все сводится к примитивному и так надоевшему нам: «Вкальвать, вкальвать и еще раз вкальвать»?

Да, главный секрет в этом: «Работать, работать и еще раз работать». Работать так же упорно, как они, и даже больше, чем они, потому что мы катастрофически отстали, работать с теми же результатами по качеству и количеству, как у них. И если требовать чего-то от власти имущих, так это прежде всего того, чтобы результаты труда доставались тем, кто упорно и результативно работает, а не тем, кто так работать не хочет...



АЛЕКСАНДР ШМЕЛЕВ

*

ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО И КОНКУРЕНЦИЯ

Наши кризисы — экономический, экологический, межнациональный, нравственный и культурный — в конечном счете сводятся, по-видимому, к кризису нашей официальной идеологии, научного коммунизма. Несмотря на работу гигантской тоталитарной машины «промыwania мозгов», на уроки политграмоты, сопровождавшие человека с младших групп детского сада до собраний пенсионеров-жильцов при домоуправлениях, в официальную идеологию научного коммунизма массы перестали верить. И это страшнее, чем недоверие правительству. Мы не отдаем себе до сих пор отчета в том, как это страшно. Ведь масса людей, воспитанных в духе атеизма, осталась вообще без всякой веры! Идеология коммунизма еще много раньше 80-х годов перестала соответствовать в сознании людей тому, что они видели вокруг себя. Возник глубочайший кризис — духовности, утраты позитивного идеала, утраты надличностных смыслов и целей. Без преодоления этого кризиса мы вряд ли выберемся из всех остальных кризисов. Таков эффект длительной тотальной идеологизации всей нашей жизни. Советскому человеку уже психологически трудно без идеологии.

Я думаю, что нэп в 1929 году провалился не только из-за козней Сталина, не только вследствие завистливой алчности люмпенов, как пишут сейчас. Идеи нэпа, культивирование обогащения любой ценой, были противны наивной, почти религиозной трактовке идеала коммунистического («подлинного») труда как труда бескорыстного, достаточно укоренившейся в народном сознании.

Как бы мы ни нахваливали ныне цивилизованный капитализм за его экономическую эффективность, те черты свободного предпринимательства, которые окружают нас непосредственно (а тому доказательство — превращение слова «кооператор» в массовом сознании в синоним рвача), не привлекают нас. Мы видим, что бескорыстные (просто честные) кооператоры не так стремительно сбивают свои капиталы и в конкуренции проигрывают. Вот и вся логика, вот и весь опыт! И вывод — конкуренция ставит на пьедестал, на вершину пирамиды социального успеха отнюдь не любителя бескорыстных пожертвований, а стяжателя-бизнесмена, бросающего всю прибыль до последней копейки опять-таки в дело, в дело, в дело...

Что нам до разъяснений того, что жесткая конкуренция — неизбежная черта всякого раннего, зачаточного рынка (стадии первичного накопления), что при определенном насыщении рынка конкуренция сама собой, естественным путем приобретает цивилизованные формы. Нет, это нас убедить не может! В нашем сознании легальный дельец лишь прикрывает своим тщедушным тельцем мощную и зловещую фигуру дельца подпольного — главаря мафии, пользующегося легальным рынком лишь для отмывания своих бесчестных капиталов, замешанных на потакании порокам, на продаже тела и души, на крови... В наше сознание внедрен образ бандитского капитализма, главный клич которого — «деньги не пахнут!». И мы считаем твердо, что с этим кличем, с таким звериным рыком всякий бандит может легализовать свои деньги, купить себе удостоверение на имя почтенного гражданина, вложить деньги в солидный устойчивый бизнес и жить себе на проценты где-нибудь на собственном ранчо. Этот образ наша пропаганда формировала в сознании советского человека долго и усердно. И наивно было ожидать, что теперь это не выйдет нам боком — что не станет этот образ для некоторых руководством к действию в новых экономических условиях... Долго доказывали, что коммерция — это искусство взаимного надувательства, а теперь ждем, что откуда-то сама собой возьмется определенная культура и этика коммерции?..

Мы употребляем понятие «черный рынок». Не очень точно понимаем, что это такое, но

вкладываем в это неизменно негативный смысл. Поскольку всякий другой свободный рынок прежняя модель социализма исключала, то мы просто не знаем, что такое белый рынок. Чем отличается он от черного? От одного дипломированного экономиста я недавно получил примерно такой ответ: «Наука экономика не различает черного и белого рынка. Для нее черного рынка просто не существует. Он такой же рынок, где действуют такие же (?) рыночные отношения». Я был поражен. Я не профессиональный экономист, но мне всегда казалось, что черный рынок, если он по-настоящему черный, по определению, не может прийти к насыщению, к равновесию спроса и предложения и хотя бы по этому признаку, чисто формально-динамическому, отличается от легального, открытого, белого рынка. Спекулянт — хозяин черного рынка — не может не создавать искусственного дефицита; без дефицита, точнее — без сокрытия реальных размеров предложения, спекулянт не существует, без дефицита он не может получить свой навар — без собственного труда полученные, фактически украденные у покупателя деньги. Только ситуация дефицита заставляет покупателя — клиента черного рынка — переплачивать, платить сверх, ибо он стоит не перед альтернативой «иметь подороже или иметь подешевле», а перед ситуацией «иметь или не иметь вообще».

Исследована ли в нашей политэкономии механика дефицита, создана ли теория, позволяющая противостоять искусственному дефициту? Понятно, что она не могла быть создана своевременно¹. И не только потому, что официальная застойная идеология накладывала свое табу на само признание факта неизбежности дефицита при развитом социализме. Сталинская экономическая наука восприняла заветы марксизма-ленинизма так, что все время шагала в сторону от психологии. А спекулянт-практик всегда у нас оказывался гораздо лучшим знатоком человеческой психологии, чем увенчанные лаврами академики! Только «лучшие наши психологи» своих трудов не публикуют, они тихо продолжают делать свои «не пахнущие» деньги. И вот мы видим, что в одном месте у нас груды товаров, а там, где их ищут днем с огнем, — дефицит. Так что практик-спекулянт давно познал написанный закон психологии потребителя, которого вы не найдете в учебнике марксистской политэкономии: ситуация дефицита запускает ажиотажный спрос. Что такое ажиотажный спрос? Это готовность потребителя платить за товар дороже его реальной ценности². При черном рынке товар никогда не лежит на каком-то открытом всеобщему обозрению прилавке, и никто не видит, что его хватает на всех желающих. И тогда потребитель рассуждает примерно так: «Мне, конечно, лишнего куска мыла не надо. Но возьму-ка я впрок — вдруг потом не достану, а достану, так пригодится — обменяю на что-нибудь еще более дефицитное». И хотя товара хватало на всех, если хотя бы у одного потребителя появилась двойная «пайка», значит, кому-то одному не досталось. А это он и есть — родимый и желанный, дорогой сердцу спекулянта Дефицит.

На любом нормальном рынке равновесие спроса и предложения поддерживается подвижной ценой. Но когда по чьему-либо высочайшему повелению цена на белом рынке объявляется так называемой устойчивой, это при малейших признаках дефицита приводит к неминуемому зарождению нелегального (то есть противозаконного) черного рынка, где действуют противозаконные подвижные (повышенные) цены, а этика человеческих отношений в силу противозаконности основного отношения купли-продажи становится тоже противозаконной — воровской этикой. Кому жаловаться, если в коробке конфет, которую ты хватанул из-под прилавка, оказались карамельки вместо шоколадок? Некому. На черном рынке нет никакой общественности, никакого товарищества потребителей, никакого гражданского общества, которое защитило бы потребителя от спекулянта. Ты должен вступаться за свои права собственноручно и единолично. Но ты кумекаешь, что за продавцом стоит банда. Тогда и тебе нужна своя банда...

У нас до сих пор упорно и серьезно говорят о развале потребительского рынка. Но надо было бы говорить по старинке — о развале снабжения, а не рынка. Ибо рынка у нас легально нет. По твердым и неизменным ценам работает система снабжения, а не рынок. Почему такая игра словами, такая путаница? Наверенно ли, случайно ли?..

Наша «гласность» недавно кем-то была объявлена уникальным, не переводимым точно ни на один другой язык понятием. Западные журналисты послушно пишут в своих репортажах из СССР «glasnost». Они считают, впрочем, что гласность, дарованная сверху, есть действительно не то же самое, что свобода слова в развитом западном обществе. Я предлагаю связать гласность с открытостью. Гласность в политике (во внутренней и внешней) — это, по-моему, то же самое, что открытый, белый рынок в экономике. Если в политике ты ставишь задачу своего конкурента (противника) обжечь-обмануть и победить, то гласность тебе, конечно, ни к чему. Но если ты стремишься искренне к паритету, к партнерским отношениям, к равенству, то гласность, открытость в политике необходима — надо публиковать и реальный военный бюджет (совершенно честно!) и социальную статистику (заболеваемость, смертность хотя бы). Гласность — условие

¹ Вышедшие в последнее время работы лишь идут вдгонку за событиями.

² Сам потребитель превращается при дефиците в скупщика.

честной политики. Без нее ни другие народы и правительства, ни собственное население нашему правительству доверять не будут. Без гласности политик превращается в демагогию — спекуляцию словами и манипулирование одуроченными людьми.

Связь тайной, скрытой политики с черным рынком — это не просто ассоциация родственных явлений. Одно порождает другое.

Опасность монополии на средства массовой информации является не менее грозной для общества, чем опасность монополии на средства материального производства. Без преодоления этой монополии нет открытой соревновательности идей. В ответ на монополизм партийно-государственных органов информации народ неизбежно отвечает стихийным созданием «черных рынков» информации.

Преодолеть засилье монополизма нам мешают идеологические и психологические барьеры, предубеждения. Я хотел бы специально остановиться на неоправданном предубеждении против конкуренции. Корни его глубоки, так как на противопоставлении отношений сотрудничества госпредприятий отношениям конкуренции частных предпринимателей едва ли не столетие строился фундамент нашей официальной идеологии. Но по моим наблюдениям, горячее радение на словах за сотрудничество чаще всего оборачивается на практике установлением монополии. И в эту демагогическую ловушку попадали у нас целые поколения! Следуя ортодоксальному марксизму, провозгласившему анафему частной собственности, мы не заметили, что главный социальный порок кроется не в частной собственности как таковой, а в монопольной собственности! Конкурирующие частные предприниматели всегда вынуждены считаться с профсоюзами наемных работников, а вот монополизированный бюрократией госаппарат, как мы видим, десятилетиями может делать с профсоюзами все что хочет. По уровню эксплуатации трудящихся госмонополии превосходят частные монополии.

Всякий монополизм неизбежно идет к застою, коррупции, искусственному сдерживанию процессов обновления. Но при переходе от закрытого, монополизированного общества к открытому, динамичному мы еще не понимаем, сколько усилий должны потратить на поиск продуктивного компромисса между интересами сторонников нового и интересами многочисленных сторонников старой системы.

Зарисовка из жизни. Едем в автобусе в летний день. Какой-то пассажир, которому душно, открывает вентиляционный щит в потолке салона. Вдруг ему мужчина с места: «Закройте сейчас же, моя жена после болезни, ей сейчас надует!» — «Ишь ты какой! Ей, видите ли, надует, а другим задыхайся?» — «Закрой, тебе сказано. и не хами!» — «Сам ты хам. Вози свою бабу на «скорой помощи», понял, если она у тебя больная, а люди нормальные должны летом в автобусе дышать». Я не буду продолжать этот диалог: читатели догадываются, что обмен мнениями идет к использованию непечатных выражений и аргументов. Я на этом примере останавливаюсь не для того, чтобы поговорить о низкой нашей культуре, об отсутствии элементарного такта и терпения в простейших бытовых конфликтах. Этот пример, если хотите, метафора.

При казарменном социализме было хорошо одним и плохо другим. В обществе конкуренции тоже всем хорошо не бывает. И то и другое мы теперь знаем (точнее, первое знаем, а во втором убеждены). Но чтобы, уходя от казарменного социализма, не впасть нам сразу же в жесткий капитализм (а тогда неизбежен социальный конфликт между теми, кому лучше других живется при том и другом строе), нам нужно как следует понять, кому же живется хорошо в одном случае и будет плохо в другом. С капитализмом у нас больше ясности — лучше живется тем, у кого есть собственность, то есть имущим по сравнению с неимущими, и тем лучше, чем больше собственности. С социализмом ясности меньше, потому что все годы думать в этом направлении официально было запрещено. Теперь распространилась точка зрения: хорошо в рамках командно-административной системы живется бюрократу-аппаратчику. Можно тут же спросить: а прогульщику-бракоделу, которого увольняют не увольняя — все равно не прочесть, так как он куда-нибудь опять быстро строится и снова за свое?

В одном очень авторитетном психологическом тесте есть такой вопрос: «Что бы вы предпочли: работать на твердый, постоянный, пусть и небольшой оклад или работать сдельно — с расчетом заработать много, но и с риском заработать мало?» Я со своими коллегами имел возможность просчитать на компьютере, с какими другими установками и чертами людей коррелирует (статистически связан) ответ на этот вопрос. Оказалось, что с очень многими! Оказалось, что склонные рискнуть имеют, как правило, более высокую самооценку, не терпят монотонности и заорганизованности, считают, что удача в жизни больше зависит от них самих, чем от внешних обстоятельств, они психологически лучше приспособлены к соревновательности и конкуренции. Более того, без элементов соревновательности им просто не хватает мотивации, желания выкладываться в работе.

Те, кто предпочитает твердый оклад, более терпимо относятся к монотонности, к предопределенности своего будущего, испытывая неуверенность в своих силах, они стремятся обрести твердые гарантии за счет такой внешней организации дела, за счет такого планирования производства и распределения, который минимизировал бы для них риск, они избегают ситуаций конкуренции (рыночной стихии), они предпочитают коллективную ответственность индивидуальной.

В сущности, выявилось два полярных стиля социального приспособления (социального поведения). Чтобы избежать навешивания оценочных ярлыков, назовем два этих стиля по возможности более нейтральными терминами: например, инициативный и исполнительный. Подчеркнем, что каждый отдельно взятый человек не является ни чистым инициатором, ни чистым исполнителем, а сочетает оба стиля в известной своей собственной пропорции: у одного преобладает элемент инициативного стиля, у другого — исполнительского. Подчеркнем также, что это различие не является врожденным, то есть пропорции могут меняться в течение жизни одного и того же человека в зависимости от соотношения успехов и неудач: всякий успех повышает уверенность человека в своих силах, повышает его уровень притязаний и ведет к активизации в нем потенциального инициатора, а неудачи повергают человека в уныние, он невольно превращается в пассивного исполнителя.

В тисках репрессивной, сверхцентрализованной командно-административной системы уютно чувствует себя лишь исполнитель, а инициатор не может реализовать себя: все его дерзкие планы и проекты наталкиваются на то, что на много-много лет вперед (минимум на пять) все уже давно расписано — кто, кому, когда, чего и за сколько поставляет и т. д.

Наоборот, в условиях жесткой конкуренции слишком неуютно чувствует себя исполнитель: отсутствие четких гарантий вознаграждения за трудозатраты подавляет его мотивацию к труду.

Но вот парадокс. Когда исполнитель добивается в масштабах всей страны такой организации труда и распределения, которая гарантирует ему твердый оклад за временные трудозатраты (фактически не зависящие от потребительских качеств производимой продукции), когда он добивается для себя необходимого душевного комфорта, безрискового существования как производитель, он как потребитель оказывается в положении ловца удачи, ибо жесткая заорганизованность производства порождает непредсказуемость ситуации в сфере потребления.

Точно так же нет покоя и инициатору, когда он весь социально-экономический строй создает по своему образу и подобию. Тут, наоборот, всякий человек, взятый как потребитель, может не беспокоиться — рынок насыщен довольно качественными товарами, но как производитель он покоя лишен — жесткая конкуренция между производителями за сбыт своей продукции не гарантирует ему компенсации трудозатрат, постоянно грозит разорением.

И та и другая модель в своем законченном, абсолютном виде не дает социальной гармонии: в одном случае за свои социальные права начинает бороться исполнитель, в другом — инициатор. В этом контексте мы теперь, с новых высот нашего исторического опыта, должны наконец понять, в чем порок ортодоксального марксизма — в акценте на необходимость классового боя и в призыве к полной победе в этой борьбе исполнителя над инициатором.

Но инициатора нельзя победить в принципе! Так же как нельзя победить исполнителя! Потому что это не классы людей по их месту в общественном производстве и отношении к собственности. Потому что с физическим уничтожением «имущих» среди «неимущих» неизбежно вновь выделяются свои инициаторы и их инициатива неизбежно в условиях сверхрегламентированного государственного строя начинает принимать противоправные антигосударственные формы: они начинают двигать вверх и прикармливать так называемых своих людей на определенных этажах и в нишах пирамиды государственной власти, они неизбежно начинают спекулировать (тайно торговать) чем могут — своим правом подписи на юридических и платежных документах, своими неликвидами и ликвидами и т. п. И делают это инициаторы просто потому, что законного пути реализации своей инициативы в рамках регламентированной системы административных, нерыночных отношений у них просто объективно нет! Точно так же как у каждого человека есть левое полушарие (и способность к логическому мышлению) и правое полушарие (и способность к образному мышлению) и левое полушарие не может уничтожить правое (а правое — левое), так и инициатора сам исполнитель не может уничтожить в себе самом.

Личность человека — не совокупность и не продукт тех общественных отношений, в которые он в данный момент встроен, человек не сводится к той текущей роли, тому социальному амплу, в котором он в данный момент (вынужденно или добровольно) выступает. Личность богаче этой текущей роли. Каждый человек заключает в себе потенциальную возможность играть разные роли. Подкрепляйте систематически и от души в запуганном исполнителе искорки инициативы — и вы получите настоящего, пышущего энергией Инициатора. И наоборот: если инициатива постоянно оказывается наказуемой, то через десятки лет в радиусе сотен километров не найти нормального инициатора (по крайней мере без элементов воровской, противоправной морали). Таким

образом, в другом человеке нельзя уничтожить инициатора (не уничтожив его физически), точно так же как нельзя уничтожить потенциального инициатора в себе самом. Трагический опыт коммунистического строительства этим-то выводом и должен обогатить наше социальное познание. Теория антагонизма классов на сегодняшнем историческом этапе себя полностью исчерпала, она теперь контрпродуктивна.

Но люди приучены к бескомпромиссному социальному восприятию и поведению. В массе своей они уже как бы не могут без «образа врага». Что это значит с точки зрения психологии? Любые противоречия и различия, которые начинают затрагивать их собственные интересы, люди трактуют мгновенно и автоматически (по установке!) как антагонистические (непримиримые) и непреодолимые. Таков вредный эффект воздействия устаревшей идеологии социальной нетерпимости.

Возвратимся к нашей зарисовке. Ни тому, ни другому участнику автобусной ссоры даже не приходит в голову, что возникшее противоречие можно решить мирно путем компромисса, а не конфликтно — путем силового давления, уничтожения (как минимум морального) своего противника. Как же! Ведь компромиссы у нас презираются. Людям не приходит в голову, что завтра они могут оказаться на месте своего оппонента. Они не смотрят на ситуацию глазами оппонента. Фиксация на ущемлении собственных их интересов (так называемых законных прав) просто зашоривает им глаза. Разве тот, кому душно, не может представить себя завтра большим, впадающим в озноб от малейшего, даже теплого ветерка? Инициатор, который с победным кличем «пусть проигравший плачет!» просто добивает, топчет ногами лежачего, поверженного конкурента, — разве он не может представить себя завтра на его же месте? Ведь стоит самым горделивым из нас вдруг всерьез заболеть, как мы вновь открываем для себя непреходящую ценность таких понятий, как милосердие, участие, бескорыстная помощь. Оказывается, что бесплатная система здравоохранения имеет свои преимущества, что социальные гарантии временной нетрудоспособности имеют огромный смысл, что без людей, способных простить вам мелкие прошлые обиды и помочь вам, вы уже никуда...

Ни жесткий капитализм, ни жесткий закрытый социализм не создают условий для продуктивного диалога между исполнителями и инициаторами. В обеих системах одни берут верх над другими и подавляют других, не понимая при этом, как дорого это им самим обходится. Условия для такого диалога, по-видимому, возникают при мягком капитализме (когда парламентская демократия позволяет участвовать в дискуссиях представителям рабочих партий и демократических движений). Такие условия — суть демократического общества, открытого к дискуссиям между представителями, носителями разных стилей социального поведения, разной экономической психологии.

Я проводил прямые психологические опыты, чтобы как-то проверить на практике свои взгляды, свою гипотезу о том, что один и тот же человек может в своем психологическом статусе из исполнителя-коллективиста превращаться в инициатора-индивидуалиста. На свободном уроке с детьми четвертого, пятого классов я предлагал игру в угадывание «камень — ножницы — бумага»: ученики выкидывают на пальцах одновременно с ведущим одну из трех фигур и в зависимости от фигуры у ведущего либо случайно (телепатии по статистике угадываний я у советских школьников не обнаружил) выигрывают очко (например, «ножницы режут бумагу»), либо проигрывают («камень заворачивается в бумагу»), либо имеет место ничья (и у игрока «бумага» и у ведущего). Кроме того, ученикам я говорил, что они могут разделиться на две группы: в первой группе все играют на общий котел, то есть индивидуальные набранные очки суммируются и поровну делятся на каждого, а во второй группе каждый играет за себя. После первых же пяти туров я сказал ребятам, что каждый из них может, если хочет, перейти из одной группы в другую. Оказалось, что в этом условном эксперименте действительно прослеживается закономерная тенденция в переходах. Кто переходил из группы индивидуалистов в группу коллективистов? Те, кто оказывался в группе индивидуалистов на последних местах! Дело в том, что они видели, что их результаты уступают не только победителям-индивидуалам (а случайный разбор результатов игры в угадывание, как вы понимаете, происходит неминуемо — просто по законам теории вероятности), но и всем ребятам из группы коллективистов (результат коллективистов по закону больших чисел всегда оказывался ближе к среднему уровню «фифти-фифти»). Поэтому, чтобы улучшить свои показатели, они переходили в «колхоз». Но были и такие, кто из «колхоза» переходил в индивидуалы. Опять же логика их поступка оказывалась вполне психологически оправданной — соответствовала их индивидуальной экономической психологии, экономической стратегии: они видели, что их индивидуальный результат выше среднего, но в «колхозе» он усредняется, то есть в качестве индивидуала они могли бы выиграть больше.

Что ж, все закономерно: самооценка успешного коллективиста растет и оказывается неудовлетворенной, он психологически подготавливается к риску и переходит в индивидуалы. Наоборот,

индивидуал-неудачник теряет уверенность в себе³ и хочет опереться на коллектив. Соотношение перехода туда и обратно зависит от уровня достижений «колхоза» по сравнению с индивидуалами: если «колхоз» (опять-таки в моей игре это было возможно по чисто случайным причинам) оказывался успешнее среднего уровня (то есть превосходил большинство индивидуалов), то из него меньше выходили и больше в него приходили. Если же «колхоз» давал своим членам меньше, чем большинству индивидуалов, то поток выходящих из «колхоза», вполне естественно, оказывался многочисленным.

Некоторые могут заметить, что этот результат не открытие. Да, именно нечто подобное мы могли бы наблюдать в период коллективизации у нас в стране. Могли бы... но не смогли, так как естественные переходы из одного общественного положения в другое были нарушены искусственными, силовыми, репрессивными мерами.

Но дело еще и не только в давлении сверху, со стороны агрессивных служителей идеологии. Дело еще и в том, что в реальной жизни индивидуалы и коллективисты воспринимают друг друга, мягко говоря, критически. Мне было радостно убедиться в том, что наши дети, наши школьники в своем большинстве очень легко отнеслись к условностям предложенной им игры: почти во всех классах находилось достаточно ребят и свободных от давления догм коллективизма, и охотно зачисляющихся в индивидуалы — как с самого начала, так и в ходе игры. Но в жизни взрослым людям, к сожалению, не до чувства юмора. Коллективисты воспринимают индивидуалов как стяжателей, индивидуалы коллективистов — как лодырей, подвергают друг друга моральному осуждению, а после открытой перепалки некоторые из той и другой группы спонтанно превращаются в «идейных» бойцов, понимая свою цель уже не в мирном созидании и труде, а в борьбе (в сознательных деструктивных действиях против своих идейных оппонентов).

Пожалуй, исторический опыт говорит за то, что в этой взаимной нетерпимости чаще задают тон исполнители-коллективисты. Понять другую сторону им мешает такая (кажущаяся им непреложной) самоочевидная логика: мы вкалываем от зари до зари, пот льем, а этот хитрован внедрил у себя машинку и сидит себе поплеывает... Какой труд стоит за этим новаторством, за этой инициативой внедрения новой технологии, работяга-исполнитель, как правило, и не ведает. Ибо не испытывал на себе тяжесть такого труда. А это работа ума плюс психологическое напряжение риска. Ведь даже самое уродливое ростовщичество — жизнь на проценты от вклада — есть тоже риск. Вдруг вкладчик не отдаст? Даже если он в долговой яме, кто вернет тебе потерянное? Исполнитель избегает риска, но усилия тех, кто на риск готов, как правило, не ценит. Такая вот тут психологическая трудность взаимопонимания. Сказанное еще в большей степени относится к управленческому труду, где человек несет на себе груз ответственности не только за себя, но и за целый коллектив исполнителей. Исполнители, зараженные бациллой «классового презрения» к управленческому труду, не выносят порой именно самых эффективных руководителей — тех, кто мало суетится, не ходит в атаку в первых рядах, не производит тонны руководящих бумаг, у кого дело налажено и идет как бы само собой. Исполнителю, требующему от всякого труда материального остатка, этого мало.

В нашем многолетнем и неумеренном восхвалении любого коллективизма мы вознесли понятие «коллектив» на некий олимп, не замечая, в частности, что сами по себе коллективы крайне редко могут быть настроенными на риск и новшества. Рискует, предлагает новое, как правило, индивид, личность. И чаще всего одиночке приходится преодолевать сопротивление консервативного большинства в коллективе. Если в обществе не предусмотрены систематические механизмы поддержки индивидуальной инициативы, то такое общество рано или поздно застывает и оказывается на обочине истории.

В этом контексте, возможно, станет понятно, почему лозунг «демократического социализма» мне не представляется до конца продуктивным: в установках большинства членов многих коллективов преобладают элементы консерватизма, поэтому такая «демократия» становится для чиновников-политиканов весьма удобным инструментом борьбы против «выскочек-новаторов». А вот идея открытости добавила бы нашему обществу внимания не только к позиции большинства, но и к позиции меньшинства, к позиции одиночек.

Как преодолеть непродуктивную, более того, опасную конфронтацию между инициаторами и исполнителями, которая в отсутствие взаимопонимания в переломные моменты общественной жизни, какой мы и переживаем сейчас, неизбежно обостряется? Нужен диалог, позволяющий взвешивать и суммировать аргументы и тех и других, позволяющий удерживать раскачивающийся маятник конфликта от срыва, от падения в бездну гражданской войны. Гражданский мир — высшая ценность открытого общества.

А как сочетать принципы рыночной экономики с социальными гарантиями, необходимыми

³ Психологи говорят здесь о падении «уровня притязаний».

исполнителям? Будут ли при наличии социальных гарантий люди заинтересованы выкладываться в труде?

Давайте по порядку. Как мы обычно мыслим себе конкуренцию в производстве? Опять-таки результаты специального исследования показывают, что у нас люди в большинстве своем не проводят различий между словами «конкуренция» и «противоборство». Хотя если вникать в буквальный смысл, конкуренция — это состязание в беге (конкур), а не столкновение с нанесением друг другу ударов. Это неразличение — почти столь же грубая ошибка, как и непонимание различий между спортивной борьбой и дракой. В случае конкуренции бегут, продвигаются вперед все конкурирующие стороны. И в этом смысле имеет определенные достижения и проигравший. Честная конкуренция без подножек бегущему рядом — это не борьба, это спорт. А в спорте, как известно, проигравшего не уничтожают. Более того, дают утешительный приз, особенно если проявлены воля, упорство, честность. Конкуренция — это если и не сотрудничество, то и не антагонистический конфликт на уничтожение. Мы же, десятилетиями не признававшие на словах ничего, кроме сотрудничества, не понимаем и не умеем следовать на практике специфической этике честной конкуренции, пропитываемся «классовой ненавистью» к конкуренту, тратим больше сил не на созидание, а на то, чтобы помешать конкуренту. Как-то в одном психологическом интервью я обнаружил поразительный симптом — первый мотив в своем личном (сугубо личном) трудовом плане, который сформулировал мой клиент из числа довольно видных людей в области разработки советских персональных компьютеров, звучал: удавить конкурентов! Вот так! Ни больше и ни меньше: удавить — и, как говорится, вся любовь.

Советские люди, которым вдолбили в головы образ хищного раннего полубандитского капитализма с жесткой конкуренцией, к сожалению, уверены в том, что раз экономическая конкуренция, то позволено все. Сюда же приплюсуйте опыт физической расправы наших недавних политических кумиров с их оппонентами. Нет, жесткую конкуренцию мы не можем себе позволить! И дело не только во всплеске бытовой преступности, не только в разрастании спрутов преступности организованной. Дело в том, что на современном уровне технических мощностей, которые есть на руках у людей, при современных экологических проблемах, при грозной опасности глобальных технических аварий требование мягкой конкуренции становится не только благим намерением «мягкотелых интеллигентов», но и жизненной необходимостью для всех.

Что же такое мягкая конкуренция в отличие от жесткой? Приведу пример известный — из опыта матчей за мировую шахматную корону. Сколько из гонорара за матч получает победитель? Ведь не все 100 процентов? Иногда всего 66 и почти никогда больше 80. Это значит, что побежденный за свое поражение, постигшее его в борьбе за победу, получает до трети призового фонда. Многие ли из рядовых тружеников стали бы выкладываться при таких условиях: победишь — 400, проиграешь — 200 рублей в месяц? Каково должно быть оптимальное соотношение, чтобы побуждать к трудовой выкладке максимальное количество людей? Кто, когда изучал эти вопросы, собирал массовую статистику? Я таких работ, например, не знаю. А это и есть сверхактуальная область современной науки о человеке и обществе — экспериментальная экономическая психология.

Экономисты используют нередко в описании процессов социального сравнения термин «децильное отношение». Это отношение дохода лиц из первого дециля (10 процентов самых высокооплачиваемых) к доходам лиц из последнего дециля (10 процентов наименее оплачиваемых). Децильное отношение — показатель расслоения. Вполне разумно считается, что оно не должно быть ни слишком большим (десять к одному, например), ни слишком маленьким (два к одному). А почему так? Потому что и сверхрасслоение и уравниловка подавляют трудовую мотивацию. Сверхрасслоение подавляет мотивацию менее успешных — они переживают социальный отрыв от преуспевающих как непреодолимую пропасть. Уравниловка подавляет мотивацию более эффективных производителей — как ни старайся, получаешь примерно столько же, сколько тот, кто ничего толком не делает. Быстрее движется вперед в своем развитии та экономика, экономика того общества, в котором активно мотивированы и более и менее успешные, и инициаторы и исполнители.

Можем ли мы на научной основе, а не стихийно и на глазок управлять расслоением, управлять тем же самым децильным отношением? Уверен, что в условиях демократического, открытого государства, когда соответствующие законопроекты проходят всестороннее обсуждение избранными на демократической основе депутатами Верховного Совета, это возможно.

Ну а что же здесь от психологии? А то, что психолог отчетливо понимает, что само по себе даже оптимальное децильное отношение, если оно получено с помощью различия в доходах разных слоев населения (высокие доходы у шахтеров, низкие у учителей, например), не даст никакого мотивирующего эффекта! Процессы социального сравнения идут прежде всего в межличностном окружении — то есть каждый человек сравнивает свои достижения с достижениями своих ближайших коллег по работе. А у нас здесь до сих пор преобладает уравниловка! Повышают зарплату

учителям — и опять всем сразу, и плохим и хорошим. Ну и что? Никакого мотивирующего эффекта. А ведь даже отношение в доходах 1,5 : 1 (возьмем, например, премии по итогам года) между равными по статусам сотрудниками рассматривается как скандальное. Люди боятся прямой конкуренции между ближайшими сотрудниками, боятся поссориться.

Но тогда проблему нужно решать так, чтобы, сохраняя внутри коллективов, конечно же, необходимые им отношения сотрудничества, организовывать соревнование между коллективами, то есть фактически переводить на хозрасчет, на самоокупаемость самые мелкие, сопоставимые по функциям коллективы и группы на предприятии и широко оповещать всех об итогах такого коммерческого состязания.

Система мягкой конкуренции должна стимулировать отставшего в гонке не останавливаться вовсе, но бежать до самой финишной ленточки, стараясь максимально сократить разрыв с победителем, побуждая и победителя до последнего момента бежать изо всех сил. То есть в распределении вознаграждения должен учитываться не только факт победы (победителю — все, проигравшему — ничего), но и величина разрыва между победителем и проигравшим: если ты оказал достойную конкуренцию, если ты боролся честно и до конца, получи больше. Это и есть нормальная конкуренция — соревнование, от которого в выигрыше должны оказаться обе стороны...



Н. ЛЕБЕДЕВА

*

КАТЫНЬСКИЕ ГОЛОСА

В ночь с 23 на 24 августа 1939 года в Москве Риббентропом и Молотовым в присутствии Сталина был подписан «Пакт о ненападении». Однако статьи договора шли дальше названия — фактически провозглашалось сотрудничество, даже в случае, если одна из сторон нападет на третье государство. Неотъемлемая его часть — «Секретный протокол» в одном из главных пунктов определил границы советской и германской сфер интересов в Польше, допускал возможность ликвидации ее суверенитета. 3 сентября, через два дня после развязывания второй мировой войны, руководители «третьего рейха» предложили Советскому правительству, чтобы Красная Армия также выступила против польских войск и оккупировала «русскую сферу влияния». Молотов ответил, что такие действия будут предприняты несколько позже. Подготовка же к ним началась уже 6—7 сентября. К 13 числу многие части были подтянуты к исходным рубежам.

В 5 часов утра 17 сентября 1939 года по договоренности с германской стороной соединения Красной Армии вступили на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, отошедших по Рижскому договору 1921 года к Польше. Подавляющее большинство из 300 тысяч польских солдат и офицеров, дислоцированных в восточных воеводствах, выполнили приказ своего главнокомандующего не оказывать сопротивления советским войскам. Многие разошлись по домам, пересекли границу с Литвой, Венгрией и Румынией. Около 130 тысяч человек были задержаны как военнопленные частями РККА и оперативными отрядами НКВД. И это несмотря на то, что СССР не объявлял войны Польше. В соответствии с международным правом единственная цель плена — воспрепятствовать военнослужащим вражеской армии, их дальнейшему участию в боевых действиях. Но к началу октября операции закончились. Таким образом, для пленения польских солдат и офицеров не было юридических оснований. Незаконным являлось и интернирование — в момент задержания польских военнослужащих эти территории формально не успели присоединить к СССР. Попраанием международных норм явилась и передача военнопленных из-под опеки армии органам НКВД. Последние заблаговременно и обстоятельно подготовились к приему десятков тысяч польских солдат и офицеров. 19 сентября было учреждено специальное Управление НКВД СССР по делам о военнопленных (УПВ), которое возглавил майор П. К. Сопруненко; созданы 8 лагерей-распределителей на 10 тысяч человек каждый (Козельский, Старобельский, Осташковский, Путивльский, Южновский, Южский, Оранский, Козельщанский), более ста приемных пунктов. В двадцатых числах сентября нарком внутренних дел СССР Л. П. Берия утвердил положения о военнопленных, об УПВ, о лагерях-распределителях и стационарных лагерях, до мелочей регламентирующих их функции и структуру.

Тем не менее лагеря для военнопленных оказались не в состоянии принять более 120 тысяч человек. Не хватало продовольствия, пресной воды, помещений, нарушались элементарные правила санитарии. Все это, а также политические соображения, связанные с вхождением Западной Белоруссии и Западной Украины в состав СССР, побудили сталинское руководство 3—4 октября отдать приказы об освобождении уроженцев присоединенных к СССР областей. В результате 42,5 тысячи человек были оттранспортированы назад и распущены по домам.

В октябре—ноябре по соглашению с Германией об обмене военнопленными — выходящими с территорий, оказавшихся в сфере влияния другой стороны, СССР передал Германии 42 492 человека, «третьей рейх» Советскому Союзу — 13 757.

Началась специализация лагерей. По приказу Берия от 3 октября в Осташковский лагерь свозили всех полицейских, жандармско-тюремных работников, служащих Корпуса пограничной охраны (КОП); в Старобельский — общевоинских офицеров, в Козельский и Путивльский — рядовых и младший командный состав, уроженцев центральных польских воеводств. После

завершения обмена военнопленными с Германией в Козельском лагере осталось лишь 177 офицеров. В первых числах ноября туда отправляются крупные партии офицерских кадров из других приемных пунктов и лагерей Козельский монастырь (Оптина пустынь), превращенный в санаторий имени Горького, становится с этого времени вторым офицерским лагерем НКВД СССР. Помимо трех спецлагерей создаются лагеря для рядовых и младшего командного состава польской армии, приписанных к определенным производствам. Так, по решению правительства еще в сентябре 1939 года около 20 тысяч человек были направлены на строительство дороги Новоград-Волынский — Львов. Несколько позже более 10 тысяч военнопленных закрепляются за предприятиями Наркомата черной металлургии, их размещают в Криворожском, Запорожском и Елено-Каракубском лагерях.

Польские офицеры и рядовые, оказавшиеся в лагерях для военнопленных, отнюдь не проявляли готовности к сотрудничеству с советскими властями и не скрывали своих патриотических чувств, выражая уверенность в поражении Германии и восстановлении независимости Польши.

Сталин, самолюбие которого, вероятно, было ущемлено поражением 1920 года под Львовом, испытывал особую неприязнь к командному составу польской армии. Ликвидировав вместе с Гитлером 28 сентября 1939 года независимую Польшу, он спешил разделиться с теми, кто в будущем мог вступить в борьбу за возрождение своей страны. Непреклонной была и решимость сталинско-бериевского режима уничтожить в зародыше всякое инакомыслие в лице польских военнопленных.

Сегодня мы еще не можем назвать конкретную дату, когда было принято окончательное решение ликвидировать польских офицеров, однако из документов следует, что шаги в этом направлении делались буквально с первых дней их пребывания в советском плену. В соответствии с директивой Берия от 8 октября 1939 года особые отделения лагерей вербовали среди военнопленных агентов и осведомителей, поручая им внедряться во все организации офицеров, выявлять среди них разведчиков, работников карательных органов, членов политических партий и националистических формирований, сообщать о настроениях контингента, предупреждать о любых попытках побега. Особым отделениям приказывалось оформлять на военнопленных следственные дела. В лагерях для рядового и младшего командного состава аналогичной работой руководили особые отделы военных округов и областных управлений НКВД. В спецлагеря были направлены бригады работников центрального аппарата НКВД СССР.

31 декабря 1939 года Берия приказал начальнику УПВ Сопруненко отправиться в Осташковский лагерь, чтобы «ускорить работу бригады Белолицецкого по подготовке дел на военнопленных — полицейских бывшей Польши для доклада на Особом Совещании НКВД СССР» (выделено мной. — Н. Л.).¹ Работу предлагалось закончить в течение января 1940 года. По-видимому, к исходу первой декады февраля поставленную наркомом задачу выполнили. К 10 февраля Берия представили подробнейшие статистические данные относительно контингента всех трех лагерей с указанием количества интернированных там генералов, полковников, подполковников и т. д.

20 февраля Сопруненко обратился к Берия за разрешением оформить для рассмотрения на Особом Совещании НКВД СССР дела на офицеров Корпуса пограничной охраны, разведчиков, судейско-прокурорских работников и т. п. По заданию Берия заместитель наркома внутренних дел В. Н. Меркулов 22 февраля издал директиву об аресте военнопленных этих категорий и переводе их в следственные тюрьмы областных НКВД (УНКВД).

3 марта из Козельска в Смоленскую тюрьму была отправлена партия в 202 человека, 7 марта — 13 человек. Но это явилось лишь началом. Разворачивается интенсивная подготовка к широкомасштабной операции по полной «разгрузке» Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей. 16 марта начальнику УПВ еще одним заместителем наркома внутренних дел — Б. З. Кобуловым — спускается форма «справки-заключения». В ней наряду с графами, раскрывающими имущественное и служебное положение военнопленного, оставляется место для «заключения», то есть записи, определявшей окончательную судьбу человека. С этого дня военнопленным всех лагерей НКВД запрещается переписка. Главное транспортное управление НКВД СССР составляет подробнейший план вывоза «контингента» трех лагерей с точной фиксацией количества подающихся вагонов, маршрутов следования, времени погрузки, отправления, перцепки вагонов и т. д. Принимаются меры по обеспечению конвоирования польских офицеров и полицейских. В начале марта в Москву был вызван командир 15-й бригады Попов (ходивший в нее 136-й отдельный батальон охранял Козельский лагерь). Вернувшись в Минск, Попов 7 марта вызвал к себе командира 136-го батальона майора Т. П. Межова, который,

¹ Центральный государственный особый архив СССР (ЦГОА), ф. В/П, оп. 1а, д. 1, л. 220—223. (Здесь и далее примечания автора публикации.)

оставив вместо себя в Смоленске начальника штаба, срочно направляется в Козельск и остается там до конца операции, то есть до 14 мая. В Козельск же командирован заместитель начальника особого отдела штаба конвойных войск полковник Степанов, к конвоированию из Козельска подключается и 226-й полк 15-й бригады. В Осташиковский лагерь выезжает сам начальник штаба конвойных войск НКВД СССР комбриг Кривенко.

Команду начальникам лагерей приступить к операции отдает Сопруненко в последних числах марта по ВЧ. Первые списки-предписания на отправку военнопленных поступили 1—3 апреля. Они, как правило, содержали 98—100 фамилий, иногда в день отправляли по трем таким спискам. Из Козельска этапы следовали в Смоленск, в ряде случаев — до станции Гнездово, ближайшей к Катынскому лесу, где в 1943 году германские оккупационные власти и обнаружили место массовых захоронений польских офицеров. Из Осташиково военнопленные направлялись в Калинин, из Старобельска — в Харьков².

Оформлением списков занимался I спецотдел НКВД СССР; персонально ответственным был заместитель начальника отдела капитан госбезопасности Л. Ф. Герцовский. Из УПВ туда поступали следственные дела и справки-заключения на военнопленных, их готовили на доклад «комиссии» и лично Меркулову. Что это была за комиссия, пока не ясно. Возможно, в нее входили приближенные к Меркулову лица, готовившие заключения по каждому делу для представления списка на сто человек Особому Советанию. Но так же назывались и «двойки», состоявшие из представителя НКВД СССР и военного прокурора, уполномоченные принимать решение о расстреле или передавать дело Особому Советанию.

В I спецотделе готовился и список подлежащих отправке в Юхновский лагерь, то есть тех, кого оставляли в живых. Таких набралось 395 человек: 47 из них были включены по запросу 5-го управления НКВД (то есть разведки); 91 человек — по требованию Меркулова, ведомство которого намеревалось продолжать оперативную разработку этих лиц; 47 — по просьбам германского посольства, 19 — литовской миссии, 24 — немцы по национальности. 167 человек оставили по иным соображениям. Значительную их часть составили осведомители и провокаторы, поставлявшие особым отделением «компромат» на своих товарищей.

В ходе операции по «разгрузке» спецлагерей, которая продолжалась с 1 апреля по 20 мая, в списки вносились коррективы. При поступлении запроса от НКВД СССР, одного из отделов или управлений НКВД УПВ проверяло по своей картотеке, выбыл ли уже соответствующий военнопленный. Если данное дело еще не прошло, его изымали из пачки, подготовленной для передачи в I спецотдел, или из стопки, подготовленной для решения Меркулова. Были и три уникальных случая, когда людей вернули с этапа. Один из них связан с судьбой С. Свяневича, единственного свидетеля разгрузки вагонов с козельскими военнопленными на станции Гнездово. Найденные нами в двух архивах документы, включая предписания Меркулова о передаче Свяневича II отделу ГУГБ и распоряжение конвойным войскам о транспортировке его в Москву, полностью подтверждают свидетельство этого польского профессора³.

Реализацией решений Особого Советания и I спецотдела занимались как УПВ, так на последнем этапе и УНКВД. Приказы лагерям поступали из УПВ, его ответственные сотрудники регулярно выезжали в Козельск, Старобельск и Осташиково. Комиссары лагерей информировали Управление о политических настроениях военнопленных. Из этих сообщений следует: большинство поляков верило, что их отправляют на родину. При задержках с этапированием в Смоленск и Харьков польские офицеры волновались, что их не отправляют из лагеря, обращались к начальству с просьбой ускорить перевозку. Даже при выгрузке в Смоленске многие из них полагали, что это делается с целью покормить их в городе.

После окончания операции начальники трех лагерей представили сводные отчеты о ее проведении. Общий итог подвел Сопруненко, доносивший своему руководству: из Осташиковского лагеря в УНКВД по Калининской области отправлено 6287 человек, в Юхновский лагерь — 112; из Козельского — в УНКВД по Смоленской области — 4404 человека, в Юхновский лагерь — 205; из Старобельского в Харьковское УНКВД — 3896 человек, в Юхнов — 78. «Всего отправлено, — писал 21 мая начальник УПВ, — 1) в УНКВД 14 587 человек; в Юхновский лагерь — 395 человек». Позднее цифра была уточнена — УНКВД в апреле—мае 1940 года были переданы 15 131 человек.

Хотя ни приговоры Особого Советания, ни приказы о расстреле пока не обнаружены, многочисленные косвенные свидетельства подтверждают приводимые ранее польскими историками аргументы, что все 15 131 человек расстреляны карательными органами сталинского тоталитарного режима.

² В прошлом году места массовых захоронений поляков обнаружены в 6-м квартале лесопарковой зоны Харькова и в селении Медное, что в 32 километрах от Твери.

³ С в я н е в и ч С. В тени Катыни. Лондон 1989, стр 114—120; ЦГОА, ф. В/П, оп. 2е, д. 10, л. 12; ЦГАСА, ф. 38106, оп. 2, д. 6, л. 88.

Архивы позволяют понять, почему операция проводилась именно в апреле—мае 1940 года. Она напрямую увязывалась со сталинскими же планами в отношении Прибалтики. В июне руководство НКВД СССР и УПВ зафиксировало готовность принять в свои лагеря более 60 тысяч военнопленных из прибалтийских стран, в том числе в Осташковский лагерь 8 тысяч, в Козельский и Старобельский по 5 тысяч человек. «Добровольное» вхождение прибалтийских государств в состав СССР на определенное время отсрочило интернирование офицерско-полицейского контингента этих стран, хотя и не предотвратило его. Оно осуществилось в мае—июне 1941 года.

13—15 июля 1940 года из Литвы в Козельский и Юхновский лагеря доставили 4376 интернированных там поляков, в конце августа — 811 человек из Латвии. 4 марта 1941 года УПВ сообщало, что интернированные в Козельском лагере офицеры и полицейские в своем абсолютном большинстве активные контрреволюционеры, сторонники возрождения «фашистской Польши». 27 марта начальник УПВ просил у Берия разрешения оформить заключения на 1527 поляков из Козельского лагеря, чтобы рассмотреть их на Особом Советании. На этот раз «врагов» не ликвидировали — по распоряжению наркома их перебросили в Мурманскую область на строительство аэродрома Поной.

Слово «Катынь» в архивных документах упоминается лишь однажды — в приказе по 136-му конвойному батальону от 10 июля 1941 года: 43 бойца должны были сопровождать большую партию заключенных — советских граждан по маршруту Смоленск—Катынь. Маршруту, по которому до них прошли тысячи поляков...

Полвека в закрытых архивах страны пролежали под спудом документы, связанные с катынской трагедией, — письма, обращения, просьбы поляков — невинных жертв сталинских репрессий. Эти волнующие человеческие свидетельства, хранившиеся рядом с казенными бумажками палачей, ныне, извлеченные на свет, наконец ожили, заговорили, и мы слышим их.

Автор публикации и редакция журнала «Новый мир» выражают благодарность директору Центрального государственного особого архива СССР А. С. Прокопенко и его сотрудникам О. А. Зайцевой, А. С. Киселевой, Л. Л. Носаревой за постоянную помощь в работе над материалами Управления по делам военнопленных НКВД СССР.

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛА ФРАНЦИШЕКА СИКОРСКОГО КОМАНДАРМУ С. К. ТИМОШЕНКО

Командующий войск обороны
Львова генерал бригады
Сикорский

Командующему Украинским
фронтом командарму I ранга
Тимошенко
г. Львов

Имею честь сообщить Вам, что генерал Лянгнер перед отъездом в Москву передал мне содержание его разговора с Вами. Отсюда знаю, что Вы вполне поняли суть нашего решения, что мы, имея письменные предложения германского командования наиболее выгодных для нас условий капитуляции, не уступили ни перед их атаками, ни перед угрозами окончательного штурма 4-х дивизий, сопровождаемыми сильным бомбардированием города.

Вам вполне было ясно, что мы без всяких сомнений пошли решительно на переговоры с представителями государства, в котором, в противоречии к Германии, обязуют принципы справедливости по отношению к народам и отдельным лицам, хотя мы еще не имели конкретных предложений Красного Командования.

Вы убедились, что мы до конца исполнили наш солдатский долг борьбы с германским агрессором и в свое время и в соответствующей форме — исполнили приказ Польского Верховного Командования не считать Красную Армию за воюющую сторону.

Свою справедливую оценку Вы подчеркнули, подтверждая заключенный договор о нашей капитуляции¹.

В связи с этим считаю своей обязанностью представить Вам нынешнее фактическое положение.

Я нахожусь в городе Старобельске, куда направлены все офицеры, которые согласно приказу Польского Верховного Командования сдали оружие Красной Армии не только во Львове, но и на остальных участках территории, на которую растягивалась Ваша власть как командующего Украинским фронтом. Я прекрасно понимаю, что в настоящее время Вы имеете много важных проблем и поэтому наш вопрос является для Вас одним из многих. Поэтому не хочу вносить никаких заявлений относительно тех или иных недочетов, которые имели место.

Однако я позволю себе обратить Ваше внимание на следующие пункты:

1. Опоздание увольнения нас на свободу поставило нас всех и наши семьи в крайне тяжелое положение, хотя Советская власть много хлопочет о том, чтобы облегчить условия нашей жизни.
2. Перенесение пункта регистрации и увольнения нас на свободу свыше 1000 километров на Восток — осложнило вопрос нашего возвращения к местам постоянного жительства и окончательно прервало возможность непосредственного контакта с нашими семьями.

3. Пребывание в Старобельске и ограничение в отношении личной свободы даже тут на месте является для нас чрезвычайно тяжелым пережитием. В связи с вышеизложенным и так как мы до сих пор не уволены, хотя по этому вопросу генерал Лянгнер специально поехал в Москву — прошу Вас о принятии всех возможных мер для приспешения нашего увольнения на свободу.

В заключение хочу Вас уверить, что я обращаюсь к Вам непосредственно потому, что договор о капитуляции был заключен через Ваших уполномоченных.

Сикорский²

(ЦГОА СССР, ф. 1 В/П, оп. 37а, д. 2, л. 221—223. Письмо напечатано на машинке, подпись рукописная.)

¹ 22 сентября в 11 часов 50 минут Тимошенко и Хрущев направили телеграмму Сталину, Молотову, Ворошилову, Шапошникову: «В результате ночных боев в городе Львове в 8 40 22 сентября начальник гарнизона города Львова генерал Лянгнер явился лично на командный пункт командующего восточной группой войск к товарищу Голикову и сдал нам город Львов. Выделена комиссия по разработке техники передачи города». «В результате боев» — это, мягко говоря, преувеличение, ибо штурм должен был начаться только утром. Вопреки акту о капитуляции, во Львове было пленено и вывезено в Старобельск около 2 тысяч польских офицеров.

Заявление Сикорского, направленное 23 октября начальником УПВ Тимошенко, по приказу последнего было 26 декабря переслано без каких-либо комментариев шефу НКВД СССР И. А. Серову. Нарком наложил следующую резолюцию: «Тов. Сопрунчук! Мне кажется, Вы должны дать указание командованию лагерей, какой дать ему ответ. Серов. 29.XII».

² Генерал бригады Францишек Сикорский, 1899 года рождения, командовал обороной Львова. Уничтожен вместе с другими военнопленными Старобельского лагеря в апреле 1940 года

ПРОШЕНИЕ ПОДПОЛКОВНИКА В ОТСТАВКЕ АНТОНА НАВРАТИЛЬ КОМАНДУЮЩЕМУ ОККУПАЦИОННЫМИ СИЛАМИ ГЕРМАНИИ В ПОЛЬШЕ ГЕНЕРАЛУ ФОН РУНШТЕДУ

Перевод с немецкого¹

К команде германских оккупационных властей, на руки командующего генерала фон Рунштедта в Тюльм (?)

Прошу о позволении на возвращение на мою родину (Катовице, Силезия) эвентуального в дороге индивидуального обмена военнопленных с СССР и мотивирую мою просьбу как следующую:

1. Я был австрийским кадровым офицером, поступил в 1918 г. в польскую армию, а в 1922 г. вышел в отставку, то есть в момент начала нынешней войны находился в отставке от 17 лет.
2. Во время отставки 12 лет я был заведующим картофельной централью для работников тяжелой промышленности, а теперь я администратор оптических заведений фирмы «И. Вык» в Катовицах — Вемповец.
3. На основании распоряжения польских властей, чтобы все мужчины до 60 лет отправились на Восток, я дня 17 сентября 1939 г. во время пути к моим родным (Каре Гаазе) в Янове около города Грембовли, где он служил заведующим электростанцией, был взят в плен русскими войсками.
4. В Катовицах и Висле я оставил мою жену с тремя детьми, которые остались без средств к жизни и бесприютными, если ними никто не займется.

Прошу о благоприятном осуществлении моей просьбы, тем более что, будучи 17 лет в отставке, я не исполнял никакой военной должности и как 60-летний старец, стоя перед гробом, желаю только одного — обеспечить жизнь моей жены и детей.

Старобельск, 10.X.1939

Навратиль²

(ЦГОА СССР, ф. 1 В/П, оп. 1е, д. 10. Машинопись.)

¹ Рукописный перевод текста приводится в документе, печатается без изменений.

² В списке генералов, полковников, подполковников, помещиков и чиновников, подготовленном для зам начальника 5-го отдела ГУГБ (то есть разведки) Судоплатова под номером 23 значится «Навратиль Антон Ульянович, 1882 г. рождения, подполковник, помещик» (ЦГОА, ф. 1 В/П, оп. 1е, д. 10, л. 57)

На 15 марта, то есть незадолго до начала операции по «разгрузке» трех спецлагерей, из содержащихся в Старобельском лагере восьми генералов лишь двое были кадровыми, остальные — отставники, из 55 полковников — 17 отставных, из 126 подполковников — 40 отставных, из 316 майоров — 90 из отставки и 11 из запаса. (ЦГОА СССР, ф. 1 В/П, оп. 2е, д. 1, л. 181—182)

**ПИСЬМО ВОЕННОПЛЕННОГО МОШЕ МАШКОВИЧА
НАЧАЛЬНИКУ КОЗЕЛЬСКОГО ЛАГЕРЯ**

Товарищ начальник!

Просим Вашего распоряжения оставить нас здесь, так как мы не хотим ехать к немцам. Машкович Моше, работник портной, находился Варшаве 1905 года.

Прошу оставить России

Машкович Мойша Якубович Варшавское воеводство¹.
(ЦГОА СССР, ф. 1 В/П, оп. 37а, д. 2, л. 260. Рукопись.)

¹ 27 октября 1939 года комиссар Козельского лагеря Алексеев вместе с заявлением Машковича направил еще несколько аналогичных писем жителей Варшавского и Краковского воеводств в Москву, в УПВ. Алексеев отмечал: «Свои просьбы они мотивируют тем, что они евреи и, боясь преследований со стороны германских властей, не желают возвращаться на место постоянного жительства». Сопруненко дал указание ответить, что УПВ «выставленные ими мотивы считает неосновательными. Этим военнопленным необходимо обстоятельно разъяснить, что они должны возвращаться к месту их постоянного жительства...» Сотни тысяч польских евреев, погибших в газовых камерах Освенцима и Майданека, свидетельствуют, сколь основательными были опасения Моше Машковича и его товарищей.

**ЗАЯВЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ И ФАРМАЦЕВТОВ — ВОЕННОПЛЕННЫХ
СТАРОБЕЛЬСКОГО ЛАГЕРЯ БЕРИЯ И ВОРОШИЛОВУ**

Гражданину комиссару внутренних дел СССР

Врачи и фармацевты польской армии, сосредоточенные в лагере для военнопленных в Старобельске Ворошиловградской области в числе 130 человек (104 врачей и 26 фармацевтов) позволяют себе заявить Вам, гражданин комиссар, следующее:

Все врачи и фармацевты были застигнуты советскими войсками при исполнении своих врачебных обязанностей, будь то в госпиталях, будь то в войсковых частях. На основании международной Женевской конвенции, регулирующей права врачей и фармацевтов во время военных действий, просим Вас, гражданин комиссар, или отослать нас в одно из нейтральных государств (Соед. Штаты Сев. Америки, Швеция), или отослать нас по местам нашего постоянного места жительства.

Старобельск

30 октября 1939 г.

Далее 130 подписей (без расшифровки).

Аналогичное письмо было отправлено и маршалу Ворошилову¹.

(ЦГОА СССР, ф. 1 В/П, оп. 1а, д. 1 (Особое дело), л. 173—174. Машинопись.)

¹ В рапорте на имя Берия оперативная группа, присланная из центрального аппарата НКВД, в составе капитанов госбезопасности Трофимова, Ефимова и Егорова предлагала при положительном решении вопроса произвести «приобретение из числа этих пленных агентуры». Однако из Москвы сообщили, что вопрос решится в порядке урегулирования всей проблемы польских военнопленных.

Характерен и другой эпизод, связанный с этим заявлением. Начальник Старобельского лагеря капитан госбезопасности А. Г. Бережков 4 ноября обратился к Сопруненко с просьбой выслать ему один экземпляр Женевской конвенции «для ознакомления и руководства в нашей практической работе». Ему ответили: «Женевская конвенция врачей не является документом, которым Вы должны руководствоваться в практической работе. Руководствуйтесь в работе директивами Управления НКВД по делам о военнопленных». (ЦГОА СССР, ф. 1 В/П, оп. 2е, д. 10, л. 5, 73)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ГРУППЫ ПОЛКОВНИКОВ ПОЛЬСКОЙ АРМИИ
НАЧАЛЬНИКУ СТАРОБЕЛЬСКОГО ЛАГЕРЯ
ОТ 7 ЯНВАРЯ 1940 г.**

г. Старобельск

Группа полковников
ул. Кирова, 32

Копия
7-го января 1940 г.

1. Общие дела

1. Просим выяснить нам, каково отношение к нам Правительства СССР, а именно: Считаемя ли мы военнопленными?

Если это так, мы просим обращаться с нами на основании принятых всеми правительствами правил, относительно военнопленных, а прежде всего:

а) Дать нам возможность свободного обращения к тому посольству, уполномоченному при правительстве СССР, которое взяло на себя охрану интересов польских граждан, а следовательно, и военнопленных;

б) Снести с Красным Крестом, чтобы дать нам возможность переписки с нашими семьями, пребывающими за границей СССР.

в) Опубликование списка военнопленных, дабы наши семьи могли узнать о месте нашего пребывания.

г) Выпустить на свободу тех отставников и запасных, которые не были призваны.

д) Отпускать нам соответственное денежное довольствие на наши личные неотложные потребности, так как, например, наша одежда и обувь приходят в негодность, а мы не располагаем нужными материальными средствами.

Если мы арестованные?

Тогда просим уведомить нас, за какое преступление мы лишены свободы, и предъявить нам формальное обвинение.

Если мы задержаны (интернированы):

Просим выяснить нам, какие наши действия вызвали это ограничение нашей свободы, тем более что мы были задержаны на польской территории.

II. Просим выяснить, почему в лагере задержаны старые и больные, которые не имели ничего общего с последней войной, и просим отпустить их домой.

III. До настоящего времени еще не урегулирована переписка с семьями. Общечеловеческие чувства требуют, чтобы мы, наконец, могли снести с нашими семьями, а они узнали о нашей участи.

Просим распоряжения:

Не применять никаких ограничений в корреспонденции для производящих поиски за своими семьями.

Каждый имеет право писать по крайней мере один раз в неделю письмо или карточку, а не один раз в месяц.

Если письмо будет задержано, объявить об этом отправителю.

Дать право нашим семьям присылать нам посылки с провизией, бельем и другими нужными нам вещами.

Отпустить нам писчую бумагу и конверты.

Просим выяснить, пошли ли наши письма на территорию, оккупированную германцами, если нет — дать нам возможность писать при помощи Красного Креста.

IV. Врачебная помощь недостаточна.

В практике она только сводится к снабжению самыми простыми медикаментами. Много офицеров ждет безуспешно лечение глаз, зубов и т. п.; в частности, чувствительно ощущается невозможность применения соответствующей диеты для больных.

В случае заболевания более серьезного встречаются затруднения в немедленной отправке больного в госпиталь.

Тесное сырое помещение 1-го этажа — губительно отзывается на здоровье офицеров, тем более что норма довольствия едва достаточна для людей физически не работающих, а все мы привлекаемся к тяжелому часто труду, при ежедневном приготовлении пищи.

V. При посещении нами кино просим не демонстрировать нам таких фильмов или же таких эпизодов, которые оскорбляли бы наши национальные чувства или честь нашей родины.

Просим также, чтобы особенно низкие чины обращались к нам соответственным образом. Несмотря на то, что мы военнопленные или интернированные, мы все-таки остаемся военными и сохраняем наши воинские чины.

VI. В то время, когда были в обращении польские злотые, нам не дана была возможность ни выменять наших денег на рубли, ни послать нашим семьям их, а таким образом мы и наши семьи лишены всяких средств. При этом надо сказать, что существование наших семейств обеспечивалось нашим трудом, а здесь в лагере, несмотря на лишение нас денежных средств для удовлетворения наших самых необходимых потребностей (починка обуви, покупка жиров и т. д.), с нас требуют уплаты в рублях.

ПРОСИМ:

Выменять злотые на рубли, постоянно снабжать нас деньгами в виде аванса за причитающиеся нам за участие в войне деньги, разрешить нам высылку из лагеря и нашим семьям высылку в лагерь как злотых, так и рублей и иной валюты.

VII. Наконец прошу удовлетворить нижеследующее:

Разрешить нам организовать группами уроков иностранных языков, предоставить нам возможность купить необходимые тетради и пособия, которые мы могли бы выписать из г. Львова.

Распорядитесь о регулярной и частой доставке книг для чтения (беллетристика, научные и военно-исторические) на разных языках.

Разрешить прогулки вне лагеря при соответствующей погоде, по крайней мере три раза в неделю.

Разрешить свидание с родственниками и товарищами, пребывающими в главном лагере и на Володарской улице.

Дать нам списки пребывающих в Старобельском лагере для отыскания родственников.

Снабдить нас приборами для спорта и комнатными играми.

Дать мне и заведующему нашим хозяйством возможность хотя бы раз в неделю говорить лично с Вами или завхозом лагеря¹.

(ЦГОА СССР, ф. 3, оп. 1, д. 1, л. 32—34. Машинопись.)

¹ 2 февраля 1940 года комиссар Управления НКВД СССР по делам о военнопленных Нехорошев сообщил Берия, что 13 января к начальнику Старобельского лагеря явился военнопленный Э. Сасский, полковник главного судебного ведомства «бывшей польской армии», и от имени группы полковников изложил их требования. Комиссар далее перечислил основные пункты письма Сасского. Практически ни одно из выдвинутых требований не было удовлетворено. Вместе с подавляющим большинством офицеров из Старобельского лагеря был уничтожен и Эдуард Сасский, 1882 года рождения, член главного военного суда.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЛАГЕРЯ «МАРГАНЕЦ» К СОВЕТСКИМ ВЛАСТЯМ¹

Перевод с польского

Мы, поляки из занятых Вами областей, обращаемся к Вам с просьбой. Нам известно, что СССР, объявив нейтралитет и не принимая участия в войне как нейтральное государство, обещало нас через 3 месяца освободить. Мы работали и ждали освобождения, но нас держат до сих пор, и мы не можем вернуться к нашим семьям, которые остались без средств к существованию. Мы не просим улучшить наше положение, но мы просим быстрее отправить нас на родину.

Интернированные поляки в лагере Марганец.

14 IV 40 г.

(ЦГОА СССР, ф. 1 В/П, оп. 3е, д. 1, л. 28. Машинопись.)

¹ Лагерь «Марганец» — одно из отделений лагерей, где военнопленные работали на предприятиях Наркомата черной металлургии. Наркомчермет заключил специальный договор с НКВД и обязался выплачивать причитающуюся военнопленным зарплату ведомству Берия. В этих лагерях находилось более десяти тысяч человек. По приказу заместителя наркома внутренних дел Чернышова отобрали наиболее физически крепких и хорошо одетых из числа тех, кого должны были отпустить на родину — в районы Западной Белоруссии и Украины или центральной Польши. В декабре началось движение военнопленных за возвращение в родные места путем отказа от работы. Оно становилось все более мощным, и ни сокращение пайков «отказникам», ни помещения в неотапливаемые строения не могли их сломить. Часть наиболее активных была арестована и вместе с заключенными Осташковского лагеря передана УНКВД по Калининской области. Большинство же — почти 8 тысяч человек — вывезли в Северный железнодорожный лагерь в мае 1940 года, сразу после окончания операции по «разгрузке» трех спецлагерей.

В ноябре, когда начались суровые северные морозы, больше половины поляков, прибывших в Севжелдорлаг, продолжали размещаться в землянках. «Все помещения, занимаемые военнопленными, — писал моему начальству сотрудник УПВ Романов, — к зиме не подготовлены. Нары из круглого леса, к тому же матрацев, подушек, даже соломы, нет. Бани, дезокамеры и стационара нет, больные военнопленные помещены в палатках на нарах, поделанных также из кругляка». Соседство с уголовниками приводило к тому, что поляков избивали и обворовывали. Практически их лишили возможности переписки с родными. Работали узники по 10—12 часов, проваливаясь на полтора метра в снег, часто не имея иной обуви, кроме чуней из коры. Таков был ответ «властей» на просьбу рядовых и младших командиров польской армии об освобождении их из плена.

ПИСЬМА ПОЛЬСКИХ ДЕТЕЙ СТАЛИНУ

Дня 20. V

г. Розов

Коханный ойчэ Сталине

Мы, малые деца з балшым прошэннем до Великого Отца Сталина просим з гарачего сердца чтоб нам вирнули наших отцов которые работают в Осташкове. Нас переслали з Западной Белорусии на Сибири, нам ни вилели что нибуть взять з собой. Нам сичас тяжко живецца у всех

дещей мать не здоровые и не могут работать и вообще — ничто про нас не думает, как мы живем и работы никакой не дают. За это мы малые дети голодам примераем и еничо просим отца Сталина чтоб про нас не забыл мы всегда будем в Советском Союзе хорошими рабочими народом только нам тяжело жить без наших отцов¹.

Досвидания ойчэ

Денешь Иван, Заводщики Фалей, Енджейчек Збигнев,
Ковалевска Барбара.

(ЦГОА СССР, ф. 1п., оп. 4е, д. 1, л. 79. Рукопись.)

¹ В 1940 году, выполняя «особое задание НКВД», конвойные части депортировали в три потока — февральский, апрельско-майский и июльский — около 300 тысяч человек. 138 619 «спецпереселенцев» — бывших осадников, то есть крестьян из центральной Польши, переселенных в Западную Украину и Белоруссию вскоре после заключения Рижского договора 1921 года, семьи крупных землевладельцев и офицеров — были оттранспортированы в Сибирь и Казахстан в феврале 1940 года. Перед ликвидацией военнопленных из трех спецлагерей у них затребовали адреса их родных и близких, одновременно с отправкой офицеров и полицейских в Харьков, Калинин и Смоленск, их семьи — дети, старики, женщины вывозились в товарных вагонах в необжитые районы Сибири, Казахстана, Алтайского края. В апреле — мае отправили 59 416 человек (51 эшелон), приблизительно столько же — в третий поток. Многие арестовывались в индивидуальном порядке. В отчете Главного управления конвойных войск от 24 октября 1940 года указывалось: «Вся работа частей по выполнению заданий протекала в крайне сложной, а потому трудной обстановке (суровая зима, конвоируемый контингент принимался мелкими группами в разных районах, требование произвести погрузку и отправление одновременно всех эшелонов в один день, перегрузка из вагонов узкой колеи на широкую, отсутствие команд обслуживания и питание конвоируемых из железнодорожных буфетов силами конвоя, перебои в снабжении продуктами и т. п.)». (ЦГАСА, ф. 40, оп. 1, д. 70, л. 28—29)

До товарища Сталина
в Москве

(май 1940 года)¹

Наш дорогой любимый отец Сталин!

Я сейчас лежу больная и мне скучно за мой папашо, которого я не видела почти девять месяцев. И я себе подумала, что только Вы Великий Сталин можете его вернуть.

Он был инженером и во время войны его позвали на военную службу и он попал в плен. Он сейчас в Козельске в Смоленской области. Нас из Пинска переселили в Казахстанскую республику до дому Арык-Бальский до колхозу Имантов.

Мы тут не имеем родных. Моя мать маленька, слабенька. Пришлице нам отца целом сердцем прошу.

Крыся Микуцкая ученица III класса
и Стась Микуцкий.

(ЦГОА СССР, ф. 1 В/П, оп. 4е, д. 1, л. 350. Рукопись.)

¹ Письмо зарегистрировано 28 мая 1940 года. На «сопроводиволке» к заявлению, адресованной Сопруненко, пометка: «1 спецотдел». Когда Крыся и Стась обращались к «отцу Сталину», их родного отца с санкции вождя уже расстреляли. Тело Эугениуша Микуцкого было найдено при вскрытии катынских могил и зарегистрировано под № АМ 3417. Его жена Станислава Микуцкая 11 августа обратилась к прокурору Пинской области. Она сообщила, что ее мужа, инженера, в день всеобщей мобилизации призвали в армию и присвоили офицерское звание. В ноябре 1939 года С. Микуцкая получила от мужа письмо из Козельского лагеря, но с момента вывоза ее в Казахстан никаких известий от него не имела. «Находясь в тяжелых материальных условиях с двумя маленькими детьми, я прошу отнестись участливо к моей просьбе и помочь мне разыскать моего мужа, сообщив мне, как долго будет он задержан, и разрешить мне на перепись с ним».

ПИСЬМО ИЗАБЕЛЛЫ ТОМЯК НАЧАЛЬНИКУ ОСТАШКОВСКОГО ЛАГЕРЯ

(июнь 1940 года)

Уважаемый товарищ начальник!

Простите, что осмеливаюсь Вас беспокоить, но руководит мною сильная любовь к мужу и забота о нем. От мужа моего Томяка Иосифа Иосифовича от трех месяцев не имею никаких известий. В январе от него получили письмо, в котором подал свой адрес г. Осташков, Калининская область, ящик почтовый № 37. На этот адрес послала письмо, телеграмму и деньги, получила ответ в феврале. Теперь живу в селе Корнеевка Северо-Казахстанская область, отсюда послала телеграмму и письмо, но ответа не имею. Не сплю по ночам, беспокоюсь ужасно. Умоляю, пожалуйста меня, напишите, жив ли муж, можно ли ему помочь деньгами, и если его нет уже в тюрьме, укажите место пребывания его или к кому я должна обратиться, для того чтобы узнать, где теперь находится.

Прошу, пощадите меня, не откажите в моей просьбе, буду от души благодарна. Зная, что муж жив, буду спокойно работать, зарабатывать на содержание шитьем дамской одежды.

С почтением Томяк Изабелла,
адрес мой Северо-Казахстанская область, Ленинский район,
село Корнеевка, ул. Береговая. Томяк Изабелла.

Резолюция Борисовца: «У Р О Напишите тов. Маклярскому в Управление. 17.6.40 г.».
Красным карандашом: I Спецотдел¹.

(ЦГОА СССР, ф. 1п., оп. 4е, д. 1, л. 11. Рукопись.)

¹ Отметка красным карандашом сделана в УПВ, куда переслали письмо Томяк. Это означало, что И. И. Томяка уже не было в живых.

ПРОШЕНИЕ ЖЕНЫ КОМЕНДАНТА ЛЬВОВА ЯНИНЫ ХОДЗЬКО-ЗАЙКО В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НКВД В МОСКВЕ

Гражданки Янины Иосифовны Ходзько-
Зайко, проживающей в Семипалатинске на
1 кирпичном заводе, почта Кожзавод

ПРОШЕНИЕ

Муж мой, Ян Иосифович Ходзько-Зайко¹, был взят в плен во Львове 18 сентября 1939 г. и перевезен в гор. Старобельск Ворошиловградской области и там был помещен в лагерь для военнопленных. Из Старобельска я получала от мужа письма. Последнее письмо было от 2 апреля. 13 апреля я была переселена в Семипалатинск и сейчас же после приезда сюда телеграфировала мужу, сообщая ему новый адрес. Кроме того, я написала мужу несколько писем, но никакого ответа до сих пор не получала. Одно из этих писем возвращено мне с надписью, что лагеря для военнопленных уже там нет, лагерь ликвидирован и муж мой выслан оттуда неизвестно куда².

А посему обращаюсь в Главное управление НКВД с покорнейшей просьбой сообщить мне адрес моего мужа, отца моих детей. Будьте великодушны и дайте мне просимый адрес в возможно кратчайший срок.

Янина Ходзько-Зайко.

Семипалатинск. Почта Кожзавод. Кирпичный
завод.

29 июня 1940 г.

Чернилами помета: От переселенки о в/п Старобельского лагеря

Подпись: Худ/якова/

(ЦГОА СССР, ф. 1п, оп. 4е, д. 1, л. 125. Рукопись.)

¹ Я Ходзько-Зайко — полковник польской армии, военный комендант Львова, задержанный вместе со штабом генерала Сикорского.

² Как известно, переписка военнопленных была строго запрещена с 16 марта. Однако переводчик Старобельского лагеря, поляк по национальности, Д. Л. Чехольский нарушил запрет и переслал ряд писем военнопленных их семьям. Более того, в ответ на многочисленные запросы им были посланы телеграммы, в которых сообщалось: «Муж Ваш выбыл адреса не знаем обращайтесь управление НКВД по делам о военнопленных Москва — Чехольский».

10 июня начальник Управления НКВД СССР по делам о военнопленных Сопруненко направил начальнику Старобельского лагеря разгневанное письмо, в котором сообщал, что «по линии «ПК» (почтового контроля. — Н. Л.) перехвачено 20 открытых документов, отправленных из лагеря в июне месяце с. г., в то время как всякая переписка военнопленных была запрещена еще 16 марта 1940 г. Как свидетельствует приводимое нами прошение и ряд других заявлений жен военнопленных, сосланных в Казахстан, часть писем, отправленных Чехольским, дошла до адресатов. На вопрос, каким образом корреспонденция оказалась на почте и в почтовых отделениях на периферии, да еще с зачеркнутым его рукой адресом, политконтролер особого отделения Старобельского лагеря заявил: «Чтобы успокоить семьи и отвязаться от запросов», он, мол, отобрал и отослал письма, в которых говорилось: «Жив, здоров, ни в чем не нуждаюсь, больше сюда не пишите, ждите новый адрес». По приказу руководства Чехольского 23 июля 1940 года из лагеря уволили. Но многие жены узнали, что их мужей вывезли в неизвестном направлении».

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛА ЕЖИ ВОЛКОВИЦКОГО В. М. МОЛОТОВУ¹

Копия

Грязовец, 10.IV.1941 г.

Господин В. М. Молотов, Председатель Совета Народных Комиссаров и Народный Комиссар Иностранных Дел СССР

- 1) Через Отдел по делам военнопленных Народного Комиссариата Внутренней Безопасности
- 2) Через Команду Грязовецкого лагеря военнопленных

В связи с заключенным в последнее время договором о дружбе и ненападении между СССР и Югославией, прошу разрешения организовать выезд в Югославию тех военных поляков, находящихся в плену в Грязовецком лагере, которые пожелали бы вступить волонтерами в ряды Югославской армии.

Германия и Италия напали на Югославию, когда та не только не подавала к тому никаких поводов, но наоборот сделала все, что лежало в ее возможности, чтобы удержать мир в этой части Европы.

В настоящее время Югославия находится в весьма тяжелом положении, требующем всяческой помощи со стороны людей, обладающих чувством справедливости.

Мы, поляки, как славяне, ближайшие по крови братья югославян, прежде всего обязаны прийти на помощь и помочь им в защите отечества, что одновременно будет защитой культуры человечества перед германским насилием, которое сегодня угрожает уже целому миру без исключения.

При взятии нас в плен Польша не вела войны с СССР. Настоящая война может продлиться еще много лет. Поэтому считаю, что задержание в течение этого времени польских военных в плену будет для них чрезвычайно обидно, как для них самих, так и для их семейств, так как настолько понизит их физические и умственные качества, что сделает их во многих случаях только ненужным и тяжелым бременем. Десятки тысяч людей (военнопленных и их родных) будут иметь справедливые претензии к СССР, что не будет хорошей пропагандой для СССР, как государства вообще и в особенности среди польского народа. Наконец, для многих польских военных, взятых в плен во Львове, существует преимущество, исходящее из договора о капитуляции, заключенного между Маршалом СССР Тимошенко и польским генералом Лянгером.

Я глубоко убежден, что мое обращение и предлагаемая развязка вопроса польских военнопленных могут быть решены положительно именно в настоящее время, когда СССР выразил свои взгляды в прекрасном по содержанию договоре о дружбе с Югославией. В случае положительного решения подробности исполнения могли бы быть установлены между представителем СССР, югославского посольства и мною. Это решение можно было бы распространить и на другие лагеря военнопленных.

В случае затруднений и непосредственной передачи нас Югославии это, вероятно, можно было бы сделать при помощи нейтральной Турции.

Ежи Тадеушович Волковицкий
генерал бригады П. А.

Верно: (подпись секретаря УПВ)

(ЦГОА СССР ф. 1 В/П, оп. 5а, д. 2, л. 176—177. Машинопись.)

¹ 22 апреля Сопруненко переслал письмо Волковицкого Меркулову. Последний скорее всего сообщил о нем Берия, Молотову, а возможно, и Сталину. Однако генерал так и не получил ответа.

Фигура Волковицкого привлекала внимание многих писателей и публицистов. О нем писал Новиков-Прибой в книге «Цусима», С. Свяневич — «В тени Катыни». Будучи мичманом русского флота, он был младшим по чину офицером, участвовавшим в военном совете на флагмане. Выступая первым, предложил принять бой и лишь потом затопить корабли. В 1904 году Волковицкий попал в плен к японцам, за попытку совершить побег был осужден на два года тюрьмы, но его досрочно освободили. После окончания русско-японской войны окончил морскую академию Генштаба в Петербурге, в начале первой мировой войны служил на Черноморском флоте, сражался в Сербии. После Октябрьской революции, пройдя всю Россию, через Дальний Восток добрался до Франции, вступил в польскую армию и в составе ее вошел в Польшу. Волковицкий пребывал в отставке, но в начале войны был призван в армию, 17 сентября 1939 года принял командование дивизией. В Козельском лагере Свяневич спросил Волковицкого: «Пан генерал, вы же знали в конце сентября, что плена нам не избежать, и в ваших силах было повести кампанию так, чтобы мы оказались в немецком, а не в большевистском плену. Но вы выбрали иную дорогу, почему? — Видите ли, — ответил мне генерал, — если бы мы попали в плен к немцам, мы

до самого конца были бы лишены возможности участвовать в боях, мы были бы просто замурованы в лагере.. Конечно, нас могут расстрелять, но у нас все же есть возможность выйти из лагерей и участвовать в войне» (С. Свянович. В тени Катыни. Лондон 1989, с. 86). При «разгрузке» трех спецлагерей Волковицкого включили в списки на отправку в распоряжение Смоленского УНКВД. После вмешательства майора госбезопасности В. М. Зарубина генерала решили отправить в Юхновский лагерь, а затем в Грязовец.

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛА ЕЖИ ВОЛКОВИЦКОГО ПОСЛУ КОРОЛЕВСТВА ЮГОСЛАВИЯ В СССР

Копия
Грязовец 10.IV.1941 г.

В Королевское посольство Королевства Югославия в Москве

Имею честь довести до сведения Вашего превосходительства, что я обратился к Правительству СССР с просьбой разрешить организацию выезда в Югославию волонтеров, выбранных среди военных армии польской, находящихся в плену в лагере для военнопленных в Грязовце в СССР.

Имею честь просить Ваше превосходительство поддержать эту просьбу перед Правительством СССР.

В то же время имею честь просить В. П. принять уверения, что всем сердцем желаю принести помощь братскому героическому народу Югославии в защите его страны, уверений тем более искренние, что они происходят от офицера, который уже в 1914—1915 гг. имел честь сражаться рядом с армией и на земле Югославской против австрийцев.

Ежи Волковицкий, генерал бригады П. А., Кавалер ордена «Кара Барбека Звезды» 4-ой степени с мечами¹.

(ЦГОА СССР, ф. 1 В/П, оп. 5а, д. 2. л. 174—175)

¹ Это письмо было переслано в УПВ, а оттуда — заместителю наркома внутренних дел СССР Меркулову. Дошло ли оно по назначению — неизвестно, ибо ответа генерал не получил.

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛА ЕЖИ ВОЛКОВИЦКОГО СТАЛИНУ

Копия
Грязовец, 14 июля 1941 г.

Ежи Волковицкий
Генерал Бригады Польской
Армии

Прошение по делу освобождения военнопленных и интернированных поляков
Его превосходительству председателю Государственного Комитета обороны
Иосифу Виссарионовичу С Т А Л И Н У

Москва—Кремль

Ссылаясь на Ваше выступление от 3-го июля, а особенно на фразу: «Война за освобождение нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы... против порабощения со стороны фашистской армии Гитлера...», военнопленные польской армии, заключенные в тяжелых условиях Грязовецкого лагеря, считали, что пришло время освободить нас. Это нам кажется также согласным с призывом Академии наук СССР, в котором сказано, что «борьба с Германией является священным долгом всех честных людей мира».

Кроме того, 11 июля заместитель начальника Советского Информбюро господин Лозовский на конференции для иностранных корреспондентов заявил, что вопреки германским утверждениям нет войны между СССР и Польшей.

Мы, польские военнопленные, заключенные в Грязовецком лагере, которым пришлось в первую очередь сражаться против Германии, считаем, что раз нет войны, значит, не может быть и военнопленных, тем более что 12 июля с. г. Советский Союз заключил договор с нашим союзником Англией¹. А между тем, несмотря на все это, находимся теперь здесь в лагере, сотрудники ГБ или НКВД делают нашим людям разные предложения² и заявления, которые явно противоречат официальным заявлениям правящих кругов СССР, чем очень обостряют состояние умов.

Затем обращаемся к Вашему Превосходительству с просьбой освободить нас из плена, в который мы попали, вытесненные германскими фашистами на Восток, а освободив, дать нам

возможность уехать в английские владения, чтобы сражаться против общего врага там, где находятся наше полноправное правительство, наша армия и где наше присутствие будет особенно полезно нашим союзникам.

Создавшееся положение не дает времени на долгие решения или переговоры, а нас, заключенных в тяжелых условиях на «полпайку»³, лишает сил, которые могли бы быть использованы против общего врага.

И поэтому обращаемся к Вашему Превосходительству и Советскому правительству с просьбой решить как можно скорее вопрос о нашем освобождении и дать соответствующие приказы, тем более что на заявлении Молотову наше от 24 июня с. г. нет никакого ответа.

Ежи Волковицкий.

(ЦГОА СССР, ф. 1 В/П, оп. 5а, д. 2, л. 460—462. Машинопись.)

¹ Имеется в виду «Соглашение о совместных действиях Правительства Союза ССР и Правительства Его Величества в Соединенном Королевстве в войне против Германии», обязывающее стороны оказывать друг другу помощь и поддержку всякого рода в войне против гитлеровской Германии, не вести переговоров и не заключать перемирия или мирного договора кроме как с обоюдного согласия.

² См. публикуемое ниже заявление А. Шмидта генералу Волковицкому.

³ Норма выдачи хлеба, составлявшая 800 граммов в день, была в это время урезана до 400 граммов при одновременном ухудшении всего рациона питания, что, естественно, отражалось на состоянии здоровья военнопленных. Вскоре после подписания 30 июля в Лондоне Соглашения между правительствами СССР и Польши, восстановления дипломатических отношений между двумя странами и подписания протокола о том, что «Советское Правительство предоставляет амнистию всем польским гражданам, содержащимся ныне в заключении на советской территории в качестве ли военнопленных или на других достаточных основаниях, со времени восстановления дипломатических отношений», обращение с военнопленными несколько улучшилось. Однако их продолжали держать в заключении вплоть до передачи на формирование в армию Андерса в сентябре.

Письмо Волковицкого 17 июля начальник лагеря Ходос направил Сопруненко, который 23 июля переслал его Меркулову. Текст письма, видимо, в какой-то форме был сообщен Сталину, ибо как раз в это время велись переговоры об использовании польских военнопленных для формирования частей в составе Красной Армии. Во всяком случае в середине августа поступило распоряжение доставить генералов Волковицкого и Пшездецкого в Москву.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ВАЦЛАВА ПРЖЕЗДЕЦКОГО¹ НАЧАЛЬНИКУ ГРЯЗОВЕЦКОГО ЛАГЕРЯ Н. И. ХОДОСУ

Вацлав Пржездецкий
Генерал бриг. Пол. Арм.

12 июля 1941 г.

Начальнику лагеря

6 июля с. г. Вы отобрали у меня папку с бумагами и в присутствии ген. Е. А. Волковицкого объявили, что по рассмотре бумаг вернете мне их того же вечера.

Сказанное Вами слово до сих пор не исполнено. Папка и бумаги нужны мне и сообщаю, что если их не получу сегодня, то с завтрашнего дня (13.VII. с. г.) начинаю индивидуальную голодовку, как протест за насилие.

(ЦГОА СССР, ф. 1 В/П, оп. 5а, д. 2. Рукопись.)

¹ Так в тексте. В русской транскрипции правильнее писать: Пшездецкий.

Бригадный генерал Вацлав Пшездецкий в 1939 году командовал бригадой «Волковьск». Перешел границу Литвы, но в июле 1940 года интернирован советскими властями и доставлен сначала в Козельский лагерь, а оттуда в Грязовец, где вместе с генералом Волковицким оказывал значительное влияние на польских офицеров-военнопленных. Генерал решительно протестовал против притеснений лагерной администрации и различных оперативных групп, как лагерных, так и прибывавших из центра. Подобно генералу Волковицкому, он в начале августа 1941 года направил телеграмму главе польской военной миссии в Москве, созданной по соглашению Сикорского — Майского. К сожалению, об этих телеграммах известно лишь из объяснительной записки Н. И. Ходоса. В них сообщалось, что администрация лагеря плохо обращается с польскими военнопленными, которые подвергаются моральному гнету, что во время допросов им задаются не соответствующие чести офицера вопросы, что их принуждают вступать в Красную Армию и т. д.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЕННОПЛЕННОГО А. ШМИДТА ВОЛКОВИЦКОМУ

Перевод с польского

Господину Генералу Волковицкому лагерь Грязовец от ШМИДТА Альберта, пристава Польской государственной полиции Белостокского воеводства

ЗАЯВЛЕНИЕ

Доношу господину генералу, что 16.VIII — 1941 г. в 9³⁰ часов меня позвали, будто бы к командиру лагеря, где, когда я туда явился, меня не принял командир лагеря, а три политрука, которые начали меня допрашивать о настроениях в лагере. Когда я ответил, что я ничего не знаю и настроениями в лагере не интересуюсь и что, впрочем, есть Польское правительство и я ожидаю на это, чтобы поступить в ряды Польской Армии, они ответили, что «об этом мы решаем и принудим вас к этому, так как вы в наших руках, ибо ваша семья в Казахстане». Когда после долгих уговоров этих политруков я не дал им никаких объяснений, они дали мне срок до 21.VIII, чтобы я явился сам во второй раз и чтобы я хорошо надумался, в противном случае это может отозваться на судьбе моей и моей семьи, пребывающей в Казахстане.

Шмидт.

(ЦГОА СССР, ф. 1 В/П, оп. 5а, д. 1, л. 146. Рукопись.)

3. Пешковский¹

МОЛИТВА

Матерь Божья, страждущая и побеждающая,
Ты, что стояла на Голгофе у креста Иисусова,
я знаю, Ты побывала и в лесу Катынском...
Ты разыскивала всех их по одному
и вела прямо к Сыну Твоему.
Он же прижимал их к пробитому сердцу.
Им затыкали уста, но Ты слышала безмолвный их крик.
Им связывали руки, как и Сыну Твоему,
а Ты повторяла: «Ессе homo»*.
Простреленные их черепа Ты оведала молитвой.
С нежностью собирала каждую каплю крови.
Сберегала все памятки, что находила при них:
крестики, ринграфы, медальоны,
фотографии и письма — эти поцелуи близких,
с которыми они не расставались.
Ты видела, как ряд за рядом падали они в землю,
словно зерна пшеницы, из которых взойдут хлеба силы народной,
Ты баюкала их тишиною леса, что и поныне стоит, онемелый.
Ты позаботилась и о тех, что любили, искали и ждали,
но не могли найти их нигде, кроме как возле Сердца Твоего.
Ты терпеливо ждала вместе с ними,
которым запрещали вымолвить это слово: Катень.
Ну а те — из Осташкова, из Старобельска?

¹ Подхорунжий З. Пешковский с ноября 1939-го по май 1940 года находился в Козельском лагере, затем был переведен в Юнов и Грязовец. Впоследствии стал католическим священником. Молитва написана им к 50-летию Катынского расстрела — в мае 1990 года.

* Се — человек (лат.).

Ты и с ними прошла весь их путь до конца?
А может быть, Ты с ними простилась раньше?
В лесах, среди полей или в просторах морских?
Только Тебе известна эта от мира скрытая тайна.
А довелось ли Тебе увидеть и тех, кто стрелял,
кто выполнял нечеловеческий этот приказ?
Ты их хорошо разглядела?
И простила их всех?
Да, поступить иначе Ты не могла.
Ты помнила слова, сказанные Сыном Твоим:
«Прости им, Отец, ибо не ведают, что творят».
Так помоги же и нам их простить. Аминь.

(Перевод с польского С. Ларина)

Приводимые в статье письма и обращения польских военнопленных офицеров и членов их семей без указания «перевод с польского» написаны ими по-русски. Переводы же с польского выполнены, видимо, кем-то из представителей лагерной администрации, в архивных материалах фамилии переводчиков не сохранились.



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ «ХРИСТИАНСКАЯ РОССИЯ»

В минувшем году наши сотрудники посетили исследовательско-издательский центр «Христианская Россия» в Сериате (Италия); на них произвели большое впечатление интенсивность и постоянство, с которыми немногочисленные энтузиасты ведут там духовно-просветительную работу. Откликаясь на нашу просьбу, об этой деятельности рассказывает читателям «Нового мира» секретарь Центра журналистка АННА ВИЧНИИ.

Среди многочисленных центров и институтов за границей, занимающихся русской культурой и традициями, в Италии более тридцати лет действует Центр исследований «Христианская Россия». Он возник в Милане в 1957 году в результате деятельности католического священника отца Романо Скалфи, который в настоящее время этот Центр возглавляет. С самого начала Центр нашел свой точный адрес и направление, выраженное уже в его названии, которое в те годы должно было звучать вызовом — как в контексте советской культуры, так и в среде культуры западной, ориентированной на светские модели. В Европе, отстающей от христианских традиций, устремленной к светскому прогрессизму, разговор о «Христианской России», равно как и о «Христианской Италии», представлялся анахронизмом или ханжеством, возвращением к средневековому обскурантизму; это были годы, когда даже западное христианство уходило из университетов и культурных учреждений, когда оно уступало место различным идеологиям, поддавалось искушению сделать веру сугубо частным делом, изгнав ее в «ванную комнату собственной совести» (по выражению Вацлава Гавела), и уже не обращаться с нею к миру, истории, человечеству.

В сочинении «Драма атеистического гуманизма», которое принято считать фундаментальным для понимания кризисов и переломных моментов современного мира, кардинал де Любак указывал на русскую религиозную философию начала века как на возможный выход из означенной ситуации и на Достоевского как на великого зачинателя этой философии. В те же годы многие мыслители, интеллектуалы и церковные деятели на Западе благодаря восточной традиции, переданной им первой русской эмиграцией, заново открыли для себя ценность личности, свободы и творчества через богочеловеческую сущность Христа и красоту Церкви, что предполагало возможность переоценки культуры с новой для них точки зрения.

Можно сказать, что Центр исследований «Христианская Россия» стал одним из плодов этого движения. В те годы, когда сокровища восточной духовности, начиная с икон (находившихся в небрежении как примитивное искусство) и кончая русской религиозной философией (рассматриваемой как псевдофилософия с примесью мистицизма), были неизвестны или мало известны широкой публике как в Советском Союзе, так и на Западе, решение обратиться к русской духовной и культурной традиции, чтобы предложить современному обществу путь выхода из охватившего его кризиса, оказалось одновременно парадоксальным и пророческим. Не случаен выбор изданий, с которых Центр начал свою деятельность: первыми были изданы переводы сборников «Вехи», «Из глубины» и (в качестве обращения к современной культуре) переведены «Крохотки» Солженицына, его письма съезду советских писателей и Патриарху. Этот выбор указывает на наличие ясной линии с самого начала: не может быть подлинной традиции без отзвучек в настоящем, и, наоборот, новое не рождается без опоры на общеевропейское христианское наследие. Другими словами, обаяние великого русского духовного наследия, плодотворного не только для восточного, но и для западного мира, не может не вызвать желания найти и в современности мысль столь же жизнеспособную.

Одна из особенностей Центра исследований «Христианская Россия» — это желание обрести в Церкви полноту жизни, попытка воцерковления, ведущая от русской философии начала столетия в глубь веков, к наставлениям отцов Церкви. Отсюда задача Центра — пойти дальше чисто интеллектуальной компетентности в области славистики и стараться, чтобы культурная деятельность была прежде всего выражением жизненного опыта, христианского братства; отсюда же стремление найти аналогичные структуры и в СССР.

Так родился журнал Центра, который ставил себе целью дать прозвучать вне зоны действия репрессивного аппарата голосам, с трудом пробивавшимся сквозь железный занавес, и донести их

до итальянской аудитории; эти голоса принадлежали, независимо от разницы в политических и социальных позициях, носителям нового гуманизма, озабоченным не столько разрушением идеологий или политических систем, сколько соединением разорванных нитей традиции, жадной «жить не по лжи», восстановлением человеческого лица — образа и подобия Божия. Что касается трудной судьбы тех, кто старался разрушить стену молчания, от Пастернака до Синявского и Даниэля, от Солженицына до Сахарова (упоминаю лишь широко известные имена), то кампании, организованные Центром в их защиту, имели в первую очередь просветительскую направленность — велись ради усвоения ценностей и опыта, столь дорого оплаченных.

Журнал сначала назывался «Христианская Россия», а с 1985 года расширил свой охват и стал выходить под названием «Другая Европа», распространив указанные выше принципы на все восточноевропейские страны. В движении «Солидарность» в Польше, в «Хартии 77» в Чехословакии и т.д. были усмотрены черты, важные для будущего всей Европы, расслышан своего рода отклик на культурный и духовный призыв Иоанна Павла II, считающего для Европы необходимым войти в свои прежние пределы, «задышать обоими легкими — Восточной Церкви и Западной Церкви» и объявившего патронами Европы наряду со св. Бенедиктом также греков, святых Кирилла и Мефодия — просветителей славян.

Из тех же соображений при Центре было основано издательство «Матренин двор», заимствовавшее название рассказа Солженицына в напоминание о том, что «не стоит село без праведника. Ни город. Ни вся земля наша».

К произведениям Владимира Соловьева (полное собрание его сочинений выходит под редакцией Адриано дель Аста), Бердяева, Булгакова, Вячеслава Иванова, Гершензона, Трубецкого, к работе Зёрнова о русском религиозном возрождении начала века добавились статьи о природе святости, об истории Церкви, иконографии, о русской литературе, материалы о самых жгучих проблемах советского общества — от публицистики Александра Солженицына до Сахаровских слушаний, разоблачавших нарушение прав человека в разных областях гражданской жизни; материалы о современном положении Церкви, документы об «узниках совести» в лагерях и психиатрических больницах — информация, предвосхищавшая многие из теперешних разоблачений в советской прессе эпохи гласности.

Итальянская идеологическая печать, которая в прежние годы обвиняла Центр исследований в том, что он «выдумывает» самиздат, искусственно конструирует некоторый культурный феномен, чтобы создать видимость не существующей оппозиции господствующей идеологии, теперь изображает ситуацию в СССР в розовых тонах, как будто чуть ли не все сложности и разногласия исчезли с началом перестройки; это удобный способ уйти и от своих проблем, чтобы не надо было задумываться над собственной ролью и собственной ответственностью при строительстве Европы, объединенной не только рыночными интересами, но и общим духовным и культурным опытом. Между тем именно в свете новых огромных возможностей, возникших благодаря изменениям, происшедшим в СССР, нашим долгом является интенсификация совместной работы по взаимному ознакомлению и обогащению. Для этого с недавнего времени Центр начал публикации на русском языке, обращенные к советскому читателю, чтобы представить ему основные вехи культурной и духовной традиции Запада (религиозные тексты для детей, богословские труды наиболее примечательных современных авторов от Романо Гвардини до фон Бальтазара и де Любака, толкования Библии, жития святых Западной Церкви).

Речь сейчас идет о работе, находящейся в самом начале, ведущейся в очень скромных масштабах, которая, однако, получает все большее признание; желательно, чтобы она привела к постоянному сотрудничеству с советскими учреждениями и издательствами, к пониманию того, насколько необходимо преодолевать религиозное и культурное противостояние между мистическим, созерцательным Востоком и прагматичным, легалистским Западом. В различиях и особенно — полезно видеть проявления многообразного, симфонического единства, единства, охватывающего полноту реальности до ее последних оснований.

Перевела с итальянского Т. Д. ВЕНТЦЕЛЬ.

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ

*

МЕЖДУ СВОБОДОЙ И РАВЕНСТВОМ

Общественное сознание в зеркале «Огонька» и «Нашего современника»: 1986—1990

Как бы кто ни относился к «Огоньку» и «Нашему современнику», вряд ли можно отрицать, что именно они все эти годы отражали полюса общественного сознания. Прежде всего потому, что характернее прочих меняли свой социальный статус: если в начале перестройки они воспринимались как «креатуры» противоборствующих группировок в Политбюро (условно говоря, горбачевско-яковлевской и лигачевской), то теперь их независимость от официальных структур очевидна. Наконец, как будет показано, они олицетворяли собою две идеи, между которыми общество все еще совершает мучительный выбор, — идею Свободы и идею Равенства, восходящие к знаменитой триаде Великой французской революции Свобода — Равенство — Братство, но утратившие былое триединство. Ибо ныне одни полагают, что главной причиной плохого «социального самочувствия» страны стало отсутствие демократических прав личности, гарантированных политических и экономических свобод; а другие, напротив, убеждены, что дело исключительно в нарушении социалистического принципа равенства, когда одни живут лучше других и свою волю противопоставляют «общему делу» большинства. Так лозунги бывшей триады становятся взаимоисключающими рецептами излечения нашего больного (сам факт болезни признается всеми) общества.

О процессе этого выбора, его противоречиях, динамике развития общественных умонастроений и их столкновениях, как они предстали на страницах двух наиболее показательных, репрезентативных изданий минувшего периода, и хотелось бы поразмышлять. Но притом постоянная полемика между «Огоньком» и «Нашим современником» не будет находиться в центре внимания. И не только по тактическим соображениям. Давние споры между читателями «Октября» и «Нового мира», точно так же доходившие до иступления, были спорами внутри одного общественного круга, а сами журналы — журналами одного типа. «Огонек» и «Наш современник» изначально предназначались разным социальным слоям, практически не соприкасающимся в жизни, друг друга плохо понимающим и не имеющим общего языка, чтобы обсуждать «разногласия». К тому же эти издания пребывают в разных культурных плоскостях: «Огонек» — журнал тонкий, цветной, еженедельный, стало быть, его функция — быстрое реагирование, улавливание массовых настроений; «Наш современник» выходит раз в месяц, подобно всем толстым журналам, и не должен даже пытаться поспеть за быстротекущей жизнью, его задача — формировать определенное умонастроение, вести потенциального читателя за собою...

Цель же предлагаемой статьи — на примере «Огонька» и «Нашего современника» проследить, как функционировали в журналистике периода первоначального накопления социальной свободы два этих ведущих принципа — улавливания и формирования; как менялось общество под их воздействием и как они сами менялись под воздействием общества; к чему вела последовательно осуществленная программа «демократического» органа и к чему (столь же последовательно осуществленная) — программа органа «консервативного» (если употреблять слово не в строго терминологическом, а в бытовом смысле). Выводы, полученные в результате этого социокультурного анализа двух знаковых изданий, при некоторых оговорках можно будет распространить на «сопредельную» им прессу: в чем-то существенном «Огонек» и «Московские новости», «Наш современник» и «Молодая гвардия» (с определенного момента — «Литературная Россия») повторяли друг друга.

1. ТОЛЬКО И ЭТОГО МАЛО...

Пятый год мы возле «Огонька». Кто-то греется, кто-то обжигается, но хороводов никто вокруг него не водит, увы. А ведь где огонь, там и круг; где круг, там и единение; где единение, там и общая духовная работа. Противники журнала, прочитав это, обрадуются: нашего полку прибыло; вынужден огорчить их...

Вопреки мнению, разделяемому и «левыми» и «правыми», новый «Огонек» поначалу стремился к е д и н е н и ю. Это можно было бы доказать подробным анализом огоньковских публикаций, но для краткости сошлюсь на относительно внешнюю деталь.

Только-только заступивший на вахту Виталий Коротич, дабы сломить стойкое недоверие читателей к глянцеви́то-плакатному изданию Софронова, организовал телешоу. Авторы статей, герои очерков, сотрудники редакции гоняли чай с баранками, что на отечественном телеязыке означает высшую степень семейственности и дружелюбия; за столом были радикалы и консерваторы, эстрадники и экономисты, люди расхожего и утонченного вкуса, почтенные старцы и юное дарование. Тем самым демонстрировался принцип открытости: «Все флаги в гости будут к нам». А смысловым пиком программы стало интервью с главным редактором, который, умело улыбаясь, четко сформулировал критерий отбора материалов для предстоящих публикаций: адресность, расчет на вкус и уровень определенного читателя, от люмпена до интеллектуала, — только так «Огонек» сможет стать журналом для всех. Или по крайней мере для большинства. Назовите это всеядностью или всеохватностью; отметьте логические изъяны предложенной концепции¹, скажите что угодно сердитое по адресу Коротича, но согласитесь, что стремлением к расколу тут и не пахнет и желание отделять демократических ягнят от реакционных козлий не просматривается.

Другое дело, что разнородные вкусы и идеалы надо чем-то уравновешивать, несовместимых авторов и читателей нужно примирять на какой-то общей или хотя бы нейтральной почве, с н и м а я напряжение противодействующих полюсов. И тут-то начинаются все сложности. Ибо «Огонек» — все-таки журнал неусидчивый и динамичный. Невозможно допустить, чтобы он стал стратегически стабильным, концептуально неповоротливым: прогорит! Его удел — тактика, подвижность, изменчивость. Он призван чутко улавливать настроения, зреющие в обществе, быстро аккумулировать их, оттачивать до степени общепонятности и вовремя отбрасывать, как только они начинают утрачивать первую свежесть.

Понятно, что я огулбляю, и не любое настроение журнал согласится аккумулировать: ведь не призвет же он грабить награбленное²!

Влетев в нашу жизнь на эйфорической волне перестройки, обновленный «Огонек» твердо выступил против тоталитаризма во всех его проявлениях, однозначно положив этические пределы своим последующим идейным исканиям. Но ведь способов борьбы с социальным насилием множество, и противопоставлять ему можно что угодно — от анархии до религиозного самоотречения, от европеизированной демократии до просвещенной монархии, от крестьянского Беловодья до коммунистической Утопии, от обновленного «социализма с человеческим лицом» до «высокой поэзии» рыночных отношений. И потому внутри очерченных границ «Огонек» мог двигаться на ощупь, пробуя то одно, то другое, то третье.

Так он и поступил. И оказался журналом плюралистичным, но с незыблемыми границами; с незыблемыми границами, но с «плавающим» центром. Журналом, не столько формирующим общественное мнение, сколько отражающим его, хотя как бы и с некоторым опережением. И потому способным служить своего рода механизмом а п р о б а ц и и различных изводов великой идеи свободы, которую нашему обществу предстоит или принять, подогнав под местные условия и отведя ей строго определенное место в иерархической системе социальных ценностей, или отвергнуть со всеми вытекающими последствиями. И если «Огонек» терпел в какой-то момент неудачу, за нею просматривался отнюдь не узкожурнальный смысл. И если одерживал победу — то была победа не только и не столько его самого.

Слово «консолидация» засорило наш язык несколько позже, но допустим анахронизм, зададимся вопросом: что предложил «Огонек» 1986 года в качестве п е р в о г о консолидирующего противовеса тоталитаризму?

Страшно сказать: нечто едва ли не противоположное своим дальнейшим принципам! Мало кто отдает себе отчет в этом, ибо большинство из нас стало читать журнал не с № 26 за 1986 год, когда вакантное место главного редактора в списке редколлегии занял Виталий Коротич, а спустя

¹ Скажем, огоньковцы до сих пор не поймут, что многие их читатели рассматривают полосы, отведенные под детективы, как необязательный довесок, а те, кто подписывается только ради детективов, до конца дней своих не научатся отличать «Огонек» от «Смены» и «Работницы».

² А назвать его явлением желтой прессы западного толка может лишь человек, никогда зарубежных тонких журналов в руках не державший. В сравнении с любым из них, даже со «Шпигелем», «Огонек» — издание чуть ли не академическое и непомерно стыдливое.

месяцы, осенью, вернувшись из отпусков и прослышав о неожиданных переменах в журнальном мире. И потому стоит перелистать подшивку, чтобы сделать неожиданные открытия.

Уже в № 28 печатается статья Валерия Золотухина «Как скажу, так и было...» о «Баньке белому» Владимира Высоцкого. Это сейчас во многом благодаря статьям Ст. Куняева и болезненно-шумной, несоразмерной по поводу реакции на них в стане «демократической печати» имя Высоцкого загнано в групповую лузу, а Таганка задним числом воспринимается как театр левый. В 1986 году все было иначе, о т е н к и еще сохраняли значение. И любимовский театр ценился т а к ж е и как гуманистический театр Федора Абрамова, Бориса Можаяева, Валентина Распутина, Юрия Трифонова, а «Банька...» Высоцкого с ее сибирским колоритом (подобно песне Юза Алешковского о «большом ученом» — товарище Сталине) звучала скорее «почвенно», чем «революционно».

Спустя два номера появилась первая из долгосрочного цикла бесед Феликса Медведева с деятелями культуры. Спроси сейчас любого: с кем беседовал огоньковский интервьюер? — попадающий в точку почти не будет. А ведь не с Вознесенским, не с Шатровым — цикл открыли разговором с Виктором Астафьевым, причем попросили его высказать пожелания в адрес журнала, «как сделать его лучше, интереснее»... В том же номере помещено интервью с академиком Борисом Раушенбахом «Образ и формула» — российское средневековье, математическое обоснование законов «обратной перспективы» в иконописи... И вновь приходится делать поправку на быстротекущее время. Четыре года назад позиция еще значила больше, чем фамилия, и немецкое происхождение академика не затмевало его глубоко русской культурной ориентации; как раз именно ею-то и определялось появление статьи Раушенбаха на страницах «Огонька».

Дальше — больше. «Круглый стол» «Книга: читать или иметь?» (№ 33), в котором участвуют — среди прочих — и ведущий теоретик неопочвенничества Вадим Кожинов, и главный редактор близкого к этому течению издательства «Молодая гвардия» Николай Машовец. Между прочим, во время «круглого стола» произошел забавный диалог между Кожиновым и одним из огоньковских журналистов; первый воскликнул: «Белов не раз говорил и писал о необходимости закона, предусматривающего недопустимость искажения классики»; другой подхватил: «...от имени журнала... мы обращаемся к Госкомиздату... Союзу писателей... Не пора ли принять закон...» Какое трогательное единодушие! Свежо предание, а верится с трудом... Точно так же с трудом верится, что записной борец с сионизмом Цезарь Солодарь или певец золотистых глаз генералиссимуса и автор трепетных воспоминаний о встречах с Молотовым (№ 34) Иван Стаднюк печатались не только в «Огоньке» Софронова, но и в «Огоньке» Коротича. Память наша вообще избирательна: что орден Ленина исчез с обложки журнала — и на смертном одре будем помнить, а что в том же номере Стаднюк печатался — забыли на следующий же день; что отрывок из прогрессивного романа Дудинцева «Белые одежды» появился в «Огоньке» теплым сентябрем 1986-го, затвердели, а что поздней ненастной осенью того же года в рубрике с характерным названием «Память» читали беседу с Валентином Распутиным, по-доброму отозвавшимся об академике Лихачеве, и не упомним. Ибо схематичная простота привычнее нам, чем правда.

А правдой будет вот что. В первые месяцы своего существования «Огонек» был умеренно-почвенным (с ударением на первом слове) изданием. В том специфическом смысле, что журнал надеялся объединить в с е х с в о б о д н ы х л ю д е й на основе уважения к традиции. Не столько национальной, сколько народной. Не только деревенской, но и городской. И, естественно, ориентировался на тех, кто в русле этих традиций работал (Астафьев, Распутин, Окуджава) или жизнь положил на их исследование (Лихачев, Аверинцев, Раушенбах, Кожинов). Отсюда и другое: именно от огоньковской искры возгорелось пламя публикаторства, именно он начал процесс возвращения дезавуированных революцией и сталинизмом имен и произведений. И процесс этот имел для него тоже умеренно-почвенный смысл: вернуть народу забытые имена значит поддержать т р а д и ц и ю.

Читатель 1990 года, уставший вздрагивать при очередном сообщении о кровавой межнациональной резне, наслышанный о литературных побоищах и способный с легкостью необыкновенной отличить платформу писательской группы «Апрель» от платформы «Письма российских писателей», задним числом сочтет подобную попытку «консолидации» наивной. И будет прав о т ч а с т и. Но 1986 год — это 1986-й! Перестроечные иллюзии; «обнимитесь, миллионы»... Расчет был прост: разногласия, дескать, возникли в 70-е годы, порождены давлением официоза, «не носят антагонистического характера» — так неужто перед лицом грядущих перемен не отречемся мы от старого мира, неужто не помиримся назло поссорившим нас властям? И почему бы впрямь было не помириться, если всего три-четыре года назад Валентин Распутин готов был написать дружеское предисловие к роману Евг. Евтушенко «Ягодные места»; если Виктор Астафьев в интервью «Литературному обозрению» (1987, №3) с тоской говорил, что не успел познакомиться с Трифоным; если Булат Окуджава сравнивал еще не опубликованные романы Дудинцева и Рыбакова с

распутинским «Пожаром» и астафьевским «Печальным детективом» — «свидетельством зрелости нашей литературы» («Огонек», № 47)? Кто же знал, что противостояние «национал-радикального» и «радикально-демократического» течений уже тогда было глубже, чем казалось многим, едва ли не всем? Это потом благодаря как раз деятельности «Огонька» выяснилось: противоречия именно антагонистические, а мелочная писательская вражда 70-х — отнюдь не порождение имперского принципа «разделяй и властвуй», но камерная увертюра к некоей общегосударственной какофонии³. Потому признаем: питать иллюзии тогда было натуральней, чем не питать их. А жизнь быстро расставила все по своим местам. И, как водится, формой проявления закономерности стала случайность.

В № 44 «Огонька» (где, кстати, Вадим Кожинов представлял читателю подборку национал-мифологических стихов талантливейшего лирика Юрия Кузнецова) был напечатан с р а в н и т е л ь н о полный вариант воспоминаний Юрия Трифонова о Твардовском, «Новом мире», конце 60-х. Напечатан с единственной целью — чтобы люди прочитали. Никаких подтекстов, как ни вглядывайся, не обнаружишь. Обнаружили. Одну фразу. Повод для разрыва дипломатических отношений был найден: «Все это ползет от непереваренной почвеннической фанаберии девятнадцатого века, не принесшей русскому искусству особых достижений, зато обольстившей наших мыслителей великим множеством приятнейших, душегрейных рассуждений: от гениального Достоевского до Шевцова»...

Тут никто даже не обратил внимания, по какому поводу Трифонов сердится; а ругает он с т и л и с т и ч е с к о е однообразие, именно оно — от фанаберии!.. Реплики в толстых и тонких изданиях, деланное возмущение критиков типа Ш. Умерова, немедленная ответная реакция «Огонька», ответ на ответ, ответ на ответ — и в две-три недели тонкий слой огоньковского почвенничества был смыт до каменистого основания. Вместе с этим слоем общество окончательно лишилось иллюзии, будто о с в о б о ж д е н и я жаждет и, главное, одинаково его понимает вся н е а н г а ж и р о в а н н а я интеллигенция и что ценностный статус свободы обсуждению не подлежит. Выяснилось, что байроновский императив:

Кто драться не может за волю свою,
Чужую отстаивать может, —

весьма непопулярен и многие готовы драться за с в о ю волю, за свободу для себя и своих идей, а чужую не только отстаивать, но и допускать-то не намерены. Что согласно такой позиции трифоновская точка зрения (по мне, вызванная минутным раздражением и провоцирующе заостренная) не имеет права быть обнародованной. Что давнее «Кто не с нами, тот против нас» вновь обретает грозную актуальность.

Трифоновская публикация, независимо от желания публикаторов, как бы напомнила обществу о двусоставной идеологической модели конца 60-х — начала 70-х годов, о противостоянии демократического «Нового мира» и неопочвенной «Молодой гвардии» (тогдашнего «Нового мира», тогдашней «Молодой гвардии»). До перепечатки «Письма одиннадцати» и ответных попыток п о л н о с т ь ю обелить догматически-марксистскую, давшую повод для появления «Письма...» новмировскую статью А. Г. Дементьева, было еще далеко, но к этому все было готово. На новом историческом витке сама собою воспроизвелась старая схема идейного противостояния; отказавшись занимать новые боевые позиции (а примириться тем более), все разошлись по старым огненным точкам; и те, кому не находилось места ни на старомолодогвардейском пятачке, ни на дементьевской высотке, рисковали оказаться под перекрестным огнем.

Тут-то «Огоньку» пришлось срочно сместить центр. За этим дело не стало. Премии журнала за 1986 год получили А. Вознесенский и Ю. Кузнецов, Ю. Мориц и В. Распутин; всем сестрам выдано по серьгам, а время наступало совершенно иное.

В первом же номере за 1987 год «Огонек» дезавуировал тему, путеводную для нынешней «Молодой гвардии», постаравшись разоблачить «легенду о руководящей роли масонов в революционном движении» и напомнить о жутковатых традициях черносотенства. Во втором напечатал статью Дм. Иванова «Что впереди?» (а спустя некоторое время — ее продолжение под названием «Все позади»). В десятом — опубликовал афористическую стихотворную «шпильку» Татьяны Бек:

³ Иначе серия позднейших, абсолютно внутрицеховых литературно-критических публикаций «Огонька» (это прежде всего вздорно-кокетливые обзоры Татьяны Ивановой и снисходительно-прямолинейные статьи Б Сарнова) не вызвала бы никакого читательского отклика. А ведь вызвала, и какой! Понятно, что миллионному читателю не было и не могло быть дела с о б с т в е н н о д о того, чей эпигон (и эпигон ли?) Татьяна Глушкова, имела ли право Алла Марченко ругнуть «Белые одежды» и скромно ли со стороны поэта К. считать себя гением. Но коли читали, коли напряженно всматривались в запутанные чертежи литературных баталий, значит, воспринимали их как условные схемы с о ц и а л ь н ы х противоборств...

...Узколобому дубу назло,
Ибо злоба — его ремесло.
Заявляю с особенным весом:
— Я счастливая! Мне повезло
Быть широким и смешанным лесом —
Между прочим, российским zelo!

В одиннадцатом напомнил Феликсу Кузнецову, еще не членкору, но уже известному своими способностями специалисту, ряд его высказываний, мягко говоря, противоположных друг другу по смыслу: «перестройка с ускорением!»...

Выбор был сделан; в те зимние месяцы я впервые услышал фразу: «Что этот Коротич себе позволяет!» (произнес ее бородатый писатель, одетый весьма по-западному: он очень сердчал на Татьяну Бек). Потом эта фраза стала чем-то вроде рефрена и пароля одновременно. Ее то и дело повторяли партийные работники и литераторы; тем самым они фиксировали свою принадлежность к определенной «фракции». Им возражали... и как-то ни те, ни другие не удосуживались задать простой, но жизненно важный вопрос: что «Огоньку» не н р а в и т с я, ясно, он своих антипатий не скрывает, — но что же ему н р а в и т с я?

Одну и ту же идею можно отвергнуть с несовместимых позиций; шовинизм и склонность к партийной догме равно дики для православного верующего и демократически настроенного коммуниста, сторонника всеотзывчивого отечестволюбия и ценителя традиций III Интернационала. В конце 1986-го — начале 1987-го те и другие стали читателями «Огонька», поскольку он сделал главный упор на п р о т и в о с т о я н и е нарождавшемуся национал-тоталитаризму и несколько размысл свою «положительную программу». Но при желании ее основные постулаты можно было вычислить уже тогда, а общая направленность от номера к номеру становилась очевиднее.

Вспомним: чьими устами спорил «Огонек» с молодогвардейским антимасонством (тогда еще без уточняющей частицы «жидо...»)? Устами глубоко советского академика Исаака Минца. Какими доводами пользовался в сражении с сомнительной теорией? Доводами «от Маркса», чье учение всесило, ибо верно. С каких позиций пошел журнал в атаку на «Память» (статья А. Головкова и А. Павлова «О чем шумите вы?»)? Да с тех же самых, все еще идеологически неприкасаемых. Авторы предложили нам, советским людям, поскорее объединиться на других основаниях. Не православие (в причастности к которому почему зря обвиняли «Память») способно стать «общей для народа святыней», но повседневное ощущение, «как соединены мы прекрасной целью перед лицом Революции, в канун ее 70-летия»... А 150-летие со дня смерти Пушкина редакция встретила следующими словами: «Уважение к собственному, но и уважение к другим народам — вот пушкинский завет, презирающий шовинизм, указующий стратегическое направление национальной судьбы. Вовсе не случайно, что с пушкинскими стихами и прозой воспитаны и Ленин, и его соратники-интернационалисты... Символична в этом году встреча двух памятных дат — Пушкина и Октября».

Ни больше ни меньше.

Но ведь это тактика, цензурные условности, эзопов язык!

Да, соглашусь немедленно: и тактика, и условность, и язык. Но не только, вот в чем дело! Как не только тактикой была для Александра Григорьевича Дементьева тяжелая артиллерия ленинских отсылок и цитат в упомянутой выше статье. Слоем официально-конъюнктурной, верно-подданнической революционности лишенный щепетильности «Огонек» в тот момент прикрывал революционность иную, оппозиционно-шестидесятническую, демократическую; программа «почвенного» антитоталитаризма провалилась, и «сентиментальную» эпоху сменила в журнале эпоха «революционного романтизма».

Это тоже было естественно; многим после январского пленума показалось, что в нашей общественной жизни возрождаются пламенеющие идеалы шестидесятничества с его стремлением о ч и с т ы е революционную идею от всех наслоений сталинщины, противопоставить догматическому марксизму — истинный, пронизать токами свободолюбия всю общественную атмосферу... «Кто там шагает правой?левой!левой!левой!»

В стране зазвучало слово «демократизация», перестройка была осмыслена как последний шанс шестидесятников договорить недоговоренное, досказать недосказанное. И «Огонек» начал договаривать, досказывать: так появились на его страницах мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (главы, не включенные в окончательный текст по цензурным соображениям); так обложку украсил групповой портрет «могучей кучки» поэтических лидеров 60-х: Евтушенко в роскошной шубе, Вознесенский в нежном балахоне, чинный Рождественский в дубленке, Окуджава в простодушной телогрейке... Хрущев, кремлевские игры, верткая демократия Эренбурга, теплые воспоминания на зимней даче Окуджавы о событиях тридцатилетней давности — и за всем

этим сладостная надежда: вдруг молодость повторится, вдруг да войдем дважды в одну и ту же реку...

Человеку стороннему, к шестидесятичеству уважительно-равнодушному, достаточно было внимательно всмотреться в цветную фотографию на обложке девятого номера, вчитаться в интервью, чтобы понять: ничего не выйдет; годы провели черту промеж вчерашних свободолюбцев, быть может, еще более непреодолимую, чем отделяющую их вкуче от «младопочвенников». Больше того: кто так и остался шестидесятником, тот в наименьшей степени сохранил верность идеалам собственной юности, а кто пошел дальше, кто вырос из этих идеалов, как из одежды, тот в итоге оказался ближе к ним.

Но то — сторонний взгляд.

Журнал же по бурному морю печатному вели люди, взиравшие на проблему изнутри. Это первых; но было и во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых. К реальной власти в стране окончательно пришли «дети XX съезда»; к печати готовились «Дети Арбата»; и детская болезнь левизны была попросту необходима обществу, погрязшему в старческих догмах. Да и о цензурном барьере забывать нельзя. И потому — вместе со всем социумом — «Огонек» вступил в переходный период, когда одни иллюзии вытеснялись другими, чуть менее иллюзорными, когда жесткая схема «Краткого курса» сменялась схемой пополненного курса и готовилась почва для следующего, более резкого шага на пути к духовному освобождению.

Главной (говоря по-советски, кардинальной) линией «Огонька» стал последовательный ряд публикаций, начало которому, вероятно, положила статья В. Поликарпова о Федоре Раскольникове (№ 26). Замысел был ясен: вот сталинская гвардия, а вот ленинская; вот готовые прислуживаться, а вот — отказывающиеся даже служить; вот сталинский клевет Молотов, а вот — гуманный нарком Максим Литвинов (см.: З. Шейнис, «Максим Литвинов возвращается в строй». — № 35) или героический Ян Рудзутак (сколько споров приходилось слышать в московском транспорте после этой публикации в № 36! Бабушки и дедушки всерьез обсуждали, что было бы, если б не Сталин, а Рудзутак стал генсеком...). О Бухарине (№ 48) просто не говорю... И вновь — из 1990 года легко язвить, даже еще легче, чем было Алле Латыгиной в 1988-м (см. «Новый мир», № 8) обвинять редакцию «Огонька» в поверхностном «революционном» схематизме; но нельзя забывать, какие письма слал в журнал рядовой читатель: «Правда о соратниках Ленина — это и есть Справедливость. Иных маяков у нас нет, только ОНИ» (№ 43). Самое страшное, что у многих действительно не было.

Под самый занавес первого года эпохи демократизации «Огонек» поместил письмо Л. Аннинского⁴, где известный наш критик притворно-добродушно поправлял Евг. Евтушенко, уравнившего в правах Блюхера и Якира: нельзя, грешно, один подписывал смертный приговор другому⁵, и вообще все виноваты, не нужно никого возвышать или принижать. По форме поправка верна: восславленная «Огоньком» «ленинская гвардия» сама подготовила свою гибель, и у Раскольникова руки были по локоть в крови, и Бухарин играл в жутковатые игры. Но по сути — взамен концепции неумеренного прославления сомнительных личностей была предложена концепция «свального греха», когда проблема не р а в е н с т в а вины попросту снималась, стало быть, и вопрос о необходимости личного покаяния. Аннинскому возражали другие читатели, возражали столь же однолинейно; и эта полемика лучше всего демонстрирует стремление тогдашнего социума к черно-белому изображению. И кто как, а я скорее примирюсь со склонностью тогдашнего «Огонька» к белому или, словив себя, признаю право «Нашего современника» на глухой черной цвет, чем приму смазанно-серый колер философии всеобщей равной вины.

В первой половине 1988-го все вроде бы шло по накатанной колее: маршал Жуков как честнейший партиз (№ 5), деятельность комиссии Политбюро ЦК по реабилитации являет собою «урок твердости и достоинства... преподанный государственно, он обязан преобразовываться в личном опыте, в делах; невозможно без него прийти к будущему, достойному ленинской мечты» (№ 7, колонка редактора); первый секретарь ЦК комсомола Александр Косарев — жертва рябого вояж; «круглый стол» «Больше социализма!» (№ 12, 14); письмо старых большевиков о необходимости переиздать «Повесть о пережитом» Бориса Дьякова.

Но появляются и кое-какие новые интонации. В поэтической антологии, которую по-любительски, но искренне и потому хорошо вел в 1987—1988 годах Евг. Евтушенко, была напечатана подборка стихов Ильи Эренбурга (№ 7); и предисловие к ней составитель построил иначе, нежели редакция к эренбургским мемориям в 1987 году: «...в том тяжелейшем положении, в котором

⁴ Вообще о «почтовой» рубрике журнала стоит сказать особо, ибо она есть не что иное, как вживленный в его ткань механизм социальной саморегуляции, улавливатель динамики умонастроений, позволяющий вовремя произвести необходимую перенастройку в пределах заданного диапазона.

⁵ Позже выяснилось — не подписывал

оказался Эренбург, как между молотом и наковальней — между Европой и Сталиным, я думаю, он делал максимум возможного, чтобы помогать другим, не переходя, однако, грань, после которой его самого бы ждала колючая проволока. Судить Эренбурга издали легко, быть Эренбургом было тяжело» (разрядка моя. — А. А.). Положим, я лично сказал бы жестче и мягче одновременно — о трагедии личности, которая ведет постоянную двойную игру и соглашается на сомнительную роль «козырной карты» Советского государства в игре с Европой; о трагедии личности, заживо ставшей музейным экспонатом, который вывозят в застекленной витрине за границу, дабы все видели: у нас и демократы имеются... Но я и не печатался в «Огоньке», а только издали сочувствовал ему (иной раз подавляя раздражение). А Евтушенко печатался и в определенные моменты задавал тон; появление драматического подтекста в его статье о вчерашнем «идеальном герое» журнала могло быть вызвано и личными причинами, но «Огонек», который печатал это, не мог не сознавать, что тем самым несколько смещает свою позицию, лишает ее однозначности.

Другими «поправками к курсу» стали беседа А. Чернова с академиком Д. С. Лихачевым к 1000-летию Крещения Руси (№ 10), выступление Ю. Карякина в пресловутом «круглом столе» «Больше социализма!» (№ 14), публикация рассказа И. Друцэ «Самаритянка» (№ 23; вообще это, может быть, лучшая литературная публикация «Огонька» за все годы его обновления) и карякинская же статья «„Ждановская жидкость“...» (№ 19). При всей разнородности этих материалов их объединяет многое, и прежде всего — ни один из них не укладывается в прокрустово ложе философии «социализма с человеческим лицом», ибо во всех них упор сделан не на общественное устройство и переустройство, а на суверенную ценность человеческой личности, ответственной перед Богом (Д. С. Лихачев, И. Друцэ) или другими людьми (Ю. Карякин) и потому готовой признать, что «существует объективность законов нравственности», и предъявить себе какой-то последний счет (№ 14). Я совсем не хочу сказать, что православие стало для «Огонька» чем-то большим, нежели тема, способная дать мощный социальный резонанс, но оно перестало быть для него «атрибутом» памятливых настроений; я не хочу сказать, что «Огонек» сам решил вступить на стезю преодоления «шестидесятничества» (такого преодоления, которое включает преодоленное явление в состав создаваемого на правах неотторжимого, хотя и подчиненного другой структуре элемента), но теперь он оказался готов открыть свои страницы и такой точке зрения. А значит, и православие (вера вообще) и «антишестидесятничество» утратили для него ассоциативную связь с тоталитарной идеей. И произойти это могло лишь благодаря назревающим переменам в нашем общественном сознании. Причем ситуация развивалась столь быстро, что «Огонек» едва ли не единственный раз в своей практике на мгновение отстал от нее.

Вспомним: 1988 год начался скандалом вокруг пьесы Михаила Шатрова «Дальше... дальше... дальше!» («Знамя», № 1). «Правда» попыталась использовать ее как повод, чтобы положить предел постепенному, но неуклонному освобождению общества, и отстаивать позиции Шатрова в первом квартале значило отстаивать позиции демократии. Но вот незаметно подошел третий квартал; и пирамида как бы перевернулась. Права Шатрова высказывать свои убеждения никто больше не ставил под сомнение, однако многие из вчерашних его «тактических» защитников начали задавать логичный вопрос: а куда «дальше... дальше... дальше»? И в поисках ответа обратились к Солженицыну. Именно тогда и прозвучали знаменитые слова одного значительного лица о том, что Солженицын не вписывается в рамки социалистического плюрализма, и «Огонек» решил весьма оригинальным способом поспорить с этим утверждением. В № 45 появилась беседа со вчерашним гонимым, М. Шатовым, — беседа, заставившая вспомнить фразу Евг. Евтушенко об Илье Эренбурге. Наш искушенный тактик со страниц журнала предложил властям своего рода компромисс: вы позволите напечатать Солженицына, а мы возразим ему следующее:

а) спорить можно лишь о том, когда началось отступление от ленинского плана построения социализма — в 1924-м или в 1929-м, но говорить, что «катастрофа России» началась 25 октября 1917 года, нельзя;

б) да, критиковать Ленина нужно, но только ради поддержания его авторитета (не символ, а живой и потому еще более близкий нам человек);

в) пока Солженицын отвергает сталинщину — он с нами, как только идет дальше нее — он идет и против нас;

г) а главное — давайте скорее канонизируем идеалы «детей XX съезда» в качестве новой, прогрессивной «идеологии», тогда никакой Солженицын нам будет не страшен.

Если я и утрирую, то совсем немного. В принципе любая точка зрения имеет право на существование, точка зрения М. Шатрова в том числе; опасно было другое: этим интервью оппозиционный «Огонек» демонстрировал готовность придать своей позиции «официальный статус». На этом он мог кончиться, ибо власти, поартачившись, согласились бы, и тогда пришлось бы строить все номера так, как был построен № 45, из которого было изгнано любое инакомыслие:

ничего «карякинского» или «лихачевского», только программа Шатрова: только поддержка партийной формулы «репрессии, имевшие место в 30—40-е и начале 50-х годов» (с некоторыми оговорками о трагедии крестьянства); только прославление кровавого вождя венгерской революции Бела Куна; только столкновение Сталина с Бухариным... Что спасло журнал от роковых шагов? Уверен: настроенность на общественную волну. Поскольку в ответ на обращение Шатрова (ничем не отличающееся от призыва авторов упомянутой уже статьи о «Памяти») ко всем «единомышленникам, всем, кому пепел оболганной, преданной и расстрелянной Сталиным Октябрьской революции постоянно стучит в сердце...» — последовало гробовое молчание.

Отдадим «Огоньку» должное: он быстро сделал необходимые выводы. В № 49 за 1988 год появилась статья Вяч. Костикова «О «феномене Лоханкина» и русской интеллигенции», во многом для журнала поворотная. И столь значимая, что автор и редакция еще несколько раз (1989, № 22, 32 и т. д.) возвращались к заявленной здесь теме и «закрученному» сюжету, чтобы уточнить позиции, восстановить цензурные пробелы и дезавуировать конъюнктурные искажения. В этой статье многого еще не было, но многое и было; «Огонек» пока не чувствовал себя готовым сказать о судьбе русской интеллигенции в революции как о трагической расплате за социально-мессианические (в противовес национально-мессианическим) чаяния начала века, но был уже готов сказать, что с а м а революция (а не ее враги), «подготовленная несколькими поколениями русской интеллигенции», через десять лет обратила меч против своих зачинателей. Не пришло время сказать открыто (по-моему, впервые это было сделано только в статье С. Хоружего в «Литературной газете», 6.06.90) о роли Ленина в высылке группы оппозиционной интеллигенции на «философском пароходе» в 1922 году, но о самой высылке как бесповоротно роковой для страны акции — сказано. И бухаринская фраза («... будем штамповать интеллигентов, будем вырабатывать их, как на фабрике») не предана стыдливому замалчиванию, хотя оговорка о «трагическом ослеплении» по-прежнему присутствует. И еще в том же номере опубликована запись Фриды Вигдоровой «Судилице» — о суде над Иосифом Бродским. Запись, которая в момент публикации показалась просто очередной брешью в цензурной стене, но стала камертоном к целому циклу публикаций, сменившему историко-революционный цикл: судьба российских диссидентов (о Юрии Орлове — № 35, о П. Абовине-Егидесе — № 50; обе публикации — в 1989 году).

На журнальном языке тандем материалов Костикова и Вигдоровой означал следующее: редакция не отказывается от своей «революционной» направленности, но в качестве движущей выдвигает совсем иную силу, чем прежде. Не пламенных подвижников вождя, не страдальцев за дело социализма, но жертвенно противостоящую тоталитарному строю интеллигенцию. И одновременно начнется медленная, но неуклонная работа по развенчанию вчерашних кумиров.

Результаты не заставили себя долго ждать: блестящее разоблачение лидера Промпартии Рамзина (№ 12) просто не могло появиться в «Огоньке» годом раньше. Письмо В. Вилина о том, что Хрущев разрушил русскую деревню (№ 2), — тоже. И выяснилось, что «Огонек» не просчитался; недоуменное молчание, вакуумом окружившее его после № 45, сменилось оживленным хором; причем иной раз читатели чувствовали новую настрой журнала лучше самой редакции и, когда та пыталась вплести в меняющуюся партитуру старую мелодию, тут же указывали ей на фальшь. Стоило в № 9 поместить «интервью с антигероем» — автором подметного письма от имени «Памяти» А. Норинским, — как пришло письмо М. Салопа (№ 14) с призывом быть разборчивей в знакомствах...

И вот на этой-то волне «Огонек» вышел на Андрея Дмитриевича Сахарова; вышел — и пошел за ним до конца. Что это значило для журнала? Не только необходимость и неизбежность окончательного преодоления эренбургского комплекса — комплекса лавирующего демократизма⁶. Не только появление здорового — вполне «союзнического», но и вполне свободного тоже — скептицизма в отношении к не раз воспетой им перестройке, но прежде всего переосмысление ведущей для «Огонька» революционной идеи. Ведь даже когда «Огонек» от воспевания «ленинской гвардии» перешел к рассказу о судьбах диссидентов, он поначалу в оппозиционном движении 70-х годов ценил именно то, что оно — движение, что — форма коллективного сопротивления режиму. В лице же Сахарова, мне кажется, всему нашему обществу (и «Огоньку» — как следствие) было явлено, что в «коллективистском» XX столетии не коллектив является центром исторического процесса, каким бы этот коллектив ни был — патриархально-общинным, социалистически-массовым, оппозиционно сплоченным, — но именно одинокая человеческая личность, бросающая вызов веку сему и князьям его и протягивающая руку и открывающая сердце другим людям. Вступающая в борьбу не ради победы, но ради с а м о с т о я н ь я, того, о котором писал Пушкин. В самостоянье заключен секрет «единства противополож-

⁶ Знаком победы над этим комплексом мне представляется статья Вяч. Костикова о судьбе Горького (1990, № 1).

ностей» — Сахарова и Солженицына; самостоянье и есть то, что толкает нас на личное покаяние, избавляя от принародной исповеди и предостерегая от сомнительных теорий общей равной вины.

А если так, если журнал принимает такую «огласовку» идеи свободы, то он неизбежно должен открыть двери всему и всем, что помогает личности выстоять. — вере предков, традициям родной истории, идеям либералов и умеренных консерваторов, демократов и монархистов. Кто регулярно читает «Огонек», тот знает: в течение 1990 года всему этому нашлось место в нем. И беседе с великим князем Владимиром Кирилловичем (№ 2). И глубоко концептуальной рубрике «150 лет фотографии», где старая Россия, возлюбленная нами о Господе, предстает во всех своих — таких родных, таких непоправимо утраченных — проявлениях. И статья Ю. Гаврилова о том, почему не состоялось Учредительное собрание... На идеи личности журнал примирил столь несхожих авторов, как заядлый эгоцентрик (мне лично «литературно неприятный») Эдуард Лимонов и глубоко человеческий (вскоре ушедший от нас) Сергей Довлатов... Это не мешает «Огоньку» образца 1990 года иной раз срываться в пошлость (необъяснимый пример которой — юмореска Татьяны Толстой в первоапрельском номере); это не мешает ему выбирать не самые удачные стихи у талантливых поэтов — Тимура Кибирова, Юрия Карабчиевского. Или неквалифицированно готовить архивные публикации (письма Б. Л. Пастернака. — № 1)... (Точно так же, как ничто не мешало «Огоньку» 1989 года действовать вполне пиратскими методами ради того, чтобы быть п е р в ы м во всем, в том числе и в возвращении в отечественные пределы «отлученных» произведений. О самом неприятном примере такого пиратства я имел случай сказать в «Дружбе народов», 1989, № 10, стр. 242.)

Но это позволяет ему быть действительно журналом для большинства, ибо день ото дня яснее, что общественный консенсус (если вернуть слову его изначальный, «непарламентский» смысл) может быть достигнут ныне только на основе уважения к личности. Тут, однако, возникает противоречие, вряд ли устранимое: чтобы проводить новую линию последовательно, «Огонек» должен будет или превратиться в информационно-просветительское издание, «народный журнал», или пойти в разработке темы вглубь и потерять значительную часть подписчиков, не готовых к этому. Ни то, ни другое огоньковцев не устроит... Но бесполезно загадывать наперед. Изменится ситуация — изменится и «Огонек». Главное — во всех переменах помнить, что он — зеркало, очень хорошее, но зеркало. И незачем на него пенять.

2. В ОБЪЯТИЯХ «ЗАСЛУЖЕННОГО СОБЕСЕДНИКА»

Боюсь, читатель журнальной критики уже затаился: а будет ли что про евреев? Спешу утешить: будет. Но после. И совсем немного. Мы же начнем вот с чего.

Толстый журнал в отличие от тонкого, как было сказано, не призван следовать за кривой общественного развития; ему достаточно однажды заявить свою позицию, а потом углублять ее, варьировать; принципиально иначе строятся его взаимоотношения с читателем: не «все флаги в гости будут к нам», а «звезда с звездой говорит». Что касается «Нашего современника», то, при всех его достоинствах (или недостатках), до 1986 года далекий от литературной элиты и не интересующийся «междусобойчиком» читатель воспринимал его скорее как альманах, чем как собственно журнал, обладающий неким особым надтекстовым единством. Одни брали в руки книжки «Нашего современника», когда здесь появлялись новые вещи Распутина, Белова, Астафьева, Абрамова, публицистика И. Васильева. Другие записывались в библиотечную очередь, как только на страницы ежемесечника прорывались бурные страсти российской истории, представленные в лицах В. Пикулем. Но не было более или менее обширного слоя читающей публики, которая ждала бы прихода к а ж д о г о номера «Нашего современника» как ц е л о с т н о г о, совокупного ответа на волнующие ее вопросы социального, житейского, духовного мироустройства, хотя такие ответы «НС», пусть и в смутной форме, готов был бы дать и тогда. Его потенциальный подписчик из провинции видел и ценил другое: «НС» печатает писателей из глубинки, он горой стоит за русскую деревню и душой болеет за печальные судьбы выходцев из нее, горожан первого поколения, он по мере сил и п о н я т н ы м и словами пишет про нашу историю; этого было достаточно, чтобы издание знали и любили (или н е любили). Но этого было мало, чтобы оно стало п е ч а т н ы м о р г а н о м в старом, классическом смысле, в том, в каком были им «Русский вестник» и «Вестник Европы», «Отечественные записки» и «Москвитянин», «Новый мир» и «Октябрь».

Рискну предположить, что в этом смысле начальный год перестройки ничего в судьбе «НС» не изменил; вспомните 1985-й: все рвали друг у друга из рук номер с распутинским «Пожаром», реже, но интересовались «аграрной» публицистикой Ивана Васильева, по тем временам смелой и глубокой и (по любым временам) честной, однако что-то не слышал я, чтобы за пределами околотитературного круга деятельность «НС» обсуждали именно как деятельность — «журнально-и д е о л о г и ч е с к у ю».

1986-й стал «годом великого перелома».

Напомню: в 1986-м «НС» среди прочего опубликовал роман молодого вологодского прозаика Сергея Алексеева «Рой» (№ 9—11), публицистические статьи Мих. Антонова «Гармония прогресса» (№ 1) и «Ускорение: возможности и преграды» (№ 7); критические — «Чувство Родины» Сергея Журавлева (№ 9) и «Простые истины» Александра Казинцева (№ 10), тогда почти рядового сотрудника «НС», а в скором будущем заместителя его главного редактора; миниатюры В. Пикуля «Кровь, слезы и лавры» (№ 9). Эти публикации не просто перекликались между собою; они сплетались в единый узор; они звучали в унисон и своей единой тональностью как бы задавали гамму, которую журналу предстояло разучивать по крайней мере еще три года.

Об «эстрадной», «авангардистской», «массовой» литературе в «НС» неприязненно писали и до Казинцева, но никогда схема противоборства не прорисовывалась так четко, никогда под эстетический спор не подводились столь политизированные основания: по одну сторону те, кто радеет об отечестве, по другую те, кто разрушает его.

О том же противоборстве как о явлении архетипическом, уходящем корнями в глубины истории, в п р и н ц и п е говорили здесь и раньше; но вряд ли эта историософия, основанная на последовательном разграничении своего — чужого, своеобразного — инородного, достигала той сияющей однозначности, какой достигла она в статье С. Журавлева о Пикуле; да и сам автор исторических миниатюр, и ранее склонный к мифологическим структурам, не соблюдал в своих произведениях законы построения мифа с той строгостью, на какую решился в «Крови, слезах и лаврах».

Далее: публицистика «НС» всегда готова была воспеть идеал социальной справедливости, возводимый ею к идеалу общины, крестьянской вселенной; но в статьях М. Антонова осуждение социального прогресса и с к л ю ч и т е л ь н о как идеи не-справедливой, не-социалистической, а п о т о м у вне-положной нравственному закону достигло предельной резкости.

Наконец, тоска по утраченному родству с «Матёрой», прощальная интонация, согревавшая своей горечью лучшие книги деревенщиков, не преобразовывалась прежде в столь жесткую и холодно-рационалистическую концепцию «роения» в границах рода — панацеи от внеродовой «космополитической» интеллигентской жизни, как преобразовалась она в романе молодого эпигона деревенской прозы Сергея Алексеева⁷.

Но это была присказка: сказка же была — в с я в п е р е д и. Собственно, аналоги статьям Казинцева, Антонова, Журавлева, прозе Пикуля и Алексеева в 1986-м можно было найти в журнальных книжках других, «сопредельных» «НС» изданий: «Москвы», «Молодой гвардии»... Но ж у р н а л о м в терминологически точном смысле слова стал тогда только «НС». Ибо в нем перечисленные публикации послужили контрастным фоном для о д н о г о стержневого, вызывающего огонь на себя произведения — понятно, что речь о романе Василия Белова «Все впереди» (№ 7—8). Они потому лишь были прочитаны и восприняты более или менее широким читателем, что был прочитан и воспринят — Белов.

Говорить сейчас о романе трудно. Слишком много о нем было написано. Уже осенью 1986-го, оправившись от некоторого шока, критики разных направлений принялись возмущаться (восхищаться) реакционностью (смелостью) писателя, посмеявшего (решившегося) открыто заявить о неприязни ко всему и всем, что и кто открывает себя западному влиянию, — от женщин, увлекающихся эмансипацией и сексологией, а потому изменяющих мужьям, до молодежи, поглощенной роком, и мужчин, пьющих «Белую лошадь» и сочувствующих идее частной собственности. Критики писали о том, что «царством зла» предстала в романе Москва, носительницей духовно-болезнетворного вируса (о СПИДе тогда не знали) — городская интеллигенция, олицетворением ее — безродный Бриш, жертвами — слабые русские мужчины, сообщниками — сильные русские женщины... На Бриша все обратили внимание; что впереди ничего хорошего нас не ждет, тоже было понятно; ироничные оппоненты Белова называли свои статьи «Все позади?»... Но ч т о ж е позади? ч т о мы утратим, если поддадимся западному соблазну? — эти вопросы, кажется, не были заданы. Вопросы ключевые как для понимания «антиингилистического» романа Белова, так и для интерпретации «охранительной» программы «НС»: нельзя же охранять пустоту.

И тут «оркеструющие» роман и названные выше публикации могли бы сыграть неоценимую роль. Именно в силу своей прямолинейности, однозначности. Что у Белова было «на уме», но художественно опосредовалось (хотя «Все впереди» по чисто эстетическим критериям трудно отнести к вершинам беловского творчества), то у них было «на языке» — спрямлялось, огрублялось, а значит, и прояснялось.

⁷ О сюжетных блоках, прямо перенесенных в «Рой» из ранней прозы В. Белова и В. Астафьева, я имел случай сказать в не слишком удачной статье «Печально я гляжу на наше поколение...» («Взгляд», М. 1989). Кстати, принцип сюжетного варьирования структурно значимых публикаций в «НС» практикуется широко: в 1986-м была напечатана вариация И. Евсеенко на тему «Прощания с Матёрой», а также повесть А. Астраханцева, вышитая по канве романа «Все впереди».

Так вот, по ним видно, что «националистическое», «великодержавное» зерно современниковской философии, то лыко, что журналу постоянно ставят в строку, отнюдь не составляло ее смыслового ядра. «Позади» согласно авторам «НС» был целостный жизненный уклад, в котором национальное выступало смыслом и оправданием социального. Авторы и редакторы тогдашнего «НС» вряд ли отдавали себе в том отчет, но объективно восстановлению исконно русских традиций, возвращению к трудовой этике и коллективному идеалу общины, отвержению всего инородного (социально, и национально, и духовно), поддержанию трезвости и сохранению крепкой семьи отводилась служебная роль. Все это представляло совокупным условиям возвращения к основам социалистического мироустройства в исконно русском его варианте. При этом «русский» было всего лишь прилагательным, а существительным был — «социализм».

Примеры можно было бы приводить и в хронологическом порядке, «поступательно»; но лучше действовать — наступательно, сразу назвав две ключевые публикации, а затем поставив их в общий контекст. Первая — статья Михаила Антонова «Несуществующие люди» (1989, № 2), хороша тем, что до конца проговаривает и то, что неосознанно вторгалось в «идеологические» поиски автора «Все впереди», и на что намекал в своей «антифермерской» публицистике Анатолий Салуский, и что имел в виду в своих многословных апологиях «Народности» и «Партийности» в литературе Доктор Филологических Наук Николай Федь. Вторая, «Четыре процента и наш народ» Александра Казинцева (1989, № 10), — тем, что популяризирует, доводит до состояния триумфа тезисы экономистов современниковского круга и проецирует их из экономики — в культуру, политику, философию, сферу национальных отношений:

Сначала мысль воплощена
В поэму сжатую поэта,
Как дева юная, темна
Для невнимательного света
.....
Болтуня старая, затем
Она, подъявля крик нахальный,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.

(Е. Боратынский)

Антонов воюет с «рыночниками»; дело нехитрое. Но одно — воевать с теми, кто рынок фетишизирует, полагая его идеалом не только экономическим, но и «духовным», для кого сытость действительно является смыслом и целью человеческого существования. И совсем иное — с теми, кто, стоя на христианских позициях, признают рынок необходимым минимумом, ибо он единственная форма «торгового мироустройства» людей, которая, не претендуя на создание «царства Божия на земле», позволяет каждому человеку действительно бескровно выбрать свой путь — путь купца, продающего все, чтобы купить жемчужину Царства Небесного; или путь богача, утешающего себя тем, что закрома его полны, и не ведающего, что завтра умрет. Одно дело спорить с кадетами и совсем другое — с октябристами; одно — с теми, кто считает, что «право сильного», право богатого и удачливого и есть справедливость, и совсем другое дело — с теми, кто убежден, что справедливым может быть только Бог, а дело человека — быть праведным. Антонов воюет с последними. Антигероями его статьи (чисто экономической стороны не касаюсь — не специалист) становятся Лариса Пияшева и Василий Селюнин, ибо цель их — «смазать в нашем сознании разницу между капитализмом и социализмом, чтобы облегчить решение задачи насаждения⁸ идеологии торгашества, которая имеет мало шансов на успех, пока основная масса населения нашей страны остается приверженной социалистическим ценностям, принципу социальной справедливости». Что в этом пассаже «националистического» и «великодержавного», не пойму; зато коммунистического в нем очень много. И прежде всего — иллюзия, будто все призваны в этот мир для получения равной доли счастья; что у руля власти могут и должны находиться не богатые, знатные и компетентные, а бедные, честные и справедливые; что цель общества — не помощь нуждающимся через систему налогов и фондов и ограничение капитала лишь в той мере, в какой он подавляет сам себя излишней монополизацией, а полный

⁸ «...решение задачи насаждения...» — так в подлиннике; вообще с русским языком у многих авторов «НС» дела обстоят не ахти как; особенно это заметно, когда они на партийно-советском эсперанто начинают рассуждать о «насилии над русским языком»: «...мы становимся свидетелями противоборства двух антагонистических по духу культур...» (М. Дунаев. «Роковая музыка». — 1988, № 1).

отказ от имущественного и классового расслоения. И разве не теми же самыми социальными идеалами воодушевлялся Анатолий Салуцкий в статье «Умозрения и реальности» (1988, № 6), когда противопоставлял фермера крестьянину (как капиталиста социалисту) или когда в беседе с застарелым марксистом профессором Сергеевым (многие помнят его энергично-однообразные выступления на Учредительном съезде РКП) защищал идею плана и распределения как идею опять же справедливую? И здесь я тоже не вижу ничего специфически русского; нужно хорошо забыть историю России, чтобы утверждать, будто фермерское начало несвойственно ей; нужно отречься от крестьянского опыта Русского Севера; нужно отвергнуть с порога столыпинские проекты земельных реформ...

Единственное «национально-религиозное» обоснование, которое дает право публицистам «НС» называть свой социализм русским, — это последовательное отрицание идеи революционного насилия, кровопролития. То есть своего рода христианизация социалистической идеи (о чем впрямую и пишет Антонов). Но ведь христианские ценности не обращены к обществу и его устройству — они обращены исключительно к личности (а в идеале — к Собору личностей). Если кесарь требует податей — что же, дадим, но сами мы — Божьи; если есть возможность стать свободными — станем, а если призваны в мир рабами, останемся в том звании, в каком призваны; если хочет богатч спастись, он услышит мольбу Лазаря о подаянии, а не хочет по смерти пребывать в лоне Авраамовом — дело его; мир же во зле лежит, и любая попытка не себя личнo из этого зла выгнать (да хоть за волосы, как то делал один небезызвестный литературный герой), а само зло изъять из состава мира, в том числе социального, без крови невозможно. История, и европейская и отечественная, демонстрировала то не раз, да все не впрок.

Если бы М. Антонов написал о Святой Руси как о цели особого духовного строительства, несовместимого с идеей личного обогащения и с теми, кто «не в Бога богатеет», это было бы дело другое; границы Святой Руси не совпадают с земными границами и как бы размыкают наше «здешнее» отечество в Отечество Небесное. Это строительство Божественного Космоса, которое наши отцы свершали через соборный подвиг молитвы¹⁰, покаяния, духовного делания и которое попросту внеположно «экономике» и «политике». Но М. Антонов пишет о Руси в «нормальных» земных границах, подчиняющейся «нормальным» земным законам. И его отсылка к христианскому опыту — не более чем отсылка; самого опыта здесь нет.

И хорошо, что нет. Иначе христианский идеал, подкрепляемый бесконечно цитируемым учением Маркса — Энгельса — Ленина, был бы оскорблен коммунистической хулою, а марксизм, реанимируемый с помощью религии, чувствовал бы себя очень уж неловко. Впрочем, ему-то на страницах «национально-справедливого» журнала до 1990-го ничто не угрожало. Причем — в отличие от «Огонька» — современниковский марксизм имел не столько конъюнктурный, сколько искренне мировоззренческий характер.

О бесконечных статьях типа: П. Мезенцев, «Ленинский образ революции» (1987, № 4) или Б. Гончарова о Маяковском в борьбе с мечанством и бюрократизмом (1988, № 2), — помолчим, но о более серьезных работах скажем. «Социалистическое», «ленинское» публицисты «НС» отстаивали во всех областях; в литературной тоже. Николай Федь постоянно подчеркивал здесь, что «революционной перестройке нужны смелые, убежденные в коммунистических идеалах и сильные духом люди» (1988, № 6), и «демократов» в лице Михаила Шатрова порицал за то, что «примеряются уже и к великому Ленину», а также «с дилетантской серьезностью» муссируют мнения, будто «нашему строю чужд дух социализма и вообще проблематична правильность нашего выбора» (1989, № 4). Тому же М. Шатрову доставалось от В. Бушина — нет, не за реанимацию революционной идеи, не за подновление ее с помощью «бухаринского резерва», а за отступление от «ленинского» начала (там же). Сходные мысли высказывал О. Александрович; в статье «И падая стремглав, все отрицаю...» (1989, № 3) он берет под защиту начетническое литературоведение 60—70-х; кто имел несчастье получить советское филологическое образование, знает, чем были для нашей бедной науки труды А. И. Метченко, А. И. Овчаренко, С. М. Петрова, Л. Ф. Ершова, П. С. Выходцева: к а т к о м, с помощью которого давили любую живую мысль; а если и были у них оппоненты, то лишь еще более советские и социал-реалистические; их споры и ссоры не должны нас вводить в заблуждение: милые бранятся — только тешатся...

Но, быть может, самую откровенную статью на «эстетические» темы напечатал в эти годы на страницах «НС» Б. Гунько. Многие обратили на нее внимание как на работу, восстающую

⁹ Впрочем, и с кровью в конечном счете тоже невозможно; тут заключена сатанинская хитрость.

¹⁰ Труд тоже может становиться молитвой; но может и не становиться. Тогда возникает «блуд труда», который многие теоретики «национального социализма» путают с трудовой этикой. Не могу забыть, как на излете не состоявшейся школьной реформы некий учитель-трудовик на страницах «НС» призывал заставлять школьников как можно больше трудиться и мотивировал это тем, что «сила коммунистического воспитания» основана на современном производительном труде, соединенном с обучением (1988, № 1).

против модели о т к р ы т о й культуры, однако многие ли заметили, какие м о т и в ы руководили «восставшим»? — опять же отнюдь не «националистические», не «великодержавные». Именно «с широты (взглядов. — А. А.)... — писал Б. Гунько, — медленно, но верно начиналось в ряде стран игнорирование марксизма, приводившее затем не просто к тем или иным потерям, но и к кровавым антикоммунистическим вакханалиям. Аналогия... не из приятных, но только в этом направлении может вести отказ от принципов марксизма, от идеалов социализма» (1988, № 10). Как раз накануне спасительного для человечества развала «мирового лагеря социализма» и освобождения из этого «лагеря» миллионов восточноевропейцев «НС» устами своих постоянных авторов воздавал хвалу тем, кто расстреливал венгерское восстание 1956-го, «пражскую весну» 1968-го, кто помогал вводить в Польше декабря 1981-го военное положение... До казусов, аналогичных тому, что случился с «Молодой гвардией», напечатавшей восторженно-коммунистическое письмо из Румынии в самый разгар румынских событий, здесь не дошло; но главному редактору «Молодой гвардии», вечно-зовущему Анатолию Иванову, слово предоставили (диалог с В. Свининниковым. — 1988, № 5). Опять то же самое: Бухарин плох потому, что выступал против Ленина; в ГДР, Чехословакии, Польше «бывшие хозяева жизни использовали малейший шанс для того, чтобы расшатать скрепы нового строя», их и следовало сажать, ибо разве «удержались бы они от соблазна при любой ошибке в беспрецедентно трудном строительстве, дающей возможность подогреть недовольство масс»?.. Обсуждать э т о и тогда было не очень интересно, а сейчас и вовсе скучно. Точно так же как читать в статье Евг. Черных «Наступление продолжается» (там же) оду всеильному сибирскому старцу Егору Кузьмичу, который в томский период своего партийного творчества «сокращал время продажи спиртного, ограничивал число винно-водочных магазинов», создавая на морозе огромные очереди... Странно только, как могли современниковцы полагать свой журнал христианским и противопоставлять его земному, низменному «Огоньку» — и не помнить слов апостола: «Если мертвые не воскресают... станем есть и пить, ибо завтра умрем»? (I Кор., 15, 32) Что не в водке причина пьянства, а в неверии, в обесмысливании жизни?.. Впрочем, к религиозным канонам отношение в «НС» всегда было своеобразное; историк Аполлон Кузьмин даже решился упрекнуть христианство за то, что оно «сохранило без осуждения и «Книгу Эсфирь» с празднованием Пурим... и далеко не христианские высказывания некоторых христианских пророков»¹¹ (1989, № 3)...

Но, как и следовало ожидать, именно живому и бойкому перу Александра Казинцева удалось прописать все до логического б о л ь ш е в и с т с к о г о итога. В статье с характерным р а с п р е д е л и т е л ь н ы м названием «Четыре процента и наш народ» он не только разгромил нынешнее кооперативное движение;

обнаружил в этом движении «ротшильдовские» черты (что, по-моему, слишком лестно);

поименно назвал политических «ставленников» новых толстосумов (догадливому читателю не составит труда реконструировать список);

не только с поистине ленинской прямоотой и в поистине ленинском стиле поставил свой главный вопрос: «...за счет к о г о богатют богатые, не за счет ли нас с вами и наших тощих кошельков?», —

но и дал ответ: «...тесно связано неприятие социальной справедливости с проповедью космополитизма».

Так была до конца обнажена схема причинно-следственных отношений, закодированная в программе «НС». А именно: космополитизм есть р е з у л ь т а т отрицания второго, центрального лозунга Великой французской революции — лозунга Р а в е н с т в а. И наоборот: признание этого лозунга в л е ч е т за собою патриотизм. Социалистический принцип был глубоко укоренен в национальную почву.

Тот же мотив прозвучал и в цитированной статье сурового судии христианской традиции Аполлона Кузьмина: «...социальная справедливость требует, чтобы в вузах были пропорционально представлены все этнические группы Советского Союза». В этой формуле — с у т ь современникового патриотизма. Не сокровенное созерцание исторических судеб отчества (хотя и оно: вспомните очерки В. Распутина «Сибирь, Сибирь...»), не скорбное поминовение невосполнимых утрат (хотя и оно: кто читал главы из «Последнего поклона» В. Астафьева в № 6 или «Деревенское утро» В. Белова в № 10 за тот же 1988-й, в том не усомнится), не слезная молитва о воскресении России в Боге, не жесткий счет режиму (хотя и это: «Верните людям их праздники, ярмарки, лошадей, мельницы, землю, то есть — свободу». — В. Солоухин, 1988, № 3); главной, по-моему, была здесь идея равномерного распределения, спроецированная на жизнь этносов.

Отсюда и то, что многие принимают за «охотнорядский» антисемитизм «НС»: его болезнен-

¹¹ Что для Аполлона Кузьмина служит тестом на «христианскость» высказываний, мне неизвестно; но в том, что он плохо помнит Евангелие, сомнений нет, ибо какие могут быть х р и с т и а н с к и е п р о р о к и, если «все пророки... прорекли до Иоанна» (Крестителя) (Матф., 11, 13).

ная, какая-то фрейдистская привязанность к еврейской теме. Я не хочу сказать, что среди авторов «НС» нет пылких антисемитов; есть, и немало¹²; и все же «русское» и «еврейское» здесь ч а щ е в с е г о оказываются псевдонимами «социально справедливого» и «социально несправедливого», а все то, что публицисты круга «Огонька» привыкли связывать исключительно с современниковским «шовинизмом», во многом есть превращенная форма современниковского «социализма с национальным лицом». Причем форма, поддающаяся гипотетической замене. Так, А. Кузмин, или Ст. Куняев (статья «Палка о двух концах». — 1989, № 6) убеждены в том, что (говоря по-куняевски) «традиционно высокая доля» евреев среди специалистов «была и впрямь именно в ы с с о к о й, а не сообразованной с национальной пропорциональностью, чем противоречила принципу равенства прав всех наций на образование, фактически бесплатное в нашей стране». Но понятие справедливости — палка о двух концах; «Современник» ухватился за один конец, кто-то (вослед столь часто порицаемым на страницах «НС» деятелям октябрьского переворота) ухватится за противоположный — и окажется, что справедливо именно «малым народам» давать преимущество в получении образования, чтобы не обидеть их «великодержавностью»...

Слагаемые можно поменять местами; сумма от того, увы, не изменится. И потому — заострю мысль — в п р и н ц и п е я готов представить «НС» викуловского образца отрекшимся от гипертрофированного национального чувства и притом сохранившим узнаваемые черты; представить же его отказавшимся от философии социального уравниательства, от этики «черного передела» и оставшимся самим собой — не могу.

Но постоянная мысль о справедливости провоцирует — не может не провоцировать! — нарастающее ощущение не-справедливости, царящей в мире. А у не-справедливости должен быть источник и должны быть силы, тайно им управляющие. Так — а не иначе! — формируется теория заговора против России — масонского ли, сионистского ли, не важно; так начинается розыск врага, крепнет убеждение, что неспроста «сплошь и рядом получается... что в и н ы м н о г о, а в и н о в а т ы х н е т» (разрядка В. Пикуля и С. Журавлева); всюду — вплоть до театральных декораций — мерещатся скрытые, зашифрованные знаки угрозы; пафосом «Несвоевременных мыслей» Горького объявляется «вовсе не «национальная самокритика»... а трагический и неумолимый иск человека, всю жизнь боровшегося за идеалы социализма, к тем, кто вольно или невольно компрометировал эти идеалы в глазах русского человека и всего человечества» (О. Александрович). Сочувствовать этому невозможно; но важно разобраться в том, почему в разыгрываемом детективном спектакле роль заговорщика отвели именно «безродному космополитизму» (а не родовитому дворянству, скажем) и почему принципиально смешали стили и жанры, от рашеника до философской драмы, от балагана до мистерии. На первый вопрос ответить проще, чем на второй, достаточно процитировать классическую статью польского социолога и философа Лешека Колаковского «Антисемиты» (1956): «Борьба против евреев редко является целью как таковой... Социально важнейшая миссия антисемитизма состоит в том, чтобы создать универсальный символ зла и соединить в сознании людей с теми явлениями в политике, культуре и науке, над которыми хотят одержать победу... нет лучшего объекта на роль такого символа, чем евреи. Рассеянные по всему свету, они проще простого обретают характер универсальной и международной «силы зла»...» («Новое время», 1990, № 45). Что же до смешения жанров, то на низовом уровне самым характерным в этом отношении произведением оказался роман Виктора Иванова «Судный день» (1988, № 4—6), на уровне элитарном — труд Игоря Шафаревича «Русофобия» (1989, № 6 и 11). Ни веселиться по поводу первого, ни анализировать второй я не буду; «Судный день» с его шпионскими страстями, отечестволюбивыми разведчиками и русофобами-резидентами, разрушающими социализм с помощью порнографии, честными советскими еврейками, бросающими вызов мировому сионизму, и самодовольно-безродной интеллигенцией¹³ просто не подлежит обсуждению; а теоретическое сочинение И. Шафаревича было подвергнуто детальному рассмотрению в целом ряде антикритик; к одной из них — статье А. Шмелева в «Знамени» (1990, № 6) — мне просто нечего добавить. Отмечу лишь два существенных обстоятельства.

¹² Один из самых неприятных примеров — статья Ю. Макунина «Укротить вандала» (1989, № 4), обращенная против открытой мировому гуманитарному сообществу политике отдела рукописей ГБЛ 70-х годов (и лично против М. О. Чудаковой и С. В. Житомирской, — имена, которые любой профессиональный филолог, вне зависимости от научных и человеческих симпатий и антипатий, о б ь з а н произносить с пиететом) и ставящая под защиту ГБЛовскую библиотечную администрацию, которая пришла к власти в 80-х и перевела деятельность отдела рукописей во вполне п р а в е д л и в о е «процентное» русло. Евреев Ю. Макунин поносит чуть не через слово; о демонстрации отказников он пишет так: «...не стану делиться чувством омерзения от этой наглости сионистов, по максимуму употребивших все льготы нашего строя... какой трудяга другой национальности способен выехать из СССР, прогуляться по Вене, Тель-Авиву... а затем, покаявшись, вернуться в СССР?» — а в начале и в конце статьи прозрачно намекает на то, что книги и рукописи из ГБЛ прямоком ульывают в Израиль..

¹³ Что же, и я «не стану делиться чувством глубокого омерзения...»

¹³ Самое смешное, что я даже не утрирую.

Во-первых, русофобия столь же реальна, сколь и антисемитизм. И проблема «малого народа», если не сводить ее к еврейской теме, не надуманна; фактически ей — без употребления термина — посвящены затеянные М. О. Гершензоном «Вехи», а через десятилетия она была подхвачена авторами составленного Солженицыным сборника «Из-под глыб». И вина интеллигенции (своеродной ли, инородной ли) перед Россией, перед русским народом непомерна, как непомерен и свершенный ею в годы советской власти покаянный подвиг страдания. Но будучи сомкнутой с теорией «заговора», теория «малого народа» заряжается отрицательным импульсом и, описав круг, сокрушающим ударом обрушивается на запустившего ее в свет. Провоцируя ежeminутую тревогу в ожидании незримого нападения, смецая «доминанту» национальной психики со спокойного созерцания своего на возбужденное лицемерие чужого, она — вопреки всем «интернационалистским» оппонентам «НС» — не вырабатывает комплекс «великодержавного» высокомерия, а, наоборот, разрушает в великом народе великодержавный иммунитет и прививает ему психологию народа малого. Народа, который не свысока смотрит на пытающегося повредить ему и не понимающего, что колоссу повредить невозможно, а вздрагивает при каждом стуке. Народа, который действительно может исчезнуть, раствориться в истории без следа и, как всякий бедняк, готов убить за украденный колосок... Колоссу колоска не жалко, разорение ему не грозит; всем ворами мира не растащить его несметное богатство; а Великобритания была не только богатой и сильной, она была страной боголюбивой. И значит, поддерживала свое царственное спокойствие еще и мыслью о том, что все в руках Божиих: «Бог дал, Бог взял, благословенно Имя Господне!»; без воли Божией ни один волосок не падет с головы, тем более не исчезнет ни один народ. Вот что такое была — русская великодержавность; и в принципе путь национального спасения в се х народов земли, независимо от их численного состава, лежит через обретение ими великодержавного иммунитета. Увы, идеология «малонародия» ныне побеждает повсеместно. До добра это никого не доведет, но вольному воля. Однако попытка занести этот вирус именно к нам и именно сейчас, когда национальный организм действительно ослаблен после перенесенного семидесятилетнего заболевания, попросту преступна.

Во-вторых, еще раз обратим внимание на постоянное смещение «французского с нижегородским» в современниковской отповеди русофобии, масонам и «малому народу»: на странное, никакими логическими доводами не объяснимое единство «высоколобой» публицистики Шафаревича, сухоовато-ученой, стилизованной под академизм критики Вадима Кожина и буйно-восторженных фантазий В. Иванова и В. Пиккуля; многословной, трудноуловимой эссеистики Татьяны Глушковой — и почти крокодильских фельетонов вроде этого: «Как Аркадий Михайлович уж больно шибко Григория Яковлевича настрашал, а тот его за это на полтора года упек»... Ч то выступает здесь равнодействующей? и к т о способен стать идеальным адресатом современниковской «жизнефилософии»? Начнем с поисков ответа на второй вопрос; постепенно обречем ответ и на первый.

Итак, кто же он, этот «поэта неведомый друг», кому «на земле... любезно бытие» «Нашего современника», какой социальной группе созвучно его мироощущение? Еще раз: сердцевина его не в «национализме», а в идее справедливости, лишенной религиозной подоплеки, сведенной к «распределительной» функции. Носитель православной культуры отвергнет эту идею с порога — по причинам, указанным выше. Носитель мирской «интеллигентской» традиции слишком хорошо знает, чем кончались на Руси (и не только на Руси) призывы к Свободе и Равенстве, этим его не купишь. Высококвалифицированный рабочий и крепкий умом крестьянин, потенциальный купец и талантливый арендатор тоже не годятся — их трудовая этика не терпит уравниловки; «все поделить» по справедливости — не их лозунг; тоскливым зрелищем наших с Александром Казинцевым тощих кошельков их не разжалобишь¹⁴. Точно так же — перечисленные «группы» не нуждаются в равном национальном представительстве.

Нет, страшноватую смесь из коммунистической риторики, тоски по стабильному, неподвижному, без риска застою плановой экономики, указаний на посторонних виновников наших бед и призывов к распределению знаний, благ и доходов на «процентной» основе во всей полноте способен сейчас принять лишь один слой. Слой люмпенов. Квазислой, пронизывающий собой все слои, все уровни общественной иерархии, обретающийся и в интеллигенции «средней руки»¹⁵, и среди непотомственных рабочих (ОФТ — его движение), и среди «обобществленных» крестьян, открытый и для националистов («Память») и для интернационалистов (когановский «Интерфронт» в Эстонии). Слой, объединяющий в своих рядах людей, не укорененных глубоко в почву родной культуры, не имеющих достаточной квалификации, чтобы не страшиться любой конку-

¹⁴ Много ли подписчиков «НС» среди кузбасских шахтеров?

¹⁵ Причем здесь-то, увы, в первую очередь. Как ни странно, именно в среде развращенной бесконечными компромиссами и «образованщиной» советской интеллигенции люмпенов больше всего, — деятельность редакции «НС» подтверждает это.

ренции, в том числе «национальной». Слой, порожденный семидесятилетней политикой селекции, бесконечного подрезания корней...

Но признав это, мы объясним лишь, почему и для кого современниковцы печатали все минувшие годы прозу В. Пикуля и В. Иванова, публицистику А. Салуцкого и А. Сергеева, критику А. Казинцева и С. Журавлева, Н. Федя и А. Кузьмина; однако каким образом эти и подобные им публикации совмещались со статьями и исследованиями людей иного круга, иного статуса? В какой роли выступали они и как чувствовали себя в «люмпен-контексте»? Это хорошо видно на примере «взаимодействия» статьи Вадима Кожина «Правда и истина» с другими материалами апрельской книжки «НС» за 1988 год.

Отталкиваясь от романа Рыбакова «Дети Арбата» (этот роман наряду с гранинским «Зубром» — постоянный антигерой «НС»; как свет угасшей звезды, доходит до нас журнальные инвективы по адресу вещей, опубликованных уже несколько лет назад), В. Кожин вышел на широкие историсофские обобщения. Отвергая — и правильно отвергая — «шестидесятническую», «шатровскую» модель (Сталин — предательство идеалов революции — злой гений ленинизма), Кожин писал: «1937 год (как и феномен Сталина вообще) — это явление всемирной истории или, по меньшей мере, мирового революционного движения, а не результат интриг некой зловерной группировки». Сказано так, чтобы оставить простор для толкований; тем более что отрицание «интриг некой зловерной группировки» на другом полюсе корреспондирует с утверждением, что «некая» мощная всемирная сила сделала Сталина полубогом. О чем это? — о религиозно-эсхатологической расплате, понесенной интеллигенцией, «детьми Арбата», за революционерство? или о вполне марксистском, в клемкинском духе, «историческом детерминизме», жестко обуславливающим выдвижение на сцену одних фигур и уход в тень других? или все-таки о заговоре, но не узкопартийном, групповом, а о заговоре — в с е м р н о м? Или все эти несовместимые толкования даны сразу, аккордом, чтобы с п р о в о ц и р о в а т ь разных читателей на разную реакцию? Во всяком случае, большинство либералов опять все свели к личному антисемитизму Кожина, меж тем как он с механической точностью вводит в каждую свою статью явные или скрытые доказательства собственной «национальной лояльности». В «Правде и истине» он подчеркнуто опирается на суждения скульптора Лемпорта о Багрицком; в «Самой большой опасности...» (1989, № 1), не называя источника и политизированно огрубляя, пересказывает фрагмент книги Лазаря Флейшмана о Пастернаке, вышедшей в издательстве Еврейского университета (Иерусалим). Дело не в антисемитизме; дело — в заведомой двусмысленности суждений, в провоцирующей и г р е смыслами, в ускользании от твердого «да» или «нет». И благодаря соседству с романом В. Иванова возникла дополнительная — с н и з у — подветка кожиновской статьи, художочные намеки на таинственные всемирные силы наливались «ивановским» соком. Так требовали правила игры; Карамазову Смердяков не мешает. Скорее наоборот.

Пример В. Кожина ярк, но не исключителен. В такой же — карамазовской — роли выступали практически все его единомышленники на страницах в и к у л о в с к о г о «НС», и другой их роль в журнале, ведомом т а к и м редактором, быть не могла. Но вот в самом конце 1989 года произошла смена лидера, и, начиная с январской книжки 1990-го, облик журнала, внутренний и внешний, стал заметно меняться. Современниковская поэзия, которую читать прежде было совершенно невозможно, неожиданно подняла планку — и мы прочли отличные стихи В. Казанцева (№ 1), Евгения Курдакова (№ 2)... Современниковская проза открыла год повестью Леонида Бородина «Третья правда», которая может нравиться или не нравиться, но которая в прежние журнальные каноны ни художественно, ни «идеологически» не вписалась бы; а начавшаяся здесь публикация солженицынского «Октября Шестнадцатого» заставила вообще строже относиться к прозаическому репертуару — слишком явен был бы контраст. Место «красно-ленинских», прокоммунистических статей занял «Лебединый стан» Цветаевой, «Убийство Урицкого» М. Алданова, статья Солоневича; не ленинские колхозные симфонии в исполнении А. Салуцкого с оркестром, а столыпинские земельные программы составляют огненные «аграрный идеал» «НС» — и в прекрасной статье Ю. Бородея «Кому быть владельцем земли» дается жесткая отповедь прежним теоретикам современниковского социализма (№ 3). Наконец-то — и я благодарен за то «НС» — обнародовано кроваво-атеистическое письмо Ленина 1922 года (№ 4). В «рабочей» редколлегии появились новые люди, среди них талантливый молодой прозаик Александр Сегень (не знаю, пойдет ли это на пользу его творчеству, но журналу явно пойдет на пользу). Такое ощущение, что п р е ж н и й «НС» передал свои полномочия «Молодой гвардии», а новый формируется у нас на глазах.

Но! —

но почитайте письма, которые «НС» продолжает печатать из номера в номер.

Но! —

но обратите внимание на диалог Александра Казинцева с национал-коммунистом Борисом Гидасповым.

Но! —

но посмотрите в майской книжке блок выступлений А. Проханова, К. Раша, Н. Федя с их сквозным — «будущее России не казарма, не концлагерь... не придаток олигархических империй, а целостное стабильное общество с общенародным идеалом истины, справедливости и добра»¹⁶.

Но! —

проанализируйте полемику о сионизме между М. Агурским и В. Кожинным; конечно, представить себе, чтобы раньше журнал открыл свои страницы израильянину, невозможно, однако как узнаваемо-двусмыслен В. Кожинов и как это скучно...

Скучно нам, но не скучно читателю, возвращенному «НС». Он привык к определенной диете, и журналу, даже если бы он этого не захотел, придется подкармливать возвращенного им питомца социалистической пищей, иной раз возвращаться к теме заговора, играть с «детисцем» и провоцировать его. У великого физиолога А. А. Ухтомского есть теория «заслуженного собеседника», согласно которой каждый человек видит во встречном не то, что тот есть на самом деле, а то, что он заслужил в нем увидеть. И в таком смысле каждая наша встреча есть суд над нами, над строем нашей мысли и над строем нашей жизни. Почему-то последнее время, пролистывая внутренне помолодевший и внешне похорошевший «НС», об этой теории вспоминаешь все чаще.

* * *

Время пульсирует лихорадочно. Статья замышлялась как острокритическая, а вышла прежде всего историко-литературная, описывающая явление, внутренне завершенное. Пока она готовилась к печати, вектор общественного развития сместился, прежние полюса напряжения как бы размагнитились, и противостояние «Нашего современника» и «Огонька» (= «Литературной России» и «Московских новостей», «Советской культуры» и «Советской России»...) утратило былую актуальность, не вызывает прежнего отклика читающей публики. Во-первых, все устали от не обеспеченных делами слов о Свободе («Огонек») и Равенстве («НС»). Во-вторых, как было сказано, задачи, стоявшие перед прессой все эти годы, п о л н о с т ь ю решены: право открыто говорить о заветном (что бы под ним ни понималось) отвоевано. И потому линия разрыва будет отныне проходить не между о д н о й группой подцензурных изданий, постепенно расширяющей с в о й круг дозволенного, и другой, тоже подцензурной, а между теми, кто сделает ставку на коммерцию во всем, от области «материально-телесного низа» до сферы высокой духовности, и между теми, кто сделает ставку на культуру и традицию. То есть на систему д о б р о в о л ь н ы х ограничений внешне не сдерживаемой¹⁷ свободы слова. Вероятно, ни «Огонек», ни «НС» как сложившиеся журнальные организмы претендовать на «командные» роли при новой расстановке сил не смогут — потому хотя бы, что культура держится не на идее Свободы и тем более не на идее Равенства, а на идее Братства. Кто сможет? — это особая тема. У каждого времени свои песни. Новые пока не сложены, а нынешние допеты до конца.

Август — сентябрь 1990 г.

¹⁶ Ср.: «Целью первоначального сионизма было не просто создание еврейского государства, но государства, основанного на идеях социальной справедливости, на идее возвращения еврейского народа к производительному физическому труду» (М. Агурский. — «НС», 1990. № 6).

¹⁷ Так казалось в тот миг; многого нельзя было предугадать. — Март 1991 года.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Юрий Кублановский. Поэзия нового измерения. — Галичя Гәрдеева. Собеседница и наследница. — В. Непомнящий. Вне суеты

ПОЛИТИКА И НАУКА

Андрей Василевский. Разорение. IV.

Литература и искусство

ПОЭЗИЯ НОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Иосиф Бродский. Осенний крик ястреба. Стихотворения 1962 — 1989 годов. Л. КТП ЛО ИМА-пресс. 1990. 128 стр.

Иосиф Бродский. Часть речи. Избранные стихи 1962 — 1988. М. «Художественная литература». 1990. 495 стр.

Это изумляющее явление: в раннем, еще юношеском стихотворении большого поэта может быть заложена вся его грядущая метафизика, лейтмотив всего дальнейшего творчества. Таков «Парус» восемнадцатилетнего Лермонтова...

В «Пилигримах» восемнадцатилетнего же Иосифа Бродского присутствует многое из того, что станет впоследствии характерным: ощущение тщеты земной, жизненного трагизма и вместе с тем мужественно-пессимистическое противостояние року. Поэт сравнивает свою меланхолию с мировоззрением Евгения Баратынского: «На что вы, дни! Юдольный мир явленья / Свои не изменит» — такова и философия Бродского. В этом стихотворце определился сразу. А чуть позднее стал постепенно нащупывать и свою обычную и неожиданную поэтику...

Прежде поэзия наша традиционно связывала себя с французскою и немецкой. Пушкин читал Байрона в подлиннике, естественно, предпочитал Шекспира Расину, но в целом английское влияние оказалось для него опосредованным. То же и потом в «серебряном веке»: российская поэзия — при всем своем великом своеобразии — как бы оставалась в рамках континентальной Европы.

Бродский решительно стал прививать русскому стиху традиции англоязычной поэзии. Это вывело его на новые рубежи, позволило заговорить по-новому: монументальность текста,

масштаб сарказма, остроумная нюансировка мысли и положений, пряная смесь иронии и лиризма — такого и в таких количествах до Бродского у нас не было. Теперь как-то неловко писать «просто» любовную или пейзажную лирику. Стихи, которые, не будь Бродского, выглядели бы вполне полноценно, ныне кажутся легковесными. Отныне стиху вдвойне необходима мысль, необходима какая-то философская «информация». Бродский сильно повысил концентрированность лирической речи.

Речевой корпус его поэзии и строго организован и одновременно непредсказуем (правда, пожалуй, иногда предсказуемо настроение): настолько непринужденны рифмы и неожиданны сюжетные повороты. Музыка Бродского узнается сразу: она столь личностна и присуща именно его лирическому герою, что любая попытка работать в той же манере выглядит пародийно. Русская ритмика, в общем-то, ограничена; не старея, она кочует от поэта к поэту. У Бродского, однако, ее не позаимствуешь, это выдает с головой, обрекает на неудачу. Психологический и ритмический строй, тон, ток неповторимы, неподражаемы. У него не только свой трагический мир, но и собственная устойчивая символика, синтаксис, словарь — словом, своя, дотоле неслыханная «часть речи».

Стихотворный размер, утверждает Бродский в интервью профессору Джону Гледу, суть «отражение определенного психического состояния. Это, если угодно, парафраз известного

„стиль — это человек“». «Оглядываясь назад, — говорит он в том же интервью, — я могу с большей или меньшей достоверностью утверждать, что в первые десять—пятнадцать лет своей, как бы сказать, карьеры я пользовался размерами более точными, более точными метрами, то есть пятистопным ямбом, что свидетельствовало о некоторых моих иллюзиях, о способности или о желании подчинить свою речь определенному контролю. На сегодняшний день в том, что я сочиняю, гораздо больший процент дольника, интонационного стиха, когда речь приобретает, как мне кажется, некоторую нейтральность. Я склоняюсь к нейтральности тона и думаю, что изменение размера или качество размеров, что ли, свидетельствует об этом. И если есть какая-либо эволюция, то она в стремлении нейтрализовать всякий лирический элемент, приблизить его к звуку, производимому маятником, то есть что-бы было больше маятника, чем музыки».

«Нейтрализация всякого лирического элемента» — задача, что и говорить, для российского стихотворца необычайная! И впрямь, новые средства выражения и нетрадиционный психологический склад, позволивший Бродскому передавать то, что традиционной нашей поэтике в силу ее специфики недоступно, вместе с тем отчасти вывели за границу его творческого мира ту щемящность и даже романсовость, которыми, пусть несколько провинциально, славна отечественная поэзия.

Есть что-то высокотрагичное, но и осознанно перегоревшее в определенной части лирики Бродского, о которой можно сказать его же словами из превосходного стихотворения «Памяти Т. Б.» (1968):

Разве ты знала о смерти больше,
нежели мы? Лишь о боли. Боль же
учит не смерти, но жизни. Только
ты и знала, что сам я. Столько
было о смерти тебе известно,
сколько о браке узнать невеста
может — не о любви: о браке
Не о накале страстей, о шлаке
этих страстей, о холодном, колком
шлаке — короче, о этом долгом
времени жизни, о зимах, летах.
Так что сейчас в этих черных лентах
ты как невеста. Тебе, не знавшей
брака при жизни, из жизни нашей
прочь уходящей, покрытой дерном,
смерть — это брак, это свадьба в черном,
это те узы, что год от года
только прочнее, раз нет развода

...Непосредственно сердечного тепла в стихах Бродского меньше, чем в традиционной русской поэзии. «Муза Пушкина была доброй», — замечает Д. С. Лихачев. Славное, не частое

качество! Музу Бродского, к примеру, доброй не назовешь. Стих, облитый горечью и злостью, встречается у него чаще. Просветление редко (и потому особенно ценно) в массиве его стихов, его лиризм — с годами — все решительнее блокируется скепсисом и опосредуется сарказмом. На губах лирического героя Бродского постоянная горечь от брэнности бытия, его отвлечение к себе обусловлено перманентным «выпадением из формы», смертностью, и это, если угодно, оборотная сторона гордыни. Раскручивая порою маховик вдохновения и опредмечивая стихи настолько, что живу ю натуру в них не грех подчас бывает принять за мертвую, Бродский честно не озбочен катарсисом, ощутить который — дело чуткого и заинтересованного читателя.

При этом было бы, разумеется, преувеличением, ежели не ошибкой, говорить о насильственности рождения некоторых поздних стихотворений Бродского. В конце Нобелевской речи поэт дал емкое описание творческого процесса: «Существует, как мы знаем, три метода познания: аналитический, интуитивный и метод, которым пользовались библейские пророки, — посредством откровения. Отличие поэзии от прочих форм литературы в том, что она пользуется сразу всеми тремя (тяготая преимущественно ко второму и третьему), ибо все три даны в языке; и порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение удается оказаться там, где до него никто не бывал, — и дальше, может быть, чем он сам бы желал. Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихосложение — колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом».

Язык, по Бродскому, — автономная, высшая, самостоятельная, созидающая категория, диктующая лирическое повествование, он первичен. У Пушкина по-другому: «И пробуждается поэзия во мне: / Душа стесняется лирическим волненьем, / Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне, / Излиться наконец свободным проявленьем — / И тут ко мне идет незримый рой гостей, / Знакомцы давние, плоды мечты моей. / И мысли в голове волнуются в отваге, / И рифмы легкие навстречу им бегут...» Языку («рифмам») предшествует свобода воображения, открывающаяся благодаря вдохновению, откровению... «Зависимость от наркотиков или алкоголя» механистична и происходит от человеческой слабости. Но никакими допингами, никакими ухищрениями не вызвать полноцен-

ного стихослагательного процесса. Благоприятные обстоятельства (любовь, красота времени года и прочее) могут лишь иногда споспешествовать вдохновению. Стихи рождаются не потому, что «человек уже не в силах отказаться от этого опыта» (на таком пути можно лишь нудить стихотворный процесс, вытаскивая из небытия акушерскими щипцами мертворожденные строки), но потому, что озарение приходит снова и снова.

Впрочем, в том, что Бродский как бы сознательно работает на занижение в объяснении и понимании творчества, есть, если угодно, трогательное целомудрие. Несмотря на все метаморфозы, Бродский на редкость верен настроениям времени, на которое пришлось пора его юности. Тогда, помнится, за высший тип почитался некий доморощенный экзистенциалист, волк-одиночка, противостоявший среде, авторитету, клерикализму. Быть может, Бродский и Евангелие подозревает в сентиментальности, которая в годы, когда поэт формировался и креп, вызывала особенное презрение. Отсюда же и небоязнь кощунственно отозваться о «Назоре» (стихотворение «Горение», 1981).

Правда, обусловленный поступательным духовным раскрепощением общества, религиозный прилив начала 70-х годов чудным образом сказался и в поэзии Бродского: стихи «24 декабря 1971 года», «Сретение» — шедевры не просто общерелигиозной, но именно евангельской лирики.

Однако в том же 1972-м, когда было создано «Сретение», Бродский выбирается из тоталитарного капкана на Запад. И там вышеупомянутая духовная линия, не подкрепляемая отныне реальными впечатлениями, интересами и, подспудно, спросом, затухает. (Хотя Бродский доныне продолжает писать рождественские стихи, теперь они диктуются скорее несравненно поэтичным антуражем Рождества — звезда, волхвы, ясли и т. п., — чем, собственно, ощущением чуда.)

В основном же Бродский вопрошает Всевышнего и ведет свою тяжбу с Промыслом, минуя посредников: предание. Писание. Церковь. Это Иов, взывающий смысла (только подчеркнуто неаффектированно) на весьма прекрасных обломках мира. А те, кто пытается на него за сетовать, невольно попадают в положение друзей Иова, чьи советы и увещания — мимо цели. (Влияние на Бродского Кьеркегора и Льва Шестова можно проследить на протяжении всего творческого пути стихотворца.)

Творчество Бродского метафизично, это микрокосм, где причудливо уживаются все: Бог и черт, вера и атеизм, целомудрие и цинизм, гаярство и щемящая лирика — все сплавляется в одном тигле. В 1983 году процесс стихосложения он определил иначе, чем в Нобелевской

речи. «Стихотворение, — утверждал поэт, — приводится в действие тем же механизмом, что и молитва». Формулируя так, он, очевидно, имел в виду интенсивность духовного усилия, необходимую для полноценного творческого процесса. «И по комнате точно шаман кружа, / я наматываю как клубок / на себя пустоту ее, чтоб душа / знала что-то, что знает Бог»...

Величественное и роковое одиночество «лирического героя» из завораживающего стихотворения Бродского «Осенний крик ястреба» (1975) — вот, мнится, мироощущение поэта в его верхнем регистре:

Перевернувшись на
крыло, он падает вниз. Но упругий слой
воздуха его возвращает в небо,
в бесцветную ледяную гладь.
В желтом зрачке возникает злой
блеск. То есть помесь гнева
с ужасом Он опять

низвергается. Но как стенка — мяч,
как паденье грешника — снова в веру,
его выталкивает назад.
Его, который еще горяч!
В черт те что. Все выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад

птиц, где отсутствует кислород,
где вместо проса — крупа далеких
звезд. Что для двуногих высь,
то для пернатых наоборот.
Не можечком, но в мешочках легких
он догадывается: не спастись.

И тогда он кричит. Из согнутого, как крюк,
клюва, похожий на визг эрний,
вырывается и летит вовне
механический нестерпимый звук.
звук стали, впившейся в алюминий;
механический, ибо не

предназначенный ни для чьих ушей...

Религиозное сознание Бродского сильно разнится от того, которое внушает нам отечественная духовная традиция и русская философия: вероисповедание для него — идеологическая частность, имеющая лишь косвенное отношение к Богу, эстетика обуславливает этику и т. д. Тем не менее в своей историософии Бродский — меньше «западник», чем это принято думать. Возражая чешскому писателю-эмигранту Милану Кундере, который (подобно некоторым советологам, выводящим атеистический утопический тоталитаризм из «навыков» христианской России) углядел в оккупации Чехословакии в 1968-м традицию... Достоевского, Бродский пишет: «Концепция исторической не-

обходимости есть продукт рациональной мысли, и в Россию она прибыла из стороны западной... Отдадим должное западному рационализму, ибо бродивший по Европе «призрак коммунизма» осесть был вынужден все-таки на Востоке. Необходимо тем не менее отметить, что нигде не встречал этот призрак сопротивления сильнее, начиная с «Бесов» Достоевского и продолжая кровавой бойней гражданской войны и великого террора; сопротивление это не закончилось и по сей день... Тоталитарная политическая система... в той же мере является продуктом западного рационализма, как и восточного эмоционального радикализма. Короче, видя «русский» танк на улице Праги, есть все основания задуматься о Дидро...

Помню, в первую нашу встречу в Париже мы с Бродским шли через Сену по мосту Александра Третьего. Были густые сумерки с раскаленными имбирно-розовыми щелями заката на горизонте. Бродский меня экзаменовал: «Старых барынь духовник, / Маленький аббатик, / Что в гостиных бить привык / В маленький набатик, — что это?» Ну, такой тест пройти мне было несложно: Денис Давыдов о Чаадаеве...

Да, конечно, Бродский первым как бы «секуляризировал» поэзию, отделил ее от национальных корней и традиционных комплексов. Солженицын усмотрел это даже в его словаре: «Бродский — очень талантливый поэт, но характерно у него следующее: лексика его замкнута городским интеллигентским употреблением, литературным и интеллигентским. Слово глубоко народного языка в его лексике отсутствует. Это облегчает его перевод на иностранные языки и облегчает ему самому быть как бы поэтом интернациональным».

«Абсолютный низ» в поэзии Бродского называется характерной «приблатненности» некоторых его речевых оборотов и образов, в том, что он не страшится говорить о том, о чем другие бы не решились, и получается сильно:

«И когда ты потом петляешь, это — прием котла, / новые Канны, где, обдавая запахами нутра, / в ванной комнате, в четыре часа утра, / из овального зеркала над раковиной, в которой бурлит моча, / на тебя таращится, сжав рукоять меча, / Завоеватель, старающийся выговорить „ча-ча-ча“...»

Да, Бродский до предела «интернационален», однако, думается, не только чувство такта и хорошего вкуса, но и врожденное понимание специфики русского языка и культуры позволили поэту изначально не поддаваться на авангардистское разложение речи, оказаться, по его собственному выражению, «зараженным нормальным и трезвым классицизмом».

Упомянув о своих английских стихах, Бродский объясняет, что его задачей было тут «восстановление гармонии просодии». «Возьмите

Айги, — размышляет Бродский, — я совершенно не понимаю, почему он пишет по-русски, он может писать по-немецки, на суахили... Речь идет о том, что по-английски называется *regretion*, о восприятии каких-то определенных ощущений. И если вы изящную словесность воспринимаете как передачу этих ощущений в определенной сюжетной последовательности, то все это можно делать»... Но чувствуется, что верлибр слишком прост для Бродского, это для него запрещенный прием, он им попросту брезгует.

«Сильно упрощая историю русской поэзии... — обобщает Бродский, — можно тем не менее заметить, что читатель ее постоянно имел дело со стилистическим маятником, раскачивающимся между пластичностью и содержательностью... Раскачивается он и по сей день, ударяясь то о плотную стенку доморощенного авангарда, то о не менее плотную толпу бледнолицых стилизаторов серебряного века».

Метрика же самого Бродского, его рифмовка при всей своей новизне духовно дисциплинированной даже собственно содержания его лирики. Благородный консерватизм присущ эстетике Бродского.

«Мы, — рассказывает Бродский о литераторах своего поколения, — не были отпрысками, или последователями, или элементами какого-то культурного процесса, особенно литературного процесса, ничего подобного не было. Мы все пришли в литературу Бог знает откуда, практически лишь из факта своего существования, из недр, не то чтобы от станка или от сохи, гораздо дальше — из умственного, интеллектуального, культурного небытия. И ценность нашего поколения заключается именно в том, что, никак и ничем не подготовленные, мы положили эти самые, если угодно, дороги. Дороги — это, может быть, слишком громко, но тропы — безусловно. Мы действовали не только на свой страх и риск, это само собой, но просто исключительно по интуиции. И что замечательно — что человеческая интуиция приводит именно к тем результатам, которые не так значительно отличаются от того, что произвела предыдущая культура, стало быть, перед нами не распавшиеся еще цепи времен, а это замечательно. Это безусловно свидетельствует об определенном векторе человеческого духа».

Если и есть некая порча, некий «дефект души», точнее мироощущения, в творчестве Бродского, то винить в этом надо скорее не поэта, а вышеприведенные обстоятельства и время, когда Запад, к примеру, казался единственным светом в окошке, когда, укрепляясь в неконформизме, тогдашней молодежи приходилось искать опору в вещах порою наивных и абсолютизировать то, что нуждалось в органичной коррективке.

«Создать нечто прекрасное для всех народов, — утверждал русский мыслитель И. А. Ильин, — может только тот, кто утвердился в творческом акте своего народа. Истинное величие по-чвенно. Подлинный гений национален». С этим можно соглашаться или не соглашаться, но тот, кто чувствует так же, всегда будет испытывать к творчеству Бродского определенную настороженность, если не антипатию, тут уж ничего не попишешь...

Бродский плотно окружен поклонением сверстников, видящих в нем еще и выразителя своего поколения, своего миропонимания. Тем не менее творчество Бродского одиноко и монументально высится над всем тем умонастроением, которое его лишь приблизительно породило. По всем рациональным предположениям, явление такого масштаба в то хилое в культурном отношении время не могло возникнуть, — это настоящее чудо.

Поэзия Бродского порой ядовита, но и этот яд, не исключаю, целебен.

Вышедшие в 1990 году «Осенний крик ястреба» и «Часть речи» — как бы ретроспектива

творчества Бродского, в первом случае компактная, стройная, во втором — обширная, вместившая едва ли не все лучшие стихи поэта. За бортом этих книг осталась поэма «Горбунов и Горчаков» и другие, демонстрирующие широту творческих возможностей Бродского; с ними еще предстоит познакомиться отечественному читателю.

Драматично запоздалое долгожданное явление книг Бродского на родине — не только несравненный подарок ценителям изящной словесности, это явление формообразующее, дающее новую перспективу нашей литературе, культуре. Но только будущее покажет, как привьется и разовьется привнесенное Иосифом Бродским в нашу поэзию, насколько она сможет духовно и формально существовать в том новом измерении, которое дал ей наш выдающийся современник.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

Мюнхен.

*

СОБЕСЕДНИЦА И НАСЛЕДНИЦА

Ариадна Эфрон. О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери. М. «Советский писатель». 1989. 479 стр.

«Сивилла! — Зачем моему ребенку — такая судьбина?» — спрашивала на заре жизни своей дочери Марина Цветаева, смутно предчувствуя тяжесть предстоящей Але, Ариадне Сергеевне Эфрон, «русской доли». А если бы ей тогда, в восемнадцатом году, показали хоть несколько мгновений ожидавшей дочь участи, Цветаева, должно быть, отшатнулась бы в ужасе. Давая дочери имя античной царевны, мать не могла знать, что в ее судьбе мифологический сюжет пойдет вспять, что реальность предстанет вывернутым наизнанку мифом. Что не из родительского дома, в глубине которого во тьме Лабиринта затаилось грозное чудовище Минотавр, — в широкий мир об руку с юным героем к необычному союзу с божеством выйдет она. Все наоборот, наизворот: из мира своего детства, наполненного богами и героями, Ариадна шагнула прямо в пасть Минотавру, в лабиринт тюрем и ссылки. Шагнула — и не погибла. Потеряв родителей и брата, мужа и друзей, здоровье и годы жизни, она все-таки — недаром же звалась Ариадной! — вышла на свободу, ведомая золотой нитью цветаевской поэзии, тянувшейся, как сама она говорила, из клубка ее сердца.

Ариадна Эфрон эту книгу не писала. Она всю жизнь ощущала себя лишь на подступах к настоящей книге о Марине Цветаевой, ее судь-

бе и ее поэзии (что в высшем смысле одно и то же). М. И. Белкина, автор широко известного «Скрещения судеб», хорошо знавшая Марину Ивановну в пору ее недолгого московского життя после возвращения на родину, сложила книгу Ариадны из разнородных материалов. Разнородных по жанру и задачам, но скрепленных воедино незаурядной личностью автора. Поэтому в книге, какой она явилась перед читателем, две равноправные героини — мать и дочь, Марина и Ариадна. И жизнь Ариадны, может быть, помимо ее воли не менее значительна в книге, чем жизнь самой Цветаевой...

Многоголосие в книге возникает как принцип построения, рождающийся из самого материала. Переключка голосов до наглядности очевидна в разделе «Переписка с Борисом Пастернаком». В двух других разделах («Воспоминания» и «Из записей и писем») контрапункт голосов обнаруживает себя иным образом. Слышится то голос до гениальности одаренного ребенка, наделенного пугающей зоркостью (детские дневники и письма Али), то голос взрослого, очень талантливого, умудренного и усталого человека. «Прекрасное постоянство»¹ Ариадны, ее верность своему детству, своей любви к

¹ «Нам ли, брошенным в пространстве, обреченным умереть, о прекрасном постоянстве и о верности жалеть?» (О. Мандельштам)

родителям и родным, верность материнской поэзии, поэзии Бориса Пастернака и ему самому, верность культуре, во что бы она ни воплощалась, — качество, о котором сама Ариадна ни разу, кажется, прямо не говорила (она предпочитала гордиться «верблюжьей выносливостью и человеческим терпением»), но которое было сутью и стержнем ее существа.

Верность не пассивное чувство, она требует действий, в которых лишь и может осуществиться. Ариадна Эфрон не только помнила свою мать, чувствовала ее всегда рядом, всегда живой; она действовала во имя этой памяти. Едва вернувшись из ссылки, она тратит на жизнеустройство ровно столько энергии и времени, чтобы, более или менее успокоившись на этот счет, приняться за главное свое, как она считала, дело — издание стихов Цветаевой, История борьбы Ариадны Эфрон за издание книги цветаяевских стихов — история настоящей войны, с атаками и отступлениями, вербовкой временных и постоянных союзников, войны с коварным, ускользающим, многоликим и безликим противником, войны — со стороны противника — на истощение, на износ, на измот. Фотографии листов перекидного календаря с записями Ариадны, включенные в книгу, похожи на записи полководца перед очередным боем, на тактические разработки. Письма этого периода часто звучат словно донесения с поля битвы, чем они, в сущности, и были.

Ариадна, как известно, добилась издания — сначала, в 1961 году, тоненького сборника, голубую обложку которого, думаю, помнят многие почитатели поэзии; затем, в 1965 году, большого тома в «Библиотеке поэта». Плотина была прорвана. А чего это стоило, рассказывают записи Ариадны и ее письма Эренбургу, Анткольскому, Саакянц, Тарасенкову, Казакевичу — тем, кто так или иначе участвовал вместе с ней в сражении, длившемся годы. Ариадна была доблестным воином и вправду была бы сказать о себе словами цветаяевского стихотворения: «...ноши не будет у этих плеч, кроме божественной ноши — Мира!» Мира цветаяевской поэзии.

Книга, не содержащая ни капли вымысла, являет нам поразительное сюжетное богатство. Сюжеты — то делятся, то мимолетные — переплетаются, перетекают друг в друга, разрастаются, ветвятся; сюжеты перекликаются, будят эхо в пространстве книги. Такой сюжет-эхо, которого достало бы на настоящий роман, — переписка Ариадны с Борисом Пастернаком. Этот «роман в письмах» (назвать бы его «Новая Ариадна») — как бы второй том, а первым была переписка с Пастернаком Марины (кстати говоря, вот бы издать их под одной обложкой! Да придется десять лет подождать — большая часть цветаяевского архива волей Ариадны за-

крыта до 2000 года, а большинство пастернаковских писем в туруханскую ссылку — там).

Для меня самое важное в этих письмах вот что: собеседники были равнодостойны — великий поэт и почти никому в ту пору не известная, почти выброшенная из жизни женщина. Оба с полным правом могли бы сказать о себе: «...мне бог *дает* поведать, как я страдаю». И как бы ни бывала Ариадна удручена своим, как ей казалось, «косноязычьем», прав был Пастернак, писавший ей: «...смотри, что ты *можешь*: твоё письмо глядит на меня живой женщиной, у него есть глаза, его можно взять за руку, и ты еще рассуждаешь! Я верю в твою жизнь...»

Ариадна умела поведать не только о своих страданиях (об этом она как раз пишет с гордой сдержанностью), но и о любви. Такого признания в любви — к стихам и к их творцу — ни в одном романе не найти: «Стихи твои опять, в который раз, потрясли всю душу, сломали все ее костыли и подпорки, встряхнули ее за шиворот, поставили на ноги и велели — живи! Живи во весь рост, во все глаза, во все уши, не шурься, не жмурься, не присаживайся отдохнуть, не отставай от своей судьбы! Безумно, бесконечно, с детских лет люблю и до последнего издыхания любить буду твои стихи, со всей страстью любви первой, со всей страстью любви последней, со всеми страстями всех любовей от и до». И дальше, отказываясь уже от любых метафор, доводя их смысл до прозрачной, формульной точности: «Я выросла среди твоих стихов и портретов, среди твоих писем, издали похожих на партитуры, среди вашей переписки с мамой, среди вас обоих, вечно близких и вечно разлученных, и ты давным-давно вошел в мою плоть и кровь. Раньше тебя я помню и люблю только маму. Вы оба — самые мои любимые люди и поэты, вы оба — моя честь, совесть и гордость».

Признания эти драгоценны. Огромная переписка, с картинами северной природы, портретами и жанровыми сценками, тягостными бытовыми мелочами, вопросами и вестями о здоровье, просьбами и поручениями, укорами и тревогами по поводу затянувшегося молчания, благодарностями за книги и деньги, воспоминаниями и планами на будущее, словом, все (от недоразумений и деловой скорговорки до развернутых размышлений о романе или стихах) — это через, казалось, «навсегда онемевшую» страну тот разговор, о котором сказано у Ахматовой: «легкий блеск перекрестных радуг».

А какие веселье попадают письма, веселые по-настоящему, изнутри, когда человек не вымучивает из себя шутку, чтобы утешить или не встревожить адресата, а просто улыбка живет в нем и в его восприятии жизни («бедной на взгляд»): «...пишу и на часы поглядываю, пора кончать, еще ничего не начав толком, и опять

Марфа тянет Марию за край одежды и „ставит ей на вид“ все неизбывные хозяйственные недоделки. Так как я на старости лет начинаю забывать все на свете („слабеет разум, Таня, а то, бывало, я востра...“), то сейчас толком и не знаю, которая из них была „домохозяйкой“. У мамы об этом неплохо сказано: „обеих бабок я вышла внучка: чернорабочий и белоручка“. Остроумие Ариадны рождается из свободы, с какой она движется в родном ей пространстве — в культуре. Три литературные цитаты и две стилистические (из чуждого ей советского «новояза») — а речь непринужденна и легка наперебор содержанию, сводимому, в сущности, к жалобе на усталость и занятость...

Конечно, Ариадна Эфрон вопреки тому, что не написала ни одной книги, — настоящий писатель, прекрасный русский прозаик XX века. Неиссякающая наблюдательность, точность и сила, естественно сочетающиеся с изяществом, доброжелательное внимание к миру, светлая насмешливость, живое родство с мощной литературной традицией — это первые, наиболее очевидные и, быть может, еще не самые существенные свойства ее эпистолярной и мемуарной прозы. Пастернак не раз говорил о несомненном ее писательском даровании, и она возражала ему, ибо не могла не сопоставлять свой талант с двумя гениями.

Писательский дар Ариадны Эфрон иначе, чем в письмах, но столь же явственно сказался в трех фрагментах воспоминаний, составивших первый раздел книги. Эти фрагменты были опубликованы в журналах «Звезда» и «Литературная Армения» при жизни автора. У меня до сих пор хранятся вырезанные из почти пустых номеров тогдашней «Звезды» «Страницы воспоминаний» и «Страницы былого». Тогда, в 70-х, они, конечно, читались иначе, чем сейчас, когда мы знаем о Марине Цветаевой, о ее муже и детях, об эпохе, в которую им довелось жить, много больше и знание это пропитано горечью, уже неустранимой. Тогда — странное дело! — казалось, что все, о чем пишет Ариадна, было невероятно давно, в какой-то другой жизни... Теперь чувство иное: это было только что, чуть не на глазах и уж точно совсем рядом. И как подумаешь, что, когда впервые читались эти страницы, Ариадна Эфрон еще жила, боролась за воскрешение памяти Цветаевой, болела — и можно было поехать и, наверное, хоть чем-нибудь помочь... Нет, не пришло в голову. Чувство вины, испытываемое мною, не кокетство и не абстракция; поэзия Цветаевой столько значила для меня — а я и не догадывалась, что надо не только брать, но и отдавать.

Поистине многие из нас должны бы принять на свой счет жесткую инвективу одного из странных персонажей Сигизмунда Кржижановского: «Вам разве не приходило в голову, что

солнце светит в кредит? Каждый день и каждому из нас одождает оно свои лучи, разрешает расхватывать себя по миллионам зрачков в надежде на то, что имеет дело с честными должниками. Но на самом деле земля кишит почти сплошь дармогледами... Талант — это и есть элементарная честность «я» к «не я», уплата по счету, предъявляемому солнцем... это не привилегия и не дар свыше, а прямая обязанность всякого, согретого и осиянного солнцем...» Ариадна, «согретая и осиянная» солнцем Цветаевской поэзии как никто другой, была честным до щепетильности должником и расплачивалась не медяками, а своей жизнью, своим талантом.

Изобразительный дар Ариадны Эфрон мог бы служить аргументом, снимающим противоречия в споре искусств пространственных и временных, искусства изображения и искусства слова. О таком споре между двумя поэтами — Мариной Цветаевой и Аветиком Исаакяном — Ариадна поведала в эссе «Самофракийская победа». Исаакян, отстаивая первичность предметного, пластического искусства, привел Цветаеву в Лувр — к Нике Самофракийской. Вот как описывает Ариадна Сергеевна то, что увидели поэты: «Обезглавленная и безрукая, грубо изувеченная христианским варварством, обитая и выщербленная прошедшими по ней тысячелетиями, ликующая богиня остановилась на бегу, чтобы протрубить победу, и триста лет до нашей эры отбушевавший ветер облепил ее юное, торжествующее тело складками одежды, влажной и отяжелевшей от брызг прибоя, затрепетал в ее широко и сильно раскинутых крыльях, ероша их мраморные перья. Все в ней было движение, упругость, устремленность; все было живо; все было цело, цельно и неодолимо в этой фигуре, поднявшей и согнувшей в локте невидимую руку, чтобы, приложив к невидимым устам незримую трубу, возвестить на века вечные торжество человеческого духа, мужества, гения».

Кто победитель в этом споре: изображенная мраморная плоть или изображающее невесомое слово? И каким чудом удалось пишущей на протяжении пятнадцати строк создать не только метафору поэзии, но и, как теперь особенно отчетливо видно, метафору — страшную и прекрасную — русской культуры: обезглавленной и безрукой, но все еще к р ы л а т о й Победы?..

Словом, Ариадна действует и впрямь как пером или кистью — художник (недаром же эта профессия много лет давала ей скудный кусок хлеба), останавливающий миг. Но кисть вряд ли сумеет, запечатлевая образ старика, тут же показать нам его юношей. А слово — может. Вот портрет Бориса Пастернака: «...милый, смуглый и седой, с золотыми глазами... Прелестное у него лицо — когда-то был он юным

островитянином жгучей масти, теперь стал настоящим «последним из Могикан»... (это я не фигурально выражаюсь, в самом деле он похож на индейца!). Очаровательна смесь гордости и застенчивости на его лице, когда он говорит о чем-нибудь особенно ему дорогом или о ком-нибудь».

Так писала взрослая, мудрая, одинокая Ариадна Сергеевна. А маленькая девочка Аля, какой она была когда-то, оставила нам в своем дневнике давно ставший знаменитым портрет Блока: «Деревянное лицо вытянутое. Темные глаза опущенные, неяркий сухой рот, коричневый цвет лица. Весь как-то вытянут, совсем мертвое выражение глаз, губ и всего лица...» Сопоставление может показаться нарочитым, но что ж поделать, если так случилось: девочка писала о поэте, который был в ту минуту — сама смерть; женщина писала о поэте, который был в ту его минуту — сама жизнь. Бывает трезвая прозорливость, бывают знаки судьбы, проступающие лишь при ясном свете разума и памяти. Ариадна Эфрон была чутка к этим знакам с детства и до старости. Она видела в людях и вещах, городах и природе больше, чем обычно удается обнаружить беглому или равнодушному взору.

Кто бы, грубо обиженный людьми и судьбой, как Ариадна Сергеевна, почувствовал в первой ее сибирской весне — нежность: «...когда солнце заходит за полосу леса на горизонте, тень падает на снег нежно, как тень огромных речниц...» Найдутся люди, которых раздражит эта готовность увидеть красоту там, куда человека отправили погибать. Это можно понять. Найдутся и такие, кого покоробит простудная радость, какую испытывала Ариадна в своей замороженной глухомани. Ее радовали приезд «нашего депутата», лозунги и флаги, даже демонстрации перед наспех сколоченной трибуной... И в самом деле: как же она, Ариадна Эфрон, потерявшая отца и мать, претерпевшая непредставимые (не будем обольщаться — мы не можем представить их себе) страдания, загнанная на край света, лишенная средств к существованию и чуть ли не самого смысла этого существования, она, обладавшая глазом художника и слухом поэта, — как она могла радоваться этим фальшивкам, этому веселью, предписанному и навязанному? Ответ, мне кажется, есть, и он прост. Надо быть благодарным за то, что у так замученного человека доставало все-таки сил испытывать радость. Радость от общего веселья (навряд ли очень быстро забывавшего официальный к тому повод). Радость от долгожданного свободного времени, от движения по привычному маршруту вместо опустыленного обязательного. Да просто радость глаз от ярких цветных пятен, таких редких среди застывшей, кажущейся вечной белизны снега...

Этот «витамин радости» Ариадна, само жизнелюбие, умела извлекать откуда угодно. Не знаю, была ли Ариадна Сергеевна верующей, но, читая написанное ею, понимаю: она свято блюла по крайней мере одну из важнейших заповедей. Она знала, что уныние — смертный грех.

Но вернемся к портретной галерее, созданной автором воспоминаний. Не диво, что больше всего в ней портретов Марины Цветаевой, — дивны сами эти портреты: от легких набросков до полномасштабного полотна. Таким полотном открываются «Страницы воспоминаний». Бережно и строго закреплено все — от роста, походки и цвета глаз до голоса. И вот — лицо: «Казавшееся завершенным до замкнутости, до статичности, лицо было полно постоянного внутреннего движения, потаенной выразительности, изменчиво и насыщено оттенками, как небо и вода». У нас есть редкая возможность сверить описание с фотографией, по моему, лучшей в книге, иллюстрированной и вообще-то со вкусом и любовью. Но эта (фотография 1926 года, сделанная в Вандее) — необыкновенная. На ней остановлено мгновение, глубинной сути которого не знали тогда ни фотограф, ни, наверное, даже его натура. Цветаева здесь — свободная, одинокая, вряд ли счастливая, совсем наедине со своею мыслью, с «тайным умыслом» о себе («Господи! Душа сбывлась, — умысел твой самый тайный»). Взгляд не к снимающему обращен, куда-то совсем близко, но в иное измерение, хотя улыбка — почти здешняя, послушная, приветливая. Бесстрашная какая-то фотография... И — да, подтверждающая то, что сказано об этом лице дочерью: эта неподвижность изнутри полна движением, эта сумрачная гладь сейчас взвояется волной...

Есть еще и рисунки Ариадны. Особенно, по моему, хороши два портрета Цветаевой. Один — перед «Воспоминаниями» Марина Ивановна, склоненная над столом, отрешенное лицо и «лоб в апофеозе папирось»; и другой, более ранний набросок (1928), вдруг приводящий на память античный барельеф — голову спящей Эринии... Вообще фотографии и рисунки эти образуют в книге своего рода семейный альбом, рассматривать который и интересно, и радостно, и больно. Только вот цвет, в котором они воспроизведены — сизый, какой-то сиротский, — сильно сбивает впечатление. Неужели так трудно поддавался репродуцированию благородный коричневый (пусть даже пожелтевший) тон старинной бумаги?..

Ариадна Сергеевна была, в сущности, первым истолкователем и исследователем цветаевского творчества. Бог наделил ее филологическим чутьем, в русской и европейской словесности она была у себя дома. Поэтому и разверну-

тые ее штудии, и мимоходные замечания, как правило, тонки, глубоки и точны. Конечно, детство в воспоминаниях Ариадны предстает сказочной страной, а люди — полубогами; но это не преувеличение и уж ни в коем случае не ложь, это — очищение обыденности от ее и вовсе не золотой скорлупы, из которой выкапываются «ядра — чистый изумруд», как в пушкинской сказке.

Ариадна Эфрон с полным правом могла бы применить к себе строку из цветаевского стихо-

творения (если б тому не мешала ее всегдашняя насмешливая скромность): «...высоко несую свой высокий сан — Собеседницы и Наследницы». Нам же ничто не мешает воздать должное собеседнице поэтов и наследнице поэзии, какой Ариадна Эфрон была при жизни и какой она встает перед читателем со страниц этой книги.

Галина ГОРДЕЕВА.

Чебоксары.

*

ВНЕ СУЕТЫ

Музыкальный мир Георгия Свиридова. М. «Советский композитор». 1990. 222 стр.

Есть у каждого пишущего долги творческой и человеческой благодарности современникам, без чьей помощи — невольной, ибо сами эти современники о ней не подозревают, — писалось бы, а значит, и жилось куда более одиноко. Порой с таким помощником (собеседником, сотрудником, учителем) настолько сживаешься, так к его неотменимому присутствию во внутренней жизни привыкаешь, что долг рискует остаться неотданным, «кредитор» о нем так и не узнает, если не подворачивается случай.

Два впечатления, не равные по глубине, но связанные темой и совпадением по времени, представили мне подобный случай.

Одно впечатление — концерт, данный к семидесятипятилетию Георгия Свиридова артисткой Большого театра Ниной Раутио, певицей редкого дарования, вместе с великолепной пианисткой Еленой Савельевой. Это были романсы на стихи русских поэтов, а затем поэма «Отчалившая Русь», на есенинские стихи.

Большинство романсов — вещей ранних, но уже классически совершенных, замечательных не только глубиной, смелостью и красотой, а и редкостным «слухом на автора», стремлением и умением внимать и с наслаждением повиноваться его слову и духу, — я, да и не только я, слышал впервые; а вот с пушкинских, где это стремление и умение наиболее для меня очевидно (мне, например, издавна казалось, что интонация и даже мелодия романса «Роняет лес багряный свой убор» не сочинены композитором, а непонятным способом изображены самими стихами, Свиридов только перевел это в ноты), — с пушкинских романсов именно и началось когда-то мое знакомство с творчеством музыканта, который ныне — один из крупнейших, своеобразнейших и тончайших художников современности, долго стоявший в нашей культуре одиноко именно в силу решительной своей самобытности.

Что касается «Отчалившей Руси», то тут я не найду слов ни описать шквал восторга (такой редко сейчас потрясает своды Большого зала Московской консерватории), ни выразить ощущения величия, скорби и счастья, которые подымает в душе этот исполненный трагической глубины, невероятной внутренней мощи и какой-то хрустальной красоты русский «пассион».

Определение «пассион» — «страсти» — я заимствовал из посвященной «Отчалившей Руси» статьи Е. Ручьевской и Н. Кузьминой, вошедшей в коллективный сборник статей о композиторе. Знакомство с этой книгой, и было тем вторым впечатлением, которое по времени совпало с ощущениями после концерта — и пришлось очень кстати: книга стала литературным поводом отдать хоть часть долга композитору, без чьей музыки мне трудно, пожалуй, представить мое культурное существование на протяжении многих лет, а иногда и мою литературную работу.

Правда, сборник этот специальный, а я всего лишь верный любитель музыки, не знающий и нотной грамоты. Не искушен я и в не менее сложной материи — подробностях взаимоотношений «архаистов» и «новаторов» применительно к музыкальной жизни (если употребить термины, близкие мне как пушкинисту). Во всяком случае, от души разделяя с авторами книги неприятие рационализма, изобретательной и бездушной «учености» в музыке, безликого, пусть порой и эффектного музыкального «эсперанто» современного модернизма, я хотел бы думать, что авторы прилагают эти и другие определения лишь к сочинителям и сочинениям, которые в них действительно укладываются, не имея в виду художников масштаба, скажем, А. Шнитке или С. Губайдуллиной, пусть те и исповедуют иную эстетику. Однажды мне со вполне партийной принципиальностью заявили, что с такими вкусами я ничего в музыке не

понимаю; возможно, — но с такими вкусами я стало быть, и о музыке Свиридова судить не имею права, а вот ведь и сужу, и восхищаюсь, и испытываю горестное недоумение, слыша исполненные партийной же нетерпимости пополам с высокомерием пассажи относительно «примитивности» и «кондовости» этой музыки, поражающие, особенно в весьма тонких людях, глухой к той, перефразируя Гераклита, скрытой тонкости, которая бывает сильнее явленной.

Но есть в сборнике и то, что оценить мне вполне под силу, и это, по-моему, как раз вещи главные, которым и профан может дать их истинную цену, выйдя при этом ненароком и к собственным утлым соображениям. Одна из наиболее явственно справедливых для меня концепций развита в статье О. Сокуровой и А. Белоненко — это Пушкин как эталон стиля Свиридова, как ориентир на его пути, мета его художественного мира, — здесь я кое-что понимаю. (Одно только гениальное «Зорю бьют» из «Пушкинского венка» могло бы навсегда вписать Свиридова в великую русскую культуру, как, скажем, «Соловей» написал Алябьева.) У тех же авторов есть замечательная мысль о белизне как световом излучении, которое способна испускать свиридовская музыка, — ведь излучение Пушкина тоже белое.

Рядом с Пушкиным как эталоном исследуются (Л. Поляковой) совершенно новые отношения Свиридова с русским фольклором, который еще с XIX века считался музыкально исчерпанным, а потом, добавлю от себя, был на каждом шагу унижаем, бесстыдно эксплуатируем и целенаправленно уродуем — так что, к примеру, хор Пятницкого, когда-то неописуемо прекрасный деревенский хор, превратился в конце концов в «академическое» приложение к официальной масс-культуре: всех стали учить и научили петь отвратительным плоским «открытым звуком» — это называлось (как объяснил мне Дм. Покровский, руководитель знаменитого фольклорного ансамбля) «пролетарским» пением в отличие от прежнего «кулацкого»...

Песня — то ли материя, то ли душа музыки Свиридова. Но он заново художественно осмыслил русский фольклор, сняв этнографический и прочие поверхностные уровни и открыв «сверхисторический», который только и может сегодня дать ключ к сущности и судьбе России; добавлю, что Свиридов и тут в каком-то смысле ученик Пушкина, совершившего в свое время переворот в отношении к фольклору.

Все это на фоне и в системе разнообразных связей с отечественной и мировой музыкой — от Мусоргского до Малера, от Дебюсси до Рахманинова, от Шуберта и Шумана до Стравинского и Орфа.

И наконец — глубоко залегающий фундамент свиридовского мира, исследуемый в статьях А. Кручинной и В. Генина: древнее искусство церковного пения, знаменный распев, колокольные звоны. Здесь родословная непридуманности, органичности свиридовских мелодий и интонаций (музыка «не сочинена, а выросла» — В. Гаврилин), ее эпического и «предвечного» характера, порой аскетической простоты, истовости и устойчивости, противостоящей пресловутому «игровому отношению к жизни» (В. Веселов), которым соблазняются многие таланты, — короче, исток всех тех качеств, какие равнодушный к ним и их высокой природе слух как раз и принимает за примитивность. В этом же истоке — начало соприродности свиридовского звука слову (к чему еще Даргомыжский призывал), ведь церковное пение всегда было прежде всего пением слова. И здесь же, вероятно, одна из главных причин одиночества Свиридова в течение многих лет: что могло быть более несовременным, несвоевременным, чем опора — пусть даже и не всегда явная — на фундамент духовной музыки?

Одиночество, как известно, часто оборачивается в культуре первенством и торжеством. Свиридову принадлежит великая заслуга: он олицетворил в себе, он создал целое направление, вернувшее современной русской музыке ее роль органа национального самосознания, опирающегося притом не на амбиции формального толка, не на национальное себялюбие, а на духовные идеалы древней Руси и на Пушкина — с порожденной им новой русской культурой. Значение этого культурного подвига, выходящего уже за пределы собственно музыки, особенно наглядно подчеркивается Л. Поляковой, напоминающей, что в лице автора «Поэмы памяти Сергея Есенина» музыка у нас опередила литературу, еще в 50-х годах предвосхитив основную тему и пафос наших «деревенщиков», сельтурная и общественная роль которых сегодня уже видна почти во всем своем масштабе.

К сожалению, нет в книге статьи о трагизме Свиридова. Я имею в виду не только трагизм, предусмотренный, так сказать, авторским замыслом, но прежде всего тот, что проявлялся сам, объективно, помимо сознательных усилий автора, проявлялся в силу невольной прозорливости, всегда входящей в состав того достоинства художника, которое называется даром Божиим. Когда, к примеру, авторы некоторых статей именуют — и, может быть, даже отчасти справедливо — финал «Поэмы памяти Сергея Есенина» («Небо — как колокол») экстатической кульминацией, славящей «обновление России», и прочее в том же духе, они по привычке словно замыкают слух, чтобы не вникать в этом потрясающем трагическом гимне отчаянный вопль гибнущей, распинаемой народной души,

— рыдание, облеченное в величавую интонацию знаменного распева и в зловеще-мерный ритм, то ли маршевый, то ли погребальный. Подобный же глубинный, необъявленный, можно сказать, интуитивный — в облике патики — трагизм можно обнаружить и показать даже в грандиозной торжественности «Патетической оратории» на стихи Маяковского. И совсем уж очевиден он во всенародно знаменитой (благодаря телепрограмме «Время») музыке «Время, вперед!», которая ужасом своей неотвратимой, словно мчащийся на тебя поезд, механичности, холодно ликующей, подминающей и даже захватывающей, сравнима разве что с Восьмой симфонией Шостаковича или со скерцо из Шестой Чайковского — чудовищным маршем смерти, в котором популяризаторы упорно учили нас слышать торжество жизни.

Для осмысления такого трагизма и такой прозорливости свиридовского дара специалистам, видимо, еще потребно время (ничего удивительного в этом нет: «знатоки» вообще очень часто поначалу отстают). Тогда можно будет еще раз, наново оценить могучее свойство художественного мира Свиридова: предвечность и устойчивость системы ценностей, положенной в его основу. В конечном счете именно благодаря этому свойству Свиридов дает человеку, как говорится в составляющей жемчужину этой книги статье Валерия Гаврилина, «только то, мимо чего проносит сутолока еждневноности, когда в спешке можно позабыть нечто такое, без чего мучения жизни потеряли бы смысл».

В. НЕПОМНЯЩИЙ.

*

Политика и наука

РАЗОРЕНИЕ. IV¹

С. П. Мельгунов. *Красный террор в России. 1918—1923*. М. СП «РУСО», «P.S.». 1990. 207 стр.
С. П. Мельгунов. *Красный террор в России. 1918—1923*. «Наш современник», 1991, № 1—3.

«Да, мы переживаем ужасное время владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ Зверя...» — обращался патриарх Тихон к «народным комиссарам» в октябре 1918 года. Сейчас в нашей стране уже более или менее свободно печатаются книги, открывающие «образ Зверя» во всем его отталкивающем безобразии. В первую очередь это, конечно, книги Солженицына, его «Архипелаг ГУЛАГ», но не только. К числу летописцев новейшей истории России принадлежал Сергей Петрович Мельгунов (1879—1956), историк, издатель, редактор, публицист, политический деятель (был товарищем председателя ЦК народно-социалистической партии, позднее, за рубежом, возглавлял «Союз борьбы за свободу России» и «Координационный центр антибольшевистской борьбы»). После октябрьского переворота Мельгунов участвовал в оппозиционном движении, заплатив за это смертным приговором (1920), замененным впоследствии на десятилетний срок (о поведении Мельгунова на следствии см. «Архипелаг ГУЛАГ», том 1, глава 8). В 1922 году был выслан из страны.

Книга Мельгунова о красном терроре² вышла в Берлине в 1923 году. «Я не могу взять ответственности за каждый факт, мною приводимый, — объяснял историк. — Но я повсюду указывал источник, откуда он заимствован» (подобным же образом работал над «Архипелагом» Солженицын). Не в последнюю очередь Мельгунов пытался повлиять на общественное

мнение Запада, открыть миру глаза на то новое и беспримерное, с чем столкнулся Запад в лице «республики Советов». В этом смысле книга нескрываемо тенденциозна, но приводимые сведения настолько впечатляющи, что даже мысленная поправка на возможные неточности и преувеличения ничего, по сути, не меняет. Это понимал и сам автор: «Допустим, что легко можно подвергнуть критике сообщение хотя бы с.-р. печати о том, что во время астраханской бойни 1919 года погибло до 4000 рабочих. Кто может дать точную цифру?.. Пусть даже она уменьшится вдвое. Но неужели от этого изменится хотя на йоту самая сущность?» Сущность же эта — в терроре против рабочих, озабоченных своим тяжелым материальным положением. Об этом многие читатели узнают впервые, поскольку подобные факты у нас предпочитали даже не оправдывать, а просто игнорировать. Не меньше в книге Мельгунова примеров красного террора против крестьянства, против Церкви. Опираясь на книгу эсера Штейнберга, бывшего комиссара юстиции в правительстве большевиков, Мельгунов рассказывает о событиях в

¹ Продолжение разговора, начатого в № 3 и 6 за 1989 и в № 2 за 1990 годы.

² Авторы послесловия к отдельному изданию 1990 года А. Даниель и Н. Охотин перечисляют работы С. П. Мельгунова: «Трагедия адмирала Колчака» (в трех томах, 1930—1931), «Как большевики захватили власть» (1939), «Легенда о сепаратном мире» (издана после смерти, в 1957 году) и другие. Думаю, что в новой конъюнктурной ситуации наши издатели не заставят себя ждать.

Шацком уезде Тамбовской губернии. В деревне свирепствовала испанка, устроили крестный ход, за что местной ЧК были арестованы священники и... почитаемая народом Вышинская икона Божьей Матери. Крестьяне узнали об осквернении иконы чекистами («...плевали, шаркали по полу») и пошли «стеной выручать Божью Матерь». «Пулемет косит по рядам, а они идут, ничего не видят, по трупам, по раненым, лезут напролом, глаза страшные, матери детей вперед; кричат: Матушка, Заступница, спаси, помилуй, все за тебя ляжем...»

Кроме книги Штейнберга, историк использовал и некоторые другие к тому времени вышедшие издания, например, сборник «Че-Ка», выпущенный партией социалистов-революционеров (Берлин, 1922) и содержащий материал из первых рук — свидетельства потерпевших и очевидцев. Вообще ВЧК занимает в книге Мельгунова особое место, что неудивительно, поскольку учреждение это с самого начала было по официальной терминологии органом «беспощадной расправы». Тут я позволю себе высказать мысль, на первый взгляд «не либеральную», о том, что современное государство не может существовать без эффективных спецслужб. Но их необходимость проистекает из трагических реальностей нашего непредсказуемого мира, а вовсе не из того факта, что семь десятилетий назад большевики захватили государственную власть. И старый режим не избегал насилия, но он не развязывал стихию зла. Любое благоустроенное общество не может зарекаться от использования охранительного, если угодно, насилия, которое защищает гражданина, семью, собственность, государственные институты, но — в идеале — не стесняет естественное самодвижение жизни. «Вся наша полицейская система, — объяснял некогда Столыпин, — есть только средство — дать возможность жить, трудиться и законодательствовать». Могут сказать, что это были мечты, подобные мечте опомнившегося народовольца Льва Тихомирова об «умной и сильной» полиции. Да нет, не только мечты... «В настоящий момент, когда мы живем под властью советской бюрократии и под пятой красной гвардии, мы начинаем понимать, чем были и какую культурную роль (разрядка моя.—А. В.) выполняли бюрократия и полиция низвергнутой монархии», — признавался П. Б. Струве в 1918 году. Безнаказанный красный террор только и стал возможен после того, как была сломана нормальная полицейская машина (у нас ее и не будет до тех пор, пока сотрудники «компетентных органов» будут гордиться званием чекиста). Это предрассудок, что городового несовместим со свободой, в нем нуждаются и рынок и демократия. Но ЧК с самого начала была не полицией, не спецслужбой в обычном смыс-

ле слова, а, как ни жестко это прозвучит, инструментом массовых убийств.

Сведения Мельгунова о том, что после революции стали де-факто применяться телесные наказания (розги, шомпола), кажутся мелочью по сравнению с таким чудовищным явлением, как заложничество. Людей убивали за чужие преступления или за чужие поступки, которые на самом деле не были преступлениями, или даже за такие чужие действия, которые только могли иметь место (были случаи расстрела семей офицеров, подозреваемых в том, что они, возможно, перешли к белым). Убивали не только ни за что, но и неизвестно кого — личность казненного далеко не всегда идентифицировалась. За террористические акты анархистов или эсеров убивали простую тех, кто поворачивал под руку. После выстрела Каплан по всей стране расстреливали заложников с формулировкой «за покушение на Ленина». По рассказу коменданта МЧК Захарова, читаем у Мельгунова, прямо после знаменитого взрыва, устроенного анархистами в Леонтьевском переулке, «бледный, как полотно», Дзержинский дал устный приказ: расстреливать по спискам «всех кадет, жандармов, представителей старого режима и разных там князей и графов, находящихся во всех местах заключения Москвы, во всех тюрьмах и лагерях». Сколько именно успели перестрелять за ночь и на следующий день, неизвестно, потом приказание отменили. А в скольких случаях оно не отменялось... Можно ли себе представить нечто подобное после взрыва, устроенного Халтуриным в Зимнем дворце? «Предлагали Столыпину объявить уже арестованных террористов заложниками за действия невзятых — он, разумеется, это отверг» (А. Солженицын).

Неоднократные амнистии и отмены смертной казни, объясняет Мельгунов, объявлялись в чисто пропагандистских целях. В ночь перед амнистией по тюрьмам шли массовые расстрелы; смертная казнь отменялась, но не в местностях, «подчиненных фронтам», заключенных вывозили туда и убивали — по закону. Мельгунов неоднократно подчеркивает сращивание ЧК с уголовным миром: уголовники становились следователями, следователи — уголовниками или соучастниками уголовщины. Он приводит данные о том, что некоторые чекисты, не палачи по должности, сами добровольно занимались казнями и пытками. Поскольку «беспощадная расправа» была идеологически обоснована, это давало возможность садистам, душевнобольным осуществлять самые изощренные фантазии.

Так называемая комиссия Рерберга приступила к работе немедленно после занятия Киева Добровольческой армией в августе 1919 года. Вот что она обнаружила: «Весь цементный пол

большого гаража (где находилась бойня местной ЧК. — А. В.) был залит уже не бежавшей вследствие жары, а стоявшей на несколько дюймов кровью, смешанной в ужасающую массу с мозгом, черепными костями, ключьями волос и другими человеческими остатками. Все стены были забрызганы кровью, на них рядом с тысячами дыр от пуль налипли частицы мозга и куски головной кожи. Из середины гаража в соседнее помещение, где был подземный сток, вел желоб в четверть метра ширины и глубины и приблизительно в 10 метров длины. Этот желоб был на всем протяжении доверху наполнен кровью... Рядом с этим местом ужасов в саду того же дома лежали наспех поверхностно зарытые 127 трупов последней бойни... Тут нам особенно бросилось в глаза, что у всех трупов разможены черепа, у многих даже совсем расплюсчаны головы... Некоторые были совсем без головы, но головы не отрубались, а... отрывались... Около упомянутой могилы мы натолкнулись в углу сада на другую, более старую могилу, в которой было приблизительно 80 трупов... Тут лежали трупы с распоротыми животами, у других не было членов, некоторые были вообще совершенно изрублены. У некоторых были выколоты глаза... Далее мы нашли труп с вбитым в грудь клином. У нескольких не было языков. В одном углу могилы мы нашли некоторое количество только рук и ног. В стороне от могилы у забора сада мы нашли несколько трупов... несчастные были погребены живо и, стараясь дышать, глотали землю».

Подобными свидетельствами книга Мельгунова переполнена. «Специальность Харьковской Че-ка, где действовал Саенко³, было, например, скальпирование и снятие перчаток с кистей рук... В Воронеже пытаемых сажали голыми в бочки, утыканные гвоздями, и катали. На лбу выжигали пятиугольную звезду...» В Царицыне пилили кости, в Полтаве священников сажали на кол, в Екатеринославе распинали и побивали камнями, в Одессе офицеров жарили в топках, разрывали пополам колесами лебедок, в Киеве жертву клали в ящик с разлагающимися трупами, над ней стреляли, потом объявляли, что похоронят в ящике живо. Мельгунов доказывает, что массовые убийства безоружных пленных, раненых в госпиталях и просто мирного населения совершались не только ЧК, но и Красной Армией, причем речь идет не о своеволии отдельных красноармейцев, хотя и это, конечно, имело место, а об организованных акциях; беспримерной жестокостью, в этом сходятся все очевидцы, отличались интернациональные формирования — отряды китайцев, латышей (роль последних в органах ЧК Мельгунов подчеркивал особо). В книге есть и выразительные примеры связи террора с экономической политикой: превращение людей в ледяные столбы широко практиковалось в Орловской губернии при взъискании чрезвычайного революционного налога, в

Малоархангельском уезде торговца за невзнос налога посадили на раскаленную плиту, крестьян Воронежской губернии за неполное выполнение продразверстки опускали в колодцы и многократно окунали в воду.

Не хочется пересказывать то, что каждый (уверен — каждый) читатель должен прочесть своими глазами. Важно, что уже в 1923 году Мельгунов на фактах (которые я по необходимости опускаю) разоблачает аргументы в защиту красного террора, звучащие и в наши дни. Историк полностью отмечает расхожие утверждения, что красный террор был стихийным проявлением народного гнева, что он был ответом на белый террор, что он ничем не отличался от белого террора, что террор был направлен исключительно против контрреволюционеров и буржуазии, что террор был вызван гражданской войной. М. Горький в брошюре о русском крестьянстве объяснял жестокость революции исключительной (будто бы) жестокостью русского народа. «Едва ли есть надобность защищать русского крестьянина, да и русского рабочего от клеветы Горького, — возражает Мельгунов, — темен русский народ, жестока, может быть, русская толпа, но не народная психология, не народная мысль творила теории, взлелеянные большевистской идеологией...» Мельгунов точно указывает на принципиальную особенность красного террора. Дело не в его размахе и особой циничности; это доктринальный террор, опирающийся на идеологию насилия как универсального средства преобразования действительности и самого человека (известны рассуждения Бухарина о расстрелах как способе выработки нового человечества)⁴. Белый же террор, по мысли Мельгунова, это прежде всего эксцессы «на почве разнузданности власти и места». «Где и когда в актах правительственной политики и даже в публицистике этого (белого) — А. В.) лагеря вы найдете теоретическое

³ Тот город славился именем Саенки.

Про него все рассказывали, что он говорил, что из расклевывали, что он говорил, — читаем в маленькой поэме Велимира Хлебникова «Председатель чеки», опубликованной «Новым миром» (1988, № 10).

⁴ Ю. Феофанов, рецензируя книгу С. П. Мельгунова «Известия», 3.10.90, высказал предположение, что беду несет лобная идеология у власти: «...не надо думать, что инквизиция средневековья — это некая деформация христианства, как сталинский режим — искажения социализма». Что же надо думать — по Ю. Феофанову? Что инквизиция есть адекватное выражение христианства? Или что характер идеологии, заявившей о себе Коммунистическим манифестом 1848 года, не существует для понимания российской катастрофы? «Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогнутся перед Коммунистической Революцией (разрядка везде моя. — А. В.)». Вот и содрогнулись.

обоснование террора как системы власти? Где и когда звучали голоса с призывом к систематическим официальным убийствам? Где и когда это было в правительстве ген. Деникина, адмирала Колчака или барона Врангеля?»

Сразу после моей публикации об «Окаянных днях» И. А. Бунина («Новый мир», 1990, № 2) некоторые читатели упрекали меня в лицемерии: дескать, призываю к гражданскому миру, «иначе не выжить, нет надежды», а каждая страница (якобы) дышит ненавистью к большевикам. Что ж, видимо, надо объясниться. Гражданский мир — это взаимный отказ всех политических сил от борьбы и уничтожения, но не от борьбы вообще; это борьба «по правилам», консенсус относительно этих правил, элементарных моральных норм. Но идея гражданского мира ни в коем случае не подразумевает забвения уже совершенных преступлений. В Аргентине, чтобы не провоцировать очередной переворот, освободили военных от ответственности за преступления, совершенные ими в годы диктатуры, но никто не делает виду, что этих преступлений не было. В Испании воздвигнут грандиозный мемориал всем павшим в гражданской войне, но это не значит, что все испанцы равно симпатизируют франкистам и республиканцам. И нам такой памятник необходим, об этом говорят все чаще, но никакой мемориал не сотрет нравственной разницы между теми, кто во имя мировой революции сокрушал Россию, развязывал вакханалию убийств, и теми, кто в меру сил пытался этому воспрепятствовать. Можно равно сожалеть о погибших красноармейцах и белогвардейцах, но невозможно, противоестественно одновременно гордиться Лениным и Столыпиным, восхищаться Троцким и Колчаком. «Ты думаешь, почему мы выиграли гражданскую войну?» — «Насколько я знаю, мы ее проиграли» — выразительный диалог, «подслушанный» в наши дни Владимиром Солоухиным («Камешки на ладони»). У меня нет ненависти или даже особой неприязни к коммунистам, особенно к вступившим в партию на фронте (что такое настоящая и ослепляющая ненависть, свидетельствует некоторая часть нашей редакционной почты). Партия, конечно, ответственна. «Но что из этого следует практически? — резонно спрашивает Игорь Шафаревич. — Большинство теперешних членов партии не имеют отношения к самым тра-

⁵ См. об этом книгу С. П. Мельгунова «Золотой немецкий ключ большевиков» («Искусство кино», 1991, № 2—4).

⁶ Честнейший Варлам Шаламов через всю жизнь пронес восхищение эсеровскими террористами как «лучшими людьми» России, одновременно возлагая на русскую литературу XIX века ответственность за кровь, пролитую в веке XX, что представляется мне не только моральным, но и логическим противоречием.

гическим эпизодам ее правления...» («Комсомольская правда», 18.10.90).

Но те... Уже в первые годы нового режима были совершены злодеяния беспрецедентные. Можно спорить о принципиальной допустимости или недопустимости смертной казни, можно отрицать ее с христианских или либерально-гуманистических позиций, но людям, захватившим власть осенью 1917 года, трудно было бы возразить что-либо против применения к ним самим — по результатам их деяний — той же «высшей меры» (что со многими из них, собственно, и случилось впоследствии, но по иным причинам).

Сам этот захват власти стал возможен только в результате Февральской («благоуханной», по выражению Мережковского) революции. До нее переход власти сразу в руки большевиков был немисллим. Но и Февраль был результатом не только печальной слабости старого режима, но и целенаправленной деятельности нескольких поколений российских революционеров (я оставляю сейчас в стороне проблему «немецких денег»⁵ и пр.). Какова их ответственность за катастрофу? От этого вопроса не уйти. Думаю, что авторы, однозначно противопоставляющие ныне «аморальный» ленинизм всему остальному революционному движению, совершают примерно ту же операцию, что и люди, жертвующие Сталиным ради спасения репутации Ленина и Маркса.

Обыкновенно говорят, что «пламенные революционеры» были воодушевлены самыми благородными идеалами, что они в принципе не могли предвидеть последствий своей разрушительной работы, что никто не мог знать... Увы, это одна из лжей, которые нам еще предстоит преодолеть. О том, какой ужас наступит после революции, непрерывно, не менее ста лет предупреждали лучшие умы страны. Революционеры всех оттенков могли этому не верить, не соглашаться, надеяться на лучшее или «трезво» считать, что ради идеалов можно пройти через ужас, я уж не говорю о тех, кто только для этого ужаса и работал. Но в любом случае нельзя сказать, что их не предупреждали.

Все они — «при чем»⁶. Осудить их сегодня трудно. Сложность в том, что это никак не страхует нас от повторения их ошибок и даже преступлений; невозможно исключить, что и мы не сыграем их печальной роли в новых исторических обстоятельствах. Нет предела злу, которое — при известных условиях — человек, это творение Божие, отягченное грехом, может сотворить с себе подобными; тут не должно быть иллюзий, они опасны. И об этом тоже напоминает книга русского историка С. П. Мельгунова.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

*

Словарь Библейского богословия. Под редакцией Ксавье Леон-Дюфура, Жана Липласси, Августина Жоржа, Пьера Грело, Жака Гийе, Марка-Франсуа Лаконя. Перевод со 2-го, доп. и перераб. франц. изд. Брюссель. «Жизнь с Богом». 1990. XXIV, 1287, VI стр.

Прот. Георгий Флоровский. Восточные отцы IV века. 2-е изд. Париж. YMCA-PRESS. 1990. 240 стр.

Основу книги, впервые изданной в 1931 году в Париже, составили академические чтения в Православном богословском институте о св. Афанасии Александрийском, св. Кирилле Иерусалимском, св. Василии Великом, св. Григории Богослове, св. Григории Нисском и св. Иоанне Златоусте.

Прот. Георгий Флоровский. Восточные отцы V—VIII веков. 2-е изд. Париж. 1990. 260 стр.

О путях византийского богословия, о начале монашества, о жизни и трудах св. Кирилла Александрийского, блж. Феодорита Кирского, о преп. Иоанне Лествичнике и преп. Исааке Сирийце, преп. Максиме Исповеднике и преп. Иоанне Дамаскине.

Прот. Иоанн Мейендорф. Византия и Московская Русь. Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке. Париж. YMCA-PRESS. 1990. 442 стр. Перевод с английского осуществлен в Самиздате (под ред. Н. Б. Артамоновой).

Автор приходит к выводу, что Византия в сношениях с Русью способствовала насаждению «не цезарепапизма», а внедряла в сознание идею «сильной, единой церкви, стоящей над национальными интересами и политическими границами».

А. В. Карташев, Н. А. Струве. 70 лет издательства YMCA-PRESS. 1920—1990. Париж. YMCA-PRESS. 1990. 40 стр., с илл.

Издание приурочено к открытию выставки «ИМКА-ПРЕСС» в Москве (17 сентября — 6 октября 1990) и состоит из двух очерков Карташева и Струве, рассказывающих о многообразной деятельности издательства с момента основания и вплоть до наших дней.

Елизавета Рачинская. Калейдоскоп жизни. Воспоминания. Париж. YMCA-PRESS. 1990. 430 стр.; 20 фотографий.

Описание жизненного пути одной эмигрантской семьи: детство в старой России, жизнь в русской колонии в Харбине до конца второй мировой войны, насильственная репатриация эмигрантов в СССР, свидетелем которой была Е. Р.; годы, проведенные в Австралии и Англии. Рассказы о встречах с дальневосточными русскими поэтами, приведены также стихи Е. Р. из сборника «Перелетные птицы» (Сан-Франциско, 1982).

Й. Хоффман. История Власовской армии. Перевод с немецкого Е. Гессен. Париж. YMCA-PRESS. 1990. 382 стр.; 21 фотография.

Книга вышла в серии «Исследования новейшей русской истории» (под общей ред. А. И. Солженицына). Основываясь на новых архивных документах, автор пересматривает некоторые установившиеся взгляды на историю власовского движения, акцентируя в нем мотивы национального возрождения.

А. Краснов-Левитин. Дела и дни. Обновленческий митрополит Александр Введенский. Париж. «Поиск». 1990.

Книга выпущена к столетию А. Введенского и освещает смутный период в истории Русской Православной Церкви после 1917 года, связанный с образованием так называемой живой церкви.

Письма Марины Цветаевой к Арнадне Берг (1934—1939). Подготовка текста, переводы и комментарий Н. А. Струве. Париж. YMCA-PRESS. 1990. 190 стр.; 25 фотографий.

В книгу вошли 74 французских и русских письма Цветаевой, бросающих новый свет на последний период ее жизни в эмиграции.

С. Максудов. Потери населения СССР. 1989. Бенсон; Вермонт (США), Chaldize Publications. 1989. 298 стр.

Обширное документальное исследование о жертвах коллективизации и большого террора.

Составитель А. Н. БОГОСЛОВСКИЙ.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора), **А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Д. А. Гранин, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, И. Б. Роднянская, В. И. Селюний, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, В. А. Ярошенко**

Технический редактор А. С. Гинзбург

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 06.12.90 г.

Подписано в печать 11.04.91г.

Формат бумаги 70×108¹/₈. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,52 усл. кр.-отг.) 28,01 уч.-изд. л.

Тираж 962.000 экз. (2-й завод 172.001—422.000 экз.). Зак. 01420021. Цена 2 р. 10 к.

Набрано и изготовлены диапозитивы в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5. Отпечатано в типографии № 1 ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна». Киев-47, проспект Победы, 50.

***В 1991 году «Новый мир»
предполагает опубликовать:***

- ВИКТОР АСТАФЬЕВ. **Прокляты и убиты** (роман);
 ЛЕОНИД БЕЖИН. **Калоши счастья** (записки случайного фило-софа);
 ВАСИЛИЙ БЕЛОВ. **Год великого перелома** (роман);
 АНДРЕЙ БИТОВ. **Япония как она есть** (повесть);
 ИОСИФ БРОДСКИЙ. **О Марине Цветаевой** (два эссе);
 П. ВАЙЛЬ, А. ГЕНИС. **Страна слов** (эссе);
 В. ДОМОГАЦКИЙ. **Кладовка** (воспоминания);
 В. ЛОБАС. **Желтые короли** (записки нью-йоркского таксиста);
 ВЛАДИМИР МАКАНИН. **Рассказы**;
 ВЛАДИМИР МАКСИМОВ. **И Аз воздам** (роман);
 ЧЕСЛАВ МИЛОШ. **Стихи разных лет** (перевод с польского);
 МАРИНА ПАЛЕЙ. **Кабирия с Обводного канала** (повесть);
 ПЕРЕПИСКА В. В. РОЗАНОВА и М. О. ГЕРШЕНЗОНА;
 Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Время ночь** (повесть);
 ВАЛЕРИЙ ПИСКУНОВ. **Чью душу желаете?** (повесть);
 ФЕЛИКС СВЕТОВ. **Отверзи ми двери** (роман);
 АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Бодался телёнок с дубом** (новые главы «очерков литературной жизни»);
 АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Апрель Семнадцатого** (заключительный «узел» исторической эпопеи «Красное колесо»);
 П. Б. СТРУВЕ. **За свободу и величие России** (статьи, заметки, письма);
 С. И. ФУДЕЛЬ. **Воспоминания**;
 ДАНИИЛ ХАРМС. **Дневники**;
 ВИКТОР ЯРОШЕНКО. **Энергия распада** (очерки политических обстоятельств 1989—1990 годов);
 и другие произведения.
 Следите за нашими анонсами.

С 1991 года в журнале появится новая рубрика «РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР»; будет продолжен и завершен цикл публикаций «ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ».

Цена 1 номера — 2 р. 10 к. Подписка на квартал — 6 р. 30 к., на полгода — 12 р. 60 к., на год — 25 р. 20 к. Подписка принимается без ограничений до 1-го числа предподписного месяца.